

Ex libris
L. et D. Solomon
#49.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. Г. КОРОЛЕНКО



ТОМЪ ВТОРОЙ



INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330, Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

ИЗДАНИЕ Т-ВА А. Ф. МАРКСЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1914



Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Марксь, Измайл. просп., № 29.



24.108/2

ЧУДНАЯ.

(Очеркъ изъ 80-хъ годовъ *).

I.

— Скоро ли станція, ямщикъ?

— Не скоро еще, — до метели врядъ ли доѣхать, — вишь закуржавѣло какъ, сивера идетъ.

Да, видно до метели не доѣхать. Къ вечеру становится все холоднѣе. Слышно, какъ снѣгъ подъ полозьями поскрипываетъ, зимній вѣтеръ, — сивера, — гудитъ въ темномъ бору, вѣтви елей протягиваются къ узкой, лѣсной дорогѣ и угрюмо качаются въ опускающемся сумракѣ ранняго вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, подъ бока давить, да еще не кстати шапки и револьверы провожатыхъ болтаются. Колокольчикъ выводитъ какую-то длинную, однообразную пѣсню, въ тонъ загѣвающей метели.

Къ счастью, — вотъ и одинокій огонекъ станціи на опушкѣ гудящаго бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцаая цѣлымъ арсеналомъ вооруженія, стряхиваютъ снѣгъ въ жарко натопленной, темной, законченной избѣ. Бѣдно и непривѣтно. Хозяйка укрѣпляетъ въ свѣтильнѣ дымящую лучину.

— Нѣтъ ли чего поѣсть у тебя, хозяйка?

— Ничего нѣтъ-то у насъ...

— А рыбы? Рѣка тутъ у васъ недалече.

— Была рыба, да выдра всю позѣбала.

— Ну, картошки...

— И-й, батюшки! Померзла картошка-то у насъ нонѣ, вся померзла.

*) Въ «Русскомъ Богатствѣ» было напечатано подъ заглавіемъ «Командировка».

Дѣлать нечего, — самоваръ къ удивленію нашелся. Погрѣлись чаемъ, хлѣба и луковицъ принесла хозяйка въ лукошкѣ. А вьюга на дворѣ разыгрывалась, мелкимъ снѣгомъ въ окна сыпало, и по временамъ даже свѣтъ лучины вздрагивалъ и колебался.

— Нельзя вамъ ѣхать-то будетъ, — ночуйте! — говоритъ старуха.

— Что-жь, — ночуемъ. Вамъ вѣдь, господинъ, торопиться-то некуда тоже. Видите, — тутъ сторона-то кака!.. Ну, а тамъ еще хуже, — вѣрьте слову, — говоритъ одинъ изъ провожатыхъ.

Въ избѣ все смолкло. Даже хозяйка сложила свою пряницу съ пряжей и улеглась, переставъ свѣтить лучину. Водворился мракъ и молчаніе, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшаго вѣтра.

Я не спалъ. Въ головѣ, подъ шумъ бури, поднимались и летѣли одна за другой тяжелыя мысли.

— Не спится, видно, господинъ, — произноситъ тотъ же провожатый, — „старшой“, — человекъ довольно симпатичный, съ пріятнымъ, даже какъ будто интеллигентнымъ лицомъ, расторопный, знающій свое дѣло и поэтому не педантъ. Въ пути онъ не прибѣгаетъ къ ненужнымъ стѣсненіямъ и формальностямъ.

— Да, не спится.

Нѣкоторое время проходитъ въ молчаніи, но я слышу, что и мой сосѣдь не спитъ — чувствуется, что и ему не до сна, что и въ его головѣ бродятъ какія-то мысли. Другой провожатый, молодой „подручный“, спитъ сномъ здороваго, но крѣпко утомленнаго человека. Временами онъ что-то невнятно бормочетъ.

— Удивляюсь я вамъ, — слышится опять ровный, грудной голосъ унтера: — народъ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, — а какъ свою жизнь проводите...

— Какъ?

— Эхъ, господинъ! Неужто мы не можемъ понимать!.. Довольно понимаемъ, не въ эдакой, можетъ, жизни были и не къ этому съ измалѣтства-то привыкли...

— Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

— Неужто весело вамъ? — произноситъ онъ тономъ сомнѣнія.

— А вамъ весело?..

Молчаніе. Гавриловъ (будемъ такъ звать моего собесѣдника) повидимому о чемъ-то думаетъ:

— Нѣтъ, господинъ, невесело намъ. Вѣрьте слову: иной разъ бываетъ, — просто, кажется, на свѣтъ не глядѣлъ бы... Съ чего ужъ это, — не знаю; только иной разъ такъ подступитъ, — ножъ острый, да и только.

— Служба, что ли, тяжелая?

— Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все-же не съ этого...

— Такъ отчего-же?

— Кто знаетъ?..

Опять молчаніе.

— Служба что. Самъ себя веди аккуратно, только и всего. Мнѣ тѣмъ болѣе домой скоро. Изъ сдаточныхъ я, такъ срокъ выходить. Начальникъ и то говорить: „Оставайся, Гавриловъ, что тебѣ дѣлать въ деревнѣ? На счету ты хорошемъ“...

— Останетесь?

— Нѣтъ. Оно правда, и дома-то... Отъ крестьянской работы отвыкъ... Пища тоже. Ну и, само собой, обхожденіе... Грубость эта...

— Такъ въ чемъ-же дѣло?

Онъ подумалъ и потомъ сказалъ:

— Вотъ я вамъ, господинъ, ежели не поскучаете, случай одинъ расскажу... Со мной былъ...

— Расскажите...

II.

Поступилъ я на службу въ 1874 году, въ эскадронъ, прямо изъ сдаточныхъ. Служилъ хорошо, можно сказать, — съ полнымъ усердіемъ, все больше по нарядамъ: въ парадъ куда, къ театру, — сами знаете. Грамотѣ хорошо былъ обученъ, ну, и начальство не оставляло. Маіоръ у насъ землякъ мнѣ былъ и, какъ види мое стараніе, — призываетъ разъ меня къ себѣ и говорить: „Я тебя, Гавриловъ, въ унтеръ-офицеры представляю... Ты въ командировкахъ бывалъ ли? — Никакъ нѣтъ, говорю, ваше высокоблагородіе. — „Ну, говорить, въ слѣдующій разъ назначу тебя въ подручные, — присмотришься, — дѣло не хитрое“. — Слушаю, говорю, ваше высокоблагородіе, радъ стараться.

А въ командировкахъ я точно-что не бывалъ ни разу, — вотъ съ вашимъ братомъ, значить. Оно, хоть, скажемъ, дѣло-то нехитрое, а все-же, знаете, инструкціи надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Черезъ недѣлю этакъ мѣста, зоветъ меня дневальный къ начальнику, и унтеръ-офицера одного вызываетъ. Пришли. — „Вамъ, говорить, въ командировку ѣхать. Вотъ тебѣ — говорить унтеръ-офицеру — подручный. Онъ еще не бывалъ. Смотрите, не зѣвать, справьтесь, говорить, ребята, молодцами, — барышню вамъ везти изъ замка, политичку, Морозову. Вотъ вамъ инструкція, завтра деньги получай и съ Богомъ!“

Ивановъ, унтеръ-офицеръ, въ старшихъ со мною фхаль, а и въ подручныхъ,—вотъ какъ у меня теперь другой-то жандармъ. Старшему сумка казенная дается, деньги онъ на руки получаетъ, бумаги; онъ расписывается, счета эти ведетъ, ну, а рядовой въ помощь ему: послать куда, за вещами присмотрѣть, то, другое.

Ну, хорошо. Утромъ, чуть свѣтъ еще,—отъ начальника вышли,—гляжу: Ивановъ мой ужъ выпить гдѣ-то успѣлъ. А человекъ былъ,—надо прямо говорить,—не подходящій,—разжалованъ теперь... На глазахъ у начальства какъ слѣдуетъ быть унтеръ-офицеру, и даже такъ, что на другихъ кляузы наводилъ, выслуживался. А чуть съ глазъ долой, сейчасъ и завертится, и первымъ дѣломъ—выпить!

Пришли мы въ замокъ, какъ слѣдуетъ, бумагу подали,—ждемъ, стоимъ. Любопытно мнѣ,—какую барышню везти-то придется, а везти назначено намъ по маршруту далеко. По самой этой дорогѣ фхали, только въ городъ уѣздный она назначена была, не въ волость. Вотъ, мнѣ и любопытно въ первый-то разъ: что моль за политичка такая?

Только прождали мы этакъ съ часъ мѣста, пока ея вещи собирали,—а и вещей-то съ ней узелокъ маленькій,—юбочка тамъ, ну, то, другое,—сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего съ ней не было; небогатыхъ, видно, родителей, думаю. Только выводятъ ее,—смотрю, молодая еще, какъ есть ребенкомъ мнѣ показалась. Волосы русые, въ одну косу собраны, на щекахъ румянецъ. Ну, потому увидѣлъ я—блѣдная совсѣмъ, блѣлая во всю дорогу была. И сразу мнѣ ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажетъ... Значитъ сдѣлала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну, а все таки... жалко, такъ жалко,—просто, ну!

Стала она одѣваться: пальто, калоши... Вещи намъ ея показали,—правило значить: по инструкціи мы вещи смотрѣть обязаны.—„Деньги, спрашиваемъ, съ вами какія будутъ?“ Рубль двадцать копѣекъ денегъ оказалось,—старшой къ себѣ взялъ.—„Васъ, барышня, говорить ей, я обыскать долженъ“.

Какъ она тутъ всыхнетъ. Глаза загорѣлись, румянецъ еще гуще выступилъ. Губы тонкія, сердитыя... Какъ посмотрѣла на насъ,—вѣрите: оробѣлъ я и подступиться не смѣю. Ну, а старшой, извѣстно, выпивши: лѣзетъ къ ней прямо. „Я, говорить, обязанъ; у меня, говорить, инструкція!“

Какъ тутъ она крикнетъ — даже Ивановъ, и тотъ отъ нея попятился. Гляжу я на нее,—лицо поблѣднѣло, ни кровинки, а глаза потемнѣли, и злая-презлая... Ногой топаетъ, говорить шибко,—только я, признаться, хорошо и не слушалъ, что она

говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принесъ въ стаканѣ.— „Успокойтесь,—просите ее,—пожалуйста, говорить, сами себя пожалѣйте!“ Чу она и ему не уважила.— „Варвары вы, говорить, холоны!“ И прочія тому подобныя дерзкія слова выражаетъ. Какъ хотите: супротивъ начальства это вѣдь не хорошо. Ишь, думаю, змѣнешь... Дворянское отродье!

Такъ мы ее и не обыскивали. Увелъ ее смотритель въ другую комнату, да съ надзирательницей тотчасъ же и вышли они.— „Ничего, говорить, при нихъ нѣтъ“.— А она на него глядитъ и точно вотъ смѣется въ лицо ему, и глаза злые все. А Ивановъ,—извѣстно, море по колѣна,—смотреть да все свое бормочетъ:— „Не по закону,—у меня, говорить, инструкция!..“ Только смотритель вниманія не взялъ. Конечно, какъ онъ пьяный. Пьяному какая вѣра!

Поѣхали. По городу проѣзжали,—все она въ окна кареты глядитъ, точно прощается, либо знакомыхъ увидѣть хочетъ. А Ивановъ взялъ, да занавѣски опустилъ,—окна и закрылъ. Забилась она въ уголь, прижалась и не глядитъ на насъ. А я, признаться, не утерпѣлъ таки: взялъ за край одну занавѣску, будто самъ поглядѣть хочу,—и открылъ такъ, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрѣла,—въ уголку сердитая сидитъ, губы закусила... Въ кровь, такъ я себѣ думалъ, искусаеть.

Поѣхали по желѣзной дорогѣ. Погода ясная этотъ день стояла,—осенью дѣло это было, въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Солнце-то свѣтитъ, да вѣтеръ свѣжій, осенній, а она въ вагонѣ окно откроетъ, сама высунется на вѣтеръ, такъ и сидитъ. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Ивановъ мой, какъ въ вагонъ ввалился, такъ и захрапѣлъ; а я не смѣю ей сказать. Потомъ осмѣлился, подошелъ къ ней и говорю:—Барышня, говорю, закройте окно.— Молчитъ, будто не ей и говорить. Постоялъ я тутъ, постоялъ, а потомъ опять говорю:

— Простудитесь, барышня,—холодно вѣдь.

Обернулась она ко мнѣ и уставилась глазами, точно удивилась чему... Поглядѣла на меня да и говорить:— Оставьте!— И опять въ окно высунулась. Махнулъ я рукой, отошелъ въ сторону.

Стала она спокойнѣе будто. Закроетъ окно, въ пальтишко закутается вся, грѣется. Вѣтеръ, говорю, свѣжій былъ, студено! А потомъ опять къ окну сядетъ, и опять на вѣтру вся,— послѣ тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселѣла даже, глядитъ себѣ, улыбается. И такъ на нее въ тѣ поры хорошо смотрѣть было!.. Вѣрите совѣсти...

Разказчикъ замолчалъ и задумался. Потомъ продолжалъ, какъ будто слегка конфузясь:

— Конечно, не съ привычки это... Потомъ много возилъ, привыкъ. А тотъ разъ чудно мнѣ показалось: куда, думаю, мы ее веземъ, дитѣ этакое... И потомъ... признаться вамъ, господинъ, ужъ вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить, да въ жены ее взять... Вѣдь ужъ я бы изъ нея дурь-то эту выкурить. Человѣкъ я, тѣмъ болѣе, служащій... Конечно, молодой разумъ... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу разказалъ, онъ говоритъ: вотъ отъ этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, вѣрно, и въ Бога-то не вѣрить...

Отъ Костромы на тройкѣ ѣхать пришлось, — Ивановъ у меня пьянъ-пьянешенекъ: проспится и опять заливаешь. Вышелъ изъ вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, какъ бы денегъ казенныхъ не растерялъ. Ввалился въ почтовую телегу, легъ и разомъ захрапѣлъ. Съела она рядомъ, — неловко. Посмотрѣла на него, ну, точно вотъ на гадину на какую. Подобралась такъ, чтобы не тронуть его какъ-нибудь, — вся въ уголку и прижалась, а я-то ужъ на облучкѣ усѣлся. Какъ поѣхали, — вѣтеръ сиверный, — я и то продрогъ. Закашляла крѣпко и платокъ къ губамъ поднесла, а на платкѣ, гляжу, кровь. Такъ меня будто кто въ сердце кольнулъ булавкой. — Эхъ, говорю, барышня, — какъ можно! Больны вы, а въ такую дорогу поѣхали, — осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этакъ!

Вскинула она на меня глазами, посмотрѣла, и точно опять внутри у нея закипать стало.

— Что вы, говорить, глупы, что ли? — Не понимаете, что я не по своей волѣ ѣду. Хорошъ, говорить: самъ везеть, да туда же еще съ жалостью суется!

— Вы бы, говорю, начальству заявили, — въ больницу хоть слегли бы, чѣмъ въ этакой холодъ ѣхать. Дорога-то вѣдь не близкая!

— А куда? — спрашиваетъ.

А намъ, знаете, строго запрещено объяснять преступникамъ, куда ихъ везти приказано. Видитъ она, что я позамялся, и отвернулась. — Не надо, — говорить, — это я такъ... Не говорите ничего, да ужъ и сами не лѣзьте.

Не утерпѣлъ я. — Вотъ, говорю, куда вамъ ѣхать. Не близко! — Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачалъ я головой... — Вотъ, то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значить!

Крѣпко мнѣ досадно было... Разсердился... А она опять посмотрѣла на меня и говорить:

— Напрасно, говорить, вы такъ думаете. Знаю я хорошо.

что это значить, а въ больницу всетаки не слегла. Спасибо! Лучше ужъ, коли помирать, такъ на волѣ, у своихъ. А то можетъ еще и поправлюсь, такъ опять-же на волѣ, а не въ больницѣ вашей тюремной. Вы думаете, говорить, отъ вѣтру и что-ли заболѣла, отъ простуды? Какъ бы не такъ!..—„Тамъ у васъ, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?“—Это я потому, какъ она мнѣ выразила, что у *своихъ* поправляться хочетъ.

— Нѣтъ, говорить, у меня тамъ ни родни, ни знакомыхъ. Городъ-то мнѣ чужой, да вѣрно такіе же, какъ и я, ссыльные есть, товарищи.—Подивился я,—какъ это она чужихъ людей своими называетъ,—неужто, думаю, кто ее безъ денегъ тамъ поить-кормить станетъ, да еще незнакому?.. Только не сталъ ее спрашивать, потому вижу я: брови она поднимаетъ, недовольна, затѣмъ я спрашиваю.

— Ладно, думаю... Пущай! Нужды еще не видала. Хлебнегъ горя, узнаетъ небось, что значить чужая сторона...

Къ вечеру тучи надвинулись, вѣтеръ подулъ холодный, — а тамъ и дождь пошелъ. Грязь и прежде была не высохши, а тутъ до того развезло,—просто, кисель не дорога! Спину-то мнѣ какъ есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Однимъ словомъ сказать, что погода, на ея несчастіе, пошла самая скверная: дождикомъ прямо въ лицо сбѣчетъ: оно хоть, положимъ, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрылъ, да куда тутъ! Течетъ всюду, продрогла, гляжу: вся дрожить и глаза закрыла. По лицу капли дождевыя потекли, а щеки блѣдныя, и не двинется, точно въ безчувствіи. Испугался я даже. Вижу: дѣло-то выходитъ неподходящее, плохое... Ивановъ пьянъ,—хранить себѣ, горюшка мало... Что тутъ дѣлать, тѣмъ болѣе я въ первый разъ.

Въ Ярославль городъ самымъ вечеромъ приѣхали. Растволкаль я Иванова, на станцію вышли, — велѣлъ я самоваръ согрѣть. А изъ городу изъ этого пароходы хотятъ, только по инструкціи намъ на пароходахъ возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгодище,—экономію загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейскіе стоятъ, а то и нашъ же братъ, жандармъ мѣстный, клязу подвести завсегда можетъ. Вотъ, барышня-то и говорить намъ:—„Я говорить, далѣе на почтовыхъ не поѣду. Какъ знаете, говорить, пароходомъ везите“. А Ивановъ еле глаза подралъ съ похмелья,—сердитый.—„Вамъ объ этомъ, говорить, разсуждать не полагается. Куда повезуть, туда и поѣдете!“ Ничего она ему не сказала, а мнѣ говорить:

— Слышали, говорить, что я сказала: не ѣду.

Отозвалъ я тутъ Иванова въ сторону.—„Надо, говорю, на

пароходѣ везти. Вамъ-же лучше: экономія останется“. Онъ на это пошелъ, только труситъ. — „Здѣсь, говоритъ, полковникъ, такъ какъ бы чего не вышло. Ступай, говоритъ, спросись, — мнѣ, говоритъ, нездоровится что-то“. А полковникъ неподалеку жилъ. — „Пойдемъ, говорю, вмѣстѣ и барышню съ собой возьмемъ“. — Боялся я: Ивановъ-то, думаю, спать завалится спьяну, такъ какъ бы чего не вышло. Чего добраго — уйдетъ она или надъ собой что сдѣлаетъ, — въ отвѣтъ попадешь. Ну, пошли мы къ полковнику. Вышелъ онъ къ намъ. — „Что надо?“ — спрашиваетъ. Вотъ она ему и объясняетъ, да тоже и съ нимъ не ладно заговорила. Ей бы попросить смирененько: такъ и такъ, моль, сдѣлайте божескую милость, — а она тутъ по-своему. — „По какому праву“ — говоритъ, ну и прочее; все, знаете, дерзкія слова выражаетъ, которыя вы, вонче, политики любите. Ну, сами понимаете, начальству это не правится. Начальство любить покорность. Однако выслушала онъ ее и ничего, — вѣжливо отвѣчаетъ: „Не могу-съ, говоритъ, ничего я тутъ не могу. По закону-съ... нельзя!“ Гляжу, барышня-то моя опять раскраснѣлась, глаза точно угли. — „Законъ!“ — говоритъ, и засмѣялась по-своему, сердито да громко. — „Такъ точно, — полковникъ ей: — законъ-съ!“

Признаться, я тутъ позабылся немного, да и говорю: — „Точно что, вашескорodie, законъ, да онъ, ваше высокоблагородie, больны“. Посмотрѣлъ онъ на меня строго. — „Какъ твои фамилія?“ — спрашиваетъ. — „А вамъ, барышня, — говоритъ, если больны вы, — въ больницу тюремную неугодно-ли-съ?“ Отвернулась она и пошла вонъ, слова не сказала. Мы за ней. Не захотѣла въ больницу, да и то надо сказать: ужъ если на мѣстѣ не осталась, а тутъ безъ денегъ, да на чужой сторонѣ, точно что не приходится.

Ну, дѣлать нечего. Ивановъ на меня же накинудся: — „Что, моль, теперь будетъ; непременно изъ-за тебя, дурака, оба въ отвѣтѣ будемъ“. Велѣлъ лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, такъ къ ночи и выѣзжать пришлось. Подошли мы къ ней: — „Пожалуйте, говоримъ, барышня, — лошади кованы“. А она на диванъ прилегла, — только согрѣваться стала. Вспрыгнула на ноги, встала передъ нами, — выпримила вся, — прямо на насъ смотритъ въ упоръ, даже, скажу вамъ, жутко на нее глядѣть стало. — „Проклятые вы“, говоритъ, — и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: — „Ну, говоритъ, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, — что хотите дѣлаете. Ёду!“ А самоваръ-то все на столѣ стоитъ, она еще и не пила. Мы съ Ивановымъ свой

чай заварили, и ей я налил. Хлѣбъ съ нами бѣлый былъ, и тоже ей отрубалъ.—„Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согрѣетесь немного“. Она калони надѣвала, бросила надѣвать, повернулась ко мнѣ, смотрѣла, смотрѣла, потомъ плечами повела и говоритъ:

— Что это за человекъ такой! Совсѣмъ вы, кажется, сумасшедшій. Стану я, говорить, вашъ чай пить!—Вотъ до чего мнѣ тогда обидно стало: и посейчасъ вѣспомню, кровь въ лицо бросается. Вотъ вы не брезгаете-же съ нами хлѣбъ-соль ѣсть. Рубанова господина везли, штабъ-офицерскій сынъ, а тоже не брезгалъ. А она побрезгала. Велѣла потомъ на другомъ столѣ себѣ самоваръ особо согрѣть и ужъ извѣстно: за чай за сахаръ вдвое заплатила. А всего-то и денегъ—рубль-двадцать!

III.

Разсказчикъ смолкъ, и на нѣкоторое время въ избѣ водворилась тишина, нарушаемая только ровнымъ дыханіемъ младшаго жандарма и шипѣніемъ метели за окномъ.

— Вы не спите?—спросилъ у меня Гавриловъ.

— Нѣтъ, продолжайте, пожалуйста; я слушаю.

— ...Много я отъ нея, — продолжалъ разсказчикъ, помолчавъ,—много муки тогда принялъ. Дорогой-то, знаете, ночью, все дождикъ, погода злая... Лѣсомъ поѣдешь, лѣсъ стономъ стонеть. Ее-то мнѣ и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а повѣрите, — такъ она у меня передъ глазами стоитъ, то есть даже до того, что вотъ, точно днемъ, ее вижу: и глаза ея, и лицо сердитое, и какъ она иззябла вел, а сама все глядитъ куда-то, точно все мысли свои про себя въ головѣ ворочаетъ. Какъ со станціи поѣхали, сталъ я ее тулупомъ одѣвать. — „Надѣньте, говорю, тулупъ-то, — все, знаете, теплѣ“. Кинула тулупъ съ себя. — „Вашъ, говорить, тулупъ, — вы и надѣвайте“. Тулупъ, точно, что мой былъ, да догадался я и говорю ей: „Не мой, говорю, тулупъ, казенный, по закону, арестованнымъ полагается“. Ну, одѣлась...

Только и тулупъ не помогъ: какъ разсвѣло, — глянулъ я на нее, а на ней лица нѣтъ. Со станціи опять поѣхали, приказала она Иванову на облучокъ сѣсть. Поворчалъ онъ, да не посмѣлъ послушаться, тѣмъ болѣе, — хмель-то у него прошелъ немного. Я съ ней рядомъ сѣлъ.

Трои сутки мы ѣхали и нигдѣ не ночевали. Первое дѣло: по инструкціи сказано — не останавливаться на ночлегъ, а „въ случаѣ сильной усталости“ — не иначе, какъ въ городахъ, гдѣ есть караулы. Ну, а тутъ, сами знаете, какіе города!

Приѣхали таки на мѣсто. Точно гора у меня съ плечъ долой,

какъ городъ мы завидѣли. И надо вамъ сказать: въ концѣ она почитай что на рукахъ у меня и ѣхала. Вижу — лежитъ въ повозкѣ безъ чувствъ; трихнетъ на ухабѣ телѣгу, такъ она головой о переплетъ и ударится. Поднявъ я ее на руку на правую, такъ и везъ; все легче. Сначала оттолкнула было меня, — „прочь! — говорить, — не прикасайтесь!“ А потомъ ничего. Можетъ, оттого, что въ безпамятствѣ была... Глаза-то закрыты, вѣки совсѣмъ потемнѣли, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже такъ было, что засмѣется сквозь сонъ и просвѣтлѣетъ, прижимается ко мнѣ, къ теплому-то. Вѣрно ей, бѣдной, хорошее во снѣ грезилось. Какъ къ городу подъѣзжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, — повеселѣла...

... Только изъ губерніи ее далѣе отправили, въ городъ въ губернскомъ не оставили, и намъ-же ее дальше везти привелось, — тамошніе жандармы въ разѣздахъ были. Какъ уѣзжать намъ, — гляжу, въ полицію народу набирается: барышни молодыя, да господа, студенты, видно, изъ ссыльныхъ... И вѣдь, точно знакомые, съ ней говорятъ, за руку здороваются, разспрашиваютъ. Денегъ ей сколько-то привесли, платокъ пуховый на дорогу, хорошій... Проводили...

Ѣхала веселая, только кашляла часто. А на насъ и не смотрѣла.

Пріѣхали въ уѣздный городъ, гдѣ ей жительство назначено; сдали ее подъ росписку. Сейчасъ она фамилію какую-то называетъ. — „Здѣсь, говорить, такой-то?“ — „Здѣсь, отвѣчаютъ. Исправникъ пріѣхаль.“ — „Гдѣ, говорить, жить станете?“ — „Не знаю, говорить, а пока къ Рязанову пойду“. Покачалъ онъ головой, а она собралась и ушла. Съ нами и не попрощалась...

VI.

Разказчикъ смолкъ и прислушался, не слыю ли я.

— Такъ вы ее больше и не видѣли?

— Видалъ, да лучше бы ужъ не видать было...

... И скоро даже я опять ее увидѣлъ. Какъ пріѣхали мы изъ командировки, — сейчасъ насъ опять нарядили и опять въ ту-же сторону. Студента одного возили, Загряжскаго. Веселый такой, пѣсни хорошо пѣлъ и выпить былъ не дуракъ. Его еще дальше послали. Вотъ поѣхали мы черезъ городъ тотъ самый, гдѣ ее оставили, и стало мнѣ любопытно прожить ее узнать. — „Тутъ, спрашиваю, барышня-то наша?“ — „Тутъ, говорятъ, только чудная она какая-то: какъ пріѣхала, такъ прямо къ ссыльному пошла, и никто ее послѣ не видалъ, — у него и живетъ. Кто говорить: больна она, а то бають: вродѣ она у него за любовницу живетъ. Извѣстно, народъ

болтаетъ "... А мнѣ вспомнилось, что она говорила: „Помереть мнѣ у *своихъ* хочется“. И такъ мнѣ любопытно стало... и не то, что любопытно, а попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. Отъ меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Семь схожу...

Пошелъ, — добрые люди дорогу показали; а жила она въ концѣ города. Домикъ маленькій, дверца низенькая. Вошелъ я къ ссыльному-то къ этому, гляжу: чисто у него, комната свѣтлая, въ углу кровать стоитъ, и занавѣской уголь отгороженъ. Книгъ много, на столѣ, на полкахъ... А рядомъ мастерская махонькая, тамъ на скамейкѣ другая постель положена.

Какъ вошелъ я,—она на постелѣ сидѣла, шалью обернута и ноги подъ себя подобрала,—шьетъ что-то. А ссыльный Рязанцевъ господинъ по фамилии... рядомъ на скамейкѣ сидитъ, въ книжкѣ ей что-то вычитываетъ. Въ очкахъ, чело-вѣкъ, видно, сурьезный. Шьетъ она, а сама слушаетъ. Стукнулъ я дверью, она какъ увидала, приподнялась, за руку его схватила, да такъ и замерла. Глаза большіе, темные, да страшные... ну, все, какъ и прежде бывало, только еще блѣднѣе съ лица мнѣ показалась. За руку его крѣпко стиснула, — онъ испугался, къ ней кинулся.— „Что, говорить, съ вами? успокойтесь!“ А самъ меня не видитъ. Потомъ отпустила она руку его, — съ постели встать хочетъ.— „Прощайте, говорить ему:— видно, имъ для меня и смерти хорошей жалко“. Тутъ и онъ обернулся, увидаль меня, — какъ вскочить на ноги. Думаль я, — кинет-ся... убьетъ, пожалуй. Человѣкъ, тѣмъ болѣе, рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали такъ, что онять это за нею приѣхали... только видитъ онъ, — стою я и самъ ни живъ, ни мертвъ, да и одинъ. Повернулся къ ней, взялъ за руку.— „Успокойтесь, говорить. — А вамъ, спрашиваетъ, кавалеръ, — что здѣсь собственно понадобилось?... Зачѣмъ пожаловали?“

Я объяснилъ, что моль ничего мнѣ не нужно, а такъ пришелъ, самъ по себѣ. Какъ везъ моль барышню, и были онъ нездоровы, такъ узнать пришелъ... Ну, онъ обмякъ. А она все такая-же сердитая, кипитъ вся. И за что бы, кажется? Ивановъ, конечно, человѣкъ необходимый. Такъ я-же за нее заступался...

Разобралъ онъ, въ чемъ дѣло, засмѣялся къ ней. — „Ну вотъ видите, говорить,—я-же вамъ говорилъ“. — И такъ понять, что ужъ у нихъ былъ разговоръ обо мнѣ... Про дорогу она, видно, рассказывала.

— Извините, говорю, ежели напугалъ васъ... Не во время или что... Такъ я и уйду. Прощайте моль, не поминайте лихомъ, добромъ видно не помянете.

Всталъ онъ, въ лицо мнѣ посмотрѣлъ и руку подаетъ.

— Вот что, говорить, — победите назадъ, свободно будете, — заходите, пожалуй. — А она смотритъ на насъ да усмѣхается по-своему, не хорошо.

— Не понимаю я, говорить, зачѣмъ ему заходить? И для чего зовете? — А онъ ей: — Ничего, ничего! Пусть зайдетъ, если самъ опять захочетъ... заходите, заходите, ничего!

Не все я, признаться, понялъ, что они тутъ еще говорили. Вы вѣдь, господа, мудрено иной разъ промежь себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы такъ остаться, послушать... ну, мнѣ неловко, — какъ бы чего не подумали. Ушелъ.

Ну, только свезли мы господина Загряжскаго на мѣсто, ѣдемъ назадъ. Призываетъ исправникъ старшаго и говорить: — „Вамъ тутъ оставаться впередъ до распоряженія; телеграмму получилъ. Бумагъ вамъ ждать по почтѣ“. Ну, мы, конечно, остались.

Вотъ я опять къ нимъ: — дай, думаю, зайду, хоть у хозяевъ про нее спрошу. Зашелъ. Говоритъ хозяинъ домовый: — „Плохо, говорить, какъ бы не померла. Боюсь, въ отвѣтъ не попасть бы, — потому собственно, что пона звать не стануть“. Только стоимъ мы, разговариваемъ, а въ это самое время Рязанцевъ вышелъ. Увидѣлъ меня, поздоровался да и говорить: — „Опять пришелъ? Что-жъ, войди, пожалуй“. Я и вошелъ тихонько, а онъ за мной вошелъ. Поглядѣла она, да и спрашиваетъ: — „Опять этотъ странный человекъ!.. Вы что-ли его позвали?“ — „Нѣтъ, говорить, не звалъ я, — самъ онъ пришелъ“. Я не утерпѣлъ и говорю ей:

— Что это, говорю, барышня, — за что вы сердце противъ меня имѣете? Или я врагъ вамъ какой?

— Врагъ и есть, говорить, — а вы развѣ не знаете? Конечно врагъ! — Голосъ у нея слабый сталъ, тихій, на щекахъ румянецъ такъ и горитъ, и столь лицо у нея пріятное... кажется, не наглядѣлся бы. Эхъ, думаю, — не жилица она на свѣтѣ, — сталъ прощенія просить, — какъ бы, думаю, безъ прощенія не померла. — „Простите меня, говорю, — коли вамъ зло какое сдѣлалъ“. Извѣстно, какъ по-нашему, по-христіански полагается... А она опять, глянжу, закипаетъ... — „Простить! вотъ еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... такъ и знайте: не простила!“

Разсказчикъ опять смолкъ и задумался. Потомъ продолжалъ тише и сосредоточеннѣе:

„Опять у нихъ промежду себя разговоръ пошелъ. Вы вотъ человекъ образованный, по-ихнему понимать должны, такъ и вамъ скажу, какія слова я упомянулъ. Слова-то зачалъ и по-сейчасъ помню, а смыслу не знаю. Онъ говоритъ:

— Видите: не жандармъ съ насъ пришелъ сейчасъ... Жан-

дармъ васъ везъ, другого повезетъ, такъ это онъ все по инструкціи. А сюда-то его развѣ инструкція привела? Вы вотъ что, говорить, господинъ кавалеръ, не знаю какъ звать васъ...

— Степанъ,—говоря.

— А по батюшкѣ какъ?

— Петровичемъ звали.

— Такъ вотъ моль, Степанъ Петровичъ. Вы вѣдь сюда почему пришли? По человѣчеству? Правда?

— Конечно, говорю, по человѣчеству. Это, говорю, вы вѣрно объясните. Ежели по инструкціи, такъ это намъ вовсе даже не полагается, что къ вамъ заходить безъ надобности. Начальство узнаетъ—не похвалить.

— Ну, вотъ видите,—онъ ей говоритъ и за руку ее взялъ. Она руку выдернула.

— Ничего, говорить, не вижу. Это вы видите чего и вѣтъ. А мы съ нимъ вотъ (это значить со мной) люди простые. Враги такъ враги, и нечего тутъ антимоніи разводять. Ихнее дѣло—смотри, наше дѣло — не зѣвай. Онъ, вотъ видите: стоять, слушаетъ. Жалко, не понимаетъ, а то бы въ донесеніи все написать...

Повернулся онъ въ мою сторону, смотреть прямо на меня, въ очки. Глаза у него вострые, а добрые.—„Слышите?—мигъ говорить.—Что-же вы скажете?.. Впрочемъ не объясните ничего: я такъ считаю, что вамъ это обидно“.

Оно, скажемъ, конечно... по инструкціи такъ полагается, что ежели что супротивъ интересу, то обязанъ я, по присяжной должности, на отца роднаго донести... Ну, только какъ я не затѣмъ значить пришелъ, то вѣрно, что обидно мигъ показалось, просто за сердце взяло. Повернулся къ дверямъ, да Рязановъ удержалъ.

— Погоди, говорить, Степанъ Петровичъ,—не уходи еще. А ей говорить:—„Не хорошо это... Ну, не прощайте, и не миритесь. Объ этомъ что говорить. Онъ и самъ, можетъ, не простилъ бы, ежели бы какъ слѣдуетъ все понять... Да вѣдь и врагъ тоже человѣкъ бываетъ... А вы этого-то вотъ и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорить, вотъ что!“

— Пусть,—она ему,—а вы равнодушный человѣкъ. Вамъ бы, говорить, только книжки читать...

Какъ она ему это слово сказала,—онъ, чудное дѣло—даже на ноги вскочилъ. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

— Равнодушный?—онъ говорить.—Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

— Пожалуй,—она ему отвѣчаетъ...—А вы мигъ—правду?..

— А я, говорить, правду:—настоящая вы боярыня Морозова...

Задумалась она, руку ему протянула; онъ руку-то взять, а она въ лицо ему посмотрѣла-посмотрѣла, да и говорить: „Да, вы пожалуй и правы!“ А я стою, какъ дуракъ, смотрю, а у самого такъ и сосеть что-то у сердца, такъ и подступаетъ. Потомъ обернулась ко мнѣ, посмотрѣла и на меня безъ гнѣва и руку подала.—„Вотъ говорить, что я вамъ скажу: враги мы до смерти... Ну, да Богъ съ вами, руку вамъ подаю,—желаю вамъ когда-нибудь человѣкомъ стать.—вполнѣ, не по инструкціи... Устала я“,—говорить ему.

И и вышелъ. Рязанцевъ тоже за мной вышелъ. Стали мы во дворѣ, и вижу я: на глазахъ у него будто слеза поблескиваетъ.

— Вотъ что,—говорить,—Степанъ Петровичъ. Долго вы еще тутъ пробудете?

— Не знаю, говорю, можетъ и еще дни три, до почты.

— Ежели, говорить, еще зайти захотите, такъ ничего, зайдите.

Вы, кажется, говорить, человѣкъ, по своему дѣлу, ничего...

— Извините, говорю, напугалъ...

— То-то, говорить, ужъ вы лучше хозяйкѣ сначала скажите.

— А что я хочу спросить,—говорю: вы вотъ про боярыню говорили. про Морозову. Онѣ значить боярскаго роду?

— Боярскаго, говорить, или не боярскаго, а ужъ порода такая: сломать ее, говорить, можно... Вы и то ужъ сломали... Ну, а согнуть,—самъ чай видѣлъ: не гнутся этакія.

На томъ и попрощались.

V.

... Померла она скоро. Какъ хоронили ее, я и не видаль.— у исправника былъ. Только на другой день ссыльнаго этого встрѣтилъ; подошелъ къ нему, — гляжу: на немъ лица нѣтъ...

Росту былъ онъ высокаго, съ лица сурьезный, да ранѣе привѣтливо смотрѣлъ, а тутъ звѣремъ на меня, какъ есть, глянулъ. Подаль было руку, а потомъ вдругъ руку мою бросилъ и самъ отвернулся.—„Не могу, говорить, я тебя видѣть теперь. Уйди, братецъ, Бога ради, уйди!“—Опустилъ голову, да и пошелъ, а я на фатеру пришелъ и такъ меня засосало,—просто, ницѣ дни два не принималъ. Съ этихъ самыхъ поръ тоска и увязалась ко мнѣ. Точно порченый.

На другой день исправникъ призвалъ насъ и говорить: „Можете, говорить, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно“. Видно, опять намъ ее везти пришлось бы, да ужъ Богъ ее пожалѣлъ: самъ убралъ.

... Только что еще со мной постъ случилось,—не конецъ вѣдь еще. Назавтра вѣдунъ, приѣхали мы на станцію одну...

Входимъ въ комнату, а тамъ на столѣ самоваръ стоитъ, закуска всякая, и старушка какая-то сидѣть, хозяйку чаемъ угощаетъ. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйкѣ про свои дѣла рассказываетъ. „Вотъ говорить, собрала я пожитки, домъ-то, по наслѣдству который достался, продала и поѣхала къ моей голубкѣ. То-то обрадуется! Ужъ и побранить, разсердится, знаю, что разсердится, — а все-же рада будетъ. Писала мнѣ, не велѣла прѣзжать. Чтобы даже ни въ какомъ случаѣ не смѣла я къ ней ѣхать. Ну, да ничего это!“

Такъ тутъ меня ровно кто подъ лѣвый бокъ толкнулъ. Вышелъ я въ кухню.—„Что за старушка?“—спрашиваю у дѣвки-прислуги.—„А это, говорить, самой той барышни, что вы тотъ разъ везли,—матушка родная будетъ“. Тутъ меня шатнуло даже. Видитъ дѣвка, какъ я въ лицѣ разстроился, спрашиваетъ:—„Что, говорить, служивый, съ тобой?“

— Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла.

Тутъ она, дѣвка эта,—и дѣвка-то, надо сказать, гулящая была, съ проѣзжающими баловала,—какъ всплеснетъ руками да какъ заплачетъ, и изъ избы вонъ. Взялъ и я шапку, да и самъ вышелъ,—слышалъ только, какъ старуха въ залѣ съ хозяйкой все болтаютъ, и такъ мнѣ этой старухи страшно стало, такъ страшно, что и выразить невозможно. Побрелъ я прямо по дорогѣ,—послѣ ужъ Ивановъ меня догналъ съ телѣгой, я и сѣлъ.

VI.

... Вотъ какое дѣло!.. А исправникъ донесъ видно начальству, что я къ ссыльнымъ ходилъ, да и полковникъ костромской тоже донесъ, какъ я за нее заступался,—одно къ одному и подошло. Не хотѣлъ меня начальникъ и въ унтеръ-офицеры представлять. „Какой ты, говорить, унтеръ-офицеръ,—баба ты! Въ карцеръ бы тебя, дурака!“ Только я въ это время въ равнодушiи находился и даже нисколько не жалѣлъ ничего!

И все я эту барышню сердитую забыть не могъ, да и теперь то-же самое: такъ и стоитъ, бываетъ, передъ глазами.

Что бы это значило? Кто бы мнѣ объяснилъ! Да вы, господинъ, не спите?

Я не спалъ... Глубокiй мракъ закинутой въ лѣсу избушки томилъ мою душу, и скорбный образъ умершей дѣвушки вставалъ въ темнотѣ подъ глухiя рыданiя бури...

1880 г.

МАРУСИНА ЗАИМКА.

(Очерки изъ жизни въ далекой сторонѣ).

I. Уголокъ.

Мы ѣхали верхами по долинѣ Амги. Лошади бѣжали тихо „хлыню“ по колеямъ якутской дороги.

Эти дороги совсѣмъ не похожи на русскія, укатанныя телегами и лежащія „скатертью“ между зелеными полосами. Здѣсь дороги утаптываются лишь копытами верховыхъ лошадей. Двѣ глубокія борозды, отдѣленные межникомъ, по которому растетъ высокая трава, лежатъ въ серединѣ. Онѣ одинаково глубоки и рисуются ясными линиями пыльнаго дна. Если ѣдутъ двое—они плетутся рядомъ подъ лѣнныя разговоры о наслѣжныхъ происшествіяхъ, о покосахъ или пріѣздѣ начальства. Трое въ рядъ ѣздятъ уже гораздо рѣже, четверо уже выстраиваются двумя парами, одна за другой. Поэтому нѣсколько паръ боковыхъ дорожекъ намѣчаются все слабѣе и слабѣе, теряясь едва замѣтными линиями въ буйной травѣ.

Травы въ этотъ годъ были роскошныя. Якутъ, ѣхавшій навстрѣчу, видѣлся намъ за поворотомъ лишь своей остроконечной шапкой, приподнятыми рукавами своего кафтана, и порой только ветряхивалась надъ зеленой стѣной голова его лошади. Онъ разминулся съ нами, обмѣнявшись обычными привѣтствіями, и, прибавивъ шагу, скоро совсѣмъ исчезъ среди волнующагося зеленого моря...

Солнце висѣло надъ дальней грядой горъ. И лѣтомъ оно стоитъ въ этихъ мѣстахъ невысоко, но свѣтитъ своими косыми лучами почти цѣлыя сутки, восходя и заходя почти въ одномъ мѣстѣ. Земля, разогрѣваемая спокойно, но постоянно, не успѣваетъ значительно охладиться въ короткую ночь, съ ея предутреннимъ туманомъ, и въ полдень сѣверное лѣто

пышетъ жаромъ и сверкаетъ своею особенной прелестью, тихой и печальной...

Дальнія горы, обвѣяныя синеватою мглою, рѣяли и, казалось, расплавились въ истомѣ. Легкій вѣтеръ шевелилъ густыя травы, пестрѣвшія разноцвѣтными ирисами, кашкой и какими-то еще безчисленными желтыми и бѣлыми головками. Нашимъ лошадямъ стоило повернуть головы, чтобы схватить, даже не нагибаясь, пукъ сочной травы съ межника,—и онѣ бѣжали дальше, помахивая зажатými въ губахъ роскошными букетами. Кое-гдѣ открывались вдругъ небольшія озера, точно клочки синяго неба, упавшіе на землю и оправленные въ изумрудную зелень... И отъ всей этой тихой красоты становилось еще печальнѣе на сердцѣ. Казалось, сама пустыня тоскуетъ о чемъ-то далекомъ и неясномъ, въ задумчивой истомѣ своего короткаго лѣта.

Мы миновали небольшую кучку юртъ, расположившихся на холмѣ надъ озеромъ, и зеленый лугъ опять принялъ насъ въ свой молчаливый объѣтъ. Горы другого берега уже не туманились, а проступали осками каменистыхъ овраговъ, нащетиившихся остроконечными верхушками лиственницъ. Слѣва все ближе подступали холмы, раздѣленные узкими луговинками, и пади, по которымъ струились тихія рѣчки амгинскаго бассейна. По этимъ рѣчкамъ ходили „вольно нехранимо“ табуны кобылицъ, принадлежащія якутскимъ „богатырямъ“ родовичамъ, успѣвшимъ и здѣсь, на лонѣ почти дѣвственной природы, захватить лучшіе уголки божіей земли.

По временамъ въ ущельяхъ глухо раздавался топотъ конскихъ копытъ, и табуны, одичавшіи и отъѣвшіеся на жирныхъ травахъ, выскакивали изъ пади на луговину, привлеченный ржаніемъ нашихъ лошадей. Кобылицы, поднявъ уши и охорашиваясь, выказывали явное любопытство, но жокакъ жеребецъ, тотчасъ-же вытянувъ, какъ разсерженный гусь, свою длинную шею и почти волоча по травѣ роскошную гриву,—дѣлалъ широкій кругъ около стада, вспугивая легкомысленныхъ красавицъ и загоня ихъ обратно. Когда кобылы, не смѣя ослушаться и дѣлая видъ, что онѣ сами очень напуганы, скрывались опять за рѣчкой, въ глубинѣ ущелья,—сторожевой жеребецъ выбѣгалъ оттуда обратно и, все тряса головой и разстилая гриву, грозно подбѣгалъ къ намъ, зорко и пытливо высматривая наши намѣренія. Наши лошади вздрагивали отъ нетерпѣливаго желанія завязать дружескія или враждебныя отношенія съ себѣ подобными, и намъ приходилось тогда усиленно прибѣгать къ нагайкамъ. Жеребецъ, проводивъ невѣдомыхъ гостей съ полверсты, весело возвра-

щался обратно къ своему гарему, а наши лошади уныло опускали головы и лѣнливою хлынью продолжали бѣжать по роскошнымъ пустыннымъ лугамъ. Становилось еще скучнѣе, тихая и безмолвная красота пустыни томила еще больше, молчаніе ея еще гуще насыщалось какими-то рѣющими, какъ туманъ, желаніями и образами. Глазъ безпокойно искалъ чего-то въ смѣющихся даляхъ. Но навстрѣчу попался только лѣнливый дымокъ юрты надъ озеромъ, или якутская могила—небольшой срубъ вродѣ избушки съ высокимъ крестомъ—загадочно смотрѣла съ холма надъ водой, обвѣянная грустнымъ шопотомъ деревьевъ...

— Посмотрите-ка,—сказала вдругъ мой товарищъ, задерживая поводъ разбѣжавшейся лошади.

Мы давно ѣхали узкой дорожкой, двѣ-три колена которой чуть-чуть взрѣзали зеленую цѣлину роскошнаго луга. Гдѣ-то мы сбились, очевидно, съ проѣзжей дороги, но мало заботились объ этомъ, такъ какъ горы того берега легко могли служить намъ указаніемъ. Теперь навстрѣчу намъ выростала молодой ярко-зеленый лѣсокъ, надъ вершинами котораго уже исчезали мѣловыя скалы. Наша дорожка внезапно вбѣжала въ пространство, обнесенное съ двухъ сторонъ городьбой, кое-гдѣ даже плетнемъ, не часто употребляемыми въ этихъ мѣстахъ, и вскорѣ дымокъ засинѣлъ передъ нами на зеленой стѣнѣ лѣса.

Мы оглядывались съ удивленіемъ: пашни, хотя и нечастыя, составляютъ, однако, обычное явленіе въ этихъ недалнихъ улусахъ, но огородовъ якуты совсѣмъ еще не знаютъ. Кое-гдѣ, правда, проѣзжая по наследамъ, мы встрѣчали клочки земли, старательно обнесенные высокимъ налесадомъ или тыномъ и напоминавшіе вдали отъ жилия кладбища или старыя языческія мольбища, огражденные отъ взоровъ постороннихъ. Но это были только наследные огороды. Одинъ изъ губернаторовъ, прекраснодушный нѣмецъ, большой знатокъ и любитель огородничества, предписалъ строжайшими циркулярами, чтобы по всѣмъ наследамъ были заведены огороды. Якуты въ точности исполнили волю начальства,—отвели по клочку земли и обнесли крѣпчайшими частоколами, оставивъ лишь одинъ входъ, запиравшійся на замокъ, ключъ отъ котораго вручался особому выборному лицу. Дальше, однако, дѣло не шло. Губернатора давно уже нѣтъ, но до сихъ поръ тщательно огражденные пустыя участки свидѣтельствуютъ объ его попеченіяхъ. Слѣды межниковъ и грядокъ давно исчезли подъ необыкновенно буйной порослью бѣлѣки и чертополоха, защищенныхъ отъ лугового вѣтра...

Теперь передь нами лежалъ настоящій отлично раздѣланный огородъ. Высокія грядки уже зеленѣли ботвой картофеля и кудрявыми султанчиками моркови. Блѣдно-зеленая капустная разсада торчала рядами въ неглубокихъ лункахъ, еще темныхъ отъ обильной поливки. По колыямъ завивался горохъ, въ небольшомъ срубѣ примитивнаго парника уютно зеленѣли побѣги огурцовъ, видимо, тщательно оберегаемыхъ отъ утреннихъ короткихъ, но рѣзкихъ заморозковъ. Невдалекѣ волновалась нивка колосившейся озими.

Но что всего болѣе удивило насъ, — это небольшая избушка, стоявшая посреди этого заколдованнаго уголка. Это была не юрта съ наклонными стѣнами и не сибирскій „амбаръ“ съ прямымъ срубомъ и плоской земляной крышей, а настоящая малорусская хатка, съ соломенной стрѣхой и тщательно обмазанными стѣнами. Только окна частью изъ слюды, частью изъ осколковъ стекла, вставленныхъ въ узорно вырѣзанную берестяную рамку, отличали это жильѣ отъ какой-нибудь черниговской или полтавской „хатынки“. Изумленный неожиданностью, взглядъ невольно искалъ колеса съ семей аиста на крышѣ и высокаго „журавля“ криницы. Но вмѣсто аистовъ надъ долиной носились сѣверные орлы, съ пронзительнымъ крикомъ молодого жеребенка, а въ криницѣ видимо не было надобности: въ нѣсколькихъ десяткахъ саженой за избушкой, тяжело отражая безоблачное небо, лежало небольшое озерко. На серединѣ его, точно раскиданные кѣмъ-то черные комья, дремала стайка утокъ, безпечно уткнувъ головы подъ крылья...

Утки были дикія, лѣсъ былъ лиственничный, сибирскій, чуждый и этой хаткѣ, съ ея соломенной крышей, и этимъ грядкамъ...

Мой товарищъ, природный украинецъ, приподнялся на стремянахъ, и лицо его даже слегка покраснѣло подъ слоемъ загара. Онъ смотрѣлъ кругомъ, но никого и ничего не было видно. Вѣтеръ тихо шевелилъ соломою крыши, чуть-чуть шелестѣла тайга, и жалобный переливчатый крикъ орленка или коршуна одинъ рѣзко нарушалъ тишину. Казалось, вотъ-вотъ сейчасъ дрогнетъ что-то, и вся эта иллюзія малороссійскаго хуторка на дальнемъ сѣверѣ расплывется, какъ дымное марево...

— Эй, а хто тутъ въ Бога вируе? — крикнулъ мой спутникъ на родномъ языкѣ, на которомъ, впрочемъ, не говорилъ при мнѣ еще ни разу.

Что-то зашуршало подъ тыномъ, вполоть около насъ.

— Ой, лишенько! — сказала какъ будто испуганный женскій голосъ, и худощавое молодое лицо съ черными глазами вдругъ поднялось надъ заплотомъ. Лицо было смугло, голова

повязана по-малорусеки „кичкою“, глаза, быстрые, живые и нѣсколько дикіе, смотрѣли съ выраженіемъ любопытства и испуга. Было ясно, что женщина, застигнутая врасплохъ появленіемъ незнакомыхъ людей, нарочно притаилась подъ плетнемъ въ надеждѣ укрыться отъ непрощенныхъ гостей.

— Здоровеньки були,—весело сказалъ мой товарищъ.

Незнакомка кивнула головой, и въ ея выразительныхъ глазахъ любопытство ясно пересилило испугъ. Она поднялась надъ заплотомъ и наклонилась, оглядывая насъ быстрымъ сверкающимъ взглядомъ, отъ головъ до копытъ нашихъ лошадей... Повидимому, этотъ осмотръ не разъяснилъ ей ничего: ея тревога не усилилась и не разсѣялась, а любопытство оставалось неудовлетвореннымъ. Но въ ея черныхъ глазахъ всетаки мелькало скорѣе нерасположеніе. Видимо, смуглянка надѣялась, что мы спросимъ, какъ выѣхать на проѣзжую дорогу, и отправимся своимъ путемъ далѣе.

Но мы не торопились и къ тому-же были слишкомъ заинтересованы.

— Чья это хатка?—спросилъ мой товарищъ.

— А вамъ нащо?—отвѣтила незнакомка вопросомъ и неохотно прибавила:—ну, Степанова та моя.

„Что-же вамъ еще нужно и почему вы не уѣзжаете?“—какъ будто говорилъ ея непривѣтливый взглядъ.

Но имя Степана заинтересовало насъ еще больше. Мы уже не разъ слышали объ этомъ поселенцѣ, слышали также, что у него отличное хозяйство и красивая хозяйка. Объ этомъ рассказывалъ, между прочимъ, въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ въ слободу засѣдатель Федосѣевъ, человекъ добродушный, веселый и порядочно распущенный. Онъ считался, между прочимъ, большимъ донъ-жуаномъ. Однако, на игривую шутку почтового смотрителя на этотъ разъ онъ слегка покрасвѣлъ, какъ-то озабоченно поднялъ брови и покачалъ головой.

— Ну, нѣтъ, батюшка, ошиблись,—сказалъ онъ серьезно.— У нихъ тамъ, на озерѣ, настоящая... настоящая... какъ это, господа, говорится по книжному?..

— Идиллія?—подсказалъ кто-то изъ насъ.

— Ну, вотъ-вотъ! Да и Степашка этотъ изъ себя молодець. Сюда попалъ за бродяжество, а видно, что ухорѣзь. Въ случаѣ чего—головы подлець не пожалѣеть... И при томъ, считаетъ себя какъ бы въ законѣ...

— Медвѣдь ихъ, что-ли, въ тайгѣ обвѣнчалъ,—не унижался смотритель.

— Чортъ ихъ знаетъ... По бродячеству, говоритъ, вѣнчаны... Обрядъ, будто бы, тоже какой-то...

— Ужь будто вы такъ и отступились? — сказала смотритель насмѣшливо. Федосѣевъ наморщилъ брови, покраснѣлъ и съ досадою покалъ плечами.

Въ пустынныхъ мѣстахъ удѣльный вѣсъ человѣка, въ особенности человѣка, хоть тѣмъ-нибудь выдѣляющагося—вообще, больше, и имя Степана „съ озера“ или „съ Дальней заимки“ произносилось въ слободѣ съ оттънкомъ значительности и уваженія. „Мы съ Степаномъ довольно знакомы“,—хвастливо говорили поселенцы, а якуты весело кивали головами: „Истебанъ билемъ“ (Степана знаемъ)... Совершенно понятно, что теперь, когда мы случайно попали къ этому человѣку, намъ не хотѣлось уѣзжать отъ его заимки, не познакомившись съ хозяиномъ.

— А гдѣ же самъ Степанъ? — спросилъ я, оглядываясь и подыскивая предлогъ остаться.

— Немà Степана. У слободу поѣхалъ,—отвѣтила молодая женщина какъ-то торопливо.—Не скоро и воротится...

И ея черные глаза впились въ мой верблюжій кафтанъ, съ разводами на полахъ, какіе носятъ прискатели. Казалось, человѣкъ въ такомъ кафтанѣ въ особенности не могъ рассчитывать на ея снисходительность.

— Ну, ѣзжайте съ Богомъ,—закончила она безцеремонно.— Немà и немà Степана. Гдѣ-жъ мнѣ его взять... А вамъ здѣсь оставаться не можна.

Мы переглянулись съ товарищемъ, и онъ уже было тронулъ лошадь, какъ вдругъ, на озерѣ, на другомъ берегу грянулъ выстрѣлъ. Взвился бѣлый дымокъ, утки, скорѣе изумленные, чѣмъ испуганные, тяжело подымались надъ водой, взмахивая серповидными крыльями, съ трудомъ уносившими грузныя тѣла. Орлята заржали неистово и злорадно; по озеру, оживляя сонную поверхность, засверкали круги, и на минуту тревожная суета наполнила весь этотъ тихій уголъ.

Но только на минуту. Круги скоро улеглись, вода выгладилась, стая утокъ скрылась за верхушками лѣса... Только на самой серединѣ неподвижно лежали двѣ убитыя птицы, а отъ берега отчаливалъ небольшой плотъ. Стрѣлокъ торопливо толкался шестомъ, по временамъ прикрывая глаза рукою и глядя изъ-подъ ладони по направленію къ намъ.

— Эге!.. Скоро-же Степанъ вернулся изъ слободы,—засмѣялся мой товарищъ. Но молодая женщина, нисколько не сконфузившись, пожала плечами и посмотрѣла на насъ откровенно-непріязненнымъ взглядомъ.

Между тѣмъ, стрѣлокъ, подобравъ утокъ, причалилъ къ берегу, соскочилъ съ плота и торопливо направился къ намъ,

перескакивая черезъ городьбу и шагая черезъ грядки. Подойдя на нѣсколько шаговъ, онъ отдалъ женщинѣ ружье и кинулъ на землю утокъ.

— Милости просимъ, господа,—сказалъ онъ, вѣжливо снимая шапку.—Слѣзайте съ коней.

— Да намъ тутъ объявили, что васъ нѣтъ дома,—сказалъ мой спутникъ, улыбаясь. Степанъ посмотрѣлъ на женщину быстрымъ и гнѣвнымъ взглядомъ, но она встрѣтила этотъ взглядъ беззаботно и вызывающе.

— Опять ты, Маруся, за старое... Дура, — грубо сказалъ Степанъ. — Ну, ставь чайникъ, живѣе... Птицу возьми! Пожалуйте, господа! Мы хорошимъ людямъ рады...

Женщина быстро нагнулась и подняла птицу, а затѣмъ еще разъ окинула насъ своимъ дикимъ взглядомъ. Повидимому, какой-то оттѣнокъ въ обращеніи Степана заставилъ ее задуматься, и только мой кафтанъ по прежнему внушалъ ей сомнѣніе. Въ концѣ этого вторичнаго осмотра она всетаки улыбулась, вскинула на плечи ружье, и ея стройный станъ быстро замелькалъ между грядками. Босыя загорѣлыя ноги, видѣвшіяся изъ-подъ короткой юбки, привычно и ловко ступали по глубокимъ и узкимъ огороднымъ межамъ.

— Извините, господа! Дикая она у меня, — сказалъ Степанъ съ оттѣнкомъ самодовольства, замѣтивъ, что мы любуемся его Марусей. — Она, видите, думада, что вы — прискатели.

— А если бы прискатели? Такъ что-же?

— Звали тутъ меня... въ присковую партію, — отвѣтилъ онъ, глядя какъ-то въ сторону...—Дайте-ка, я вашихъ лошадей привяжу. Пожалуйте вотъ сюда.

И онъ пошелъ впереди, ведя въ поводу лошадей. Это былъ человѣкъ высокаго роста, съ широкими плечами и стройнымъ тонкимъ станомъ. У него были свѣтло-голубые глаза, свѣтлорусые волосы и почти совсѣмъ бѣлые усы, странно выдѣлявшіеся на сильно загорѣломъ красномъ лицѣ. Его можно было бы назвать красавцемъ, если бы не тусклость точно задернутого чѣмъ-то взгляда и не эти слишкомъ уже свѣтлые усы на темномъ лицѣ. Губы у него были полныя съ какой-то странною складкой,—грубоватой и портившей довольно благоприятное общее впечатлѣніе. Во всей фигурѣ чувствовалось что-то уже какъ бы надломленное, не вполне нормальное, хотя и сильное. Родомъ онъ, какъ оказалось послѣ, былъ съ Дона.

II. «Бродяжій бракъ».

Черезъ полчаса мы лежали на сочной травѣ, недалеко отъ избушки. На землѣ потрескивалъ костеръ, и въ желѣзномъ котлѣ закипала вода.

Кругомъ опять вошла въ колею жизнь пустыни. Орлята и коршуны заливались своимъ свистомъ и ржаніемъ, переливчатымъ и неприятнымъ, по вѣтвямъ лиственницъ ходилъ лѣнивый шорохъ, и утки, забывъ или даже не зная о недавней тревогѣ, опять лежали черными комьями на гладкой водѣ озера.

Маруся, казалось, готова была примириться съ нами. Она вступила въ роль хозяйки, поставила чайникъ и усѣлась было около Степана, ожидая, пока вода закипитъ у огня. При этомъ исподобья она взглядывала на насъ съ выраженіемъ застѣнчиваго любопытства. Но мой товарищъ, въ свою очередь, окинувъ ее пристальнымъ взглядомъ, сказалъ:

— А вы, землячка, кажется, изъ-подъ Чернигова? Или съ полтавщины?

Молодая женщина вся вздрогнула, какъ отъ внезапнаго удара. По лицу ея пробѣжала рѣзкая судорога, она съ ненавистью взглянула на неосторожнаго допросчика и быстро поднялась на ноги. При этомъ она нечаянно толкнула чайникъ и, не обращая вниманія на то, что вода лилась на угли, скрылась въ дверяхъ избы.

Степанъ слегка нахмурился и, поправивъ чайникъ, сказалъ:

— Теперь ужъ не подойдетъ... И чай пить не станетъ... Напрасно спросили.

И, поправивъ нѣсколько заглохшій огонь, онъ прибавилъ задумчиво:

— Всегда вотъ такъ. Теперь я уже и не спрашиваю... Плачетъ... Или ударится о землю... Пѣня изо рта, какъ есть порченная! Такъ и самъ не знаю,—откуда она родомъ...

Онъ замолчалъ. Фигура молодой женщины мелькнула около избушки и скрылась въ другомъ концѣ огорода. Черезъ нѣкоторое время оттуда донесся мотивъ какой-то пѣсни. Маруся пѣла про себя, какъ будто забывъ о нашемъ присутствіи. Пѣсня то жужжала, какъ веретено въ тихій вечеръ, то вдругъ плакала отголосками какой-то рвущей боли... Такъ мнѣ, по крайней мѣрѣ, казалось въ ту минуту.

— Марья! — крикнулъ было Степанъ. — Ну, иди, что-ли! Что въ самомъ дѣлѣ: не съѣли тебя...

Женщина не отвѣтила, но пѣсня смолкла. Всѣмъ намъ стало томительно и неловко.

— Эхъ... некстати маленько спросили,—сказаль опять Степанъ.—Можеть, обошлось бы. Она вѣдь у меня занятая... Иной разъ разойдется, пѣсни зайграеть...

— А когда вы съ нею встрѣтились?—спросиль я, чтобы поддержать разговоръ.—И если вамъ не неприятно, расскажите, какъ это вы вѣнчались бродяжымъ бракомъ?

— Слышали, значить?—спросиль Степанъ, встрепенувшись.—Нѣтъ, что-же... У меня этого нѣтъ... Да что! Здѣсь такая сторона: никому нѣтъ дѣла! Я даже письма изъ дому получаль...

Въ его лицѣ появились признаки оживленія. Видимо, воспоминанія, на которыя навель его мой вопросъ, не были ему неприятны. Онъ только оглянулся въ сторону Маруси и сказать, немного понижая голосъ:

— Если вамъ рассказать, напимѣрь, всю исторію, какъ мы съ нею сошлись, то это даже очень любопытно... Дѣло-то, если говорить по порядку, начинается съ каторги. Значить, ранней весной выбѣжали мы съ товарищемъ съ N—скихъ рудниковъ. Только снѣгъ прошель... Рѣчки еще играли. Ну, сначала скрывались по близости, въ тайгѣ, подобно какъ звѣри. Бѣдствовали сильно. Потомъ выбились таки на дорогу, къ Читѣ подходить стали, мѣсяца уже черезъ полтора. Дождь, помню, шель съ ночи... А дождь перестанеть—туманъ... Такъ на торахъ и висить. Ну, дѣло по бродяжеству привычное. Идемъ, отряхаемся. Дождь, дескать, вымочить, вѣтеръ высушить. Наплевать! Третій тутъ еще къ намъ прикомандировался, бродяжка тоже... Иваномъ назвался. Только версть этакъ, можеть, на десять отъ городу, вдругъ изъ тумана двое на насъ: „Стой, что за люди?“ Потомъ посмотрѣли и говорятъ: „Нѣтъ, не тѣ. Тоже варначье, да намъ на этотъ разъ не надобны. Чортъ съ вами“. И побѣжали дальше. Опомнились мы, перекрестились... „А вѣдь это, братцы, — говоритъ намъ товарищъ, — тревога! Непремѣнно изъ замка кто-нибудь убѣжалъ. Надо намъ съ дороги-то податься въ сторону“.—„Давайте, — я говорю, — пойдемъ лучше за ними. Эти не тронули, а на другихъ наткнемся, еще Богъ знаетъ...“ Ну, и пошли мы въ ту самую сторону, куда эти двое побѣжали...

„А въ эту ночь, дѣйствительно, Маруся еще съ подругой одной—изъ острога выбѣжали. Рѣдкость это, конечно, что женщины бѣгутъ, ну, тутъ, правда, помощь имъ была... Въ Читѣ пришли онѣ въ партіи. Сами знаете, каково женщинѣ въ нашемъ быту...“

— Да, подлость большая!—угрюмо сказаль мой товарищъ.

— Каторга верховодить,—пояснилъ Степанъ.—Продають бабъ, какъ скотину, въ карты на майданѣ проигрываютъ, изъ полы въ полу сдаютъ. Ну, а она, вдобавокъ—бѣдовая, непокорлива. И теперь знакъ есть: ножикомъ одинъ пырнулъ. Какъ ужъ тамъ было, Богъ ее знаетъ, только слюбилась съ однимъ... Тотъ ухарь былъ тоже, въ обиду уже не давалъ. Въѣсть и въ Забайкалье пришли. Ему на поселеніе, ей—въ каторгу, только онъ такъ порѣшилъ, что имъ не разставаться. Ну, онѣ двѣ—съ подругой—въ лазаретъ слегли, подъ видомъ болѣзни, а онъ билетъ взялъ и уже около тюрьмы рыщетъ... Сговорились. Лазаретъ къ тому-же, по случаю перестройки, былъ за оградой... У Даши тоже другъ былъ, высидочный, и тоже съ нею бѣжать надумалъ. Вотъ разъ эта Даша и говорить надзирателю: „принеси четверть вина“.—„Радъ бы, говорить, принести, да безъ старшого нельзя“. А старшой... сказать вамъ...

Онъ запнулся, слегка покраснѣлъ, кинулъ быстрый взглядъ въ ту сторону, гдѣ мелькала надъ грядками фигура Маруси... Она полола, и до насъ опять долетало жужжаніе ея тихой пѣсни. Степанъ нѣкоторое время молчалъ, наткнувшись въ разказѣ на неожиданное препятствіе. Мы не рѣшались तो-ропить его.

— Ну!—сказалъ онъ, наконецъ, тряхнувъ головой.—Что ужъ тутъ, сами понимаете: каторга не свой братъ. Такъ ужъ... что было, чего не было... только въ этотъ вечеръ пошелъ у нихъ въ камерѣ дымъ коромысломъ: обошли, околдовали, въ доскъ уложили и старшого, и надзиратели, и фершала. Старшой такъ, говорили, и не очухался... Сами знаете, баба съ нашимъ братомъ что можетъ сдѣлать... А тутъ о головахъ дѣло пошло...! При томъ же-соннаго въ хмѣльное подсыпали...

Онъ остановился и затѣмъ продолжалъ уже свободнѣе.

— А на дворѣ дождь... Такъ и хлещетъ, пылитъ, ручьи пошли. Мы эту погоду клянемъ въ полѣ, а имъ самое подходящее дѣло. Темно. Дождь по крышѣ гремитъ, часовой въ будку убрался, да, видно, задремалъ. Окна безъ рѣшетокъ. Выкинули онѣ во дворъ свои узелки, посмотрѣли: никто не увидалъ. Полѣзли и сами... Шли всю ночь. На зарѣ вышли къ рѣкѣ, куда имъ было сказано, смотреть, а тамъ—никого!

„Друзья-то, значить, сплеховали! Сошлись къ вечеру у притонщика да можетъ вспомнили, что теперь въ лазаретѣ дѣлается. Ну, съ горя хватили. Извѣстно, слабость. Тамъ еще бутылочку... Захмѣлѣли, да такъ, подумайте, и проспали ночь!.. На зарѣ прокинулись: въ городъ уже тревога, выйти нельзя!

„Такъ онѣ отъ нихъ и потерялись. Этимъ ждуть нельзя, тѣмъ нельзя выйти. Перешли онѣ рѣку, пошли тайгой на милость Божію. А мы на тотъ случай тоже отъ грѣха сошли съ дороги, идемъ лѣсными тропками. Стали опять на дорогу выбиваться, только третій товарищъ отсталъ: прошлогоднюю ягоду все искалъ подъ кустами. Догоняетъ онъ насъ и говоритъ: „Послушайте, братцы, что я скажу вамъ: тутъ вотъ двѣ женщины въ тайгѣ сидятъ и плачутъ“.—„Что ты, Богъ съ тобой, какимъ тутъ женщинамъ быть“.—„Не знаю,—говорить,—только юбки на нихъ сѣрыя, арестантскія“. Удивились мы, а тутъ смотримъ: вышли и онѣ на тропу и остановились. Испугались, конечно. Ну, только всетаки мы пошли, онѣ за нами. И подойти боятся, и отстать страшно...

„Мы идемъ, смѣемся себѣ. Выбились на проселокъ. Дождь кончился, отъ насъ на солнышкѣ паръ валить. Встрѣтили сибиряка, трубочки закурили, потомъ сошли въ овражекъ и сѣли. Онѣ подошли, остановиться-то ужъ имъ неловко, идутъ мимо, потупились.

„— Здравствуйте,—говоримъ,—красавицы.

„— Здравствуйте.

„— Кто вы такія будете?

„— Поселки... Идемъ въ такую-то волость.

„И называютъ, дѣйствительно, волость, которая впереди. Научены. Ну, однако, я спрашиваю дальше: „Гдѣ-же вы судились?“—„Въ Ирбитѣ“.—А за что?—„За бродяжество. Отъ мужей“.—„Ну, ужъ это,—говорю,—извините, неправильно. Ежели бы вы въ Ирбитѣ судились за бродяжество, то надо вамъ не на поселеніе, а въ каторгу. Въ Камышловѣ—дѣло другое“. Слово за слово, спутались онѣ, заплакали.—„Не обижайте,—говорятъ,—насъ, господа!“—Мы обижать никогда не согласны. Сами обижены, ну только понимаемъ мы такъ, что изъ-за васъ была тревога. Какъ же теперь: хотите съ нами дальше идти?—„Намъ,—говорятъ,—съ вами вмѣстѣ никакъ нельзя... Идите вы впереди, мы ужъ какъ-нибудь, ежели не хотите обижать, за вами. Потому что мы не какія-нибудь и могутъ насъ наши друзья догнать...“

„Пошли мы этакъ. Идемъ впереди трое, я и говорю:—„Вотъ что, господа. Ежели придется такъ, что намъ этихъ женщинъ взять себѣ,—какъ быть: ихъ двѣ, насъ трое“. Вотъ Иванъ, который послѣ присталъ, и говоритъ: „Берите себѣ, ребята, мнѣ не надо. Мнѣ и одному трудно, и годы не тѣ. Не интересуюсь я. Онѣ вмѣстѣ шли, вы тоже вмѣстѣ, вамъ и кстати. А я, можетъ, отстану скоро“.—Справедливый былъ бродяга, нечего сказать.—Ну, это, говоримъ, хорошо. Безъ спору.

Теперь намъ двоимъ разбираться. Ты, говорю, товарищъ, какъ хочешь?—„Насчетъ чего?“—Которую взялъ бы.—„А ты?“—Обо мнѣ рѣчь впереди. Говори самъ.—„Ну, я, говорить, ту, которая повыше.“—Вотъ дѣло. Мнѣ-то, признаться, Марья сразу въ глазъ пала...

„Пошли. Онѣ за нами идутъ. Конечно, дѣло женское. Намъ и для нихъ стараться надо. Запасъ вышелъ. Въ деревни, на заимки заходимъ, подъ окнами милостыню просимъ, кондаки эти тянемъ. Добываемъ и на себя, и на нихъ. Чай станемъ варить,—вмѣстѣ сойдемся. Почевать—ужь онѣ гдѣ-нибудь захоронятся... Шли этакимъ родомъ съ недѣлю. Стали къ Селенгѣ подходить. Перевалили въ одномъ мѣстѣ черезъ гору. Смотримъ: на бережку люди сидятъ, дымокъ у нихъ, видно, что бродяги плотъ готовятъ, чelовѣкъ шесть. Вотъ Иванъ подозвалъ женщинъ и говоритъ: „Глупо вы это дѣлаете: друзья ваши можетъ попались, можетъ запили, слѣдъ потеряли. Теперь, ежели въ артель ничьи войдете, вѣдь это грѣхъ выйдетъ изъ-за васъ. Хотите съ этими людьми дальше идти—говорите.“—Ну, онѣ, конечно, видятъ, что это правда. Со старыми друзьями дѣло разохлось... При томъ-же, обзнакомились мы. Когда пошутимъ, когда посмѣемся. Видятъ, что мы съ ними по благородному, не пьяницы, не буяны. Говорятъ: согласны.

„Такъ мы и къ артели этой пристали. Тѣ намъ рады: рѣка быстрая, плыть трудно“.

— А насчетъ женщинъ какъ-же?—спросилъ мой товарищъ.

— Что-жъ насчетъ женщинъ?—отвѣтилъ Степанъ.—Пришли мы къ нимъ уже не чужіе... При томъ-же, артель.

— Ну, въ тюрьмахъ тоже артели,—сказалъ тотъ скептически.—Знаемъ мы артели ваши!

— Знаете, да видно не все,—нѣсколько обиженно отвѣтилъ Степанъ.—Конечно, въ тайгѣ, съ глазу на глазъ... Тутъ иной подлець изъ-за бродней товарища не пожалѣетъ. Ну, что касается въ артели, да если есть старики... Вы вотъ послушайте дальше. Тутъ, можно сказать, дѣло у насъ помудренѣе вышло, нивѣтъ какъ и расхлебывать-то пришлось бы... А обошлось благородно.

„Сгоношили мы немаленькій плотъ,—разсказчикъ опять повернулся ко мнѣ,—поплыли внизъ по рѣкѣ. А рѣка дикая, быстрая. Берега—камень, да лѣсъ, да пороги. Пльвемъ на волю божію день и другой, и третій. Вотъ, на третій день къ вечеру, причалили къ берегу, сами въ лощинѣ огонь развели, бабы наши по ягоды пошли. Глядь, сверху плыветъ что-то. Сначала будто бревнушко оказываетъ, потомъ ближе

да ближе,—плотишко. На плоту двое, веслами машутъ, летить плотикъ, какъ птица, и прямо къ намъ.

„— Здравствуйте, говорятъ.

„— Здравствуйте.

„— Можно къ вашему огню присѣсть?

„— Садитесь, если вы добрые люди.

„— Мы, говорятъ, вашего поля ягоды. Гонимся за вами сколько время, насилу догнали.

„— Что-же вамъ за надобность? Мы васъ не знаемъ.

„— Можетъ, кто и признаетъ... Всѣ-ли вы тутъ въ сборѣ?

„— Не всѣ въ сборѣ: двѣ женщины, вотъ, по ягоды пошли.

„— Ну, подождемъ. Придутъ онѣ—мы свое дѣло скажемъ.

„Посидѣли, поговорили о разномъ. О дѣлѣ ни слова. Какъ тутъ глядимъ: идутъ и наши женщины изъ лѣсу. Только стали къ берегу подходить, гляжу я: встала моя Марья, какъ вкопанная. Лицо бѣлѣе рубашки. Дарья посмотрѣла, только руками всплеснула.

„— Ну, вотъ,— говорятъ гости,—спросите теперь у этихъ женщинъ,—знають-ли онѣ насъ? Можетъ, отрекутся.

„Признаться, упало у меня сердце: ежели, думаю, теперь отдать мнѣ ее другому, лучше не жить...

„Дарья, посмѣлѣе,—вышла впередъ и говоритъ:

„— Не отрекаюсь. Вы съ нами въ партіи шли, изъ тюрьмы вызволяли. Зачѣмъ потеряли?

„— Мы потеряли, другіе нашли. Чья находка?— говоритъ одинъ, повыше.—Васъ тутъ семеро, насъ двое... Какая будетъ ваша правда? Посмотримъ мы, а отступиться не согласны.

„Я говорю: „Мы, братцы, тоже не отступимся. Будь, что будетъ“. Ну, старики насъ развели и говорятъ: „Вотъ что. Вы, ребята, къ намъ недавно пристали, а тѣхъ и вовсе не знаемъ. Но какъ у насъ артель, то надо разсудить по совѣсти. Согласны-ли? А не согласны,— артель отступится. Вѣдайтесь, какъ знаете...

„Мы, дѣлать нечего, согласились, тѣ тоже. Стали старики судить, Иванъ съ ними. Тѣ говорятъ: мы съ ними въ партіи шли. На майданѣ купили, деньги отдали, изъ тюрьмы вызволяли. Мы опять свое: „Вѣрно, господа, такъ. А зачѣмъ вы ихъ потеряли? Мы съ ними, можетъ, тысячу верстъ прошли не на казенныхъ хлѣбахъ, какъ вы. По полсутки подъ окнами клянчили. Себя не жалѣли. Два раза чуть въ острогъ не попали, а ужъ имъ-то безъ насъ вѣрно, что не миновать бы каторги.

„Старики послушали наши споры, потомъ потолковали между собой и говорятъ намъ:

„— Всѣ-ли вы, ребята, съ этими женщинами на поселеніи жить соглашаетесь, или дорогой идти, потомъ бросить?“

„Мы, конечно, говоримъ: согласны жить.“

„— Ну, такъ мы, дескать, вотъ какъ обсудили. Майданъ теперь вспоминать не къ чему. Это дѣло тюремное, на волѣ этотъ законъ не дѣйствуетъ. Изъ тюрьмы вы ихъ вызволяли, такъ опять слѣдъ потеряли отъ своей слабости. Опять это ни къ чему. Ни на которую сторону не тянетъ. Спросимъ теперь самихъ женщинъ“.

„— Догадались всетаки!—усмѣхнулся мой товарищъ.“

— Это, конечно... правильно, — сказалъ Степанъ. — Ну, призвали женщинъ. Даша заплакала: „Ежели бы вы, говорить, слѣдъ не потеряли. Мы сколько время шли съ ними, они насъ не обижали...“ А Марья вышла впередъ и поклонилась въ поясъ.

„— Ты мнѣ, говорить, въ тюрьмѣ за мужа былъ. Купилъ ты меня, да это все равно. Другому бы досталась, руки бы на себя наложила. Значить, охотой къ тебѣ пошла... За любовь твою, за береженье, въ ноги тебѣ кланяюсь... Ну, а теперь, говорить, послушай, что я тебѣ скажу: когда я уже изъ тюрьмы вышла, то больше по рукамъ ходить не стану... Пропилъ ты меня въ ту ночь, какъ мы въ кустахъ васъ дожидались, и другой разъ пропнешь. Ежели-бъ старики разсудили тебѣ отдать, только-бъ меня и видѣли...“

„Тотъ только потупился, слова не сказалъ. Видать, что дѣло ихъ не выгорѣло. Одинъ и говорить: „Я теперь въ свою волость пойду“, а другой: „Мнѣ идти некуда. Одна дорога—бродяжья. Ну, только намъ теперь вмѣстѣ идти нехорошо. Прощайте, господа“. Взяли котелки, всю свою амуницію, пошли назадъ. Отошли вверхъ по рѣкѣ верстъ пятокъ, свой огонекъ развели.“

„Долго я ночью не спалъ, на ихъ огонекъ глядѣлъ. Темною ночью огонь кажется близехонько. Думаю: на сердцѣ у него нехорошо теперь. Если человѣкъ отчаянный, то можетъ огонь у него горить, а онъ берегомъ крадется... Ну, однако, ничего. На утро, — еще горь изъ-за тумана не видно, — мы ужъ плоть свой спустили...“

Онъ замолчалъ.

— Ну, а какъ-же вы сюда-то вмѣстѣ попали?

— Это уже дѣло проще. Зимовали у сибиряка въ работахъ. На другую весну опять пошли. Довелъ я ее до Пермской губерніи. Въ Камышловѣ арестовались, показались на одно имя... Судить за бродяжество въ каторгу, а за переполненіемъ мѣсть — въ Якутскую область. Въ партіи уже вмѣстѣ шли, все равно мужъ и жена...

III. Пахарь-Тимоха.

Долгий лѣтний день все еще горѣлъ своимъ спокойнымъ свѣтомъ, только въ воздухѣ чувалось постепенное охлажденіе. Зной удалался незамѣтно вмѣстѣ съ блескомъ и яркостью красокъ.

Степанъ предложилъ поохотиться на гусей. Мой товарищъ согласился. Я отказался и пошелъ отъ скуки пройти по лѣсу. Въ лѣсу было тихо и спокойно, стоялъ сѣрый полумракъ стволовъ, и только вверху играли еще лучи, свѣтилось небо, и ходилъ легкій шорохъ. Я присѣлъ подь лиственницей, чтобы закурить папиросу, и, пока дымокъ тихо вился надо мною, отгоняя большихъ лѣсныхъ комаровъ, меня совершенно незамѣтно охватила та внезапная сладкая и туманная дремота, которая бываетъ результатомъ усталости на свѣжемъ воздухѣ.

Меня разбудили чьи-то мелкіе шаги. Между стволовъ мелькала фигура Марьи: въ рукахъ у нея былъ платокъ съ завязаннымъ въ немъ горшкомъ и хлѣбомъ. Очевидно, она несла кому-то ужинъ.

Кому-же? Значить, населеніе этого уголка не ограничивается Степаномъ и Марусей... Есть кто-то третій. И въ самомъ дѣлѣ, трудно было представить, что весь этотъ уголокъ раздѣланъ руками только двухъ человѣкъ. Для этого нужно было много упорнаго труда и своего рода творчества. Я вспомнилъ, какимъ тусклымъ и безучастнымъ взглядомъ Степанъ смотрѣлъ на свои владѣнія... Едва-ли онъ игралъ въ этомъ творествѣ особенно видную роль. На всемъ здѣсь лежала печать Маруси, ея личности и ея родины. Но все-таки этого было недостаточно. Нужна была еще чья-то упорная сила, чьи-нибудь крѣпкіе мускулы...

Фигура женщины исчезла между стволами. Я выкурилъ еще папиросу и пошелъ въ томъ-же направленіи, интересуясь этимъ невѣдомымъ третьимъ обитателемъ хутора.

Вскорѣ передо мной мелькнула лѣсная вырубка. Распаханная земля густо чернѣла жирными бороздами, и только островками зелень держалась около большихъ, еще не выворчеванныхъ пней. За большимъ кустомъ, невдалекѣ отъ меня, чуть тлѣлись угли костра, на которыхъ стоялъ чайникъ. Маруся сидѣла въ полоборота ко мнѣ. Въ эту минуту она выпустила на головѣ платокъ и поправляла подь нимъ волосы. Покончивъ съ этимъ, она принялась ѣсть. Съ ней былъ еще кто-то, но за кустомъ мнѣ его не было видно.

Одинъ мой знакомый, считавшій себя знатокомъ женщинъ, сдѣлалъ шутливое замѣчаніе, что любовь крестьянской женщины легко узнать по тому, съ кѣмъ она охотнѣе ѣсть. Это замѣчаніе внезапно мелькнуло у меня въ головѣ, при взглядѣ на спокойное лицо Маруси. Съ нами она была дика и неприступна; теперь въ ея позѣ, во всѣхъ ея движеніяхъ сквозила интимность и полная свобода.

Мое положеніе невольнаго соглядатая показалось мнѣ не совсѣмъ удобнымъ, и потому, отступи нѣсколько шаговъ по мягкому мху, я вышелъ на полянку въ такомъ мѣстѣ, гдѣ меня сразу могли замѣтить.

Мои подозрѣнія разсѣялись тотчасъ-же, какъ только, приближаясь, я разглядѣлъ собесѣдника Маруси.

Это былъ человекъ, которому, даже при пылкомъ воображеніи, трудно было навязать роль соперника удалого Степана. Въ то время, какъ на послѣднемъ все было чисто и даже, пожалуй, щеголевато, — работникъ весь обросъ грязью: пыль на лицѣ и шеѣ размокла отъ пота, рукавъ грязной рубахи былъ разорванъ, истертый и измызганный оленій-треухъ беззаботно покрывалъ его голову съ запыленными волосами, обрѣзанными на лбу и падавшими на плечи, что придавало ему какой-то архаическій видъ. Такими рисуютъ древнихъ славянъ. Возрастъ его опредѣлить было бы трудно: сорокъ, сорокъ пять, пятьдесятъ, а можетъ быть, и значительно менѣе: это была одна изъ тѣхъ крижистыхъ фигуръ, покрытыхъ какъ будто корою, сквозь которую не проступить ни игра и сверканіе молодости, ни тусклая старость. Глаза, выцвѣтшіе, подпалые отъ солнца и непогоды, едва выдѣлялись на сѣромъ лицѣ, и, только приглядѣвшись, можно было замѣтить въ нихъ искру добродушнаго лукавства.

Плохіе якутскіе торбасишки онъ снялъ на время отдыха, и огромныя ступни его торчали какъ-то нелѣпо изъ-подъ синихъ дабовыхъ штановъ.

— Хлѣбъ-соль! — сказалъ я, кланаясь.

Онъ смотрѣлъ на меня нѣсколько секундъ, не отвѣчая, и потомъ сказалъ:

— Милости просимъ, хлѣба кушать...

— Можно присѣсть?

— Садись, не просидишь мѣста.

Маруса не обратила на меня никакого вниманія. Незнакомецъ зачерпнулъ нѣсколько разъ ложкой изъ горшка и, еще разсмотрѣвъ меня съ дѣловитымъ любопытствомъ, спросилъ:

— Изъ какихъ мѣстовъ будете? Рассейскіе?

Я назвалъ свою губернію.

— Это что-же, — подь Кеивомъ?

— Да.

— Далече-же, — произнесъ онъ и, отложивъ ложку, перекрестился.—Спасибо, хозяйка.

— А вы откуда родомъ?

— Мы-то? Мы калуцкіе.

— А здѣсь давно?

— Здѣсь-то... Да ужь, какъ тебѣ сказать, годовъ десятка полтора будетъ.

— Давно!—вырвалось у меня невольно.

— А мнѣ, такъ будто и недавно. Поживешь самъ годовъ съ пятокъ, а тамъ и не замѣтишь... Объявляли, скажемъ, манифесты. Мнѣ хоть сейчасъ, ступай куда хошь, хоть въ Иркутской... Да куда пойдешь? Далеко!

Мнѣ опять вспомнился Степанъ, выбѣжавшій изъ каторги, прошедшій съ Марусей всю Сибирь, и я съ невольнымъ жуткимъ чувствомъ посмотрѣлъ на этого человѣка, напоминавшаго обомшлѣлый пенъ, выкинутый волной на непривѣтливую отмель.

Онъ вынулъ изъ кармана кисеть и трубку и потомъ взялъ изъ пепелища горячій уголь, который, казалось, нисколько не жегъ его руку...

— Куда пойдешь?—сказалъ онъ, выпуская дымъ изъ рта, и мнѣ стало еще болѣе жутко отъ этой безнадежности, потерявшей даже свою геречь... — Нѣтъ, братъ, попалъ сюда, тутъ и косточки сложишь...

Онъ посмотрѣлъ на меня изъ-за клубовъ дыма, и какая-то мысль залегла гдѣ-то въ неясной глубинѣ его сѣрыхъ глазъ.

— Этакой же вотъ Ермолаевъ былъ, когда мы съ нимъ въ дальномъ улусѣ встрѣтились. Молодой... Я, говорить, здѣсь не заживусь... Не зажился: теперь ужь борода сѣдая...

И онъ опять посмотрѣлъ на меня.

— Вы это о какомъ Ермолаевѣ говорите? О Петрѣ Ивановичѣ?—спросилъ я.

— Ну, ну, знакомцы видно?

— Встрѣчались.

Онъ откинулся спиной на пенъ и принялъ позу человѣка, наслаждающагося отдыхомъ.

— Да... жили мы съ нимъ, — сказалъ онъ, вспоминая что-то.—Душевный человѣкъ. Ну! чудакъ... А не говорилъ онъ тебѣ про меня?

— Нѣтъ, не говорилъ...

— Про Тимоху-то?.. Какъ мы съ нимъ въ улусѣ землю зачали пахать?

— Нѣтъ, не говорилъ. А вы расскажите сами.

— Рассказать тебѣ?.. Пожалуй, еще не повѣришь...

— Расскажи, — вдругъ тихо и застѣнчиво вмѣшалась Маруся...

— Любитъ, — сказалъ Тимофей, усмѣхнувшись въ сторону Маруси. — Все одно — сказку ей рассказывай...

Онъ затынулся махоркой, посмотрѣвъ къверху, гдѣ тихо качались верхушки лиственницъ и плыли бѣлыя облака, и сказалъ:

— Да... и вѣрно, что сказка. Поди, въ нашей деревнѣ тоже не повѣрятъ, какіе народы есть у бѣлаго царя. Значить... пригнали меня въ наслегъ, въ самый дальней по округѣ. А Пѣтра-то Иванычъ тамъ уже. Сидитъ... въ юрешкѣ въ махонькой, да книжку читаетъ...

Въ глазахъ рассказчика мелькнулъ чуть замѣтный насмѣшливый огонекъ.

— Ну, я, конечно, русскому человѣку радъ: „Здравствуйте, говорю, ваше благородіе“. Потому вижу: обличье барское. — „Какое, говоритъ, я благородіе. Такой же, говоритъ, жиганъ, какъ и вы“. — Ну, это, говорю, спасибо на добромъ словѣ. А какъ васъ величать? — „Пѣтра, говоритъ, Иванычъ. А васъ?“ — А я, говорю, Тимофей, просто сказать, Тимоха, дѣло мое мужицкое. — „Нѣтъ, говоритъ, не идетъ это“... Чудакъ!.. Такъ и пошло у насъ: я ему — Пѣтра Ивановичъ... А онъ мнѣ: Тимофей Аверьяновичъ!.. А генеральской сынъ... Ну, хорошо. Напоилъ меня чаемъ, потомъ сѣлъ на оронѣ, смотритъ на меня. Я на него смотрю... „Что же, говоритъ, теперь мы съ тобой, Тимофей Аверьянычъ, дѣлать будемъ?“ — Не знаю, говорю, Пѣтра Ивановичъ. Кабы такъ что лошадь, да соха, да сѣмены, — землю бы пахать, чего болѣ! Да, вишь, нѣтъ ничего. Палкой ее не сковыряешь. — „Это бы, говоритъ, ничего. Объ лошади дѣло малое, соху, пожалуй, тоже, — хотъ далеко, — достанемъ. Да я сроду не пахиваль“. — Это, говорю, ничѣго. Ты не умѣешь, я умѣю. Уродить Богъ, оба сыты будемъ. Земли, слышь, много, земли, я поглядѣлъ, хороша.

Въ это время издадека донесся звукъ выстрѣла.

— Пострѣливаетъ твой-то... хозяинъ, — сказалъ Тимоха съ юморомъ, обратясь къ Марусѣ. Мнѣ показалось, что по лицу молодой женщины прошла какая-то тѣнь.

— Ну, — продолжалъ Тимофей, — купилъ онъ лошадь, за сошникомъ да лемехомъ за двѣсти верстъ смахаль. Сладилъ я соху, выбрали мѣстечко подъ лѣсомъ. Здѣсь лѣсъ хорошій, сладкій. У сосны, братъ, прямо тебѣ скажу, никогда не паши, потому — сосновая игла ѣдучая. А лиственъ много слаще... Поѣхаль мой Пѣтра Иванычъ за сѣменами къ скопцамъ, а

туть какъ разъ и ударъ дождикомъ, да те-еплымъ. Снѣгъ-отъ мигомъ съѣло, пошла изъ земли трава. Такъ тебѣ и лѣзеть, все одно на опарѣ. Ну, думаю: когда такъ, то видно зѣвать нечего. Помолился, да на зорькѣ выѣхалъ съ сошкой.. Налей-ка ты мнѣ, хозяйка, еще чашечку.

Марья налила въ чашку густого кирпичнаго чаю, подала Тимофею и тотчасъ-же усталилась въ него своими странными черными глазами. Тимофей налилъ чай на блюде и поставилъ на траву, рядомъ съ собой.

— Побился я этотъ день порядочно,—продолжалъ онъ,—земля-те сроду не пахана, конь якутской дикой: не то что на него надѣяться: чуть зазѣвался, ужъ онъ норовитъ порскнуть въ лѣсъ, да и съ сохой. Известно: каковы хозяева, такова и животная. Ну, однако, обломалъ я его: руки возжами мало изъ плечь не вытянулъ, а всетаки къ вечеру съ четверть десятины мѣста отпасталъ. Посмотрѣлъ на пашенку,—сердце въ груди взыграло: значить, сподобилъ Господь въ пустынѣ пашенку поднять. Лежитъ моя полоска на взлобочкѣ — бархатъ... Однако; пора пришла и шабашить. Дѣло субботнее: въ нашей, моль, деревнѣ, пожалуй, уже и къ вечернямъ ударили. И вѣдь вотъ, братецъ мой, чудесное дѣло: только я это подумалъ,—слышу,—и вѣрно ударило. Разъ, другой, третій... этакъ вотъ изъ-за лѣсу наносить,—звонъ да и только. Снялъ я шапку лобъ перекрестить, да вдругъ и вспомнилъ: съ нами сила крестная. Да вѣдь здѣсь и церкви-то версть, почитай, на пятьсотъ нѣту!..

Изъ груди Маруси вылетѣлъ долгій вздохъ.

— Ну, пошабашилъ всетаки, пріѣхалъ домой. А изба наша, тебѣ сказать—юртенка недалече была за передѣскомъ, съ версту не болѣе отъ пашни. Подѣзжаю,—а у моей юрты два вершныя якута сидятъ. Лошадей къ лѣсинѣ подвязали, сами на бревнѣ бесѣдуютъ, дожидаются. Раньше тоже тутъ все вертѣлись. Я, значитъ, пашу, а они, ухастые, кругомъ рыщутъ да смотрятъ. Ну, мнѣ, будто, ни къ чему: не на разбой выѣхалъ, на пашню. Смотри, кому охота. Подѣхалъ, честь честью, здороваются, я тоже. Зовутъ на мунякъ (сходка) къ тойоншѣ. Сказать вамъ по порядку, такъ была въ нашемъ улусѣ за начальника баба, по ихнему тойонша, вдова родовича богатыря. Ну, язва! Все, значить, что мы ни дѣлаемъ, ей известно. Я борозду кончилъ, другую веду, ужъ ей обсказали. И значить, зоветъ меня къ себѣ. Ладно, мнѣ что: зоветъ, надо идти. На утро, праздничное дѣло, рубаху чистую надѣлъ, иду къ ней, потому всетаки, какъ бы тамъ ни было, начальница считается. Прихожу. Кругомъ юрты ло-

шадей навязано много. Сама на дворѣ сидить... Поклонился я, сталъ въ сторонѣ: что, молъ, будетъ. Забалакали они по своему, ничего, будь прокляты, не поймешь. Потомъ зоветъ меня ближе.

„— Ты, говорить, нюча (русскій), чего это дѣлать задумаль?

„— Ну, молъ, извѣстно чего: землю пашу. Значить, я ей говорю по своему, по руськи, а старикъ якуть переводить.

„— Не моги, говорить, ты этого дѣлать. Мы, говорить, хотъ объ этомъ заведеніи слыхивали, но однако, въ нашихъ мѣстахъ не дозволимъ.

„— Какъ-же, я говорю, не позволите? Ежели намъ земли отведена, то, стало быть, я ей хозяйинъ, глядѣть мнѣ на нее, что-ли?

„— Землю, говорить, мы тебѣ отвели для божьяго дѣла: коси, что Богъ самъ на ней уродить, а портить не моги.

„Вотъ и подумайте, какое ихнее понятіе! Ну, однако, вижу, стоятъ кругомъ родовичи, ждуть, что ихней бабѣ русскій человѣкъ можетъ отъ себя соотвѣтствовать.—Это, я говорю, вы вполне неправильно объясняете, потому какъ Богъ велѣлъ трудиться.

„— Трудись, говорить. Мы тоже, говорить, безъ труда не живемъ. Когда уже такъ, то согласіе мы тебѣ дать корову и другую съ бычкомъ, значить, для разводу. Коси сѣно, корми скотину, пользуйся молокомъ и говядиной. Только грѣха, говорить, у насъ этого не заводи.

„— Какой грѣхъ?—говорю.

„— Какъ-же, говорить, не грѣхъ? Богъ, говорить, положилъ такъ, что на тебѣ, напримѣръ, сверху кожа, а подъ ней кровь. Такъ-ли?

„— Такъ, молъ, это правильно.

„— Ежели тебѣ кожу снять, да въ нутро положить, а внутренность, напримѣръ, обернуть наружу, ты что скажешь?

„— Это, говорю, вы надо мной, руськимъ человѣкомъ, не можете никакъ...

„— А ты, говорить, что надъ землей-то дѣлаешь? Вы, говорить, руськіе люди, больно хитры,—Бога не боитесь... Богъ, значить, положилъ такъ, что трава растетъ кверху, черная земля внизу и коренье въ землѣ. А вы, говорить, божье дѣло навыворотъ произвели: коренье кверху, траву закапываете. Земля-те изболить, травы родить намъ не станеть, какъ будемъ жить?—Вотъ видишь ты, куда повернула! Говори ты съ ними, съ поганью. Если бы я грамотный былъ... Послѣ-то ужъ мнѣ сказалъ священникъ: „Ты бы, говорить, имъ отъ писанія: въ потѣ лица твоего сѣси хлѣбъ. А откуда хлѣбу

быть, ежели землю не пахать“. Видишь ты вотъ: на все слово есть, да не всегда его вспомнишь... Такъ вотъ и я, на тотъ случай ничего не могъ насупротивъ сказать, сбила меня колдунья словами. „Мнѣ, говорю, съ вами и говорить ненадобно: потому вы не тѣ слова выражаете... У васъ свой климатъ, значить, якутской, у меня климатъ руськой. Я отъ своего климату не отстану, и Пётра Иванычъ тоже“. Признаться, вступило въ меня въ ту пору маленько, потому досада. Сердце загорѣлось, главное дѣло, что отвѣтить не могу. Потолкалъ кое-кого порядочно, даромъ, что много ихъ было. „Вотъ, говорю, подлецы вы, нечисть лѣсная! Сколько васъ ни есть, выходи!“ Извѣстно, народъ не хлѣбный: молоко да мясо, да рыба тухлая. А у насъ съ Петромъ-то Иванычемъ хлѣбъ всетаки не переводился. Хлѣбному человѣку—десяте-рыхъ на одну руку...“

— Ну, и что-же?

— Ну, порастолкалъ, ушелъ. Думаю такъ,—что жизни рѣшусь, а отъ своего, значить, климату не отступлюсь. Только бы Пётра Иванычъ скорѣе вернулся. Пришелъ домой, лошадь напоилъ-накормилъ, Богу на солнушко помолился, спать легъ пораньше, топоръ около себя на случай положилъ... Ну, правду скажу: ночь безъ малаго всю не спалъ: только задрямишь,—почудится что-нибудь... будто крадется кто... Одинъ вѣдь,—кругомъ лѣщице... при томъ еще, какъ всетаки окриванилъ я одного, другого, такъ какъ бы, думаю, по этому случаю грѣха не сдѣлали... Концы тоже спрятать недолго. Приѣдетъ мой Пётра Иванычъ, гдѣ, молъ, Тимофей-то свѣтъ Аверьянычъ мой... А Тимохи, ау!—и слѣдъ простыль.

Онъ остановился, чтобы отхлебнуть чаю. Видимо было, что собственный рассказъ расшевелилъ Тимоху. Глаза его искрились, лицо стало тоньше и умнѣе... У каждаго изъ насъ есть свой выдающийся періодъ въ жизни, и теперь Тимофей развѣртывалъ передъ нами свою героическую поэму.

Мой взглядъ случайно упалъ на Марусю. Она какъ будто застыла вся въ волненіи и ожиданіи.

— Въ силу солнышка дождался,—продолжалъ Тимофей.— Ну, ободняло, выкатилось солнушко, всталъ я, помолился, лошадь напоилъ въ озерѣ, запрегъ. Выѣзжаю изъ-за лѣсу, къ пашенкѣ... Что, молъ, за притча: пашни-то, братцы, моей какъ не бывало.

Изъ груди Маруси вырвался долгій вздохъ, почти стонъ... Ея лицо выражало необыкновенное, почти страдальческое участіе, и мнѣ невольно вспомнилась... Дездемона, слушавшая рассказы Отелло объ его похожденияхъ среди варваровъ. Ти-

мофей, съ неожиданнымъ для меня инстинктомъ рассказчика, остановился, поковырялъ въ трубкѣ и продолжалъ, затаившись:

— Съ нами, моль, крестная сила! Гдѣ-же пашня моя? Заблудился, что-ли? Такъ нѣтъ: мѣсто знакомое и приколь стоитъ... А пашни моей нѣтъ, и на взлобочкѣ трава оказывается зеленая... Не иначе, думаю, колдовство. Нашаманили, проклятая порода. Потому—шаманы у нихъ, самъ знаешь, язвительные живутъ, сила у дьяволовъ большая. Навѣшаетъ сбрую свою, огонь въ юртѣ погасить, какъ вдарить въ бубень, пойдетъ бѣсноваться да кликать, тутъ къ нему нечисть эта изъ-за лѣсу и слетается.

— Маты божая!—простонала Маруся.

Тимофей, довольный, посмотрѣлъ на нее, и его сѣрые глаза еще больше заискрились...

— Сотворилъ я крестное знаменіе, подѣзжаю всетаки поближе... Что-жъ ты думаешь: она, значитъ, бабища эта, ночью съ воскресенья на понедѣльникъ народъ со всего наслег сбила... Я сплю, ничего не чаю, а они, погань, до зари надъ моей полоской хлопчуть: всѣ борозды, какъ есть до чиста руками назадъ повернули: травой, понимаешь ты, кверху, а кореньемъ книзу. Издали-то какъ быть дуговина. Примята только.

Маруся засмѣялась. Смѣхъ ея былъ рѣзкій, звонкій, прерывистый и непріятно-болѣзненный. Нѣсколько разъ она какъ-то странно всхлинула, стараясь удержаться, и, глядя на нервную судорогу ея лица, я понялъ, что все пережитое не легко далось этой молодой красавицѣ. Тимофей посмотрѣлъ на нее съ какимъ-то снисходительнымъ вниманіемъ. Она вся покраснѣла, вскочила и, собравъ посуду, быстро ушла въ лѣсъ. Ея стройная фигура торопливо, будто убѣгая, мелькала между стволами. Тимофей проводилъ ее внимательнымъ взглядомъ и сказалъ:

— Э-эхъ, Марья, Марья! Пошла теперь... захоронится куда ни-то, въ самую глушь.

— Отчего?—спросилъ я.

— Поди ты! Нельзя смѣяться-то ей. Какъ засмѣется, то потомъ плакать. Объ землю иной разъ колотится... Порченная, что-ли, шутъ ее разбереть.

Я не могъ разобрать, сочувствіе слышалось въ его тонѣ, сожалѣніе или равнодушное презрѣніе къ порченной бабѣ. И самъ онъ казался мнѣ неопредѣленнымъ и страннымъ, хотя отъ его безхитростнаго рассказа о полоскѣ, распаханной днемъ, надъ которой всю ночь хлопчуть темныя фигуры дикарей,

на меня повѣяло чѣмъ-то былиннымъ... Что это за человекъ,—думалъ я невольно:—герой своеобразнаго эпоса, сознательно отстаивающій высшую культуру среди низшей, или автоматъ-пахарь, готовый при всѣхъ условіяхъ приняться за свое нехитрое дѣло?

Нѣсколько минутъ я ворочалъ въ головѣ этотъ вопросъ, но отвѣта какъ-то ни откуда не получалось. Только легкій протяжный и какъ будто мечтательный шорохъ тайги говорилъ о чемъ-то, обѣщавъ что-то, но вмѣсто отвѣта вѣялъ лишь забвеніемъ и баюкающей дремотой... И фигура Тимохи глядѣла на меня безъ всякаго опредѣленія...

— Тимофей,—обратился я къ нему послѣ нѣкотораго молчанія.—Что же, послѣ этого вы бросили хозяйничать?

— Гдѣ бросить. Нѣшто можно это, чтобы бросить... Спыхали опять, заборонили, я ружьемъ пригрозилъ. Ну, все-таки одолѣли, проклятая сила. Главное дѣло,—засѣдателя купили. Перевели насъ съ Петромъ Ивановичемъ въ другой удусъ. Тутъ ничего, жили года два...

Въ глазахъ его опять засвѣтился насмѣшливый огонекъ, и онъ сказалъ послѣ короткаго молчанія:

— Потомъ разошлись. Не вышло, видишь ты, у насъ дѣло-то. Я ему, значить, говорю: ты, выходишь, Пѣтра Ивановичъ, хозяинъ, я работникъ. Положь жалованье. А онъ говоритъ: я на это не согласенъ. Мы, говоритъ, будемъ товарищи, все пополамъ.

— Ну, и что-же?—спросилъ я съ интересомъ.

— Да что: говорю,—не вышло.

Онъ поглядѣлъ передъ собой и заговорилъ отрывисто, какъ будто исторія его отношеній къ Ермолаеву не оставила въ немъ цѣльнаго и осмысленнаго впечатлѣнія...

— Отдалъ Ивану телку... шести мѣсяцевъ. Я говорю: ты это, Пѣтра Ивановичъ, зачѣмъ телку отдалъ?—„Да вѣдь у него, говорить, нѣтъ, а у насъ три“. — Хорошо, я говорю. Пуцай же у насъ три. Мы наживали... Онъ себѣ наживи! Сердится! Ты... говорить... мужикъ, значить, хресьянинъ. Должонъ, говорить, понимать.—Ну, я говорю, ты, Пѣтра Ивановичъ, ученый человекъ, а я телку отдавать не согласенъ... Ушелъ отъ него... Къ князю въ работники нанялся...

— А за что вы сюда попали?—спросилъ я, видя, что этотъ предметъ, очевидно, исчерпанъ.

— Мы-то?— Онъ взглянулъ на меня съ оттѣнкомъ недоумѣнія, какъ человекъ, которому трудно перевести вниманіе на новый предметъ разговора.

— Мы, значить, по своему дѣлу, по хресьянскому. Глав-

ная причина изъ-за земли. Ну, и опять, видишь ты, склека. Они, значить, такъ: мѣръ, значить, этакъ. Губернаторъ выѣзжалъ. Вы, говорить, сроки пропустили... Мы говоримъ: „Земля эта наша, дѣды пахали, кого хошь спроси... Зачѣмъ намъ сроки?“ Ничего не примааетъ, никакихъ то-есть резоновъ...

— Жена, дѣти остались у васъ на родинѣ?

— То-то, вотъ видишь ты. Жена, значить, померла у меня первымъ ребенкомъ. Дочку-то бабушка взяла. Мѣръ, значитъ, и говорить: ты, Тимоха, человекъ, выходитъ, свободной. Ну, оно и того... и сошлось этакъ-то вотъ.

Онъ, очевидно, не хотѣлъ вдаваться въ дальнѣйшія подробности, да впрочемъ, и безъ разсказа дѣло было ясно. Мѣръ, безсильный передъ формальнымъ правомъ, рѣшилъ прибѣгнуть къ „своимъ средствамъ“. Тимофей явился исполнителемъ... Красный пѣтухъ, посягательство на казенные межевые знаки, можетъ быть, ударъ слегой „при исполненіи обязанностей“, можетъ быть, выстрѣлъ въ освѣщенное окно изъ темнаго сада...

— Вы, значить, попали сюда за мѣръ,—сказалъ я.

— То-то... выходитъ такъ, что за мѣръ... Видишь ты вотъ.

— А мѣръ вамъ не помогаетъ въ ссылкѣ?

Онъ посмотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ.

— Мѣръ-отъ? Да, я чаю, наши и не знаютъ, гдѣ моя головушка.

— Да вы развѣ писемъ не писали?

— Я, братъ, не грамотный. Въ Рассеѣ писалъ мнѣ одинъ человекъ, да, видно, не такъ что-нибудь. Не потрафилъ... А отсель и письмо-то не дойдетъ. Гдѣ поди! Далеко, братецъ мой! Гнали, гнали—и-и, Боже ты мой!.. Каки письма! Это, годовъ съ пять, человекъ тутъ попадалъ, отъ нашей деревни недалёкой. „Скажите, говорить, Тимофею, дочку его замужъ выдали“... Правда-ли, нѣтъ-ли... Я, братъ, и не знаю. Можетъ зри.

Онъ сидѣлъ рядомъ со мной, завязывая обувь, и говорилъ удивительно равнодушно... Я глядѣлъ на него искоса, и мнѣ казалось только, что его выцвѣтшіе отъ зноя и непогодъ сѣрые глаза слегка потускнѣли. Нѣкоторое время мы оба помолчали. Думалъ ли онъ о далекой родинѣ, о дочкѣ, вышедшей невѣдомо за кого замужъ, о мѣрѣ, который не знаетъ, гдѣ теперь „свободный человекъ“, Тимоха, пострадавшій за общее дѣло. Можетъ быть, теперь никто, даже родная дочь не вспоминаетъ о немъ въ родной деревнѣ, гдѣ такіе же Тимохи въ эту самую минуту тоже ходятъ за своими сохами на своихъ пашняхъ. И кто-нибудь пашетъ полоску Тимохи,

давно поступившую въ мірское равненіе, какъ выравнивается кругъ на водѣ отъ брошеннаго камня... Былъ Тимоха, и нѣтъ Тимохи... Только развѣ у старухи матери порой защемишь сердце и слеза покатится изъ глазъ. И то едва-ли: старуха, пожалуй, на погостѣ...

— То-то,—сказаль онъ, помолчавъ.—Грѣшимъ, грѣшимъ... А много-ли и всего-то земли надо? Всего, братецъ, три аршина.

Я понялъ, что для Тимохи не было утѣшенія и въ сознаниі, что онъ пострадалъ за общее дѣло: міръ оставался міромъ, земля землей, грѣхъ грѣхомъ, его судьба ни въ какой связи ни съ какими большими дѣлами не состояла...

И опять смутный звонъ лѣса затянулъ для меня всё болѣе опредѣленныя впечатлѣнія.

— Такъ и живете все?—спросилъ я черезъ нѣсколько минутъ.

— Такъ вотъ и живу. въ работникахъ на чужедальной сторонѣ.

— Неужто нельзя было во столько времени устроить своего хозяйства?

Онъ почесаль въ головѣ.

— Оно, скажемъ, того... Просто сказать тебѣ... оно бы можно... И женился бы. Да, видишь ты, слабость имѣю. Денегъ нѣтъ, оно и ничего. А съ деньгами-то горе...

Онъ виновато улыбнулся.

— Четвертый годъ у Марьи живу. Хлѣбъ ѣмъ, чего надо купить... Не обидить... Не баба — золото! — прибавилъ онъ, внезапно оживляясь.—Даромъ, что порченая... Кабы эта баба да въ другія руки...

— А Степанъ?

— Что Степанъ! Вонъ, слышь, пострѣливаетъ. На это его взять. Птицу тебѣ въ летъ сшибетъ, на озерѣ выждетъ, пока двѣ-три въ рядъ выплывутъ,—одной пулькой и снижетъ... Вѣрно!

Онъ засмѣялся, какъ взрослый человѣкъ, рассказывающій о шалостяхъ ребенка.

— Ухорѣзъ, что и говорить. За удалство и сюда-те попалъ. Съ каторги выбѣжалъ, шестеро буряты напали,—самъ другъ отъ нихъ отбился, вотъ онъ какой. Воинъ. Пашня ли ему, братецъ, на умъ? Ему бы съ Абрашкой съ Ахметзяновымъ стагаться—они бы дѣловъ надѣлали, нашумѣли бы до моря, до кіяну... Или бы на приска... На прискахъ, говорить, я въ одинъ день человѣкомъ стану, все ваше добро продамъ и выкуплю... И вѣрно,—давно бы ему на прискахъ либо въ острогъ быть, кабы не Марья.

Онъ помолчалъ и черезъ нѣкоторое время прибавилъ тише:
— Вѣнчаться хочуть... Все она, Марья, затѣваетъ. Они, положимъ, по бродяжеству вродѣ какъ вѣнчаны.

Косая пренебрежительная улыбка мелькнула на его лицѣ, и онъ продолжалъ:

— Кругъ ракитова кусточка, видно... Ну, ей это, видишь ты, недостаточно, желаетъ у попа.

— Да вѣдь онъ бродяга!

— То-то и оно: непомнящій, имени-званія не объясняетъ. Она тоже самое. Ну, да вѣдь... не Рассея. Знаешь самъ, какая здѣсь сторона. Гляди, за бычка и перевѣнчаетъ какой-нибудь.

Онъ неодобрительно вздохнулъ и покачалъ головой.

— А все Марья... Не хочется какъ-нибудь, хочется по хорошему... Ну, да ничего, я ей говорю, у васъ не выдетъ... Хошь вѣнчайся, хошь не вѣнчайся, толку все одно. ничего!.. Слышь, опять выпалилъ...

— А вы, Тимофей, не любите Степана,—сказалъ я.

Онъ какъ будто не понялъ.

— Что мнѣ его любить? Не красная дѣвушка... По мнѣ, что хошь... Хошь запали съ четырехъ концовъ займку...

И, окончивъ обуваніе, онъ всталъ на ноги:

— Нутра настоящаго нѣтъ... человекъ не натуральный. Работать примется, то и гляди, лошадь испортить. Дюжой, дьяволъ! Ломить, какъ медвѣдь. Потомъ бросить, умается... Ра-бот-никъ!

Онъ понизилъ голосъ и сказалъ:

— Это Абрашка-татаринъ пріѣзжалъ. Она его ухватомъ изъ избы... А потомъ поѣхалъ я на болото мохъ брать, гляжу: ужъ они вдвоемъ, Степашка съ татаринкомъ, по степѣ-то вьются, играютъ... Коней мѣнять хочуть. А у Абрашки и конекъ-то, я чаю, краденой.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ уже ходилъ за сохой, внимательно налегая на ручку.

— Ну, ну, не робь,—поощрялъ онъ лошадь,—вылазій, милая, копайся... Н-нѣтъ, вр-решь,—возражалъ онъ кому-то, съ усиленіемъ налегая на соху, когда какой-либо крѣпкій, не перегнившій корень стремился выкинуть желѣзо изъ борозды. Дойдя опять до меня, онъ вдругъ весь осклабился радостной улыбкой.

— Пашаничку на тотъ годъ посеѣмъ. Гляди, кака пашаничка вымахнетъ... Земля-то—сахаръ!

Онъ весь преобразился. Очевидно, въ этой идеѣ потонули для него всѣ горькія воспоминанія и тревоги, которыя я рас-

шевелить своими разспросами... И опять онъ пошелъ отъ меня своей бороздой, ласково покрикивая на лошадь... Скрипѣла соха, слышался трескъ кореньевъ, разрываемыхъ желѣзомъ, и стихійный говоръ лѣса примѣшивался къ моимъ размышленіямъ о Тимохѣ, подсказывая какія-то свои непонятныя рѣчи.

У выхода изъ лѣсу, на самой опушкѣ взглядъ мой остановила странная молодая лиственница. Нѣсколько лѣтъ назадъ деревцо, очевидно, подверглось какому-то нападенію: вѣроятно, какой-нибудь врагъ положилъ свои личинки въ сердцевину, — и ростъ дерева извратился: оно погнулось дугой, исказилось. Но затѣмъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ борьбы, тонкій стволъ опять выпрямился, и дальнѣйшій ростъ шелъ уже безуворизненно въ прежнемъ направленіи: внизу опадали усохшіе вѣтки и сучья, а вверху, надъ изгибомъ буйно и красиво разрослась корона густой зелени.

И мнѣ показалось, что я понялъ тихую драму этого уголка. Такимъ-же стремленіемъ изломанной женской души держится весь этотъ маленькій мірокъ: оно вѣтетъ надъ этой полу-малорусской избушкой, надъ этими прозябающими грядками, надъ молоденькой березкой, тихо перебирающей вѣтками надъ самой крышей (березы здѣсь рѣдки—и ее, вѣроятно, пересадила сюда Маруся). Оно двигаетъ вѣчнаго работника Тимоху и сдерживаетъ буйную удалъ Степана.

IV. Бѣлая ночь.

Матово-бѣлая, свѣжая ночь лежала надъ лугами, озеромъ и спящей избушкой, когда я внезапно проснулся на открытомъ сѣновалѣ.

— Вы не спите?—спросилъ меня товарищъ.

— Недавно проснулся.

— Ничего не слыхали?

— Нѣтъ, а что?

— Мнѣ показалось, будто кто плакалъ. Вѣроятно, хозяйка.

— Можетъ быть, вамъ почудилось?

— Едва-ли. Этотъ Степанъ, должно быть, жохъ. Какъ по вашему?

— Вы съ нимъ были дольше, чѣмъ я. Я только и слышалъ его рассказъ.

— Бродяжья идиллія,—сказалъ онъ саркастически.—Вы уже, конечно, записали... Хотѣлъ бы я знать, есть-ли тутъ хоть слово правды!

— Отчего-же?

— Ну, да я знаю: у васъ они всё „искру проявляютъ“. Вотъ и этотъ еще тоже съ искрой, должно быть.

Онъ приподнялся и посмотрѣлъ на лежавшаго рядомъ Тимоху, который, забывшись лицомъ въ сѣно, храпѣлъ и вздрагивалъ, точно въ агоніи. Очевидно, этотъ храпъ не давалъ спать моему товарищу и, кажется, разбудилъ и меня. Долженъ сознаться, что и въ позѣ Тимохи, и въ его богатырскомъ храпѣ мнѣ тоже чудилось въ эту минуту какое-то сознательное, самодовольное нахальство, какъ будто насмѣшка надъ нашей нервной деликатностью.

Въ тонѣ моего товарища я уловилъ знакомую ноту. Пустынные мѣста и постоянное, ограниченное общество, внѣ родственныхъ и живыхъ интересовъ, развиваютъ особое, болѣзненное настроеніе. Разнообразіе человѣческой личности развертывается только навстрѣчу разнообразію среды: безъ этого она застаивается и тускнѣетъ. Въ такомъ настроеніи—бородавка на щекѣ постоянного товарища, знакомый тонъ его голоса, слишкомъ хорошо извѣстныя мнѣнія—вызываютъ глухое нерасположеніе, даже злобу. Принадки глубокой ипохондріи—специфическая болѣзнь пустынныхъ мѣстъ,—и мы, по взаимному договору, старались не тревожить другъ друга въ такія минуты.

Поэтому, не отвѣчая ни слова на саркастическія замѣчанія товарища, въ другое время относившагося къ людямъ съ большимъ добродушіемъ и снисходительностью, я сошелъ съ сѣновала и направился къ лошадямъ. Онѣ ходили въ загородкѣ и то и дѣло поворачивались къ водѣ, надъ которой, выжатая утреннимъ холодкомъ, висѣла тонкая пленка тумана. Утки опять сидѣли кучками на серединѣ озера. По временамъ онѣ прилетали парами съ дальней рѣки и, шлепнувшись у противоположнаго берега, продолжали здѣсь свои ночныя мистеріи...

Я пустилъ лошадей къ водѣ. Обѣ онѣ вошли въ озеро по грудь и пили съ жадностью, порой разбрызгивая воду, какъ бы сознательно наслаждаясь ея изобиліемъ. По временамъ онѣ подымали морды и начинали прислушиваться къ чему-то, въ тишинѣ бѣлой ночи. Я тоже невольно вслушался. Изъ-подъ тихаго шелеста тайги чуть слышно проступалъ какой-то протяжный далекій звонъ... По мѣрѣ того, какъ чуткое ухо ловило его яснѣе, онѣ принимали все болѣе опредѣленные, хотя и призрачныя формы: то будто мѣрно звенѣлъ знакомый съ дѣтства колоколь, въ родномъ городѣ, то гудѣлъ фабричный свистокъ, который я слышалъ изъ своей студенческой квартиры въ Петербургѣ... А за ними вставалъ цѣлый рядъ

такихъ-же призраковъ-звуковъ, странно тревожившихъ душу какимъ-то щемющимъ очарованіемъ.

Избушка тихо спала, тайга спокойно шевелилась и вздыхала. И вдругъ, какое-то жуткое по своей опредѣленности ощущеніе,—безсознательный выводъ изъ накопившихся впечатлѣній,—встало въ моемъ воображеніи... Что слышится обитателямъ этого угла въ голосахъ пустынной ночи, или когда кругомъ завоетъ зимняя метель? Какіе призраки шлетъ имъ эта чуткая, будто насторожившаяся тишина пустыни? Куда она зоветъ ихъ, къ чему она ихъ манитъ, что обѣщаетъ? Удастся-ли Марусѣ удержать завязавшуюся жизнь этого поселка, или правъ лаконическій Тимоха со своими пессимистическими предсказаніями: все это не настоящее, разъ сломанной душѣ уже не выпрямиться и чуткая враждебность пустыни одолѣетъ ея усилія?..

Въ избушкѣ скрипнула дверь. На порогъ показался Степанъ. Онъ постоялъ нѣсколько секундъ, посмотрѣлъ на небо, потомъ лѣниво пошелъ въ лѣсъ, захвативъ предварительно узду. Черезъ нѣсколько минутъ послышался рѣзкій топотъ, и Степанъ выѣхалъ изъ лѣсу на буланомъ жеребчикѣ. Лошадь бѣжала какъ-то капризно и рѣзво: подѣхавъ къ берегу озера, Степанъ спрыгнулъ на бѣгу и, напоивъ коня, привязалъ его къ городбѣ. Когда затѣмъ онъ опять подошелъ къ берегу, глаза его были тусклы, точно чѣмъ-то завѣшены. Онъ остановился и стоялъ надъ водой, молча и неподвижно. Вѣроятно, его тоже захватили таинственные голоса пустынной ночи. Черезъ минуту онъ вздрогнулъ, какъ будто отъ холода...

— Свѣжо!—сказалъ я, чтобы привлечь его вниманіе.

Онъ оглянулся, но какъ будто даже не сразу замѣтилъ меня. Потомъ также машинально подошелъ и сѣлъ рядомъ со мной на бревнѣ. Мнѣ показался онъ страннымъ, какъ будто даже больнымъ. Вчера въ немъ было замѣтно оживленіе человѣка, подтянувагося навстрѣчу новому знакомству. Теперь онъ покорно, безъ мысли отдавался какому-то внутреннему настроенію...

По верхушкамъ лѣса потянулся гулъ отъ предутреннаго вѣтра... Деревья сначала заговорили глубокимъ хоромъ, потомъ гулъ рассыпался на отдѣльные голоса, пошептался и началъ стихать.

Степанъ повернулся въ сторону лѣса, какъ только что на мой окликъ.

— Вѣтеръ,—сказалъ онъ съ тѣмъ-же малоосмысленнымъ выраженіемъ и вдругъ посмотрѣлъ на меня взглядомъ, полнымъ глубокой тоски,

— Мочи нѣтъ, — сказалъ онъ съ приливомъ внезапной откровенности. — Повѣрите, никакой возможности моей...

— Что же такое, Степанъ? — спросилъ я съ невольнымъ участіемъ.

— Выйдешь на озеро... все эта тайга шумить... Кругомъ пусто... Да еще вотъ эти проклятыя.

Съ неожиданной яростію онъ схватилъ комъ сухой грязи и кинулъ въ туманъ, лежавшій надъ озеромъ. Тамъ, точно сквозь матовое стекло, виднѣлись неясные, увеличенные контуры птицъ. Когда комокъ шлепнулся среди нихъ, въ туманной дымкѣ слегка зашевелились грузныя очертанія...

Однако, рѣзкое движеніе и плескъ на озерѣ, повидимому, нѣсколько привели его въ себя. Онъ сѣлъ опять и опустилъ голову на руки.

— Трудно здѣсь жить, господинъ...

— Ну, что-жъ, Степанъ. Вамъ бы и въ самомъ дѣлѣ на пріиски.

— Маруся не идетъ.

— Ну, вы бы на зиму уходили, а лѣтомъ опять сюда... Зарабатывали бы тамъ, и въ хозяйствѣ подспорье. А здѣсь Маруся съ Тимофеемъ справится.

Онъ повернулся ко мнѣ и долго глядѣлъ въ глаза, какъ будто что-то выпытывая.

— Нѣтъ, господинъ... Это нельзя... Это уже значить... конечно...

Потомъ помолчавъ, онъ спросилъ:

— А вы Тимофея откуда знаете?

— Вчера былъ у него на расчисткѣ.

— И Марья тамъ была?

— Была.

— Ну-ну! Вы не глядите на него, на Тимофея. Парень не простякъ...

И опять ко мнѣ повернулись свѣтлые глаза на еще болѣе потемнѣвшемъ лицѣ. Въ нихъ теперь ясно проступило выраженіе ненависти. Я подумалъ, что это та-же знакомая намъ болѣзнь пустынныхъ мѣстъ и ограниченнаго общества... Только враждебныя чары пустыни произвели уже болѣе глубокия опустошенія въ буйной и требующей сильныхъ движеній душѣ. Въ эту минуту изъ троихъ обитателей займки къ строенію Степана я почувствовалъ наиболѣе близости и симпатіи.

Опять скрипнула дверь, показалась Маруся. Потомъ неуклюжая фигура Тимохи сползла по лѣстницѣ съ сѣновала. Маруся принялась доить коровъ, Тимоха запретъ лошадей и

привезъ къ огороду огромное полубочье воды для поливки. Замычали коровы и телята, на заимкѣ начинался день... Небо надъ верхушками горъ слабо окращивалось, но мы находились еще въ длинной тѣни, покрывшей всю равнину... Кромѣ того, по небу развѣсилась тонкая подвижная пелена тумана...

Часа черезъ 1½ мы выѣхали съ заимки втроемъ. Степанъ ѣхалъ съ нами. У его сѣдла висѣли большіе кожаные переметы,—очевидно, его путь былъ не близокъ. Лицо его было опять спокойно, даже весело.

Доѣхавъ до проѣзжей дороги, онъ указалъ намъ наше направление, а самъ повернулъ къ рѣкѣ. Черезъ нѣкоторое время, мы увидѣли на другой сторонѣ ея небольшую темную точку, подымавшуюся по мѣловымъ уступамъ крутого берега.

— Зачѣмъ это его понесло за Нельканъ?—задумчиво спросилъ мой товарищъ.

— А вы знаете, что онъ поѣхалъ туда?

— Да. Говорить—къ попу. Вреть, должно быть! Какія у него дѣла съ попами? Правду сказать, подозрительна мнѣ вся эта идиллія.

— Думаю, что вы ошибаетесь, — сказалъ я, не вступая, однако, въ споръ. Мнѣ вспомнились слова Тимофея о желаніи Маруси. Въ той сторонѣ, куда ѣхалъ теперь Степанъ, лежали дальніе якутскіе улусы, а затѣмъ—тунгусская пустыня, въ которой нѣтъ ни церквей, ни приходовъ въ нашемъ смыслѣ. Кое-гдѣ только, въ тайгѣ, стоятъ наглухо заколоченныя часовенки, открывающіяся къ рѣдкимъ пріѣздамъ священниковъ. Эти бродячіе пастыри постоянно объѣзжаютъ свое стадо, разсѣянное на невообразимыхъ пространствахъ, вѣнчая супруговъ, у которыхъ давно бѣгаютъ дѣти, крестя подростковъ и отпѣвая умершихъ, кости которыхъ давно истлѣли въ землѣ. Удаленность отъ епархіи и постоянныя узаконенныя обычаемъ отступленія отъ каноническихъ правилъ дѣлаютъ ихъ особенно снисходительными къ разнаго рода формальнымъ препятствіямъ, и я догадался, что, вѣроятно, Степанъ направляется къ такому попу, прикочевавшему быть можетъ къ границѣ своего огромнаго прихода, чтобы удовлетворить завѣтному желанію Маруси.

Скоро темная точка на горной тропѣ исчезла... Наши лошади бѣжали опять колеями якутской дороги, срывая сочную траву съ луговыми цвѣтами...

V. Война.

Я ничего не узналъ о результатѣ этихъ переговоровъ.

Степанъ и Марья были два раза въ слободѣ и остано-

вливались у насъ, какъ уже знакомые. Степанъ оживился на людяхъ, Маруся была по прежнему молчалива и необщительна. Годъ выдался плохой, хлѣбъ во многихъ мѣстахъ побило райними заморозками; но у Маруси все уродилось хорошо. Ея огурцы, которые она солила какимъ-то особеннымъ способомъ, пользовались извѣстностью даже въ городѣ, и случилось — за ними прѣѣзжали нарочные казаки за полтораста верстъ. Этому не слѣдуетъ удивляться: разстоянія совсѣмъ не пугаютъ въ этихъ дальнихъ, рѣдко населенныхъ мѣстахъ. Одинъ американскій путешественникъ по Сибири съ удивленіемъ рассказывалъ въ своей книгѣ, какъ однажды около Колымска его нагналъ посланный губернаторомъ казакъ, чтобы почтительно вручить ему портъ-сигаръ и кругъ мороженнаго масла, забытые имъ на станціи въ Якутскѣ. А отъ Якутска до Колымска болѣе 1½ тысячъ верстъ!

Впрочемъ, по большей части Маруся сбывала свои продукты поляку-торговцу, который торопился доставить ихъ пріискателямъ. Дѣла свои она вела спокойно, дѣловито и твердо.

— Кремень баба! — говорилъ объ ней торговецъ, при чемъ въ тонѣ его слышалось благоволеніе къ красивой смуглянкѣ и уваженіе къ хорошей хозяйкѣ.

Степанъ безъ особаго дѣла бродилъ по слободѣ, заходилъ къ татарамъ и прицѣнивался къ лошадямъ, дѣлая видъ, что хочетъ вымѣнять своего буланка. Иной разъ онъ возвращался къ ночи чуть-чуть набеселѣ, но не пьяный. Вообще и прісматривался къ своимъ гостямъ и спрашивалъ себя съ удивленіемъ: неужели то, что мелькнуло передо мной въ бѣлую ночь на дальнемъ озерѣ — только моя фантазія?..

Между тѣмъ, незамѣтно подходила осень. Уже съ августа утренники крѣпко стискивали землю. Къ срединѣ дня она едва успѣвала оттаять подъ косыми лучами солнца, какъ ужъ съ раннихъ сумерекъ ее опять начинало примораживать. Воздухъ былъ чистъ и прозраченъ, звуки неслись отчетливо, ясно, далеко, копыта лошадей звонко стучали по голой, но уже скованной землѣ...

Въ одинъ изъ такихъ дней телѣга Маруси и Степана опять остановилась у нашихъ воротъ. День былъ холодный и ясный, кромѣ того, была суббота, и на улицѣ виднѣлись кучки татаръ. Прямо противъ нашего двора, на заваленкѣ сидѣлъ мой сосѣдь, татаринъ Абрашка, тотъ самый, котораго Маруся выпроводила отъ себя ухватомъ. Онъ былъ навеселѣ и какъ-то иронически обликнулъ Степана, когда тотъ сталъ снимать жерди нашихъ воротъ. Въ татарской фразѣ мнѣ слышалось также имя Маруси.

Молодая женщина сохранила презрительное молчаніе. По ея лицу можно было подумать, что она даже не слышала. Но лицо Степана внезапно вспыхнуло, бѣлокурые усы и брови выступили рѣзко и непріятно. Онъ ничего не отвѣтилъ и сталъ вводить лошадь въ открытую городьбу.

Абрашка громко засмѣялся. Его поддержали сидѣвшіе рядомъ сосѣди.

Абрамъ Ахметзяновъ былъ человѣкъ въ своемъ родѣ замѣчательный. Какъ самъ онъ, такъ и его жена Гарифа, которую, впрочемъ, въ слободѣ называли Марьей, совѣмъ не были похожи на монголовъ. У него было круглое лицо, очень смуглое, правда, но съ мигкими правильными чертами, и большіе, ласкающіе, добрые глаза... Она-же представляла изъ себя типическую русскую красавицу, нѣсколько располнѣвшую, съ бойкимъ и, что называется, „бѣдовымъ“ взглядомъ. Абрашка любилъ ее до безумія, но про нее говорили, что она нерѣдко ему измѣняла. Однажды, ночью, вернувшись неожиданно домой, онъ зачѣмъ-то стрѣлялъ около своей юрты. Говорили на другой день, что мѣховая шапка нѣкоего Абдула Сабитулина оказалась прострѣленною дробинами и что только густо вышитая тюбетейка спасла его лысую голову. Сабитулинъ былъ богатый старикъ... Нѣкоторое время онъ опасался ходить мимо избы Абрама, а однажды послѣдній, неожиданно встрѣтись съ нимъ на улицѣ, кинулся на него, какъ кошка; стараго Абдула едва вырвали изъ рукъ изступленнаго Абрашки. Но я видѣлъ Абрама и Марью на третій день послѣ выстрѣла: она держала себя съ такимъ-же сознаниемъ своей опыняющей, чувственной красоты, а онъ смотрѣлъ на нее такимъ-же покорно влюбленнымъ взглядомъ.

Онъ пользовался репутаціей самаго отчаяннаго головорѣза и ловчайшаго вора. Я долго не хотѣлъ вѣрить этому. Онъ былъ нашимъ ближайшимъ сосѣдомъ и нерѣдко оказывалъ мнѣ и моимъ товарищамъ сосѣдскія услуги. При этомъ въ глазахъ его свѣтилось такое простодушное расположеніе, что я не могъ примирить съ этимъ молву объ его подвигахъ. Только однажды, послѣ какого-то новаго двусмысленнаго происшествія съ Марьей, онъ сильно пилъ нѣсколько дней и пришелъ ко мнѣ подъ вечеръ, возбужденный и нѣсколько дикій.

Нѣкоторое время онъ сидѣлъ на лавкѣ, глухо стоналъ, покачивался и глядѣлъ передъ собой мутнымъ взглядомъ. Потомъ велядѣлся въ меня и, какъ будто узнавая, гдѣ находится, сказалъ:

— А! вотъ это я у кого. Такъ! Слушай, русскій, что я тебѣ буду говорить.

— Говори, Абрамъ, что тебѣ нужно?

— Уѣзжаете вечеромъ... приѣзжаете ночью... Домъ бросаете пусто...

— Такъ что-же?

— Тронули у васъ что-нибудь татаре?

— Нѣтъ, не тронули.

— Водки поставь... Одну бутылку. Выпей, братъ, съ Абрашкой!..

— Нѣтъ, Абрамъ,—отвѣтилъ я по возможности спокойно.— Водки я не поставлю.

— Почему не поставишь?

— Ты самъ знаешь: мы къ вамъ водку пить не ходимъ. Чаю, если хочешь, заварю, а откупаться отъ васъ мы не станемъ.

Въ глазахъ Абрама промелькнуло сознаніе.

— Что ты! Братъ!—сказалъ онъ какъ-то страстно.— Неужто, сохрани Богъ, я за этимъ. Абрамъ Ахметзяновъ не каплюжничь... Пьянъ только Абрашка. Сердце загорѣлось... водки надо... много водки надо... А Марья, братъ, не даетъ...

Последнюю фразу онъ произнесъ какимъ-то жалкимъ шопотомъ. Потомъ, внезапно поднявшись, онъ подошелъ ко мнѣ, положилъ руку мнѣ на плечо и, крѣпко сжавъ его, наклонилъ ко мнѣ свое пылающее лицо. Глаза его были такіе же добрые, только стали какъ будто больше и искрились почти восторженно...

— Что вы за люди?—сказалъ онъ,—я не знаю, что вы за люди... А я вотъ какой человѣкъ... Ахъ, бр-ратъ!.. Ежели бы мнѣ не Марья... давно бы я себѣ каторгу заработалъ!

Я былъ пораженъ глубиной и непосредственностью этого восклицанія. Тутъ была и тоска о пропадающей удали, и глубочайшая нетронутая увѣренность, что каковы бы тамъ ни были еще люди и взгляды, всетаки наиболѣе стоящій человѣкъ тотъ, кто смѣло носится по самымъ крутымъ стремнинамъ жизни, съ которыхъ, только оступишь... попадешь прямо на каторгу.

Только въ эту минуту я понялъ настоящимъ образомъ Ахметзянова со всей его „невинной“ преступностью,—право, я не подыщу тутъ другого слова... Съ этими взглядами Абрамъ выросъ и сжился. Онъ чувствуетъ въ себѣ силы для крупной роли въ родной сферѣ, а между тѣмъ, приходится тратить ихъ на мелкіе подвиги баранты и воровства въ то время, какъ его имя могло гремѣть наравнѣ съ именами Никифорова и Черкеса,—весьма извѣстныхъ въ тѣ годы на Ленѣ начальниковъ спиртоносовъ и хищниковъ золота... Я

понилъ также, почему Тимоха ставилъ имя Степана рядомъ съ Абрашкой... Въ жизни обоихъ „бабы“ играли почти одинаковую роль, и, какъ это часто бываетъ, Абрамъ Ахметзяновъ презиралъ Степана за то самое, за что, вѣроятно, презиралъ и себя...

Въ этотъ самый день Степанъ всетаки зашелъ къ Ахметзянову, который занимался корчемствомъ. Ушелъ онъ туда въ отсутствіе Марьи, но она вернулась отъ торговца раньше. Въ лицѣ ея я замѣтилъ какое-то нервное безпокойство. Она ждала, тревожно прислушиваясь, и внезапно вздрогнула, когда снаружи донесся къ намъ глухой смѣшанный шумъ.

Я вышелъ на дворъ и увидѣлъ Степана. Необыкновенно возбужденный, онъ быстро шелъ отъ избы Абрама. Видимо, онъ сейчасъ выдержалъ свалку съ кучкой татаръ, которые скалили зубы и смѣялись вдогонку.

Дойдя до середины улицы, онъ обернулся и погрозилъ кулакомъ.

— Посмѣйтесь вы у меня, погодите!—бормоталъ онъ, уже войдя въ нашъ дворъ и не обращая вниманія на меня.

Не заходя въ избу, онъ вывелъ плохо отдохнувшую лошадь и сталъ запрягать ее въ телѣгу.

— Куда вы такъ торопитесь, Степанъ?—спросилъ я.

— Надо домой... Только вотъ, какъ бы снѣгъ не застигъ.— Онъ глазами указалъ на небо.

Я тоже взглянулъ кверху. Едва переваливъ черезъ цѣпь отлогихъ холмовъ на сѣверо-западъ,—къ намъ ползло тяжелое свинцовое облако. Оно было громадно и странно своимъ рѣзкимъ одиночествомъ на холодномъ и ясномъ небѣ. Вверху рѣзко ограниченное, точно спина огромнаго животнаго, внизу оно спустило нѣсколько темныхъ отростковъ, которые тихо, зловѣще шевелились, опускаясь все ниже, точно чудовище перебирало гигантскими щупальцами. Но что было всего страннѣе,—облако ползло совсѣмъ низко надъ землей, вздрагивая, какъ будто теряя силы въ своемъ полетѣ и готовое упасть на слободу всей своей грузной массой...

Слобожане уже обратили на него вниманіе. Въ юртахъ хлопали двери, люди выбѣгали съ любопытствомъ или тревогой. Впрочемъ, аборигены смотрѣли на небо довольно спокойно, но татары и особенно киргизы волновались и переговаривались громко и тревожно. Полусумасшедшій киргизъ, жившій невдалекѣ, прицѣлился изъ ружья и выстрѣлилъ...

Облако, все также вздрагивая, какъ будто съ напряженіемъ, раскинулось уже надъ крайними юртами слободы. Все кругомъ потемнѣло и потускло. Всѣ притихли, когда надъ нашими

головами, тихо волнуясь и шевеля мглистыми отростками, темно-свинцовое, съ опаловыми просвѣтами, проползало туманное чудовище, готовое, казалось, задѣть за крыши притихшей слободки... Черезъ нѣсколько минутъ оно пронеслось надъ рѣкой. Плотныя очертанія тучи закрыли скалины и лѣса горнаго берега... Когда туча исчезла за гребнемъ,—на уступахъ, точно нарисованныя гигантскою кистью, бѣлѣли густыя полосы снѣга...

Я очнулся, точно послѣ страннаго сна... Надъ слободкой опять играли послѣдніе лучи скупого осенняго солнца... Люди еще волновались, громко обсуждая значеніе страннаго явленія. Въ дверяхъ нашей избы стояла Маруся съ омертвѣвшимъ испуганнымъ лицомъ... Она опять показалась мнѣ постарѣвшей и измѣнившейся... Увидѣвъ, что Степанъ запретъ лошадь, она наскоро собрала свои пожитки и, не прощаясь, не глядя на меня, какъ будто болѣзненно стыдясь показать свое лицо, вышла изъ избы и сѣла въ телѣгу.

Я попробовалъ было остановить ихъ. Мой товарищъ на время уѣхалъ, въ юртѣ было довольно свободно, а я чувствовалъ себя одинокимъ, но Степанъ отказался наотрѣзъ.

— Нѣтъ, господинъ!—сказалъ онъ, выводя лошадь. — Теперь начнутся метели, пора пойдетъ темная... А я, кстати, съ татарами тутъ расплевался...

Онъ ударилъ лошадь и, проѣхавъ по широкой улицѣ, спустился съ дуга. Тамъ мнѣ еще нѣкоторое время виднѣлась телѣга, съ двумя темными фигурами, постепенно утопавшими въ сумеркахъ...

А пора, дѣйствительно, начиналась темная. Осень круто поворачивала къ зимѣ; каждый годъ, въ этотъ промежутокъ между зимой и осенью въ тѣхъ мѣстахъ дуютъ жестокіе вѣтры. Бурныя ночи полны холода и мрака. Тайга кричитъ, не переставая; въ дугахъ бѣшено носятся столбы снѣжной колючей пыли, то покрывая, то опять обнажая замерзшую землю.

И вмѣстѣ съ темнотой, съ бурями и метелью въ слободѣ и окрестностяхъ водворилась тревога.

Почти половину населенія слободки составляли татары, которые смотрѣли на этотъ сезонъ съ своей особой точки зрѣнія. Мерзлая земля не принимаетъ слѣдовъ, а сыпучій снѣгъ, переносимый вѣтромъ съ мѣста на мѣсто,—тѣмъ болѣе... Поэтому, то и дѣло, выходя ночью изъ своей юрты, я слышалъ на татарскихъ дворахъ подозрительное движеніе и тихіе сборы... Фыркали лошади, скрипѣли полозья, мелькали въ темнотѣ верховые... А на утро становилось извѣстно о взло-

манномъ амбарѣ „въ якутахъ“ или ограбленіи какого-нибудь якутскаго богача.

Якуты старались защищаться, иногда мстить. Одинъ мой пріятель, полуякутъ Сергѣй, знакомившій меня на первыхъ порахъ съ особенностями мѣстной жизни, такъ характеризовалъ взаимныя отношенія слободы и ея окрестностей въ это темное время:

— Война! Татаръ у джякутъ воровай, джякутъ у татаръ воровай... взадъ впередь.

Но въ сущности полной взаимности въ этихъ отношеніяхъ не было. Якуты — народъ мирный и робкій: они старались только защищаться. Правда, — стоило татарской лошади забѣжать въ улусъ, подалше отъ слободы, и она тотчасъ-же попадала въ якутскій котель на общую пирушку. Но въ остальномъ якуты ограничивались защитой, почти всегда не умѣлой и трусливо-наивной. Ихъ одинокія, разбросанныя юрты переживали весь ужасъ беззащитнаго ожиданія. Проѣзжая иной разъ ночью по наследнымъ дорогамъ, можно было услышать вдругъ отчаянные вопли, точно гдѣ-то рѣжутъ сразу нѣсколько человѣкъ. Это населеніе юрты, въ которой двѣ или три семьи сошлись на долгую холодную зиму, предупреждало невѣдомаго путника, ѣдущаго мимо по темной дорогѣ, о томъ, что они не спятъ и готовы къ защитѣ. Только эти угрозы производили скорѣе впечатлѣніе испуга, почти мольбы. Порой, за ними слѣдовали беспорядочныя, такіе-же испуганныя выстрѣлы въ воздухъ. Все это, разумѣется, было только на руку предприимчивымъ и смѣлымъ татарамъ, выжидавшимъ, пока якуты настрѣляются и накричатся, и тогда они тихо, но свободно шли на добычу...

А осень все злилась, снѣгъ все носился во тьмѣ, гонимый вѣтромъ, стучалъ въ наши маленькія окна, и кругомъ нашей юрты по ночамъ все слышалось тихое движеніе то въ одномъ, то въ другомъ татарскомъ дворѣ. Мой вѣрный Церберъ, котораго я бралъ къ себѣ въ юрту изъ чувства одиночества, то и дѣло настораживалъ уши и ворчалъ особеннымъ образомъ, — какъ природныя якутскія собаки ворчатъ только на татаръ или поселенцевъ...

Я чувствовалъ себя, — въ своей юртѣ на отшибѣ, въ своеобразномъ положеніи, точно на островкѣ, кругомъ котораго, въ мгlistомъ туманномъ морѣ, кипѣла своеобразная дѣятельность пиратовъ. Порой я догадывался, кто именно изъ моихъ добрыхъ сосѣдей выѣзжаетъ „въ якуты“ на промыселъ, или въ лѣсъ съ добычей, которую необходимо спрятать... Порой во мнѣ закипало глухое негодованіе...

Однажды въ слободу, занесенные сѣгомъ, постукивая передъ собой палками, вошли слѣпые старикъ со старухой. Это были несчастные, бездомные старики, ходившіе по богатымъ якутамъ и зарабатывавшіе пропитаніе помоломъ зерна на ручныхъ мельницахъ, на какихъ, вѣроятно, мололи еще рабыни Одиссея. Такая мельница есть въ каждой якутской юртѣ. На стойкѣ, въ половину человѣческаго роста, укрѣпленъ неподвижно небольшой жерновой камень. Другой свободно ходитъ надъ нимъ на желѣзномъ стержнѣ и цѣвкѣ. Длинная палка, однимъ концомъ укрѣпленная у потолка, другимъ можетъ вращать верхній камень. Человѣкъ вертитъ ею жерновъ, засыпая горстью зерна въ отверстие. Камни тихо и скучно жужжать, мука медленно, почти незамѣтно струится на столъ кругомъ жернова. За помоль пуда платятъ отъ 15 до 20 коп.

Этой работой старики долго копили деньги и, наконецъ, купили себѣ теплыя шубы и одѣяла въ видѣ мѣшковъ на зиму и на старость. Это была для нихъ настоящая драгоценность, о которой они долго мечтали. Я видѣлъ, какъ лѣтомъ они выносили свои сокровища и вытряхивали изъ нихъ пыль. Разложивъ ихъ на землѣ, старикъ нащупывалъ лѣвой рукой мѣсто, а правой ударилъ гибкимъ прутомъ. По инстинкту слѣплого, онъ рѣдко ошибался, но все-таки порой ударъ попадалъ по кисти... Потомъ онъ передвигалъ руку и ударялъ рядомъ... Эту-же работу старики исполняли у другихъ, когда не было помола.

Теперь они шли по улицѣ, озябшіе и несчастные. Слезы текли изъ слѣпыхъ глазъ старухи и замерзали на лицѣ. Старикъ шелъ съ какой-то горестной торжественностью и, постукивая палкой по мерзлой землѣ, поднималъ лицо высоко, какъ будто глядя въ небо слѣпыми глазами. Оказалось, что они шли „дѣлать бумагу“ въ управѣ. Въ эту ночь изъ амбара якута, у котораго они зимовали,—украли ихъ сокровища, стоившія нѣсколькихъ лѣтъ тяжкаго труда...

Выходили слобожане, выходили татары, и смотрѣли на эту чету и слушали переходившій изъ устъ въ уста разговоръ. Абрамъ тоже стоялъ у своихъ воротъ и смотрѣлъ на стариковъ своими добрыми ласкающими глазами.

— Здравствуй, — окликнулъ онъ меня, — что идешь мимо, не говоришь?

Я какъ-то невольно повернулся и подошелъ къ нему вполнѣ.

— Слушай, Абрамъ, — сказалъ я. — Хорошо это?

Онъ посмотрѣлъ немного вкось и отвѣтилъ обычнымъ ласковымъ голосомъ:

— Братъ! — не я вѣдь это сдѣлалъ.

И потомъ, поглядѣвъ вслѣдъ старикамъ, онъ прибавилъ задумчиво:

— Видно, положили свое добро съ хозяйскимъ вмѣстѣ...

— Не отдадите ли теперь?— усмѣхнулся я желчно...

Абрамъ не сказалъ ничего. Но черезъ нѣсколько дней онъ какъ-то встрѣтился мнѣ на улицѣ. Съ нимъ рядомъ шелъ незнакомый татаринъ, длинный, какъ жердь, и тощій, какъ скелетъ. Поровнявшись со мной, Абрамъ, подъ влияніемъ какой-то внезапной мысли, вдругъ шагнулъ въ сторону и очутился передо мной.

— Слушай, теперь я тебѣ буду говорить,— сказалъ онъ.— Вотъ этого татарина пригнали въ наслегъ. Жена померла дорогой... четверо дѣтей... ничто нѣтъ... голодомъ сидѣли, топиться нечѣмъ...

— Правда! — глухо сказалъ высокій татаринъ и мотнулъ головой. Но мнѣ не нужно было его подтвержденія: голодъ и застывшее отчаяніе глядѣли у него изъ глубины впалыхъ глазъ, а отъ темнаго лица вѣяло какимъ-то смертельнымъ равнодушіемъ.

— Просилъ, кланялся на собраніи... Наконецъ, принесъ дѣтей въ управу и кинулъ, какъ щенятъ: дѣлайте, что хотите. Хошь, говорить, бросьте въ воду...

— Сама сюда гулялъ, — пояснилъ татаринъ.

— Понялъ ты мое слово? — спросилъ Абрамъ, глядя на меня загорѣвшимся, пылающимъ взглядомъ. Я понялъ, что это отвѣтъ на мой упрекъ по поводу стариковъ, и что въ слободѣ прибавился еще одинъ предприимчивый человекъ.

Но это было, какъ я сказалъ, нѣсколько дней спустя. Въ тотъ вечеръ я возвращался домой весь еще подъ впечатлѣніемъ слѣпного горя обокраденныхъ стариковъ. Ночь спустилась ненастная и бурная. Кругомъ юрты все гудѣло, надъ крышей отчаянно бился хвостъ искръ и дыма, которые вѣтеръ нетерпѣливо выхватывалъ изъ трубы и стлалъ по землѣ. На второмъ дворѣ, куда я пошелъ, чтобы дать лошади сѣна, мой Сѣрый метался, какъ бѣшеный. Сначала и отъ меня онъ кинулся въ испугъ, но потомъ подошелъ, храпя и вздрагивая, и положилъ мнѣ голову на плечо. Онъ стригъ ушами и въ испугъ прислушивался къ протяжному крику тайги, налетавшему съ темныхъ холмовъ и ущелій.

А кругомъ бѣсновалась какая-то волнистая муть, быстро мчавшаяся съ холмовъ за рѣку... Слобода притаилась подъ метелью, какъ вообще привыкла притаиваться подъ всякой невзгодой. По временамъ только среди бѣлаго хаоса мелькалъ вдругъ снова искръ изъ трубы или въ прорѣху ме-

тели отрывалось и опять исчезало смиренно свѣтившееся оконце...

Я начиналъ понимать въ эту минуту настроеніе нашихъ деревень, то смиренно выносящихъ непокрытую наглость любого молодца, освободившагося отъ совѣсти и страха, то прибѣгающихъ къ звѣрскому самосуду толпы, слишкомъ долго испытывавшей смиренный трепетъ... Половина слободки держитъ въ такомъ трепетѣ не только другую, большую половину, но и всѣ окрестности. И вотъ теперь, въ эту метель, то въ той, то въ другой юртѣ робко скрипитъ дверь, — хозяева осторожно выглядываютъ, — что это стучитъ у амбара, грабитель или непогода? А гдѣ-то плачутъ двое обездоленныхъ стариковъ, и на много верстъ кругомъ раздаются бессмысленные вопли и не менѣе бессмысленные выстрѣлы запуганныхъ людей... И я стою здѣсь среди метели... Я не пловець въ этомъ морѣ, моего мѣста нѣтъ въ этой борьбѣ; я здѣсь не умѣю ступить ни шагу. И казалось мнѣ, что нигдѣ, во всемъ этомъ, затаиномъ метелью, беззащитномъ мірѣ нѣтъ никого, кто всталъ бы смѣло и открыто за свое право... Тѣ, казалось мнѣ, кто хотѣлъ бы что-нибудь сдѣлать — не умѣлы, безсильны, малодушны. А тѣ, кто могутъ — не хотятъ... Каждый только дрожитъ за себя, и нѣтъ никого, кто бы понялъ, что его дѣло — часть общаго дѣла...

Съ этими мыслями я вернулся въ свою юрту, но не успѣлъ еще раздѣться, какъ моя собака безпокойно залаяла и кинулась къ окну. Чья-то рука снаружи смела со стекла налипшій снѣгъ, и въ окнѣ показалось усатое лицо одного изъ моихъ сосѣдей, есылнаго поляка Козловскаго.

— Спице себѣ! — сказалъ онъ шутиливо. — А лошадь-то гдѣ?

Я наскоро одѣлся и выбѣжалъ наружу. Первой моей мыслью было, что лошадь мою угнали. Но это оказалось невѣрно. Испуганная метелью и непривычнымъ одиночествомъ, она перепрыгнула черезъ высокую городьбу и побѣжала въ луга. Козловскому сообщилъ объ этомъ Абрамъ, видѣвшій, какъ лошадь промчалась мимо его двора. Оба они были увѣрены, что она убѣжала за рѣку въ якутскіе наследи. Въ спокойное время это было не особенно опасно, но теперь якуты могли счесть лошадь татарской... Приходилось тотчасъ-же ѣхать на поиски. Козловскій далъ мнѣ свою лошадь, а на другой вызвался самъ ѣхать со мною...

Это былъ крестьянинъ, замѣшанный въ возстаніи и отбывшій каторгу. Послѣ этого многіе изъ его товарищей возвратились на родину, а онъ, попавъ въ эти дальнія мѣста, почувствовалъ, какъ и Тимоха, что это очень далеко и что

ему отсюда уже нѣтъ возврата. Онъ женился на слобожанкѣ-полуякуткѣ, его дѣвочки говорили только по-якутски, а самъ онъ пахаль землю, продавалъ хлѣбъ, ѣздилъ зимой въ извозъ и глядѣлъ на жизнь умными, немного насмѣшливыми глазами. Ему казалось смѣшнымъ многое въ прошломъ и настоящемъ, а между прочимъ, и то, что онъ, Козловскій, хотѣлъ когда-то спасти свое отечество, и что онъ живетъ въ этой смѣшной сторонѣ съ 50-градусными морозами, и что его собственная жена полуякутка, и что его дѣти лепечуть на чужомъ для него языкѣ. Къ намъ онъ чувствовалъ какое-то снисходительное расположеніе, любилъ молча слушать наши споры, но при этомъ всегда подъ его огромными усами шевелилась мягкая насмѣшливая улыбка...

— Помяните мое слово, — сказалъ онъ мнѣ, когда мы тронулись въ путь: — эту ночь татары опять собираются за добычей... Плачутъ якутскіе амбары.

— Почему вы думаете?

— Абрашка ладитъ сани и двѣ верховья во дворѣ. А вы еще скажите — слава Богу: Абрамъ спать бы, лошадь бы вашу не увидѣлъ... Въ какую только сторону поѣдутъ?..

Дорога наша подбѣжала къ рѣкѣ и прижалась къ береговымъ утесамъ. Мѣсто было угрюмое и тѣсное, справа отвѣсный берегъ закрылъ насъ отъ метели. Отдаленный гулъ слышался только на далекихъ вершинахъ, а здѣсь было тихо и тепло. Зато тьма лежала такъ густо, что я едва различалъ впереди мою бѣлую собаку. Лошади осторожно ступали по щебню...

Вдругъ Козловскій наклонился и остановилъ за поводъ мою лошадь. — Тихе, — сказалъ онъ. — Слышите?

Я прислушался, и мнѣ показалось, что съ другого берега рѣки, которая здѣсь была очень узка, несло къ намъ, точно эхо, осторожное постукиваніе копытъ.

— Вотъ проклятые! — сказалъ онъ съ отгѣнкомъ удовольствія въ голосѣ. — Взялись за умъ!

— Что это значитъ? — спросилъ я.

— Якутскій караулъ. Прослышали видно якутье, что татары собираются... ждутъ гостей... Эхъ! Вотъ только неприятно: какъ бы насъ за татаръ не приняли. Пожалуй, сдуру грохнетъ который изъ ружья... Эй, догоръ! — крикнулъ онъ по-якутски. — Не попалась-ли вамъ тутъ сѣрая лошадь?

Шаги на той сторонѣ стихли, но, когда мы подѣхали къ броду, на темной рѣкѣ послышалось шлепанье и появились какіе-то силуэты. Черезъ нѣсколько минутъ къ намъ прибли-

зидся всадникъ, веда въ поводу сѣрую лошадь. Когда онъ подъѣхалъ вилотную, я съ удивленіемъ узналъ Степана.

— Какъ вы тутъ очутились? — спросилъ я съ невольной радостью.

— Да такъ... дѣло тутъ... у якутовъ, — отвѣтилъ онъ уклончиво. — Гляжу: лошадь знакомая переправляется. Поймалъ уже на томъ берегу... думаю: надо обождать маленько, можетъ, хватитесь, приѣдете... А это кто съ вами? — спросилъ онъ, наклоняясь въ сѣдлѣ и вглядываясь въ моего спутника.

— Человѣкъ божій, обшитый кожей, — отвѣтилъ мазуръ своимъ веселымъ голосомъ. — Поѣхалъ вотъ съ ними, думаю: можетъ Богъ дастъ, и моя конячка найдется.

— Тоже пропала? Когда? — спросилъ Степанъ.

— Да уже года два... Убѣжала съ покосу, да еще, подлая, поселенца на себѣ унесла. Лошадь — Богъ съ ней. Боюсь, какъ бы за поселенца не отвѣтить.

Мнѣ показалось, что шутка Козловскаго немного задѣла Степана, и, чтобы прекратить разговоръ, я поблагодарилъ за услугу и спросилъ:

— А вамъ не по пути въ слободу? Переночевали бы у меня.

— Нѣтъ, — отвѣтилъ Степанъ... — Я тутъ... къ пріятелю...

— Абрашка тоже къ пріятелю наладился, — насмѣшливо кинулъ Козловскій, когда мы тронулись въ обратный путь. Степанъ, отъѣхавшій на нѣкоторое разстояніе, остановился было, какъ будто съ цѣлью спросить или сказать что-то, но затѣмъ ударилъ лошадь и съѣхалъ съ берега.

— Счастье людямъ! — сказалъ Козловскій, весело ухмыляясь. — У другихъ воруютъ, вамъ возвращаютъ. Одинъ воръ увидѣлъ, какъ лошадь сбѣжала, другой поймалъ...

— Ну, Степанъ не воръ, — сказалъ я.

— Разумѣется... А какъ вы думаете: кого онъ тутъ дожидается? У Абрашки съ утра конь на привязи, у Абясова, у Сайфуллы, у Ахмета... Чортъ ихъ бей, всѣхъ. Давайте скорѣе выѣзжать изъ узкаго мѣста, какъ бы не встрѣтиться.

— Но вѣдь съ татарами Степанъ въ ссорѣ?..

— Ну, мужикъ съ бабой тоже весь день ссорились. А, глядишь, къ ночи помирятся...

Замѣчанія Козловскаго поразили меня самымъ неприятнымъ образомъ. Мнѣ импонировала увѣренность, съ какой онъ читалъ все среди этой темной ночи, точно въ открытой книгѣ... И, дѣйствительно, его предсказаніе оправдалось. Выѣхавъ изъ-за послѣдняго берегового утеса въ дуга, мы вдругъ наткнулись на нѣсколько темныхъ верховыхъ фигуръ. Они сначала остановились, какъ будто въ нерѣшительности...

— Что, нашель своего сѣраго?—сказаль одинъ изъ нихъ, и по голосу я узналь Абрама.—Скоро-же! Я думаль, до утра проѣздишь.

Потомъ, когда они отѣхали нѣсколько саженой, онъ повернулъ лошадь, догналь насъ и сказаль своимъ ласковымъ, пріятнымъ голосомъ:

— Вотъ что, парень... Мы вѣдь сосѣди... Не сказывайте никому, что насъ здѣсь видѣли...

— Намъ какая надобность,—угрюмо отвѣтилъ Козловскій, не останавливаясь.

Остальную дорогу мы ѣхали молча. Меня тяготило положеніе этого невольнаго, почти дружественнаго нейтралитета, который выпадалъ на нашу долю... Можетъ быть, Козловскій думаль то-же.

VI. Степанъ.

Проснувшись на слѣдующій день, я сначала считаль всю эту ночную поѣздку просто сномъ. Только кинутое беспорядочно на полу сѣдло и не успѣвшее высохнуть верхнее платье убѣдили меня въ дѣйствительности моего маленькаго приключенія...

Не смотря на то, что всѣ окна были занесены снѣгомъ, я чувствовалъ, что день сталъ свѣтлѣе вчерашняго. У дверей лаяла собака, и когда, наскоро надѣвъ валенки, я впустиль ее, она радостно подбѣжала къ постели и, положивъ на край холодную морду, глядѣла на меня съ ласковымъ достоинствомъ, какъ будто напоминала, что и она разыскивала со мною лошадь, которая теперь ржала на дворѣ, привязанная въ наказаніе къ столбу...

Настроеніе у меня было бодрое, радостное. Однако, скоро подъ этимъ настроеніемъ оказалась какая-то маленькая змѣйка, которая шевелилась и шипѣла, напоминая о чемъ-то отвращающемъ и печальномъ...

— Да! Это о Степанѣ,—вспомнилъ я внезапно...

— Неужто Козловскій правъ?—подумаль я съ ощущеніемъ острой грусти... Неужели Степанъ оказалъ мнѣ услугу именно потому, что ожидалъ татаръ? Не выдержалъ, наконецъ, говора своей тайги, прозаической добродѣтели своей Маруси и ровной невозмутимости Тимохи?.. Захотѣлось опять шири и впечатлѣній? Что мудренаго? Вѣдь вотъ даже мое легкое приключеніе освѣжило и обновило мое настроеніе, застоявшееся отъ тоски и одиночества...

Что-же теперь станетъ дѣлать Маруся? Какъ пойдетъ ея жизнь? Бурныя слезы или покорныя слезы?.. примиреніе и

подчиненіе или разрывъ? Неужели тихая заимка на дальнемъ озерѣ превратится въ складъ краденыхъ вещей и въ передаточный пунктъ конокрадства? Уйдетъ ли при этомъ Тимоха или будетъ дѣлать свое дѣло, не вмѣшиваясь въ хозяйскія дѣла? И скоро-ли нагрянуть на заимку власти изъ Якутска, и для Марьи со Степаномъ опять пойдутъ этапы, тюрьмы, новыя пощты побѣговъ? А на заимкѣ воцарится запустѣніе, и марусины грядки заростутъ на подобіе губернаторскихъ огородовъ?..

Въ моихъ сѣняхъ послышался топотъ, въ дверь хлынула струя свѣжаго воздуха, и въ юрту вошелъ Козловскій. Онъ былъ нѣсколько похожъ на гнома: небольшого роста съ большой головой; бѣлокурная борода была не очень длинна, но толстые пушистые и обмерзшіе теперь усы висѣли, какъ два жгута. Сѣровато-голубые глаза сверкали необыкновеннымъ добродушіемъ и живымъ, мягкимъ юморомъ.

— Ну, вставайте,—сказалъ онъ, усмѣхался.—Давайте чаю. Новости расскажу.

— Что такое?

— Въ слободѣ что дѣлается.—страхъ!—говорилъ онъ, отряхая на полъ бѣлые комки свѣжаго снѣга.

И, опять весело засверкавъ глазами, онъ сказалъ:

— Смотрите: татары теперь скажутъ, что непременно это вы сдѣлали! А я съ вами, помните, не былъ!..

Затѣмъ, онъ рассказалъ новость, поразившую слободу, какъ громомъ. Оказалось, что въ эту ночь татары предпринимали одинъ изъ очень смѣлыхъ набѣговъ на юрту зажиточнаго якута, именно въ томъ направленіи, куда мы вчера ѣздили. Очень часто якуты знали заранее о сборахъ татаръ, но послѣдніе почти всегда направляли ихъ вниманіе въ ложную сторону. На этотъ разъ, однако, смѣльчаки встрѣтили противниковъ готовыми. Когда, оставивъ лошадей въ определенномъ мѣстѣ, они стали подходить къ амбару, навстрѣчу имъ раздался дружный ружейный огонь, и въ то же время другой отрядъ якутовъ кинулся къ татарскимъ лошадямъ. Бросившись назадъ, татары успѣли отбить двухъ лошадей, а двѣ, и при томъ лучшія—остались военной добычей побѣдителей. Садясь попеременно на оставшихся коней, четверо татаръ съ позоромъ притащились въ слободу едва на зарѣ...

Въ числѣ потерявшихъ былъ и Абрамъ Ахметзиновъ. Каураго конька, которымъ онъ гордился, какъ лучшимъ бѣгуномъ въ слободѣ, теперь въ его дворѣ не было.

Слобода кишѣла, точно муравейникъ. Двери то и дѣло хлопали въ наклонныхъ стѣнахъ юртъ, сосѣди и сосѣдки пере-

бѣгали отъ двора къ двору, кое-гдѣ татары громко ругались другъ съ другомъ. Татарское населеніе слободы было самое разношерстное. Тутъ были и киргизы, и ачинскіе татары изъ азіатской степи, и старинные поселенцы Иркутской губерніи. Всѣхъ ихъ привела сюда, выбросивъ изъ болѣе или менѣе мирной среды ихъ соотечественниковъ,—незаглушенная культурой страсть къ барантѣ. Здѣсь ихъ объединили религіи и нужда,—но и въ ихъ средѣ были подраздѣленія, вражда и ссоры. Теперь, при этомъ пораженіи, деморализація среды сказалась съ особенной силой: татары закидывали другъ друга упреками и подозрѣніями въ измѣнѣ. Они не могли себѣ представить, чтобы трусливые и недогадливые якуты могли провести эту кампанію по своей инициативѣ.

— А знаете что,—задумчиво сказалъ мнѣ Козловскій, когда мы сидѣли за чаемъ.—Вы пока никому не говорите о Степанѣ.

— Почему?.. Не ждете-ли вы, что начнется слѣдствіе?

— Ка-кое слѣдствіе! А всетаки помолчите.

И онъ прибавилъ, улыбаясь:

— Я его святому долженъ поставить свѣчку... Кажется, вчера я его обидѣлъ напрасно.

— Такъ вы думаете, что это онъ... помогать якутамъ?..

— Ага! А по вашему, якуты сами бы такъ распорядились? Никогда! Ужъ былъ у нихъ кто-нибудь за генерала!.. Ну, теперь пойдетъ потѣха!

Дѣйствительно, съ этихъ поръ якуты перемѣнились, какъ будто кто вдохнулъ небывалое мужество въ сердца этихъ робкихъ и запуганныхъ людей. Абрамъ Ахметзяновъ съ товарищами выѣзжалъ ночью на мѣсто своей неудачи, и, остановивъ въ отдаленіи, они кричали и грозили, требуя возвращенія лошадей; но якуты только звали ихъ подойти поближе, а на слѣдующую ночь, какъ было извѣстно въ слободѣ,—устроили засаду у брода. Но удалой Абрашка уже не рѣшился выѣхать туда вторично, и угрозы татаръ остались неисполненными...

За первой неудачей послѣдовали дальнѣйшія. Два раза якуты ловили воровъ на мѣстѣ и, связанныхъ, отвозили въ городъ, провожая ихъ, на всякій случай, цѣлыми отрядами. Такими же отрядами являлись они иной разъ въ слободу, представляя въ „правленіе“ ясныя указанія и улики. Проѣзжая по улицамъ, мимо татарскихъ домовъ, якуты держались насмѣшливо и гордо, посмѣиваясь и вызывая.

Теперь татары уже боялись отлучаться въ улусы даже днемъ, а отдѣльныя татарскія семьи, поселенныя среди якутовъ, покидали мѣста поселенія и стягивались къ слободѣ.

Якуты прекратили имъ всякія пособія, которыя выдавали прежде. При этомъ, разумѣется, пострадали и мирные татары, къ которымъ всетаки относились подозрительно, опасаясь сношеній съ соотечественниками.

Въ это именно время Абрамъ остановилъ меня указаніемъ на злополучнаго татарина, бросившаго своихъ голодныхъ дѣтей...

Борьба, видимо, обострялась. Обоюдное ожесточеніе росло. Прежде татары воровали, но убійствъ не было. Теперь они шли уже на все, и при перестрѣлкахъ бывали раненые съ той и другой стороны. Былъ и еще одинъ косвенный результатъ наследной войны: кражи въ самой слободѣ значительно участились.

Однажды Козловскій пришелъ къ намъ, видимо озабоченный, и сказалъ, улыбаясь и почесывая въ головѣ:

— Нельзя-ли, господа, какъ-нибудь... удержать этого нашего пріятеля?

— Что такое? Какого пріятеля?

— Да якутскаго генерала. Бѣда вѣдь это: прежде, когда татары ѣздили въ якуты,—у насъ хоть воровали, да всетаки жить было можно. А вѣдь теперь—съѣдятъ начисто. Эту ночь сломали два амбара...

Одинъ изъ амбаровъ принадлежалъ смотрителю почтовой станціи. Это была жалкая станція, конечный пунктъ почтовой дороги, которая не шла дальше слободы и куда почта приходила разъ въ двѣ недѣли. Но смотритель имѣлъ всетаки чинъ и въ нѣкоторыхъ торжественныхъ случаяхъ надѣвалъ даже шпаженку. Къ неприкосновенности почтовой корреспонденціи онъ относился весьма своеобразно и считалъ себя въ полномъ правѣ присланные кому-нибудь изъ поселенцевъ (чаще всего скопцамъ) золотые замѣнить тѣмъ-же количествомъ кредитокъ. Но, конечно, о взломѣ своего амбара онъ тотчасъ-же послалъ самыя энергическія жалобы въ областной городъ.

Между тѣмъ, ими Степана, хотя ни мы, ни Козловскій ничего не говорили о немъ, было на всѣхъ устахъ. Въ слободѣ объ этомъ сначала говорили шопотомъ, въ видѣ догадокъ, потомъ съ увѣренностью. Теперь даже дѣти на улицахъ играли въ войну, при чемъ одна сторона представляла татаръ, другая якутовъ, подъ предводительствомъ Степана... А по улусамъ, у камельковъ, въ долгіе вечера о бѣлоглазомъ русскомъ уже складывалась чуткая, протяжная былина, олонхо...

Мы, конечно, тоже съ большимъ интересомъ относились и къ эпизодамъ этой небывалой борьбы, и къ новой роли на-

шего знакома. Мой желчный товарищъ, хотя и объяснял все дѣло личными счетами Степана съ Абрашкой, но всетаки переменялъ о немъ свое мнѣніе.

— Какъ бы тамъ ни было, а молодчина! Проявляетъ искру, здоровую искру проявляетъ...

— Да, чѣмъ только это кончится?—озабоченно прибавлялъ Бозловскій. — На собраніи рѣшили на ночь наряжать большіе караулы. Придется и вамъ, господа, изъ-за пріятеля померзнуть...

Въ концѣ ноября, въ ясный зимній день, въ слободу явились гости. Утромъ, возвращаясь изъ поѣздки въ городъ, пріѣхалъ тунгусскій попъ. Векорѣ послѣ этого, у нашихъ воротъ остановились санки, въ которыхъ сидѣла Маруся и Тимоха. Ихъ сопровождали три верховыхъ якута,—можетъ быть случайно, но всѣмъ это показалось чѣмъ-то вродѣ почетнаго эскорта, которымъ наслегъ снабдилъ жену своего защитника. Маруся была одѣта по праздничному, и въ ея лицѣ показалось мнѣ что-то особенное.

А подѣ вечеръ того же дня по дорогѣ изъ города опять послышался колокольчикъ. День былъ не почтовый: значить, ѣхало начальство. Зачѣмъ? Этотъ вопросъ всегда вызывалъ въ слободѣ нѣкоторую тревогу. Природные слобожане ждали какой-нибудь новой раскладки, татары въ нѣсколько саней потянулись зачѣмъ-то къ лѣсу, верховой якутъ поскакалъ за старостой... Черезъ полчаса вся слобода была готова къ приѣму начальства...

Пріѣхалъ засѣдатель Федосѣевъ и тотчасъ послѣ пріѣзда пригласилъ насъ къ себѣ на въѣзжую избу. Передавъ намъ нѣсколько писемъ, онъ попросилъ другихъ присутствующихъ удалиться и самъ заперъ за ними дверь. Подойдя затѣмъ къ столу, онъ разстегнулъ форменный сюртукъ, какъ будто ему было душно, и сталъ набивать себѣ трубку. Онъ былъ, казалось, въ какомъ-то затрудненіи и даже въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ.

Это былъ мѣстный уроженецъ изъ казаковъ, человекъ среднихъ лѣтъ, отличный служака, превосходно знавшій мѣстныя условія. Изъ личныхъ его особенностей, мы знали его слабость къ выпивкѣ,—изъ слободы его иногда увозили, уложивъ въ повозку почти безъ сознанія, — и къ книжнымъ словамъ, которыя онъ коллекционировалъ съ жадностью любителя и вставлялъ, не всегда кстати, въ свою рѣчь. Человекъ онъ, впрочемъ, былъ въ общемъ добрый, и всѣ его любили. Съ нами онъ былъ не въ близкихъ, но все-же въ хорошихъ отношеніяхъ.

Набивъ трубку и закуривъ ее отъ сальной свѣчи, горѣвшей на столѣ,—онъ нѣкоторое время усиленно затягивался и, наконецъ, сказалъ:

— У меня къ вамъ, господа, дѣло, такъ сказать... партикулярное. Я буду съ вами говорить прямо: вы знакомы съ этимъ поселенцемъ изъ бродягъ, Степаномъ?

— Съ Дальней заимелъ? Да, знакомы.

— Такъ!.. Пожалуйста, не думайте что-нибудь такое... Онъ, кажется, у васъ останавливается, прїѣзжая въ слободу?

— Да, нерѣдко.

Засѣдатель засосалъ свою трубку, какъ будто въ данную минуту это для него было самымъ важнымъ дѣломъ, и сказалъ:

— Странный человекъ!

— Чѣмъ-же собственно?

— Да какъ-же, помилуйте: вмѣшивается не въ свои дѣла, распоряжается тутъ въ наслегахъ, какъ начальство, заварилъ кашу...

Онъ всталъ со стула, видимо въ дурномъ расположеніи духа, и, безпокойно пройдясь по комнатѣ, сказалъ уже съ дѣльнымъ неудовольствіемъ:

— Помилуйте, что-же это такое. Прежде былъ самый спокойный удусъ—теперь не проходитъ недѣли безъ происшествія. Тамъ стрѣляютъ, тамъ ранили человекъ, тамъ поймали татарина, волокутъ въ городъ. Только и слышишь: гдѣ происшествіе? Въ участкѣ Федосѣева. Гнѣздо какое-то.

Я начиналъ понимать настроеніе засѣдателя. Каждая профессія имѣетъ свою специфическую точку зрѣнія. Семенъ Алексѣевичъ Федосѣевъ не могъ не знать, что каждый годъ окрестные наслеги являлись ареной той же борьбы. Но прежде одна сторона относилась къ ней пассивно. Взломать амбаръ, уведена лошадь, зарѣзана корова, поступаетъ жалоба, виновные не найдены... Дѣло предается волю божіей, даже не доходитъ до города; въ каждый свой прїѣздъ въ слободу онъ приканчивалъ нѣсколько такихъ дѣлъ простой подписью подъ заранее составленными постановленіями о прекращеніи дѣлъ „за необнаруженіемъ виновныхъ“... Это и значило, что въ его участкѣ было все спокойно. Теперь каждое дѣло пріобрѣтало громкую огласку, доставлялись пойманные съ поличнымъ, происходили перестрѣлки; толки о необыкновенномъ обостреніи борьбы наслеговъ съ татарами обращали вниманіе. Проникнувъ въ эту сущность дѣла, я невольно улыбнулся.

— Позвольте,—сказалъ я,—но вѣдь Степанъ не воруетъ и не грабитъ, а защищаетъ и нѣкоторымъ образомъ содѣйствуетъ обнаруженію виновныхъ.

Семень Алексѣвичъ усѣлся и посмотрѣлъ на меня въ упоръ.

— Ну, вотъ-вотъ. Это самое... Это-то вотъ и есть, какъ сказать... центръ... именно: центръ вопроса... Скажите, пожалуйста: бродяга, непомятый, обыкновенный, извините, варнакъ... Откуда у него вдругъ эти... эти...

— Идеи,—подсказаль я, догадываясь, куда клонится его мысль.

— Идеи-то, идеи, но какъ это еще?..

— Рыцарскія.

— Ну, вотъ-вотъ, — сказалъ онъ съ облегченіемъ, и лицо его нѣсколько просвѣтлѣло...—Вотъ въ городѣ — извините, я уже буду говорить прямо... — и разсуждаютъ: изъ простого варнака дѣлается вдругъ этакой, знаете, необыкновенный какъ его?.. Ринальдо Ринальдини своего рода. Какъ? Почему? Откуда? Книгъ онъ не читаетъ... Разными этими идеями не занимается... Очевидно, тутъ дѣйствуетъ (онъ искоса посмотрѣлъ на насъ) *постороннее вліяніе*...

— Прибавьте, Семень Алексѣвичъ, „вредное“, — сказалъ я, улыбаясь.

Онъ слегка поперхнулся дымомъ своей трубки.

— То-есть, я, конечно, не говорю... Это очень благородно... Даже, можно сказать, аль... аль... трустично... Ну, да!.. Но согласитесь сами...

И, стукнувъ себя чубукомъ нѣсколько разъ по затылку, онъ произнесъ съ большимъ оживленіемъ:

— Вотъ гдѣ у насъ эта защита сидитъ, вотъ-съ! То и гляди, изъ Иркутска запросъ прискачетъ на курьерскихъ... Кто засѣдатель въ участкѣ? Какъ могъ допустить такое положеніе вещей!.. А ч-чортъ! А я только тѣмъ и виноватъ противъ другихъ, что у меня тутъ... не угодно ли... защитникъ угнетенныхъ явился...

Его отчаяніе было такъ искренно и комично, что оба мы съ товарищемъ не могли удержаться отъ откровенной улыбки.

Замѣтивъ это, Федосѣевъ самъ улыбнулся.

— Ну, хорошо, господа! Все это вѣрно-съ и справедливо! До-нельзя справедливо! До некъ плюсь утра! Признаюсь вамъ откровенно: самъ въ городѣ говорилъ, что останусь въ дуракахъ... А всетаки вотъ у Петриченки амбаръ сломали...

— Ну, это еще не самое печальное изъ бѣдствій... Почему это, Семень Алексѣвичъ, вамъ амбаръ Петриченки дороже крестьянскихъ или якутскихъ?

— Сломаютъ еще вашъ, потомъ примутся за другіе. Да если подумать такъ, по человѣчеству... такъ вѣдь больше имъ и дѣлать нечего.

— Ну, положимъ,—работники они отличные.

— На чемъ работать?—уныло сказала засѣдатель, принимаясь набивать другую трубку.—Областное правленіе завалено ихъ просьбами объ отводѣ земли. Просьбы совершенно законныя...

— Отчего-же ихъ не удовлетворяютъ?

— Откуда? Вы знаете, что у слобожанъ у самихъ земли немного. Насилу удалось склонить крестьянъ уступить по три четверти десятины покоса... Что такое три четверти десятины?

Онъ закурилъ и заговорилъ въ совершенно другомъ тонѣ, просто и уже, дѣйствительно, вполне партикулярно.

— По закону нельзя поселять ссыльныхъ больше, чѣмъ на одну треть противъ мѣстнаго населенія. А ихъ тутъ теперь почти столько, сколько слобожанъ. Гдѣ же взять земли?

— Вотъ объ этомъ въ городѣ и слѣдовало подумать.

— А, батюшка, думали! Даже писали много разъ, потому что это вѣдь не отъ насъ. „Для удобства надзора,—поселить въ одномъ мѣстѣ при слободѣ“... Вотъ вамъ и удобство надзора.

— Повторить... добиваться.

— Повторяемо было многократно!.. (онъ махнулъ рукой съ видомъ полной безнадежности). А теперь я вотъ вамъ прямо скажу: всѣхъ захваченныхъ якутами татаръ мы выпустили.

— Да? А вѣдь, кажется, улики полныя.

— Тюрьма еще полнѣе. Недавно прислали партію спиртоносовъ изъ отряда Никифорова. Эти молодцы въ Олекминской тайгѣ дали правильное сраженіе принсковымъ казакамъ. Это поважнѣе якутскихъ амбаровъ. А въ острогѣ яблоку упасть некуда... Эхъ, господа, господа!.. Надо судить по человѣчеству... Мы тутъ такъ опутаны... Пріѣзжай сейчасъ какой-нибудь ревизоръ изъ того же Иркутска: мы тутъ въ „нарушеніяхъ“, какъ въ паутинѣ... А если бы разобрать хорошенько, по человѣчеству...

Разстались мы совершенно дружески. Мы объяснили засѣдателью, что наше вліяніе едва-ли должно быть принимаемо въ расчетъ въ этомъ случаѣ...

— А вѣдь сразилъ онъ васъ, признайтесь, — сказала дорогой мой товарищъ, молчавшій почти все время нашего разговора.

— Признаюсь охотно,—отвѣтилъ я. — Дѣйствительно, вторая половина нашей бесѣды произвела на меня сильное впечатлѣніе.

— И главное, чѣмъ сразилъ,—продолжалъ мой пріятель:—

вы говорили то, что долженъ былъ говорить онъ, а онъ—то, что, въ сущности, должны были сказать вы...

И это было вполнѣ справедливо. Короткій разговоръ съ засѣдателемъ отбросилъ опять мое настроеніе въ область того нейтралитета, который, по какому-то инстинкту, признала за нами сама среда... Но что же дѣлать? Живому человѣку трудно ограничиться ролью свидѣтеля, когда жизнь кругомъ кипитъ борьбой... Печать? корреспонденціи? освѣщеніе общихъ условий? Долго, далеко, невѣрно...

Остальную дорогу мы оба шли молча. По сторонамъ тихо переливались огни сквозь ледяныя окна... Слободка кончала обычнымъ порядкомъ свой безхитростный день, не задаваясь ни думами, ни вопросами... Она жила, какъ могла, и намъ выпала роль безучастныхъ свидѣтелей этой жизни. И никогда еще эта роль не казалась мнѣ такой тяжелой...

На улицѣ насъ остановилъ Козловскій, который дожидался у своихъ воротъ, чтобы узнать о результатахъ переговоровъ нашихъ съ засѣдателемъ... Умный полякъ выслушалъ внимательно нашъ рассказъ и сказалъ съ убѣжденіемъ:

— А что вы думаете: ей-Богу, это правда! Что нужно этому Степану, въ самомъ дѣлѣ? Какое у него шило сидитъ, что онъ эту кашу заварилъ? Не повѣрю я, что это онъ изъ-за якутовъ.

Я рассказалъ то, что зналъ самъ. Вспомнилъ Дальнюю заимку, болѣзненный приступъ Степана ночью надъ озеромъ, его жалобы на пустоту жизни, его порыванія на пріиски, отъ которыхъ его удерживало упорное сопротивленіе Маруси...

— Мудрено все это,—задумчиво сказалъ Козловскій и прибавилъ рѣшительно:

— Ну, помяните мое слово, долго это все равно не протянется... А я былъ у васъ: тамъ теперь пошъ въ гостяхъ... Чего они святить собираются?

И догадывался, о чемъ шли переговоры съ бродячимъ священникомъ, и мы въ нѣкоторой нерѣшительности остановились недалеко отъ нашей освѣщенной юрты, чтобы не мѣшать этимъ переговорамъ, рѣшившимъ участь Маруси. Вечеръ былъ морозный, но безвѣтренный и тихій, и мы думали еще пройтись по улицѣ или даже уйти на время къ Козловскому, какъ вдругъ дверь нашей юрты открылась, и изъ нея вышелъ Тимоха. Его приземистая фигура, въ полшубкѣ и неизмѣнномъ треухѣ, вся облитая холоднымъ свѣтомъ луны, показалась мнѣ какъ-то особенно устойчивой, кряжистой и крѣпкой. Когда онъ поровнялся съ нами, въ морозномъ воздухѣ пронеслась струйка виннаго запаха.

— Куда вы это, Тимофей?—спросить я.

— Да что, братцы... Самъ не знаю: запрягать, что-ли... Вѣдь ужъ дѣло-то видно: ни чорта не выйдетъ. Не бывать, видно, плѣшатуму кудрявымъ.

— О чемъ вы это говорите?

— Да все о томъ-же. Она, конечно, хочеть, чтобы какъ по хорошему, какъ, словомъ сказать, у добрыхъ людей. А ему бы, лодырю, играть... Нельзя ему безъ Абрамки и быть.

— Да вѣдь они съ Абрамомъ теперь на ножахъ?

— То-то и я говорю... Не мытьемъ, такъ катаньемъ... Всю татарскую силу поднялъ. Чужихъ, вишь ты, амбаровъ жалко... Свой-отъ убережешь-ли, говорю, Степанушко... Сказано: ненатуральный человекъ... Игрунь!

Потомъ, наклонясь къ намъ, онъ прибавилъ тише:

— Дѣло-то, почитай, на мази было. Вычка да двухъ телокъ ужъ я къ якутамъ свелъ на станцію. Полу, значить, мимо ъхать, — взять бы. Да денегъ пятнадцать рублей. Все вѣдь припасла Марья-то... А ни къ чему.

— Отчего-же?

— Да вотъ, по тому самому: боекъ очень. Теперь объ немъ не то что... въ городу молва идетъ. Обвѣнчай эдакаго хахала,—будешь у праздника. Чай, тоже не о двухъ головахъ хоть и попъ зтоть...

Въ это время дверь юрты открылась опять, и на порогѣ появилась высокая фигура, вся въ мѣхахъ и съ посохомъ въ рукѣ. Это былъ священникъ. Я уже разъ видѣлъ у знакомыхъ эту своеобразную фигуру, всю проникнутую колоритомъ холодной и дикой пустыни. Родомъ съ далекой Камчатки, настоящій подвижникъ своей трудной мисси, онъ разучился даже говорить полными предложениями и выражался кратко, однословно, но, по-своему, опредѣленно и сильно. Никогда я не видѣлъ человека, который бы могъ пить такъ много и при томъ безъ всякихъ послѣдствій. Другіе собесѣдники валились кругомъ одинъ за другимъ, а онъ продолжалъ, все такой-же крѣпкій и молчаливый. Только черные глаза его немного разгорались, а лицо чуть-чуть блѣднѣло. На многое онъ смотрѣлъ слишкомъ упрощенно, но мнѣ казалось, что подъ этой грубой оболочкой бьется недурное сердце...

Замѣтивъ нашу группу во дворѣ, онъ подошелъ близко и сказалъ съ грубоватымъ простодушіемъ, отрубая слова:

— Плачеть. Глухая. Жаль. Баба хорошая.

— Баба какъ есть... Хоть въ Рассею возьми, — отозвался Тимоха.

— Могъ бы, обвинчалъ бы. Не вѣнчаны. Побожилась. Вѣрю. За грѣхъ не почитаю. Имена ты, Господи, вѣси... А мнѣ пятнадцать рублей деньги...

— Какъ не деньги! — убѣжденно поддержалъ опять Тимоха. — По здѣшнимъ мѣстамъ гдѣ возьмешь?

— Такъ въ чемъ-же дѣло, батюшка? — спросилъ я.

— Нельзя... Человѣкъ замѣтенъ. Не тотъ человѣкъ.

— Правильно! — подтвердилъ Тимоха.

— И ей не такого бы. Жаль. Ну, нельзя.

Онъ сунулъ намъ свою огромную руку и пошелъ къ воротамъ, кидая по бѣлому снѣгу гигантскую черную тѣнь.

— Ха-а-рошій батъка, — сказалъ Тимофей съ какою-то особенной теплотой въ голосѣ...

Онъ пошелъ къ лошадямъ, а мы вошли въ свою юрту. Здѣсь еще ярко пылалъ огонь, на столѣ видѣлись пустыя бутылки и остатки угощенія. Маруся лежала за перегородкой, уткнувшись лицомъ въ изголовье...

Прошло минутъ двадцать. За перегородкой усилились глухіе сдержанные стоны... Мы начинали уже бояться какого-нибудь болѣзненного припадка, но въ это время, къ общему облегченію, вошелъ Тимоха и сказалъ какъ-то просто и рѣшительно:

— Ну, хозяйка! У меня лошади готовы. Ыдемъ, что-ли.

Въ его грубомъ голосѣ я различилъ непривычно-мягкую, ласковую ноту.

— Куда-же это вы, на ночь глядя? — сказалъ мой товарищъ. — Да и опасно, смотрите.

— Чего это? — спросилъ Тимофей. — Это ты насчетъ татаръ? Эва! Чего имъ отъ насъ нужно. Нѣ-ѣтъ! Насъ не тронуть. А въ случаѣ чего, у меня дубина. Ну, полно тебѣ, хозяйка! Вставай! Домой надо.

За перегородкой нѣсколько секундъ еще стояло молчаніе, потомъ Маруся поднялась какъ-то вдругъ и ея фигура появилась въ темномъ четырехъугольникѣ двери. Ея праздничная одежда была слегка измята, лицо искажено мучительной судорогой и, какъ мнѣ показалось, — выраженіемъ глубокаго, мучительнаго стыда... Тимоха помогъ ей одѣться. Она застѣнчиво поклонилась намъ, и они вышли...

На слѣдующее утро мы стояли съ Козловскимъ у воротъ, разговаривая о событіяхъ прошедшаго дня... День былъ сравнительно мягкій, градусовъ 15, что для тѣхъ мѣстъ соответствуетъ нашей оттепели, и на улицѣ видѣлось не мало народу...

Вдругъ мы замѣтили около середины длинной слободской улицы какое-то оживленіе. Лаяли собаки, выбѣгали люди, стайка татарчатъ бѣжала за всадникомъ, ѣхавшимъ по самой серединѣ улицы почти шагомъ.

— А вѣдь это, смотрите, Степанъ,—сказалъ, вглядываясь, Козловскій.

Я сначала не повѣрилъ, но стоявшій рядомъ слобожанинъ Сергѣй, обладавшій чисто рысей дальноркостью, съ увѣренностью чортвердилъ мнѣніе поляка.

— Ну, смѣлая шельма, —сказалъ съ одобреніемъ Козловскій. — Ыдетъ себѣ среди дня, какъ ни въ чемъ не бывало. Пьяный, должно быть... Вотъ будетъ штука, если увидитъ Абрашка.

Абрашка въ это время кололъ дрова. Заинтересованный шумомъ, онъ равнодушно вышелъ за ворота, приглядѣлся и вдругъ со всѣхъ ногъ кинулся въ домъ. Черезъ минуту дверь отворилась. Мнѣ показалось, что оттуда мелькнуло дуло ружья, но тотчасъ же дверь захлопнулась опять. Не прошло и минуты, какъ изъ юрты появилась красивая жена Абрама, а за ней—самъ Абрамъ покорно шелъ съ пустыми руками...

Толпа за Степаномъ росла. Онъ ѣхалъ, не торопясь, конь порывался и игралъ подъ нимъ, пугаясь шума и толкотни, но Степанъ сдерживалъ его и, казалось, не обращалъ вниманія на все происходившее. Мнѣ показалось, что онъ, дѣйствительно, нѣсколько пьянъ. Я замѣтилъ, что въ толпѣ было больше всего татаръ. Слобожане и якуты, наоборотъ, скрывались въ юрты. Степанъ испытывалъ еще разъ участь героя, оставляемаго въ трудную минуту тѣми самыми людьми, которые всего больше ему удивлялись. Сергѣй тоже съ замѣшательствомъ почесался...

— Уйти, однако, —сказалъ онъ, озираясь; но наше присутствіе и любопытство пересилило, и онъ остался.

Степанъ тотчасъ же замѣтилъ Абрашку и его жену, которые двинулись ему навстрѣчу. Я подумалъ даже, вспомнивъ при этомъ Тимоху, что вся эта бравада Степана имѣла главнымъ образомъ въ виду Абрашкину юрту и ворота, мимо которыхъ ему приходилось ѣхать. Замѣтивъ своего противника, Степанъ нервно дернулъ поводъ, но затѣмъ въ лицѣ его показалось легкое замѣшательство и какъ будто растерянность. Онъ, вѣроитно, ждалъ чего-нибудь болѣе бурнаго.

Между тѣмъ, красивая татарка шла прямо на лошадь плавной походкой полной женщины, — и Степану пришлось остановиться. Толпа тоже остановилась, но было видно, что это просто толпа любопытныхъ. Вдругъ среди нея послы-

шался дружный смѣхъ, послѣ двухъ или трехъ словъ Марьи, сказанныхъ по-татарски.

— Что она сказала?—спросилъ я.

— Ничего,—отвѣтилъ Сергѣй, тоже улыбаясь.—Она говорить: „здорово, Степанушка“... больше ничто не сказала...

— А онъ развѣ понимаетъ по-татарски?

— Тюрьма сидѣлъ съ ними... Знаетъ.

Толпа опять захохотала.

— Что такое?—спросилъ я опять.

— Нечего,—отвѣтилъ мой переводчикъ.—Конфузилъ больно... Ты, говорить, якутской вѣра...

— А теперь что?

Онъ слушалъ и переводилъ мнѣ, пока Степанъ тихо прокладывалъ себѣ путь среди толпы, а Марья, держась немного поодаль, продолжала свои язвительныя рѣчи.

Черезъ нѣкоторое время къ ней присоединился Абрамъ. Онъ говорилъ страстно и все повышалъ голосъ.

— А! Че!—восклидалъ Сергѣй, при каждой новой фразѣ.— Больна конфузилъ.

— Да что-же такое?—спрашивалъ я съ нетерпѣніемъ.

— Ты, говорить, съ нами хлѣбъ ѣлъ.

— Ты, говорить, съ нами спалъ вмѣстѣ.

— Ты, говорить, намъ считался все одно братъ.

— Ты, говорить, за джякутъ заступилъ, за насъ не заступилъ...

— Тебѣ, говорить, джякутъ лучше татарина стать...

— Ты, говорить, научилъ поганыхъ якутовъ украсть моего каурка...

Я слушалъ съ удивленіемъ переводъ этихъ рѣчей, въ которыхъ, въ сущности, не было ничего, кромѣ изложенія дѣйствительныхъ фактовъ. Все, что тутъ говорилось, была правда, все это было хорошо извѣстно и намъ, и Степану, и всей слободѣ. И я не могъ понять, почему эта толпа торжествовала надъ этимъ человѣкомъ, которому стоило только поднять голову и сказать нѣсколько словъ. Я такъ и ждалъ, что Степанъ остановитъ коня и крикнетъ:

— Да, я сдѣлалъ все это, и опять сдѣлаю... Собаки!..

Но Степанъ не говорилъ этого. Наоборотъ, его глаза, еще недавно дерзко искавшіе опасности и кидавшіе вызовъ,—теперь потупились; онъ густо покраснѣлъ, при чемъ рѣзко выступили опять свѣтлые усы и брови, и, повидимому, все свое вниманіе сосредоточилъ на мундштукѣ коня, какъ будто ѣхалъ надъ пропастью. Конь по временамъ, видимо, просидѣлъ, поднималъ голову и, оскаливъ зубы и брызжа пѣной, трясъ

надъ головами шнырявшихъ передъ нимъ татарчатъ своей красивой головой съ страдальческимъ выраженіемъ.

Марья увѣренно шла немного въ сторону и впереди и продолжала выкрикивать нараспѣвъ съ какой-то проникающей страстностью... Такая же страстность и такая же изумительная увѣренность въ своей правотѣ слышалась въ тонѣ Абрама. Его прекрасные глаза горѣли и, казалось, метали искры, а голосъ звенѣлъ и заражалъ глубокой искренностью негодованія.

Голоса мужа и жены становились все возбужденнѣе, смѣхъ толпы все громче. Опасаясь, что, въ случаѣ задержки, все это можетъ кончиться какой-нибудь катастрофой, я быстро перебѣжалъ черезъ небольшую площадку и сталъ открывать свои ворота, въ увѣренности, что Степанъ ѣдетъ къ намъ, и съ намѣреніемъ у своихъ воротъ заступиться за него и оставить толпу.

И, дѣйствительно, онъ уже сталъ-было поворачивать за уголъ городьбы, какъ вдругъ произошло что-то совсѣмъ неожиданное. Красавица-татарка, державшая себя всегда съ такимъ солиднымъ достоинствомъ, вдругъ выступила впередъ и передъ всѣми сдѣлала по направленію къ Степану безстыдный жестъ...

Толпа неистово загготала.

На нашъ взглядъ такой поступокъ опозорилъ бы только женщину; но я замѣчалъ много разъ, что простые люди принимаютъ это наоборотъ, какъ самое тяжкое оскорбленіе своей личности. И, дѣйствительно, Степанъ вздрогнулъ, конь его, казалось, сейчасъ кинется на татарку. Но онъ удержалъ его, поднявъ на дыбы. Толпа шарахнулась, расчистивъ путь, и черезъ минуту Степанъ исчезъ за околицей въ тучѣ снѣжной пыли, подъ грохотъ и улюлюканье торжествующей толпы.

Увы! Это была полная нравственная побѣда одной стороны и поражение другой. Побѣда увѣреннаго въ себя и цѣльнаго, въ своей простодушной непосредственности, злодѣйства надъ неуѣренной и стыдящейся себя добродѣтелью.

Недѣли черезъ двѣ мы съ товарищемъ рѣшили съѣздить на Дальнюю займку. Обоимъ намъ хотѣлось повидать Степана и, прямо или косвенно, выразить ему свое сочувствіе.

Выѣхавъ задолго еще до разсвѣта, мы только къ ночи подъѣхали къ Дальней займкѣ.

Теперь трудно было узнать эту мѣстность. Кругомъ все было занесено снѣгомъ, тайга стояла вся бѣлая, за нею, едва золотясь краями на лунномъ свѣтѣ, высились скалы, озеро лежало подъ снѣгомъ и только у берега высились мерзлые края проруби.

Малорусская хатка стояла пустая, съ бѣлыми обмерзшими окнами. За нею виднѣлась небольшая юрта съ наклонными стѣнами, казавшаяся кучей снѣга. Лѣтомъ я не обратилъ на нее вниманія. Теперь въ ея окнахъ переливался огонь, а изъ трубы высоко и прямо подымался бѣлый столбъ дыма, игравшій своими блѣдными переливами въ лучахъ мѣсяца.

Все было бѣло, блѣдно и прозрачно. Злой лай собаки привѣтствовалъ насъ еще издали, и навстрѣчу намъ вышелъ, скрипнувъ дверью, Тимоха. Въ рукахъ у него была здоровенная дубина. Очевидно, онъ полагался на нее болѣе, чѣмъ на ружье.

Маруся приняла насъ съ грустной привѣтливостью, все-таки стыдась чего-то и отворачивая лицо. Степана не было...

Въ юртѣ даже какъ-то незаметно было его отсутствіе. Все было тѣсовато, но уютно, и, повидимому, Маруся съ работникомъ жила довольно удобно... Они ничего еще не знали о происшествіи въ слободѣ. Степанъ домой не являлся. Очевидно, его жизнь начала отдѣляться отъ жизни Дальней заимки.

Пришлось все-таки разсказать Марусѣ о причинѣ нашего посѣщенія.

— Ну, теперь закрутить и еще пуще,—сказалъ Тимоха.

На шитье, съ которымъ въ это время сидѣла Маруся, капнула слеза... Она зашивала Тимохину рубаху...

Еще недѣли черезъ двѣ мы узнали, что Степанъ ушелъ на приски.

VII. Заключение.

Прошло года полтора. Въ самомъ началѣ осени пріѣхалъ засѣдатель Федосѣевъ. Отдавъ намъ письма и газеты, онъ попросилъ насъ присѣсть и сказалъ:

— Да, кстати. Какое неприятное происшествіе.

— Что такое?

— На Дальней заимкѣ... Какой-то тамъ Тимофей у нихъ... Работникъ, что-ли, чортъ его знаетъ...

— Да, работникъ.

— Равенъ или ранилъ себя по неосторожности. Вообще, таинственная исторія. Вы ничего не слыхали?

— Нѣтъ, не слыхали. Тяжело?

— Нѣтъ, легко. Уже поправляется. Я узналъ стороной,—они сами скрываютъ. Что, Степанъ у васъ не бывалъ?

— Нѣтъ, онъ давно на прискахъ.

— Приходилъ не такъ давно за паспортомъ... Но, по нашимъ свѣдѣніямъ, онъ ушелъ опять недѣли за двѣ до происшествія...

И вдругъ, переходя въ „партикулярный“ тонъ, онъ сказалъ:

— Между нами сказать, — я увѣренъ, что это его рукъ дѣло.

И, лукаво засмѣявшись, прибавилъ:

— Вотъ оно — женское сердце! Помните, я-то распинался: любовь... какъ это еще... идиллія, вѣрность. И вѣдь работникъ-то, замѣтите, рожа несказанная... Настоящій... Ну, какъ это?... Ква... Ква...

— Квазимодо...

— Ну, вотъ-вотъ. Я вѣдь прямо оттуда. Отобралъ показанія.

— Что-же?

— Самъ, говорить, по нечаянности; ружьемъ баловался... Но рана такая, что этого никоимъ образомъ допустить нельзя... Понимаете?

— А тюрьма у васъ переполнена?

— Какъ селедокъ въ бочкѣ, — сказала онъ, махнувъ рукой. — Къ тому-же... Только ужъ это, пожалуйста, вполне партикулярно, между нами!

Онъ оглянулся на запертую дверь и прибавилъ:

— Пришлось бы, пожалуй, и другое дѣло подымать... А жаль батюку, батюка-то простякъ...

— Неужели бродяжій бракъ? — спросилъ я.

— А вы почему догадались?

— Я зналъ объ ихъ намѣреніи вѣнчаться. Значить, все-таки Степану удалось это устроить?

— Какъ Степану?

— А то кому-же?

— Ну, тамъ кто устраивалъ, не знаю. А только обвинчался все онъ-же, работникъ этотъ... На кого, подумайте, промѣняла! Тотъ все-таки былъ, дѣйствительно, молодецъ!

Мнѣ вспомнилась пророческая вражда Степана и его отзывъ о хитрости работника. А между тѣмъ, я и теперь былъ увѣренъ, что роль Тимохи была, какъ всегда, пассивная: навѣрное, Маруся просто женила его на себѣ... Изломанная, смятая какой-то бурей, она стремилась возстановить въ себѣ женщину и хозяйку. Для этого ей нужно было ея хозяйство, весь этотъ уголокъ. Для хозяйства нуженъ хозяинъ. Все это — лишь виѣшняя оболочка, въ которую, какъ улитка, пряталась больная женская душа...

А впрочемъ... Кто знаетъ? Иногда мнѣ вспоминалось время, проведенное нами на заимкѣ, рассказъ Тимофея, горящіе глаза Маруси и почти страдальческое участіе ея къ этому разсказу. И мнѣ приходило въ голову, что, быть можетъ, въ ней, стремившейся возстановить въ себѣ крестьянку, этотъ Тимоха, такъ полно сохранившій въ себѣ все особенности пахара, — могъ задѣть и другія сердечныя струны...

Все это, однако, показалось мнѣ слишкомъ туманнымъ и сложнымъ, чтобы дѣлиться этими соображеніями съ засѣдателемъ Федосѣевымъ.

Недавно я получилъ изъ тѣхъ мѣстъ длинное письмо. Моя знакомая отвѣчала подробно на мои вопросы о мѣстахъ и людяхъ.

„...О Степанѣ мнѣ трудно было узнать что-нибудь. О немъ всё какъ-то забыли. Марья же (по мужу Захарова) живетъ на „Дальней заимкѣ“. Это мѣсто пользуется нѣкоторой извѣстностью, и начальство охотно поселяетъ тамъ русскихъ, на которыхъ можно рассчитывать, какъ на земледѣльцевъ. Пожалуй, что это начало будущаго значительнаго поселенія. У Марьи два сына, одинъ—подростокъ, отличный работникъ. Оба говорятъ по-малорусски лучше, чѣмъ по-русски. Тимофей тоже хорошій работникъ, но, по общему мнѣнію, настоящая хозяйка—Марья. Впрочемъ, она выказываетъ ему наружные знаки почтенія. Иногда онъ напивается и подъ пьяную руку поколачиваетъ ее. Она охотно рассказываетъ объ этомъ, какъ будто гордится побоями „своего мужика“, или, какъ она называетъ, „чоловіка“... Въ смѣхѣ Маруси ничего особеннаго не замѣтно... Вообще она повидимому челоуѣкъ вполне нормальный“.

— Выпрямилась,—подумалъ я по прочтеніи этого письма. Мнѣ опять вспомнилась молодая искалѣченная лиственница... Даже эти побои... Вѣроятно, Марья приходитъ при этомъ въ голову, что,—не будь всего того, что вырвало ее изъ родной среды,—какой-нибудь „чоловікъ Тимішъ“ гдѣ-нибудь въ своей губерніи такъ-же наливался бы, такъ-же куражился, такъ-же поколачивалъ бы ее въ родной деревнѣ... На то онъ „чоловікъ“, свой, родной, „законный“.

У всякаго свои понятія о счастьи...

Во времена моей юности одинъ товарищъ рассказалъ мнѣ слѣдующую исторію. Какъ-то, липившись уроковъ, онъ дошелъ до крайней нужды и не ѣлъ почти два дня. Въ это время ему предложили работу. Онъ вяло шелъ по улицамъ на приглашеніе и думалъ, что врядъ-ли въ силахъ будетъ исполнить заказъ. Вотъ если бы задатокъ!.. Хоть рубль... именно рубль!.. И вдругъ въ его воображеніи съ необыкновенной яркостью нарисовалась желтенькая бумажка. Съ этимъ заманчивымъ образомъ въ умѣ онъ слушалъ объясненіе заказчика. Въ заключеніе тотъ самъ предложилъ задатокъ и протянулъ... десять рублей. Студентъ вяло посмотрѣлъ на бумажку. Это было не то, что ему нужно.

— Рупь...—сказалъ онъ съ выраженіемъ тупой жадности въ голосѣ.

— Но позвольте...

— Рупь, рупь, рупь,—повторилъ онъ настойчиво. Заказчикъ пожалъ плечами, студентъ получилъ желаемое. И въ эту минуту онъ былъ счастливъ...

Маруся тоже отвоевала у судьбы свой рубль и — значитъ, тоже счастлива.

Извѣстія эти доставили мнѣ чувство нѣкотораго удовлетворенія: героическія усилія молодого надломленного существа не пропали даромъ. Но когда я гляжу теперь на нѣсколько пожелтѣвшихъ листочковъ, на которыхъ я тогда набросалъ въ короткихъ чертахъ рассказъ Степана,—сердце у меня сжимается невольнымъ сочувствіемъ. И сквозь благополучіе Дальней заимки хочется заглянуть въ безвѣстную судьбу безпокойнаго, неудовлетворившагося, можетъ быть, давно уже погибшаго человѣка...

1899 г.

НЕНАСТОЯЩІЙ ГОРОДЪ.

(БѢГЛЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ И ЗАМѢТКИ).

I.

Я стоялъ на широкой площади уѣзднаго города Вятской губерніи и съ любопытствомъ оглядывался въ новомъ для меня мѣстѣ. Какъ тихо!—вотъ первое впечатлѣніе отъ этого города. Невольно вспомнилось Некрасовское:

Въ столицахъ шумъ, гремятъ витіи...
Кипить словесная война...

А здѣсь стояла дѣйствительно тишина... непробудная, вѣковая, стихійная... Вѣтеръ качалъ жидкія березки на берегу быстрой рѣчки, которая крутой излучиной врѣзалась въ обширную площадь, къ самому центру города. И тутъ-же за рѣчкой на другомъ берегу гнулись и тихо волновались подъ вѣтромъ созрѣвающіе хлѣба...

Недѣли двѣ назадъ названіе этого города было для меня лишь отвлеченнымъ географическимъ терминомъ... Кружокъ на картѣ на одномъ изъ притоковъ Вятки... Воображеніе прибавляло тусклое небо, болота, лѣса, туманное лѣто, суровую зиму... И вотъ, точно вихрь выхватилъ меня изъ сутолоки и шума столичной жизни и понесъ... Куда-же?..

Въ Вяткѣ мнѣ сказалъ „по секрету“ простодушный вятчъ, смотритель тюрьмы, что я назначенъ въ N...

— Что-же это за городъ?—спросилъ я.

— Городишко плохенькій, что толковать... Одна церковь... Другую строятъ, строятъ, — никакъ не достроятъ. Силенки че хватаетъ...

— А населеніе русское?

— Въ городъ—русскіе *будто*. А по деревнямъ—вотяки... Дичь! Бога не знаютъ.

— Позвольте: вѣдь вотики православные...

— Православные *будто*... Да что въ нихъ толку...

Этотъ отзывъ, въ которомъ слово „будто“ играло такую замѣтную роль, впоследствии вспоминался мнѣ часто.

— Что, небось, не глянется тебѣ городъ-отъ нашъ...—говорила мнѣ на мѣстѣ добродушная обывательница, у которой я снялъ квартиру...

— А ты, милый, не сумлѣвайся. Ничего-о... Всѣ эдакъ-ту по началу... Вотъ тутъ жидъ есть, Морхель... Тоже, какъ приѣхаль, больно не показалось ему мѣсто наше... А теперь ничего: обжился, деньги отдаетъ на проценты. Семейство выписалъ. Самъ теперъ говоритъ: „Дуракъ быть... Не зналъ, гдѣ мое счастье жить“... Народъ у насъ простой, повадливый... Можетъ и тебѣ Господь дастъ...

Я твердо зналъ, что не найду здѣсь своего счастья... но это не мѣшало мнѣ съ любопытствомъ присматриваться къ новому мѣсту.

Типичный городокъ сѣверо-востока. Два, три каменныхъ зданія, остальное все деревянное. Въ центрѣ полукруглая площадь, лавки, навѣсы, старенькая церковка, очевидно пришедшая въ негодность, и рядомъ огромное недостроенное зданіе новаго храма, окруженное деревянными лѣсами. Онъ поднялся въ центрѣ города, подавляя его своей величиной, но не доросъ до конца и остановился. Огромная колокольня высилась вродѣ вавилонской башни, кидая на окружающую мелкоту тѣнь незаконченности и раздумья, пока ей не надоѣло, и она рухнула...

Подальше отъ центра домишки окраины подходятъ къ ельничку, сосняку, который, выростая вверхъ по рѣкѣ, становится спокойнымъ дремучимъ боромъ...

II.

Я поселился въ слободкѣ...

— Эхъ, напрасно вы это, господинъ, — упрекнулъ меня одинъ новый знакомый изъ мѣстныхъ горожанъ. — Взяли бы фатерку въ городѣ...

— А что?

— Да оно всетаки... Въ городѣ *будто*. А слободка, такъ вѣдь она слободка и есть... Недѣли, прямо сказать, безъ новости не живетъ. Гдѣ „качество“ случится, такъ ужъ полиція и знаетъ: слободскіе!

— А я, признаюсь, такъ и не знаю, какая она слободка живетъ, — прибавилъ съ усмѣшкой молодой человекъ купеческаго званія, обильно увѣшанный брелоками. — Кромѣ какъ ночью, я въ ней и не бываю...

Вообще я скоро замѣтилъ, что городъ относится къ Слободкѣ съ высокомеріемъ, въ которомъ чувствовалось что-то больше обычного спокойнаго пренебреженія. Слободка въ свою очередь платила городу тою-же монетой.

— Господь-а!.. Купечество!.. — говорилъ мнѣ слобожанинъ сапожникъ, наскоро отмахивая заказанные сапоги. — Нешто настоящее, напимѣрь, купечество, въ прочіихъ мѣстахъ, такое живеть, — какъ наши?

— А какое?

— Не знаете будто? Вѣдь ежели купецъ настоящій, такъ обязанъ онъ имѣть свой капиталъ... Самъ наживется и людямъ дастъ... А наши и сами-то въ долгу кругомъ... Изъ чужихъ рукъ смотрять... Да у насъ и торговать-то нечѣмъ.

— А Шкиларовъ? — спросилъ я.

— Ну, что Шкиларовъ...

И, понизивъ голосъ, онъ прибавилъ:

— Торговлей, думаете, разжились они?.. Ка-а-акъ-же! Грабительствомъ да разбоемъ. Старикъ бывало натюкается у насъ-же тутъ и поидеть хвастать: — „Нять, баеть, медвѣдей убилъ... Да зря, — все не шубные. Шестой, говорить, шубный попался... Съ него, батюшки, и жить пошелъ“... И заплачетъ... Вотъ и понимайте: нѣшто это купечество?.. Настоящее?.. Какъ въ прочіихъ, напимѣрь, мѣстахъ полагается быть купечеству?..

И, швырнувъ кое-какъ отдѣланный сапогъ, онъ прибавилъ:

— Конечно, настоящему, напимѣрь, заказчику такая-ли отдѣлка требуется... А энтимъ... Живе-еть и такъ...

— Нѣшто у насъ, напимѣрь, ремесло? — меланхолически продолжалъ онъ. — Соберите вы сейчасъ всѣхъ давальцевъ и поставьте въ рядъ. А насупротивъ выставте чеботныхъ. Такъ ужъ это я вамъ вѣрно говорю: на давальца придется по чеботному!..

— Да еще, — уныло подтвердилъ другой: — по зимамъ, подлещи, валеный сапогъ таскають... Станеть развѣ настоящій купецъ безперечь въ валенкѣ ползать! Настоящему давай теплую калошу. Пришелъ домой, — калоши снялъ. На ногѣ у него сапогъ... Красиво, благородно...

Зато у слобожанина много досуга. Ужъ онъ-то не страдаетъ отъ неудобствъ излишняго раздѣленія труда, — онъ представляетъ полную единицу своего производства. Онъ самъ сходить въ лѣсъ или въ поле, на досугѣ облюбуеть хорошую „кондовую“ березу, обойдетъ ее кругомъ, посмотритъ, подумаетъ, перейдетъ къ другой, опять вернется къ первой, срубитъ ее, обвяжетъ съ комля веревкой и влосемъ

съ сынишкой приволокеть къ себѣ во дворъ. Здѣсь обрубить вѣтви, нарѣжетъ изъ нихъ бабѣ вѣтви и дровъ, а стволъ положить сушиться. Потомъ сниметъ бересту для подкладокъ, напилитъ чурбашекъ для колодокъ, остальное распилитъ на кружечки. Кружки онъ расщеплетъ ножомъ на тонкія фанерки, а фанерки станеть щепать на деревянные шпильки, которыя баба высушитъ ему на печкѣ. На 18 копѣекъ онъ могъ бы купить полфунта готовыхъ фабричныхъ шпильекъ, и ихъ хватило бы на мѣсяцы. Но и 18 копѣекъ для него большія деньги. Найдя въ сору старый каблукъ, онъ подбереть его, оглядитъ, повертитъ въ рукахъ и приметъя клещами вытаскивать изъ прогнившей кожи проржавѣвшіе гвозди, которые кинеть до надобности въ жестянку... Конечно, къ этому выковыриванію ржавыхъ гвоздей онъ самъ не можетъ относиться иначе, какъ съ презрительной усмѣшкой. Но онъ объясняетъ это тѣмъ, что настоящій гвоздь требуется только настоящему заказчику... „А энтимъ—ж-жи-ветъ“.

И зовется онъ не существительнымъ—„сапожникъ“, какъ „въ прочихъ мѣстахъ“, а прилагательнымъ: „чеботной“, къ которому предполагается приставка „мужикъ“. Онъ еще не вполнѣ вылунился изъ мужика, какъ и его городъ не вполнѣ отдѣлился отъ деревни.

Купецъ тоже не существительное, онъ тоже зовется „торговымъ“, съ той-же предполагаемой приставкой... У него нѣтъ гильдейскихъ традицій, какъ и у „чеботнаго“ нѣтъ цеховыхъ. Онъ еще чувствуетъ въ себѣ кровь недавняго предка мужика и не увѣренъ, что его сыновья не опустятся опять въ сѣрую массу. Стоитъ только заню перехватить обычную мѣру, или поскользнется онъ какъ-нибудь иначе, и смотришь—сыну „торговаго“ приходится взяться за молотокъ и шило или вспомнить, что въ деревнѣ у тятеньки остался еще мужицкій надѣлъ.

И досуга у городскихъ „торговыхъ“ не меньше, чѣмъ у слобожанъ... Случается порой покупателю, забирающему товаръ въ долгъ въ извѣстной лавкѣ, пробраться по невообразимымъ топямъ немощеной площади и увидѣть на дверяхъ лавки Ивана Никифоровича замокъ.—„Иванъ Никифоровичъ уѣхали съ товаромъ“,—говорятъ ему сосѣди. Это значитъ, что Иванъ Никифоровичъ, имѣющій тоже полное основаніе считать своего покупателя „ненастоящимъ“,—собралъ товаръ въ тельги и уѣхалъ вмѣстѣ съ приказчиками къ храмовому празднику въ село или на одинъ изъ заводовъ, хорошо зная, что покупатель все равно не пойдетъ къ другому: не дадутъ въ долгъ... И вотъ, пока торговый тихо плетется со своихъ

возомъ по дорогамъ изъ села въ заводъ и изъ завода обратно въ городъ,—его постоянный покупатель коротааетъ невольный досугъ въ пьянствѣ... На это у него кредитъ какъ-то оказывается. И выпивая, онъ ругаетъ ненастоящаго торговца, который въ то же время презираетъ и ругаетъ ненастоящаго покупателя.

Это основная нота взаимныхъ отношеній: обѣ стороны считаютъ другъ друга ненастоящими. Ненастоящая торговля, ненастоящій покупатель, ненастоящее ремесло и ненастоящій заказчикъ. Самый городъ выходитъ ненастоящій, и жизнь его какъ будто призрачная, чего-то ожидающая, какъ эта задумавшаяся надъ нимъ недостроенная колокольня.

III.

Замѣчательно, что почти всѣ ремесленные силы слободки устремляются роковымъ образомъ къ сапогу. Во всемъ городѣ было въ мое время только два слесаря. Да и то силы одного, глубокаго старика, были поглощены почти исключительно починкой пожарнаго обоза, а другой былъ собственно жестянникъ. Когда въ городѣ явились четверо слесарей ссыльныхъ,—къ нимъ хлынули заказы въ такомъ количествѣ, что они не успѣвали справляться. Столяръ былъ одинъ на весь городъ (тоже ссыльный изъ уголовныхъ), и онъ ломался надъ заказчиками, чувствуя себя хозяиномъ положенія.

А „чеботные“ все продолжали учить ребятъ своему „ненастоящему“ ремеслу. Я задумывался надъ этимъ страннымъ явленіемъ и, понемногу присматриваясь къ правамъ слободки, я сталъ уяснять себѣ его причины...

Слободка сознаетъ свое положеніе, сопоставляя его съ какими-то полумифическими прочими мѣстами, гдѣ наоборотъ все самое настоящее, въ томъ числѣ и сапожники.

— Конечно что... работа наша таковская...—говорилъ мнѣ Несторъ Семеновичъ, у котораго я сталъ учиться сапожному ремеслу.—Какіе мы мастера, гдѣ учились! Постучить мальчишка молоткомъ по подошвѣ года два,—мастеръ! Нѣшто съ такой учбой дойдешь до дѣла!..

Несторъ Семеновичъ—человѣкъ думающій и немного мечтательный. Порой онъ отставитъ сапогъ и любуется его формой, какъ настоящій артистъ. У него есть своего рода артистическая тоска отъ сознанія несовершенства своей работы. Надъ всей жизнью слободки и города онъ острить порой очень мѣтко и питаетъ особое благоговѣніе къ „прочимъ мѣстамъ“, которые въ его глазахъ имѣютъ значеніе полумистической Утопії.

— Рассказывалъ мнѣ одинъ человѣкъ, — говорилъ онъ мнѣ однажды, неторопливо прошивая длинныя голенища, — зашелъ будто въ наши мѣста молодой выюношъ и просится къ чеботному на работу, въ подмастерья. Ладно. Хозяинъ и говорить: — Какая будетъ твоя работа, не знаю вѣдь я? — „А вотъ, отвѣчаетъ этотъ выюношъ, какая наша работа: я тебѣ безъ мѣрки сапогъ сошью... На глазъ значить. А ты и погляди“. — Ну, хорошо! Сдѣлалъ колодку на лѣву ногу, скроилъ, сшилъ. Надѣлъ хозяинъ, — въ аккуратъ! То есть це промахнулся ни на вотъ эстолько... И работа такая, что въ нашихъ мѣстахъ не видано... — Ладно, — хозяинъ говоритъ, — садись, работай у меня. — Ну, тотъ спрашиваетъ: — „А почему у васъ съ пары работаютъ?“ — А съ пары я тебѣ дамъ вотъ сколько. По нашему мѣсту это есть цѣна хорошая. — Помоталъ тотъ выюношъ головой. — „Нѣтъ, говорить, не выйдетъ этакъ-ту, у насъ этакихъ цѣнъ и не бываетъ“. И ушелъ. А у мастера сапогъ остался безъ пары. Что съ нимъ дѣлать? Ежели другой сшить, такъ невозможно на этакую красоту въ пару потрафить. Поставилъ на окнѣ. Кто ни идетъ — остановится, посмотритъ и заходить къ чеботному. — „Сшей ты мнѣ сапоги по этому фасону, — цѣну бери какую хочешь!“ Мастеръ сниметъ мѣрку, сошьетъ, куда тебѣ! Заказчики только ругаются, даже и такъ, что начальству жалуются. Осердился онъ, взялъ сапогъ, понесъ къ торговому, продать. Тотъ его надъ дверью въ лавочкѣ повѣсилъ. И опять кто ни идетъ мимо лавки, — остановится. — „Продай мнѣ этакую пару, бери что хочешь!“ — „Нѣтъ, — отвѣчаетъ торговый... — Нѣтъ по всему базару пары этому сапогу, и нѣтъ по нашему мѣсту такого мастера, чтобы могъ сшить“. — Только разъ шелъ мимо забѣзжій человѣкъ, глянулъ и говоритъ: — „Стой, ребята, я этому сапогу пару видалъ“. — Гдѣ, что такое?... — „Поѣзжай ты, говорить, въ такой-то городъ, нашей же губернии, зайди въ лавку къ Сидору Трофимову. Тамъ надъ дверью этакой же сапогъ висить... Этому родной братъ!“ Ну, тому торговому любопытно. Поѣхалъ онъ туда: вѣрно! Въ аккуратъ пара, этакъ же безъ мѣрки сшить... Вотъ это мастеръ! А изъ какого мѣста пришелъ въ нашу сторону — неизвестно.

Впослѣдствіи за уроками сапожнаго дѣла мнѣ приходилось цѣлые дни проводить съ Несторомъ Семеновичемъ за верстакомъ, на сѣдухахъ. Онъ вѣчно что-нибудь пѣлъ или рассказывалъ. Порой, захвативъ зубами конецъ дратвы и воткнувъ шило въ неоконченный стежокъ, онъ останавливался съ приподнятой головой. На лбу его было что-то вродѣ ремешной диадемы, сдерживавшей длинныя волосы, чтобы они не мѣ-

шали, и лицо его въ такія минуты могло бы служить моделью задумчивой мечты. Онъ спрашивалъ меня о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ я жилъ, но мои рассказы его не удовлетворяли.

Несторъ Семеновичъ тоже готовилъ въ лицѣ мальчика-сына новаго чеботнаго. На мой вопросъ, почему онъ не отдастъ его въ ученіе къ столяру или слесарямъ, Несторъ Семеновичъ отвѣчалъ неопредѣленно...

— Что ужъ! Какъ люди, такъ и мы.—И потомъ прибавилъ:—Вотъ, поглядите, зимой по санному пути навезутъ столовъ да тубаретокъ.. Расписаны пукетами. А по сорокъ копѣекъ и цѣна-то имъ...

— А всетаки столяръ Тимофей сколько зарабатываетъ!..

— Ну, Тимофей... Хорошо! Кинемся мы всѣ на подобіе Тимофея... Еще хуже сапога дѣло будетъ. Потому сапогъ носится... А столяръ дѣло деревянное... Кружкое... Притомъ у насъ еще шапка...

Каждую осень чеботные, соединяясь небольшими группами, отправлялись „въ вотяки“, т.-е. разтѣзжали по деревнямъ и скупали за безцѣнокъ старые полушубки. Избы послѣ этого заваливались невѣроятнымъ овчиннымъ хламомъ, можетъ быть, отъ больныхъ; его вытряхивали, при чемъ дышать приходилось ѣдкой и вредной пылью,—затѣмъ кроили и принимались за шитье шапокъ. Работали сами чеботные, ихъ жены и дѣти, и на базарѣ появлялись вороха бараньихъ шапокъ съ сукопными верхами. На эту работу слободка наваливалась опять вся, какъ по командѣ, въ то время, когда „ненастоящій“, городской давалецъ залѣзалъ на зиму въ валенки...

— За пятиалтынный со вшой вмѣстѣ продаемъ!—иронизировалъ Несторъ Семеновичъ.—Не для кого-нибудь... для вѣтина... живѣ-отъ!

Всякія попытки измѣнить что-нибудь въ этой традиціи, найти выходъ для себя лично, который не былъ бы общимъ для всѣхъ другихъ,—слободка встрѣчала если не враждой, то такой ироніей, которая прямо подавляла своимъ массовымъ единодушіемъ. Во всемъ городѣ была только одна сапожная вывѣска, и ту повѣсили не свои, а пріѣзжіе изъ города Нолинска. „Нолинчанамъ“ это прощалось, какъ чужимъ. Всѣ остальные чеботные довольствовались тѣмъ, что наклеивали на оконныя стекла баншмакъ или сапогъ изъ сахарной бумаги. Никто не долженъ считать себя лучше другого и выдвигаться изъ ряду. Однажды я присутствовалъ при любопытной сценѣ: нѣсколько сапожниковъ обвиняли товарища въ томъ, что онъ сталъ дѣлать обувь старательнѣе, чѣмъ это принято изстари.

— Ар-шавскіе сапожки шить стали... Не по-нашему!

Обвиняемый горячо защищался, но обвинение оказалось справедливо. Недѣли черезъ двѣ въ избу Нестора Семеновича влетѣлъ молодой работникъ, весь красный отъ возбужденія, и сообщилъ, что онъ бросилъ работу у Пандина. „Велить пробивать подошву подъ подметку въ два ряда!“ Тогда какъ изстари было заведено пробивать въ полтора...

— Умру за старую вѣру!—крикнулъ молодой подмастерье и побѣжалъ къ другимъ дѣлиться извѣстіемъ объ измѣнѣ Пандина исконнымъ традиціямъ.

Настоящую бурю слободка пережила въ тотъ день, когда тотъ же Пандинъ въ первый разъ поставилъ на подошвахъ новыхъ сапогъ штемпель М. В. П., что обозначало „Мастеръ Борисъ Пандинъ“... Прежде всего,—Пандинъ призналъ себя, значить, „мастеромъ“, тогда какъ, по смиренному мнѣнію слободки, „мастера“ могли быть только „въ прочихъ мѣстахъ“, а въ слободкѣ жили одни „чеботные“... По этому поводу у Нестора Семеновича сбѣжалась чуть не сходка, и шумъ въ его избушкѣ стоялъ, какъ въ растревоженномъ ульѣ.

— Вывѣску скоро повѣситъ,—заподозрилъ одинъ.

— Деньги на проценты станеть давать!—пророчилъ другой...

И вывѣску, и ростовщичество слободка могла простить только чужимъ. О еврей „Морхелъ“ Несторъ Семеновичъ, напримѣръ, отзывался не только благодушно, но даже съ нѣкоторой теплотой.

— Справедливый жидъ этотъ Морхель. Я такъ считаю, что лучше, не чѣмъ иные наши.

— А какъ-же, Несторъ Семеновичъ, проценты?—спросилъ я.

— Ну, что-жъ что проценты?.. Ему вѣра дозволяетъ. А Пандинъ не обязанъ. Вѣра не та.

Изъ дальнѣйшихъ разспросовъ я понялъ источникъ инстинктивной вражды къ Пандинскимъ затѣямъ. За Пандинымъ бросятся другіе. Одинъ заведетъ вывѣску, другой штемпель... Тогда придется заводить всѣмъ. А вѣдь отъ этого давалецъ настоящимъ не станеть... Слободка только напрасно потратится на штемпели и на вывѣски. А жизнь по прежнему будетъ биться въ тоскѣ и въ скудости. И еще болѣе будетъ матеріала для ироніи.

— Господь-а, ма-сте-ра! Какъ-же! Вывѣски у насъ, штемпели. То были чеботные, теперь стали сапожныхъ дѣлъ мастера. А кабы не шанка съ вошью,—все одно по зимамъ надо всѣмъ передохнуть!

IV.

По воскреснымъ днямъ съ утра грязная базарная площадь оживляется. Изъ деревень наѣзжаетъ „вотъ“ въ своихъ немазанныхъ телѣгахъ, въ саняхъ или верхомъ. Вотичкія жен-

щины и дѣвушки идутъ гурьбами, увѣшанныя цвѣтными лоскутами и связками монеть на груди, съ головными уборами изъ такихъ же монеть, сытыя, довольныя, веселыя. Онѣ несутъ на рынокъ масло, ленъ, пряжу и другіе деревенскіе продукты по своей бабьей части. При этомъ мужчины продаютъ на деньги, бабы почти исключительно мѣняють. Изъ монеть онѣ признають только серебро, и рѣдкая вотинка возьметъ четыре мѣдныхъ пятака за то, что охотно отдастъ тутъ-же за серебряный гривенникъ.

Однажды въ базарный день я остановилъ группу вотянокъ, проходившую черезъ слободку отъ перевоза къ базарной площади. Мнѣ нужно было купить мотокъ пряжи. Къ моему удивленію, дѣвушка заломила невѣроятную цѣну, и ту же цѣну, какъ сороки, повторяли другія...

Въ это время подошелъ ко мнѣ человекъ небольшого роста съ безнокійными и какъ будто хронически обозленными глазами.

— Да развѣ онѣ понимаютъ! — сказалъ онѣ съ огонькомъ презрѣнья въ глазахъ. — Айда, пойдемъ на базаръ.

На базарѣ онѣ купилъ на пятакъ яркіхъ цвѣтныхъ лоскутѣвъ и у тѣхъ же вотянокъ вымѣнялъ на нихъ пряжи вдвое больше, чѣмъ торговалъ я.

Меня поразило то чувство презрительной злобы, которое сверкало при этомъ въ его глазахъ.

— Развѣ это люди! — сказалъ онѣ почти съ ненавистью. — Повѣрите: коровы у нихъ по недѣлямъ, бываетъ, не доѣны ходять... Такъ молоко и пропадаетъ, — телята все сосутъ. Нужны деньги, — тогда выдаиваютъ, и ужъ тутъ негодий вдвое, втрое поровить съ тебя сорвать...

Онѣ шнудъ ногой проходившаго мимо пьяненькаго вотяка, посмотрѣлъ на пеструю и шумную толпу, копошившуюся по грязному базару, и сказалъ:

— Отъ сырости этотъ народъ заводится...

Это была злобная вражда человека, сознающаго, что гдѣ-то въ „настоящемъ городѣ“, въ „прочихъ мѣстахъ“ и при другихъ условіяхъ, съ этимъ народомъ, который „заводится отъ сырости“, можно бы дѣлать хорошія дѣла... А тутъ, среди этой безтолочи, все равно, никакого толку не выйдетъ.

Онѣ ушелъ, ворча что-то неслестное по адресу вотяковъ и здѣшнихъ мѣсть. Мнѣ сказали, что это былъ Пандинъ.

Послѣ его ухода я смотрѣлъ на эту полушьяную шуршащую базарную толпу и думалъ:

— А что, если бы вотинъ началъ доить всѣхъ своихъ коровъ!.. Нашелся-ли бы у него тоже настоящій покупа-

тель въ ненастоящемъ городѣ. И скоро-ли явится этотъ „на-
стоящій“, который закупить у вѣтина не только то молоко,
которое теперь сосутъ телята, но и то, которое лакаетъ самъ
вѣтинъ и его дѣти. И лучше-ли тогда станетъ вѣтину?..

Поговаривали было, что недалеко проложить чугулку, да
на этотъ разъ пока отмѣнили..

V.

Недалеко отъ меня, въ той же слободской улицѣ жила нѣкая
„бабка Варварка“. Это была особа маленькая, пухлая, по-
движная и очень бойкая... Не первой молодости, но далеко
еще не такая старая, чтобы заслуживать названіе „бабки“,—
она вѣчно суетилась и хлопотала, помогала слобожанкамъ
при родахъ, понемногу сводничала горожанамъ, вообще жила
случайными, не всегда похвальными заработками, но жила
беззаботно. Изъ ея хибарки вѣчно несло жужжаніе и раз-
ные шумы, порой очень выразительные. Въ такихъ случаяхъ
Несторъ Семеновичъ останавливалъ работу и, прислушавшись,
говорилъ благодушно:

— Бабка мужика учить..

Мужикъ у нея былъ молодой увалень, рослый и какой-то
непокладистый. Слобожане звали его мужикомъ, даже вѣти-
номъ, хотя онъ былъ несомнѣнно русскій. Если занятія бабки
были загадочны и случайны, то у ея мужика не было уже
никакихъ. Онъ или путался пьяный, или пропадалъ по цѣ-
лымъ недѣлямъ, являясь домой только за полученіемъ супру-
жескихъ внушеній. Варварка таскала его за вихры и потомъ
заставляла принимать участіе въ какой-нибудь болѣе или
менѣе безтолковой суетѣ: подымала кутерьму, вытаскивала
изъ избы всю мебель и рухлядь, вытряхивала, мыла, выпар-
ивала клоповъ, что-то сколачивала, точно собиралась начать
какую-то новую жизнь. А затѣмъ все шло опять по старому:
мужъ словялся пьяный, въ печи не топилося по недѣлямъ,
соръ въ избѣ накаплился неизмовѣрно быстро, бабка продол-
жала существовать неизвѣстно чѣмъ. „Живеть такъ, какъ-
какъ“, говорили сосѣди. Въ этомъ словѣ *такъ* сосредото-
чивалось представленіе объ экскурсіяхъ въ лѣсъ въ ком-
паніи кутищихъ городскихъ саврасовъ, о пьяныхъ ночахъ съ
пѣснями въ бабкиной избѣ, о недѣляхъ виноголодь съ вы-
прашиваньемъ у сосѣдокъ займы муки или крупъ... При
этомъ Варварка неизмѣнно обѣщала отдать „на той недѣлѣ“,
но сосѣдки относились къ этимъ обѣщаніямъ съ благодуш-
нымъ скептицизмомъ.

— Ладно ужъ... знаемъ: до дѣта... чего тутъ.

— И вѣрно, милая... Лѣто у меня праздникъ, — говоритъ бабка. — Дастъ Господь до лѣта дожить, а тамъ у меня день годъ кормить.

Лѣтомъ, когда начинаютъ наливать хлѣба, бабка быстро поднимается въ общественномъ мѣстѣ. Кредитъ ея возрастаетъ, въ избѣ чисто прибрано, мужъ дома въ настоящемъ видѣ, и оба, хотя и въ долгъ, но все же сыты. По воскресеньямъ съ базара или изъ церкви къ бабкѣ заявляются вотяки, степенные и серьезные, и ведутъ съ нею дѣловые разговоры. Происходитъ ряда на лѣтнія работы, при чемъ бабка ведетъ переговоры за себя, за мужа и еще кое за кого изъ слобожанъ.

Ряда кончена, получены задатки и... они не пропиваются. Настроеніе дѣловое, покупаются серпы, горбуши, кое-что изъ платья. Затѣмъ являются вотяки въ телѣгахъ, и часть слободскаго населенія (правда, небольшая) подъ предводительствомъ бабки отправляется „въ вотяки“, на поля, на нивы, на покосы... Бабкина изба и еще двѣ-три стоятъ заколоченныя.

— Ну, теперь поправится бабка...—говорятъ въ слободкѣ.

— Счастье людямъ, — вздыхаетъ супруга Нестора Семеновича, съ ненавистью глядя на колыбельку съ груднымъ ребенкомъ, облѣпленнымъ мухами...

И ей вспоминается, вѣроятно, прѣжнее время, ночлеги въ полѣ, тихія зори, тяжелая работа днемъ, вкусная вотская брага, сытные вотскіе ужины у костровъ и ночныя молодыя гѣсни...

Послѣ жнивья, въ какой-нибудь осенній день, Варварка бомбой влетаетъ въ слободку, веселая, говорливая, пьяная. Мужъ у нея одѣтъ въ новую желтую рубаху и важно ходитъ по сосѣдямъ. Бабка тоже всюду желанная гостя: она рассчитывается съ медкими долгами, принимаетъ давно заказанные чирки, которые оказываются готовы какъ разъ къ ея возврату, покупаетъ обнвы. На бабкиной улицѣ праздникъ.

А къ зимѣ опять тянется по старому это выскочившее изъ колеи существованіе, съ неуловимыми *такими* средствами.

Свищеть зимній вѣтеръ въ холодной трубѣ, нагѣвая пронычески о далекихъ мечтахъ жаркаго, веселаго и сытаго лѣта „въ вотякахъ“. Холодны и непривѣтны длинныя зимніе мѣсяцы въ „ненастоящемъ городѣ“.

VI.

Какъ-то позднимъ вечеромъ я пробирался по грязнымъ улицамъ слободки. Надъ крышами стояла ущербленная луна, меланхолически золотившая пятна лужъ, отъ которыхъ вся улица имѣла пестрый и живописный видъ.

Въ одномъ мѣстѣ мнѣ пришлось прижаться къ завалинкѣ зданія, чтобы обойти одну изъ такихъ лужъ, широкую, какъ озеро. Вдругъ я почувствовалъ, что кто-то схватилъ меня за ногу. Это было такъ неожиданно и фантастично, точно вдругъ протянулась изъ озера рука сказочнаго водяного. Я вздрогнулъ.

Оказалось, что въ лужѣ лежитъ самымъ беззаботнымъ образомъ мой хорошій знакомый, печникъ Карпъ.

— Карпъ Ивановичъ! Да это ты? — спросилъ я, приглядываясь къ широчайшей шляпѣ, единственной во всей слободѣ, по которой безошибочно можно было узнать Карпа даже въ такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ.

Карпъ благодушно засмѣялся.

— Што!.. Испужался, ха-ха-ха!..

— Зачѣмъ же это ты забрался въ лужу? — спросилъ я съ удивленіемъ.

— Такой у меня, братецъ, характеръ, — отвѣтилъ Карпъ, съ сознаниемъ полной удовлетворительности этого объясненія...

Карпъ былъ печникъ, и печникъ очень хорошій. „Золотыя руки!“ — говорили про него, и мастерство Карпа считалось почетнымъ въ этой сторонѣ, гдѣ русскія печи были только въ городѣ, а кругомъ дымилась еще курныя избы. Вотяки побогаче начинали и у себя выводить трубы, и работа у Карпа не переводилась. У него водились доньги, и онъ считался однимъ изъ лучшихъ жениховъ въ слободкѣ.

Но въ одинъ прекрасный день Карпу стало скучно... такъ, безъ особенной причины, — и онъ запилъ. Прокутилъ самымъ безтолковымъ образомъ все сбереженія, пропилъ часы съ цѣпочкой, три пары клѣтчатыхъ брюкъ, жилетки, пиджаки и пальто. Отъ прежней роскоши у него осталась только шляпа, широкія поля которой обвисли, какъ у факельщика. Онъ вѣчно шатался въ ней по слободкѣ пьяненькій и съ бутылкой водки въ карманѣ, накидываясь на проходящихъ съ грубыми окриками. Но стоило взглянуть на маленькіе добродушные глазки, глядѣвшіе изъ-подъ шляпы этого слободского бандита, чтобы понять, что этотъ странный крикунъ — добродушнѣйшее существо въ мірѣ. Дѣло всегда кончалось тѣмъ, что Карпъ грознымъ голосомъ приглашалъ выпить съ нимъ стаканъ водки. Бутылка всегда торчала изъ кармана его пиджака.

Въ слободкѣ Карпа любили, и никого не удивлялъ его странный „караактеръ“, заставлявшій этого человѣка барахтаться въ лужахъ. Слободка чувствовала въ немъ одинъ изъ замѣтныхъ мотивовъ собственной жизни.

Купецъ Шкиларовъ прѣзжалъ изъ города, чтобы прово-

дить въ слободкѣ запойныя ночи. Онъ хвасталъ тутъ своимъ „шубнымъ медвѣдемъ“, плакалъ, каялся и пилъ мертвую... У него были на это свои основанія... Но часто запой захватывалъ людей и безъ такихъ основательныхъ причинъ... Особенно случалось это на распутьяхъ жизни. Даже степенный и сдержанный Пандинъ, какъ мнѣ рассказывали, тотчасъ послѣ смерти родителя сильно запилъ и, подобно Карпу, валялся въ лужахъ. То-же числилось и въ биографіи Нестора Семеновича. Такой солидный, печально-задумчивый и трезвый въ то время, когда я узналъ его, — онъ ранѣе пилъ горькую, шатался по кабакамъ, бурно обличалъ слобожанъ или предавался мечтамъ о прочіихъ мѣстахъ. Онъ все порывался не то въ Сибирь, не то еще куда-то, гдѣ его научатъ работать какъ слѣдуетъ и покажутъ настоящую жизнь. Все это продолжалось до тѣхъ поръ, пока отецъ, человѣкъ сурьезный и печальный, не женилъ его на Дарьѣ Парменовнѣ, дѣвицѣ немолодой и некрасивой, но съ характеромъ. Пошли дѣти, и всѣ порыванія къ прочимъ мѣстамъ были завязаны навсегда тяжелой лямкой. Но воспоминанія о прежнемъ тяготѣли надъ семьей вѣчной угрозой, и Дарья Парменовна инстинктивно боялась „мечтательности“ супруга, смутно сознавая связь между его мечтами и запоемъ...

Вообще — отсутствіе устойчивости являлось характерной чертой „ненастоящаго города“. Встрѣчаете вы человѣка долгое время въ качествѣ зауряднаго и почтеннаго гражданина и вдругъ узнаете, что онъ столько-то мѣсяцевъ высидѣлъ по суду въ острогѣ. И сообщать вамъ объ этомъ мимоходомъ, какъ объ обстоятельстве, совершенно не выдающемся и не имѣющемъ никакого отношенія къ нравственной характеристикѣ человѣка. Случилось и только... Вчера съ нимъ, завтра съ его сосѣдомъ... И, приглядываясь къ этому человѣку, вы дѣйствительно не видите въ немъ ничего, что бы клало особый, выдѣляющій изъ среды отпечатокъ...

Ночью въ окно избы, занимаемой моимъ сосѣдомъ, семейнымъ слобожаниномъ, раздается осторожное постукиваніе...

— Кто тамъ стучить?.. Черти! Нѣтъ имя *) утомону по ночамъ-ту... Кого тутъ черти принесли еще?.. Сказывай што-ли, — раздается изъ-за окна сердитое ворчаніе.

Въ темнотѣ подъ стѣнкой слышно хихиканье, и затѣмъ гѣлось слобожанки Оеклы Ивановны, прерываемый смѣхомъ, произносить:

*) Имя — имя. Особенность мѣстнаго говора въ Вятской губерніи, Пермской и въ некоторыхъ мѣстахъ Западной Сибири.

— И што вы это, Иванъ Прохорычъ, за ругатель за такой... Пустите, пожалуйста...

— А, ты это, Оеклушъ? — отзывается хозяинъ уже смиренными потами.— Съ кѣмъ это ты?..

— Сергѣй Автономычъ это ко мнѣ пришли... Изъ городу...

Городской Сергѣй Автономычъ подтверждаетъ свою самостоятельность немного сконфуженнымъ бормотаньемъ.

— А мнѣ-ка што, пришелъ, дакъ...—говорить Иванъ Прохорычъ, но самъ уже отворяетъ дверь, сознавая невозможность отказать Оеклѣ Ивановнѣ въ маленькой сосѣдской услугѣ.

— Тятка нынче у меня выпивши,—говорить Оекла Ивановна... — Нехорошъ онъ во хмѣлю-то. Пустите скорѣе, не чѣмъ здѣсь намъ на дожжичкѣ стоять.

— Ладно, да чуръ, Оеклушъ, смотри, у меня дѣтей не перебудите... Тотъ-то разъ порядочно вы, Автономычъ, набезобразили,—дѣтей что-есть перецужали...

Черезъ минуту дверь закрывается. Еще черезъ минуту хозяинъ въ отопкахъ на босу ногу пробѣгаетъ черезъ улицу по направленію къ питейному. Осторожный стукъ въ окно... Сидѣлецъ спитъ крѣпко, поэтому къ хозяину присоединяется ночной сторожъ. За ставнями питейнаго мелькаетъ огонь...

Вскорѣ все стихаетъ. На опустѣвшей улицѣ слободки слышится только ровный шорохъ падающаго дождика, да ночной сторожъ (очередной домохозяинъ) проходить, постукивая палкой о палку.

VII.

Всѣмъ болѣе или менѣе извѣстны эти эпизоды изъ жизни Оеклы Ивановны, но это нисколько не мѣшаетъ добрососѣдскимъ отношеніямъ. Всѣ знаютъ, что Оеклѣ вышла такая жизненная „линія“. Правда, виновата сама: сватались за нее своевременно слобожане, не хуже другихъ прочихъ. Но она не шла. Что-то удерживало ее на этомъ распутьи... Чего-то вѣрно ждала другого, настоящаго, да такъ и засидѣлась...

Я часто видѣлъ ее у Нестора Семеновича, къ которому она заходила или по какой-нибудь сосѣдской надобности, или поболтать. Несторъ Семеновичъ относился къ ней просто и съ видимой симпатіей, чувствуя въ ней что-то родственное. Между ними была та особая дружба, которой не бываетъ между женщинами или между мужчинами, но въ которой никто, даже Дарья Парменовна, не видѣли повода для грубыхъ подозрѣній. И все же въ отношеніяхъ Дарьи Парменовны къ Оеклушѣ чувствовалась нотка, если не ревности, то зависти: часть души мужа несомнѣнно отдавалась другой.

Разговоры Нестора Семеновича съ Оеклушей интересовали меня своеобразной простотой и откровенностью, съ которой все называлось своими именами...

Бывали, напримеръ, у Оеклы Ивановны порывы, когда она выходила вдругъ изъ своей „линіи“. Напрасно подь ея окнами раздавалось робкое постукиваніе или жалобное бормотаніе Ивана Автономовича, или посвистъ и ругательства какого-нибудь другого городского обожателя. Порой эти своеобразныя серенады принимали довольно рѣзкій характеръ, такъ какъ и городскіе и слободскіе саврасы, узнавъ, что Оекла Ивановна пытается выйти изъ „своей линіи“, относились къ этому съ такой же иронической враждебностью, какъ къ штемплю и вывѣскѣ Пандина. Не встрѣчала она, кажется, сочувствія и въ своемъ родителѣ, который къ ея „линіи“, наоборотъ, относился очень терпимо. Но Оекла Ивановна была дѣвица съ характеромъ. Когда серенады переходили за извѣстные предѣлы, или Иванъ Автономычъ скулилъ подь окномъ слишкомъ назойливо и продолжительно, она говорила своимъ звонкимъ голосомъ, слышимъ на улицу:

— И чего имя надобно... Что это право, — всеѣ ноченьку спать не даютъ... Тятка, — выдь инѣ посмотри, кто это тамъ дибаширить?

Изъ-за двери слышалось тогда тяжелое сощѣніе, и на порогѣ появилась фигура почтеннаго родителя съ „рычагомъ“ въ рукахъ и сквернымъ словомъ на устахъ. Увидя, какой неприятный и рѣшительный оборотъ принимаетъ дѣло, обожатели быстро удалялись изъ предѣловъ тяткинаго зрѣніа, бросивъ „гордычкѣ“ прощальное привѣтствіе:

— Смотри, Оекла! Не ломайся зря, фря заморская! Попадешься, мотри, мы тебя обломаемъ. Приведемъ въ христіанскую вѣру!..

Но угрозы эти въ исполненіе не приводились. Тятка отличался медлительностью, былъ тяжелъ на подъемъ, но если ужъ кого-нибудь захватывалъ въ руки, то мялъ долго безъ роздыху, сопя и ворча по медвѣжьи.

На слѣдующій день событіе становилось извѣстно всей слободкѣ: „Оеклуша пошабашила“.

— Вѣрно это, Оекла Ивановна? — спросилъ, нисколько не стѣсняясь моимъ присутствіемъ, Несторъ Семеновичъ, когда на слѣдующій день Оеклуша, какъ ни въ чемъ не бывавъ, забѣжала къ намъ въ мастерскую... — Что-жь вы это? А? Гопсподина купца, Ивана Автономыча, отвадили?..

— Очень я имя нуждаюсь!.. Наплевать!

Несторъ Семенычъ, держа дратву въ зубахъ, пытливо ис-

подлѡбья посмотрѣлъ на нее своими задумчивыми сѣрыми глазами. Въ нихъ виднѣлось сочувственное любопытство.

— Съ чего же вы это? А? Али тятка трепать стала?

— Что мнѣ тятка! Слава-те Господи! Не маленькая! — сказала бойкая дѣвица, тряхнувъ головой. — А такъ! Прогнала да и все тутъ. Надоѣло...

— Напра-асно! — Несторъ Семенычъ помоталъ головой, докончилъ стезжокъ и продолжалъ:

— Иванъ Автономычъ по здѣшнему мѣсту купецъ, не хуже прочихъ. Енарала вамъ, что-ли?

— На мѣсто уйду... Къ секретаршѣ.

Несторъ Семенычъ обдумываетъ отвѣтъ и потомъ говорить съ сомнѣнiемъ въ голосъ:

— Бросили вы ее допрежь... Теперь опять хороша стала!

— Допрежь бросила, потому, — не подымай она носъ... Кабы барыня настоящая... а то и сама лавошпикова дочь... А форсить, мочи нѣтъ!

— Ну-у? Дакъ какъ-же? — спрашиваетъ Несторъ Семенычъ.

— А теперь опять пойду... Плевать мнѣ на ихъ, на всѣхъ. Сказала, брошу и брошу. Такой у меня характеръ.

— И вѣрно. Характеръ у ей бѣ-ѣдовый, — говоритъ мнѣ по уходѣ Ѳеклы Ивановны Несторъ Семенычъ и потомъ спрашиваетъ: — Вы какъ объ ней полагаете? А?

— Вы ее, Несторъ Семеновичъ, лучше меня знаете, — отвѣчаю я, чтобы вызвать его на дальнѣйшую характеристику.

— Что ее знать, — замѣчаетъ Дарья Парменовна пренебрежительно. — Почудить, почудить, да опять за то-же.

Мужъ бросаетъ на нее быстрый недружелюбный взглядъ и говорить, обращаясь ко мнѣ:

— А я такъ полагаю, что она есть дѣвица хар-ро-шая. Подлучше еще, не чѣмъ иная мужьямъ жена...

Перемываемая чашки дрожатъ въ рукахъ Дарьи Парменовны, и на нихъ капаютъ слезы...

Въ слободкѣ играли свадьбу. Кожевникъ Матвѣевъ выдавалъ дочь за объѣздчика. Матвѣевъ былъ человекъ строгій, долго жилъ въ деревнѣ и дочку соблюдать по деревенски, оберегая отъ слободскихъ влiянiй. Выдавалъ онъ ее нарочно очень рано, и дѣвушка-подростокъ глядѣла на свадебные обряды испуганными и дикими глазами. Женихъ былъ человекъ съ положенiемъ, „при часахъ“, въ сапогахъ съ лакированными голенищами. Однимъ словомъ, свадьба была хорошая, „почетная“, какія въ слободкѣ выдавались рѣдко.

И первое мѣсто среди подружекъ невѣсты занимала Ѳекла Ивановна...

VIII.

Однажды я застал Нестора Семеновича за педагогическим занятіем: онъ „училъ“ своего сынишку, блѣднаго бѣлокураго мальчика, лѣтъ двѣнадцать. Зажавъ голову его между колѣнъ, онъ мѣрно стегалъ его ремненнымъ „шпандеромъ“, безъ всякой злобы, но весьма основательно. Окончивъ это дѣло, онъ сѣлъ на свою сѣдлуху и принялся за работу, сказавъ сыну одно только слово:

— Помни!

Оказалось, что Сенька вчера вечеромъ вернулся „съ бѣговъ“. Несторъ Семеновичъ самъ „бѣгиваль“ въ томъ-же возрастѣ и потому училъ сына безъ гнѣва, а по убѣжденію, что это „помогаетъ“, точно прописывалъ лѣкарство.

Вообще, молодое поколѣніе въ настоящемъ городѣ склонно къ бродяжеству. Настоящее существованіе рождаетъ постоянное тяготѣніе куда-то вдаль. Куда?.. Для взрослыхъ — это невѣдомыя „прочія мѣста“. Для юношества — деревни, дальнія излучины рѣки, невѣдомыя чащи густыхъ лѣсовъ. Взрослыхъ тянетъ невѣдомое будущее, дѣтей — деревенское прошлое... Сенька исчезалъ такимъ образомъ много разъ, пропадалъ по недѣлѣ, пока его не находили охотники въ лѣсу или рыбаки надъ рѣкой, усталого и голоднаго... И онъ опять начинать тянуть скучную городскую лямку.

Городская жизнь бѣдна впечатлѣніями. Въ праздничные дни, когда въ сумерки изъ двухъ стоящихъ рядомъ кабаковъ несутся на улицу пѣсни и пьяный говоръ, — слободская молодежь толчется тутъ-же, у перевоза. Паромъ, называемый по мѣстному шитикъ, то и дѣло шныряетъ отъ берега къ берегу, доставляя на вотскую сторону запоздавшихъ въ городѣ вотяковъ... Много пьяныхъ. Многіе, начавъ пить еще на базарной площади, заходятъ по пути во все кабаки, пока не доберутся до послѣдняго, у перевоза. Больше уже выпить будетъ негдѣ до самой деревни, и пьяная вотъ раскошеливается напослѣдокъ.

Горожане говорятъ, что у себя, въ деревнѣ, вотякъ гордъ, и задѣвать его опасно. Въ городѣ онъ робокъ и безпомощенъ, какъ ребенокъ. Около пьяныхъ то и дѣло шныряютъ, какъ мухи, малыши и подростки... Они звонко хохочутъ, вьются подъ ногами пьяныхъ, валяютъ ихъ на землю, опять поднимаютъ. Подростки дружелюбно подхватываютъ опьянѣвшихъ подъ руки, ведутъ къ перевозу, провожаютъ лугами... И вдругъ изъ шумной толпы на шитикъ или съ того берега раздается отчаянный вопль: „кара-улъ!“. Вотяки заплетающимися шагами бѣгутъ выручать своего. Закипаетъ шумъ, за-

вызывается свалка. Прибѣгаетъ полицейскій. Но все это такая пьяная безтолочь, въ которой только опытный глазъ можетъ добиться нѣкотораго смысла. Кончается обыкновенно тѣмъ, что изъ сумерекъ съ той стороны опять выплываетъ нагруженный питикъ, и съ него сходитъ полицейскій Митюха, окруженный гурьбой слободской молодежи. Онъ смѣется, подростки тоже веселы, и благодушно улыбаются взрослые слобожане, сидяшіе на завалинкахъ кабаковъ. Только на томъ берегу едва виднѣется черная кучка вотиковъ, которые пьяными голосами кличутъ перевозъ.

— Городской разбойникъ!—несется оттуда.—Грабитель... Давай перевозъ! Исправникъ жалуемся мы...

Но городской берегъ отвѣчаетъ только шутками. Перевоза вотикамъ не даютъ, и „вотская“ сторона постепенно угомоняется...

Гдѣ-нибудь въ „прочихъ мѣстахъ“ это называли бы грабежомъ. Но здѣсь понятія еще недостаточно опредѣлились. Да, правду сказать, и мнѣ казалось, что это положительно не грабежъ, въ обычномъ смыслѣ. Это игра, охота, которой занимается юношество и о которой взрослые говорятъ съ благодушнымъ юморомъ, вспоминая и свои прошлые годы...

— Вѣрно, что не хорошо это,—соглашался со мной одинъ солидный обыватель.—Ну, только это у насъ съизстари... Это еще что... Вотъ Коська!.. Ужъ, именно что шутникъ. Идетъ это вотинъ впереди, а онъ у него сзади въ карманахъ шарить. Вытащить кысу, деньги тутъ же сосчитать, а пустой кошель назадъ сунуть. А то вотъ еще Пароша тоже. Ну, теперь женился, глупости бросилъ, некогда... А то, бывало, что только дѣлалъ, бѣда! Выудилъ разъ у вотина кошель изъ кармана, обшарилъ, а тамъ только три копѣйки...—„Ахъ ты, говорить, вотская морда! Я кругъ тебя цѣлый часъ охаживаю, а ты ужъ все пронилъ? Домой чего несъ? Три копѣйки!“ Да кысой его по мордѣ, по мордѣ. Вотинъ только оглядывается, будто и въ самъ-дѣлѣ виноватъ...

— Охъ-хо-хо... Конечно, нехорошо. Въ прочихъ напри-мѣръ мѣстахъ за это не похвалятъ... Ну, да гдѣ они, прочіе-то мѣста? Далекое... Да и есть-ли?.. Все, чай, какъ у насъ-же...

Однажды въ ясное утро ранней осени, когда морозъ сразу стиснулъ землю, въ слободкѣ пронесся слухъ, что у перевоза лежитъ мертвое тѣло. Я жилъ недалеко отъ рѣвки, и мы съ Несторомъ Семеновичемъ пошли къ берегу. Слухъ оказался вѣренъ. У самаго спуска, прорѣзавшагося сквозь крутой береговой откосъ, лежала человѣческая фигура, покрытая азымомъ. Кучка слободскихъ дѣвченокъ испуганными и любопытными глазами заглядывали подъ азымъ, стараясь и вмѣстѣ боясь увидѣть лицо мертвеца. Парней почти не было.

— Замерзъ пьяный?—предположилъ я.—Уналь ночью съ откоса, ушибся или заснулъ... А ночью морозъ...

Но Несторъ Семенычъ угрюмо молчалъ.

Въ это время къ тѣлу, покачиваясь, подошелъ другой вонтинъ. Онъ давно уже шатался вокругъ, повидимому, безъ цѣли и безъ мысли, то подходя къ тѣлу, то удаляясь. Теперь онъ опять подошелъ, приподнялъ азымъ, посмотрѣлъ еще разъ въ мертвое лицо и взмахнулъ надъ тѣломъ ногой, обутой въ тяжелый лапоть, какъ будто собираясь ударить.

— Лѣшакъ!—закричалъ онъ рѣзкимъ голосомъ.—Пропалъ? Гдѣ твой кыса? Гдѣ шапка, гдѣ азымъ?

— Гони его, ребята,—сказалъ полицейскій, сидѣвшій на откосѣ.—Чего онъ тутъ дибаширить?

— Нельзя гони меня!—закричалъ вотякъ.—Братья ему, братъ!

И вдругъ онъ заплакалъ пьяными слезами и кричалъ какимъ-то необыкновенно пронзительнымъ и скрипучимъ голосомъ, грозя кулаками по направленію къ городу:

— Городской разбойники... Гдѣ ему шапка? Гдѣ ему азымъ? Не твой шапка это,—сказалъ онъ, схвативъ съ головы мертваго брата плохенькую шапочку слободской работы...—Твой крымской былъ, баскѣй... Пять рубля стоилъ... И азымъ баскѣй былъ...

Онъ сдернулъ азымъ, и тогда стало очевидно, что это не случайная смерть отъ мороза. Руки у мертваго были вывернуты. Очевидно его переодѣвали и обшаривали... Отъ виска по мерзлой землѣ тянулась струйка крови...

Зрители, собравшіеся плотной кучкой, были молчаливы и мрачны... Къ берегу на своихъ бѣговыхъ дрожкахъ подѣхалъ исправникъ.

Весь этотъ день по городу и особенно по слободкѣ суетились городовые, въ полицейской формѣ, но съ мужицкими лицами, и соколомъ носился околodочный. Полицейскіе съ наивной политичностью спрашивали слобожанъ:

— Гдѣ-й-то Васютка вашъ? Не видать его.

— Рыбачить со вчерашняго дни ушелъ,—недружелюбно отвѣчаетъ слобожанинъ.—Надо што-ли?

— Нѣтъ... Какъ можетъ быть надобность... А такъ—што, между прочимъ... Не видать его будто.

Пошелъ снѣжокъ. Слободка темнѣла и вся насупилась угрюмо и печально...

А на слѣдующее утро къ берегу подошелъ шитикъ и привезъ съ вотской стороны двухъ парней... Съ ними было двое полицейскихъ и нѣсколько вотяковъ-понятыхъ. Руки у парней были зачѣмъ-то связаны, хотя было очевидно, что они и не помышляютъ ни о побѣгѣ, ни о сопротивленіи. Лица ихъ

были почти по-дѣтски испуганы и заплаканы... Одинъ былъ городской, другой слобожанинъ.

— Эх-ка бѣда, грѣхъ какой вышелъ,—говорили послѣ этого въ слободкѣ.—И парни, гляди-ко-ся, оба хорошіе...—Особливо нашъ, Ванятка Прокофьевъ...

— Нѣтъ, и того тоже хаять нельзя. И родители у него хорошіе...

— Ужъ именно, что „грѣхъ попуталъ“.

Мнѣ казалось, что подѣ „грѣхомъ“ слободка понимала не то важное и глубокое, что разумѣютъ подѣ этимъ словомъ въ „прочихъ мѣстахъ“, а просто стеченіе несчастныхъ обстоятельствъ. Впрочемъ поговорка „грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“—имѣетъ общерусское распространеніе...

Мнѣ вспомнились испуганныя и заплаканныя лица „убійцъ“, и я подумалъ:

— И убійцы здѣсь тоже какіе-то „ненастоящіе“...

VII.

Вскорѣ послѣ описаннаго случая мнѣ пришлось оставить этотъ городъ такъ-же неожиданно, какъ я попалъ въ него. Впереди у меня были новыя, еще болѣе неизвѣданныя мѣста,—глухой лѣсной уголь, даже не село, не деревня, а какіе-то безформенные зачатки человѣческихъ поселеній среди болотъ и лѣсовъ. Тѣмъ не менѣе, я оставлялъ городъ безъ сожалѣнія, даже съ какой-то особенной жуткой радостью.

„Ненастоящій, ненастоящій“... Мнѣ пришло въ голову это слово. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, онъ возникъ и почему существуетъ? Неужели для этого достаточно было выстроить „замокъ“ со стѣной и рѣшетками, поселить въ центрѣ исправника съ десяткомъ полицейскихъ и развести нѣсколько десятковъ людей въ сюртукахъ темно-зеленаго сукна, умѣющихъ составлять и переносить бумаги... Люди въ темно-зеленыхъ сюртукахъ кормятся отъ щедротъ государственнаго казначейства, „торговые“ кормятся около нихъ, „чеботные“ около „торговыхъ“. И ничего болѣе? Ничего, что должно быть въ настоящемъ городѣ: ни фабрикъ, ни заводовъ, ни всего, что росло бы само собою, устанавливая живой обмѣнъ съ деревней. Ростъ останавливается... Начинается жалкое прозябаніе... Городъ амфибія, съ недоразвившимися задатками, съ тоской ожидающими завершения. И мнѣ казалось, что надъ нимъ носится тоскливый стихъ украинскаго поэта:

Если счастья жалко, Боже,
Дай хоть долю злую!

Да, хоть злую долю, но настоящую, не это прозябаніе...

1881 г.

ОГОНЬКИ.

Какъ-то давно, темнымъ осеннимъ вечеромъ, случилось мнѣ плыть по угрюмой сибирской рѣкѣ. Вдругъ на поворотѣ рѣки, впереди, подъ темными горами мелькнулъ огонекъ.

Мелькнулъ ярко, сильно, совсѣмъ близко...

— Ну, слава Богу!—сказала я съ радостью,—близко почлегъ!

Гребецъ повернулся, посмотрѣлъ черезъ плечо на огонь и опять апатично налегъ на весла.

— Далече!

Я не повѣрилъ: огонекъ такъ и стоялъ, выступая впередъ изъ неопредѣленной тьмы. Но гребецъ былъ правъ: оказался, дѣйствительно, далеко.

Свойство этихъ ночныхъ огней — приближаться, побѣждая тьму, и сверкать, и обѣщать, и манить своею близостью. Кажется, вотъ-вотъ еще два-три удара весломъ, — и путь конченъ... А между тѣмъ—далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, какъ чернила, рѣкѣ. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, въ безконечной дали, а огонекъ все стоялъ впереди, переливаясь и мая, — все такъ-же близко, и все такъ-же далеко...

Мнѣ часто вспоминается теперь и эта темная рѣка, затѣненная скалистыми горами, и этотъ живой огонекъ. Много огней и раньше и послѣ манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течетъ все въ тѣхъ же угрюмыхъ берегахъ, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но всетаки... всетаки впереди—огни!..

1900 г.

ВЪ ДУРНОМЪ ОБЩЕСТВѢ.

(Изъ дѣтскихъ воспоминаній моего пріятели).

I. Развалины.

Моя мать умерла, когда мнѣ было шесть лѣтъ. Отецъ, весь отдавшій своему горю, какъ будто совсѣмъ забылъ о моемъ существованіи. Порой онъ ласкалъ мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что въ ней была черта матери. Я-же росъ, какъ дикое деревцо въ полѣ,—никто не окружалъ меня особенною заботливостью, но никто и не стѣснялъ моей свободы.

Мѣстечко, гдѣ мы жили, называлось Княжье-Вѣно, или, проще, Княжь-Городокъ. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло всѣ типическія черты любого изъ мелкихъ городовъ Юго-Западнаго края, гдѣ, среди тихо струящейся жизни тяжелаго труда и мелко-суетливаго еврейскаго гешефта, доживаютъ свои печальные дни жалкіе останки гордаго панскаго величія.

Если вы подъѣзжаете къ мѣстечку съ востока, вамъ прежде всего бросается въ глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшеніе города. Самый городъ раскинулся внизу надъ сонными, заплеснѣвшими прудами, и къ нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиціонною „заставой“. Соинный инвалидъ, порыжѣлая на солнцѣ фигура, олицетвореніе безмятежной дремоты, лѣниво поднимаетъ шлагбаумъ, и—вы въ городѣ, хотя, быть можетъ, не замѣчаете этого сразу. Сѣрые заборы, пустыри съ кучами всякаго хлама повемногу перемежаются съ подслѣшоватыми, ушедшими въ землю хатками. Далѣе широкая площадь зіяетъ въ разныхъ мѣстахъ темными воротами еврейскихъ „забзжихъ домовъ“, казенныя учрежденія наводятъ уныніе своими бѣлыми стѣнами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мостъ, перекинутый черезъ узкую рѣчупку, крихтитъ, вздрагивая подъ колесами, и шатается,

точно дряхлый старикъ. За мостомъ потянулась еврейская улица съ магазинами, лавками, лавчонками, столами евреевъ-мѣняль, сидящихъ подъ зонтами на тротуарахъ, и съ навѣсами калачницъ. Вонь, грязь, кучи ребятъ, ползающихъ въ уличной пыли. Но вотъ еще минута и—вы уже за городомъ. Тихо шепчутся березы надъ могилами кладбища, да вѣтеръ волнуется хлѣба на нивахъ и звенить унылою, безконечною пѣсней въ проволокахъ придорожнаго телеграфа.

Рѣчка, черезъ которую перекинуть упомянутый мостъ, вытекала изъ пруда и впадала въ другой. Такимъ образомъ, съ сѣвера и юга городокъ ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды годъ отъ году мелѣли, заростали зеленью, и высокіе густые камыши волновались, какъ море, на громадныхъ болотахъ. Посрединѣ одного изъ прудовъ находится островъ. На островѣ—старый, полуразрушенный замокъ.

Я помню, съ какимъ страхомъ я смотрѣлъ всегда на это величавое дряхлое зданіе. О немъ ходили преданія и рассказы одинъ другого страшнѣе. Говорили, что островъ насыпанъ искусственно, руками плѣнныхъ турокъ. „На костяхъ человѣческихъ стоитъ старое замчище“, передавали старожилы, и мое дѣтское испуганное воображеніе рисовало подъ землей тысячи турецкихъ скелетовъ, поддерживающихъ костливыми руками островъ съ его высокими пирамидальными тополями и старымъ замкомъ. Отъ этого, понятно, замокъ казался еще страшнѣе, и даже въ ясные дни, когда, бывало, ободренные свѣтомъ и громкими голосами птицъ, мы подходили къ нему поближе, онъ нерѣдко наводилъ на насъ привадки паническаго ужаса,—такъ странно глядѣли черныя впадины давно выбитыхъ оконъ; въ пустыхъ залахъ ходилъ таинственный шорохъ: камешки и штукатурка, отрываясь, падали внизъ, буда гулкое эхо, и мы бѣжали безъ отяжки, а за нами долго еще стояли стукъ, и топотъ, и роготанье.

А въ бурныя осеннія ночи, когда гиганты-тополи качались и гудѣли отъ налетавшаго изъ-за прудовъ вѣтра, ужасъ разливался отъ стараго замка и царилъ надъ всѣмъ городомъ. „Ой-вей-миръ!“—пугливо провиносили евреи; богобоязненнымъ старымъ мѣщанки крестились, и даже нашъ ближайшій сосѣдь, кузнецъ, отрицавшій самое существованіе бѣсовской силы, выходя въ эти часы на свой дворикъ, творилъ крестное знаменіе и шепталъ про себя молитву объ упокоеніи усопшихъ.

Старый, сѣдобородый Янушь, за неимѣніемъ квартиры, пріютившійся въ одномъ изъ подваловъ замка, рассказывалъ намъ не разъ, что въ такія ночи онъ явственно слышалъ, какъ изъ-подъ земли неслись крики. Турки пачинали возиться подъ

островомъ, стучали костями и громко укоряли пановъ въ жестокости. Тогда въ залахъ стараго замка и вокругъ него на островѣ брякало оружіе, и паны громкими криками сзывали гайдуковъ. Янушъ слышалъ совершенно ясно, подъ ревъ и завываніе бури, топотъ коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды онъ слышалъ даже, какъ покойный прадѣдъ нынѣшнихъ графовъ, прославленный на вѣчные вѣки своими кровавыми подвигами, выѣхалъ, стуча копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: „Молчите тамъ, лайдаки, пса вира!“.

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предковъ. Большая часть дукатовъ и всякихъ сокровищъ, отъ которыхъ прежде ломились сундуки графовъ, перешла за мостъ, въ еврейскія лачуги, и послѣдніе представители славнаго рода выстроили себѣ прозаическое бѣлое зданіе на горѣ, подальше отъ города. Тамъ протекало ихъ скучное, но все же торжественное существованіе въ презрительно-величавомъ уединеніи.

Изрѣдка только старый графъ, такая же мрачная развалина, какъ и замокъ на островѣ, появлялся въ городѣ на своей старой англійской клячѣ. Рядомъ съ нимъ, въ черной амазонкѣ, величавая и сухая, проѣзжала по городскимъ улицамъ его дочь, а сзади почтительно слѣдовалъ италмейстеръ. Величественной графинѣ суждено было навсегда остаться дѣвой. Равные ей по происхожденію женихи, въ погонѣ за деньгами купеческихъ дочекъ за границей, малодушно разсѣлились по свѣту, оставивъ родовые замки или продавъ ихъ на сломъ евреямъ, а въ городишкѣ, разстилавшемся у подножія ея дворца, не было юноши, который бы осмѣлился поднять свои взоры на красавицу-графиню. Завидѣвъ этихъ трехъ всадниковъ, мы, малые ребята, какъ стая птицъ, снялись съ мягкой уличной пыли и, быстро разсѣявшись по дворамъ, испуганно-любопытными глазами слѣдили за мрачными владѣльцами страшнаго замка.

Въ западной сторонѣ, на горѣ, среди ислѣвшихъ крестовъ и провалившихся могилъ, стояла давно заброшенная уніатская часовня. Это была родная дочь разстилавшагося въ долину собственно обывательскаго города. Нѣкогда въ ней собирались, по звону колокола, горожане въ чистыхъ, хотя и не роскошныхъ кунтушахъ, съ палками въ рукахъ, вмѣсто сабель, которыми гремѣла мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зовъ звонкаго уніатскаго колокола изъ окрестныхъ деревень и хуторовъ.

Отсюда былъ виденъ островъ и его темные громадные тополи, но замокъ сердито и презрительно закрывался отъ ча-

совни густою зеленью, и только въ тѣ минуты, когда юго-западный вѣтеръ вырывался изъ-за камышей и налеталъ на островъ, тополи гулко качались, и изъ-за нихъ проблескивали окна, и замокъ, казалось, кидалъ на часовню угрюмые взгляды. Теперь и онъ, и она были трупы. У него глаза потухли, и въ нихъ не сверкали отблески вечерняго солнца; у нея кое-гдѣ провалилась крыша, стѣны осыпались, и, вмѣсто гулкого, съ высокимъ тономъ, мѣднаго колокола, совы заводили въ ней по ночамъ свои зловѣщія пѣсни.

Но старая, историческая рознь, раздѣлявшая иѣкогда гордый панскій замокъ и мѣщанскую униатскую часовню, продолжалась и послѣ ихъ смерти: ее поддерживали коношившіеся въ этихъ дряхлыхъ трунахъ черви, занимавшіе уцѣлѣвшіе углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умершихъ зданій были люди.

Было время, когда старый замокъ служилъ даровымъ убѣжищемъ всякому бѣдняку безъ малѣйшихъ ограниченій. Все, что не находило себѣ мѣста въ городѣ, всякое выскочившее изъ колеи существованіе, потерявшее, по той или другой причинѣ, возможность платить хотя бы и жалкіе гроши за кровъ и уголь на ночь и въ непогоду,—все это тинулось на островъ и тамъ, среди развалинъ, преклоняло свои побѣдныя головушки, платя за гостепріимство лишь рискомъ быть погребенными подъ грудами стараго мусора. „Живеть въ замкѣ“—эта фраза стала формулой для выраженія крайней степени нищеты и гражданскаго паденія. Старый замокъ радушно принималъ и покрывалъ и перекатную голь, и временно обнищавшаго плесца, и сиротливыхъ старушекъ, и безродныхъ бродягъ. Все эти существа терзали внутренности дряхлаго зданія, обламывая потолки и полы, топтали печи, что-то варили, чѣмъ-то питались,—вообще, отирали неизвѣстнымъ образомъ свои жизненныя функціи.

Однако, настали дни, когда среди этого общества, ютившагося подъ кровомъ сѣдыхъ руинъ, возникло раздѣленіе, пошли раздоры. Тогда старый Янушъ, бывший иѣкогда однимъ изъ мяккихъ графскихъ „офиціалистовъ“, выхлопоталъ себѣ иѣчто въ родѣ владѣтельной хартіи и захватилъ бразды правленія. Онъ приступилъ къ преобразованіямъ, и иѣсколько дней на островѣ стоялъ такой шумъ, раздавались такіе вопли, что по временамъ казалось, ужъ не турки ли вырвались изъ подземныхъ темницъ, чтобъ отомстить утѣснителямъ. Это Янушъ сортировалъ населеніе развалинъ, отдѣляя овецъ отъ козлищъ. Овцы, оставшіяся попрежнему въ замкѣ, помогали Янушу изгонять несчастныхъ козлищъ, которые упирались, выказывая отчаянное <http://beinole.org> сопротивление. Когда,

наконецъ, при молчаливомъ, но, тѣмъ не менѣе, довольно существенномъ содѣйствіи будочника, порядокъ вновь водворился на островѣ, то оказалось, что переворотъ имѣлъ рѣшительно аристократическій характеръ. Янушъ оставилъ въ замкѣ только „добрыхъ христіанъ“, т. е. католиковъ, и притомъ преимущественно бывшихъ слугъ или потомковъ слугъ графскаго рода. Это были все какіе-то старики въ потертыхъ сюртукахъ и „чамаркахъ“, съ громадными синими носами и суковатыми налками, — старухи, крикливыя и безобразныя, но сохранившія на послѣднихъ ступеняхъ обнищанія свои каноры и салоны. Всѣ они составляли однородный, тѣсно сплоченный аристократическій кружокъ, взявшій какъ бы монополію признаннаго иппецства. Въ будни эти старики и старухи ходили, съ молитвой на устахъ, по домамъ болѣе зажиточныхъ горожанъ и средняго мѣщанства, разнося еллетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клинча, а по воскресеньямъ они же составляли почтеннѣйшихъ лицъ изъ той публики, что длинными рядами выстраивалась около костеловъ и величественно принимала подачки во имя „папа Іисуса“ и „панни Богоматери“.

Привлеченные шумомъ и криками, которые во время этой революціи неслись съ острова, я и нѣсколько моихъ товарищей пробрался туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, какъ Янушъ, во главѣ цѣлой арміи красноносыхъ старцевъ и безобразныхъ мегеръ, гналъ изъ замка послѣднихъ, подлежащихъ изгнанію, жильцовъ. Наступалъ вечеръ. Туча, нависшая надъ высокими вершинами тополей, уже сыпала дождикомъ. Какія-то несчастныя темныя личности, залахиваясь изорванными до-цельзя лохмотьями, испуганныя, жалкія и сконфуженныя, совалили по острову, точно кроты, выгнанные изъ норъ мальчишками, стараясь вновь незамѣтно шмыгнуть въ какое-нибудь изъ отверстій замка. Но Янушъ и мегеры съ крикомъ и ругательствами гоняли ихъ отовсюду, угрожая кочергами и налками, а въ сторонѣ стоялъ молчаливый будочникъ, тоже съ увѣсистою дубиной въ рукахъ, сохранившій вооруженный нейтралитетъ, очевидно, дружественный торжествующей партіи. И несчастныя темныя личности поневолѣ, понурясь, скрывались за мостомъ, навсегда оставляя островъ, и одна за другой тонули въ слякотномъ сумракѣ быстро спускавшагося вечера.

Съ этого памятнаго вечера и Янушъ, и старый замокъ, отъ котораго прежде вѣяло на меня какимъ-то смутнымъ величіемъ, потеряли въ моихъ глазахъ всю свою привлекательность. Бывало, я любилъ проходить на островъ и хотя издали любоваться его сѣрыми (тѣлыми) и (зелеными) старую крышей.

Когда на утренней зарѣ изъ него выползали разнообразныя фигуры, зѣвавшія, кашлявшія и крестившіяся на солнце, я и на нихъ смотрѣлъ съ какимъ-то уваженіемъ, какъ на существа, облеченныя тою же таинственностью, которою былъ окутанъ весь замокъ. Они спятъ тамъ ночью, они слышатъ все, что тамъ происходитъ, когда въ огромныя залы сквозь выбитыя окна заглядываетъ луна, или когда въ бурю въ нихъ врывается вѣтеръ. Я любилъ слушать, когда, бывало, Янушъ, усѣвшись подъ тополями, съ болтливостью 70-лѣтняго старика, начиналъ рассказывать о славномъ прошломъ умершаго зданія. Передъ дѣтскимъ воображеніемъ вставали, оживая, образы прошедшаго, и въ душу вѣяло величавою грустью и смутнымъ сочувствіемъ къ тому, чѣмъ жила нѣкогда понурыя стѣны, и романтическія тѣни чужой старины пробѣгали въ юной душѣ, какъ пробѣгаютъ въ вѣтреный день легкія тѣни облаковъ по свѣтлой зелени чистаго поля.

Но съ того вечера и замокъ, и его бардъ явились передо мной въ новомъ свѣтѣ. Встрѣтивъ меня на другой день въблизи острова, Янушъ сталъ звать меня къ себѣ, увѣряя съ довольномъ видомъ, что теперь „сынъ такихъ почтенныхъ родителей“ смѣло можетъ посѣтить замокъ, такъ какъ найдетъ въ немъ вполне порядочное общество. Онъ даже привелъ меня за руку къ самому замку, но тутъ я со слезами вырвалъ у него свою руку и пустился бѣжать. Замокъ сталъ мнѣ противенъ. Окна въ верхнемъ этажѣ были заколочены, а низъ находился во владѣніи каноровъ и салоновъ. Старухи выползали оттуда въ такомъ непривлекательномъ видѣ, лѣстили мнѣ такъ приторно, ругались между собой такъ громко, что я искренно удивлялся, какъ это строгій покойникъ, усмиравшій турокъ въ грозовыя ночи, могъ терпѣть этихъ старухъ въ своемъ сосѣдствѣ. Но главное — я не могъ забыть холодной жестокости, съ которою торжествующіе жильцы замка гнали своихъ несчастныхъ сожителей, а при воспоминаніи о темныхъ личностяхъ, оставшихся безъ крова, у меня сжималось сердце.

Какъ бы то ни было, на примѣрѣ стараго замка я узналъ впервые истину, что отъ великаго до смѣшнаго одинъ только шагъ. Великое въ замкѣ поросло плющомъ, повяликой и мхами, а смѣшное казалось мнѣ отвратительнымъ, слишкомъ рѣзало дѣтскую восприимчивость, такъ какъ протія этихъ контрастовъ была мнѣ еще недоступна.

II. Проблематическія природы.

Нѣсколько ночей послѣ описаннаго переворота на островѣ городъ провелъ очень безпокойно: лаяли собаки, скрипѣли двери домовъ, и обыватели, то и дѣло выходя на улицу, стучали палками по заборамъ, давая кому-то знать, что они бодрствуютъ. Городъ знаетъ, что по его улицамъ въ ненастной тѣмѣ дождливой ночи бродятъ люди, которымъ голодно и холодно, которые дрожать и мокнуть; понимая, что въ сердцахъ этихъ людей должны родиться жестокія чувства, городъ насторожился и навстрѣчу этимъ чувствамъ посылалъ свои угрозы. А ночь, какъ нарочно, спускалась на землю среди холоднаго ливня и уходила, оставляя надъ землею низко бѣгушія тучи. И вѣтеръ бушевалъ среди ненастья, качая верхушки деревьевъ, стуча ставнями и напѣвая мнѣ въ моей постели о десяткахъ людей, лишенныхъ тепла и пріюта.

Но вотъ весна окончательно восторжествовала надъ послѣдними порывами зимы, солнце высушило землю, и вмѣстѣ съ тѣмъ бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачій лай по ночамъ угмонился, обыватели перестали стучать по заборамъ, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя подъ навѣсы юркихъ дѣтей Изравиля, торговавшихъ въ городскихъ лавкахъ: „факторы“ лѣниво валялись на солнонебѣ, зорко выглядывая профзжающихъ; скрипъ чиновничьихъ перьевъ слышался въ открытыя окна присутственныхъ мѣстъ; по утрамъ городскія дамы сновали съ корзинами по базару, а подѣ вечеръ важно выступали подѣ руку со своими благовѣрными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи изъ замка чинно ходили по домамъ своихъ покровителей, не нарушая общей гармоніи. Обыватель охотно признавалъ ихъ право на существованіе, находя совершенно основательнымъ, чтобы кто-нибудь получалъ милостыню по субботамъ, а обитатели стараго замка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь въ городѣ своей колеи. Правда, они не слонялись по улицамъ ночью; говорили, что они нашли пріютъ гдѣ-то на горѣ, около уніатской часовни, но какъ они ухитрились пристроиться тамъ, никто не могъ сказать въ точности. Всѣ видѣли только, что съ той стороны, съ горѣ и овраговъ, окружавшихъ часовню, спускались въ городъ по утрамъ самыя невѣроятныя и подозрительныя фигуры, которыя въ сумерки исчезали въ томъ

же направлениі. Своимъ появленіемъ онѣ возмущали тихое и дремливое теченіе городской жизни, выдѣляясь на сѣренькомъ фонѣ мрачными пятнами. Обыватели косились на нихъ съ враждебною тревогою: онѣ, въ свою очередь, окидывали обывательское существованіе безокойно-внимательными взглядами, отъ которыхъ многимъ становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократическихъ нищихъ изъ замка, — городъ ихъ не признавалъ, да онѣ и не просили признанія; ихъ отношенія къ городу имѣли чисто-боевой характеръ: онѣ предпочитали ругать обывателя, чѣмъ льстить ему, — бранить самимъ, чѣмъ выпрашивать. Онѣ или жестоко страдали отъ преслѣдованій, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Притомъ, какъ это встрѣчается нерѣдко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцевъ встрѣчались лица, которыя по уму и талантамъ могли бы сдѣлать честь избраннѣйшему обществу замка, но не ужились въ немъ и предпочли демократическое общество униатской часовни. Нѣкоторые изъ этихъ фигуръ были отмѣнены чертами глубокаго трагизма.

До сихъ поръ я помню, какъ весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура стараго „профессора“. Это было тихое, угнетенное идиотизмомъ существо, въ старой фризовой шинели, въ шапкѣ съ огромнымъ козырькомъ и почернѣвшею кокардой. Ученое званіе, какъ кажется, было присвоено ему вслѣдствіе смутнаго преданія, будто гдѣ-то и когда-то онъ былъ гувернеромъ. Трудно себѣ представить созданіе болѣе безобидное и смирное. Обыкновенно онъ тихо бродилъ по улицамъ, повидимому, безъ всякой опредѣленной цѣли, съ тусклымъ взглядомъ и понуренною головою. Досузіе обыватели знали за нимъ два качества, которыми пользовались въ видахъ жестокаго развлеченія. „Профессоръ“ вѣчно бормоталъ что-то про себя, но ни одинъ человекъ не могъ разобрать въ этихъ рѣчахъ ни слова. Онѣ лились, точно журчаніе мутнаго ручейка, и при этомъ тусклые глаза глядѣли на слушателя, какъ бы стараясь вложить въ его душу неуловимый смыслъ длинной рѣчи. Его можно было завести, какъ машину; для этого любому изъ факторовъ, которому надобно дремать на улицахъ, стоило подозвать къ себѣ старика и предложить какой-либо вопросъ. Профессоръ покачивалъ головою, вдумчиво вперивъ въ слушателя свои выцветшіе глаза, и начиналъ бормотать что-то до безконечности грустное. При этомъ слушатель могъ спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, онъ увидѣлъ бы надъ собой печальную, земную фигуру, все такъ-же тихо

борющую непонятныя рѣчи. Но, само по себѣ, это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интереснаго. Главный эффектъ удичныхъ верзилъ былъ основанъ на другой чертѣ профессорскаго характера: несчастный не могъ равнодушно слышать упоминанія о рѣзущихъ и болющихъ орудіяхъ. Поэтому, обыкновенно, въ самый разгаръ непонятной злоквенціи, слушатель, вдругъ поднявшись съ земли, вскрикивалъ рѣзкимъ голосомъ: „Ножи, ножницы, иголки, булавки!“ Бѣдный старикъ, такъ внезапно пробужденный отъ своихъ мечтаній, взмахивалъ руками, точно подстрѣленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданій остаются непонятными долговызимъ факторамъ лишь потому, что страдающій не можетъ внушить представленія о нихъ посредствомъ здороваго удара кулакомъ! А бѣдняга-профессоръ только озирался съ глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась въ его голосѣ, когда, обращая къ учителю свои тусклые глаза, онъ говорилъ, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце... за сердце крючкомъ!.. за самое сердце!..

Вѣроятно, онъ хотѣлъ сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, повидимому, это-то именно обстоятельство и способно было нѣсколько развлечь досужаго и скучающаго обывателя. И бѣдный профессоръ торопливо удалялся, еще ниже опустивъ голову, точно опасаясь удара; а за нимъ гремѣли раскаты довольнаго смѣха, и досужіе обыватели выскакивали на улицу, а въ воздухѣ, точно удары кнута, хлестали все тѣ же крики:

— Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникамъ изъ замка: они крѣпко стояли другъ за друга, и если на толпу, преслѣдовавшую профессора, налетѣлъ въ это время съ двумя-тремя оборванцами панъ Туркевичъ или въ особенности отставной штыкъ-юнкеръ Заусайловъ, то многихъ изъ этой толпы постигала жестокая кара. Штыкъ-юнкеръ Заусайловъ, обладавшій громаднымъ ростомъ, сизо-багровымъ носомъ и свирѣло выкаченными глазами, давно уже объявилъ открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирій, ни нейтралитетовъ. Всякій разъ послѣ того, какъ онъ натыкался на преслѣдуемаго профессора, долго не смолкали его бранные крики; онъ носился тогда по улицамъ, подобно Тамерлану, уничтожая все, попадавшееся на пути грознаго шествія; такимъ образомъ онъ практиковалъ еврейскіе погромы, задолго до ихъ возникновенія, въ широкихъ размѣрахъ; попадавшихся ему въ плѣнь евреевъ онъ физически истязалъ, а надъ еврей-

скими дамами совершалъ гнусности, пока, наконецъ, экспедиція браздаго штыкъ-юнкера не кончалась на съѣзжей, куда онъ неизмѣнно водворялся послѣ жестокихъ схватокъ съ бутарями. Обѣ стороны проявляли при этомъ не мало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателямъ развлеченіе зрѣлищемъ своего несчастія и паденія, представлялъ отставной и совершенно спившійся чиновникъ Лавровскій. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровскаго величали не иначе, какъ „панъ-писарь“, когда онъ ходилъ въ виць-мундирѣ съ мѣдными пуговицами, повязывая шею восхитительными цвѣтными платочками. Это обстоятельство придавало еще болѣе пикантности зрѣлищу его настоящаго паденія. Переворотъ въ жизни пана Лавровскаго совершился быстро: для этого стоило только пріѣхать въ Княже-Вѣно блестящему драгунскому офицеру, который прожилъ въ городѣ всего двѣ недѣли, но въ это время успѣлъ побѣдить и увести съ собою бѣлокурую дочь богатаго трактирщика. Съ тѣхъ поръ обыватели ничего не слышали о красавицѣ Аннѣ, такъ какъ она навсегда исчезла съ ихъ горизонта. А Лавровскій остался со всеми своими цвѣтными платочками, но безъ надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкаго чиновника. Теперь онъ уже давно не служить. Гдѣ-то въ маленькомъ мѣстечкѣ осталась его семья, для которой онъ былъ нѣкогда надеждой и опорой; но теперь онъ ни о чемъ не заботился. Въ рѣдкія трезвыя минуты жизни онъ быстро проходилъ по улицамъ, потупясь и ни на кого не глядя, какъ бы подавленный стыдомъ собственнаго существованія; ходилъ онъ оборванный, грязный, обросшій длинными, нечесанными волосами, выдѣляясь сразу изъ толпы и привлекая всеобщее вниманіе; но самъ онъ какъ будто не замѣчалъ никого и ничего не слышалъ. Изрѣдка только онъ кидаль во кругъ мутные взгляды, въ которыхъ отражалось недоумѣніе: чего хотятъ отъ него эти чужіе и незнакомые люди? Что онъ имъ сдѣлалъ, зачѣмъ они такъ упорно преслѣдуютъ его? Порой, въ минуты этихъ проблесковъ сознанія, когда до слуха его долетало имя панны съ бѣлокурою косой, въ сердцѣ его поднималось бурное бѣшенство; глаза Лавровскаго загорались мрачнымъ огнемъ на блѣдномъ лицѣ, и онъ со всехъ ногъ кидался на толпу, которая быстро разбѣгалась. Подобныя вспышки, хотя и очень рѣдкія, странно подзадоривали любопытство скучающаго бездѣлья; немудрено, поэтому, что, когда Лавровскій, потупясь, проходилъ по улицамъ, слѣдовавшая за нимъ кучка бездѣльниковъ, напрасно старавшихся вывести его изъ апатіи, начинала съ досады швырять въ него грязью и камнями.

Когда же Лавровскій бывалъ пьянъ, то какъ-то упорно выбиралъ темныя углы подъ заборами, никогда не просыхавшій лужи и тому подобныя экстраординарныя мѣста, гдѣ онъ могъ разсчитывать, что его не замѣтятъ. Тамъ онъ садился, вытянувъ длинныя ноги и свѣсивъ на грудь свою побѣдную головушку. Уединеніе и водка вызывали въ немъ приливъ откровенности, желаніе излить тяжелое горе, угнетающее душу, и онъ начиналъ безконечный разсказъ о своей молодой загубленной жизни. При этомъ онъ обращался къ сѣрымъ столбамъ стараго забора, къ березкѣ, снисходительно шептавшей что-то надъ его головой, къ сорокамъ, которыя съ бабимъ любопытствомъ подсаживали къ этой темной, слегка только копошившейся фигурѣ.

Если кому-либо изъ насъ, малыхъ ребятъ, удавалось выслѣдить его въ этомъ положеніи, мы тихо окружали его и слушали съ замираніемъ сердечнымъ длинныя и ужасающіе разсказы. Волосы становились у насъ дыбомъ, и мы со страхомъ смотрѣли на блѣднаго человѣка, обвинявшаго себя во всевозможныхъ преступленіяхъ. Если вѣрить *собственнымъ словамъ Лавровскаго, онъ убилъ родного отца, вогналъ въ могилу мать, заморилъ сестеръ и братьевъ. Мы не имѣли причинъ не вѣрить этимъ ужаснымъ признаніямъ; насъ только удивляло то обстоятельство, что у Лавровскаго было, повидимому, нѣсколько отцовъ, такъ какъ одному онъ пронзалъ мечомъ сердце, другого изводилъ медленнымъ ядомъ, третьяго топилъ въ какой-то пучинѣ. Мы слушали съ ужасомъ и участіемъ, пока языкъ Лавровскаго, все болѣе заплетаясь, не отказывался, наконецъ, произносить членораздѣльные звуки и благодѣтельный сонъ не прекращалъ покаянныя изліянія. Взрослые смѣялись надъ нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровскаго умерли своею смертию, отъ голода и болѣзней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали въ его стонахъ искреннюю скорбь и, принимая аллегоріи буквально, были всетаки ближе къ истинному пониманію трагически-свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровскаго опускалась еще ниже, и изъ горла слышался хрипъ, прерываемый нервными всхлипываніями, — маленькія дѣтскія головки наклонялись тогда надъ несчастнымъ. Мы внимательно вглядывались въ его лицо, слѣдили за тѣмъ, какъ тѣни преступныхъ дѣяній пробѣгали по немъ и во снѣ, какъ первно сдвигались брови и губы сжимались въ жалостную, почти по-дѣтски плачущую гримасу.

— Убью! — вскрикивалъ онъ вдругъ, чувствуя во снѣ

безпредметное беспокойство отъ нашего присутствія, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что въ такомъ положеніи соннаго его заливало дождемъ, засыпало пылью, а нѣсколько разъ, осенью, даже буквально заносило снѣгомъ; и если онъ не погібъ преждевременною смертію, то этимъ, безъ сомнѣнія, былъ обязанъ заботамъ о своей грустной особѣ другихъ, подобныхъ ему, несчастливцевъ и, главнымъ образомъ, заботамъ неселаго пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, самъ разыскивалъ его, тормошилъ, ставилъ на ноги и уводилъ съ собою.

Панъ Туркевичъ принадлежалъ къ числу людей, которые, какъ самъ онъ выражался, не даютъ себѣ плевать въ кану, и въ то время, какъ профессоръ и Лавровскій пассивно страдали, Туркевичъ являлъ изъ себя особу веселую и благополучную во многихъ отношеніяхъ. Начать съ того, что, не справляясь ни у кого объ утвержденіи, онъ сразу произвелъ себя въ генералы и требовалъ отъ обывателей соответствующихъ этому званію почестей. Такъ какъ никто не смѣлъ оспаривать его права на этотъ титулъ, то вскорѣ панъ Туркевичъ совершенно проникся и самъ вѣрой въ свое величіе. Выступалъ онъ всегда очень важно, грозно насунивъ брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, повидимому, считалъ необходимою прерогативой генеральскаго званія. Если же по временамъ его беззаботную голову посѣщали на этотъ счетъ какія-либо сомнѣнія, то, изловивъ на улицѣ перваго встрѣчнаго обывателя, онъ грозно спрашивалъ:

— Кто я по здѣшнему мѣсту? а?

— Генераль Туркевичъ! — смиренно отвѣчалъ обыватель, чувствовавшій себя въ затруднительномъ положеніи. Туркевичъ немедленно отпускалъ его, величественно покручивая усы.

— То-то-же!

А такъ какъ при этомъ онъ умѣлъ еще совершенно особеннымъ образомъ шевелить своими тараканьими усами и былъ неистощимъ въ прибауткахъ и островахъ, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужихъ слушателей и ему были даже открыты двери лучшей „рестораціи“, въ которой собирались за бильярдомъ пріѣзжіе помѣщики. Если сказать правду, бывали не рѣдко случаи, когда панъ Туркевичъ вылеталъ оттуда съ быстротой человѣка, котораго подталкиваютъ сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшіеся недостаточнымъ уваженіемъ помѣщиковъ къ остроумію, не оказывали вліянія на общее настроеніе Турке-

веча: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояніе, такъ же, какъ и постоянное опьянѣніе.

Послѣднее обстоятельство составляло второй источникъ его благополучія,—ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснилось это огромнымъ количествомъ выпитой уже Туркевичемъ водки, которая превратила его кровь въ какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на извѣстной степени концентрации, чтобы оно играло и бурлило въ немъ, окрашивая для него міръ въ радужныя краски.

Зато, если, по какой-либо причинѣ, дня три генералу не перепало ни одной рюмки, онъ испытывалъ невыносимыя муки. Сначала онъ впадалъ въ меланхолію и малодушіе; всѣмъ было извѣстно, что въ такія минуты грозный генералъ становился безпомощнѣ ребенка, и многіе смѣли выместить на немъ свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а онъ даже не старался избѣгать поношеній; онъ только ревелъ во весь голосъ, и слезы градомъ катились у него изъ глазъ по уныло обвисшимъ усамъ. Бѣдняга обращался ко всѣмъ съ просьбой убить его, мотивируя это желаніе тѣмъ обстоятельствомъ, что ему все равно придется помереть „собачьей смертью подъ заборомъ“. Тогда всѣ отъ него отступали. Въ такомъ градусѣ было что-то въ голосѣ и въ лицѣ генерала, что заставляло самыхъ смѣлыхъ преслѣдователей поскорѣе удалиться, чтобы не видѣть этого лица, не слышать голоса человѣка, на короткое время приходившаго къ сознанію своего ужаснаго положенія... Съ генераломъ опять происходила перемѣна; онъ становился ужасенъ, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткіе волосы подымались на головѣ дыбомъ. Быстро поднявшись на ноги, онъ ударялъ себя въ грудь и торжественно отправлялся по улицамъ, оповѣщая громкимъ голосомъ:

— Иду!.. Какъ пророкъ Іеремія... Иду обличать нечестивыхъ!

Это обѣщало самое интересное зрѣлище. Можно сказать съ уверенностью, что панъ Туркевичъ въ такія минуты съ большимъ усиліемъ выполнялъ функціи невѣдомой въ нашемъ городишкѣ гласности; поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденныя дѣла и примыкали къ толпѣ, сопровождавшей новоявленнаго пророка, или хоть издали слѣдили за его похождениями. Обыкновенно онъ прежде всего направлялся къ дому секретаря уѣзднаго суда и открывалъ передъ его окнами нѣчто вроде судебного засѣданія, выбиравъ изъ толпы подхода-

щихъ актеровъ, изображавшихъ истцовъ и отвѣтчиковъ; онъ самъ говорилъ за нихъ рѣчи и самъ-же отвѣчалъ имъ, подражая съ большимъ искусствомъ голосу и манерѣ обличаемаго. Такъ какъ при этомъ онъ всегда умѣлъ придать спектаклю интересъ современности, намекая на какое-нибудь всѣмъ извѣстное дѣло, и такъ какъ, кромѣ того, онъ былъ большой знатокъ судебной процедуры, то немудрено, что въ самомъ скоромъ времени изъ дома секретаря выбѣгала кухарка, что-то совала Туркевичу въ руку и быстро скрывалась, отбиваясь отъ любезностей генеральской свиты. Генераль, получивъ даяніе, злобно хохоталъ и, съ торжествомъ размахивая ассигнаціей, отправлялся въ ближайшій кабакъ.

Оттуда, утоливъ нѣсколько жажду, онъ велъ своихъ слушателей къ домамъ „подсудковъ“, видоизмѣняя репертуаръ соответственно обстоятельствамъ. А такъ какъ каждый разъ онъ получалъ перспективную плату, то естественно, что грозный тонъ постепенно смягчался, глаза изступленнаго пророка умасливались, усы закручивались кверху, и представление отъ обличительной драмы переходило къ веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно передъ домомъ исправника Коца. Это былъ добродушнѣйшій изъ градоправителей, обладавшій двумя небольшими слабостями: во-первыхъ, онъ красилъ свои сѣдые волосы черною краской и, во-вторыхъ, питалъ пристрастіе къ толстымъ кухаркамъ, полагаясь во всемъ остальномъ на волю Божию и на добровольную обывательскую „благодарность“. Подойдя къ исправницкому дому, выходящему фасомъ на улицу, Туркевичъ весело подмигивалъ своимъ спутникамъ, кидалъ кверху картузь и объявлялъ громогласно, что здѣсь живетъ не начальникъ, а родной его, Туркевича, отецъ и благодѣтель.

Затѣмъ онъ устремлялъ свои взоры на окна и ждалъ послѣдствій. Послѣдствія эти были двоякаго рода: или немедленно же изъ парадной двери выбѣгала толстая и румяная Матрена съ милостивымъ подаркомъ отъ отца и благодѣтеля, или же дверь оставалась закрытою, въ окнѣ кабинета мелькала сердитая старческая фізіономія, обрамленная черными, какъ смоль, волосами, а Матрена тихонько задами прокрадывалась на съѣзжую. На съѣзжей имѣлъ постоянное мѣстожителство бутарь Микита, замѣчательно набившій руку именно въ обращеніи съ Туркевичемъ. Онъ тотчасъ же флегматически откладывалъ въ сторону сапожную колодку и подымался со своего сидѣнья.

Между тѣмъ Туркевичъ, не видя пользы отъ диоирамбовъ, понемногу и осторожно начиналъ переходить къ сатиры.

Обыкновенно онъ начиналъ сожалѣніемъ о томъ, что его благодѣтель считаетъ зачѣмъ-то нужнымъ красить свои почтенныя сѣдины сапожною ваксой. Затѣмъ, огорченный полнымъ невниманіемъ къ своему краснорѣчію, онъ возвышалъ голосъ, подымалъ тонъ и начиналъ громить благодѣтеля за плачевный примѣръ, подаваемый гражданамъ незаконнымъ сожитіемъ съ Матреной. Дойдя до этого щекотливаго предмета, генераль терялъ уже всякую надежду на примиреніе съ благодѣтелемъ и потому воодушевлялся истиннымъ краснорѣчіемъ. Къ сожалѣнію, обыкновенно на этомъ именно мѣстѣ рѣчи происходило неожиданное постороннее вмѣшательство; въ окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывалъ съ замѣчательною ловкостью подравшійся къ нему Микита. Никто изъ слушателей не пытался даже предупредить оратора объ угрожавшей ему опасности, ибо артистическіе приемы Микиты вызывали всеобщій восторгъ. Генераль, прерванный на полусловѣ, вдругъ какъ-то странно мелькалъ въ воздухѣ, опрокидывался спиной на спину Микиты—и черезъ нѣсколько секундъ дюжій бутарь, слегка согнувшійся подъ своей ношей, среди оглушительныхъ криковъ толпы, спокойно направлялся въ кутузкѣ. Еще минута, черная дверь слѣзжей раскрывалась, какъ мрачная пасть, и генераль, беспомощно болтавшій ногами, торжественно скрывался во мракъ кутузки. Неблагодарная толпа кричала Микитѣ „ура“ и медленно расходилась.

Кромѣ этихъ выдѣлявшихся изъ ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалкихъ оборванцевъ, появленіе которыхъ на базарѣ производило всегда большую тревогу среди торговковъ, спѣшнѣе прикрывъ свое добро руками, подобно тому, какъ насѣдки прикрываютъ цыплятъ, когда въ небѣ покажется коршунъ. Ходили слухи, что эти жалкія личности, окончательно лишенныя всякихъ ресурсовъ со времени изгнанія изъ замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочимъ, мелкимъ воровствомъ въ городѣ и окрестностяхъ. Основывались эти слухи, главнымъ образомъ, на той безспорной посылкѣ, что человѣкъ не можетъ существовать безъ пищи; а такъ какъ почти всѣ эти темныя личности, такъ или иначе, отбились отъ обычныхъ способовъ ея добыванія и были оттерты счастливыми изъ замка отъ благъ мѣстной филантропіи, то отсюда слѣдовало неизбѣжное заключеніе, что имъ было необходимо воровать или умереть. Онѣ не умерли, ergo... самый фактъ ихъ существованія обращался въ доказательство ихъ преступнаго образа дѣйствій.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организаторомъ и руководителемъ сообщества не могъ быть никто другой, какъ панъ Тыбурцій Драбъ, самая замѣчательная личность изъ всѣхъ проблематическихъ натуръ, не ужившихся въ старомъ замкѣ.

Происхожденіе Драба было покрыто мракомъ самой таинственной неизвѣстности. Люди, одаренные сильнымъ воображеніемъ, приписывали ему аристократическое имя, которое онъ покрылъ позоромъ и потому принужденъ былъ скрыться, при чемъ участвовалъ будто бы въ подвигахъ знаменитаго Кармелока. Но, во-первыхъ, для этого онъ былъ еще недостаточно старъ, а во-вторыхъ, наружность пана Тыбурція не имѣла въ себѣ ни одной аристократической черты. Роста онъ былъ высокаго; сильная сутуловатость какъ бы говорила о бремені вынесенныхъ Тыбурціемъ несчастій; крупныя черты лица были грубо-выразительны. Короткіе, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкій лобъ, нѣсколько выдававшаяся впередъ нижняя челюсть и сильная подвижность личныа мускуловъ придавали всей физиономіи что-то обезьянье; но глаза, сверкавшіе изъ-подъ нависшихъ бровей, смотрѣли уворно и мрачно, и въ нихъ свѣтились, вмѣстѣ съ лукавствомъ, острая проницательность, энергія и недоживанный умъ. Въ то время, какъ на его лицѣ смѣнялся цѣлый калейдоскопъ гримасъ, эти глаза сохраняли постоянно одно выраженіе, отчего мнѣ всегда бывало какъ-то безотчетно-жутко смотрѣть на гаерство этого страннаго человѣка. Подъ нимъ какъ будто струилась глубокая неустающая печаль.

Руки пана Тыбурція были грубы и покрыты мозолями, большія ноги ступали по-мужичьи. Въ виду этого, большинство обывателей не признавало за нимъ аристократическаго происхожденія, и самое большее, что соглашалось допустить, это—званіе двороваго человѣка какого-нибудь изъ знатныхъ пановъ. Но тогда опять встрѣчалось затрудненіе: какъ объяснить его феноменальную ученость, которая всѣмъ была очевидна. Не было кабака во всемъ городѣ, въ которомъ бы панъ Тыбурцій, въ назиданіе собиравшихся въ базарные дни холмовъ, не произносилъ, стоя на бочкѣ, цѣлыхъ рѣчей изъ Цицерона, цѣлыхъ главъ изъ Ксенофонта. Хохлы раздвѣвали рты и подталкивали другъ друга локтями, а панъ Тыбурцій, возвышаясь въ своихъ лохмотьяхъ надъ всею толпой, громилъ Катилину, или описывалъ подвиги Цезаря или коварство Митридата. Хохлы, вообще надѣленные отъ природы богатою фантазіей, умѣли какъ-то влагать свой собственный смыслъ въ эти одушевленные, хотя и непонятныя рѣчи... И когда,

ударяя себя въ грудь и сверкая глазами, онъ обращался къ нимъ со словами: „*Patres conscripti!*“ — они тоже хмурились и говорили другъ другу:

— Ото-жь, вражий сынъ, якъ лается!

Когда же затѣмъ панъ Тыбурцій, поднявъ глаза къ потолку, начиналъ декламировать длиннѣйшіе латинскіе періоды—усатые слушатели слѣдили за нимъ съ боязливымъ и жалостнымъ участіемъ. Имъ казалось тогда, что душа декламатора витаетъ гдѣ-то въ невѣдомой странѣ, гдѣ говорятъ не по-христіански, а по отчаянной жестикуляціи оратора они заключали, что она тамъ испытываетъ какія-то горестныя приключенія. Но наибольшаго напряженія достигало это участливое вниманіе, когда панъ Тыбурцій, закативъ глаза и поводя однимъ бѣлками, донималъ аудиторию продолжительною скандовкой Вергилія или Гомера. Его голосъ звучалъ тогда такими глухими загробными раскатами, что сидѣвшіе по угламъ и наиболѣе поддавшіеся дѣйствию жидовской горилки слушатели опускали головы, свѣшивали длинныя подстриженныя спереди „чурины“ и начинали всхлипывать:

— О-охъ, матиньки, та и жалобно жъ, хай ему бѣтъ! — И слезы каналы изъ глазъ и стекали по длиннымъ усамъ.

Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, что, когда ораторъ внезапно соскакивалъ съ бочки и раздражался веселымъ хохотомъ, омраченныя лица хохловъ вдругъ прояснялись, и руки тянулись къ карманамъ широкихъ штановъ за мѣдяками. Обрадованные благополучнымъ окончаніемъ трагическихъ экскурсій пана Тыбурція, хохлы поили его водкой, обнимались съ нимъ, и въ его картузь падали, звеня, мѣдяки.

Въ виду такой поразительной учености, пришлось построить новую гипотезу о происхожденіи этого чудака, которая бы болѣе соотвѣтствовала изложеннымъ фактамъ. Помирились на томъ, что панъ Тыбурцій былъ нѣкогда дворовымъ мальчишкой какого-то графа, который послалъ его вмѣстѣ со своимъ сыномъ въ школу отцовъ-іезуитовъ, собственно на предметъ чистки сапоговъ молодого панича. Оказалось, однако, что въ то время, какъ молодой графъ воспринималъ преимущественно удары треххвостной „дисциплины“ святыхъ отцовъ, его лакей перехватывалъ всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Вслѣдствіе окружавшей Тыбурція тайны, въ числѣ другихъ профессій ему приписывали также отличныя свѣдѣнія по части колдовскаго искусства. Если на поляхъ, примыкавшихъ волнующимся моремъ къ послѣднимъ лачугамъ предместья, появлялись вдругъ колдовскія „закруты“, то никто не могъ вырвать ихъ съ болѣею безопасностью для себя и жнецовъ,

какъ панъ Тыбурцій. Если зловѣщій „пугачъ“ *) прилетать по вечерамъ на чью-нибудь крышу и громкими криками накликалъ туда смерть, то опять приглашали Тыбурція, и онъ съ большимъ уснѣхомъ прогонялъ зловѣщую птицу поученіями изъ Тита Ливія.

Никто не могъ бы также сказать, откуда у пана Тыбурція явились дѣти, а между тѣмъ, фактъ, хотя и никѣмъ не объясненный, стоялъ налицо... даже два факта: мальчикъ лѣтъ семи, но рослый и развитой не по лѣтамъ, и маленькая трехлѣтняя дѣвочка. Мальчика панъ Тыбурцій привелъ, или, вѣрнѣе, принесъ съ собой съ первыхъ дней, какъ явился самъ на горизонтѣ нашего города. Что-же касается дѣвочки, то, повидимому, онъ отлучался, чтобы пріобрѣсти ее, на нѣсколько мѣсяцевъ въ совершенно неизвѣстныя страны.

Мальчикъ, по имени Валекъ, высокій, тонкій, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу безъ особеннаго дѣла, заложивъ руки въ карманы и кидая по сторонамъ взгляды, смущавшіе сердца калачницъ. Дѣвочку видѣли только одинъ или два раза на рукахъ пана Тыбурція, а затѣмъ она куда-то исчезла, и гдѣ находилась—никому не было извѣстно.

Поговаривали о какихъ-то подземельяхъ на уніатской горѣ около часовни, и такъ какъ въ тѣхъ краяхъ, гдѣ такъ часто проходила съ огнемъ и мечомъ татарщина, гдѣ нѣкогда бушевала панская „сваволя“ (своеволие) и правила кровавую расправу удалцы-гайдамаки, подобныя подземелья очень нерѣдки, то всѣ вѣрили этимъ слухамъ, тѣмъ болѣе, что вѣдь жила-же гдѣ-нибудь вся эта орда темныхъ бродягъ. А они обыкновенно подъ вечеръ исчезали именно въ направленіи къ часовнѣ. Туда своею сонною походкой ковлялъ профессоръ, шагаль рѣшительно и быстро панъ Тыбурцій; туда-же Туркевичъ, пошатываясь, провожалъ свирѣпаго и безпомощнаго Лавровскаго; туда уходили подъ вечеръ, утопая въ сумеркахъ, другія темныя личности, и не было храбраго человѣка, который бы рѣшился слѣдовать за ними по глинистымъ обрывамъ. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старомъ кладбищѣ въ сырыхъ осеннія ночи загорались синіе огни, а въ часовнѣ сычи кричали такъ пронзительно и звонко, что отъ криковъ проклятой птицы даже у безстрашнаго кузнеца сжималось сердце.

III. Я и мой отецъ.

— Плохо, молодой человѣкъ, плохо!—говорилъ мнѣ неждко старый Янушъ изъ замка, встрѣчая меня на улицахъ

*) Флигъ.

города въ свѣтъ пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старикъ качалъ при этомъ своею сѣдою бородой.

— Плохо, молодой человекъ, — вы въ дурномъ обществѣ!.. Жаль, очень жаль сына почтенныхъ родителей, который не щадитъ семейной чести.

Дѣйствительно, съ тѣхъ поръ, какъ умерла моя мать, а сумрачное лицо отца стало еще угрюмѣе, меня очень рѣдко видѣли дома. Въ поздніе лѣтніе вечера я прокрадывался по саду, какъ молодой волченочекъ, избѣгая встрѣчи съ отцомъ, отворялъ посредствомъ особыхъ приспособленій свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился въ постель. Если маленькая сестренка еще не спала въ своей качалкѣ въ сосѣдней комнатѣ, я подходилъ къ ней, и мы тихо ласкали другъ друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утромъ, чуть свѣтъ, когда въ домѣ всѣ еще спали, я ужь прокладывалъ росистый слѣдъ въ густой, высокой травѣ сада, перелѣзалъ черезъ заборъ и шелъ къ пруду, гдѣ меня ждали съ удочками такіе же сорванцы-товарищи, или къ мельницѣ, гдѣ сонный мельникъ только-что отодвинулъ шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась въ „лотки“ и бодро принималась за дневную работу.

Большія мельничныя колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, какъ-то нехотя подавались, точно лѣнясь проснуться, но чрезъ нѣсколько секундъ уже кружились, брызгая пѣной и купаясь въ холодныхъ струяхъ. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и бѣлая мучная пыль тучами поднималась изъ щелей стараго-престараго мельничнаго зданія.

Тогда я шелъ далѣе. Мнѣ нравилось встрѣчать пробужденіе природы; я бывалъ радъ, когда мнѣ удавалось вспугнуть заспавшагося жаворонка или выгнать изъ борозды трусливаго зайца. Капли росы падали съ верхушекъ трясунокъ, съ головокъ луговыхъ двѣтовъ, когда я пробирался полями къ загородной рошѣ. Деревья встрѣчали меня шопотомъ лѣнливой дремоты. Изъ оконъ тюрьмы не глядѣли еще блѣдные, угрюмыя лица арестантовъ, и только карауль, громко звякая ружьями, обходилъ вокругъ стѣны, смѣняя усталыхъ ночныхъ часовыхъ.

Я успѣвалъ совершить дальній обходъ, и все же въ городѣ то и дѣло встрѣчались мнѣ заспанная фигуры, отворившія ставни домовъ. Но вотъ солнце поднялось уже надъ горой,

изъ-за прудовъ слышится крикливый звонокъ, сзывающій гимназистовъ, и голодъ зоветъ меня домой къ утреннему чаю.

Вообще всѣ меня звали бродягой, негоднымъ мальчишкой, и такъ часто укоряли въ разныхъ дурныхъ наклонностяхъ, что я, наконецъ, и самъ проникся этимъ убѣжденіемъ. Отецъ также повѣрилъ этому и дѣлалъ иногда попытки заняться моимъ воспитаніемъ, но попытки эти всегда кончались неудачей. При видѣ строгаго и угрюмаго лица, на которомъ лежала суровая печать неизлѣчимаго горя, я робѣлъ и замыкался въ себя. Я стоялъ передъ нимъ, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонамъ. Временами что-то какъ будто подымалось у меня въ груди; мнѣ хотѣлось, чтобъ онъ обнялъ меня, посадилъ къ себѣ на колѣни и приласкалъ. Тогда я прильнулъ бы къ его груди, и, быть можетъ, мы вмѣстѣ заплакали бы — ребенокъ и суровый мужчина — о нашей общей утратѣ. Но онъ смотрѣлъ на меня отуманенными глазами, какъ будто поверхъ моей головы, и я весь сжимался подъ этимъ непонятнымъ для меня взглядомъ.

— Ты помнишь матушку?

Помнилъ-ли я ее? О, да, я помнилъ ее! Я помнилъ, какъ, бывало, просыпался ночью, я искалъ въ темнотѣ ея нѣжныя руки и крѣпко прижимался къ нимъ, покрывая ихъ поцѣлуями. Я помнилъ ее, когда она сидѣла больная передъ открытымъ окномъ и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь съ нею въ послѣдній годъ своей жизни.

О, да, я помнилъ ее!.. Когда она, вся покрытая цвѣтами, молодая и прекрасная, лежала съ печатью смерти на блѣдномъ лицѣ, я, какъ звѣрекъ, забился въ уголь и смотрѣлъ на нее горящими глазами, передъ которыми впервые открылся весь ужасъ загадки о жизни и смерти. А потомъ, когда ее унесли въ толгѣ незнакомыхъ людей, не мои ли рыданія звучали сдавленнымъ стономъ въ сумракѣ первой ночи моего сиротства?

О, да, я ее помнилъ!.. И теперь часто, въ глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая тѣснилась въ груди, переполняя дѣтское сердце, — просыпался съ улыбкой счастья, въ блаженномъ невѣдѣніи, навѣянномъ розовыми снами дѣтства. И опять, какъ прежде, мнѣ казалось, что она со мною, что я сейчасъ встрѣчу ее любящую, милую ласку. Но мои руки протягивались въ пустую тьму, и въ душу проникало сознаніе горькаго одиновчества. Тогда я сжималъ руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О, да, я помнилъ ее! Но на вопросъ высокаго, угрюмаго

человѣка, въ которомъ я желалъ, но не могъ почувствовать родную душу, я съезжился еще болѣе и тихо выдергивалъ изъ его руки свою ручонку.

И онъ отворачивался отъ меня съ досадою и болью. Онъ чувствовалъ, что не имѣеть на меня ни малѣйшаго вліянія, что между нами стоитъ какаѣ-то неодолима стѣна. Онъ слишкомъ любилъ ея, когда она была жива, не замѣчая меня изъ-за своего счастья. Теперь меня закрывало отъ него тяжелое горе.

И мало-по-малу пропасть, насъ раздѣлявшая, становилась все шире и глубже. Онъ все болѣе убѣждался, что я—дурной, испорченный мальчишка, съ черствымъ, эгоистическимъ сердцемъ, и сознание, что онъ *долженъ*, но *не можетъ* заяться мною, *долженъ* любить меня, но не находитъ для этой любви угла въ своемъ сердцѣ, еще увеличивало его нерасположеніе. И я это чувствовалъ. Порой, спрятавшись въ кустахъ, я наблюдалъ за нимъ; я видѣлъ, какъ онъ шагаль по аллеямъ, все ускоряя походку, и глухо стоналъ отъ нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствіемъ. Одинъ разъ, когда, сжавъ руками голову, онъ присѣлъ на скамейку и зарыдалъ, я не вытерпѣлъ и выбѣжалъ изъ кустовъ на дорожку, повинуюсь неопредѣленному побужденію, толкавшему меня къ этому человѣку. Но онъ, пробудясь отъ мрачнаго и безнадежнаго созерцанія, сурово взглянулъ на меня и осадилъ холоднымъ вопросомъ:

— Что нужно?

Мнѣ ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтобъ отецъ не прочелъ его въ моемъ смущенномъ лицѣ. Убѣжавъ въ чащу сада, я упалъ лицомъ въ траву и горько заплакалъ отъ досады и боли.

Съ шести лѣтъ я испытывалъ уже ужасъ одиночества.

Сестрѣ Сонѣ было четыре года. Я любилъ ее страстно, и она платила мнѣ такую же любовью; но установившійся взглядъ на меня, какъ на отпѣтаго маленькаго разбойника, воздвигъ и между нами высокую стѣну. Всякій разъ, когда я начиналъ играть съ нею, по-своему шумно и рѣзко, старая цыпья, вѣчно сонная и вѣчно дравшая, съ закрытыми глазами, куриныя перья для подушекъ, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила къ себѣ, кидая на меня сердитые взгляды; въ такихъ случаяхъ она всегда напоминала мнѣ включенную насѣдку, себя я сравнивалъ съ хищнымъ коршуномъ, а Соню—съ маленькимъ цыпленкомъ. Мнѣ становилось очень горько и досадно. Немудрено, поэтому, что скоро я прекратилъ всякія попытки

занимать Сою моими преступными играми, а еще через некоторое время мнѣ стало тѣсно въ домѣ и въ садикѣ, гдѣ я не встрѣчалъ ни въ комъ привѣта и ласки. Я началъ бродяжить. Все мое существо трепетало тогда какимъ-то страннымъ предчувствіемъ, предвкушеніемъ жизни. Мнѣ все казалось, что гдѣ-то тамъ, въ этомъ большомъ и невѣдомомъ свѣтѣ, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то долженъ сдѣлать и могу что-то сдѣлать, но я только не зналъ, что именно; а между тѣмъ, навстрѣчу этому невѣдомому и таинственному, во мнѣ изъ глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. Я все ждалъ разрѣшенія этихъ вопросовъ и инстинктивно бѣгалъ и отъ няньки съ ея перьями, и отъ знакомаго дѣливаго шопота яблоней въ нашемъ маленькомъ садикѣ, и отъ глупаго стука ножей, рубившихъ на кухнѣ котлеты. Съ тѣхъ поръ къ прочимъ неслетнымъ моимъ эпитетамъ прибавились названія уличнаго мальчишки и бродяги; но я не обращалъ на это вниманія. Я притерпѣлся къ упрекамъ и выносилъ ихъ, какъ выносилъ внезапно налетавшій дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивалъ замѣчанія и поступалъ по-своему. Шатаюсь по улицамъ, я всматривался дѣтски-любопытными глазами въ незатѣйливую жизнь городка съ его лачугами, вслушивался въ гулъ проволокъ на шоссе, вдали отъ городского шума, стараясь уловить, какія вѣсти несутся по нимъ изъ далекихъ большихъ городовъ, или въ шелестъ колосьевъ, или въ шопоть вѣтра на высокихъ гайдамацкихъ могилахъ. Не разъ мои глаза широко раскрывались, не разъ останавливался я съ болѣзненнымъ испугомъ передъ картинами жизни... Образъ за образомъ, впечатлѣніе за впечатлѣніемъ ложились на душу яркими пятнами; я узналъ и увидалъ много такого, чего не видали дѣти значительно старше меня, а между тѣмъ то невѣдомое, что подымалось изъ глубины дѣтской души, по-прежнему звучало въ ней несмолкающимъ, таинственнымъ, подымающимъ, вызывающимъ рокотомъ.

Когда мегеры стараго замка лишили его въ моихъ глазахъ уваженія и привлекательности, когда все углы города стали мнѣ извѣстны до послѣднихъ грязныхъ закоулковъ, тогда я сталъ заглядывать на видѣвшуюся вдали, на уніатской горѣ, часовню. Сначала, какъ цугливый звѣрекъ, я подходилъ къ ней съ разныхъ сторонъ, все не рѣшаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурною славою. Но по мѣрѣ того, какъ я знакомился съ мѣстностью, передо мною выступали только тихія могилы и разрушенные кресты. Нигдѣ не было видно признаковъ какого-либо жилья и человѣческаго

присутствія. Все было какъ-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядѣла, насунившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Миѣ захотѣлось осмотрѣть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убѣдиться окончательно, что и тамъ нѣтъ ничего, кромѣ пыли. Но такъ какъ одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсію, то я навербовалъ на улицахъ города небольшой отрядъ изъ трехъ сорванцовъ, привлеченныхъ къ предпріятію общаніемъ булокъ и яблоковъ изъ нашего сада.

IV. Я приобрѣтаю новое знакомство.

Мы вышли въ экскурсію послѣ обѣда и, подойдя къ горѣ, стали подыматься по глинистымъ обваламъ, взрытымъ лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-гдѣ изъ глины видѣлись высунувшіяся наружу бѣлыя, истлѣвшія кости. Въ одномъ мѣстѣ деревянный гробъ выставлялся истлѣвшимъ угломъ, въ другомъ—скалиль зубы человѣческой черепъ, уставясь на насъ черными впадинами глазъ.

Наконецъ, помогая другъ другу, мы торопливо взобрались на гору изъ послѣдняго обрыва. Солнце начинало склоняться къ закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву стараго кладбища, играли на покосившихся крестахъ, переливались въ уцѣлѣвшихъ окнахъ часовни. Было тихо, вѣяло спокойствіемъ и глубокимъ миромъ брошеннаго кладбища. Здѣсь уже мы не видѣли ни череповъ, ни голеней, ни гробовъ. Зеленая свѣжая трава ровнымъ, слегка склонявшимся къ городу пологомъ любовно скрывала въ своихъ объятіяхъ ужасъ и безобразіе смерти.

Мы были одни; только воробы возились кругомъ, да ласточки безшумно влетали и вылетали въ окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросшихъ травою могилъ, скромныхъ крестовъ, полуразвалившихся каменныхъ гробницъ, на развалинахъ которыхъ стлалась густая зелень, цвѣтлы разноцвѣтныя головки лютиковъ, кашки, фіалокъ.

— Нѣтъ никого,—сказаль одинъ изъ моихъ спутниковъ.

— Солнце заходитъ, — замѣтилъ другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло надъ горою.

Дверь часовни была крѣпко заколочена, окна—высоко надъ землею; однако, при помощи товарищей, я надѣялся взобраться на нихъ и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо!—вскрикнулъ одинъ изъ моихъ спутниковъ, вдругъ потерявшій всю свою храбрость, и схватилъ меня за руку.

— Пошелъ ко всѣмъ чертямъ, баба!—прикрикнулъ на него

старшій изъ нашей маленькой арміи, съ готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потомъ онъ выпрямился, и я сталъ ногами на его плечи. Въ такомъ положеніи я безъ труда досталъ рукой раму и, убѣдясь въ ея крѣпости, поднялся къ окну и сѣлъ на него.

— Ну, что же тамъ?—спрашивали меня снизу съ живымъ интересомъ.

Я молчалъ. Перегнувшись черезъ косякъ, я заглянулъ внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошеннаго храма. Внутренность высокаго, узкаго зданія была лишена всякихъ украшеній. Лучи вечерняго солнца, свободно врывался въ открытыя окна, разрисовывали яркимъ золотомъ старыя ободранныя стѣны. Я увидѣлъ внутреннюю сторону запертой двери, провалившіяся хоры, старыя истлѣвшія колонны, какъ бы покачнувшіяся подъ непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и въ нихъ ютилась та особенная тѣма, которая залегаетъ всѣ углы такихъ старыхъ зданій. Отъ окна до пола казалось гораздо дальше, чѣмъ до травы снаружи. Я смотрѣлъ точно въ глубокую яму и сначала не могъ разглядѣть какихъ-то странныхъ предметовъ, маячившихъ по полу причудливыми очертаніями.

Между тѣмъ моимъ товарищамъ надоѣло стоять внизу, ожидая отъ меня извѣстій, и потому одинъ изъ нихъ, продѣлавъ ту же процедуру, какую продѣлалъ я раньше, повисъ рядомъ со мною, держась за оконную раму.

— Престоль, — сказалъ онъ, взглянувъ въ странный предметъ на полу.

— И паникадило.

— Столикъ для евангелія.

— А вонъ тамъ что такое? — съ любопытствомъ указалъ онъ на темный предметъ, виднѣвшійся рядомъ съ престоломъ.

— Поповская шапка.

— Нѣтъ, ведро.

— Зачѣмъ же тутъ ведро?

— Можетъ быть, въ немъ когда-то были угли для кадила.

— Нѣтъ, это, дѣйствительно, шапка. Впрочемъ, можно посмотреть. Давай, привяжемъ къ рамѣ поясъ, и ты по немъ спустишься.

— Да, какъ-же, такъ и спущусь!.. Пользай самъ, если хочешь.

— Ну, что-жъ! Думаешь, не пользу?

— И пользай!

Дѣйствуя по первому побужденію, я крѣпко связалъ два ремня, задалъ ихъ за раму и, отдавъ одинъ конецъ товарищу,

самъ повисъ на другомъ. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнулъ; но взглядъ на участливо склонившуюся ко мнѣ рожицу моего пріятеля возстановилъ мою бодрость. Стукъ каблука зазвенѣлъ подъ потолкомъ, отдался въ пустотѣ часовни, въ ея темныхъ углахъ. Нѣсколько воробьевъ вспорхнули съ пасажныхъ мѣстъ на хорахъ и вылетѣли въ большую прорѣху въ крышѣ. Со стѣны, на окнахъ которой мы сидѣли, глянуло на меня вдругъ строгое лицо, съ бородой, въ терновомъ вѣнцѣ. Это склонилось изъ-подъ самаго потолка гигантское распятіе.

Мнѣ было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающимъ духъ любопытствомъ и участіемъ.

— Ты подойдешь?—спросилъ онъ тихо.

— Подойду, — отвѣтилъ я такъ-же, собиравшись съ духомъ, но въ эту минуту случилось нѣчто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стукъ и шумъ обвалившейся на хорахъ штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло въ воздухѣ тучею пыли, и большая сѣрая масса, взмахнувъ крыльями, поднялась къ прорѣхѣ въ крышѣ. Часовня на мгновеніе какъ будто потемнѣла. Огромная старая сова, обезпokoенная нашей возней, вылетѣла изъ темнаго угла, мелькнула, распластавшись на фонѣ голубого неба въ пролетѣ, и шарахнулась вонъ.

Я почувствовалъ приливъ судорожнаго страха.

— Подымай!—крикнулъ я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивалъ онъ, приготовляясь поднять меня на свѣтъ дня и солнца.

Но вдругъ лицо его исказилось отъ ужаса; онъ вскрикнулъ и мгновенно исчезъ, прыгнувъ съ окна. Я инстинктивно оглянулся и увидѣлъ странное явленіе, поразившее меня, впрочемъ, больше удивленіемъ, чѣмъ ужасомъ.

Темный предметъ нашего спора, япанка или ведро, оказавшійся, въ концѣ концовъ, горшкомъ, мелькнулъ въ воздухѣ и на глазахъ моихъ скрылся подъ престоломъ. Я успѣвалъ только разглядѣть смутныя очертанія небольшой, какъ будто дѣтской руки, увлекавшей его въ это убѣжище.

Трудно передать мои ощущенія въ эту минуту. Я не страдалъ; чувство, которое я испытывалъ, нельзя даже назвать страхомъ. Я былъ на томъ свѣтѣ. Откуда-то, точно изъ другого міра, въ теченіе нѣсколькихъ секундъ доносился до меня быстрою дробью тревожный топотъ трехъ паръ дѣтскихъ ногъ. Но вскорѣ затихъ и онъ. Я былъ одинъ, точно въ гробу, въ виду какихъ-то странныхъ и необъяснимыхъ явленій.

Времени для меня не существовало, поэтому я не могъ сказать, скоро ли я услышалъ подъ престоломъ сдержанный шопотъ.

— Почему-же онъ не дѣзетъ себѣ назадъ?

— Видишь, испугался.

Первый голосъ показался мнѣ совсѣмъ дѣтскимъ; второй могъ принадлежать мальчику моего возраста. Мнѣ показалось также, что въ щели стараго престола сверкнула пара черныхъ глазъ.

— Что-жъ онъ теперь будетъ дѣлать?—послышался опять шопотъ.

— А вотъ погоди, — отвѣтилъ голосъ постарше.

Подъ престоломъ что-то сильно завозилось, онъ даже какъ будто покачнулся, и въ то же мгновеніе изъ-подъ него вынырнула фигура.

Это былъ мальчикъ лѣтъ девяти, больше меня, худощавый и тонкій, какъ тростинка. Одѣтъ онъ былъ въ грязной рубашонкѣ, руки держалъ въ карманахъ узкихъ и короткихъ штанишекъ. Темные курчавые волосы лохматились надъ черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомецъ, явившійся на сцену столь неожиданнымъ и страннымъ образомъ, подходилъ ко мнѣ съ тѣмъ безпечно-задорнымъ видомъ, съ какимъ всегда на нашемъ базарѣ подходили другъ къ другу мальчишки, готовые вступить въ драку, но все-же, увидѣвъ его, я сильно ободрился. Я ободрился еще болѣе, когда изъ-подъ того-же престола, или, вѣрнѣе, изъ люка въ полу часовни, который онъ покрывалъ, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное бѣлокурыми волосами и сверкавшее на меня дѣтски-любопытными голубыми глазами.

Я нѣсколько отодвинулся отъ стѣны и, согласно рыцарскимъ правиламъ нашего рынка, тоже положилъ руки въ карманы. Это было признакомъ, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое къ нему презрѣніе.

Мы стали другъ противъ друга и обмѣнялись взглядами. Оглядѣвъ меня съ головы до ногъ, мальчишка спросилъ:

— Ты здѣсь зачѣмъ?

— Такъ, — отвѣтилъ я. — Тебѣ какое дѣло?

Мой противникъ повелъ плечомъ, какъ будто намѣреваясь вынуть руку изъ кармана и ударить меня.

Я не моргнулъ и глазомъ.

— Я вотъ тебѣ покажу! — погрозилъ онъ.

Я вынырнулъ грудью впередъ.

— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновеніе было критическое; отъ него зависѣлъ характеръ дальнѣйшихъ отношеній. Я ждалъ, но мой противникъ, окинувъ меня тѣмъ-же ~~испытующимъ~~ взглядомъ, не шевелился.

— Я, братъ, и самъ... тоже... — сказала я, но ужъ болѣе миролюбиво.

Между тѣмъ дѣвочка, упершись маленькими ручонками въ полъ часовни, старалась тоже выкарабкаться изъ люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконецъ, направилась нетвердыми шагами къ мальчишкѣ. Подойдя вплотъ, она крѣпко ухватилась за него и, прижавшись къ нему, поглядѣла на меня удивленнымъ и отчасти испуганнымъ взглядомъ.

Это рѣшило исходъ дѣла; стало совершенно ясно, что въ такомъ положеніи мальчишка не могъ драться, а я, конечно, былъ слишкомъ великодушенъ, чтобы воспользоваться его педобнымъ положеніемъ.

— Какъ твое имя? — спросилъ мальчикъ, глядя рукой бѣлокурую головку дѣвочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валекъ... Я тебя знаю: ты живешь въ саду надъ прудомъ. У васъ большія яблоки.

— Да, это правда, яблоки у насъ хорошія... не хочешь-ли?

Вынувъ изъ кармана два яблока, назначавшіяся для расплаты съ моею постыдно бѣжавшей арміей, я подалъ одно изъ нихъ Валеку, другое протянулъ дѣвочкѣ. Но она скрыла свое лицо, прижавшись къ Валеку.

— Бойся, — сказалъ тотъ и самъ передалъ яблоко дѣвочкѣ.

— Зачѣмъ ты влѣзь сюда? Развѣ я когда-нибудь лазалъ въ вашъ садъ? — спросилъ онъ затѣмъ.

— Что-жъ, приходи! Я буду радъ, — отвѣтилъ я радушно. Отвѣтъ этотъ озадачилъ Валека; онъ призадумался.

— Я тебѣ не компанія, — сказалъ онъ грустно.

— Отчего-же? — спросилъ я, искренно огорченный грустнымъ тономъ, какимъ были сказаны эти слова.

— Твой отецъ — панъ судья.

— Ну такъ что-же? — изумился я чистосердечно. — Вѣдь ты будешь играть со мной, а не съ отцомъ.

Валекъ покачалъ головой.

— Тыбурцій не пустить, — сказалъ онъ, и, какъ будто это имя напомнило ему что-то, онъ вдругъ спохватился: — Послушай... Ты, кажется, славный хлопецъ, но всетаки тебѣ лучше уйти. Если Тыбурцій тебя застанетъ, будетъ плохо.

Я согласился, что мнѣ, дѣйствительно, пора уходить. Последніе лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Какъ-же мнѣ отсюда выйти?

— Я тебѣ укажу дорогу. Мы выйдемъ вмѣстѣ.

— А она? — ткнулъ я пальцемъ въ нашу маленькую даму.

— Маруся?—она тоже пойдетъ съ нами.

— Какъ, въ окно?

Валекъ задумался,

— Нѣтъ, вотъ что: я тебѣ помогу взобраться на окно, а мы выйдемъ другимъ ходомъ.

Съ помощью моего новаго пріятеля, я поднялся въ окно. Отвязавъ ремень, я обвилъ его вокругъ рамы и, держась за оба конца, повисъ въ воздухѣ. Затѣмъ, отпустивъ одинъ конецъ, я спрыгнулъ на землю и выдернулъ ремень. Валекъ и Маруся ждали меня уже подъ стѣной снаружи.

Солнце недавно еще сѣло за гору. Городъ утонулъ въ лилово-туманной тѣни, и только верхушки высокихъ тополей на островѣ рѣзко выдѣлялись червоннымъ золотомъ, разрисованныя послѣдними лучами заката. Мнѣ казалось, что съ тѣхъ поръ, какъ я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менѣе сутокъ, что это было вчера.

— Какъ хорошо!— сказалъ я, охваченный свѣжестью наступающаго вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здѣсь...— съ грустью произнесъ Валекъ.

— Вы все здѣсь живете?— спросилъ я, когда мы втроемъ стали спускаться съ горы.

— Здѣсь.

— Гдѣ-же вашъ домъ?

Я не могъ себѣ представить, что подобныя мнѣ дѣти могли жить безъ „дома“.

Валекъ усмѣхнулся съ обычнымъ грустнымъ видомъ и ничего не отвѣтилъ.

Мы миновали крутые обвалы, такъ какъ Валекъ зналъ болѣе удобную дорогу. Пройдя межъ камышей по высохшему болоту и переправившись черезъ ручеекъ по тонкимъ дощечкамъ, мы очутились у подножія горы, на равнинѣ.

Тутъ надо было разстаться. Пожавъ руку моему новому знакомому, я протянулъ ее также и дѣвочкѣ. Она ласково подала мнѣ свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверхъ голубыми глазами, спросила:

— Ты придешь къ намъ опять?

— Приду, — отвѣтилъ я, — непременно!..

— Что-жъ, — сказала въ раздумьи Валекъ, — приходи, пожалуй, только въ такое время, когда наши будутъ въ городѣ.

— Кто это „ваши“?

— Да наши... всѣ: Тыбурцій, Лавровскій, Туркевичъ. Профессоръ... тотъ, пожалуй, не помѣшаетъ.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будутъ въ городѣ, и тогда приду. А пока, прощайте!

— Эй, послушай-ка, — крикнулъ мнѣ Валекъ, когда я отошелъ нѣсколько шаговъ. — А ты болтать не будешь о томъ, что было у насъ?

— Никому не скажу, — отвѣтилъ я твердо.

— Ну, вотъ, это хорошо! А этимъ твоимъ дуракамъ, когда станутъ приставать, скажи, что видѣлъ чорта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густыя сумерки залегли надъ Князьимъ-Вѣномъ, когда я приблизился къ забору своего сада. Надъ замкомъ зарисовался тонкій серпъ луны, загорѣлись звѣзды. Я хотѣлъ уже подняться на заборъ, какъ кто-то схватилъ меня за руку.

— Вася, другъ, — заговорилъ взволнованнымъ шопотомъ мой бѣжавшій товарищъ. — Какъ-же это ты?.. Голубчикъ!..

— А вотъ, какъ видишь... А вы всѣ меня бросили!..

Онъ потушился, но любопытство взяло верхъ надъ чувствомъ стыда, и онъ спросилъ опять:

— Что же тамъ было?

— Что, — отвѣтилъ я тономъ, не допускавшимъ сомнѣнйя, — разумеется, черти... А вы — трусы.

И, отмахнувшись отъ сконфуженнаго товарища, я полѣзъ на заборъ.

Черезъ четверть часа я спалъ уже глубокимъ сномъ, и во снѣ мнѣ видѣлись дѣйствительные черти, весело выскакивавшіе изъ чернаго люка. Валекъ гонялъ ихъ ивовымъ прутикомъ, а Маруся, весело сверкая глазками, смѣялась и хлопала въ ладоши.

V. Знакомство продолжается.

Съ этихъ поръ я весь былъ поглощенъ моимъ новымъ знакомствомъ. Вечеромъ, ложась въ постель, и утромъ, вставая, я только и думалъ о предстоящемъ визитѣ на гору. По улицамъ города я шатался теперь съ исключительною цѣлью — высмотрѣть, тутъ-ли находится вся компанія, которую Янушъ характеризовалъ словами „дурное общество“; и если Лавровскій валялся въ дужѣ, если Туркевичъ и Тыбурцій разглагольствовали передъ своими слушателями, а темныя личности шныряли по базару, я тотчасъ же бѣгомъ отправлялся черезъ болото, на гору, къ часовнѣ, предварительно наполнивъ карманы яблоками, которыя я могъ рвать въ саду безъ запрета, и лакомствами, которыя я сберегалъ всегда для своихъ новыхъ друзей.

Валекъ, вообще очень солидный и внушавшій мнѣ уваженіе

своими манерами взрослого человѣка, принималъ эти приношенія просто и по большей части откладывалъ куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякій разъ всплескивала ручонками, и глаза ея загорались огонькомъ неподдѣльнаго восторга; блѣдное лицо дѣвочки вспыхивало румянцемъ, она смѣялась, и этотъ смѣхъ нашей маленькой пріятельницы отдавался въ нашихъ сердцахъ, вознаграждая за конфеты, которыя мы жертвовали въ ея пользу.

Это было блѣдное, крошечное созданіе, напоминавшее цвѣтокъ, выросшій безъ лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неувѣренно ступая кривыми ножками и шатаясь, какъ былинка; руки ея были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шеѣ, какъ головка полевого колокольчика; глаза смотрѣли порой такъ не по-дѣтски грустно, и улыбка такъ напоминала мнѣ мою мать въ послѣдніе дни, когда она, бывало, сидѣла противъ открытаго окна и вѣтеръ шевелилъ ея бѣлокурые волосы, что мнѣ, при взглядѣ на это дѣтское личико, становилось самому грустно, и слезы подступали къ глазамъ.

Я невольно сравнивалъ ее съ моею сестрой; онѣ были въ одномъ возрастѣ, но моя Соня была кругла, какъ пышка, и упруга, какъ мячикъ. Она такъ рѣзво бѣгала, когда, бывало, разыграется, такъ звонко смѣялась, на ней всегда были такія красивыя платья, и въ темныя косы ей каждый день горничная вилетала алую ленту.

А моя маленькая пріятельница почти никогда не бѣгала и смѣялась очень рѣдко; когда-же смѣялась, то смѣхъ ея звучалъ, какъ самый маленькій серебряный колокольчикъ, котораго на десять шаговъ уже не слышно. Платье ея было грязно и старо, въ кофѣ не было лентъ, но волосы у нея были гораздо больше и роскошнѣе, чѣмъ у Сони, и Валека, къ моему удивленію, очень искусно умѣлъ заплетать ихъ, что и исполнялъ каждое утро.

Я былъ большой сорванецъ. „У этого малаго — говорили обо мнѣ старшіе, — руки и ноги налиты ртутью“, чему я и самъ вѣрилъ, хотя не представлялъ себѣ ясно, кто и какимъ образомъ произвелъ надо мной эту операцію. Въ первые же дни я внесъ свое оживленіе и въ общество моихъ новыхъ знакомыхъ. Едва-ли эхо старой „каплицы“ повторяло когда-нибудь такіе громкіе крики, какъ въ это время, когда я старался расшевелить и завлечь въ свои игры Валека и Марусю. Однако, это удавалось плохо. Валека серьезно смотрѣлъ на меня и на дѣвочку и разъ, когда я заставилъ ее бѣгать со мной взапуски, онъ сказалъ:

— Нѣтъ, она сейчасъ заплачетъ.

Дѣйствительно, когда я растормошилъ ее и заставилъ бѣжать, Маруся, слышавъ мои шаги за собой, вдругъ повернулась ко мнѣ, поднявъ ручонки надъ головой, точно для защиты, посмотрѣла на меня безпомощнымъ взглядомъ захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсѣмъ растерялся.

— Вотъ, видишь,—сказалъ Валекъ:—она не любитъ играть.

Онъ усадилъ ее на траву, нарвалъ цвѣтовъ и кинулъ ей; она перестала плакать и тихо перебирала растенія, что-то говорила, обращаясь къ золотистымъ лютикамъ, и подносила къ губамъ синіе колокольчики. Я тоже присмирѣлъ и легъ рядомъ съ Валекомъ около дѣвочки.

— Отчего она такая? — спросилъ я, наконецъ, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая? — переспросилъ Валекъ и затѣмъ сказалъ тономъ совершенно убѣжденнаго человѣка: — а это, видишь-ли, отъ сѣраго камня.

— Да-а, — повторила дѣвочка, точно слабое эхо, — это отъ сѣраго камня.

— Отъ какого сѣраго камня? — переспросилъ я, не понимая.

— Сѣрый камень высосать изъ нея жизнь, — пояснилъ опять Валекъ, по-прежнему смотря на небо. — Такъ говорить Тыбурцій... Тыбурцій хорошо знаетъ.

— Да-а, — опять повторила тихимъ эхо дѣвочка: — Тыбурцій все знаетъ.

Я ничего не понималъ въ этихъ загадочныхъ словахъ, которыя Валекъ повторялъ за Тыбурціемъ, однако аргументъ, что Тыбурцій все знаетъ, произвелъ и на меня свое дѣйствіе. Я приподнялся на локтѣ и взглянулъ на Марусю. Она сидѣла въ томъ-же положеніи, въ какомъ усадилъ ее Валекъ, и все такъ-же перебирала цвѣты; движенія ея тонкихъ рукъ были медленны; глаза выдѣлялись глубокою синевой на блѣдномъ лицѣ; длинныя рѣсницы были опущены. При взглядѣ на эту крохотную грустную фигурку мнѣ стало ясно, что въ словахъ Тыбурція, — хотя я и не понималъ ихъ значенія, — заключается горькая правда. Несомнѣнно, кто-то высасываетъ жизнь изъ этой странной дѣвочки, которая плачетъ тогда, когда другіе на ея мѣстѣ смѣются. Но какъ-же можетъ сдѣлать это сѣрый камень?

Это было для меня загадкой, страшнѣе всѣхъ призраковъ стараго замка. Какъ ни ужасны были турки, томившіеся подъ землею, какъ ни грозенъ старый графъ, усмирявшій ихъ въ бурныя ночи, но всѣ они отзывались старою сказкой. А здѣсь что-то невѣдомо-страшное было налицо. Что-то безформенное,

неумолимое, твердое и жестокое, какъ камень, склонялось надъ маленькою головкой, высасывая изъ нея румянецъ, блескъ глазъ и живость движеній. „Должно быть, это бываетъ по почамъ“, думалъ я, и чувство щемящаго до боли сожалѣнія сжимало мнѣ сердце.

Подъ вліяніемъ этого чувства я тоже умѣрилъ свою рѣзвость. Примѣняясь къ тихой солидности нашей дамы, оба мы съ Валекомъ, усадивъ ее гдѣ-нибудь на травѣ, собирали для нея цвѣты, разноцвѣтные камешки, ловили бабочекъ, иногда дѣлали изъ кирпичей ловушки для воробьевъ. Иногда же, растанувшись около нея на травѣ, смотрѣли въ небо, какъ плывутъ облака высоко надъ лохматою крышею старою „каплицы“, рассказывали Марусѣ сказки или бесѣдовали другъ съ другомъ.

Эти бесѣды съ каждымъ днемъ все больше закрѣпляли нашу дружбу съ Валекомъ, которая росла, несмотря на рѣзкую противоположность нашихъ характеровъ. Моей порывистой рѣзвости онъ противопоставлялъ грустную солидность и внушалъ мнѣ почтеніе своею авторитетностью и независимымъ тономъ, съ какимъ отзывался о старшихъ. Кромѣ того, онъ часто сообщалъ мнѣ много новаго, о чемъ я раньше и не думалъ. Слыша, какъ онъ отзывался о Тыбурціи, точно о товарищѣ, я спросилъ:

— Тыбурціи тебѣ отецъ?

— Должно быть, отецъ, — отвѣтилъ онъ задумчиво, какъ будто этотъ вопросъ не приходилъ ему въ голову.

— Онъ тебя любитъ?

— Да, любитъ, — сказала онъ уже гораздо увѣреннѣе. — Онъ постоянно обо мнѣ заботится и, знаешь, иногда онъ цѣлуетъ меня и плачетъ...

— И меня любитъ и тоже плачетъ, — прибавила Маруса съ выраженіемъ дѣтской гордости.

— А меня отецъ не любитъ, — сказалъ я грустно. — Онъ никогда не цѣловалъ меня... Онъ нехорошій.

— Неправда, неправда, — возразилъ Валекъ: — ты не понимаешь. Тыбурціи лучше знаетъ. Онъ говоритъ, что судья — самый лучший человекъ въ городѣ, и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отецъ, да еще поэтъ, котораго недавно посадили въ монастырь, да еврейскій раввинъ. Вотъ изъ-за нихъ троицхъ...

— Что изъ-за нихъ?

— Городъ изъ-за нихъ еще не провалился, — такъ говоритъ Тыбурціи, — потому что они еще за бѣдныхъ людей заступаются... А твой отецъ, знаешь... онъ засудилъ даже одного графа...

— Да, это правда... Графъ очень сердился, я слышалъ.

— Ну, вотъ видишь! А вѣдь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросилъ Валекъ, нѣсколько озадаченный... — Потому что графъ — не простой человекъ... Графъ дѣлаетъ, что хочетъ, и ѣздитъ въ каретѣ, и потомъ... у графа деньги: онъ далъ бы другому судѣ денегъ, и тотъ бы его не засудилъ, а засудилъ бы бѣднаго.

— Да, это правда. Я слышалъ, какъ графъ кричалъ у насъ въ квартирѣ: „я васъ всѣхъ могу купить и продать!“

— А судья что?

— А отецъ говоритъ ему: „подите отъ меня вонъ!“

— Ну, вотъ, вотъ! И Тыбурцій говорить, что онъ не боится прогнать богатаго, а когда къ нему пришла старая Иваниха съ костью, онъ велѣлъ принести ей стулъ. Вотъ онъ какой! Даже и Туркевичъ не дѣлалъ никогда подъ его окнами скандаловъ.

Это была правда: Туркевичъ, во время своихъ обличительныхъ экскурсій, всегда молча проходилъ мимо нашихъ оконъ, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валекъ указалъ мнѣ моего отца съ такой стороны, съ какой мнѣ никогда не приходило въ голову взглянуть на него: слова Валека задѣли въ моемъ сердцѣ струну сыновней гордости; мнѣ было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще отъ имени Тыбурція, который „все знаетъ“; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, дрогнула въ моемъ сердцѣ и нота щемящей любви, смѣшанной съ горькимъ сознаниемъ: никогда этотъ человекъ не любилъ и не полюбитъ меня такъ, какъ Тыбурцій любитъ своихъ дѣтей.

VI. Среди „сѣрыхъ камней“.

Прошло еще нѣсколько дней. Члены „дурного общества“ перестали являться въ городъ, и я напрасно шатался, скучая, по улицамъ, ожидая ихъ появленія, чтобы бѣжать на гору. Одинъ только „профессоръ“ прошелъ раза два своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурція не было видно. Я совсѣмъ соскучился, такъ какъ не видѣть Валека и Марусю стало уже для меня большимъ лишеніемъ. Но вотъ, когда я однажды шелъ съ опущенною головою по пыльной улицѣ, Валекъ вдругъ положилъ мнѣ на плечо руку.

— Отчего ты пересталъ къ намъ ходить? — спросилъ онъ.

— Я боялся... Вашихъ не видно въ городѣ.

— А-а... Я и не догадался сказать тебѣ: нашихъ нѣтъ, приходи... А я было думалъ совсѣмъ другое.

— А что?

— Я думалъ, тебѣ наскучило.

— Нѣтъ, нѣтъ... Я, братъ, сейчасъ побѣгу,—заторопился я,—даже и яблоки со мной.

При упоминаніи о яблокахъ Валець быстро повернулся ко мнѣ, какъ будто хотѣлъ что-то сказать, но не сказалъ ничего, а только посмотрѣлъ на меня страннымъ взглядомъ.

— Ничего, ничего,—отмахнулся онъ, видя, что я смотрю на него съ ожиданіемъ. — Ступай прямо на гору, а я тутъ зайду кое-куда,—дѣло есть. Я тебя догоню на дорогѣ.

Я пошелъ тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валець меня догонитъ; однако, я успѣлъ взойти на гору и подошелъ къ часовнѣ, а его все не было. Я остановился въ недоумѣніи: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, безъ малѣйшихъ признаковъ обитаемости, — только воробы чирикали на свободѣ, да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь къ южной стѣнѣ часовни, о чемъ-то тихо шептались густо-разросшеюся темной листвою.

Я оглянулся кругомъ. Куда же мнѣ теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я сталъ ходить между могилами, присматриваясь къ нимъ отъ нечего дѣлать и старался разобрать стертые надписи на обросшихъ мхомъ надгробныхъ камняхъ. Шатаясь такимъ образомъ отъ могилы къ могилѣ, я наткнулся на полуразрушенный просторный склепъ. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тутъ же. Дверь была заколочена. Изъ любопытства, я приставилъ къ стѣнѣ старый крестъ и, взобравшись по нему, заглянулъ внутрь. Гробница была пуста, только въ серединѣ пола была вдѣлана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зѣла темная пустота подземелья.

Пока я разсматривалъ гробницу, удивляясь странному назначенію окна, на гору вбѣжалъ запыхавшійся и усталый Валець. Въ рукахъ у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнулъ онъ, замѣтивъ меня: — ты вотъ гдѣ. Если бы Тыбуриій тебя здѣсь увидѣлъ, то-то бы разсердился! Ну, да теперь ужъ дѣлать нечего.. Я знаю, ты хлопецъ хороший и никому не расскажешь, какъ мы живемъ. Пойдемъ къ намъ!

— Гдѣ-же это, далеко?—спросилъ я.

— А вотъ увидишь. Ступай за мной.

Онъ раздвинулъ кусты жимолости и сирени и скрылся въ зелени подъ стѣнной часовни; я послѣдовалъ туда за нимъ и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадкѣ, кото-

рая совершенно скрывалась въ зелени. Между стволами черемухи я увидѣлъ въ землѣ довольно большое отверстіе съ земляными ступенями, ведущими внизъ. Валекъ спустился туда, приглашая меня за собой, и черезъ нѣсколько секундъ мы оба очутились въ темнотѣ, подъ зеленою. Взявъ мою руку, Валекъ повелъ меня по какому-то узкому, сырому коридору, и, круто повернувъ вправо, мы вдругъ вошли въ просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданнымъ зрѣлищемъ. Двѣ струи свѣта рѣзко лились сверху, выдѣляясь полосами на темномъ фонѣ подземелья; свѣтъ этотъ проходилъ въ два окна, одно изъ которыхъ я видѣлъ въ полу склена, другое, подалше, очевидно, было пристроено такимъ-же образомъ; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались отъ стѣнъ старыхъ гробницъ; они разливались въ сыромъ воздухѣ подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стѣны тоже были сложены изъ камня; большія широкія колонны массивно вздымались снизу и, раскинувъ во все стороны свои каменные дуги, крѣпко смыкались кверху сводчатымъ потолкомъ. На полу, въ освѣщенныхъ пространствахъ, сидѣли двѣ фигуры. Старый „профессоръ“, склонивъ голову и что-то бормоча про себя, ковырялъ иголкой въ своихъ лохмотьяхъ. Онъ не поднималъ даже головы, когда мы вошли въ подземелье, и если бы не легкія движенія руки, то эту сѣрую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяніе.

Подъ другимъ окномъ сидѣла съ кучкой цвѣтовъ, перебирая ихъ, по своему обыкновенію, Маруся. Струя свѣта падала на ея бѣлокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она какъ-то слабо выдѣлялась на фонѣ сѣраго камня страннымъ и маленькимъ туманнымъ пятнышкомъ, которое, казалось, вотъ-вотъ расплывется и исчезнетъ. Когда тамъ, вверху, надъ землей, пробѣгали облака, затѣняя солнечный свѣтъ, стѣны подземелья тонули совсѣмъ въ темнотѣ, какъ будто раздвигались, уходили куда-то, а потомъ опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крѣпкими объятіями надъ крохотною фигуркой дѣвочки. Я поневолѣ вспомнилъ слова Валека о „сыромъ камнѣ“, высасывавшемъ изъ Маруси ея веселье, и чувство суевѣрнаго страха закралось въ мое сердце; мнѣ казалось, что я ощущаю на ней и на себѣ невидимый каменный взглядъ, пристальный и жадный. Мнѣ казалось, что это — подземелье чутко сторожитъ свою жертву.

— Валець!—тихо обрадовалась Маруся, увидѣвъ брата.

Когда-же она замѣтила меня, въ ея глазахъ блеснула живая искорка.

Я отдалъ ей яблоки, а Валець, разломивъ булку, часть подаль ей, а другую снесъ „профессору“. Несчастный ученый равнодушно взялъ это приношеніе и началъ жевать, не отрываясь отъ своего занятія. Я переминался и ежился, чувствуя себя какъ будто связаннымъ подъ гнетущими взглядами сѣраго камня.

— Уйдемъ... уйдемъ отсюда,—дернулъ я Валека.—Уведи ее...

— Пойдемъ, Маруся, навѣрхъ,—позвалъ Валець сестру.

И мы втроемъ поднялись изъ подземелья, но и здѣсь, наверху, меня не оставляло ощущеніе какой-то напряженной неловкости. Валець былъ грустнѣе и молчаливѣе обыкновеннаго.

— Ты въ городѣ остался затѣмъ, чтобы купить булокъ?—спросилъ я у него.

— Купить?—усмѣхнулся Валець. — Откуда-же у меня деньги?

— Такъ какъ-же? Ты выпросилъ?

— Да, выпросилъ!.. Кто-же мнѣ дастъ?.. Нѣтъ, братъ, я стянулъ ихъ съ лотка еврейки Суры на базарѣ! Она не замѣтила.

Онъ сказалъ это обыкновеннымъ тономъ, лежа враспяжку съ заложенными подъ голову руками. Я приподнялся на локтѣхъ и посмотрѣлъ на него.

— Ты, значитъ, укралъ?..

— Ну, да!

Я опять откинулся на траву, и съ минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо,—проговорилъ я затѣмъ въ грустномъ раздумьи.

— Наши всё ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — съ жалобнымъ престодушіемъ повторила дѣвочка.

Я не зналъ еще, что такое голодь, но при послѣднихъ словахъ дѣвочки у меня что-то повернулось въ груди, и я посмотрѣлъ на своихъ друзей, точно увидалъ ихъ впервые. Валець непрежнему лежалъ на травѣ и задумчиво слѣдилъ за парившимъ въ небѣ ястребомъ. Теперь онъ не казался уже мнѣ такимъ авторитетнымъ, а при взглядѣ на Марусю, державшую обѣими руками кусокъ булки, у меня заняло сердце.

— Почему-же,—спросилъ я съ усиліемъ,—почему ты не сказалъ объ этомъ мнѣ?

— Я и хотѣлъ сказать, а потомъ раздумалъ; вѣдь у тебя своихъ денегъ нѣтъ.

— Ну, такъ чтѣ-же? Я взялъ бы булокъ изъ дому.

— Какъ, потихоньку?..

— Д-да.

— Значить, и ты бы тоже укралъ.

— Я... у своего отца.

— Это еще хуже! — съ увѣренностью сказалъ Валекъ. — Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, такъ я попросилъ бы... Миѣ бы дали.

— Ну, можетъ быть, и дали бы одинъ разъ, — гдѣ-же за-
настись на всѣхъ нищихъ?

— А вы развѣ... нищѣ? — спросилъ я улавнившимъ голосомъ.

— Нищѣ! — угрюмо отрѣзалъ Валекъ.

Я замолчалъ и черезъ нѣсколько минутъ сталъ прощаться.

— Ты ужь уходишь? — спросилъ Валекъ.

— Да, ухожу.

Я уходилъ потому, что не могъ уже въ этотъ день играть съ моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая дѣтская привязанность моя какъ-то замутилась... Хотя любовь моя къ Валеку и Марусѣ не стала слабѣе, но къ ней примѣшалась острая струя сожалѣнія, доходившая до сердечной боли. Дома я рано легъ въ постель, потому что не зналъ, куда уложить новое болѣзненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись въ подушку, я горько плакалъ, пока крѣпкій сонъ не прогналъ своимъ вѣяніемъ моего глубокаго горя.

VII. На сцену является панъ Тыбурцій.

— Здравствуй! А ужь я думалъ, ты не придешь болѣе, — такъ встрѣтилъ меня Валекъ, когда я на слѣдующій день опять явился на гору.

Я понялъ, почему онъ сказалъ это.

— Нѣтъ, я... я всегда буду ходить къ вамъ, — отвѣтилъ я рѣшительно, чтобы разъ навсегда покончить съ этимъ вопросомъ.

Валекъ замѣтно повеселѣлъ, и оба мы почувствовали себя свободнѣе.

— Ну, чтѣ? Гдѣ-же ваши? — спросилъ я. — Все еще не вернулись?

— Нѣтъ еще. Чортъ ихъ знаетъ, гдѣ они пропадаютъ.

И мы весело принялись за сооруженіе хитроумной ловушки для воробьевъ, для которой я принесъ съ собой питокъ. Питку мы дали въ руку Марусѣ, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерномъ, безвечно засакакивалъ въ за-

падию, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затѣмъ отпускали.

Между тѣмъ около полудня небо насунилось, надвинулась темная туча и, подѣ веселые раскаты грома, зашумѣлъ ливень. Сначала мнѣ очень не хотѣлось спускаться въ подземелье, но потомъ, подумавъ, что вѣдь Валеку и Марусю живутъ тамъ постоянно, я побѣдилъ непріятное ощущеніе и пошелъ туда вмѣстѣ съ ними. Въ подземельѣ было темно и тихо, но сверху слышно было, какъ перекатывался гудкій грохотъ грозы, точно кто ѣздилъ тамъ въ громадной телѣгѣ но гигантски-сложенной мостовой. Черезъ нѣсколько минутъ я освоился съ подземельемъ, и мы весело прислушивались, какъ земля принимала широкіе потоки ливня; гулъ, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживленіе, требовавшее исхода.

— Давайте играть въ жмурки,—предложилъ я.

Мнѣ завязали глаза; Маруся звенѣла слабыми переливами своего жалкаго смѣха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я наткнулся на чью-то мокрую фигуру и въ ту же минуту почувствовалъ, что кто-то схватилъ меня за ногу. Сильная рука приподняла меня съ полу, и я повисъ въ воздухѣ внизъ головой. Повязка съ глазъ моихъ спала.

Тыбурцій, мокрый и сердитый, страшнѣе еще оттого, что я глядѣлъ на него снизу, держалъ меня за ноги и дико вращалъ зрачками.

— Это чтò еще, а?— строго спрашивалъ онъ, глядя на Валека.— Вы тутъ, я вижу, весело проводите время... Завели пріятную компанію.

— Пустите меня!—сказалъ я, удивляясь, что и въ такомъ необычномъ положеніи я всетаки могу говорить, но рука пана Тыбурція только еще сильнѣе сжала мою ногу.

— Responde, отвѣтствуй!— грозно обратился онъ опять къ Валеку, который въ этомъ затруднительномъ случаѣ стоялъ, зажавъ въ ротъ два пальца, какъ бы въ доказательство того, что ему отвѣчать рѣшительно нечего.

Я замѣтилъ только, что онъ сочувственнымъ окомъ и съ большимъ участіемъ слѣдилъ за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, въ пространствѣ.

Панъ Тыбурцій приподнялъ меня и взглянулъ въ лицо.

— Эге-ге! Панъ судья, если меня не обманываютъ глаза... Зачѣмъ это изволили пожаловать?

— Пусти!—проговорилъ я упрямо.—Сейчасъ отпусти!—и при этомъ я сдѣлалъ инстинктивное движеніе, какъ бы соби-

раясь топнуть ногой, но отъ этого весь только забился въ воздухъ.

Тыбурцій захохоталъ.

— Ого-го! Панъ судья изволятъ сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Его—Тыбурцій sum. Я вотъ повѣшу тебя надъ огонькомъ и зажарю, какъ поросенка.

Я начиналъ думать, что, дѣйствительно, такова моя неизбѣжная участь, тѣмъ болѣе, что отчаянная фигура Валека какъ бы подтверждала мысль о возможности такого печальнаго исхода. Къ счастью, на выручку подоспѣла Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся!—ободрила она меня, подойдя къ самымъ ногамъ Тыбурціа.—Онъ никогда не жарить мальчиковъ на огнѣ... Это неправда!

Тыбурцій быстрымъ движеніемъ повернулъ меня и поставилъ на ноги; при этомъ я чуть не упалъ, такъ какъ у меня закружилась голова, но онъ поддержалъ меня рукой и затѣмъ, сѣвъ на деревянный обрубокъ, поставилъ меня между колѣнъ.

— И какъ это ты сюда попалъ?—продолжалъ онъ допрашивать.—Давно-ли?.. Говори, ты!—обратился онъ къ Валеку, такъ какъ я ничего не отвѣтилъ.

— Давно,—отвѣтилъ тотъ.

— А какъ давно?

— Дней шесть.

Казалось, этотъ отвѣтъ доставилъ пану Тыбурцію нѣкоторое удовольствіе.

— Ого, шесть дней!—заговорилъ онъ, поворачивая меня лицомъ къ себѣ.—Шесть дней много времени. И ты до сихъ поръ никому еще не разболталъ, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому,—повторилъ я.

— Вепе, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и впередъ. Впрочемъ, я и всегда считалъ тебя порядочнымъ малымъ, встрѣчая на улицахъ. Настоящій „уличникъ“, хоть и судья... А пасъ судить будешь, скажи-ка?

Онъ говорилъ довольно добродушно, но я всетаки чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ и потому отвѣтилъ довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я—Вася.

— Одно другому не мѣшаетъ, и Вася тоже можетъ быть судьей,—не теперь, такъ послѣ... Это ужъ, братъ, такъ ведется изстари. Вотъ видишь-ли: я—Тыбурцій, а онъ—Валекъ. Я нищій, и онъ—нищій. Я, если ужъ говорить откровенно,

краду, и онъ будетъ красть. А твой отецъ меня судить,— ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вотъ его!

— Не буду судить Валека,—возразилъ я угрюмо.—Не правда!

— Онъ не будетъ,—вступилась и Маруся, съ полнымъ убѣжденіемъ отстраняя отъ меня ужасное подозрѣніе.

Дѣвочка довѣрчиво прижалась къ ногамъ этого урода, а онъ ласково гладилъ жилистой рукой ея бѣлокурые волосы.

— Ну, этого ты впередъ не говори,—сказалъ странный человѣкъ задумчиво, обращаясь ко мнѣ такимъ тономъ, точно онъ говорилъ со взрослымъ.—Не говори, амісе!.. Эта исторія ведется изстари, всякому свое, *suum cuique*; каждый идетъ своей дорожкой, и кто знаетъ... можетъ быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла черезъ нану. Для тебя хорошо, амісе, потому что имѣть въ груди кусочекъ человѣческаго сердца, вмѣсто холоднаго камня,—понимаешь?..

Я не понималъ ничего, но все-же впился глазами въ лицо страннаго человѣка; глаза пана Тыбурція пристально смотрѣли въ мои, и въ нихъ смутно мерцало что-то, какъ будто проникавшее въ мою душу.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малецъ... Поэтому скажу тебѣ кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурція: если когда-нибудь придется тебѣ судить вотъ его, то вспомни, что еще въ то время, когда вы оба были дураками и играли вмѣстѣ,—что уже тогда ты шелъ по дорогѣ, по которой ходятъ въ штанахъ и съ хорошимъ запасомъ провизіи, а онъ бѣжалъ по своей оборванцемъ-безштаникомъ и съ пустымъ брюхомъ... Впрочемъ, пока еще это случится,—заговорилъ онъ, рѣзко измѣнивъ тонъ,—запомни еще хорошенько вотъ что: если ты проболтаешься своему судѣ или хоть птицѣ, которая пролетитъ мимо тебя въ полѣ, о томъ, что ты здѣсь видѣлъ, то не будь я Тыбурцій Драбъ, если я тебя не повѣшу вотъ въ этомъ каминѣ за ноги и не сдѣлаю изъ тебя копченаго окорока. Это ты, надѣюсь, понимаешь?

— Я не скажу никому... я... Можно мнѣ опять прийти?

— Приходи, разрѣшаю... *sub conditionem*... Впрочемъ, ты еще глупъ и латыни не понимаешь. Я уже сказалъ тебѣ насчетъ окорока. Помни!..

Онъ отпустилъ меня и самъ растянулся съ усталымъ видомъ на длинной лавкѣ, стоявшей около стѣнки.

— Возьми вонъ тамъ,—указалъ онъ Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставилъ у порога,—да разведи огонь. Мы будемъ сегодня варить обѣдъ.

Теперь это уже было не отъ этого человѣка, что за минуту

пугалъ меня, вращая зрачками, и не гаеръ, потѣшавшій публику изъ-за подачекъ. Онъ распорядился, какъ хозяинъ и глава семейства, вернувшійся съ работы и отдающій приказанія домочадцамъ.

Онъ казался сильно уставшимъ. Платье его было мокро отъ дожди, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигурѣ видѣлось тяжелое утомленіе. Я въ первый разъ видѣлъ это выраженіе на лицѣ веселаго оратора городскихъ кабаковъ, и опять этотъ взглядъ за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшаго послѣ тяжелой роли, которую онъ разыгрывалъ на житейской сценѣ, какъ будто влилъ что-то жуткое въ мое сердце. Это было еще одно изъ тѣхъ откровеній, какими такъ щедро надѣляла меня старая униатская „каплица“.

Мы съ Валекомъ живо принялись за работу. Валець зажегъ лучину, и мы отправились съ нимъ въ темный коридоръ, примыкавшій къ подземелью. Тамъ, въ углу были свалены куски полуистлѣвшаго дерева, обломки крестовъ, старыя доски; изъ этого запаса мы взяли нѣсколько кусковъ и, поставивъ ихъ въ каминъ, развели огонекъ. Затѣмъ мнѣ пришлось отступить, и Валець одинъ умѣлыми руками принялся за странню. Черезъ полчаса на каминѣ закипало уже въ горшкѣ какое-то варево, а въ ожиданіи, пока оно поспѣетъ, Валець поставилъ на трехногій, кое-какъ сколоченный столикъ сковороду, на которой дымились куски жаренаго мяса.

Тыбурцій поднялся.

— Готово?—сказалъ онъ.—Ну, и отлично. Садись, малый, ешь нами,—ты заработалъ свой обѣдъ... Domine presceptor!—крикнулъ онъ за спиной, обращаясь къ „профессору“:—брось иголку, садись за столъ.

— Сейчасъ,—сказалъ тихимъ голосомъ „профессоръ“, удививъ меня этимъ сознательнымъ отвѣтомъ.

Впрочемъ, искра сознанія, вызванная голосомъ Тыбурція, не проявлялась ничѣмъ больше. Старикъ воткнулъ иголку въ лохмотья и равнодушно, съ тусклымъ взглядомъ, усѣлся на одинъ изъ деревянныхъ обрубовъ, замѣнявшихъ въ подземельи стулья.

Марусю Тыбурцій держалъ на рукахъ. Она и Валець ѣли съ жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для нихъ невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурцій ѣлъ съ разстановкой и, повинувшись, повидимому, неодолимой потребности говорить, то и дѣло обращался къ „профессору“ со своей бесѣдой. Бѣдный ученый проявлялъ при этомъ удивительное вниманіе

и, наклонивъ голову, выслушивалъ все съ такимъ разумнымъ видомъ, какъ будто онъ понималъ каждое слово. Иногда даже онъ выражалъ свое согласіе кивками головы и тихимъ мычаніемъ.

— Вотъ, domine, какъ немного нужно человѣку,—говорилъ Тыбурцій.—Не правда-ли? Вотъ мы и сыты, и теперь намъ остается только поблагодарить Бога и клеванскаго капеллана...

— Ага, ага!—поддакивалъ „профессоръ“.

— Ты это, domine, поддакиваешь, а самъ не понимаешь, при чемъ тутъ клеванскій капелланъ,—я вѣдь тебя знаю... А между тѣмъ, не будь клеванскаго капеллана, у насъ не было бы жаркаго и еще кое-чего...

— Это вамъ далъ клеванскій ксендзь?—спросилъ я, вспоминая вдругъ круглое добродушное лицо клеванскаго „пробоца“, бываваго у отца.

— У этого малаго, domine, любознательный умъ,—продолжалъ Тыбурцій, попрежнему обращаясь къ „профессору“.—Дѣйствительно, его священство далъ намъ все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть можетъ, не только его лѣвая рука не знала, что даетъ правая, но и обѣ руки не имѣли объ этомъ ни малѣйшаго понятія... Кушай, domine, кушай!

Изъ этой странной и запутанной рѣчи я понималъ только, что способъ приобрѣтенія былъ не совсѣмъ обыкновенный, и не удержался, чтобъ еще разъ не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

— Малый не лишень проникательности,—продолжалъ опять Тыбурцій по-прежнему:—жалъ только, что онъ не видѣлъ капеллана: у капеллана брюхо, какъ настоящая сороковая бочка, и, стало быть, обьяденіе ему очень вредно. Между тѣмъ, мы все, здѣсь находящіеся, страдаемъ скорѣе излишнею худобой, а потому нѣкоторое количество провизіи не можемъ считать для себя лишнимъ... Такъ-ли я говорю, domine?

— Ага, ага!—задумчиво промышалъ опять „профессоръ“.

— Ну, вотъ! На этотъ разъ вы выразили свое мнѣніе очень удачно, а то я уже начиналъ думать, что у этого малаго умъ бойчѣе, чѣмъ у нѣкоторыхъ ученыхъ... Возвращаясь, однако, къ капеллану, я думаю, что добрый урокъ стоить платы, и въ такомъ случаѣ мы можемъ сказать, что купили у него провизію: если онъ послѣ этого сдѣлаетъ въ амбарѣ двери покрѣпче, то вотъ мы и квиты... Впрочемъ,—повернулся онъ вдругъ ко мнѣ,—ты все-таки еще глушь и многого не понимаешь. А вотъ она понимаетъ: скажи, моя Маруся, хорошо-ли я сдѣлалъ, что принесъ тебѣ жаркое?

— Хорошо! — отвѣтила дѣвочка, слегка сверкнувъ бирюзовыми глазами. — Маня была голодна.

Подъ вечеръ этого дня я съ отуманенною головою задумчиво возвращался къ себѣ. Странныя рѣчи Тыбурція ни на одну минуту не поколебали во мнѣ убѣжденія, что „воровать нехорошо“. Напротивъ, болѣзненное ощущеніе, которое и испытывалъ раньше, еще усилилось. Нищѣ... воры... у нихъ нѣтъ дома!.. Отъ окружающихъ я давно уже зналъ, что со веѣмъ этимъ соединяется презрѣніе. Я даже чувствовалъ, какъ изъ глубины души во мнѣ подымается вся горечь презрѣнія, но я инстинктивно защищалъ мою привязанность отъ этой горькой примѣси, не давая имъ слиться. Въ результатъ смутнаго душевнаго процесса—сожалѣніе къ Валеку и Марусѣ усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула „нехорошо воровать“ осталась. Но, когда воображеніе рисовало мнѣ оживленное личико моей пріятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ея радостью и радостью Валека.

Въ темной аллеѣ сада я нечаянно наткнулся на отца. Онъ, по обыкновенію, угрюмо ходилъ взадъ и впередъ съ обычнымъ страннымъ, какъ будто отуманеннымъ взглядомъ. Когда я очутился подлѣ него, онъ взялъ меня за плечо.

— Откуда это?

— Я... гулялъ...

Онъ внимательно посмотрѣлъ на меня, хотѣлъ что-то сказать, но потомъ взглядъ его опять затуманился, и, махнувъ рукой, онъ зашагалъ по аллеѣ. Мнѣ кажется, что я и тогда понималъ смыслъ этого жеста:

— А, все равно... Ея ужъ нѣтъ!..

Я солгалъ чуть-ли не первый разъ въ жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тѣмъ болѣе. Теперь я носилъ въ себѣ цѣлый міръ смутныхъ вопросовъ и ощущеній. Могъ-ли онъ понять меня? Могъ-ли я въ чемъ-либо признаться ему, не измѣняя своимъ друзьямъ? Я дрожалъ при мысли, что онъ узнаетъ когда-либо о моемъ знакомствѣ съ „дурнымъ обществомъ“, но измѣнить этому обществу, измѣнить Валеку и Марусѣ—я былъ не въ состояніи. Къ тому же здѣсь было тоже нѣчто вродѣ „принципа“: если бъ я измѣнилъ имъ, нарушивъ данное слово, то не могъ бы при встрѣчѣ поднять на нихъ глазъ отъ стыда.

VIII. Осенью.

Близилась осень. Въ полѣ шла жатва, листья на деревьяхъ желтели. вмѣстѣ съ тѣмъ наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худѣла; лицо ея все блѣднѣло, глаза потемнѣли, стали больше, вѣки приподнимались съ трудомъ.

Тенерь я могъ приходить на гору, не стѣсняясь тѣмъ, что члены „дурного общества“ бывали дома. Я совершенно свыкся съ ними и сталъ на горѣ своимъ человѣкомъ.

— Ты славный хлопецъ и когда-нибудь тоже будешь генераломъ,—говаривалъ Туркевичъ.

Темныя молодые личности дѣлали мнѣ изъ виза дуки и самострѣлы; высокій штыкъ-юнкеръ съ краснымъ носомъ вертѣлъ меня на воздухъ, какъ щепку, приучая къ гимнастикѣ. Только „профессоръ“ по-всегдашнему былъ погруженъ въ какія-то глубокия соображенія, а Лавровскій въ трезвомъ состояннн вообще избѣгалъ людскаго общества и жаждал по угламъ.

Всѣ эти люди помѣщались отдѣльно отъ Тыбурціи, который занималъ „съ семействомъ“ описанное выше подземелье. Остальные члены „дурного общества“ жили въ такомъ же подземельи, побольше, которое отдѣлялось отъ перваго двумя узкими коридорами. Свѣту здѣсь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стѣнъ кое-гдѣ стояли деревянные лавки и обрубки, замѣнявшіе стулья. Скамейки были завалены какими-то дохмотьями, замѣнявшими постели. Въ серединѣ, въ освѣщенномъ мѣстѣ, стоялъ верстакъ, на которомъ по временамъ панъ Тыбурцій или кто-либо изъ темныхъ личностей работали столярныя подѣлки; былъ среди „дурного общества“ и сапожникъ, и корзинщикъ, но, кромѣ Тыбурціи, всѣ остальные ремесленники были или дилетанты, или же какіе-нибудь заморыши, или люди, у которыхъ, какъ я замѣчалъ, слишкомъ сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успѣшно. Полъ этого подземелья былъ закиданъ стружками и всякими обрѣзками; всюду видѣлись грязь и беспорядокъ, хотя по временамъ Тыбурцій за это сильно ругался и заставлялъ кого-нибудь изъ жильцовъ подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жильѣ. Я не часто заходилъ сюда, такъ какъ не могъ привыкнуть къ затхлому воздуху, и, кромѣ того, въ трезвыя минуты здѣсь имѣлъ пребываніе мрачный Лавровскій. Онъ обыкновенно или сидѣлъ на лавочкѣ, спрятавъ лицо въ ладони и раскидавъ свои длинные волосы, или ходилъ изъ угла въ уголъ быстрыми шагами. Отъ этой фигуры гѣдало тѣмъ-то тяжелымъ и мрачнымъ, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожителн-бѣдняги давно уже свыклись съ его странностями. Генералъ Туркевичъ заставлялъ его иногда переписывать на-бѣло сочиняемыя самимъ Туркевичемъ прошенія и клеузы для обывателей или же шуточные пасквили,

которые потомъ развѣшивалъ на фонарныхъ столбахъ. Лавровскій покорно садился за столикъ въ комнатѣ Тыбурція и по цѣлымъ часамъ выводилъ прекраснымъ почеркомъ ровныя строки. Раза два мнѣ довелось видѣть, какъ его, безчувственно-пьянаго, тащили сверху въ подземелье. Голова несчастнаго, свѣсившись, болталась изъ стороны въ сторону, ноги безсильно тащились и стучали по каменнымъ ступенькамъ, на лицѣ видѣлось выраженіе страданія, по щекамъ текли слезы. Мы съ Марусей, крѣпко прижавшись другъ къ другу, смотрѣли на эту сцену изъ дальняго угла; но Валекъ совершенно свободно шнырялъ между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровскаго.

Все, что на улицахъ меня забавляло и интересовало въ этихъ людяхъ, какъ балаганное представленіе,—здѣсь, за кулисами, являлось въ своемъ настоящемъ неприкрашенномъ видѣ и тяжело угнетало дѣтское сердце.

Тыбурцій пользовался здѣсь непререкаемымъ авторитетомъ. Онъ открылъ эти подземелья; онъ здѣсь распоряжался, и все его приказанія исполнялись. Вѣроятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо изъ этихъ людей, несомнѣнно потерявшихъ человѣческой обликъ, обратился ко мнѣ съ какимъ-нибудь дурнымъ предложеніемъ. Теперь, умудренный прозаическимъ опытомъ жизни, я знаю, конечно, что тамъ былъ мелкій развратъ, грошовые пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встаютъ въ моей памяти, затянутые дымкой прошедшаго, я вижу только черты тяжелаго трагизма, глубокаго горя и нужды.

Дѣтство, юность—это великіе источники идеализма!

Осень все больше вступала въ свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули въ туманномъ сумракѣ; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразнымъ и грустнымъ гуломъ въ подземельяхъ.

Мнѣ стоило много труда урываться изъ дому въ такую погоду; впрочемъ, я только старался уйти незамѣченнымъ; когда же возвращался домой весь вымокшій, то самъ развѣшивалъ платье противъ камина и смиренно ложился въ постель, философски отмачиваясь подъ цѣлымъ градомъ упрѣковъ, которые лились изъ устъ нянекъ и сдужанокъ.

Каждый разъ, придя къ своимъ друзьямъ, я замѣчалъ, что Маруса все больше хирѣетъ. Теперь она совѣмъ уже не выходила на воздухъ, и сѣрый камень—темное, молчаливое чудовище подземелья—продолжалъ безъ перерывовъ свою ужасную работу, высасывая жизнь изъ маленькаго тѣльца. Дѣвочка теперь большую часть времени проводила въ постели, и мы

съ Валекомъ истощали всё усилія, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихіе переливы ея слабаго смѣха.

Теперь, когда я окончательно скился съ „дурнымъ обществомъ“, грустная улыбка Маруси стала мнѣ почти такъ-же дорога, какъ улыбка сестры; но тутъ никто не ставилъ мнѣ вѣчно на видъ мою испорченность, тутъ не было ворчливой няньки, тутъ я былъ нуженъ,—и чувствовалъ, что каждый разъ мое появленіе вызываетъ румянецъ оживленія на щекахъ дѣвочки. Валекъ обнималъ меня, какъ брата, и даже Тыбурцій по временамъ смотрѣлъ на насъ троихъ какими-то странными глазами, въ которыхъ что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; съ него сбѣжали послѣднія тучи, и надъ просыхающей землей, въ послѣдній разъ передъ наступленіемъ зимы, засіяли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверхъ, и здѣсь она какъ будто оживала; дѣвочка смотрѣла вокругъ широко раскрытыми глазами, на щекахъ ея загорался румянецъ; казалось, что вѣтеръ, обдававшій ее своими свѣжими взмахами, возвращалъ ей частицы жизни, похищенные сѣрыми камнями подземелья. Но это продолжалось такъ не долго...

Между тѣмъ надъ моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновенію, утромъ проходилъ по аллеямъ сада, я увидѣлъ въ одной изъ нихъ отца, а рядомъ стараго Януша изъ замка. Старикъ подобострастно кланялся и что-то говорилъ, а отецъ стоялъ съ угрюмымъ видомъ, и на лбу его рѣзко обозначалась складка нетерпѣливаго гнѣва. Наконецъ, онъ протянулъ руку, какъ бы отстраняя Януша съ своей дороги, и сказалъ:

— Уходите! Вы просто старый сплетникъ!

Старикъ какъ-то заморгалъ и, держа шапку въ рукахъ, опять забѣжалъ впередъ и загородилъ отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гнѣвомъ. Янушъ говорилъ тихо, и словъ его мнѣ не было слышно, зато отрывочныя фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

— Не вѣрю ни одному слову... Что вамъ надо отъ этихъ людей? Гдѣ доказательства?... Словесныхъ доносовъ я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! это ужъ мое дѣло... Не желаю и слушать.

Наконецъ, онъ такъ рѣшительно отстранилъ Януша, что тотъ не посмѣлъ болѣе надѣяться ему; отецъ повернулъ въ боковую аллею, а я побѣжалъ къ калиткѣ.

Я сильно недолюбливалъ стараго филина изъ замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствіемъ. Я понялъ, что

подслушанный мною разговор относился къ моимъ друзьямъ и, быть можетъ, также ко мнѣ.

Тыбурцій, которому я разсказалъ объ этомъ случаѣ, скорчилъ ужасную гримасу:

— У-уфъ, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гѣзна.

— Отецъ его прогналъ,—замѣтилъ я, въ видѣ утѣшенія.

— Твой отецъ, малый, самый лучший изъ всѣхъ судей, начиная отъ царя Соломона... Однако, знаешь ли ты, что такое *cursiculum vitae*? Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный списокъ знаешь? Ну, вотъ видишь ли: *cursiculum vitae*—это есть формулярный списокъ человѣка, не служившаго въ уѣздномъ судѣ... И если только старый сычъ кое-что пронюхалъ и сможетъ доставить твоему отцу мой списокъ, то... ахъ, клянусь Богородицей, не желалъ бы я попасть къ судѣ въ ланы!..

— Развѣ онъ... злой?—спросилъ я, вспомнивъ отзывы Валека.

— Нѣтъ, нѣтъ, малый! Храни тебя Богъ подумалъ это объ отцѣ. У твоего отца есть сердце; онъ знаетъ много... Быть можетъ, онъ уже знаетъ все, что можетъ сказать ему Янушъ, но онъ молчитъ; онъ не считаетъ нужнымъ травить стараго беззубаго звѣря въ его послѣдней берлогѣ... Но, малый, какъ бы тебѣ объяснить это? Твой отецъ служитъ господину, котораго имя—законъ. У него есть глаза и сердце только до тѣхъ поръ, пока законъ спитъ себѣ на полкахъ; когда-же этотъ господинъ сойдетъ оттуда и скажетъ твоему отцу: „А ну-ка, судья, не взяться-ли намъ за Тыбурція Драба, или какъ тамъ его зовутъ?“—съ этого момента судья тотчасъ запираетъ свое сердце на ключъ, и тогда у судьи такіи твердыя ланы, что скорѣе міръ повернется въ другую сторону, чѣмъ панъ Тыбурцій вывернется изъ его рукъ... Понимаешь ты, малый?.. И за это я и всѣ еще больше уважаемъ твоего отца, потому что онъ вѣрный слуга своего господина, а такіе люди рѣдки. Будь у закона всѣ такіе слуги, онъ могъ бы спать себѣ спокойно на своихъ полкахъ и никогда не просыпаться... Вся бѣда моя въ томъ, что у меня съ закономъ вышла когда-то, давно уже, нѣкоторая сусниция... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ахъ, малый, очень это была крупная ссора!

Съ этими словами Тыбурцій всталъ, взявъ на руки Марусю и, отойдя съ нею въ дальній уголъ, сталъ цѣловать ее, прижимаясь своею безобразной головой къ ея малевъкой груди. А я остался на мѣстѣ и долго стоялъ въ одномъ положеніи, подъ впечатлѣніемъ странныхъ рѣчей страннаго человѣка. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично

схватили сущность того, что говорилъ объ отцѣ Тыбурцій, и фигура отца въ моемъ представленіи еще выросла, облеклась ореломъ грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ усиливалось и другое, горькое чувство...

„Вотъ онъ какой,—думалось мнѣ:—но все-же онъ меня не любитъ“.

IX. К у к л а.

Ясные дни миновали, и Марусѣ опять стало хуже. На всѣ наши ухищренія, съ цѣлью занять ее, она смотрѣла равнодушно своими большими, потемнѣвшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ея смѣха. Я сталъ носить въ подземелье свои игрушки, но и онѣ развлекали дѣвочку только на короткое время. Тогда я рѣшился обратиться къ своей сестрѣ Сонѣ.

У Сони была большая кукла, съ ярко раскрашеннымъ лицомъ и роскошными льняными волосами, подарокъ покойной матери. На эту куклу я возлагалъ большія надежды и потому, отозвавъ сестру въ боковую аллею сада, попросилъ дать мнѣ ее на время. Я такъ убѣдительно просилъ ее объ этомъ, такъ живо описалъ ей бѣдную больную дѣвочку, у которой никогда не было своихъ игрушекъ, что Соня, которая сначала только прижимала куклу къ себѣ, отдала мнѣ ее и обѣщала въ теченіе двухъ-трехъ дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о куклѣ.

Дѣйствіе этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло всѣ мои ожиданія. Маруся, которая увядала, какъ цвѣтокъ осенью, казалось, вдругъ опять ожила. Она такъ крѣпко меня обнимала, такъ звонко смѣялась, разговаривая со своею повою знакомой... Маленькая кукла сдѣлала почти чудо: Маруся, давно уже не сходявшая съ постели, стала ходить, води за собой свою бѣлокурую дочку, и по временамъ даже бѣгала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мнѣ эта кукла доставила очень много тревожныхъ минутъ. Прежде всего, когда я несъ ее за пазухой, направляясь съ нею на гору, въ дорогѣ мнѣ попался старый Янушъ, который долго провожалъ меня глазами и качалъ головой. Потомъ, дни черезъ два, старушка-няня замѣтила пропажу и стала соваться по угламъ, вездѣ разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными увѣреніями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумѣніе служанокъ и возбуждала подозрѣніе, что тутъ не простая пропажа. Отецъ ничего еще не зналъ, но къ нему опять приходилъ Янушъ и былъ прогнанъ

на этотъ разъ съ еще бѣльшимъ гнѣвомъ; однако въ тотъ же день отецъ остановилъ меня на пути къ садовой калиткѣ и велѣлъ остаться дома. На слѣдующій день повторилось тоже, и только черезъ четыре дня я всталъ рано утромъ и махнулъ черезъ заборъ, пока отецъ еще спалъ.

На горѣ дѣла опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ея горѣло страннымъ румянцемъ, бѣлокурые волосы раскинулись по подушкѣ; она никого не узнавала. Рядомъ съ ней лежала злополучная кукла, съ розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщилъ Валеку свои опасенія, и мы рѣшили, что куклу необходимо унести обратно, тѣмъ болѣе, что Маруся этого и не замѣтитъ. Но мы ошиблись! Какъ только я вынулъ куклу изъ рукъ лежащей въ забытьи дѣвочки, она открыла глаза, посмотрѣла передъ собой смутнымъ взглядомъ, какъ будто не видя меня, не сознавая, что съ ней происходитъ, и вдругъ заплакала тихо-тихо, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ жалобно, и въ исхудаломъ лицѣ, подъ покровомъ бреда, мелькнуло выраженіе такого глубокаго горя, что я тотчасъ же съ испугомъ положилъ куклу на прежнее мѣсто. Дѣвочка улыбнулась, прижала куклу къ себѣ и успокоилась. Я понялъ, что хотѣлъ лишить моего маленькаго друга первой и послѣдней радости ея недолгой жизни.

Валекъ робко посмотрѣлъ на меня.

— Какъ-же теперь будетъ?—спросилъ онъ грустно.

Тыбурцій, сидя на лавочкѣ съ печально понуренною головой, также смотрѣлъ на меня вопросительнымъ взглядомъ. Поэтому я постарался придать себѣ видъ по возможности безпечный и сказалъ:

— Ничего! Нянька, навѣрное, ужъ забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этотъ разъ возвратился домой, у калитки мнѣ опять попался Янушъ; Соню я засталъ съ заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющій взглядъ и что-то ворчала беззубымъ, шамкающимъ ртомъ.

Отецъ спросилъ у меня, куда я ходилъ, и, выслушавъ внимательно обычный отвѣтъ, ограничился тѣмъ, что повторилъ мнѣ приказъ ни подъ какимъ видомъ не отлучаться " дому безъ его позволенія. Приказъ былъ категориченъ " рѣшительны; ослушаться его я не посмѣлъ, но я также и обратился къ отцу за позволеніемъ.

Прошло четыре томительныхъ дня. Я гулялъ въ саду и съ тоской смотрѣлъ по направленію кромѣ того, грозы, которая собиралась надъ

Что будетъ, я не зналъ, но на сердцѣ у меня было тяжело. Меня въ жизни никто еще не наказывалъ; отецъ не только не трогалъ меня пальцемъ, но я отъ него не слышалъ никогда ни одного рѣзкаго слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствіе.

Наконецъ, меня позвали къ отцу, въ его кабинетъ. Я вошелъ и робко остановился у притолки. Въ окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отецъ нѣкоторое время сидѣлъ въ своемъ креслѣ передъ портретомъ матери и не поворачивался ко мнѣ. Я слышалъ тревожный стукъ собственнаго сердца.

Наконецъ, онъ повернулся. Я поднялъ на него глаза и тотчасъ же ихъ опустилъ въ землю. Лицо отца показалось мнѣ страшнымъ. Прошло около полминуты, и въ теченіе этого времени я чувствовалъ на себѣ тяжелый, неподвижный, подавляющій взглядъ.

— Ты взялъ у сестры куклу?

Эти слова упали вдругъ на меня такъ отчетливо и рѣзко, что я вздрогнулъ.

— Да,—отвѣтилъ я тихо.

— А знаешь ты, что это подарокъ матери, которымъ ты долженъ бы дорожить, какъ святыней?.. Ты укралъ ее?

— Нѣтъ,—сказалъ я, подымая голову.

— Какъ нѣтъ? — вскрикнулъ вдругъ отецъ, отталкивая кресло.—Ты укралъ ее и снесъ!.. Кому ты снесъ ее?.. Говори!

Онъ быстро подошелъ ко мнѣ и положилъ мнѣ на плечо тяжелую руку. Я съ усиліемъ поднялъ голову и взглянулъ вверхъ. Лицо отца было блѣдно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горѣли гнѣвомъ. Я весь съежился. Изъ этихъ глазъ, глазъ отца, глянуло на меня, какъ мнѣ показалось, безуміе или... ненависть.

— Ну, что-жь ты?.. Говори! — и рука, державшая мое плечо, сжала его сильнѣе.

— Н-не скажу,—отвѣтилъ я тихо.

— Нѣтъ, скажешь! — отчеканилъ отецъ, и въ голосѣ его зазвучала угроза.

— Не скажу,—прошепталъ я еще тише.

— Скажешь, скажешь!..

Онъ повторилъ это слово сдавленнымъ голосомъ, точно оно вырвалось у него съ болью и усиліемъ. Я чувствовалъ, какъ дрожала его рука, и, казалось, слышалъ даже клокотавшее въ груди его бѣшенство. И я все ниже опускалъ голову, и слезы одна за другой капали изъ моихъ глазъ на полъ, но я все повторялъ едва слышно:

— Нѣтъ, не скажу... никогда, никогда не скажу вамъ... Ни за что!

Въ эту минуту во мнѣ сказался сынъ моего отца. Онъ не добился бы отъ меня иного отвѣта самыми страшными муками. Въ моей груди, навстрѣчу его угрозамъ, подымалось едва сознательное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какаля-то жгучая любовь къ тѣмъ, кто меня пригрѣлъ тамъ, въ старой часовнѣ.

Отецъ тяжело перевелъ духъ. Я съезжился еще болѣе, горькія слезы жгли мои щеки. Я ждалъ.

Изобразить чувство, которое я испытывалъ въ то время, очень трудно. Я зналъ, что онъ страшно вспыльчивъ, что въ эту минуту въ его груди кипитъ бѣшенство, что, можетъ быть, черезъ секунду мое тѣло забьется безпомощно въ его сильныхъ и изступленныхъ рукахъ. Что онъ со мной сдѣлаетъ?— швырнетъ... изломаетъ; но мнѣ теперь кажется, что я боялся не этого... Даже въ эту страшную минуту я любилъ этого человѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ инстинктивно чувствовалъ, что вотъ сейчасъ онъ бѣшенымъ насиліемъ разобьетъ мою любовь въ дребезги, что затѣмъ, пока я буду жить, въ его рукахъ и послѣ, навсегда, навсегда въ моемъ сердцѣ вспыхнетъ та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня въ его мрачныхъ глазахъ.

Теперь я совсѣмъ пересталъ бояться; въ моей груди зашевелилось что-то въ родѣ зазорнаго, дерзкаго вызова... Кажется, я ждалъ и желалъ, чтобы катастрофа, наконецъ, разразилась. Если такъ... пусть... тѣмъ лучше, — да, тѣмъ лучше... тѣмъ лучше...

Отецъ опять тяжело вздохнулъ. Я уже не смотрѣлъ на него, только слышалъ этотъ вздохъ, — тяжелый, прерывистый, долгій... Справился-ли онъ самъ съ овладѣвшимъ имъ изступленіемъ, или это чувство не получило исхода, благодаря послѣдующему неожиданному обстоятельству, я и до сихъ поръ не знаю. Знаю только, что въ эту критическую минуту раздался вдругъ за открытымъ окномъ рѣзкій голосъ Тыбурціи:

— Эге-ге!.. мой бѣдный маленькій другъ...

„Тыбурцій пришелъ!“ — промелькнуло у меня въ головѣ, но этотъ приходъ не произвелъ на меня никакого впечатлѣнія. Я весь превратился въ ожиданіе, и даже чувствуя, какъ дрогнула рука отца, лежавшая на моемъ плечѣ, я не представлялъ себѣ, чтобы появленіе Тыбурціи или какое бы то ни было другое внѣшнее обстоятельство могло стать между мною и отцомъ, могло отклонить то, что я считалъ неизбѣжнымъ и чего ждалъ съ приливомъ зазорнаго отвѣтнаго гнѣва.

Между тѣмъ, Тыбурцій быстро отперъ входную дверь и, остановившись на порогѣ, въ одну секунду оглядѣлъ насъ обоихъ своими острыми рысьими глазами. Я до сихъ поръ помню малѣйшую черту этой сцены. На мгновеніе въ зеленыхъ глазахъ, въ широкомъ некрасивомъ лицѣ уличнаго оратора мелькнула холодная и злорадная насмѣшка, но это было только на мгновеніе. Затѣмъ онъ покачалъ головой, и въ его голосѣ зазвучала скорѣе грусть, чѣмъ обычная иронія.

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга въ очень затруднительномъ положеніи...

Отецъ встрѣтилъ его мрачнымъ и удивленнымъ взглядомъ, но Тыбурцій выдержалъ этотъ взглядъ спокойно. Теперь онъ былъ серьезенъ, не кривлялся, и глаза его глядѣли какъ-то особенно грустно.

— Панъ судья! — заговорилъ онъ мягко: — вы человѣкъ справедливый... отпустите ребенка. Малый былъ въ „дурномъ обществѣ“, но, видитъ Богъ, онъ не сдѣлалъ дурного дѣла, и если его сердце лежитъ къ моимъ оборваннымъ бѣднягамъ, то, клянусь Богородицей, лучше велите меня повѣсить, но я не допущу, чтобы мальчикъ пострадалъ изъ-за этого. Вотъ твоя кукла, малый!..

Онъ развязалъ узелокъ и вынулъ оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. Въ лицѣ видѣлось изумленіе.

— Что это значитъ? — спросилъ онъ, наконецъ.

— Отпустите мальчика, — повторилъ Тыбурцій, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. — Вы ничего не добьетесь отъ него угрозами, а между тѣмъ я охотно расскажу вамъ все, что вы желаете знать... Выйдемъ, панъ судья, въ другую комнату.

Отецъ, все время смотрѣвшій на Тыбурціа удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на мѣстѣ. Подавленный ощущеніями, переполненными мое сердце. Въ эту минуту я ни въ чемъ не отдавалъ себѣ отчета, и если теперь я помню всѣ детали этой сцены, если я помню даже, какъ за окномъ возились воробьи, а съ рѣчки доносился мѣрный плескъ весель, — то это просто механическое дѣйствіе памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; былъ только маленький мальчикъ, въ сердцѣ котораго встряхнули два разнородныя чувства: гнѣвъ и любовь, — такъ сильно, что это сердце замутилось, какъ мутятся отъ толчка въ стаканѣ двѣ отстоявшіяся разнородныя жидкости. Былъ такой мальчикъ, и этотъ мальчикъ былъ я, и мнѣ самому себя было какъ будто жалко. Да еще были два голоса, смутнымъ, хотя и оживленнымъ разговоромъ звучащіе за дверью...

Я все еще стоялъ на томъ-же мѣстѣ, какъ дверь кабинета отворилась, и оба собесѣдника вошли. Я опять почувствовалъ на своей головѣ чью-то руку и вздрогнулъ. То была рука отца, нѣжно гладившая мои волосы.

Тыбурціи взялъ меня на руки и посадилъ, въ присутствіи отца, къ себѣ на колѣни.

— Приходи къ намъ,—сказалъ онъ,—отецъ тебя отпустить попросится съ моей дѣвочкой. Она... она умерла.

Голосъ Тыбурціи дрогнулъ, онъ странно заморгалъ глазами, но тотчасъ-же всталъ, поставилъ меня на полъ, выпрямился и быстро ушелъ изъ комнаты.

Я вопросительно поднялъ глаза на отца. Теперь передо мной стоялъ другой человекъ, но въ этомъ именно человекѣ я нашелъ что-то родное, чего тщетно искалъ въ немъ прежде. Онъ смотрѣлъ на меня обычнымъ своимъ задумчивымъ взглядомъ, но теперь въ этомъ взглядѣ виднѣлся отбѣнокъ удивленія и какъ будто вопросъ. Казалось, буря, которая только что пронеслась надъ нами обоими, разбѣяла тяжелый туманъ, нависшій надъ душой отца, застилавшій его добрый и любящій взглядъ... И отецъ только теперь сталъ узнавать во мнѣ знакомыя черты своего родного сына.

Я доверчиво взялъ его руку и сказалъ:

— Я вѣдь не укралъ... Соня сама дала мнѣ на время...

— Д-да,—отвѣтилъ онъ задумчиво,—я знаю... Я виноватъ передъ тобою, мальчикъ, и ты постарайся когда-нибудь забыть это, не правда-ли?

Я съ живостью схватилъ его руку и сталъ ее цѣловать. Я зналъ, что теперь никогда уже онъ не будетъ смотрѣть на меня тѣми страшными глазами, какими смотрѣлъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, и долго сдерживаемая любовь хлынула цѣлымъ потокомъ въ мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору?—спросилъ я, вспоминая вдругъ приглашеніе Тыбурціи.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчикъ, прощайся...—лаково проговорилъ онъ все еще съ тѣмъ-же отбѣнкомъ недоумѣнія въ голосѣ.—Да, впрочемъ, постой... пожалуйста, мальчикъ, погоди немного.

Онъ ушелъ въ свою спальню и, черезъ минуту выйдя оттуда, сунулъ мнѣ въ руку нѣсколько бумажекъ.

— Передай это... Тыбурцію... Скажи, что я покорнѣе прошу его,—понимаешь?... покорнѣе прошу — взять эти деньги... отъ тебя... Ты понялъ?... Да еще скажи,—добавилъ отецъ, какъ будто колеблясь,—скажи, что если онъ знаетъ

одного тутъ... Оедоровица, то пусть скажетъ, что этому Оедоровичу лучше уйти изъ нашего города... Теперь ступай, мальчикъ, ступай скорѣе.

Я догналъ Тыбурція уже на горѣ и, запыхавшись, нескладно исполнилъ порученіе отца.

— Покорнѣйше просить... отецъ...—и я сталъ совать ему въ руку данныя отцомъ деньги.

Я не глядѣлъ ему въ лицо. Деньги онъ взялъ и мрачно выслушалъ дальнѣйшее порученіе относительно Оедоровича.

Въ подземельи, въ темномъ углу, на лавочкѣ лежала Маруся. Слово „смерть“ не имѣетъ еще полного значенія для дѣтскаго слуха, и горькія слезы только теперь, при видѣ этого безжизненнаго тѣла, сдавили мнѣ горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, съ печально вытянутымъ личикомъ. Закрытые глаза слегка ввалились и еще рѣзче оттѣнились синевой. Ротикъ немногo раскрылся, съ выраженіемъ дѣтской печали. Маруся какъ будто отвѣчала этою гримаской на наши слезы.

„Профессоръ“ стоялъ у изголовья и безучастно качалъ головой. Штыкъ-юнкеръ стучалъ въ углу топоромъ, готовя, съ помощью нѣсколькихъ темныхъ личностей, гробикъ изъ старыхъ досокъ, сорванныхъ съ крыши часовни. Лавровскій, трезвый и съ выраженіемъ полного сознанія, убиралъ Марусю собранными имъ самимъ осенними цвѣтами. Валекъ спалъ въ углу, вздрагивая сквозь сонъ всѣмъ тѣломъ, и по временамъ нервно всхлипывалъ.

З а к л ю ч е н і е .

Векорѣ послѣ описанныхъ событій члены „дурного общества“ разсѣялись въ разныя стороны. Остались только „профессоръ“, по-прежнему, до самой смерти слонявшійся по улицамъ города, да Туркевичъ, которому отецъ давалъ по временамъ кое-какую письменную работу. Я, съ своей стороны, пролилъ не мало крови въ битвахъ съ еврейскими мальчишками, терзавшими „профессора“ напоминаніемъ о рѣжущихъ и колющихъ орудіяхъ.

Штыкъ-юнкеръ и темныя личности отправились куда-то искать счастья. Тыбурцій и Валекъ совершенно неожиданно исчезли, и никто не могъ сказать, куда они направились теперь, какъ никто не зналъ, откуда они пришли въ нашъ городъ.

Старая часовня сильно пострадала отъ времени. Сначала у нея провалилась крыша, продавивъ потолокъ подземелья. Потомъ вокругъ часовни стали образовываться обвалы, и она

стала еще мрачнѣе; еще громче завывають въ ней филины, а огни на могилахъ темными осенними ночами вспыхивають синимъ зловѣщимъ свѣтомъ.

Только одна могила, огороженная частоколомъ, каждую весну зеленѣла свѣжимъ дерномъ, пестрѣла цвѣтами.

Мы съ Соней, а иногда даже съ отцомъ, посѣщали эту могилу; мы любили сидѣть на ней въ тѣни смутно лепечущей березы, въ виду тихо сверкавшаго въ туманѣ города. Тутъ мы съ сестрой вмѣстѣ читали, думали, дѣлились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда-же пришло время и намъ оставить тихій родной городъ, здѣсь-же, въ послѣдній день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили надъ маленькою могилкой свои обѣты.

1885 г.

„ЛѢСЪ ШУМИТЬ“.

(ПОЛЬСКАЯ ЛЕГЕНДА).

Было и былоемъ поросло.

I.

ЛѢСЪ шумѣлъ...

Въ этомъ лѣсу всегда стоялъ шумъ—ровный, протяжный, какъ отголосокъ дальняго звона, спокойный и смутный, какъ тихая пѣсня безъ словъ, какъ неясное воспоминаніе о прошедшемъ. Въ немъ всегда стоялъ шумъ, потому что это былъ старый, дремучій боръ, котораго не касались еще пила и топоръ лѣсного барышника. Высокія столѣтнія сосны съ красными могучими стволами стояли хмурою ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь пологъ сосновыхъ иголъ, которыми была усыпана почва, пробились яркіе папоротники, пышно раскинувшіеся причудливою бахромой и стоявшіе недвижимо, не шелухнувъ листомъ. Въ сырыхъ уголкахъ тянулись высокими стеблями зеленыя травы; бѣлая кашка склонялась отяжелѣвшими головками, какъ будто въ тихой истомѣ. А вверху, безъ конца и перерыва, тянулъ лѣсной шумъ, точно смутные вздохи стараго бора.

Но теперь эти вздохи становились все глубже, сильнѣе. Я ѣхалъ лѣсною тропой, и, хотя неба мнѣ не было видно, но по тому, какъ хмурился лѣсъ, я чувствовалъ, что надъ нимъ тихо подымается тяжелая туча. Время было не раннее. Между стволовъ кое-гдѣ пробивался еще косой лучъ заката, но въ чащахъ расплзались уже мгlistыя сумерки. Къ вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль объ охотѣ; въ пору было только добраться передъ грозой до ночлега. Мой конь постукивалъ копытомъ въ обнажившіеся корни,

храпѣль и настораживалъ уши, прислушиваясь къ гулко шелкающему лѣсному эхо. Онъ самъ прибавлялъ шагу къ знакомой лѣсной сторожкѣ.

Залаяла собака. Между порѣдѣвшими стволами мелькають мазанья стѣны. Синяя струйка дыма вѣется подъ нависшею зеленью; покосившаяся изба съ лохматою крышею пріютилась подъ стѣной красныхъ стволовъ; она какъ будто встаетъ въ землю, между тѣмъ какъ стройныя и гордыя сосны высоко покачивають надъ ней своими головами. Посрединѣ поляны, плотно примкнувшись другъ къ другу, стоитъ кучка молодыхъ дубовъ.

Здѣсь живутъ обычные спутники моихъ охотничьихъ экскурсій—лѣсники Захаръ и Максимъ. Но теперь, повидимому, обоихъ нѣтъ дома, такъ какъ никто не выходитъ на лай громадной овчарки. Только старый дѣдъ, съ лысою головой и сѣдыми усами, сидитъ на заваленкѣ и ковыряетъ лапоть. Усы у дѣда болтаются чуть не до пояса, глаза глядятъ тускло, точно дѣдъ все вспоминаетъ что-то и не можетъ припомнить.

— Здравствуй, дѣдъ! Есть кто-нибудь дома?

— Эге!—мотаетъ дѣдъ головой.—Нѣтъ ни Захара, ни Максима, да и Мотри побрела въ лѣсъ за коровой... Корова куда-то ушла,—пожалуй, медвѣди... задрали... Вотъ оно какъ, нѣтъ никого!

— Ну, ничего. Я съ тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди,—киваетъ дѣдъ, и пока я подвязываю лошадь къ вѣтви дуба, онъ всматривается въ меня слабыми и мутными глазами. Плохъ ужъ старый дѣдъ: глаза не видятъ и руки трясутся.

— А кто-жъ ты такой, хлопче?—спрашиваетъ онъ, когда я подсаживаюсь на заваленкѣ.

Этотъ вопросъ я слышу въ каждое свое посѣщеніе.

— Эге, знаю теперь, знаю,—говоритъ старикъ, принимаясь опять за лапоть.—Вотъ старая голова, какъ рѣшето, ничего не держитъ. Тѣхъ, что давно умерли, помню,—ой, хорошо помню! А новыхъ людей все забываю... Зажился на свѣтѣ.

— А давно-ли ты, дѣдъ, живешь въ этомъ лѣсу?

— Эге, давненько! Французъ приходилъ въ царскую землю, я уже былъ.

— Много-же ты на своемъ вѣку видѣлъ. Чай, есть чего рассказать.

Дѣдъ смотритъ на меня съ удивленіемъ.

— А что-же мнѣ видѣть, хлопче? Лѣсъ видѣлъ... Шумитъ лѣсъ, шумитъ и днемъ, и ночью, зимою шумитъ и лѣтомъ... И я, какъ та деревина, вѣкъ прожилъ въ лѣсу и не замѣ-

тиль... Вотъ и въ могилу пора, а подумаю иной разъ, хлопче, то и самъ смекнуть не могу: жилъ я на свѣтъ или нѣтъ... Эге, вотъ какъ! Можетъ, и вовсе не жилъ...

Край темной тучи выдвинулся изъ-за густыхъ вершинъ надъ лѣсною поляною; вѣтви замыкавшихъ поляну сосенъ закачались подъ дуновениемъ вѣтра, и лѣсной шумъ пронесся глубокимъ усиленнымъ аккордомъ. Дѣдъ поднялъ голову и прислушался.

— Буря идетъ,—сказалъ онъ черезъ минуту.—Это вотъ я знаю. Ой-ой, зареветъ ночью буря, сосны будетъ ломать, съ корнемъ выворачивать станеть!.. Заиграетъ лѣсной хозяинъ...—добавилъ онъ тише.

— Почему-же ты знаешь, дѣдъ?

— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, какъ дерево говоритъ... Дерево, хлопче, тоже боится... Вотъ осина, проклятое дерево, все что-то лопочеть,—и вѣтру нѣтъ, а она трясется. Сосна на бору въ ясный день играетъ-звенить, а чуть подыметъ вѣтеръ, она загудитъ и застонетъ. Это еще ничего... А ты вотъ слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухомъ слышу: дубъ зашумѣлъ, дуба уже трогаетъ на полянѣ... Это къ бурѣ.

Дѣйствительно, кучка невысокихъ коряжистыхъ дубовъ, стоявшихъ среди поляны и защищенныхъ высокою стѣною бора, помахивала крѣпкими вѣтвями, и отъ нихъ несся глухой шумъ, легко отличаемый отъ гулкаго звона сосенъ.

— Эге! слышишь-ли, хлопче?—говоритъ дѣдъ съ дѣтски-лукавою улыбкой.—Я уже знаю: тронуло этакъ вотъ дуба, значитъ *хозяинъ* ночью пойдетъ, ломать будетъ... Да нѣтъ, не сломаетъ! Дубъ—дерево крѣпкое, не подъ силу даже хозяину... вотъ какъ!

— Какой-же хозяинъ, дѣду? Самъ-же ты говоришь: буря ломаетъ.

Дѣдъ закивалъ головой съ лукавымъ видомъ.

— Эге, я-жъ это знаю!.. Нынче говорятъ, такіе люди пошли, что уже ничему и не вѣрятъ. Вотъ оно какъ! А я-же его видѣлъ, вотъ, какъ тебя теперь, а то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, какъ еще видѣли мои глаза смолоду!..

— Какъ-же ты его видѣлъ, дѣду, скажи-ка?

— А вотъ, все равно, какъ и теперь: сначала сосна застонетъ на бору... То звенить, а то стонать начнетъ: ò-охъ-хо-ò... ò-хо-ò!—и затихнетъ, а потомъ опять, потомъ опять, да чаще, да жалостнѣе. Эге, потому что много ея повалить хозяинъ ночью. А потомъ дубъ заговоритъ. А къ вечеру все

больше, а ночью и пойдет крутить: бѣгаетъ по лѣсу, смѣется и плачетъ, вертится, пляшетъ и все на дуба налегаетъ, все хочется вырвать... А я разъ осенью и посмотрѣлъ въ оконце; вотъ ему это и не по сердцу: подбѣжалъ къ окну, тар-рахъ въ него сосновою корягой; чуть миѣ все лицо не искалѣчить, чтобъ ему было пусто; да я не дуракъ—отскочилъ. Эге, хлопче, вотъ онъ какой сердитый!..

— А каковъ-же онъ въ виду?

— А съ виду онъ все равно, какъ старая верба, что стоитъ на болотѣ. Очень похожъ!.. И волосы—какъ сухая омела, что вырастаетъ на деревьяхъ, и борода тоже, а носъ—какъ здоровенный сукъ, а морда корявая, точно поросла лишаями.. Тыфу, какой некрасивый! Не дай-же Богъ ни одному крещеному на него походить... Ей-Богу! Я-таки въ другой разъ на болотѣ его видѣлъ, близко... А хочешь, приходи зимой, такъ и самъ увидишь его. Взойди туда, на гору,—лѣсомъ та гора поросла,—и полѣзай на самое высокое дерево, на верхушку. Вотъ оттуда иной день и можно его увидеть: идетъ онъ бѣлымъ столбомъ поверхъ лѣсу, такъ и вертится самъ, съ горы въ долину спускается... Побѣжить, побѣжить, а потомъ въ лѣсу и пропадетъ. Эге!.. А гдѣ пройдетъ, тамъ слѣдъ бѣлымъ снѣгомъ устилаеть... Не вѣришь старому чело-вѣку, такъ когда-нибудь самъ посмотри.

Разболтался старикъ. Казалось, оживленный и тревожный говоръ лѣса и нависшая въ воздухѣ гроза возбуждали старую кровь. Дѣдъ кивалъ головой, усмѣхался, моргалъ выцветшими глазами.

Но вдругъ будто какая-то тѣнь пробѣжала по высокому, изборожденному морщинами лбу. Онъ толкнулъ меня локтемъ и сказалъ съ таинственнымъ видомъ:

— А знаешь, хлопче, что я тебѣ скажу?.. Онъ, конечно, лѣсной хозяйинъ—мерзенная тварюка, это правда. Крещеному чело-вѣку обидно увидеть такую некрасивую харю... Ну, только надо о немъ правду сказать: онъ зла не дѣлаетъ... Пошутить съ чело-вѣкомъ, пошутить, а чтобъ лихо дѣлать, этого не бываетъ.

— Да какъ-же, дѣдъ, ты самъ говорилъ, что онъ тебя хотѣлъ ударить корягой?

— Эге, хотѣлъ-таки! Такъ то-жъ онъ разсердился, зачѣмъ я въ окно на него смотрю, вотъ оно что! А если въ его дѣла носа не совать, такъ и онъ такому чело-вѣку никакой пакости не сдѣлаетъ. Вотъ онъ какой, лѣсовикъ!.. А знаешь, въ лѣсу отъ людей страшнѣе дѣла бывали... Эге, ей-Богу!

Дѣдъ наклонилъ голову и съ минуту сидѣлъ въ молчаніи. Потомъ, когда онъ посмотрѣлъ на меня, въ его глазахъ,

сквозь заставшую ихъ тусклую оболочку, блеснула какъ будто искорка проснувшейся памяти.

— Вотъ я тебѣ расскажу, хлопче, дѣсную науку бывальщину. Было тутъ разъ, на самомъ этомъ мѣстѣ, давно... Помню я... ровно сонъ, а какъ зашумитъ дѣсь погромче, то и все вспоминаю... Хочешь, расскажу тебѣ, а?

— Хочу, хочу, дѣду! Рассказывай!

— Такъ и расскажу-же, эге! Слушай вотъ!

II.

У меня, знаешь, батько съ матерью давно померли, я еще малымъ хлопчикомъ былъ... Покинули они меня на свѣтѣ одного. Вотъ оно какъ со мною было, эге! Вотъ громада и думаетъ: „что-же намъ теперь съ этимъ хлопчикомъ дѣлать?“ Ну, и панъ тоже себѣ думаетъ... И пришелъ на тотъ разъ изъ дѣсу дѣсникъ Романъ, да и говоритъ громадѣ: „Дайте мнѣ этого хлопца въ сторожку, я его буду кормить... Мнѣ въ дѣсу веселѣе, и ему хлѣбъ“... Вотъ онъ какъ говоритъ, а громада ему отвѣчаетъ: „бери!“ Онъ и взялъ. Такъ я съ тѣхъ самыхъ поръ въ дѣсу и остался.

Тутъ меня Романъ и выкормилъ. Ото-жъ человѣкъ былъ какой страшный, не дай Господи!.. Росту большого, глаза черные, и душа у него темная изъ глазъ глядѣла, потому что всю жизнь этотъ человѣкъ въ дѣсу одинъ жилъ: медвѣдь ему, люди говорили, все равно, что братъ, а волкъ—племянникъ. Всякаго звѣря онъ зналъ и не боялся, а отъ людей сторонился и не глядѣлъ даже на нихъ... Вотъ онъ какой былъ—ей-Богу, правда! Бывало, какъ онъ на меня глянетъ, такъ у меня по спинѣ будто кошка хвостомъ поведетъ... Ну, а человѣкъ былъ всетаки добрый, кормилъ меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него съ саломъ, а когда утку убьетъ, такъ и утка. Что правда, то уже правда, кормилъ-таки.

Такъ мы и жили вдвоемъ. Романъ въ дѣсѣ уйдетъ, а меня въ сторожкѣ запретъ, чтобы звѣрюка не съѣла. А послѣ дали ему „жинку“ Оксану.

Панъ ему жинку далъ. Призвалъ его на село, да и говоритъ: „Вотъ что, говоритъ, Ромасю, женись!“ Говоритъ пану Романъ сначала: „А на какого-же мнѣ бѣса жинка? Что мнѣ въ дѣсу дѣлать съ бабой, когда у меня ужъ и безъ того хлопецъ есть? Не хочу я, говоритъ, жениться!“ Не привыкъ онъ съ дѣвками возиться, вотъ что! Ну, да и панъ тоже хитрый былъ... Какъ вспомню про этого пана, хлопче, то и подумаю себѣ, что теперь/уже такихъ нѣту,—нѣту такихъ

пановъ больше,—вывелись... Вотъ хоть бы и тебя взять: тоже, говорятъ, и ты панскаго роду... Можетъ оно и правда, а таки нѣтъ въ тебѣ этого... настоящаго... Такъ себѣ, мизерный хлопчина, больше ничего.

Ну, а тотъ настоящий былъ, изъ прежнихъ... Вотъ, скажу тебѣ, такое на свѣтѣ водится, что сотни людей одного чело-вѣка боятся, да еще какъ!.. Посмотри ты, хлопче, на ястреба и на цыпленка: оба изъ яйца вылупились, да ястребъ сей-часъ вверхъ поровить, эге! Какъ крикнетъ въ небѣ, такъ сейчасъ не то что цыплята—и старые пѣтухи забѣгаютъ... Вотъ-же ястребъ—панская птица, а курица—простая му-жичка...

Вотъ, помню, я малымъ хлопчикомъ былъ: везутъ мужики изъ лѣсу толстыя бревна, чело-вѣкъ можетъ быть тридцать. А панъ одинъ на своемъ коникѣ ѣдетъ, да усы крутить. Ко-некъ подъ нимъ играетъ, а онъ кругомъ смотритъ. Ой-ой! завидятъ мужики пана, то-то забѣгаютъ, лошадей въ снѣгъ сворачиваютъ, сами шапки снимаютъ. Послѣ сколько бьются, изъ снѣга бревна вывозятъ, а панъ себѣ скачетъ,—вотъ ему, видишь ты, и одному на дорогѣ тѣсно! Поведетъ панъ бровью—уже мужики боятся, засмѣется—и всѣмъ весело, а нахму-рится—всѣ запечалится. А чтобы кто пану могъ перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну, а Романъ, извѣстно, въ лѣсу выросъ, обращенія не зналъ, и панъ на него не очень сердился.

— Хочу,—говоритъ панъ,—чтобъ ты женился, а зачѣмъ, про то я самъ знаю. Бери Оксану.

— Не хочу я,—отвѣчалъ Романъ,—не надо мнѣ ее, хоть бы и Оксану! Пускай на ней чортъ женится, а не я... Вотъ какъ!

Велѣлъ панъ принести канчуки, растянули Романа, панъ его спрашиваетъ:

— Будешь, Романъ, жениться?

— Нѣтъ,—говоритъ,—не буду.

— Сыньте-жъ ему,—говоритъ панъ,—въ мотню *), сколько влѣзетъ.

Засыпали ему таки не мало; Романъ на что ужъ здоровъ былъ, а все-жъ ему надоѣло:

— Бросьте ужъ,—говоритъ,—будетъ-таки! Пускай же-ее лучше всѣ черти возьмутъ, чѣмъ мнѣ за бабу столько муки принимать. Давайте ее сюда, буду жениться!

*) Холзы носятъ холщевые штаны, вродѣ мѣшка, раздвоеннаго только внизу. Этотъ-то мѣшокъ и называется «мотнею».

Жиль на дворѣ у пана доѣзжачій Опанасъ Швидкій. Приѣхалъ онъ на ту пору съ поля, какъ Романа къ женитьбѣ заохачивали. Услышалъ онъ про Романову бѣду—бухъ пану въ ноги. Таки упалъ въ ноги, цѣлуетъ...

— Чѣмъ,—говорить,—вамъ, милостивый панъ, челоуѣка мордовать, лучше я на Оксанѣ женюсь, слова не скажу...

Эге, самъ-таки захотѣлъ жениться на ней. Вотъ какой челоуѣкъ былъ, ей-Богу!

Вотъ Романъ было обрадовался, повеселѣлъ. Всталъ на ноги, завязалъ мотню и говоритъ:

— Вотъ,—говорить,—хорошо. Только что бы тебѣ, челоуѣче, пораньше немного приѣхать? Да и панъ тоже—всегда вотъ такъ!.. Не разспросить-же было толкомъ, можетъ, кто охотой женится. Сейчасъ схватили челоуѣка и давай ему сыпать! Развѣ, говоритъ, это по-христіански такъ дѣлать? Тьфу!..

Эге, онъ порой и пану спуску не давалъ. Вотъ какой былъ Романъ! Когда ужъ осердится, то къ нему, бывало, не подступайся, хотя бы и панъ. Ну, а панъ былъ хитрый! У него, видишь, другое на умѣ было. Велѣлъ опять Романа растянуть на трапѣ.

— Я,—говорить,—тебѣ, дураку, счастья хочу, а ты носъ воротишь. Теперь ты одинъ, какъ медвѣдь въ берлогѣ, и заѣхать къ тебѣ не весело... Сыпьте-жъ ему, дураку, пока не скажетъ: довольно!.. А ты, Опанасъ, ступай себѣ къ чортовой матери. Тебя, говоритъ, къ обѣду не звали, такъ самъ за столъ не садись, а то видишь, какое Роману угощенье? Тебѣ какъ бы того-же не было.

А Романъ ужъ и не на шутку осердился, эге! Его дуютъ-таки хорошо, потому что прежніе люди, знаешь, умѣли славно канчуками шкуру спускать, а онъ лежитъ себѣ и не говоритъ: довольно! Долго терпѣлъ, а всетаки послѣ плюнулъ:

— Не дождетъ ей батько, чтобъ изъ-за бабы христіанину вотъ такъ сыпали, да еще и не считали. Довольно! Чтобъ вамъ руки поотсыхали, бисова дворня! Научилъ-же васъ чортъ канчуками работать! Да я-жъ вамъ не снопъ на току, чтобъ меня вотъ такъ молотили. Коли такъ, такъ вотъ же, и женюсь.

А панъ себѣ смѣется.

— Вотъ,—говорить,—и хорошо! Теперь на свадьбѣ хоть сидѣть тебѣ и нельзя, за то плясать будешь больше...

Веселый былъ панъ, ей-Богу, веселый, эге? Да только послѣ скверное съ нимъ случилось, не дай Богъ ни одному крещеному. Право, никому такого не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не слѣдуетъ такого желать. Вотъ и что думаю...

Вотъ такъ-то Романа и женили. Привезъ онъ молодую жинку въ сторожку; сначала все ругаль да попрекаль своими канчуками.

— И сама ты,—говорить,—того не стоишь, сколько изъза тебя человѣка мордовали.

Придетъ, бывало, изъ лѣсу и сейчасъ станетъ ее изъ избы гнать:

— Ступай себѣ! Не надо мнѣ бабы въ сторожкѣ! Чтобъ и духу твоего не было! Не люблю,—говорить,—когда у меня баба въ избѣ спить. Духъ,—говорить,—нехорошій.

Эге!

Ну, а послѣ ничего, притерпѣлся. Оксана, бывало, избу вымететь и вымажетъ чистенько, посуду разставить; блестить все, даже сердцу весело. Романъ видитъ: хорошая баба,—по-маленьку и привыкъ. Да и не только привыкъ, хлопче, а сталъ ее любить, ей-Богу, не лгу! Вотъ какое дѣло съ Романомъ вышло. Какъ приглядѣлся хорошо къ бабѣ, потомъ и говорить:

— Вотъ спасибо пану, добру меня научилъ. Да и я-жъ таки не умный былъ человѣкъ: сколько канчуковъ принялъ, а оно, какъ теперь вижу, ничего и дурного нѣтъ. Еще даже хорошо. Вотъ оно что!

Вотъ прошло сколько-то времени, я и не знаю, сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. Къ вечеру занедужилось, а на утро проснулся я, слышу: кто-то тонкимъ голосомъ „квилить“ *). Эге!—думаю я себѣ,—это-жъ, видно, „дитына“ родилась. А оно вправду такъ и было.

Не долго пожила дитына на бѣломъ свѣтѣ. Только и жила, что отъ утра до вечера. Вечеромъ и пищать перестала... Заплакала Оксана, а Романъ и говорить:

— Вотъ и нѣту дитыны, а когда ея нѣту, то незачѣмъ теперь и попа звать. Похоронимъ подъ сосною.

Вотъ какъ говорить Романъ, да не то, что говорить, а такъ какъ разъ и сдѣлалъ: вырылъ могилку и похоронилъ. Вонъ тамъ старый пенъ стоитъ, громомъ его спалило... Такъ то-жъ и есть та самая сосна, гдѣ Романъ дитыну зарылъ. Знаешь, хлопче, вотъ-же я тебѣ скажу: и до сихъ поръ, какъ солнце сядетъ и звѣзда-зорька надъ лѣсомъ станетъ, летаетъ какая-то птица, да и кричить. Охъ, и жалобно квилить птишина, ажъ сердцу больно! Такъ это и есть некрещеная душа,—креста себѣ просить. Кто знающій человѣкъ, по книгамъ учился, то, говорить, можетъ ей крестъ дать и не станетъ она больше

*) Квилить—плачетъ, жалобно пищать.

летать... Да мы вотъ тутъ въ лѣсу живемъ, ничего не знаемъ. Она летаетъ, она просить, а мы только и говоримъ: „геть-геть, бѣдная душа, ничего мы не можемъ сдѣлать!“ Вотъ заплачетъ и улетитъ, а потомъ и опять прилетаетъ. Эхъ, хлопче, жалко бѣдную душу!

Вотъ выздоровѣла Оксана, все на могилку ходила. Сядетъ на могилкѣ и плачетъ, да такъ громко, что по всему лѣсу, бывало, голосъ ея ходитъ. Это она такъ свою дитѣну жалѣла, а Романъ не жалѣлъ дитѣну, а Оксану жалѣлъ. Придетъ, бывало, изъ лѣсу, станетъ около Оксаны и говоритъ:

— Молчи ужъ, глупая ты баба! Вотъ было бы о чемъ плакать! Померла одна дитѣна, то, можетъ, другая будетъ. Да еще, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще, можетъ, и не моя была, я-же таки и не знаю. Люди говорятъ... А это будетъ моя.

Вотъ уже Оксана и не любила, когда онъ такъ говорилъ. Перестанетъ, бывало, плакать и начнетъ его нехорошими словами „лаять“. Ну, Романъ на нее не сердился.

— Да и что же ты,—спрашиваетъ,—лаешься? Я-же ничего такого не сказалъ, а только сказалъ, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не въ лѣсу, а на свѣтѣ, промежду людей. Такъ какъ-же мнѣ знать? Теперь вотъ ты въ лѣсу живешь, вотъ и хорошо. А таки говорила мнѣ баба Федосья, когда я за нею на село ходилъ: „Что-то у тебя, Романъ, скоро дитѣна поспѣла!“. А я говорю бабѣ: „Какъ-же мнѣ-таки знать, скоро-ли, или не скоро?“... Ну, а ты все-же брось голосить, а то я осержусь, то еще, пожалуй, какъ бы тебя и не побилъ.

Вотъ Оксана полаетъ, полаетъ его, да и перестанетъ.

Она его, бывало, и поругаетъ, и по спицѣ ударить, а какъ станетъ Романъ самъ сердиться, она и притихнетъ,—боялась. Приласкаетъ его, обойметъ, поцѣлуетъ и въ очи заглянетъ... Вотъ мой Романъ и угомонится. Потому... видишь-ли, хлопче... Ты, должно быть, не знаешь, а я, старикъ, хотя самъ не женивался, а все-таки видать на своемъ вѣку: молодая баба доже сладко цѣлуется, какого хочешь сердитаго мужика можетъ она обойти. Ой-ой... Я-же-таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодница, что теперь я уже что-то такихъ больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебѣ, и бабы не такія, какъ прежде.

Вотъ разъ въ лѣсу рожокъ затрубилъ: тра-та, тара-тара-та-та-та!.. Такъ и разливается по лѣсу, весело да звонко. И тогда малый хлопчикъ былъ и не зналъ, что это такое; вижу: птицы съ гнѣздъ подымаются, крикомъ машутъ, кричатъ, а

гдѣ и заяцъ пригнулъ уши на спину и бѣжитъ, что есть духу. Вотъ я и думаю: можетъ, это звѣрь какой невиданный такъ хорошо кричить. А то-же не звѣрь, а панъ себѣ на коникѣ лѣсомъ ѣдетъ, да въ рожокъ трубить; за паномъ доѣзжачіе верхомъ и собакъ на сворахъ ведутъ. А всѣхъ доѣзжачихъ красивѣе Опанасъ Швидкій, за паномъ въ синемъ казакниѣ гарцуеть; шапка на Опанасѣ съ золотымъ верхомъ, конь подъ нимъ играетъ, рушница за плечами блеститъ, и бандура на ремнѣ черезъ плечо повѣшена. Любилъ панъ Опанаса, потому что Опанасъ хорошо на бандурѣ игралъ и пѣсни былъ мастеръ пѣть. Ухъ, и красивый же былъ парубокъ этотъ Опанасъ, страхъ красивый! Куда было пану съ Опанасомъ равняться: панъ уже и лысый былъ, и носъ у пана красный, и глаза, хоть веселые, а все не такіе, какъ у Опанаса. Опанасъ, бывало, какъ глянетъ на меня,—миѣ, малому хлопчику, и то смѣяться хочется, а я-же не дѣвка. Говорили, что у Опанаса отцы и дѣды запорожскіе козаки были, въ Сѣчи козаковали, а тамъ народъ былъ все гладкій, да красивый, да проворный. Да ты самъ, хлопче, подумай: на конѣ ли со „списой“ *) по полю птицъ летать, или топоромъ дерево рубить, это-жъ не одно дѣло...

Вотъ я выбѣжалъ изъ хаты, смотрю: подѣхалъ панъ, остановился и доѣзжачіе стали; Романъ изъ избы вышелъ, подержалъ пану стремя: ступилъ панъ на землю. Романъ ему поклонился.

— Здорово!—говоритъ панъ Роману.

— Эге, — отвѣчаетъ Романъ, — да я-жъ, спасибо, здоровъ, чего миѣ дѣлается? А вы какъ?

Не умѣлъ, видишь ты, Романъ пану какъ слѣдуетъ отвѣтить. Дворня вся отъ его словъ засмѣялась и панъ тоже.

— Ну, и слава Богу, что ты здоровъ, — говоритъ панъ. — А гдѣ-жъ твоя жинка?

— Да гдѣ-жъ жинкѣ быть? Жинка, извѣстно, въ хатѣ...

— Ну, мы и въ хату войдемъ, — говоритъ панъ, — а вы, хлопцы, пока на травѣ коверъ постелите, да приготовьте намъ все, чтобы было чѣмъ молодыхъ на первый разъ поздравить.

Вотъ и пошли въ хату: панъ, и Опанасъ, и Романъ безъ шапки за нимъ, да еще Богданъ—старшій доѣзжачій, вѣрный панскій слуга. Вотъ ужъ и слугъ такихъ теперь тоже на свѣтѣ нѣту: старый былъ человекъ, съ дворней строгій, а передъ паномъ какъ та собака. Никого у Богдана на свѣтѣ не было, кромѣ пана. Говорять, какъ померли у Богдана батько съ

*) «Списса» — копы.

матерью, попросился онъ у стараго пана на тягло и захотѣлъ жениться. А старый панъ не позволилъ, приставить его къ своему паничу: тутъ тебѣ, говоритъ, и батько, и мать, и жинка. Вотъ выносилъ Богданычъ паныча и выходилъ, и на коня выучилъ садиться, и изъ ружья стрѣлять. А выросъ паничъ, самъ сталъ пановать, старый Богданъ все за нимъ слѣдомъ ходилъ, какъ собака. Охъ, скажу тебѣ правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людскихъ слезъ пало... все изъ-за пана. По одному панскому слову Богданъ могъ бы, пожалуй, родного отца въ клочки разорвать...

А я, малый хлопчикъ, тоже за ними въ избу побѣжалъ: известное дѣло, любопытно. Куда панъ повернулся, туда и я за нимъ.

Гляжу, стоитъ панъ посередь избы, усы гладить, смѣется. Романъ тутъ же топчется, шапку въ рукахъ мнетъ, а Опанась плечомъ объ стѣнку уперся, стоитъ себѣ, бѣдняга, какъ тотъ молодой дубокъ въ непогоду. Нахмурился, невесель...

И вотъ они трое повернулись къ Оксанѣ. Одинъ старый Богданъ сѣлъ въ углу на лавкѣ, свѣсилъ чуврину, сидитъ, пока панъ чего не прикажетъ. А Оксана въ углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснѣлась вся, какъ тотъ макъ середь ячменю. Охъ, видно, чула небѣда, что изъ-за нея лихо будетъ. Вотъ тоже скажу тебѣ, хлопче: уже если три человѣка на одну бабу смотреть, то отъ этого никогда добра не бываетъ — непременно до чуба дѣло дойдетъ, коли не хуже. Я-жъ это знаю, потому что самъ видѣлъ.

— Ну, что, Ромасю,—смѣется панъ,—хорошую-ли я тебѣ жинку высваталъ?

— А что-жъ?—Романъ отвѣчаетъ.—Баба, какъ баба, ничего!

Повель тутъ плечомъ Опанась, поднялъ глаза на Оксану и говорить про себя:

— Да,—говорить,—баба! Хотъ бы и не такому дурню досталась.

Романъ услыхалъ это слово, повернулся къ Опанасу и говорить ему:

— А чѣмъ бы это я, панъ Опанась, вамъ за дурня показался? Эге, скажите-ка!

— А тѣмъ, — говоритъ Опанась, — что не сумѣешь жинку свою уберечь, тѣмъ и дурень...

Вотъ какое слово сказалъ ему Опанась! Панъ даже ногою топнулъ, Богданъ покачалъ головою, а Романъ подумалъ съ минуту, потомъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на пана.

— А что-жъ мнѣ ее беречь?—говоритъ Опанасу, а самъ все на пана смотреть.—Здѣсь, кромѣ звѣя, никакого чорта и нѣту, вотъ разве ^{природный} ~~природный~~ ^{дурень} ~~дурень~~ когда завернеть. Отъ

кого-же мнѣ жинку беречь? Смотри ты, вражій козаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чупринку схвачу.

Пожалуй таки и дошло бы у нихъ дѣло до порасовки, да панъ вмѣшался: топнулъ ногой,—они и замолчали.

— Тише вы,—говорить,—бісовы дѣти! Мы-же сюда не для драки пріѣхали. Надо молодыхъ поздравлять, а потомъ, въ вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!

Повернулся панъ и пошелъ изъ избы; а подъ деревомъ доѣзжачіе ужъ и закуску сготовили. Пошелъ за паномъ Богданъ, а Опанасъ остановилъ Романа въ сѣняхъ.

— Не сердись ты на меня, брѣтику,—говорить козакъ.— Послушай, что тебѣ Опанасъ скажетъ: видѣлъ ты, какъ я у пана въ ногахъ валялся, сапоги у него цѣловалъ, чтобъ онъ Оксану за меня отдалъ? Ну, Богъ съ тобой, человѣче... Тебя пошъ окрутилъ, такая, видно, судьба! Такъ не стерпять-же мое сердце, чтобъ лютый врагъ опять и надъ ней, и надъ тобой потѣшался. Гей-гей! Никто того не знаетъ, что у меня на душѣ... Лучше-же я и его, и ее изъ рушницы вмѣсто постели уложу въ сырую землю...

Посмотрѣлъ Романъ на козака и спрашиваетъ:

— А ты, козаче, часомъ „съ глазду не съѣхалъ“ *)?

Не слыхалъ я, что Опанасъ на это сталъ Роману тихо въ сѣняхъ говорить, только слышалъ, какъ Романъ его по плечу хлопнулъ.

— Охъ, Опанасъ, Опанасъ! Вотъ какой на свѣтѣ народъ злой да хитрый! А я-же ничего того, живучи въ лѣсу, и не зналъ. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затѣялъ!..

— Ну,—говорить ему Опанасъ,—ступай теперь и не показывай виду, пуще всего передъ Богданомъ. Не умный ты человѣкъ, а эта панская собака хитра. Смотри-же: панской горѣлки много не пей, а если отправить тебя съ доѣзжачими на болото, а самъ захочетъ остаться, веди доѣзжачихъ до стараго дуба и покажи имъ объѣздную дорогу, а самъ, скажи, напрямикомъ пойдешь по лѣсу... Да поскорѣе сюда возвращайся.

— Добре,—говорить Романъ.—Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не „леткой“ на птицу, а доброю пулей на медвѣдя...

Вотъ и они вышли. А ужъ панъ сидитъ на коврѣ, велѣлъ подать фляжку и чарку, наливаетъ въ чарку горѣлку и подбиваетъ Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горѣлка еще лучше. Чарочку выпьешь — душа радуется, другую выпьешь — сердце скачетъ въ груди, а если человѣкъ

*) Съ глазду съѣхать — свести съ ума.

неприемный, то съ третьей чарки и подь лавкой валяется, коли баба на лавку не уложитъ.

Эге, говорю тебѣ, хитрый былъ пань! Хотѣлъ Романа напоить своею горѣлкой до-пьяна, а еще такой и горѣлки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьетъ онъ изъ панскихъ рукъ чарку, пьетъ и другую, и третью выпилъ, а у самого только глаза, какъ у волка, загораются, да усомъ чернымъ поводить. Пань даже осердился.

— Вотъ-же вражій сынъ, какъ здорово горѣлку хлещеть, а самъ и не моргнетъ глазомъ! Другой бы ужъ давно заплакалъ, а онъ, глядите, добрые люди, еще усмѣхается...

Зналь-же вражій пань хорошо, что если ужъ человекъ отъ горѣлки заплакалъ, то скоро и совсѣмъ чуприну на столъ свѣситъ. Да на тотъ разъ не на такого напалъ.

— А съ чего-жъ мнѣ, — Романъ ему отвѣчаетъ, — плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приѣхалъ ко мнѣ милостивый пань поздравлять, а я бы-таки и началъ реветъ, какъ баба. Слава Богу, не отъ чего мнѣ еще плакать, пускай лучше мои вороги плачуть...

— Значить, — спрашиваетъ пань, — ты доволенъ?

— Эге! А чѣмъ мнѣ быть недовольнымъ?

— А помнишь, какъ мы тебя канчуками сватали?

— Какъ-таки не помнить! Ото-жъ и говорю, что не умный человекъ былъ, не зналъ, что горько, что сладко. Канчукъ горекъ, а я его лучше бабы любилъ. Вотъ спасибо вамъ, милостивый пане, что научили меня, дурня, медъ ѣсть.

— Ладно, ладно, — пань ему говорить. — За то и ты мнѣ услуги: вотъ пойдешь съ доѣзжачими на болото, настрѣлай побольше птицъ, да непременно глухого тетерева достань.

— А когда-жъ это пань насъ на болото посылаетъ? — спрашиваетъ Романъ.

— Да вотъ выпьемъ еще. Опанасъ намъ пѣсню споеть, да и съ Богомъ.

Посмотрѣлъ Романъ на него и говоритъ пану:

— Вотъ ужъ это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а еще, вдобавокъ, и вѣтеръ по лѣсу шумитъ, къ ночи будетъ буря. Какъ-же теперь такую сторожкую птицу убить?

А ужъ пань захмѣлѣлъ, да во хмѣлю былъ крѣпко сердитый. Услышалъ, какъ дворня промежъ себя шептаться стала, говорить, что, молъ, „Романова правда, загудеть скоро буря“, — и осердился. Стукнулъ чаркой, повелъ глазами, — всѣ и стихли.

Одинъ Опанасъ не испугался: вышелъ онъ, по панскому слову, съ бандурой пѣсни пѣть, сталъ бандуру настраивать, самъ посмотрѣлъ сбоку на пана и говоритъ ему:

— Опомнись, милостивый пане! Гдѣ-же это видано, чтобы къ ночи, да еще въ бурю, людей по темному лѣсу за птицей гонять?

Вотъ онъ какой быть смѣлый! Другіе, извѣстное дѣло, панскіе „крѣпаки“, боятся, а онъ — вольный человѣкъ, козакаго рода. Привель его небольшимъ хлопцемъ старый козакъ-бандуристъ съ Украйны. Тамъ, хлопче, люди что-то на шумѣли въ городѣ Умани. Вотъ старому козаку выкололи очи, обрѣзали уши и пустили его такого по свѣту. Ходить онъ, ходилъ послѣ того по городамъ и селамъ и забрелъ въ нашу сторону съ поводыремъ, хлопчикомъ Опанасомъ. Старый панъ взялъ его къ себѣ, потому что любилъ хорошія пѣсни. Вотъ старикъ умеръ, — Опанасъ при дворѣ и выросъ. Любилъ его новый панъ тоже и терпѣлъ отъ него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Такъ и теперь: осердился было сначала, думали, что онъ козака ударить, а послѣ говорить Опанасу:

— Ой, Опанасъ, Опанасъ. Умный ты хлопецъ, а того, видно, не знаешь, что межъ дверей не надо носа совать, чтобы какъ-нибудь не захлопнули...

Вотъ онъ какую загадалъ загадку! А козакъ таки сразу и понялъ. И отвѣтилъ козакъ пану пѣсней. Ой, кабы и панъ понялъ козацкую пѣсню, то, можетъ бы, его пани надъ нимъ не разливалась слезами.

— Спасибо, пане, за науку, — сказала Опанасъ, — вотъ-же я тебѣ за то спую, а ты слушай.

И ударилъ по струнамъ бандуры.

Потомъ поднялъ голову, посмотрѣлъ на небо, какъ въ небѣ орелъ ширяетъ, какъ вѣтеръ темныя тучи гоняетъ. Наставилъ ухо, послушалъ, какъ высокія сосны шумять...

И опять ударилъ по струнамъ бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебѣ слышать, какъ игралъ Опанасъ Швидкій, а теперь ужъ и не услышишь! Вотъ-же и не хитрая штука бандура, а какъ она у знающаго человѣка хорошо говорить. Бывало, пробѣжить по ней рукою, она ему все и скажетъ: какъ темный боръ въ непогоду шумить, и какъ вѣтеръ звенить въ пустой стени по бурьяну, и какъ сухая травинка шелчетъ на высокой козацкой могилѣ.

Нѣтъ, хлопче, не услыхать уже вамъ настоящую игру! Ѣздятъ теперь сюда всякіе люди, такіе, что не въ одномъ Полѣсьѣ бывали, но и въ другихъ мѣстахъ, и по всей Украйнѣ: и въ Чигиринѣ, и въ Полтавѣ, и въ Кіевѣ, и въ Черкасахъ. Говорятъ, вывелись ужъ бандуристы, не слышно ихъ уже на ярмаркахъ и въ базарахъ. У меня еще на

сѣвнѣ въ хатѣ старая бандура виситъ. Выучилъ меня играть на ней Опанась, а у меня никто игры не перенялъ. Когда я умру,—а ужъ это скоро,—такъ, пожалуй, и нигдѣ уже на широкомъ свѣтѣ не слышно будетъ звона бандуры. Вотъ оно что!

И запѣлъ Опанась тихимъ голосомъ пѣсню. Голосъ былъ у Опанаса не громкій, да „сумный“*),—такъ, бывало, въ сердце и льется. А пѣсню, хлопче, козакъ, видно, самъ для пана придумалъ. Не слыхалъ я ее никогда больше, и когда послѣ, бывало, къ Опанасу пристану, чтобы спѣлъ, онъ все не соглашался.

— Для кого, — говорить, — та пѣсня пѣлася, того уже пѣту на свѣтѣ.

Въ той пѣснѣ козакъ пану всю правду сказать, что съ паномъ будетъ, и панъ плачетъ, даже слезы у пана текутъ по усамъ, а все же ни слова, видно, изъ пѣсни не понялъ.

— Охъ, не помню я эту пѣсню, помню только немного.

Пѣлъ козакъ про пана, про Ивана:

Ой пане, ой Иване!..

Умный панъ, много знаетъ...

Знаетъ, что ястребъ въ небѣ летаетъ, воронъ побиваетъ...

Ой пане, ой Иване!..

А того-жъ панъ не знаетъ,

Какъ на свѣтѣ бываетъ, —

Что у гвѣзда и ворона ястреба побиваетъ...

Вотъ-же, хлопче, будто и теперь я эту пѣсню слышу и тѣхъ людей вижу: стоитъ козакъ съ бандурой, панъ сидитъ на коврѣ, голову свѣсилъ и плачетъ; дворня кругомъ столпилась, поталкиваютъ одинъ другого локтями; старый Богданъ головой качаетъ... А лѣсъ, какъ теперь, шумитъ, и тихо да сумно звенитъ бандура, а козакъ поетъ, какъ пани плачетъ надъ паномъ, надъ Иваномъ:

Плачетъ пани, плачетъ,

А надъ паномъ надъ Иваномъ черный воронъ кричетъ.

Охъ, не понялъ панъ пѣсни, вытеръ слезы и говорить:

— Ну, собирайся, Романъ! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанась, поѣзжай съ ними, — будетъ ужъ мнѣ твоихъ пѣсенъ слушать!.. Хорошая пѣсня, да только никогда того, что въ ней поется, на свѣтѣ не бываетъ.

А у козака отъ пѣсни размякло сердце, затуманились очи.

— Охъ, пане, пане, — говорить Опанась, — у насъ говорятъ старые люди: въ сказкѣ правда и въ пѣснѣ правда. Только въ сказкѣ правда — какъ желѣзо: долго по свѣту изъ рукъ въ руки ходило, заржавѣло... А въ пѣснѣ правда — какъ

*) Украинское слово *сумный* совмѣщаетъ въ себѣ понятія, передаваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.

золото, что никогда его ржа не ёсть... Вотъ, какъ говорить старые люди!

Махнулъ панъ рукой.

— Ну, можетъ, такъ въ вашей сторонѣ, а у насъ не такъ... Ступай, ступай, Опанасъ, — надоѣло мнѣ тебя слушать.

Постоялъ козакъ съ минуту, а потомъ вдругъ упалъ передъ паномъ на землю:

— Послушай меня, пане! Садись на коня, поѣзжай къ своей пани: у меня сердце недоброе чуетъ.

Вотъ ужъ тутъ панъ осердился, толкнулъ козака, какъ собаку, ногой.

— Иди ты отъ меня прочь! Ты, видно, не козакъ, а баба! Иди ты отъ меня, а то какъ бы съ тобой не было худо... А вы что стали, хамово племя? Иль я не панъ вамъ больше? Вотъ я вамъ такое покажу, чего и ваши батьки отъ моихъ батьковъ не видали!..

Всталъ Опанасъ на ноги, какъ темная туча, съ Романомъ переглянулся. А Романъ въ сторонѣ стоитъ, на рушницу облокотился, какъ ни въ чемъ не бывало.

Ударилъ козакъ бандурой объ дерево, — бандура въ дребезги разлетѣлась, только стонъ пошелъ отъ бандуры по лѣсу.

— А пускай же, — говоритъ, — черти на томъ свѣтѣ учатъ такого человѣка, который разумную рѣду не слушаетъ... Тебѣ, пане, видно, вѣрнаго слуги не надо.

Не успѣлъ панъ отвѣтить, вскочилъ Опанасъ въ сѣдло и поѣхалъ. Доѣзжачіе тоже на коней сѣли. Романъ вскинулъ рушницу на плечи и пошелъ себѣ, только, проходя мимо сторожки, крикнулъ Оксанѣ:

— Уложи хлопчика, Оксана! Пора ему спать. Да и пану сготовь постелю.

Вотъ скоро и ушли всѣ въ лѣсъ вонъ по той дорогѣ; и панъ въ хату ушелъ, только панскій конь стоитъ себѣ, подъ деревомъ привязанъ. А ужъ и темнѣть начало, по лѣсу шумъ идетъ и дождикъ накрапываетъ, вотъ-таки совсѣмъ, какъ теперь... Уложила меня Оксана на сѣноваль, перекрестила на ночь... Слышу я, моя Оксана плачетъ.

Охъ, ничего-то я тогда, малый хлопчикъ, не понималъ, что кругомъ меня творится! Свернулся на сѣнгѣ, послушалъ, какъ буря въ лѣсу пѣсню заводитъ, и сталъ засыпать.

Эге! Вдругъ слышу, кто-то около сторожки ходитъ... подошелъ къ дереву, панскаго коня отвязалъ. Захрапѣлъ конь, ударилъ копытомъ; какъ пустится въ лѣсъ, скоро и топотъ затихъ... Потомъ слышу, опять кто-то по дорогѣ скачетъ, уже къ сторожкѣ. Подекакалъ вилоть, соскочилъ съ сѣдла на землю и прямо къ окну:

— Пане, пане!—кричить голосомъ стараго Богдана.—Ой, пане, отвори скорѣй! Вражій козакъ лихо задумаль, видно: твоего коня въ лѣсъ отпустиль.

Не успѣлъ старикъ договорить, кто-то его сзади схватилъ. Испугался я, слышу—что-то упало...

Отворилъ панъ двери, съ рушницей выскочилъ, а ужъ въ сѣняхъ Романъ его захватилъ, да прямо за чубъ, да объ землю...

Вотъ, видить панъ, что ему лихо, и говоритъ:

— Ой, отпусти, Ромасю! Такъ-то ты мое добро помнишь?

А Романъ ему отвѣчаетъ:

— Помню я, вражій пане, твое добро и до меня, и до моей жинки. Вотъ-же я тебѣ теперь за добро заплачу...

А панъ говоритъ опять:

— Заступись, Опанасъ, мой вѣрный слуга! Я-жъ тебя любилъ, какъ родного сына.

А Опанасъ ему отвѣчаетъ:

— Ты своего вѣрнаго слугу прогналь, какъ собаку. Любишь меня такъ, какъ палка любить спину, а теперь такъ любишь, какъ спина палку... Я-жъ тебя просилъ и молилъ,— ты не послушался...

Вотъ сталъ панъ тутъ и Оксану просить:

— Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.

Выбѣжала Оксана, всплеснула руками:

— Я-же тебя, пане, просила, въ ногахъ валялась: пожалѣй мою дѣвичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты-же не пожалѣлъ, а теперь самъ просишь... Охъ, лишенько мнѣ, что-же я сдѣлаю?

— Пустите,—кричить опять панъ,—за меня вы всѣ погнете въ Сибири...

— Не печалься за насъ, пане,—говорить Опанасъ:—Романъ будетъ на болотѣ раньше твоихъ доѣзжачихъ, а я, по твоей милости, одинъ на свѣтѣ, мнѣ о своей головѣ думать не долго. Вскину рушницу за плечи и пойду себѣ въ лѣсъ... Наберу проворныхъ хлопцевъ и будемъ гулять... Изъ лѣсу станемъ выходить ночью на дорогу, а когда въ село забредемъ, то прямо въ панскія хоромы. Эй, подымай, Ромасю, пана, вынесемъ его милость на дождикъ.

Забился тутъ панъ, закричалъ, а Романъ только ворчить про себя, какъ медвѣдь, а козакъ насмѣхается. Вотъ и вышли.

А я испугался, кинулся въ хату и прямо къ Оксанѣ. Сидитъ моя Оксана на лавкѣ—бѣлая, какъ стѣна...

А по лѣсу уже загудѣла настоящая буря: кричить боръ разными голосами, да вѣтеръ воетъ, а когда и громъ похнетъ. Сидимъ мы съ Оксаной на лавкѣ, и вдругъ слышу

я, кто-то въ лѣсу застонать. Охъ, да такъ жалобно, что я до сихъ поръ, какъ вспомню, то на сердцѣ тяжело станеть, а вѣдь уже тому много лѣтъ...

— Оксано,—говорю,—голубонько, а кто-жъ это тамъ въ лѣсу стонеть?

А она схватила меня на руки и качаетъ:

— Спи,—говорить,—хлопчику, ничего! Это такъ... лѣсъ шумить...

А лѣсъ и вправду шумѣлъ, охъ, и шумѣлъ-же!

Просидѣли мы еще сколько-то времени, слышу я: ударило по лѣсу будто изъ рушницы.

— Оксано,—говорю,—голубонько, а кто-жъ это изъ рушницы стрѣляетъ?

А она, небѣга, все меня качаетъ и все говоритъ:

— Молчи, молчи, хлопчику, то громъ Божій ударилъ въ лѣсу.

А сама все плачетъ и меня крѣпко къ груди прижимаетъ, баюкаетъ: „Лѣсъ шумить, лѣсъ шумить, хлопчику, лѣсъ шумить“...

Вотъ я лежалъ у нея на рукахъ и заснулъ...

А на утро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце свѣтитъ, Оксана одна въ хатѣ одѣтая спитъ. Вспомнилъ я вчерашнее и думаю: это мнѣ такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было на правду. Выбѣжалъ я изъ хаты, побѣжалъ въ лѣсъ, а въ лѣсу птички щебечуть, и роса на листьяхъ блеститъ. Вотъ добѣжалъ до кустовъ, а тамъ и панъ, и доѣзжачій лежатъ себѣ рядомъ. Панъ спокойный и блѣдный, а доѣзжачій едой, какъ голубь, и строгій какъ разъ будто живой. А на груди и у пана, и у доѣзжачаго кровь.

— Ну, а что-же случилось съ другими?—спросилъ я, видя, что дѣдъ опустилъ голову и замолкъ.

— Эге! Вотъ же все такъ и сдѣлалось, какъ сказалъ козакъ Опанасъ. И самъ онъ долго въ лѣсу жилъ, ходилъ съ хлопцами по большимъ дорогамъ, да по панскимъ усадьбамъ. Такая козаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то-же на долю выпало. Не разъ онъ, хлопче, приходилъ къ намъ въ эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придетъ, бывало, посидитъ и пѣсню споетъ, и на бандурѣ сыграетъ. А когда и съ другими товарищами заходилъ,—всегда его Оксана и Романъ принимали. Эхъ, правду тебѣ, хлопче, сказать, таки и не безъ грѣха тутъ было дѣло. Вотъ придутъ скоро изъ лѣсу Максимъ и Захаръ, посмотри ты на видѣхъ обоихъ: и ничего имъ не го-

ворю, а только кто зналъ Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на котораго похожъ, хотя они уже тѣмъ людямъ не сыны, а внуки... Вотъ-же какія дѣла, хлопче, бывали на моей памяти въ этомъ лѣсу...

А шумить-же лѣсъ крѣпко,—будеть буря!

III.

Послѣднія слова разсказа старикъ говорилъ какъ-то устало. Очевидно, его возбужденіе прошло и теперь сказывалось утомленіемъ: языкъ его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечеръ спустился уже на землю, въ лѣсу потемнѣло, боръ волновался вокругъ сторожки, какъ расходившееся море; темныя вершины колыхались, какъ гребни волнъ въ грозную непогоду.

Веселый лай собакъ возвѣстилъ приходъ хозяевъ. Оба лѣсника торопливо подошли къ избушкѣ, а вслѣдъ за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было въ сборѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ мы сидѣли въ хатѣ; въ печи весело трещалъ огонь; Мотря собрала „вечерить“.

Хотя я не разъ видѣлъ прежде Захара и Максима, но теперь я взглянулъ на нихъ съ особеннымъ интересомъ. Лицо Захара было темно, брови срослись надъ крутымъ низкимъ лбомъ, глаза глядѣли угрюмо, хотя въ лицѣ можно было различить природное добродушіе, присущее силѣ. Максимъ глядѣлъ открыто, какъ будто ласкающими сѣрыми глазами; по временамъ онъ встряхивалъ своими курчавыми волосами, его смѣхъ звучалъ какъ-то особенно заразительно.

— А чи не разсказывалъ вамъ старикъ, — спросилъ Максимъ, — старую бивальщину про нашего дѣда?

— Да, разсказывалъ, — отвѣчалъ я.

— Ну, онъ всегда вотъ такъ! Лѣсъ зашумитъ покрѣпче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никакъ не заснетъ.

— Совсѣмъ мала дитына, — добавила Мотря, наливая старику щей.

Старикъ какъ будто не понималъ, что рѣчь идетъ именно о немъ. Онъ совсѣмъ опустился, по временамъ бессмысленно улыбаяся, кивая головой; только когда снаружи налеталъ на избушку порывъ бушевавшаго по лѣсу вѣтра, онъ начиналъ тревожиться и наставлялъ ухо, прислушиваясь къ чему-то съ испуганнымъ видомъ.

Вскорѣ въ лѣсной избушкѣ все смолкло. Тускло свѣтилъ угасающій *качанецъ* *), да сверчокъ звонилъ свою однообразно-

*) *Качанецъ* — череповидный грибъ, который наливается саломъ и кладутъ свѣтильню.

крикливую пѣсню... А въ лѣсу, казалось, шель говоръ тысячи могучихъ, хотя и глухихъ голосовъ, о чемъ-то грозно пере-кликавшихся во мракѣ. Казалось, какая-то грозная сила ведетъ тамъ, въ темнотѣ, шумное совѣщаніе, собираясь со всѣхъ сторонъ ударить на жалкую, затерянную въ лѣсу хибарку. По временамъ смутный рокоть усиливался, росъ, приливалъ, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, на-пираетъ на нее снаружи, а въ трубѣ ночная выюга съ жалобною угрозой выводила за сердце хватающую ноту. Потомъ на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робѣющее сердце, пока опять подымался гулъ, какъ будто старыя сосны стоваривались сняться вдругъ съ своихъ мѣстъ и улетѣть въ невѣдомое пространство вмѣстѣ съ размахами ночного урагана.

И забылся на нѣсколь ко минутъ смутною дремотой, но, кажется, не надолго. Буря выла въ лѣсу на разные голоса и тоны. Каганецъ вспыхивалъ по временамъ, освѣщая избушку. Старикъ сидѣлъ на своей лавкѣ и шарилъ вокругъ себя рукой, какъ будто надѣясь найти кого-то по близости. Выраженіе испуга и почти дѣтской безпомощности видѣлось на лицѣ блѣднаго дѣда.

— Оксано, голубонько, — слышалъ я его жалобный ропоть, — а кто-жъ это тамъ въ лѣсу стонетъ?

Онъ тревожно пошарилъ рукой и прислушался.

— Эге! — говорилъ онъ опять, — никто не стонетъ. То буря въ лѣсу шумитъ... Больше ничего, лѣсъ шумитъ, шумитъ...

Прошло еще нѣсколько минутъ. Въ маленькія окна то и дѣло заглядывали синеватые огни молніи, высокія деревья вспыхивали за окномъ призрачными очертаніями и опять исчезали во тьмѣ среди сердитаго ворчанія бури. Но вотъ рѣзкій свѣтъ на мгновеніе затмилъ блѣдныя вспышки каганца, и по лѣсу раскатился *отрывистый недалекій ударъ.

Старикъ опять тревожно заметался на лавкѣ.

— Оксано, голубонько, а кто-жъ это въ лѣсу стрѣляетъ?

— Спи, старикъ, спи, — слышался съ печки спокойный голосъ Мотри. — Вотъ всегда такъ: въ бурю по ночамъ все Оксану зоветъ. И забылъ, что Оксана ужъ давно на томъ свѣтѣ. Охъ-хо!

Мотря зѣвнула, прошептала молитву, и вскорѣ опять въ избушкѣ настала тишина, прерываемая лишь шумомъ лѣса, да тревожнымъ бормотаніемъ дѣда:

— Лѣсъ шумитъ, лѣсъ шумитъ... Оксано, голубонько...

Вскорѣ ударилъ тяжелый ливень, покрывая шумомъ дождевыхъ потоковъ и порыванія вѣтра, и стоны соснового бора...

1885 г.

НОЧЬЮ.

Очеркъ.

I.

Было около полуночи. Въ комнатѣ слышалось глубокое дыханіе спящихъ дѣтей.

Въ углу комнаты, на полу, стоялъ мѣдный тазъ. На днѣ его было немного воды и стояла сальная свѣча въ подсвѣчникѣ. Свѣча сильно нагорѣла, фитиль покрылся темною шапкой и тихо потрескивалъ. Кромѣ того, на стѣнѣ стучалъ маятникъ, а на полу, въ освѣщенномъ кружкѣ около таза, размѣстидись нѣсколько таракановъ. Сдавшисъ на заднія лапки и поднявъ голову кверху, они смотрѣли на огонь и шевелили усами.

На дворѣ бушевала непогода.

Дождь стучалъ по крышѣ, трепалъ листья въ саду, плескался на дворѣ въ лужахъ. По временамъ онъ стихалъ и уносился вдаль, въ темную глубину ночи, но послѣ этого прилеталъ къ дому съ новой силой, бушевалъ еще больше, сильнѣе обливалъ крышу, хлесталъ по ставнямъ, и порой казалось даже, что онъ струится и плещетъ уже въ самой комнатѣ... Тогда въ ней водворялось какое-то безпокойство: маятникъ какъ будто смолкалъ, свѣча готовилась погаснуть, съ потолка сползали тѣни, тараканы тревожно водили усами и видимо собирались бѣжать.

Но бурные порывы непогоды продолжались недолго. Казалось, дождь рѣшилъ про себя никогда уже не прекращаться, и когда вѣтеръ оставлялъ его въ покоѣ, онъ принимался гудѣть широко и ровно—и на дворѣ, и въ саду, и въ переулкѣ, и въ пустырь по полямъ... Гулъ этотъ, просачиваясь сквозь запертыя ставни, стоялъ въ комнатѣ то ровнымъ жужжаніемъ, то тихими всплесками.

Тогда маятникъ принимался опять отчеканивать свои удары съ рѣзкимъ упрямствомъ, свѣча тихо кряхтѣла, тараканы успокаивались, хотя, повидимому, упрямство дождя наводило на нихъ грустное раздумье.

Все это слышалъ и глядѣлъ на все это изъ-подъ своего одѣяла одинъ изъ двухъ братьевъ-погодковъ, которые спали въ освѣщенной комнатѣ. Старшаго звали Васей, младшаго—Маркомъ. Въ семействѣ былъ обычай давать шуточные прозвища. У Васи была очень большая голова, которою онъ въ раннемъ дѣтствѣ постоянно стучался объ полъ, поэтому его прозвали Голованомъ. Маркъ былъ некрасивъ и смотрѣлъ нѣсколько исподлобья, отчего получилъ названіе Мордика.

Мордикъ сладко спалъ, а Голованъ уже съ полминуты прислушивался къ шуму дождя.

Онъ былъ большой фантазеръ и часто думалъ о томъ, что происходитъ на свѣтѣ, когда всѣ спятъ: и онъ, и Маркъ, и дѣвочки, и старая нянька,—и значить некому смотрѣть... Неужели комната остается все такая-же, и маятникъ продолжаетъ стучать, хотя его никто не слушаетъ, и свѣча продолжаетъ свѣтить, хотя свѣтить некому, и тараканы только бессмысленно сидятъ на полу, уставившись на огонь?.. Не разъ уже просыпаясь съ этою мыслью, онъ осторожно выглядывалъ изъ-подъ одѣяла... На этотъ разъ онъ самъ не замѣтилъ, когда проснулся, и ему показалось, что, наконецъ-то, онъ застигнетъ комнату врасплохъ. Вотъ уже съ полминуты онъ смотритъ на нее, не шевелясь, полуприщуреннымъ глазомъ, а въ ней все продолжается какая-то особенная, таинственная жизнь, которая прячется обыкновенно, когда на нее смотреть.

Все въ ней живо, удивительно, необычно и страшно... Дождь мечется и злится снаружи, отбиваясь отъ вѣтра, маятникъ спорить съ шумомъ дождя, свѣча уныло кряхтитъ, тараканы хранятъ разумный видъ, какъ будто сейчасъ только разговаривали между собой и рѣшили единогласно, что положеніе свѣчи дѣйствительно жалкое, а дождь буянить совершенно напрасно. Кромѣ того, Вася сознавалъ, что всѣ они вмѣстѣ—вся комната со всѣми предметами—смотрятъ недоброжелательно на дѣтей, которые спятъ, ничего не подозревая, въ своихъ постеляхъ.

Однако было и еще что-то самое страшное, что Голованъ никакъ не могъ уловить. Когда-же онъ раскрылъ совѣмъ глаза и шевельнулся,—все сразу исчезло.

Маятникъ застучалъ тише и безъ особеннаго выраженія, свѣча просто трещала, а не кряхтѣла, комната спохватилась и приняла обычный, будничныи видъ.

А между тѣмъ онъ все же чувствовалъ, что что-то такое странно... въ немъ самомъ, или въ комнатѣ, или, можетъ, отъ этого шума. Нѣтъ, это простой дождь — шумитъ вовсе не громко, точно бормочетъ кто-то вяло и неразборчиво. Что-то струится и каплетъ, точно кто плачетъ подъ стѣной, и чьи-то вздохи проносятся по деревьямъ сада... А въ саду теперь темно межъ деревьявъ, и въ бесѣдку ни одинъ человекъ не рѣшился бы пойти въ полночь, да еще въ дождь. Маркъ хватался разъ, что пошелъ бы, если бъ ему позволили... Но и то, конечно, не въ такую ненастную, бурную ночь...

По спиѣ у Васи пробѣжали мурашки, онъ припалъ къ подушкѣ и завернулся съ головой въ одѣяло.

Тогда ему показалось, что гдѣ-то въ стѣнѣ, или за стѣной, или подъ поломъ происходитъ странное движеніе и говоръ. Слышались чьи-то голоса и шумъ чьихъ-то шаговъ.

Что это такое? Онъ высунулъ голову, чтобы яснѣе слышать, но тогда звуки опять исчезли. Ему казалось, что онъ долженъ бы знать, что это такое, и тогда онъ понялъ бы и то, отчего ему кажется странно. Но онъ забылъ и не можетъ вспомнить, потому что во снѣ ему снилось совсѣмъ другое.

Тогда имъ стала овладѣвать тревога.

— А знаешь, Маркуша, что я скажу тебѣ?—сказалъ онъ вкрадливо, обращаясь къ спящему брату.

Но Маркъ отвѣтилъ только продолжительнымъ храпомъ.

II.

Въ дѣтской существовали нѣкоторыя традиціи. Каждую ночь около часу оба мальчика просыпались и сходились у таза со свѣчой. Это было нѣчто вродѣ ночного клуба, который иногда посѣщался и дѣвочками. Последнее случалось не часто: для этого дѣвочкамъ не достаточно было проснуться во-время,—нужно было еще обмануть бдительность старой няньки, спавшей съ ними въ сосѣдней темной комнатѣ. Если это удавалось, то старшая, иногда при помощи братьевъ, вынимала изъ постельки самую младшую, Шурочку, и обѣ онѣ, жмурясь и протирая глаза, появлялись въ дверяхъ и бѣжали на огонь свѣчи. Тогда тараканы совсѣмъ удалялись отъ таза и только издали сердито уставлялись своими усичами на дѣтвору, которая, какъ и они, выползала изъ угловъ и отвоевывала у нихъ мѣсто.

Тогда начинались долгіе и очень занимательные разговоры. Никогда дѣтямъ не говорилось такъ дружно и хорошо: казалось, тихій ночной часъ придавалъ бесѣдѣ особую прелесть мечты и фантастичности, а общая забота

о томъ, чтобы не разбудить няньку, спланивала мальчиговъ и дѣвочекъ въ тѣсный кружокъ ночныхъ заговорщиковъ.

Впрочемъ, дѣвочки говорили очень мало: онѣ прихватывали съ собой одѣяла, простыни, платья и напяливали все это на себя, какъ попало. Старшая помогала младшей, а та безпрекословно повиновалась. Чѣмъ эта костюмировка бывала недѣльнѣе, тѣмъ больше доставляла наслажденія. Въ особенности, если удавалось прихватить нянькины башмаки и ея красный, съ большими цвѣтами, головной платокъ, тогда обѣ дѣвочки замирали въ молчаливомъ самосозерцаніи. Протянувъ ножонки въ огромныхъ башмакахъ, не шевели головой въ фантастическомъ уборѣ, Шура сидѣла солидно и молча, а старшая, Маша, дѣлала какія-то гримасы. Она воображала себя большою дамой, а мальчики въ одиѣхъ рубашонкахъ казались ей кавалерами во фракахъ.

Старая нянька много воевала съ этою привычкою, но окончательно побѣдить ее не могла. Путемъ многихъ столкновений между обѣими сторонами установилось нѣчто вродѣ компромисса. Никто не имѣлъ права будить другихъ. Но, проснувшись самостоятельно, мальчики могли сходитьсь у таза, лишь бы вести себя тихо. Съ дѣвочками исторія была сложнѣе. Заслышавъ малѣйшій шорохъ въ ихъ кроваткахъ, нянька, какъ-то даже не давая себѣ труда окончательно проснуться, схватывала бѣглинку и укладывала обратно. Тогда дѣло считалось проиграннымъ и вторичная попытка—нечестной. Пойманная вскорѣ засыпала.

Но если бѣглинкѣ удавалось уже сойти на полъ и добѣжать до порога, тогда нянкѣ приходилось махнуть рукой. Когда она пускалась въ погоню, подымался страшный ревъ, мальчики вскакивали и бѣжали на защиту, крича, что Маня уже вошла въ ихъ комнату, что нянька почему-то „не имѣетъ права“, и т. д. Происходилъ страшный кавардакъ, и обѣ воюющія стороны подвергались опасности высшаго вмѣшательства. Бѣда, если шумъ достигалъ до слуха отца. Но если даже одна мать замѣчала возню въ дѣтской, она на слѣдующее утро призывала дѣтей и няньку.

— Что у васъ тамъ было опять?—спрашивала она съ выраженіемъ неудовольствія, которое огорчало всѣхъ даже больше отцовскаго гнѣва.—Никогда больше не смѣйте собираться у свѣчки!—говорила она дѣтямъ и тотчасъ же, обратясь къ нянкѣ, прибавляла:—И вѣчно ты... старая.

Эти послѣднія слова почему-то совершенно уничтожали въ глазахъ дѣтей смыслъ перваго запрещенія.

— Ну, что взяла, с-а-старая! тихо, но съ необычайною

азвительностью дразнили они ее, возвращаясь гурьбой въ дѣтскую. Нянька сердито возражала:

— Вѣчно мнѣ за васъ достанется, за баловниковъ.

— А ты зачѣмъ поймала ее въ нашей комнатѣ?

— Неправда, я ее схватила въ темной, а она вырвалась.

— Ахъ, неправда! Вотъ уже неправда!—горячо протестовала Маша.—Вовсе я была уже за порогомъ.

Нянькѣ приходилось сдаться, тѣмъ болѣе, что съ просонокъ она, по совѣсти, не могла утверждать точно, гдѣ именно схватила бѣглянку. Вообще разбирательство возвращало весь вопросъ на почву компромисса, который опять укрѣплялся и который дѣти исполняли вообще довольно честно.

III.

Теперь Вася хитрилъ: онъ показывалъ видъ, что не будитъ Марка, а считаетъ его проснувшимся.

— Знаешь, что я скажу тебѣ?

Но отвѣтомъ былъ лишь вздохъ и сонное бормотанье. Старуха тоже бормотала въ сосѣдней комнатѣ. Дождь все лилъ, хотя немного тише. Теперь яснѣ слышались струйки, падавшія съ крыши и съ водосточныхъ трубъ.

Глаза Голована стали невольно обращаться къ темной комнатѣ. Онъ всегда удивлялся, какъ это дѣвочки не боятся спать въ темнотѣ, въ которой ему всегда чудились странныя фигуры. Нѣкоторыя изъ этихъ фигуръ были ему давно знакомы и теперь начинали уже роиться, хотя еще не были видны. Казалось, пока только еще шевелится сама темнота, переполненная начинающими опредѣляться призраками.

Тихое всхрапываніе няньки вспугивало ихъ, они вздрагивали, смѣшивались и исчезали, но тотчасъ же возникали опять, каждый разъ съ большею настойчивостью.

Это было очень мучительно, и Головану становилось даже легче, когда, наконецъ, они появлялись яснѣе...

Прежде другихъ появился, какъ и всегда, высокій щеголеватый господинъ, весь въ зеленомъ, съ ослѣпительно бѣлыми воротничками и манжетами. Лица у него не было, и это-то казалось особенно страшно. Кромѣ того, онъ не имѣлъ выпуклостей, а какъ-то странно отграничивался отъ темноты, какъ будто темная пустота просто окрасилась въ зеленый цвѣтъ. Иногда же Васѣ казалось, что господинъ вырѣзанъ изъ зеленого и блага картона, что не мѣшало ему прохаживаться очень чопорно и съ большою важностью „фигурять“, какъ выражались дѣти, которымъ Вася днемъ передразнивалъ его походку.

Въ первыя мгновенія зеленый господинъ появился въ глубинѣ комнаты, чуть видный. Онъ проходилъ по круговой линіи, точно его кто передвигалъ на пружинѣ, скрывался въ лѣвомъ углу и мгновенно опять появился у правой стороны, чтобъ опять пройти по кругу, но уже ближе и яснѣе. Тогда-то Вася начинать его бояться. Сначала онъ старался не видѣть зеленого господина, потомъ съ извѣтельною ироніей увѣрялъ себя, что господинъ вырѣзанъ изъ картона. Но когда онъ подходилъ каждый разъ все ближе, Васѣ становилось все страшнѣе: а что, если у него окажется лицо, и онъ взглянетъ прямо? Тогда уже придется окончательно отказаться отъ предположеній о картонѣ...

Вмѣстѣ съ тѣмъ, около зеленого господина начинало шевелиться еще что-то маленькое и безпокойное. Оно уже вовсе не имѣло никакой формы и казалось просто комкомъ темноты, которая копошилась и производила разныя движенія, смѣшныя на видъ, но, въ сущности, страшныя. Вася подозрѣвалъ тутъ враждебную хитрость: сначала кажется смѣшнымъ, чтобы привлечь вниманіе, а потомъ вдругъ и у *этого* окажется лицо,—что тогда?

Окликнувъ еще разъ Мордика и опять не получивъ отвѣта, Голованъ рѣшилъ, что если онъ будетъ все лежать и смотрѣть въ темноту, то ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ. Нужно было отряхнуться отъ душевнаго застоя, изъ котораго возникалъ кошмаръ, поэтому онъ всталъ и подошелъ къ свѣчкѣ. Тараканы, торопливо сѣменя ножками, перебѣжали на другую сторону таза.

Это заняло Голована на время, потомъ онъ сталъ прислушиваться къ шуму дождя.

Дождь замѣтно потерялъ силу. Шопотъ его то стихалъ, то опять повышался, точно сонное дыханіе. За то подымался вѣтеръ, пробѣгалъ по вершинамъ деревьевъ, и тогда слышался рѣзкій шелестъ. Вася представлялъ, какъ деревья клонятся среди ночной темноты и лепечуть листвою; но потомъ онъ говорилъ себѣ, что это вовсе не деревья и не вѣтеръ, а гигантскій листъ бумаги кто-то ворочаетъ на дворѣ, отчего и слышенъ шелестъ. Ему очень нравилось, что тотчасъ же выходило именно такъ, и даже самый звукъ мѣнялся и, вмѣсто шороха влажной листвы, слышалось сухое шуршаніе бумаги. Потомъ онъ опять мѣнялъ предположеніе: это среди ночи кто-то сыплетъ зерно изъ громаднаго мѣшка въ гигантскую бочку. И тоже выходило. Когда вѣтеръ стихалъ, Голованъ говорилъ себѣ: „пошелъ за новымъ мѣшкомъ, сейчасъ принесетъ“. И, дѣйствительно, <http://tonas.org> опять слышалось ясно,

какъ зерно сыплется, шуршитъ, падаетъ на дно и бьется о стѣнки.

Хотя отъ этихъ произвольно измѣняемыхъ предположеній ощущеніе, что есть что-то странное въ домѣ, не прошло, но за то Головану удалось забыть о зеленомъ господинѣ. Весь его кругозоръ теперь ограничивался освѣщенной частью пола, тазомъ, свѣчкой и тараканами, дремавшими напротивъ. Это однообразіе наводило и на него дремоту. Отъ пламени свѣчки потянулись лучами къ его глазу золотыя нити; свѣча стала расплываться.

IV.

Но въ эту минуту онъ вдругъ почувствовалъ, что теперь онъ не одинъ въ комнатѣ. Онъ вздрогнулъ, обернулся и увидѣлъ, что Маркъ стоитъ на своей кровати, опершись о стѣнку, и смотритъ передъ собой такимъ взглядомъ, точно онъ не совсѣмъ еще проснулся. Но когда Вася радостно обратился къ нему, онъ тотчасъ вспомнилъ, что днемъ они поссорились изъ-за колоды картъ. Поэтому онъ быстро легъ въ кровать и уткнулся въ подушку. Васю это огорчило.

— Ты развѣ не пойдешь къ свѣчкѣ?—спросилъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Не пойду!—рѣшительно отвѣтилъ Маркъ.

— Отчего?

— Ага, отчего? А карты помнишь?..

— Ну, выходи, завтра отдамъ.

— Врешь?

— Право, отдамъ. И еще дамъ трубу, играть до обѣда.

— Ей-Богу?

— Ну, ей-Богу.

— Скажи три раза.

— Оставь.

— Нѣтъ, скажи три раза, а то сейчасъ засну.

Въ душѣ Васи подымалась глухая досада: развѣ мало одной клятвы? Но Маркъ былъ задира и иногда любилъ поломаться, а теперь, вдобавокъ, вымещалъ вчерашнюю досаду, сознавая, что Голованъ въ его рукахъ и исполнить его безцѣльное требованіе. Дѣйствительно, покраснѣвъ отъ стыда, Вася скороговоркой произнесъ трижды: „ей-Богу, дамъ карты“.

Тогда Мордикъ вылезъ изъ кровати и подошелъ къ свѣчкѣ, къ большой радости брата.

Обыкновенно Вася просыпался первымъ, и промежутки одиночества казались ему ужасно долгимъ. Пока онъ старался не глядѣть никуда ~~не сторонясь и ни~~ о чемъ не думать,

кромѣ свѣчи, таракановъ и таза,—ему казалось, будто кто-то склоняется надъ нимъ, кто-то ходитъ сзади, кто-то глядитъ на него и дышитъ. Воображеніе чутко настраивалось, и онъ чувствовалъ себя совершенно одинокимъ въ освѣщенномъ пространствѣ, точно это была вершина горы, а кругомъ раскинулась темная и враждебная бездна.

За то, когда неробкій и положительный Маркъ подходилъ къ свѣту, призраки тотчасъ же исчезали, и воображеніе направлялось въ другую сторону: теперь въ немъ являлись другіе образы, болѣе спокойные и доставлявшіе Васѣ величайшее наслажденіе. По большей части это были рассказы изъ семейныхъ преданій, которые Голованъ схватывалъ изъ отрывочныхъ воспоминаній матери и отца въ какомъ-нибудь бѣгломъ разговорѣ съ гостями, въ залѣ. Онъ ловилъ эти отрывки съ безсознательною жадностью, и въ ночные часы, у свѣчки, когда напуганное призраками воображеніе нѣсколько успокаивалось, странное вдохновеніе охватывало юнаго сказочника: обрывки семейныхъ преданій соединялись въ стройное цѣлое непонятнымъ для него самого образомъ. Какъ это выходило, онъ не зналъ. Онъ не зналъ также, откуда брались нѣкоторыя подробности, которыхъ никто ему не рассказывалъ, но только онъ былъ увѣренъ, что все это истинная правда. Онъ говорилъ легко и свободно о томъ, что было съ отцомъ и матерью, „когда насъ еще не было“, а порой— что было и съ нимъ самимъ, когда его еще не было. Мать и отецъ въ этихъ рассказахъ, правда, и самому Васѣ, и его слушателямъ казались не совсѣмъ такими, какъ теперь. Они были тѣ же, но немножко иные. Вѣдь, въ сущности, все должно было быть немножко иное, „когда насъ не было“. Трудно, напримѣръ, представить себѣ, что мама когда-то была такая же маленькая, какъ Шура, и играла куклами, а папа— было время—вовсе не ѣздилъ въ должность, а скакалъ верхомъ на палкѣ, въ бумажномъ колпакѣ. Это было такъ странно и удивительно, что дѣвочки хохотали, а самая младшая хлопала даже въ ладоши, рискуя разбудить няньку. Послѣ этого ничто уже не казалось удивительнымъ, и Голованъ свободно распоряжался событіями этого міра, съ которыми дѣти свыкались, какъ свыкаешься, глядя въ цвѣтныя стеклышки, съ тѣмъ, что небо кажется краснымъ, и деревья тоже, и красный кучеръ погоняетъ красную лошадь, при чемъ красныя колеса поднимаютъ красную пыль по дорогѣ... У мамы былъ тогда большой козелъ, который всѣхъ убивалъ на смерть рогами, а мама водила его на ленточкѣ, какъ собачонку. И когда папа задумалъ жениться на мамѣ, то мамѣ было еще

только четырнадцать дѣтъ, и козель чуть не убилъ папу на смерть. Но папа всетаки укралъ маму изъ окна и женился. А потомъ, когда Васи былъ уже на свѣтѣ, маму хотѣли у папы отнять, отдать въ монастырь и чтобъ они опять были не женаты, а Васи тогда опять не было бы, потому что у неженатыхъ никогда не бываетъ дѣтей. И все это онъ помнить. Ему кажется также, что онъ помнить, какъ папа украдывалъ маму изъ окна. Онъ въ это время привсталъ въ кроваткѣ. Отецъ разъ назвалъ его за этотъ рассказъ дуракомъ. Когда же онъ рассказаль, какая была кроватка, и гдѣ она стояла, и какая была комната, то отецъ назвалъ его дуракомъ вторично, потому что его тогда не было на свѣтѣ, а въ кроваткѣ, которую онъ описываетъ, спала сама мама, когда еще была маленькой дѣвочкой, и комната была та, гдѣ мама жила дѣвочкой, а отецъ женился на ней въ другомъ городѣ. И должно быть мама ему рассказывала о своей комнатѣ, а онъ теперь вретъ, что самъ ее видѣлъ. Все выходило какъ будто и такъ, и отецъ оказывался правъ; но Вася съ горечью думаль про себя, что взрослые всегда оказываются правы, а въ сущности это не такъ: стоило ему зажмурить глаза, и предъ нимъ являлась какая-то комната, и окно, и папа несетъ изъ окна маму. При этомъ луна свѣтила какъ-то странно, потому что и луна была, конечно, немножко иная, какъ и люди.

Все это и многое другое оживало ночью, и каждый разъ, всматриваясь въ эти картины, Вася открываль въ нихъ все новыя подробности. Каждый разъ новооткрытая мелочь сродсталась съ прежними такъ крѣпко, что при слѣдующемъ рассказѣ ее уже нельзя было отдѣлнить, и Васѣ казалось, что онъ все это непременно видѣлъ и помнить. Это обстоятельство подавало иногда поводъ къ недоразумѣнιάмъ: Маркъ, скептический и положительный, напоминаль порой, что раньше Вася рассказываль иначе, и начиналь утверждать, что все это враки и „не можетъ быть“. Вася страдалъ и старался смягчить Марка мягкостью и заискиваніемъ; но иногда это не дѣйствовало, и Мордикъ, со свойственными ему упрямствомъ и жестокостью, начиналь отрицать все. Во-первыхъ, онъ утверждалъ, что онъ всетаки былъ бы, если бы даже папу съ мамой сдѣлали опять неженатыми. Онъ всетаки былъ бы себѣ, да и только, знать бы ничего не хотѣлъ... Мало ли что!.. Потомъ онъ говорилъ, что Вася не видалъ, какъ папа украдываль маму черезъ окно, потому что Васи тогда не было; папа съ мамой были еще не женаты, а самъ же Вася говорить, что у неженатыхъ не бываетъ дѣтей. Потомъ онъ шель

еще дальше и подвергалъ сомнѣнію самый фактъ „украденія“. Женятся всегда днемъ и выходятъ прямо въ двери; онъ видѣлъ, какъ на сосѣднемъ дворѣ женился лакей. Онъ сошелъ съ крыльца и сѣлъ на извозчика, а горничная, которая тоже съ нимъ женилась, сѣла въ барскую коляску.

— Ну, врешь... ну, вотъ и врешь! — горячо вступалась за Васю Маша. — Я сама слышала, папа говорилъ въ гостиной, что мама — краденая и что ее хотѣли отнять.

— Нѣтъ, не краденая... нѣтъ, не краденая! — упрямо твердилъ Мордикъ.

— Значить, по-твоему, папа солгалъ, скажи: солгалъ? — наступала горячо Маша.

— Папа смѣялся, а вы, дураки, вѣрите!.. Что взяла?.. И козла не было, — все это однѣ выдумки и враки и не можетъ быть...

— Нѣтъ, не враки, нѣтъ не „не можетъ быть“, а ты — противный спорщикъ, гадкій Мордикъ!..

— Враки, враки, враки!.. — твердилъ Маркъ съ холоднымъ озлобленіемъ.

— Не враки, не враки, не враки!.. — старалась переспорить его Маша, а маленькая Шура, всегдашняя сторонница сестры, начинала плакать.

Шумъ будилъ наньку... Но если даже этого не случалось, бесѣда все-же была совершенно испорчена. Дѣти въ эту минуту ненавидѣли Мордика, какъ и тогда, когда они съ трудомъ возводили карточные домики, а онъ упрямо стрѣлялъ въ нихъ каждый разъ изъ угла бумажными шариками.

Фантастическіе домики Голована тоже рушились отъ скептическаго прикосновенія, и дѣти расходились отъ свѣчки въ кислому и охлажденному настроеніи. Вася огорчился до слезъ, тѣмъ болѣе, что онъ понималъ, въ сущности, что Мордикъ, пожалуй, правъ. Но только дѣло-то не въ этомъ. И Вася тоже правъ, и онъ вовсе не лунь. И потому: какъ же не было козла, когда козелъ былъ навѣрное, и мама сама говорила?..

V.

Подойди теперь къ свѣчѣ, Маркъ первымъ дѣломъ изловчился и щелкнулъ одного изъ таракановъ такъ ловко, что тотъ нѣсколько разъ перевернулся въ воздухѣ и, какъ шальной, побѣжалъ въ уголь.

Маркъ держался смѣло и свободно. Не особенно красивые черты производили впечатлѣніе увѣренности и нѣкоторой положительности. Вася былъ любимцемъ матери, Маркъ — отца,

который любилъ его за положительность и храбрость. Онъ не боялся темной комнаты, не боялся холодной воды, кидался въ рѣку такъ-же свободно, какъ и взбирался на полоть жарко натопленной бани. Между тѣмъ, воображеніе у Васи настраивалось уже заранѣе; заранѣе онъ пожимался отъ холода, и отъ этого, казалось, самая кожа дѣлалась у него чувствительнѣе; онъ дрожалъ отъ холода тамъ, гдѣ Марку было только прохладно, и обжигался тогда, когда Маркъ утверждалъ, стоя во весь ростъ на полкѣ, что ему „ничего не жарко“. Впрочемъ, исключая случаевъ, вродѣ вышеприведеннаго, братья были очень дружны и понимали другъ друга съ полуслова, а иногда и безъ словъ.

— Ну, что, видѣлъ опять?—спросилъ Мордикъ.

— Зеленаго?—видѣлъ.

— Врешь, я думаю.

— Ей-Богу, видѣлъ.

— Ну?

— Ничего не лгу! Видѣлъ, больше ничего... Безъ лица.

— Изъ бумаги?

— Какъ будто... не надо говорить.

— Вотъ глупости! Я не боюсь. Чего же бояться, если онъ изъ картона? Ну, ты, зеленый, выходи!—храбрился онъ, повернувшись къ дверямъ. Однако, видъ черной темноты подѣйствовалъ и на него; онъ отвернулся и добавилъ уже тише:— Я бы его разодралъ, больше ничего.

Вася поспѣшилъ перемѣнить разговоръ.

— А тебѣ кажется странно?—спросилъ онъ.

Мордикъ подумалъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, кажется. А тебѣ?

— И мнѣ кажется. Отчего бы это?

— Оттого, что... на дворѣ вѣтеръ, — сказалъ Мордикъ, прислушиваясь къ шелесту листьевъ.

— И дождь шелъ большой. И теперь еще идетъ, но поменьше. Но это не оттого. А кажется тебѣ,—живо прибавилъ онъ,—что это шелестятъ листомъ бумаги... о-о-огромнымъ?

Мордикъ прислушался и сказалъ:

— Нѣтъ, не кажется.

— А кажется тебѣ, что это сыплоть зерно въ бочку?

Мордикъ опять послушалъ.

— Вовсе не кажется, потому что это вѣтеръ.

— А мнѣ иногда кажется. Но, всетаки, сегодня странно не отъ этого.

— А отчего?

— Не знаю. Зналъ, да забылъ. Теперь не знаю.

— И я не знаю.

Оба помолчали.

Въ это время на другой половинѣ дома, отдѣленной длиннымъ корридормъ, скрипнула быстро отворенная дверь. Ей отозвалась въ дѣтской оконная рама, пламя свѣчи колыхнулось, и дверь опять захлопнулась.

— Слышалъ?—спросилъ Вася.

— Да, слышалъ... Пстой-ка.

Дѣйствительно, въ нѣсколько мгновеній, пока дверь открывалась и закрывалась, съ другой половины донеслись какимъ-то комкомъ смѣшанные звуки. Очевидно, тамъ не спали, и, пожалуй, не ложились всю ночь. Чей-то голосъ требовалъ воды, кто-то даже голосилъ и плакалъ, кто-то стоналъ... При послѣднемъ звукѣ у мальчиковъ сердца забились тревожно.

— Знаешь, что это тамъ?—живо спросилъ Вася.

— Знаю. У мамы скоро родится дѣвочка.

— А можетъ мальчикъ.

— Н-ну... можетъ и мальчикъ.

Мордикъ помнилъ два случая рожденія, и оба раза это были дѣвочки. Потому, ему и теперь казалось, что должна родиться непременно дѣвочка. Впрочемъ, такъ какъ онъ помнилъ рожденіе дѣвочекъ, а своего и Васина не помнилъ, то порой ему приходила въ голову неосновательная идея, что рождались только дѣвочки, потому было время, когда ихъ вовсе не было. А они, мальчики, никогда не родились и всегда были. Онъ не особенно вѣрилъ самъ въ эту теорію, но она возвышала его въ собственномъ мнѣніи и давала преимущество передъ дѣвочками, которыя тоже хотѣли бы „всегда быть“, но должны были смириться передъ недавностью факта рожденія Шуры.

— Вотъ отчего и кажется странно...—сказалъ опять Вася.

— Вре-ешь...—протянулъ было Мордикъ, но потомъ согласился:—а пожалуй, твоя правда.

— Конечно, отъ этого. Видишь, тамъ никто не ложился. И потомъ, вѣдь, это всегда бываетъ странно...

Оба задумались.

— Вдругъ не было дѣвочки, вдругъ есть...—сказалъ Голованъ.

— Да,—повторилъ и Мордикъ,—вдругъ не было, вдругъ есть... Странно: откуда берутся?... Пстой, я знаю,—поторопился онъ съ открытіемъ:—подкидываютъ!

Объясненіе было просто, но не удовлетворительно.

— Нѣтъ,—сказалъ Голованъ.

— Отчего это нѣтъ?

— Оттого что.. оттого... вотъ отчего нѣтъ: потому что откуда же тотъ человѣкъ возьметъ, который подкинеть?

— Онъ у другого.

— А другой?

— Еще у кого-нибудь.

— А еще кто-нибудь гдѣ возьметъ?

— Н-не знаю... Няня говорить: меня подъ лопухомъ нашли.

Пустяки, я думаю.

— Конечно, глупости. Кто туда положить ребенка? И насчетъ золотой нитки... будто на золотой ниткѣ спускають, — тоже глупости.

— Ужъ эта старая скажетъ!.. Ну, а какъ по-твоему: откуда?

— Конечно, съ того свѣта.

Мордикъ задумался. Мысль показалась ему очень простой и ясной... Понятно: на этотъ свѣтъ попадають съ того свѣта.

— Ну, а какъ?

— Можетъ быть, приносятъ ангелы.

— Ангеловъ, можетъ, еще и нѣтъ.

— Ну, ужъ это ты не говори. Это грѣхъ. Ужъ это всѣ знаютъ, что есть.

— А дядя Михайль...

— Мало ли что. Когда люди видѣли...

— Кто видѣлъ?

— Многие видѣли. Я тоже видѣлъ... во снѣ...

— Какой онъ?

— Бѣлый-бѣлый. Летѣлъ отъ сада Выговскихъ, все съ дерева на дерево, а потомъ перелетѣлъ черезъ огородъ, черезъ площадь. А я смотрю, гдѣ онъ сядетъ. Сѣлъ на крышу на лавчонкѣ Мошка и сталъ трепыхать крыльями. Потомъ снялся и полетѣлъ далеко-далеко.

— Хорошо летаетъ?

— Отлично. Я потомъ говорю Мошку: я видѣлъ во снѣ, что на твоей крышѣ сидѣлъ ангелъ.

— А Мошко что?

— А Мошко говорить: ай-вай, какая важность! У меня каждый шабашъ бывають въ домѣ ангелы, а черти насадутъ на крышу; все-равно какъ галки на старую топюлю...

— Хвастаетъ.

— Н-нѣтъ, едва-ли. У евреевъ многое бываетъ. А помнишь Юдка?

VI.

Юдка былъ огромный жидъ, съ громадною бородой и страшными полупомѣшанными глазами. Онъ разносилъ по домамъ

лучшіе сорта муки и продавалъ ее въ розницу. Отмѣривъ муку гарницами, онъ потомъ прикидывалъ еще по щепоткѣ— „для дѣтокъ, для кухарки, для няньки, для кошки, для мышки“. При этомъ его борода тряслась, а глаза вращались въ орбитахъ. Какъ только его громадная фигура съ мѣшкомъ на согнутой спинѣ являлась въ воротахъ, дѣтми овладѣвало ощущеніе ужаса и любопытства. Они дрожали передъ Юдкой, но не могли себѣ отказать въ удовольствіи посмотрѣть, какъ Юдка будетъ прикидывать „на кошку, на мышку“. Онъ ходилъ каждую недѣлю и каждый разъ производилъ на дѣтей чрезвычайно сильное впечатлѣніе.

Какъ-то однажды Юдка вдругъ исчезъ и не являлся нѣсколько недѣль. И мать, и дѣти сильно недоумѣвали и думали, что старый жидъ умеръ. Оказалось другое, а именно: въ судный день Юдку схватилъ жидовскій чортъ, извѣстный въ народѣ подъ именемъ Хапуна. На кухнѣ разсказывали исторію со всѣми подробностями. Въ судный день евреи собираются къ вечеру въ синагогу, оставляя „патынки“ (туфли) у входа. Потомъ зажигаютъ множество свѣчей, закрываютъ глаза и начинаютъ жалобно кричать отъ страха. Въ это время Хапунъ на нихъ налетаетъ, какъ коршунъ, и хватаетъ одного. Потомъ, когда выходятъ изъ синагоги, всѣ разбираютъ свои патынки, но одна пара всегда остается. Въ этотъ разъ остались громадныя патынки стараго Юдки, а потому всѣ узнали, что Юдку схватилъ Хапунъ.

Потомъ Юдка вдругъ опять появился, но онъ хромалъ и казался разбитымъ, а дѣти его стали бояться еще больше. Оказалось, что Юдку спасъ его пріятель, мельникъ изъ Кодни. Мельникъ этотъ вышелъ вечеромъ на свою греблю и стоялъ спокойно, почесывая брюхо и слушая, какъ вода шумитъ въ лотокахъ и бугай бухаетъ въ очеретахъ. А вечеръ былъ ясный. Вдругъ видитъ: летитъ „какое-то“ по небу. Присмотрѣлся, а это Хапунъ тащитъ огромнаго жида. Ну, думаетъ мельникъ, другого такого крупнаго жида не найти. Не иначе только Хапунъ моего покупателя, стараго Юдку, на этотъ разъ сцапалъ. Конечно, если бы не то, что Юдка всегда бралъ у мельника муку, никогда мельникъ не сталъ бы вмѣшиваться въ это дѣло. Но тутъ онъ-таки пожалѣлъ стараго знакомаго. Поэтому, затопавъ ногами, онъ крикнулъ вдругъ во весь голосъ: „Кинь, это мое!“ Хапунъ выпустилъ ношу и взвился вверхъ, трепыхая крыльями, какъ молодой шулякъ, по которому выстрѣлили изъ ружья (голосъ у коднинскаго мельника-таки мое почтеніе!). А бѣдный жидъ со всего размаху шлепнулся на греблю и сильно расшибся.

Юдка былъ налицо, и всѣ видѣли, что онъ, дѣйствительно, хромалъ послѣ этого происшествія. Поэтому и Мордикъ не сталъ спорить: дѣйствительно, у евреевъ многое бываетъ. Кромѣ того, напоминаніе объ Юдкѣ и вообще разсѣяло въ немъ зачатки скептическаго упрямства.

— Да, такъ вотъ тогда Мошко много мнѣ рассказывалъ... и то, какъ родятся дѣти.

— Ну?

— Онъ говорить, у Бога есть два ангела: одинъ вынимаетъ изъ людей душу, а другой приносить новыя души съ того свѣта. Вотъ когда надо у кого-нибудь родиться ребенку, та женщина дѣлается больна.

— Отчего?

— А оттого, что Богъ посылаетъ обоихъ ангеловъ: маршъ оба на землю къ такимъ-то людямъ и ждите моего приказа. Если на тѣхъ людей Богъ не сердится, то говорить: положите ребенка около матери и ступайте оба назадъ. Тогда мать опять выздоравливаетъ. А иногда говорить: возьми ты, смерть, душу у матери. И тогда мать умираетъ. А иногда говорить: возьми и мать, и ребенка, — тогда оба умираютъ.

— А знаешь что, — добавилъ Голованъ: — можетъ это и правда, потому что всегда боятся, когда надо ребенку родиться, и мама недавно говорила: а можетъ, я умру.

— А тетя Катя и умерла.

— Ну, вотъ видишь.

— Должно быть, этотъ ангелъ страшный?

— Нѣтъ, зачѣмъ... я думаю, не очень страшный. Вѣдь, онъ не по своей волѣ. Думаешь, ему очень пріятно, когда черезъ него всѣ плачутъ? Да что-жъ ему дѣлать? Богъ велитъ, — онъ долженъ слушаться. Онъ, вѣдь, не отъ себя.

— А замѣтилъ ты, послѣ того, какъ Катя умерла, какіе у Генриха глаза стали?

— Темные.

— Нѣтъ, не темные, — большіе.

— Большіе и темные. И никогда онъ съ нами такъ не шалитъ, какъ бывало.

— И все ссорится и спорить съ Михаиломъ.

— Я знаю, отчего онъ сердится. Я слышала, какъ они сильно ссорились. Михаилъ говорилъ: когда человѣкъ умретъ, то изъ него сдѣлается порошокъ, и человѣка нѣтъ вовсе. А Генрихъ говорить, что человѣкъ уходитъ на тотъ свѣтъ и смотритъ оттуда, и жалѣетъ...

— Такъ что? за-что жъ тутъ сердиться?

— Э! видишь: если изъ / человека сдѣлается порошокъ, то,

значить, и изъ Кати тоже. А онъ этого не хочеть... Онъ ее любить.

— Какъ же любить, когда ее нѣту?..

— Любить...

Оба помолчали. Такъ какъ ни одному изъ нихъ не приходило въ голову снять со свѣчи, то она нагорѣла такъ сильно, что фитиль сталъ словно грибокъ. Придавленное пламя тинулось кверху языками, точно вѣтки дерева съ обстриженной верхушкой; отъ этого освѣщенное пространство стало еще ограниченнѣе. Не было видно ни стѣнъ, ни потолка, ни оконъ. Темнота шатромъ нависла надъ мальчиками, и шатеръ этотъ вздрагивалъ и колебался. А плескъ дождевыхъ капель и шорохъ деревьевъ теперь, казалось, проникли въ самую комнату и раздавались въ ея темнотѣ. И оба мальчика чувствовали, что такой странной ночи не было еще никогда.

Теперь оба уже уяснили себѣ содержаніе этого ощущенія странности. Нездоровье матери и ея предчувствіе, тревожная нѣжность отца, воспоминаніе о смерти тети Кати, потому что необычайное движеніе, говоръ и топотъ шаговъ на той половинѣ, и чей-то плачь, и чьи-то стоны, — все это было сведено къ одному и получило форму. Несмотря на сомнительный авторитетъ лавочника Мошка, даже скептической Маркъ не находилъ возраженій противъ теоріи, только-что развитой Голованомъ. Новая жизнь готовилась войти въ ихъ домъ, а идущая съ ней объ руку смерть простерла надъ домомъ свои темныя крылья; вмѣстѣ съ слабымъ стономъ матери, ея вѣяніе пахнуло въ дѣтскія души состраданіемъ и ужасомъ.

— Слушай! — тихо сказалъ Маркъ.

— Что? — еще тише спросилъ Вася.

Маркъ наклонился къ нему, какъ будто боясь, чтобы звукъ его словъ не проникъ туда, за темный куполъ надъ ихъ головами.

— Слушай... вѣдь если это правда, то, значить, оба они...

— Да... гдѣ-нибудь тутъ... — Оба почувствовали внезапную дрожь.

— Разбудимъ дѣвочекъ.

— И няньку... ступай разбуди.

— Я... боюсь.

— И... и я тоже, — признался безстрашный Маркъ.

Оба брата инстинктивно подвинулись другъ къ другу и свѣчкѣ. Темнота, до сихъ поръ нависавшая сверху, теперь поглотила и печку, и стѣну, и кровати, и сосѣднюю комнату съ дѣвочками и нянькой, и даже само воспоминаніе о нихъ

отодвинулось куда-то далеко. А шорохъ и шопоть окончательно вошли со двора, и кто-то тихо говорилъ надъ головами двухъ братьевъ что-то непонятное, но очень важное.

Такъ прошло нѣсколько минутъ. Можетъ быть, прошло бы и больше, если бы Марку не пришлось въ голову снять нагарь со свѣчки. Но какъ только онъ сдѣлалъ это, пламя сразу выровнялось, куполь надъ головами быстро раздвинулся, открывая потолокъ, стѣны, знакомую старую печку съ задымленнымъ отдушникомъ, кровати съ измятыми подушками и брошенными на полъ одѣялами и дверь въ сосѣднюю спальню дѣвочекъ. вмѣстѣ съ тѣмъ шорохъ ушелъ изъ комнаты и, вмѣсто важнаго голоса, слышался плескъ разрозненныхъ струекъ на дворѣ.

— Пойду, разбужу, — сказалъ Мордикъ, подымаясь и направляясь въ комнату дѣвочекъ. — Нянька, нянька, вставай! — тормошилъ онъ старуху.

Нянька быстро съѣла на своей постели, съ выпученными, удивленными глазами.

— А что? Развѣ уже? — спросила она испуганно. — Ахъ я, старая, проспала!

Она поправила на головѣ кичку, изъ-подъ которой выбились сѣдые космы, и, быстро надѣвъ башмаки, накинула на плечи свитку.

— Кышъ у меня!.. Сидите отъ-туть смирно. Я скоро приду.

И старуха торопливо вышла въ корридоръ. Вскорѣ ея шаги смолкли, и Маркъ смотрѣлъ на брата въ печальномъ разочарованіи.

— Ушла!.. Вотъ дура! — сказалъ онъ.

— Да, лучше было не будить. Какъ же теперь мы одни?

— Разбудимъ дѣвочекъ.

Но дѣвочки, разбуженныя возней, проснулись сами.

Слышно было, какъ старшая помогаетъ младшей выбраться изъ кровати; и вскорѣ обѣ онѣ появились въ дверяхъ, держась за руки.

— Здравейте, судари, вотъ и мы! — сказала Маша весело и немного жеманясь. Замѣтивъ, что няньки нѣтъ, она говорила радостно и громко.

— Тише, дура! — оборвалъ ее Маркъ. — У мамы родится новая дѣвочка, а ты тутъ кричишь...

— Тише, всѣ! — сказалъ старшій, къ чему-то прислушиваясь. Дѣвочки смирно усѣлись около свѣчи и тоже смолкли.

VII.

Дождь, очевидно, совсѣмъ пересталъ. Прежній непрерывный шумъ разорвался, и изъ-за него яснѣе выступили даль-

ніе звуки: колыханіе древесныхъ верхушекъ, лай сонной собаки и еще какой-то тихій гулъ, который, начавшись гдѣ-то очень далеко, на самомъ краю свѣта, теперь понемногу выросталъ и подкатывался все ближе.

— Кто-то ѣдетъ,—сказалъ Мордикъ.

— Далеко, въ городъ...

Среди сна и тишины ночи, нарушаемой только плескомъ воды изъ водосточныхъ трубъ да шелестомъ вѣтра, этотъ одинокій звукъ колесъ невольно приковывалъ вниманіе. Кто ѣдетъ, куда, въ эту странную ночь?.. Вася задумался. Ему представилась въ отдаленіи катящаяся по темнымъ и пустымымъ улицамъ маленькая коляска, непременно маленькая, съ маленькими кованными колесиками, потому что и этотъ мелодичный рокотъ казался маленькимъ и тихимъ, хотя долеталъ ясно. Маленькія лошадки быстро отбиваютъ дробь копытами по мостовой, и маленькій кучеръ заноситъ руку съ кнутомъ. Кто-же это ѣдетъ въ поздній часъ по улицамъ спящаго города?

Колеса рокотали, катились ближе, быстрее... Потомъ шумъ сразу оборвался, и послышалось только тихое тархтѣніе по мокрой немощенной дорогѣ; то дызгъ обода о камешекъ, то скрипъ деревяннаго кузова прорывались время отъ времени и каждый разъ все ближе.

— Полеми ѣдетъ... къ намъ,—сказалъ Мордикъ.

Домъ стоялъ на краю города, рядомъ съ широкимъ пустыремъ, заросшимъ бурьянами и травой. Кто-же это могъ ѣхать къ нимъ ночью, да еще въ такую ночь, когда все такъ странно и у нихъ долженъ родиться ребеночекъ? И сразу этотъ стукъ подъѣзжавшаго экипажа присоединился ко всему, что было необычно, что творилось у нихъ только въ одну эту ночь...

Затаивъ дыханіе, дѣти слушали, какъ отворились ворота, какъ колеса шуршать по двору и подъѣзжаютъ къ крыльцу. Послѣ этого суетня усилилась, участилось хлопанье дверей и движеніе на той половинѣ.

— Это привезли ребеночка?—спросила Маня.

— Молчи!..

Вася прислушался, и въ его воображеніи рисовалась странная картина: ангелы выѣзли изъ коляски. Они бережно несутъ ребеночка, отдаютъ его мамѣ и поздравляютъ: все слава Богу, все слава Богу! Берите его себѣ, все будутъ живы...

Но только странно: въ домѣ все такъ тихо, и никто не радуется. Суета смолкла, двери перестали хлопать. Кто-то осторожно подошелъ въ корридоръ къ ближайшей двери, гдѣ жила

старая тетка, никогда не выходившая из своей комнаты, и Вася слышалъ разговоръ:

„— Слава Богу, прѣхаль! Теперь все будетъ хорошо“.

„— Охъ, барыня, погодите радоваться! Сама-то въ обмо-
рокѣ... Боже мой, какъ трудно...“

Потомъ дверь скрипнула, и все стихло. Еще черезъ ми-
нуту въ дѣтскую вбѣжала нянька. Космы сѣдыхъ волосъ окон-
чательно выбились изъ-подъ головного платка, по сморщен-
ному лицу текли слезы. Не обращая вниманія на дѣтей, она
пошарила въ сундукѣ, потомъ забралась къ себѣ на постель,
и, когда она опять выбѣжала, дѣти увидѣли въ спальной крас-
новатый отблескъ. Передъ иконой тихо разгоралась „страш-
ная свѣча“, „громница“...

Дѣвочки ничего не понимали и только смотрѣли передъ
собою широко-открытыми глазами. Братья смотрѣли другъ на
друга и ждали: кто изъ нихъ заплачетъ первый. Тогда дѣт-
ская сразу переполнилась бы неудержимымъ ревомъ... Но
было слишкомъ страшно... На дворѣ кто-то гудѣлъ протяжно
и сердито, и дѣти уже не узнавали въ этомъ гудѣннн голосъ
вѣтра, пролетавшаго надъ садомъ.

Но вдругъ дальняя дверь опять отворилась, и чей-то
странно-спокойный, увѣренный голосъ сказалъ громко:

— Отлично, отлично! Поздравляю!—и долгій, облегченный
вздохъ, какого никогда въ жизни не приводилось слышать
дѣтямъ, тихо пронесся по всему дому и угасъ...

Васѣ вдругъ стало какъ-то радостно, хотя въ головѣ пу-
талось еще больше... Онъ не зналъ, что значить этотъ стран-
ный голосъ, и ему казалось, что онъ засыпаетъ. Напряженіе
этой ночи брало свое, Шура дремала сиди, и дѣти не замѣ-
чали, какъ идетъ время...

— А я знаю, кто прѣхаль,—сказалъ вдругъ Маркъ, не
подавшійся дремотѣ, но слова замерли у него на устахъ.
Дверь опять отворилась, но теперь никакихъ звуковъ не было
слышно, кромѣ дѣтскаго плача. Плакалъ маленькій ребено-
чекъ какимъ-то особеннымъ, тонкимъ, захлебывающимся го-
лосомъ, но упрямо и громко...

Это было такъ неожиданно, и плачь слышался такъ ясно,
что даже маленькая Шура очнулась, подняла голову и сказала:

— Дѣтинька... пацить.

Впрочемъ, ее это, повидимому, нисколько не удивило.

За то всѣ остальные повскакали съ мѣсть. Маша захопала
въ ладоши, а Маркъ кинулся къ дверямъ.

— Пойдемъ туда!

Вася пошелъ за ними, но у порога остановился.

— А заругаютъ?

— Ну, одинъ разъ ничего...—успокоилъ Маркъ. Онъ хотѣлъ сказать, что именно этотъ разъ, въ эту ночь, все позволительно.—А вы, дѣвочки, оставайтесь...

Но Маша думала иначе:

— Вотъ какой умный! Оставайся самъ, если хочешь... Пойдемъ, Шурочка, пойдемъ, милая!—и она торопливо подняла Шуру.

— Пускай идутъ,—поддерживалъ Вася, понимавшій хорошо, что онъ и самъ ни за что бы не остался.

Когда они открыли дверь въ корридоръ, на нихъ пахнуло теплымъ и влажнымъ вѣтромъ. Сверхъ ожиданія, корридоръ оказался освѣщеннымъ: въ самомъ концѣ у входной двери кто-то забылъ сальную свѣчу въ подсвѣчникѣ. Она вся оплыла, вѣтеръ колыхалъ ея пламя, летучія тѣни бѣгали по всему корридору, то мелькая по стѣнамъ, то скрываясь въ углахъ, а черное отверстіе печки, находившееся посрединѣ, тоже какъ будто шевелилось, перебѣгая съ мѣста на мѣсто. Вообще и корридоръ въ эту ночь сталъ совсѣмъ иной, необычный. Въ полуоткрытую дверь видѣлась часть сняго ночного неба, и черныя верхушки сада качались и шумѣли. Когда дѣти подошли къ концу корридора, вѣтеръ обвѣялъ ихъ голыя ноги.

Дверь „на ту половину“ была недалеко отъ входа, направо. Маркъ шелъ впереди и первый, поднявшійся на цыпочки, тихо открылъ эту дверь. Дѣти гуськомъ шмыгнули въ первую комнату.

Знакомыя прежде, комнаты имѣли теперь совсѣмъ другой видъ. Прежде всего дѣти обратили вниманіе на дверь маминной спальни. Тамъ было тихо, слабый свѣтъ чуть-чуть брезжилъ и позволялъ видѣть фигуру отца, нѣжно склонившагося къ изголовью кровати... Темная фигура незнакомой женщины порой проходила неясною тѣнью по спальнѣ.

Маркъ дернулъ Васю за рукавъ.

— Видишь теперь, кто это пріѣхалъ?

— Кто?

— Смотри: дядя Генрихъ и... Михайлъ.

Вася отвелъ глаза отъ дальней двери и взглянулъ въ среднюю комнату, отдѣляющую переднюю отъ спальни. Это была прежде гостиная, но теперь въ ней все было переставлено по-иному. Дядя Генрихъ сидѣлъ задумчиво на стулѣ, подъ висячей лампой, и на его блѣдномъ лицѣ выдѣлялись одни глаза, которые, казалось дѣтямъ, стали еще больше. Михайлъ безъ сюртука, съ засученными рукавами, вытиралъ полотенцемъ руки.

— Что теперь дѣлать?—спросилъ растерянно Вася. Во всѣхъ практическихъ начинаніяхъ онъ предоставлялъ первенство Марку.

— Не знаю,—отвѣтилъ тотъ, отодвигаясь въ тѣнь. Дѣти послѣдовали за нимъ. Присутствіе Генриха и Михаила ихъ озадачило. Генрихъ прежде былъ весельчакъ, игралъ съ дѣтьми, щекоталъ ихъ и вертѣлъ въ воздухѣ. Около двухъ лѣтъ назадъ у него родилась Шура, а жена умерла. Съ тѣхъ поръ онъ уѣхалъ въ другой городъ и рѣдко навѣщалъ ихъ, а когда пріѣзжалъ, то дѣти замѣчали, что онъ сильно перемѣнился. Онъ былъ съ ними по прежнему ласковъ, но они чувствовали себя съ нимъ не по прежнему: что-то смущало ихъ, и имъ не было съ нимъ весело. Теперь онъ глубоко задумался, и въ глазахъ его было особенно много печали.

Михаилъ былъ гораздо моложе брата. У него были голубые глаза, бѣлокурые волосы въ мелкихъ кудряхъ и очень бѣлое, правильное, веселое лицо. Вася зналъ его еще гимназистомъ, съ краснымъ воротникомъ и мѣдными пуговицами, но это, все-таки, было давно. Потому онъ появлялся изъ Кіева въ синемъ студенческомъ мундирѣ и при шпагѣ. Старшіе говорили тогда между собой, что онъ становится совсѣмъ взрослый, влюбился въ барышню, сдѣлалъ разъ „операцию“ и уже не вѣрить въ Бога. Все студенты перестаютъ вѣрить въ Бога, потому что рѣжутъ труны и ничего уже не боятся. Но когда приходитъ старость, то опять вѣрятъ и просятъ у Бога прощенія. А иногда и не просятъ прощенія, но тогда и бываетъ имъ плохо, какъ доктору Войцеховскому... Такіе всегда умираютъ скоропостижно, и у нихъ лопаются животъ, какъ у Войцеховскаго...

Михаилъ никогда не обращалъ на дѣтей вниманія, и дѣтямъ всегда казалось, что онъ презираетъ ихъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, за то, что они еще не выросли, а во-вторыхъ—за то, что самъ онъ выросъ еще недавно и что у него еще почти не было усомъ. Впрочемъ, когда теперь онъ подошелъ къ лампѣ и надѣлъ совсѣмъ новый мундиръ, дѣти удивились, какъ онъ перемѣнился: у него были порядочные усики и даже бородка, и онъ сталъ на самомъ дѣлѣ взрослый. Лицо у него было довольное и даже гордое. Глаза блестяли, а губы улыбались, хотя онъ старался сохранить важный видъ... Надѣвъ мундиръ, онъ таки не вытерпѣлъ и, крутя папиросу, сказалъ Генриху:

— Ну, что скажешь, Гея, каково я справился?.. А случай трудный, и этотъ старый осель, Рудницкій, навѣрное отпиралъ бы на тотъ свѣтъ или мать, или ребенка, а можетъ быть и обоихъ вмѣстѣ...

Георхъ отвелъ глаза отъ стѣны и отвѣтилъ:

— Молодецъ, Миша!.. Да, мы прѣехали съ тобой во-время. Можетъ быть, если бы два года назадъ... у моей Кати...

Но тутъ голосъ его сталъ глуше... Онъ отвернулся.

— А всетаки, — сказалъ онъ, — рожденіе и смерть... такъ близко... рядомъ... Да, это великая тайна!..

Михаилъ пожалъ плечами.

— Эту тайну мы, братъ, прослѣдили чуть не до первичной кѣлочкы...

Дѣти недоумѣвали и не знали, на что рѣшиться. Во-первыхъ, все оказалось слишкомъ будничнымъ, во-вторыхъ, они поняли, что и въ эту ночь имъ можетъ достаться за смѣлый набѣгъ, какъ и всегда; а даже выговоръ въ присутствіи Михаила былъ бы имъ въ высшей степени неприятенъ. Неизвѣстно, какъ разрѣшилось бы ихъ двусмысленное положеніе, если бы не вмѣшался неожиданный случай.

Входная дверь скрипнула, пріотворилась, и кто-то заглянулъ въ щелку. Дѣти подумали, что это няня, наконецъ, хватилась ихъ и пришла искать. Но щель раздвинулась шире, и въ ней показалась незнакомая голова съ мокрыми волосами и бородой. Голова робко оглянулась и затѣмъ какой-то чужой мужикъ тихонько вошелъ въ переднюю. Онъ былъ одѣтъ въ бѣлой свиткѣ, за поясомъ торчалъ кнутъ, а на ногахъ были громадныя сапожищи. Дѣти прижались къ стѣнѣ у сундука.

Мужикъ потоптался на мѣстѣ и слегка кашлянулъ, но будто нарочно такъ тихо, что его никто не услышать въ спальнѣ. Все его движенія обличали крайнюю робость, и дверь онъ оставилъ полуоткрытой, какъ будто обезпечивая себѣ отступленіе. Кашлянувъ еще разъ и еще тише, онъ сталъ почесывать затылокъ. Глаза у него были голубые, борода русая, а выраженіе чрезвычайной робости и почти отчаянія внушало дѣтямъ невольную симпатію къ пришельцу.

Отчасти тревожный шопотъ дѣтей, отчасти привычка къ полутьмѣ передней указали незнакомому пришельцу его сосѣдей. Онъ, видимо, не удивился, и въ его лицѣ появилось выраженіе довѣрчивой радости. Тихонько, на цыпочкахъ, хотя очень неуклюже, онъ подошелъ къ сундуку.

— А что мнѣ... коней распрягать прикажутъ? — спросилъ онъ съ видомъ такого почти дѣтскаго довѣрія къ ихъ „приказу“, что дѣти окончательно ободрились.

— А это вы привезли маленькаго ребеночка? — спросила Маша.

— Э! какого ребеночка? Я привезъ пана съ паннѣю... А что мнѣ, не знаете-ли, коней распрягать или какъ?

— Не знаемъ мы, — сказалъ Мордигъ.

— А ты вотъ что: ты, паничку, поди въ ту комнату, да и спытай у панича, у Михаила, что онъ скажетъ тебѣ?

— Сходи самъ.

— Да и, видите-ли, боюсь... Мнѣ того, мнѣ не того... А вы бы сходили-таки, замъ-таки лучше сходить. Не Богъ знаетъ, что съ вами сдѣлають.

— А съ тобой?

— Э, какой-же ты, хлопчику, непонятный. Иди-бо, иди...

Онъ выдвинулъ Марка изъ угла и двинулъ къ дверямъ. Маркъ предпочелъ бы лучше провалиться сквозь землю, чѣмъ предстать теперь передъ всѣми — и въ особенности передъ Михаиломъ — въ одной рубашкѣ и такъ неожиданно. Но рука незнакомца твердо направляла его впередъ.

— Что это, откуда-то дуетъ... — слышался тихій голосъ матери. Тогда Михаилъ повернулся на стулѣ, и Маркъ понялъ, что участь его рѣшена. Поэтому онъ со злобой отмахнулъ руку незнакомца и храбро выступилъ передъ удивленными зрителями.

— Онъ говорить, вотъ этотъ... — заговорилъ Маркъ громко и съ очевиднымъ желаніемъ свалить на мужика цѣликомъ вину своего неожиданнаго появленія, — узнай, говорить, что, мнѣ лошадей распрягать, или не надо?..

— Кто? гдѣ? — спрашивалъ отецъ, повернувшійся на говоръ.

— Тамъ вотъ, мужикъ.

Но мужикъ въ это время предательски отодвинулся къ выходной двери и, наполовину скрывшись за ней, политично ожидалъ конца сцены. Маша, увидѣвъ этотъ маневръ, пришла въ негодованіе.

— А ты зачѣмъ прячешься? Вотъ видишь какой: вытолкнулъ Маркушу, а самъ спрятался!..

Это вмѣшательство выдало всѣхъ. Михаилъ взялъ съ комода свѣчку, поднялъ ее надъ головой и освѣтилъ дѣтей.

— Эге, — сказалъ онъ, — тутъ ихъ цѣлый выводокъ. И дурень Хведько съ ними. Хведько, это ты тамъ, что-ли?

— А никто, только я. Я-бо спрашиваю, чи распрягать мнѣ коней?

— Дурень, запирай двери! — крикнулъ Михаилъ. — Да не уходи пока! погоди тамъ въ передней.

Мужикъ съ большою неохотой повиновался.

— Ну, теперь расправа: какъ вы сюда попали, пострѣлята? Ты зачѣмъ ихъ привелъ, Хведько?

— А бакой ихъ бѣсъ приводилъ... Я вошелъ спытать, чи распрягать мнѣ коней. Дѣлать же имъ тамъ напхано цѣлый

уголь. Вотъ что! А мнѣ что? Вотъ и маленькая пачпочка говорить: „ты ребеночка привезь“... Какого ребенка, чудное дѣло...

Всѣ засмѣялись.

— Ну, теперь вы говорите: какъ сюда попали?

Оба мальчика угрюмо потупились... Они ждали чего-то необычайнаго, а вмѣсто того попали на допросъ, да еще къ Михаилу.

— Мы услышали, что ребеночекъ плачетъ,—отвѣтила одна Маша.

— Ну, такъ что?

— Намъ любопытно,—угрюмо отвѣтилъ Маркъ,—откуда такое?

— Ого, ого! — сказалъ на это Генрихъ, который, между тѣмъ, взявъ на руки свою Шуру.— Вотъ что называется вопросъ! Спросите у него,—кивнуль онъ на Михаила,—онъ все знаетъ.

Михаилъ поправилъ свои очки съ видомъ пренебреженія.

— Подъ лопухомъ нашли,—сказалъ онъ, отряхивая свои кудри.

Пренебреженіе Михаила задѣло Марка за живое.

— Глупости,—сказалъ онъ съ раздраженіемъ.—Мы знаемъ, что это не можетъ быть. На дворѣ дождикъ, она бы простудилась.

— Ну, вотъ, одна гипотеза отвергнута,—засмѣялся Генрихъ,—подавай, Миша, другую.

— Спустили прямо съ неба на ниточкѣ.

— Рассказывайте...—возразилъ Маркъ, входя все въ большій азартъ.—Видно сами не знаете. А мы вотъ знаемъ!

— Любопытно. Вѣрно отъ старой дуры, няньки?

— Нѣтъ, не отъ няньки.

— А отъ кого?

— Отъ... отъ жида Мошка.

— Еще лучше! А что вамъ сказалъ мудрецъ Мошко?

— Расскажи, Вася,—обратился Маркъ къ Головану.

— Нѣтъ, рассказывай самъ.—Вася былъ очень сконфуженъ и чувствовалъ себя совершенно уничтоженнымъ насмѣливымъ тономъ Михайловыхъ вопросовъ. Маркъ же не такъ легко подчинился чужому настроенію.

— И расскажу, что-жъ такое?—задорно сказалъ онъ, выстуная впередъ.—У Бога два ангела...

И онъ бойко изложилъ теорію Мошка, изукрашенную Васиной фантазіей. По мѣрѣ того, какъ онъ рассказывалъ, его бодрость все возрастала, потому что онъ замѣтилъ, какъ

возрастало всеобщее вниманіе. Даже мать позвала отца и спросила сказать, чтобы Маркъ говорилъ громче. Генрихъ пересталъ ласкать Шуру и уставился на Марка своими большими глазами; отецъ усмѣхнулся и ласково кивалъ головой. Даже Михайль, хотя и покачивалъ правою ногой, заложенною за дѣвую, съ видомъ пренебреженія, но самъ, видимо, былъ заинтересованъ.

— Что же, это все... правда? — спросилъ Маркъ, кончивъ рассказъ

— Все правда, мальчикъ, все это правда! — сказалъ серьезно Генрихъ.

Тогда Михайль, еще за минуту передъ тѣмъ утверждавшій, что ребятъ находятъ подъ лопухомъ, нетерпѣливо повернулся на стулѣ.

— Не вѣрь, Маркъ! Все это — глупости, глупыя Мошкины сказки... Охота, — повернулся онъ къ Генриху, — забивать дѣтскую голову пустяками!

— А ты сейчасъ не забивай ее лопухомъ!

— Это не такъ вредно: это — очевидный абсурдъ, отъ котораго имъ отдѣлаться легче.

— Ну, расскажи имъ ты, если можешь...

— Ты знаешь, что я могъ бы рассказать...

— Что?

Михайль звонко засмѣялся.

— Физиологію... разумѣется, въ популярномъ изложеніи... Надѣюсь, это была бы правда.

— Напрасно надѣешься...

— То-есть?

— Ты знаешь немного, а думаешь, что знаешь все... А они чувствуютъ тайну и стараются облечь ее въ образы... По-моему, они ближе къ истинѣ.

Михайль нетерпѣливо вскочилъ со стула.

— А! Я сказалъ бы тебѣ, Гея!.. Ну, да теперь не время. А только вотъ тебѣ лучшая мѣрка: попробуйте вы всѣ, съ вашею... или, вѣрнѣе, съ Мошкиной теоріей сдѣлать то, что, какъ ты сейчасъ видѣлъ, мы дѣлаемъ съ физиологіей... Вы будете умиляться, молиться и ждать ангеловъ, а больная умретъ...

— Ну, умираютъ и съ физиологіей, я знаю это по близкому опыту... — сказалъ Генрихъ глухо.

— Частный фактъ, и физиологія плохая...

— Этотъ частный фактъ для меня, — пойми ты, — общѣ всѣхъ твоихъ обобщеній. Погоди, ты поймешь когда-нибудь, что значитъ смерть любимаго человека, и частный-ли это фактъ.

— Истина выше личнаго чувства! — сказалъ Михаилъ и смолкъ. Онъ понялъ, что съ Генрихомъ нельзя теперь продолжать этотъ разговоръ.

VIII.

Въ комнатѣ стало тихо. Дѣти недоумѣвали. Они не поняли ни слова изъ того, что говорилось, но ощутили одно. Это спорность ихъ теоріи. Они были смущены и нерасторопны.

Въ это время Хведько, о которомъ всѣ забыли, высунулъ опять голову изъ-за косяка двери.

— А что, мнѣ распрягать коней, чи нѣтъ? — произнесъ онъ съ глубокою тоской въ голосѣ.

Это вмѣшательство показалось всѣмъ очень кстати.

Михаилъ весело засмѣялся.

— Ага! — сказалъ онъ, — вотъ еще одинъ мудрецъ. Попробуемъ сейчасъ маленькую индукцію. Какъ ты думаешь, Хведоръ, куда мы съ тобой ѣхали?

— Да я-жъ думаю никуда, только сюда.

Онъ внимательно, не отрывая выпученныхъ глазъ смотрѣлъ на Михаила, какъ будто боялся его шутливыхъ распросовъ.

— Ну?

— А что ну?

— Ну, пріѣхали мы сюда или нѣтъ?

— Э, вы-бо все смѣтаете. Чего бы я спрашивалъ, когда оно само видно?

— Такъ зачѣмъ же лошадямъ стоять на дождѣ, дурню?

— Отъ и я такъ думалъ, — обрадовался Хведько. — Оно хоть дождя уже нѣтъ, а таки лошадямъ стоять не для чего. Пойду распрягать. Такъ и говорили бы сразу...

И онъ поторопился уйти съ видимымъ облегченіемъ.

— Ну, и вы тоже... маршъ обратно! — сказалъ отецъ.

— А... а дѣточку? — сказала Маша печально.

Виновница всей кутерьмы находилась въ спальнѣ. Мать тихо сказала что-то, и вскорѣ бабка вынесла ее на рукахъ въ хорошенькомъ бѣломъ свивальникѣ.

Среди кучи бѣлья видѣлась маленькая головка. Глаза смотрѣли прямо, на лицѣ было то странно-сознательное выраженіе, которое порой дѣлаетъ лица дѣтей почти старческими. Дѣвочка зѣвала и потягивалась.

— Гордячка кака! — неизвѣстно почему рѣшила про нее Маша, поднимаясь на цыпочки.

Если бъ мама была здорова, она, навѣрное, вспомнила бы, что дѣтямъ нужно принести платье. Но теперь никто не

обратилъ вниманія на то, что они вышли, какъ и вошли, въ однихъ рубашонкахъ. Шура осталась на рукахъ отца.

Выйдя въ корридоръ, Маша тотчасъ же побѣжала въ дѣтскую, но мальчики замѣшались. Маркъ увидѣлъ въ наружную дверь, что около конюшни стоитъ бричка, а Хведько распрячь уже лошадей и ведетъ ихъ подъ навѣсъ. Это его заинтересовало, и онъ юркнулъ на крыльцо: Вася пошелъ за нимъ.

Хведько привязалъ лошадей, потомъ его бѣлая свита замелькала около брички, и онъ вынесъ оттуда громадный чемоданъ. Втащивъ его на крыльцо и поставивъ на верхней ступенькѣ, онъ, по-своему, съ наивною фамильярностью обратился къ Марку:

— А то, видно, у васъ родилось тутъ что-то?

— Не что-то, а дѣвочка!

— Вотъ и я говорю. А о чемъ это паничи спорились?

— А это, видишь ты... Мы говоримъ: у Бога два ангела...

— Ну-ну, не два, — много... Мало-ли ихъ у Бога... богато...

— Правда? А Михаилъ говоритъ: глупости!

— Но!.. Молодой паничъ иной разъ скажетъ, такъ будетъ надъ чѣмъ посмѣяться! — И онъ самъ засмѣялся.

Дѣти почувствовали къ нему полное довѣріе.

— А правда, что дѣтей приносятъ ангелы?

— Оно... того... такъ надо сказать, что дѣтей приносятъ бабы... таки не кто другой... А душу ангелы приносятъ. Вотъ ужъ это такъ ваша правда. Вотъ что, хлопчики: душу... Ну, а мнѣ, хлопчики мои, надо сундукъ нести, вотъ что. А то я бы тутъ вамъ все это отлично рассказалъ...

И Хведько взвалилъ себѣ на плечи тяжелый чемоданъ.

Мальчики очень жались объ этой необходимости. Тамъ, въ кабинетѣ, ихъ теорія, успѣшно выдержавшая въ дѣтской ихъ собственную критику, какъ-то помутилась. Они чувствовали недоумѣніе и растерянность. Здѣсь же короткая бесѣда съ Хведькомъ опять возстановила ее въ прежнемъ порядкѣ и стройности.

И оба они посмотрѣли на небо въ одно время.

Только теперь они обратили вниманіе, что и на дворѣ тоже все странно. Первая странность состояла, конечно, въ томъ, что они стоятъ на крыльцѣ босые и не одѣтые, въ такую пору, и что ихъ обдуваетъ прохладный и сырой вѣтеръ. Кромѣ того, на дворѣ, тамъ и сямъ, странно свѣтились лужи, какимъ-то особеннымъ, загадочнымъ отблескомъ ночного неба, а садъ все колыхался, точно онъ еще не могъ окончательно успокоиться послѣ волненій ночи. Небо свѣтлѣло, но тѣмъ рѣзче выдѣлялись на немъ крупныя, тяжелыя и будто взъерошенныя облака. Точно кто-то пролетѣлъ по небу, все раскидалъ, все деревытъ, и теперь такъ трудно

привести все въ порядокъ до наступленія утра. А между тѣмъ всюду замѣтна была торопливость. Одно тонкое облако, вытянувшееся до самой середины неба громаднѣмъ столбомъ, быстро наклонилось, столбъ ломался и закрывалъ однѣ звѣзды, между тѣмъ какъ изъ-за него бойко выглядывали другія. Какіе-то раскиданные по небу лохмотья стягивались къ одному мѣсту, въ сплошную тучу, которая все осѣдала книзу; и по мѣрѣ того, какъ туча спадала, становилось свѣтлѣе, и можно было разглядѣть, какъ осина въ саду то и дѣло мѣняется отъ вѣтра, взмахивая своими, бѣлыми снизу, листьями.

И дѣтямъ чудился въ свѣтлѣющемъ небѣ неудовимый полетъ свѣтлаго ангела, между тѣмъ какъ другой распростеръ темныя крылья тамъ далеко, подъ низкими тучами. Обоимъ мальчикамъ хотѣлось встрѣтить тутъ восходъ солнца, — это такъ любопытно, — и они простояли бы еще долго, если бы нянька, наконецъ, не спохватилась. Ворча, въ какомъ-то изступленіи, она неслась по корридору съ совершенно несвойственною старымъ ногамъ быстротой. Однако, она не добѣжала до крыльца, а остановилась въ трехъ шагахъ отъ дверей, отстранившись къ стѣнкѣ, такъ что осталось узкое мѣсто для прохода дѣтей.

— А кышъ, а кышъ! — кричала она. — Ахъ, проклятыя гультяи, куда забрались, нѣтъ на васъ холеры великой!.. А кышъ!..

Мальчики охотно не пошли бы опаснымъ проходомъ, но они понимали, что ихъ поступокъ выходилъ совершенно изъ рамокъ всякаго компромисса и что нянька имѣетъ право на возмездіе. Оставалось только надѣяться на свою ловкость.

Голованъ былъ любимецъ няньки, и хотя бѣжалъ первымъ, но получилъ ударъ снисходительный. За то шлепокъ, отпущенный Марку, отдался по всему корридору. Тѣмъ не менѣе, отбѣжавъ на середину корридора, онъ остановился и сказалъ довольно равнодушно:

— Думаешь, очень больно? Ничего не больно, только громко.

Черезъ полчаса все въ домѣ успокоилось, хотя спали далеко не всѣ.

Отецъ думалъ о томъ, что прибавились еще расходы, а жалованья и такъ не хватаетъ. Мать думала о томъ-же. Она велѣла поднести къ себѣ дѣвочку, смотрѣла на нее и плакала, потому что она не знала, можно ли ей радоваться новой жизни при такихъ маленькихъ средствахъ. Михаилъ начиналъ дремать и въ дремотѣ думалъ о жизни, что она хороша. А Генрихъ не спалъ, смотрѣлъ въ темноту и думалъ о смерти: что же она такое?

Только дѣти спали безмятежно и крѣпко.

ПАРАДОКСЪ.

Очеркъ.

I.

Для чего собственно созданъ человѣкъ, объ этомъ мы съ братомъ получили нѣкоторое понятіе довольно рано. Мнѣ, если не ошибаюсь, было лѣтъ десять, брату около восьми. Свѣдѣніе это было преподано намъ въ видѣ краткаго афоризма, или, по обстоятельствамъ, его сопровождавшимъ, скорѣе парадокса. Итакъ, кромѣ назначенія жизни, мы одновременно обогатили свой лексиконъ этими двумя греческими словами.

Было это приблизительно около полудня, знойнаго и тихаго юньскаго дня. Въ глубокомъ молчаніи сидѣли мы съ братомъ на заборѣ, подъ тѣнью густаго серебристаго тополя и держали въ рукахъ удочки, крючки которыхъ были опущены въ огромную бадью съ загнившей водой. О назначеніи жизни, въ то время, мы не имѣли еще даже отдаленнаго понятія, и, вѣроятно, по этой причинѣ, вотъ уже около недѣли любимымъ нашимъ занятіемъ было—сидѣть на заборѣ, надъ бадьей, съ опущенными въ нее крючками изъ простыхъ мѣдныхъ булавокъ и ждать, что вотъ-вотъ, по особой къ намъ милости судьбы—въ этой бадьѣ и на эти удочки клюнетъ у насъ „настоящая“, живая рыба.

Правда, уголокъ двора, гдѣ помѣщалась эта волшебная бадья, и самъ по себѣ, даже и безъ живой рыбы, представлялъ много привлекательнаго и заманчиваго. Среди садовъ, огородовъ, сараевъ, двориковъ, домовъ и флигелей, составлявшихъ совокупность близко извѣстнаго намъ мѣста,—этотъ уголокъ вырѣзался какъ-то такъ удобно, что никому и ни на что не былъ нуженъ; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушалъ здѣсь нашего одиночества.

Середину этого пространства, ограниченного съ двухъ стѣнъ палисадникомъ и деревьями сада,—а съ двухъ другихъ пустыми стѣнами сараевъ, оставлявшими узкій проходъ,—занимала большая мусорная куча. Стоптаный лапоть, кѣмъ-то перекинутый черезъ крышу сарая, изломанное топорщице, побѣлѣвшій кожаный башмакъ съ отогнувшимся кверху каблучкомъ и безличная масса какихъ-то истлѣвшихъ предметовъ, потерявшихъ уже всякую индивидуальность, — нашли въ тихомъ углу вѣчный покой послѣ болѣе или менѣе бурной жизни за его предѣлами... На вершинѣ мусорной кучи валялся старый-престарый кузовъ какого-то фантастическаго экипажа, какихъ давно уже не бывало въ дѣйствительности,—т. е. въ каретникахъ, на дворахъ и на улицахъ. Это былъ какой-то призрачный обломокъ минувшихъ временъ, попавшій сюда, быть можетъ, еще до постройки окружающихъ зданій и теперь лежавшій на боку, съ приподнятой кверху осью, точно рука безъ кисти, которую калѣка показываетъ на паперти, чтобы разжалобить добрыхъ людей. На единственной половинкѣ единственной дверки сохранились еще остатки красокъ какого-то герба,—и единственная рука, закованная въ стальные нарамники и державшая мечъ, высовывалась непонятнымъ образомъ изъ тускаго пятна, въ которомъ чуть рисовалось подобіе короны. Остальное все распалось, растрескалось, облунилось и облѣзло въ такой степени, что уже не ставило воображенію никакихъ прочныхъ преградъ; вѣроятно, поэтому старый скелетъ легко принималъ въ нашихъ глазахъ всѣ формы, всю роскошь и все великолѣпіе настоящей золотой кареты.

Когда намъ приѣдались впечатлѣнія реальной жизни на большихъ дворахъ и въ переулкѣ,—то мы съ братомъ удалялись въ этотъ уединенный уголокъ, садились въ кузовъ,—и тогда начинались здѣсь чудеснѣйшія приключенія, какія только могутъ постигнуть людей, безразсудно пускающихся въ невѣдомый путь, далекій и опасный, въ такой чудесной и такой фантастической каретѣ. Мой братъ, по большей части, предпочиталъ болѣе дѣятельную роль кучера. Онъ бралъ въ руки кнутъ изъ ременнаго обрѣзка, найденнаго въ мусорной кучѣ,—затѣмъ серьезно и молча вынималъ изъ кузова два деревянныхъ пистолета, перекидывалъ черезъ плечо деревянное ружье и втыкалъ за поясъ огромную саблю, изготовленную моими руками изъ кровельнаго тесу. Видъ его, вооруженнаго такимъ образомъ съ головы до ногъ, настраивалъ тотчасъ же и меня на соответствующій ладъ, и затѣмъ, усѣвшись каждый на свое мѣсто, мы отдавались теченію нашей

судьбы, не обмѣниваясь ни словомъ. Это не мѣшало намъ съ той же минуты испытывать общія опасности, приключенія и побѣды. Очень можетъ быть, конечно, что событія не всегда совпадали съ точки зрѣнія кузова и козелъ, и я предавался упоенію побѣды въ то самое время, какъ кучеръ чувствовалъ себя на краю гибели... Но это ничему, въ сущности, не мѣшало. Развѣ изрѣдка я принимался неистово палить изъ оконъ, когда кучеръ внезапно натягивалъ вожжи, привязанные къ обломку дышла,—и тогда братъ говорилъ съ досадой:

— Что ты это, ей-Богу!.. Вѣдь это гостиница...

Тогда я приостанавливалъ пальбу, выходилъ изъ кузова и извинялся передъ гостепріимнымъ трактирщикомъ въ причиненномъ безпокойствѣ, между тѣмъ какъ кучеръ распрягалъ лошадей, поилъ ихъ у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху въ одинокой гостиницѣ. Однако, случаи подобныхъ разногласій бывали тѣмъ рѣже, что я скоро отдавался полету чистой фантазіи, не требовавшей отъ меня внѣшнихъ проявленій. Должно быть, въ щеляхъ стараго кузова засѣли съ незапамятныхъ временъ,—выражаясь по нынѣшнему,—какія-то флюиды старинныхъ происшествій, которыя и захватывали насъ сразу въ такой степени, что мы могли, молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный видъ, просидѣть на своихъ мѣстахъ отъ утренняго чаю до самаго обѣда. И въ этотъ промежутокъ отъ завтрака и до обѣда вмѣщались для насъ цѣлыя недѣли путешествій, съ остановками въ одинокихъ гостиницахъ, съ ночлегами въ полѣ, съ длинными просѣлками въ черномъ лѣсу, съ дальними огоньками, съ угасающимъ закатомъ, съ ночными грозами въ горахъ, съ утренней зарей въ открытой степи, съ нападеніями свирѣпыхъ бандитовъ и, наконецъ, съ туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица изъ-подъ густого покрывала,—которыхъ мы, съ неопредѣленнымъ замираніемъ души, спасали изъ рукъ мучителей на радость или на горе въ будущемъ...

И все это вмѣщалось въ тихомъ уголкѣ, между садомъ и сараями, гдѣ, кромѣ бадьи, кузова и мусорной кучи—не было ничего... Впрочемъ, были еще лучи солнца, пригрѣвавшіе зелень сада и расцвѣчивавшіе палисадникъ яркими, золотистыми пятнами; были еще двѣ доски около бадьи и широкая лужа подъ ними. Затѣмъ, чуткая тишина, невнятный шопотъ листьевъ, сонное чирикание какой-то птицы въ кустахъ и... странныя фантазіи, которыя, вѣроятно, росли здѣсь сами по себѣ, какъ грибы въ тѣнистомъ мѣстѣ,—потому что нигдѣ больше мы не находили ихъ съ такой легкостью, въ такой

полнотѣ и изобиліи... Когда, черезъ узкій переулочекъ и черезъ крыши сараевъ, долеталъ до насъ досадный призывъ къ обѣду или къ вечернему чаю, — мы оставляли здѣсь, вмѣстѣ съ пистолетами и саблями, наше фантастическое настроеніе, точно скинутое съ плечъ верхнее платье, въ которое наряжались опять тотчасъ по возвращеніи.

Однако, съ тѣхъ поръ, какъ брату пришла оригинальная мысль вырѣзать кривыя и узловатыя вѣтки тополя, навязать на нихъ бѣлыя нитки, навѣсить мѣдные крючки и попробовать запустить удочки въ таинственную глубину огромной бадьи, стоявшей въ углу дворика, для насъ на цѣлую недѣлю померкли всѣ прелести золотой кареты. Во-первыхъ, мы сѣли оба, въ самыхъ удивительныхъ позахъ, на верхней перекладинѣ палисадника, угломъ охватывавшаго бадью и у котораго мы предварительно обломали верхушки балясинъ. Во-вторыхъ, надъ нами качался серебристо-зеленый шатеръ тополя, переполнявшій окружающій воздухъ зеленоватыми тѣнями и бродячими солнечными пятнами. Въ-третьихъ, отъ бадьи отдѣлялся какой-то особенный запахъ, свойственный загнившей водѣ, въ которой уже завелась своя особенная жизнь, въ видѣ множества какихъ-то странныхъ существъ, вроде головастиковъ, только гораздо меньше... Какъ ни покажется это странно, — но запахъ этотъ казался намъ, въ сущности, пріятнымъ и прибавлялъ, съ своей стороны, нѣчто къ прелестямъ этого угла надъ бадьей...

Въ то время, какъ мы сидѣли по цѣлымъ часамъ на заборѣ, вглядываясь въ зеленоватую воду, изъ глубины бадьи то и дѣло подымались стайками эти странныя существа, напоминавшія собой гибкія мѣдныя булавки, головки которыхъ такъ тихо шевелили поверхность воды, между тѣмъ какъ хвостики извивались подъ ними, точно крошечныя змѣйки. Это былъ цѣлый особый мірокъ, подъ этою зеленою тѣнью, и, если сказать правду, въ насъ не было полной увѣренности въ томъ, что въ одинъ прекрасный мигъ поплавокъ нашей удочки не вздрогнетъ, не пойдетъ ко дну, и что послѣ этого который-нибудь изъ насъ не вытащитъ на крючокъ серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумѣется, разсуждая трезво, мы не могли бы не придти къ заключенію, что событіе это выходитъ за предѣлы возможнаго. Но мы вовсе не разсуждали трезво въ тѣ минуты, а просто сидѣли на заборѣ, надъ бадьей, подъ колыхавшимся и шептавшимъ зеленымъ шатромъ, въ сосѣдствѣ съ чудесной каретой, среди зеленоватыхъ тѣней, въ атмосферѣ полу-сна и полу-сказки...

Вдобавокъ, мы не имѣли тогда ни малѣйшаго понятія о назначеніи жизни... <http://rcin.org.pl>

II.

Однажды, когда мы сидѣли такимъ образомъ, погруженные въ созерцаніе неподвижныхъ поплавокъ, съ глазами, прикованными къ зеленой глубинѣ бадья, — изъ дѣйствительнаго міра, т. е. со стороны нашего дома проникъ въ нашъ фантастическій уголокъ непріятный и рѣзкій голосъ лакея Павла. Онъ, очевидно, приближался къ намъ и кричалъ:

— Панычи, панычи, э-эй! Идите бо до покою!

„Идти до покою“, — значило идти въ комнаты, что насъ на этотъ разъ нѣсколько озадачило. Во-первыхъ, почему это просто „до покою“, а не къ обѣду, который въ этотъ день, дѣйствительно, долженъ былъ происходить ранѣе обыкновеннаго, такъ какъ отецъ не уѣзжалъ на службу. Во-вторыхъ, почему зоветъ именно Павелъ, котораго послалъ только отецъ въ экстренныхъ случаяхъ, — тогда какъ обыкновенно отъ имени матери звала насъ служанка Килимка. Въ-третьихъ, все это было намъ очень непріятно, какъ будто именно этотъ невовременный призывъ долженъ вспугнуть волшебную рыбу, которая какъ разъ въ эту минуту, казалось, уже плыветъ въ невидимой глубинѣ къ нашимъ удочкамъ. Наконецъ, Павелъ и вообще былъ человѣкъ слишкомъ трезвый, отчасти даже насмѣшливый, и его излишне серьезные замѣчанія разрушили не одну нашу иллюзію.

Черезъ полъ-минуты этотъ Павелъ стоялъ, нѣсколько даже удивленный, на нашемъ дворикѣ, и смотрѣлъ на насъ, сильно сконфуженныхъ, своими серьезно-выпученными и слегка глуповатыми глазами. Мы оставались въ прежнихъ позахъ, но это только потому, что намъ было слишкомъ совѣстно, да и некогда уже скрывать отъ него свой образъ дѣйствій. Въ сущности же, съ первой минуты появленія этой фигуры въ нашемъ мірѣ, — мы оба почувствовали съ особенной ясностью, что наше занятіе кажется Павлу очень глупымъ, что рыбу въ бадьяхъ никто не ловитъ, что въ рукахъ у насъ даже и не удочки, а простыя вѣтки тополя, съ мѣдными булавками, и что передъ нами только старая бадья съ загнившей водой.

— Э? — протянулъ Павелъ, приходя въ себя отъ первоначальнаго удивленія. — А що се вы робите?

— Такъ... — отвѣтилъ братъ угрюмо.

Павелъ взялъ изъ моихъ рукъ удочку, осмотрѣлъ ее и сказалъ:

— Развѣ жъ это удилице? Удилища надо дѣлать изъ орѣшника.

Потомъ пощупалъ щипку и сообщилъ, что нуженъ тутъ кон-

скій волосъ, да его еще нужно заплести умбючи; потомъ обратить вниманіе на булавочные крючки и объяснилъ, что надъ такимъ крючкомъ, безъ зазубрины, даже и въ пруду рыба только смѣется. Стащить червяка и уйдетъ. Наконецъ, подойдя къ бадѣ, онъ тряхнулъ ее слегка своей сильной рукой. Неизмѣримая глубина нашего зеленого омута колыхнулась, помутнѣла, фантастическія существа жалобно заметались и исчезли, какъ бы сознавая, что ихъ міръ колеблется въ самыхъ устояхъ. Обнажилась часть дна,—простыя доски, облитыя какой-то зеленой мутью,—а снизу поднялись пузыри и сильный запахъ, который на этотъ разъ и намъ показался уже не особенно пріятнымъ.

— Воняетъ,—сказалъ Павелъ презрительно. — Отъ, идите до покою, панъ кличе.

— Зачѣмъ?

— Идите, то и побачите.

И до сихъ поръ очень ясно помню эту минуту столкновения нашихъ иллюзій съ трезвою дѣйствительностью въ лицѣ Павла. Мы чувствовали себя совершенными дураками и намъ было совѣстно оставаться на верхушкѣ забора, въ позахъ рыбаковъ, но совѣстно также и слѣзть подъ серьезнымъ взглядомъ Павла. Однако, дѣлать было нечего. Мы спустились съ забора, бросивъ удочки какъ попало, и тихо побрели къ дому. Павелъ еще разъ посмотрѣлъ удочки, пощупалъ пальцами размокшія нитки, повелъ носомъ около бады, въ которой вода все еще продолжала бродить и пускать пузыри, и, въ довершеніе всего, толкнулъ ногой старый кузовъ. Кузовъ какъ-то жалко и беспомощно крикнулъ, шевельнулся, и еще одна доска вывалилась изъ него въ мусорную кучу...

Таковы были обстоятельства, предшествовавшія той минутѣ, когда нашему юному вниманію предложенъ былъ афоризмъ о назначеніи жизни и о томъ, для чего, въ сущности, созданъ человекъ...

III.

У крыльца нашей квартиры, на мощеномъ дворѣ, толпилась куча народа. На нашемъ дворѣ было цѣлыхъ три дома, одинъ большой и два флигеля. Въ каждомъ жила особая семья, съ соответствующимъ количествомъ дворни и прислуги, не считая еще одинокихъ жильцовъ, вродѣ стараго холостяка пана Уляницкаго, панимавшаго двѣ комнаты въ подвальный этажѣ большого дома. Теперь почти все это населеніе высыпало на дворъ и стояло на солнцекѣ, у нашего крыльца. Мы испуганно переглянулись съ братомъ, разыскивая въ своемъ про-

пломъ какой-нибудь проступокъ, который подлежалъ бы такому громкому и публичному разбирательству. Однако, отецъ, сидѣвшій на верхнихъ ступенькахъ, среди привилегированной публики, повидимому, находился въ самомъ благодушномъ настроеніи. Рядомъ съ отцомъ вилась струйка сиваго дыма, что означало, что тутъ же находится полковникъ Дударевъ, военный докторъ. Немолодой, расположенный къ полнотѣ, очень молчаливый, — онъ пользовался во дворѣ репутаціей человѣка необыкновенно ученаго, а его молчаливость и безкорыстіе снискали ему общее уваженіе, къ которому примѣшивалась доля страха, какъ къ явленію, для средняго обывателя не вполне понятному... Иногда, среди другихъ фантазій, мы любили воображать себя докторомъ Дударевымъ, и если я замѣчалъ, что братъ сидитъ на крыльцѣ или на скамейкѣ, съ вишневой палочкой въ зубахъ, медленно раздуваетъ щеки и тихо выпускаетъ воображаемый дымъ, — я зналъ, что его не слѣдуетъ тревожить. Кромѣ вишневой палочки, требовалось еще особеннымъ образомъ наморщить лобъ, отчего глаза сами собой немного тускнѣли, становились задумчивы и какъ будто печальны. А затѣмъ уже можно было сидѣть на солнцѣ, затаиваться воображаемымъ дымомъ изъ вишневой вѣтки и думать что-то такое особенное, что, вѣроятно, думалъ про себя добрый и умный докторъ, молча подававшій помощь больнымъ и молча сидѣвшій съ трубкой въ свободное время. Какія это собственно были мысли, сказать трудно; прежде всего онѣ были важны и печальны, а затѣмъ, вѣроятно, все-таки довольно пріятны, судя по тому, что имъ можно было предаваться по долгу...

Кромѣ отца и доктора, среди другихъ лицъ, — мнѣ бросилось въ глаза красивое и выразительное лицо моей матери. Она стояла въ бѣломъ передникѣ, съ наверху повернутыми рукавами, очевидно, только что оторванная отъ вѣчныхъ заботъ по хозяйству. Насъ у нея было шестеро, и на ея лицѣ ясно виднѣлось сомнѣніе: стоило ли выходить сюда въ самый разгаръ хлопотливаго дня. Однако, скептическая улыбка видимо сливалась съ ея красиваго лица, и въ синихъ глазахъ уже мелькало какое-то испуганное сожалѣніе, обращенное къ предмету, стоявшему среди толпы, у крыльца...

Это была небольшая, почти игрушечная телѣга, въ которой какъ-то странно, — странно почти до болѣзненнаго ощущенія отъ этого зрѣлища, — помѣщался человѣкъ. Голова его была большая, лицо блѣдно, съ подвижными, острыми чертами и большими, пронзательными бѣгающими глазами. Туловище было совсемъ маленькое, плечи узкія, груди и живота

не было видно изъ-подъ широкой, съ сильной просѣдью бороды, а руки я напрасно разыскивалъ испуганными глазами, которые, вѣроятно, были открыты такъ-же широко, какъ и у моего брата. Ноги страннаго существа, длинныя и тонкія, какъ будто не умѣшались въ телѣжкѣ, и стояли на землѣ, точно длинныя лапки паука. Казалось, онѣ принадлежали одинаково этому человѣку, какъ и телѣжкѣ, и все вмѣстѣ какимъ-то безпокойнымъ, раздражающимъ пятномъ рисовалось подъ яркимъ солнцемъ, точно въ самомъ дѣлѣ какое-то научно-образное чудовище, готовое внезапно кинуться на окружающую его толпу.

— Идите, идите, молодые люди, скорѣе... Вы имѣете случай увидѣть интересную игру природы, — фальшиво-ласкающимъ голосомъ сказалъ намъ панъ Уляницкій, проталкиваясь за нами черезъ толпу.

Панъ Уляницкій былъ старый холостякъ, появившійся на нашемъ дворѣ Богъ вѣсть откуда. Каждое утро, въ извѣстный часъ и даже въ извѣстную минуту, его окно открывалось, и изъ него появлялась сначала красная ермолка съ кисточкой, потомъ вся фигура въ халатѣ... Кинувъ безпокойный взглядъ на сосѣднія окна (нѣтъ ли гдѣ барышень), — онъ быстро выходилъ изъ окна, прикрывая что-то полой халата, и исчезалъ за угломъ. Въ это время мы стремглавъ кидались къ окну, чтобы заглянуть въ его таинственную квартиру. Но это почти никогда не удавалось, такъ какъ Уляницкій быстро, какъ-то крадучись, появлялся изъ-за угла, мы кидались вразсыпную, а онъ швырялъ въ насъ камнемъ, палкой, что попадало подъ руку. Въ полдень онъ появлялся одѣтымъ съ иглочки и очень любезно, какъ ни въ чемъ не бывало, заговаривалъ съ нами, стараясь навести разговоръ на жившихъ во дворѣ невѣсть. Въ это время въ голосѣ его звучала фальшивая ласковость, которая всегда какъ-то рѣзала намъ уши...

— Уважаемые господа, обыватели и добрые люди! — заговорилъ вдругъ какимъ-то носовымъ голосомъ высокій субъектъ, съ длинными усами и безпокойными, впальми глазами, стоявшій рядомъ съ телѣжкой. — Такъ какъ, повидимому, съ прибытіемъ этихъ двухъ молодыхъ людей, дай имъ Богъ здоровья на радость почтеннымъ родителямъ... всѣ теперь въ сборѣ, то я могу объяснить уважаемой публикѣ, что передъ нею находится феноменъ, или, другими словами, чудо природы, шляхтичъ изъ Заславскаго повѣта Янъ Кристофъ Залускій. Какъ видите, у него совершенно нѣтъ рукъ и не было отъ рожденія.

Онъ свинулъ съ феномена курточку, въ которую легко было бы одѣть ребенка, потомъ разстегнулъ воротъ рубахи. И замурился,—такъ рѣзко и болѣзненно ударило мнѣ въ глаза обнаженное уродство этихъ узкихъ плечъ, совершенно лишенныхъ даже признаковъ рукъ.

— Видѣли?—повернулся долгоусый къ толпѣ, отступая отъ тележки, съ курткой въ рукахъ.

— Безъ обману... — добавилъ онъ, — безъ всякаго ошуканства...—И его безпокойные глаза обѣжали публику съ такимъ видомъ, какъ будто онъ не особенно привыкъ къ доврѣю со стороны своихъ ближнихъ.

— И однако, уважаемые господа, сказанный феномень, родственникъ мой, Янъ Залускій — человекъ очень просвѣщенный. Голова у него лучше, чѣмъ у многихъ людей съ руками. Кромѣ того, онъ можетъ исполнять все, что обыкновенные люди дѣлаютъ съ помощью рукъ. Янъ, прошу тебя покорно: поклонись уважаемымъ господамъ.

Ноги феномена пришли въ движеніе, при чемъ толпа шархнула отъ неожиданности. Не прошло и нѣсколькихъ секундъ, какъ съ правой ноги, при помощи лѣвой, былъ снятъ сапогъ. Затѣмъ нога поднялась, захватила съ головы феномена большой порыжѣлый картузь, и онъ съ насмѣшливой галантностью приподнялъ картузь надъ головой. Два черныхъ, внимательныхъ глаза остро и насмѣшливо впялись въ уважаемую публику.

— Господи Боже!.. Иисусъ-Марія!.. Да будетъ похвалено имя Господне, — пронеслось на разныхъ языкахъ въ толпѣ, охваченной брезгливымъ испугомъ, и только одинъ лакей Павель зароготалъ въ заднемъ ряду такъ нелѣпо и громко, что кто-то изъ двора счелъ нужнымъ толкнуть его локтемъ въ бокъ. Послѣ этого все стихло. Черные глаза опять внимательно и медленно прошли по нашимъ лицамъ, и феномень произнесъ среди тишины яснымъ, хотя слегка дребезжавшимъ голосомъ:

— Обойди!

Долгоусый субъектъ какъ-то замылся, точно считалъ приказъ преждевременнымъ. Онъ кинулъ на феномена нерѣшительный взглядъ, но тотъ, уже раздраженно, повторилъ:

— Ты глупъ... обойди!..

Полковникъ Дударевъ пустилъ клубъ дыма и сказалъ:

— Однако, почтенный феномень, вы, кажется, начинаете съ того, чѣмъ надо кончать.

Феномень быстро взглянулъ на него, какъ будто съ удивленіемъ, и затѣмъ еще настойчивѣе повторилъ долгоусому:

— Обойди, обойди!

Мнѣ казалось, что феноменъ посылаетъ долгоусаго на какія-то враждебныя дѣйствія. Но тотъ только снялъ съ себя шляпу и подошелъ къ лѣстницѣ, низко кланяясь и глядя какъ-то вопросительно, какъ бы сомнѣваясь. На лѣстницѣ болѣе всего подавали женщины: на лицѣ матери я увидѣлъ при этомъ такое выраженіе, какъ будто она все еще испытываетъ нервную дрожь; докторъ тоже бросилъ монету. Уляницкій смѣрилъ долгоусаго негодующимъ взглядомъ и затѣмъ сталъ безвѣчно смотрѣть по сторонамъ. Среди дворни и прислуги не подалъ почти никто. Феноменъ внимательно слѣдилъ за сборомъ, потомъ тщательно пересчиталъ ногами монеты и поднялъ одну изъ нихъ кверху, иронически поклонившись Дудареву.

— Панъ докторъ... Очень хорошо... благодарю васъ.

Дударевъ равнодушно выпустилъ очень длинную струйку дыма, которая распустилась султаномъ на нѣкоторомъ разстояніи, но мнѣ почему-то показалось, что ему досадно, или онъ чего-то слегка застыдился.

— А! то есть удивительное дѣло,—сказалъ своимъ фальшивымъ голосомъ панъ Уляницкій,—удивительно, какъ онъ узналъ, что вы — докторъ (Дударевъ былъ въ штатскомъ пиджакѣ и бѣломъ жилетѣ, съ мѣдными пуговицами).

— О! Онъ знаетъ прошедшее, настоящее и будущее, а человѣка видитъ насквозь,—сказалъ съ убѣжденіемъ долгоусый, почеркнувшій, повидимому, значительную долю этой увѣренности въ удачномъ первомъ сборѣ.

— Да, я знаю прошедшее, настоящее и будущее,—сказалъ феноменъ, поглядѣвъ на Уляницкаго, и затѣмъ сказалъ долгоусому:—Подойди къ этому пану... Онъ хочетъ положить монету бѣдному феномену, который знаетъ прошедшее каждаго человѣка лучше, чѣмъ пять пальцевъ своей правой руки...

И все мы съ удивленіемъ увидѣли, какъ панъ Уляницкій съ замѣшательствомъ сталъ шарить у себя въ боковомъ карманѣ. Онъ вынулъ мѣдную монету, подержалъ ее въ тонкихъ, слегка дрожавшихъ пальцахъ съ огромными ногтями и... все-таки опустилъ ее въ шляпу.

— Теперь продолжай,—сказалъ феноменъ своему провожатому. Долгоусый занялъ свое мѣсто и продолжалъ:

— Я вожу моего бѣднаго родственника въ телѣжку потому, что ходить ему очень трудно. Бѣдный Янъ, дай я тебя подыму...

Онъ помогъ феномену подняться. Катъка стоялъ съ трудомъ,—огромная голова подавила это тѣло карлика. На лицѣ

виднѣлось страданіе, тонкія ноги дрожали. Онъ быстро опустился опять въ свою телѣжку.

— Однако, онъ можетъ передвигаться и самъ.

Колеса телѣжки вдругъ пришли въ движеніе, дворня съ крикомъ разступилась; странное существо, перебирая по землѣ ногами и еще болѣе походя на паука,—сдѣлало большой кругъ и опять остановилось противъ крыльца. Феноменъ поблѣднѣлъ отъ усилія, и я видѣлъ теперь только два огромныхъ глаза, глядѣвшихъ на меня съ телѣжки..

— Ногами онъ чешетъ у себя за спиной и даже совершаетъ свой туалетъ.

Онъ подаль феномену гребенку. Тотъ взялъ ее ногой, проворно расчесалъ широкую бороду и, опять поискавши глазами въ толпѣ,—послалъ ногой воздушный поцѣлуй экономкѣ домовладѣлицы, сидѣвшей у окна большого дома съ нѣсколькими „комнатными барышнями“. Изъ окна послышался визгъ, Павелъ фыркнулъ и опять получилъ тумака.

— Наконецъ, господа, ногою онъ крестится.

Онъ самъ скинулъ съ феномена фуражку. Толпа затихла. Калѣка поднялъ глаза къ небу, на мгновеніе лицо его застыло въ странномъ выраженіи. Напряженная тишина еще усилилась, пока феноменъ съ видимымъ трудомъ поднималъ ногу ко лбу, потомъ къ плечамъ и груди. Въ заднихъ рядахъ послышался почти истерическій женскій плачь. Между тѣмъ, феноменъ кончилъ, глаза его еще злѣе прежняго обѣжали по лицамъ публики, и въ тишинѣ рѣзко прозвучалъ усталый голосъ:

— Обойди!

На этотъ разъ долгоусый обратился прямо къ рядамъ простой публики. Вздыхая, порой крестясь, кой-гдѣ со слезами, простые люди подавали свои крохи, кучера заворачивали полы кафтановъ, кухарки наскоро сбѣгали по кухнямъ и, проталкиваясь къ телѣжкѣ, совали туда свои подаванія. На лѣстницѣ преобладало тяжелое, не совсѣмъ одобрительное молчаніе. Впослѣдствіи я замѣчалъ много разъ, что простая сердца менѣе чутки къ кощунству, хотя бы только слегка прикрытому обрядомъ.

— Панъ докторъ?.. — вопросительно протянулъ феноменъ, но, видя, что Дударевъ только насупился, онъ направилъ долгоусаго къ Уляницкому и напряженно, съ какой-то злостью слѣдилъ за тѣмъ, какъ Уляницкій, видимо, противъ воли, — положилъ еще монету.

— Извините, — повернулся вдругъ феноменъ къ моей матери...— Человѣкъ кортиса, какъ можетъ.

Въ его голосѣ была какаѣ-то особенная, жалкая нота. Докторъ вдругъ выпустилъ безконечную струйку синяго дыма и, вынувъ серебряную монету, кинулъ ее на мостовую. Феномень поднялъ ее, поднесъ ко рту и сказалъ:

— Панъ докторъ, я отдамъ это первому бѣдняку, котораго встрѣчу... Повѣрьте слову Яна Залускаго. Ну, что же ты сталъ, продолжай, — накинулся онъ вдругъ на своего долгоусаго провожатаго.

Впечатлѣнiе этой сцены еще нѣкоторое время держалось въ толпѣ, пока феномень принималъ ногами пищу, снималъ съ себя куртку и вдѣвалъ нитку въ иглу.

— Наконецъ, уважаемые господа, — провозгласилъ долгоусый торжественно! — ногами онъ подписываетъ свое имя и фамилию.

— И пишу поучительные афоризмы, — живо подхватилъ феномень. — Пишу поучительные афоризмы всеѣмъ вообще или каждому желающему порознь, ногами, за особую плату, для душевной пользы и утѣшенiя. Если угодно, уважаемые господа. Ну, Матвѣй, доставай канцелярiю.

Долгоусый досталъ изъ сумки небольшую папку, феномень взялъ ногой перо и легко написалъ на бумагѣ свою фамилию: „Янъ Криштофъ Залускiй, шляхтичъ-феномень изъ Заславскаго повѣта“.

— А теперь, — сказалъ онъ, насмѣшливо поворачивая голову, — кому угодно получить афоризмъ?.. Поучительный афоризмъ, уважаемые господа, отъ человѣка, знающаго настоящее, прошедшее и будущее...

Острый взглядъ феномена пробѣжалъ по всеѣмъ лицамъ, останавливаясь то на одномъ, то на другомъ, точно гвоздь, который онъ собирался забить глубоко въ того, на комъ остановится его выборъ. Я никогда не забуду этой нѣмой сцены. Уродъ сидѣлъ въ своей телѣжкѣ, держа гусиное перо въ приподнятой правой ногѣ, какъ человѣкъ, ожидающiй вдохновенiя. Было что-то цинически каррикатурное во всей его фигурѣ и позѣ, въ саркастическомъ взглядѣ, какъ будто искавшемъ въ толпѣ свою жертву. Среди простой публики взглядъ этотъ вызывалъ тупое смятенiе, женщины притались другъ за друга, то смѣясь, то какъ будто плача. Панъ Уляницкiй, когда очередь дошла до него, растерянно улыбнулся и выразилъ готовность достать изъ кармана еще монету. Долгоусый проворно подставилъ шляпу... Феномень обмѣнялся взглядомъ съ своимъ отцомъ, скользнулъ мимо Дударева, почтительно поклонился матери, и внезапно я почувствовалъ этотъ взглядъ на себя.

— Подойди сюда, малецъ,—сказаль онъ,—и ты тоже,—позваль онъ также брата.

Всѣ взгляды обратились на насъ, съ любопытствомъ или сожалѣніемъ. Мы рады были бы провалиться сквозь землю, но уйти было некуда; феноменъ пронизываль насъ черными глазами, а отецъ смѣялся:

— Ну, что-жь, ступайте,—сказаль онъ такимъ тономъ, какимъ порой приказываль идти въ темную комнату, чтобы отучить отъ суевѣрнаго страха.

И мы оба вышли съ тѣмъ-же чувствомъ содроганія, съ какимъ, исполняя приказъ, входили въ темную комнату... Маленькіе и смущенные, мы остановились противъ тѣлѣжки, подъ взглядомъ страннаго существа, смѣявшимся намъ навстрѣчу. Мнѣ казалось, что онъ сдѣлаеть надъ нами что-то такое, отъ чего намъ будетъ послѣ стыдно-всю жизнь, стыдно въ гораздо большей степени, чѣмъ въ ту минуту, когда мы слѣзали съ забора подъ насмѣшливымъ взглядомъ Павла... Можетъ быть, онъ разскажетъ... но что же? Что-нибудь такое, что я сдѣлаю въ будущемъ, и всѣ будутъ смотрѣть на меня съ такимъ же содроганіемъ, какъ нѣсколько минутъ назадъ при видѣ его уродливой наготы... Глаза мои застлалась слезами и, точно сквозь туманъ, мнѣ казалось, что лицо страннаго человѣка въ тѣлѣжкѣ мѣняется, что онъ смотритъ на меня умнымъ, задумчивымъ и смягченнымъ взглядомъ, который становится все мягче и все страннѣе. Потомъ онъ быстро заскрипѣль перомъ, и его нога протянулась ко мнѣ съ бѣлымъ листкомъ, на которомъ чернѣла ровная, красивая строчка. Я взяль листокъ и безпомощно оглянулся кругомъ.

— Прочитай,—сказаль, улыбаясь, отецъ.

Я взглянулъ на отца, потомъ на мать, на лицѣ которой виднѣлось нѣсколько тревожное участіе, и механически произнесъ слѣдующую фразу:

— „Человѣкъ созданъ для счастья, какъ птица для полета“...

Я не сразу поняль значеніе афоризма и только по благодарному взгляду, который мать кинула на феномена, поняль, что все кончилось для насъ благополучно. И тотчасъ же опять раздался еще болѣе прежняго рѣзкій голосъ феномена:

— Обойди!

Долгоусый граціозно кланялся и подставляль шляпу. На этотъ разъ, я увѣренъ, больше всѣхъ дала моя мать. Улицнѣй эмансивировался и только величественно повель рукой, показывая, что онъ и безъ того былъ слишкомъ великодушень. Послѣднимъ кинуль монету въ шляпу мой отецъ.

— Хорошо сказано,—засмѣялся онъ при этомъ,—только, кажется, это скорѣе парадоксъ, тѣмъ коучительный афоризмъ, который вы намъ обѣщали.

— Счастливая мысль, — насмѣшливо подхватилъ феномень.—Это афоризмъ, но и парадоксъ вмѣстѣ. Афоризмъ самъ по себѣ, парадоксъ въ устахъ феномена... Ха-ха! Это правда... Феномень тоже человекъ, и онъ менѣе всего созданъ для полета...

Онъ остановился, въ глазахъ его мелькнуло что-то странное,—они какъ будто затуманились...

— И для счастья тоже...—прибавилъ онъ тише, какъ будто про себя. Но тотчасъ-же взглядъ его сверкнулъ опять холоднымъ открытымъ цинизмомъ.

— Га!—сказалъ онъ громко, обращаясь къ долгоусому. — Дѣлать нечего, Матвѣй: обойди почтенную публику еще разъ.

Долгоусый, успѣвшій надѣть свою шляпу и считавшій, по видимому, представленіе законченнымъ,—опять замялся. По видимому, несмотря на сильно помятую фигуру и физіономію, не внушавшую ни симпатіи, ни уваженія,—въ этомъ человекѣ сохранялась доля застѣнчивости. Онъ нерѣшительно смотрѣлъ на феномена.

— Ты глупъ!—сказалъ тотъ жестко. — Мы получили съ уважаемыхъ господъ за афоризмъ, а тутъ оказался еще парадоксъ... Надо получить и за парадоксъ... За парадоксъ, почтенные господа!.. За парадоксъ бѣдному шляхтичу-феномену, который кормитъ ногами многочисленное семейство...

Шляпа обошла еще разъ по крыльцу и по двору, который къ тому времени наполнился публикой чуть не со всего переулка.

IV.

Послѣ обѣда я стоялъ на крыльцѣ, когда ко мнѣ подошелъ братъ.

— Знаешь что,—сказалъ онъ,—этотъ... феномень... еще здѣсь.

— Гдѣ?

— Въ людской. Мама позвала ихъ обоихъ обѣдать... И долгоусый тоже. Онъ его кормитъ съ ложки...

Въ эту самую минуту изъ-за угла нашего дома показалась худощавая и длинная фигура долгоусаго. Онъ шелъ, наклонясь, съ руками назади, и тащилъ за собою телѣжку, въ которой сидѣлъ феномень, подобравши ноги. Проѣзжая мимо флигелька, гдѣ жилъ военный докторъ,—онъ серьезно поклонился по направленію къ окну, изъ котораго поныхивалъ по

временамъ синій дымокъ докторской трубки, и сказалъ долгоусому: „ну, ну, скорѣе!“ Около низкихъ оконъ Уляницкаго, занавѣшенныхъ и уставленныхъ геранью, онъ вдругъ зашевелился и крикнулъ:

— До свиданья, благодѣтель... Я знаю прошедшее, настоящее и будущее, какъ пять пальцевъ моей правой руки... которой у меня, впрочемъ, нѣтъ... ха-ха! Которой у меня нѣтъ, милостивый мой благодѣтель... Но это не мѣшаетъ мнѣ знать прошедшее, настоящее и будущее!

Затѣмъ тельжка выкатилась за ворота...

Какъ будто сговорившись, мы съ братомъ бѣгомъ обогнули флигель и вышли на небольшой задній дворикъ за домами. Переулокъ, обогнувъ большой домъ, подходилъ къ этому мѣсту, и мы могли здѣсь еще разъ увидѣть феномена. Дѣйствительно, черезъ полъ-минуты въ переулкѣ показалась долговязая фигура, тащившая тельжку. Феномень сидѣлъ, опустившись. Лицо у него казалось усталымъ, но было теперь проще, будничнѣе и пріятнѣе.

Съ другой стороны, навстрѣчу, въ переулокъ вошелъ старый нищій, съ дѣвочкой лѣтъ восьми. Долгоусый кинулъ на нищаго взглядъ, въ которомъ на мгновеніе отразилось безпокойство, но тотчасъ же онъ принялъ беззаботный видъ, сталъ безпечно глядѣть по верхамъ и даже какъ-то некстати и фальшиво затянулъ вполголоса пѣсню. Феномень наблюдалъ всѣ эти наивныя эволюціи товарища, и глаза его искрились саркастической усмѣшкой.

— Матвѣй!—окликнулъ онъ, но такъ тихо, что долгоусый только прибавилъ шагъ.

— Матвѣй!

Долгоусый остановился, посмотрѣлъ на феномена и какъ-то просительно произнесъ:

— А! Ей-Богу, глупство!..

— Доставай,—кратко сказалъ феномень.

— Ну!

— Доставай.

— Ну-у?—совсѣмъ жалобно протянулъ долгоусый, однако, полѣзъ въ карманъ.

— Не тамъ,—сказалъ холодно феномень.—Сороковецъ дсктора у тебя въ правомъ карманѣ... Дѣдушка, постой на минуту.

Нищій остановился, снялъ шляпу и уставился въ него своими выпѣтшими глазами. Долгоусый, съ видомъ чловѣка, смертельно оскорбленнаго, досталъ серебряную монету и кинулъ въ шляпу старика.

— Дьяволь васъ тутъ носить, дармоѣдовъ,—пробормоталъ онъ, принимаясь опять за дышло. Нищій кланялся, держа шляпу въ обѣихъ рукахъ. Феномень захохоталъ, откинувъ голову назадъ... Телѣжка двинулась по переулку, приближаясь къ намъ.

— А ты сегодня въ добромъ гуморѣ,—угрюмо и язвительно сказалъ долгоусый.

— А что?—съ любопытствомъ сказалъ феномень.

— Такъ... пишешь пріятные афоризмы и раздаешь голодранцамъ по сороковцу... Какой, подумаютъ люди, счастливецъ!

Феномень захохоталъ своимъ рѣзкимъ смѣхомъ, отъ котораго у меня что-то прошло по спинѣ, и потомъ сказалъ:

— Ха! Надо себѣ позволить иногда... при томъ же ничего не потеряли... Ты видишь, и пріятные афоризмы иногда дѣлаютъ сборъ. У тебя двѣ руки, но твоя голова ничего не стоитъ, бѣдный Матвѣй!.. Человѣкъ созданъ для счастья, только счастье не всегда создано для него. Понялъ? У людей бываютъ и головы, и руки. Только мнѣ забыли приклеить руки, а тебѣ по ошибкѣ поставили на плечи пустую тыкву... Ха! Это непріятно для насъ, однако, не измѣняетъ общаго правила...

Подъ конецъ этой рѣчи, непріятныя ноты въ голосѣ феномена исчезли, и въ лицѣ появилось то самое выраженіе, съ какимъ онъ писалъ для меня афоризмъ. Но въ эту минуту телѣжка поровнялась съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ мы стояли съ братомъ, держась руками за балясины палисадника и уткнувъ лица въ просвѣты. Замѣтивъ насъ, феномень опять захохоталъ непріятнымъ смѣхомъ.

— А! лоботрясы! Пришли еще разъ взглянуть на феномена бесплатно? Вотъ я васъ тутъ! У меня есть такіе-же племянники, я кормлю и сѣку ихъ ногами... Не хотите-ли попробовать?... Это очень интересно. Ха-ха-ха! Ну, Богъ съ вами, не трону... Человѣкъ созданъ для счастья. Афоризмъ и парадоксъ вмѣстѣ, за двойную плату... Кланяйтесь доктору отъ феномена и скажите, что человѣку надо кормиться не тѣмъ, такъ другимъ, а это трудно, когда природа забыла приклеить руки къ плечамъ... А у меня есть племянники, настоящіе, съ руками... Ну, прощайте и помните: человѣкъ созданъ для счастья...

Телѣжка покатила, но уже въ концѣ переулка феномень еще разъ повернулся къ намъ, кивнулъ головой кверху, на птицу, кружившуюся высоко въ небѣ, и крикнулъ еще разъ:

— Созданъ для счастья. Да, созданъ для счастья, какъ птица для полета.

Загѣмъ онъ исчезъ за угломъ, а мы съ братомъ долго еще стояли, съ лицами между балясинъ, и смотрѣли то на пустой переулокъ, то на небо, гдѣ, широко раскинувъ крылья, въ высокой синевѣ, въ небесномъ просторѣ, вся залитая солнцемъ, продолжала кружиться и парить большая птица...

А потомъ мы пошли опять въ свой уголь, добыли удочки и принялись было въ молчаніи поджидать серебристую рыбу въ загнившей бадѣ...

Но теперь это почему-то не доставляло намъ прежняго удовольствія. Отъ бадѣ несло вонью, ея глубина потеряла свою заманчивую таинственность, куча мусора, какъ-то скучно освѣщенная солнцемъ, какъ бы распалась на свои составныя части, а кузовъ казался дрянной старой рухлядью...

Ночью оба мы спали плохо, вскрикивали и плакали безъ причины. Впрочемъ, причина была: въ дремотѣ обоимъ намъ являлось лицо феномена и его глаза, то холодные и циничные, то подернутые внутренней болью...

Мать вставала и крестила насъ, стараясь этимъ защитить своихъ дѣтей отъ перваго противорѣчія жизни, острой занозой вонзившагося въ дѣтскіе сердца и умы...

1894 г.

СУДНЫЙ ДЕНЬ.

(„Юмъ-Кипуръ“ *).

(Малорусская сказка).

Огонь погасъ, а мѣсяцъ виходитъ.
Въ лѣсу пасется волколакъ.

(Шевченко).

I.

Вотъ что: выйди ты, человекѣ, въ ясную ночь изъ своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочекъ, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, какъ по небу ходитъ ясный мѣсяцъ, какъ мигають и искрятся звѣзды, какъ встають отъ земли легкія тучи и бредуть куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночью дорогой... А лѣсъ стоитъ заколдованный и слушаетъ, какія чары встають въ немъ съ полуночи, а сонная рѣчка бѣжитъ, и журчитъ, и бормочетъ что-то надбережнымъ яворамъ... И скажи ты мнѣ, послѣ этого, чего только, какихъ чудесъ не можетъ случиться вонъ въ этой божьей хаткѣ, что люди называютъ бѣлымъ свѣтомъ?

Все можетъ случиться. Вотъ съ знакомымъ моимъ, новокаменскимъ мельникомъ, тоже разъ приключилась исторія... Если вамъ еще никто не рассказывалъ, такъ я, пожалуй, расскажу, только ужъ вы не требуйте, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что хотъ

*) Черезъ десять дней послѣ еврейскаго новаго года, который празднуется раннею осенью, наступаетъ у евреевъ праздникъ Юмъ-Кипуръ (очищенія). Мѣстное христіанское населеніе называетъ этотъ день «суднымъ днемъ». Существуетъ повѣрье, что въ этотъ день еврейскій чертъ, Хапунъ, уноситъ изъ синагоги одного еврея. Къ этому повѣрью подали поводъ, вѣроятно, чрезвычайно трогательные и исполненные особенной выразительности обряды, сопровождающіе празднованіе Юмъ-Кипура и совершающіеся въ маленькихъ городишкахъ Западнаго края на виду у христіанскаго населенія.

слыхалъ я ее отъ самого мельника, а всетаки и до сихъ поръ не знаю: было это на самомъ дѣлѣ или не было...

Ну, да ужъ было или не было, а разсказывать надо какъ было.

Разъ вечеромъ, послѣ вечерней службы въ Новой-Каменкѣ,—а мельница отъ села верстахъ этакъ въ полуторахъ, не болѣе,—мельникъ вернулся къ себѣ что-то не очень въ духѣ. А отчего бы ему быть не въ духѣ, этого онъ и самъ толкомъ не сказать бы. Въ церкви все шло какъ слѣдуетъ, и нашъ мельникъ, горланъ не изъ послѣднихъ, читалъ на клиросѣ такъ громко, да такъ быстро, что и привычные люди удивлялись. „Вотъ какъ чешеть, вражий сынъ,—говорили добрые люди съ великимъ респектомъ,—хоть бы тебѣ одно слово понять можно было. Чистое колесо: вертится-катится, и знаешь, что есть въ немъ спицы, а поди-ка, угляди хоть одну. Такъ вотъ и онъ читаетъ: рѣчь какъ кованное колесо по камню гремитъ, а слова никакъ не ухватишь“.

А мельникъ слушалъ, что люди промежъ себя говорятъ, и радовался. Умѣлъ-таки потрудиться для Господа Бога: языкомъ, какъ иной здоровенный парубокъ цѣломъ на току молотилъ, такъ что даже въ горлѣ къ концу пересохло и очи на лобъ полѣзли.

Послѣ службы батюшка къ себѣ мельника позвалъ, чаемъ напоилъ, да и графинчикъ съ травникомъ на столъ поставили полный, а со стола убрали пустой. Послѣ этого мѣсяцъ стоялъ уже высоко надъ полями и заглядывалъ въ маленькую, но быструю рѣчку Каменку, когда мельникъ вышелъ изъ поповскаго дома и пошелъ по селу, къ себѣ на мельницу.

Изъ сельскихъ людей кто уже спалъ, кто сидѣлъ при свѣтѣ каганцовъ въ хатахъ за вечерей, а были и такіе, которыхъ теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидѣли себѣ старые люди на призьбахъ (заваленкахъ), а молодые подъ тынами, въ густой тѣни отъ хатъ да отъ вишневыхъ садовъ, такъ что и разглядѣть было невозможно, и только тихій говоръ людской слышался тамъ и сямъ, а то и сдержанный смѣхъ, или иной разъ — неосторожный поцѣлуй какой-нибудь молодой пары... Эй, мало ли что дѣлается порой въ густой тѣни подъ вишнями вотъ въ такую ясную да теплую ночь!

Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видѣли мельника, потому что онъ шелъ самую середину улицы по мѣсяцу. И потому кое-гдѣ ему говорили:

— Добрый вечеръ, господинъ мельникъ. А не отъ батюшки ли вы это идете? Не успѣли ли вы такъ долго?

Всѣ знали, что больше не отъ кого ему и идти, но мельнику это было приятно, и онъ отвѣчалъ не безъ гордости и не задерживая шагу:

— Ага, загостился-таки немного! — и шелъ себѣ дальше прегордою поступью.

А иные сидѣли тихонько подъ навѣсами и только ждали, чтобы онъ прошелъ поскорѣе и не замѣтилъ бы, что они тутъ. Но не такой былъ человекъ мельникъ, чтобы пройти мимо или позабыть тѣхъ людей, которые ему должны за муку или за помоль, или просто взяли у него денегъ за проценты. Ничего, что ихъ плохо было видно въ тѣни и что они молчали, будто воды набрали въ ротъ, — мельникъ, всетаки, останавливался и говорилъ самъ:

— А, здоровеньки были! Тутъ вы? Молчите или не молчите, это какъ себѣ хотите, а мнѣ должокъ припасайте, потому что срокъ завтра, утромъ-раненько. А я ждать не стану, вотъ что!

И послѣ этого опять шелъ дальше по улицѣ, и его тѣнь бѣжала съ нимъ рядомъ, да такая черная-пречерная, что мельникъ, человекъ книжный и всегда готовый при случаѣ пошевелить мозгами, думалъ про себя:

— Вотъ какая черная тѣнь, даже удивительно!.. На человекѣ надѣта свитка бѣлѣе муки, а тѣнь отъ нея чернѣе сажи...

Тутъ поровнялся онъ съ шинкомъ жида Янкеля, что стоялъ на горкѣ, недалеко уже отъ выѣзда. Шабашъ уже кончился съ закатомъ солнца, но всетаки въ шинкѣ хозяина не было, а сидѣлъ жидовскій наймитъ Харько, который всегда замѣнялъ Янкеля и его бахорей по шабашамъ и въ праздники. Онъ закигалъ имъ свѣчи и принималъ своими руками деньги отъ людей, потому что жида—это ужъ всему свѣту извѣстно— строго наблюдаютъ свою вѣру: ни за что въ праздникъ ни свѣчей не зажгутъ, ни денегъ въ руки не возьмутъ: грѣхъ! Все это за нихъ и дѣлалъ наймитъ Харько, изъ отставныхъ солдатъ, а Янкель, или Янкелиха, а то и бахори только слѣдили зоркими очами, чтобы какъ-нибудь пятакъ или тамъ двадцатка, вмѣсто выручки, не попала какимъ-нибудь способомъ въ карманъ къ Харьку. „Хитрый народъ, ой, и хитрый же!—подумалъ про себя мельникъ.—Умѣютъ и Богу своему угодить, и грошей не упустятъ. Да и разумный народъ, это тоже надо сказать, — гдѣ нашимъ!“

Онъ остановился у входа въ шинокъ, на площадкѣ, крѣпко утоптанной множествомъ людскихъ ногъ, что толклись тутъ и въ базаръ, и въ простые дни, всю недѣлю, — и спросилъ:

— Янкель! Эй, Янкель! // *Doia o, sign!* можеть, теби нѣту?

— Нѣту, не видите, что-ли? — отвѣчалъ наймитъ изъ-за прилавка.

— А гдѣ?

— Гдѣ— въ городѣ, вотъ гдѣ, — отвѣчалъ наймитъ. — Вы развѣ не знаете, какой у нихъ день?

— Какой?

— Юмъ-кишуръ!

„Вотъ объяснилъ, такъ объяснилъ!“ — подумалъ про себя мельникъ. А надо вамъ сказать, наймитъ этотъ человѣкъ былъ письменный и гордый. Любилъ заирать носъ кверху, а особливо передъ мельникомъ. На клиросѣ читалъ, пожалуй, не хуже мельника, только что голосъ имѣлъ съ трещиной и забиралъ въ носъ. Поэтому въ Часословѣ еще могъ съ Филиппомъ Гладкимъ тягаться, а ужъ въ Апостолѣ никакимъ способомъ. За то въ чемъ другомъ ни за что, бывало, не уступить. Мельникъ скажетъ одно слово, а онъ ему навстрѣчу другое. Мельникъ скажетъ иной разъ: „не знаю“, а наймитъ тотчасъ: „а я такъ знаю“. Непріятный человѣкъ... Вотъ и теперь загнулъ такое слово, что мельникъ даже подъ шапкою ногтями заскребѣ, а онъ радуется.

— Да вы, можетъ, и теперь не догадались, какой это день?

— А что мнѣ и знать всякій жидовскій праздникъ! — отвѣтилъ мельникъ съ досадой. — Развѣ я у нихъ служу или что?

— Всякій? То-то вотъ и есть, что не всякій! Сегодня у нихъ такой праздникъ, что только разъ въ годъ и случается. Да еще я вамъ скажу: такого другого праздника на всемъ свѣтѣ ни у одного народа не бываетъ.

— Ну, вы скажете!

— Про Хануна, я думаю, и вы слышали.

— А?

Мельникъ только свиснулъ, — какъ-же это онъ, въ самомъ дѣлѣ, не догадался? — и заглянулъ въ окно жидовской хаты. Тамъ, на полу, были разостланы сѣно и трава, въ двойныхъ и тройныхъ свѣтильникахъ горѣли тонкія салныя свѣчки-мокайки и слышалось жужжаніе какъ будто отъ нѣсколькихъ здоровенныхъ, въ ростъ человѣка, пчелъ. То молодая, недавно взятая еще Янкелемъ, вторая жена и нѣсколько жиденятъ, закрывъ глаза и чмокая губами, жужжали какія-то молитвы, въ которыхъ слова схватить было невозможно. Однако же, было что-то такое въ этомъ моленіи удивительное: казалось, кто-то другой сидитъ внутри жидовъ, сидитъ и плачетъ, и причитаетъ, воспоминаетъ и проситъ. А кого и о чемъ? — кто ихъ знаетъ! Только какъ будто бы уже не о шинкѣ и не о деньгахъ...

У мельника стало отъ той жидовской молитвы что-то сумно на душѣ, — и жутко, и жалко. Онъ переглянулся съ наймитомъ, которому тоже слышно было жужжаніе изъ-за корчемной двери, и сказалъ:

— Молятся!.. Такъ, говоришь, Янкель поѣхалъ въ городъ?

— Поѣхалъ.

— И что ему за охота? Ну, какъ его-то какъ разъ Хапунъ и цапнетъ?

— То-то и оно!—отвѣтилъ наймитъ.—Кабы такъ на меня, то даромъ, что и воевалъ со всякимъ басурманскимъ народомъ и имѣю медаль,—а ни за какіе бы, кажется, карбованцы не поѣхалъ. Сидѣлъ бы себѣ въ хатѣ,—небось, изъ хаты не выхватить.

— А почему? Если ужъ кого схватить, то схватить и въ хатѣ. Почему въ хатѣ нельзя?

— Почему?.. Если вамъ нужно выбрать шапку или хотя рукавицы, вы куда за ними пойдете?

— Да никуда, какъ въ лавку.

— А почему въ лавку?

— Потому, что въ лавкѣ шапокъ видимо-невидимо.

— Вотъ то-то и оно. Посмотрѣли бы вы теперь въ синагогѣ: тамъ тоже жидовъ видимо-невидимо! Толкуются, плачутъ, кричатъ такъ, что по всему городу слышно, отъ заставы и до заставы. А гдѣ толкунъ мошкеры толчется, туда извѣстно и птица летитъ. Дуракъ бы былъ и Хапунъ, если бы сталъ, вмѣсто того, по лѣсамъ, да по селамъ рыскать и высматривать. Ему только одинъ день въ годъ и дается, а онъ бы его такъ весь и пролеталъ понапрасну. Еще въ которой деревнѣ есть жидъ, а въ которой, можетъ, и не найдется.

— Ну, такихъ мало.

— Хотъ мало, а всетаки... при томъ, изъ многолюдства и выбирать много лучше.

Оба замолчали... Мельникъ подумалъ, что опить его наймитъ зашибъ хитрыми словами, и ему стало опять непріятно. А изъ оконъ все неслись жужжаніе, и плачь, и причитаніе жидовъ.

— Да это еще правда ли?—заговорилъ мельникъ, которому захотѣлось подразнить наймита.—Можетъ, такъ люди брешутъ! Одинъ дурень сбрехнетъ, а другой и повѣритъ.

Наймиту эти слова не понравились.

— Развѣ это я самъ выдумалъ, — сказалъ онъ, — или мой отецъ, или свать... Когда это извѣстно всему крещеному народу?

— А вы-жъ сами это видѣли?—задорно спросилъ мельникъ.

Когда онъ входилъ въ азартъ, то говаривалъ иногда, что не хочетъ знать самого чорта, пока оно ему не покажутъ вотъ

такъ, какъ на ладони. А теперь онъ какъ разъ быть въ самомъ азартѣ.

— А вы-жъ,—говорить,—сами видѣли? А когда не видали, то и не говорите, что оно есть, вотъ что!

Наймитъ спустилъ маленько голосу и даже что-то закашлялся. Ну, да не такой—волкъ его заѣшь!—и онъ человѣкъ былъ, чтобы совсѣмъ сдаться.

— Лгать не стану,—говорить,—самъ никогда не видалъ. Ну, а вы, господинъ мельникъ, когда-нибудь Кіевъ видѣли?

— Нѣтъ, не видѣлъ, тоже лгать не буду.

— А онъ-таки есть, хоть вы его и не видали!

Тутъ ужъ мельникъ на такое ясное слово совсѣмъ вынулъ глаза.

— Вотъ что правда, то правда, — подумалъ онъ: — таки Кіевъ есть, хоть я его не видалъ... Видно, надо вѣрить, когда добрые люди говорятъ. Ну, хорошо... Отъ кого-жъ вы это слышали?

— Ба! отъ кого? А вы отъ кого про Кіевъ слышали?

— Тю-тю! Ну, и языкъ у васъ!.. Чистая бритва, чтобы ему отсохнуть!

— Нечего моему языку отсыхать... Если всѣ говорятъ, то, значитъ, правда. Не была бы правда, то всѣ не говорили бы, а говорили бы одни только брехуны...

— Тыфу! Да остановись ты хоть на одну минуту! Я-жъ уже и самъ вижу, что не въ тотъ переулочекъ завернулъ... А только я-бъ хотѣлъ знать, откуда она взялась, такая людская намолвка...

— А оттуда и взялась, что это каждый годъ бываетъ. Что бываетъ, о томъ и люди говорятъ, а чего не бываетъ, о томъ и говорить не стоитъ...

— А, вотъ человѣкъ какой! Скажи мнѣ, наконецъ, что-жъ такое бываетъ, вотъ что!

— Эге-ге, такъ, видно, вы и этого не знаете, что бываетъ въ судный день?..

— Зналъ, то-бъ и не спрашивалъ. Слышу давно, — люди болтаютъ, вотъ какъ и ты: Хапунъ, Хапунъ, а въ какой разумъ это говорится, и не знаю.

— Такъ бы сразу и говорили, что не знаете... Если хотите знать, такъ я и расскажу, потому что я побывалъ-таки на свѣтѣ, не то что вы. Я и въ городѣ жывалъ не по одному году, и у жидовъ не первый разъ служу.

— А не грѣхъ тебѣ?—усомнился мельникъ.

— Другому кому грѣхъ, а солдату все можно! Намъ такая и бумага выдается. <http://rcin.org.pl>

— Развѣ что бумага...

Послѣ этого уже солдатъ рассказалъ мельнику дружелюбно всю правду про Хапуна и про то, какъ онъ въ этотъ день ежегодно хватаетъ по одному жида.

Хапунъ, надо и вамъ сказать, когда вы не знаете, есть особенный такой жидовскій чортъ. Онъ, скажемъ, во всемъ остальномъ похожъ и на нашего чорта, такой же черный и съ такими же рогами, и крылья у него, какъ у здоровеннаго петуха; только носить пейсы, да ермолку и силу имѣеть надъ одними жидами. Повстрѣчайся ему нашъ братъ, христианинъ, хоть о самую полночь, гдѣ-нибудь въ пустырь или хоть надъ самымъ омутомъ, онъ только убѣжить, какъ пугливая собака. А надъ жидами дается ему воля: каждый годъ выбираетъ себѣ по одному и уносить...

Для этого-то вотъ выбора и назначается *юмъ-кипуръ*, судный день. Жиды задолго уже до того дня молятся, плачутъ, рвутъ на себѣ одежду и даже головы зачѣмъ-то обсыпаютъ золой изъ печки. Передъ вечеромъ всѣ моются въ рѣчкѣ или на ставахъ *), а какъ зайдетъ солнце, — идутъ бѣдняги въ свою школу **), и ужъ какой оттуда крикъ слышится, такъ не приведи Богъ: всѣ орутъ въ голосъ, а глаза отъ страха закрываютъ... А уже въ это время, какъ только небо погаснетъ и станетъ на немъ вечерняя звѣзда, Хапунъ вылетаетъ изъ своего мѣста и вьется надъ „школой“, и въ окна бьетъ крыломъ, и выматриваетъ себѣ добычу. Но вотъ когда уже настоящий страхъ нападаетъ на жидовъ, такъ это въ самую полночь. Они нарочно зажигаютъ всѣ свѣчи, чтобы не было такъ жутко, падаютъ всѣ на полъ и начинаютъ кричать, какъ будто ихъ кто рѣжетъ. И когда они такъ лежатъ и надрываются, Хапунъ, какъ большой воронъ, влетаетъ въ горницу; всѣ слышать, какъ отъ его крыльевъ холодъ идетъ по сердцамъ, а тотъ, котораго онъ высмотрѣлъ ранѣе, чувствуетъ, какъ въ его спину впиваются чортовы когти. А! рассказывать объ этомъ, и то даже морозъ по-за шкурой пройдетъ, а каково-то бѣдному жида!.. Само собою, — кричить во все горло. Ну, да кто тутъ услышитъ, когда и всѣ тоже гадаютъ, какъ сумасшедшіе? А можетъ, кто изъ сосѣдей и слышитъ, такъ что-жъ тутъ дѣлать, — радъ, что не ему выпала злая доля!..

Наимитъ Харько самъ слыхалъ не одинъ разъ, какъ послѣ того въ мѣстечкѣ разносился звукъ трубы, да такой звонкій, жалобный и протяжный... Это служба изъ школы на проща-

*) Ставъ — прудъ.

**) Простой народъ въ Юго-Западномъ краѣ называетъ синагоги школами.
Сочиненія В. Г. Короленко, т. II.

ніе трубить вдогонку своему бѣдному брату, между тѣмъ какъ другіе надѣваютъ въ передней „патынки“ (потому что въ школу входятъ въ однихъ чулкахъ) и тихо расходятся по домамъ. Видѣлъ также Харько, какъ они останавливались кучками противъ мѣсяца и бормотали что-то, и подымались на цыпочки, глядя въ ночное небо... А въ это время, когда уже всѣ до одного разойдутся, на полу въ передней комнатѣ сиротливо стоитъ себѣ пара „патынковъ“ и ждетъ своего хозяина... Э! сколько бы ни ждала, никогда не дождется, потому что въ этотъ часъ надъ полями и лѣсами, надъ горами, ярами и долинами Хапунъ тащитъ хозяина патынковъ по воздуху, взмахивая крыльями и хорошисъ отъ христіанскаго глаза. Радъ, проклятый, когда ночь выпадетъ облачная, да темная. А ежели тихая, да ясная, какъ вотъ сегодня, что мѣсяцъ свѣтитъ изо всѣхъ силъ, то, пожалуй, напрасно чертика и труды принималъ...

— А почему?—спросилъ мельникъ.

— А потому, что вотъ видите вы: стоитъ любому, даже и не хитрому, крещеному человѣку, хоть бы и вамъ, напри- мѣръ, крикнуть чертикѣ: „Кинь! Это мое!“—онъ тотчасъ же и выпуститъ жидя. Затренихастъ крылами, закричитъ жалобно, какъ подстрѣленный шулякъ *), и полетитъ себѣ дальше, оставшись на весь годъ безъ поживы. А жидъ упадетъ на землю. Хорошо, если не высоко падать, или угодить въ болото, на мягкое мѣсто. А то, все равно, пропадетъ безъ всякой пользы... Ни себѣ, ни чорту.

— Вотъ такъ штука! — сказалъ мельникъ въ раздумьи и со страхомъ поглядѣлъ на небо, съ котораго мѣсяцъ, дѣйствительно, свѣтилъ изо всей мочи. Небо было чисто, и только между луною и лѣсомъ, что чернѣлся вдали за рѣчкой, проворно летѣло небольшое облачко, какъ темная пушинка. Облако, какъ облако, но вотъ что показалось мельнику немного странно: кажись, и вѣтру нѣтъ, и листъ на кустахъ стоитъ — не шелохнется, какъ заколдованный, а облако летитъ, какъ птица, и прямо къ городу.

— А поглядите-ка, что я вамъ покажу,—сказалъ мельникъ наймиту.

Тотъ вышелъ изъ шинка и, опернившій спиною о косякъ, сказалъ хладнокровно:

— Ну, такъ что-жь? Нашли, что показывать: облакъ, такъ и облакъ! Богъ съ нимъ...

— Да вы поглядите-ка еще,—вѣтеръ есть?

*) Коршунъ.

— Та-та-та-а... Вот оно что!—догадался наймитъ,—прямо въ городъ мандруеть...

И оба почесали затылки, задравши головы кверху.

А изъ оконъ по-прежнему несло жужжаніе, виднѣлись желтыя, вытянутыя лица, шапки на затылкѣ, закрытые глаза, неподвижныя губы... Жиденята плакали, надрывались, и опять мельнику показалось, что кто-то другой внутри ихъ плачетъ и молить о чемъ-то давно утраченномъ и наполовину уже позабытомъ...

— А! пора и домой, — очнулся мельникъ. — А я-было хотѣлъ гроши Янкелю отдать...

— Можно. Я принимаю за нихъ, — сказалъ на это наймитъ, глядя въ сторону.

Но мельникъ притворился, что не слыхалъ этихъ словъ. Деньги были не такія маленькія, чтобы вотъ такъ, просто, отдать какому-нибудь пройди-свѣту, отставному солдату.

— Прощайте-ка, — сказалъ поэтому мельникъ.

— Прощайте и вы! А деньги я-таки принялъ бы.

— Не беспокойте себя: отдамъ и самому.

— Это какъ себѣ хотите. А взять и я взялъ бы, безпкойство не большое. Ну, пора ужъ и шпюкъ запирать. Видно, кромѣ васъ, никакая собака уже не завернетъ сегодня.

Наймитъ опять почесалъ себѣ о косякъ спину, посвисталъ какъ-то не совѣмъ пріятно вслѣдъ мельнику и сталъ запирать двери, на которыхъ были намалеваны бѣлою краской кварта, рюмка и жестяной крючокъ (шкаликъ). А мельникъ спустился съ пригорочка и пошелъ вдоль улицы, въ своей бѣлой свиткѣ, а за нимъ опять побѣжала по землѣ черная-пречерная тѣнь.

Но теперь мельникъ раздумывать уже не о своей тѣни, а совѣмъ-таки о другомъ...

II.

Мельникъ прошелъ не болѣе десяти сажень, какъ въ садочкѣ по-за тыномъ что-то зашуршало и зашумѣло, будто испорхнули двѣ большія птицы. Но это были не птицы, а какой-то парубокъ съ дѣвкой, испуганные тѣмъ, что мельникъ сразу вышелъ изъ темноты. Впрочемъ, парубокъ, видно, былъ не изъ страшливыхъ: отойдя еще подальше въ тѣнь, такъ что едва бѣлѣли подъ вишнями двѣ фигуры, онъ крѣпкою рукой придержалъ всполохнувшуюся дѣвушку и опять повелъ тихія рѣчи. А пройдя еще немного, мельникъ услышалъ что-то такое, что даже остановился отъ большой досады...

— А ты, — не знаю, какъ тебѣ, — подождать бы хотѣлъ цѣ-

ловаться, — сказалъ онъ. — А то чмокаешь на все село, — сказалъ онъ, подойдя къ самому тыну.

— А тебѣ, собачій сынъ, надо въ чужія двери носъ совать? — отвѣтилъ парубокъ изъ тѣни. — Такъ вотъ погоди, я и тебя поцѣлую дрючкомъ по ногамъ. Будешь впередъ знать, какъ людямъ дѣлать помѣху.

— Ну-ну! — сказалъ мельникъ, отходя. — Подумаешь, важную работу дѣлаетъ... Да и подлый-же какой-то парубокъ, какъ чмокаетъ, даже человѣку стало какъ будто завидно. Распустился народъ!

Онъ постоялъ, подумалъ, почесалъ въ головѣ и потомъ, привернувши къ сторонкѣ, занесъ ногу черезъ тынъ и пошелъ огородомъ къ вдовиной избушкѣ, что стояла немного поодаль, край села, подъ высокою тополей... Хатка была малюсенькая, да еще сгорбилась и похилилась къ землѣ. Оконце было такое крохотное, что его, пожалуй, трудно было и разглядѣть, будь ночь сколько-нибудь потемнѣе. Но теперь хатка вся такъ и горѣла отъ мѣсячнаго свѣта, солома на ней казалась золотая, а стѣна серебряная, и оконце чернѣло на стѣнѣ, какъ прищуренный глазъ. Огня въ окнѣ не было. Должно-быть, у старухи съ дочкой печѣмъ было вечерить, не зачѣмъ было и свѣтить. Мельникъ постоялъ, потомъ тихонько стукнулъ два раза въ оконце и отошелъ къ сторонкѣ.

Недолго еще и постоялъ, какъ двѣ полныя дѣвичьи руки ерѣшко обвилась вокругъ его шеи, а межъ усовъ такъ даже загорѣлось что-то, какъ приникли къ мельниковымъ устамъ горячія дѣвичьи губы. Э, что тутъ рассказывать! Если васъ кто такъ цѣловалъ, то вы и сами знаете, а если никогда съ вами ничего такого не было, то не стоитъ вамъ и говорить. } — Филиппо мой, милый, желанный! — говорила, ласкалась, дѣвушка, — пришелъ-таки... А я ужъ ждала-заждалась, думала изсохну безъ тебя, какъ та былинка безъ воды...

„Э, не изсохла-таки, слава тебѣ Господи! — подумалъ про себя мельникъ, прижимая рукой не очень-то худощавый станъ дѣвушки. — Слава Богу, еще ничего“.

— Когда же рушники готовить будемъ? — заговорила дѣвушка, все еще держа руки на плечахъ Филиппа и обдавая его горячимъ взглядомъ черныхъ очей. — Вѣдь, ужъ скоро Филипповки.

Эта рѣчь припалась мельнику не такъ по вкусу, какъ дѣвичьи поцѣлуи. „Видишь ты, куда гнетъ, — подумалъ онъ про себя. — Эхъ, Филиппъ, Филиппъ, задасть она тебѣ теперь потасовку“. Но, всетаки, набравшись храбрости и отведя свои глаза въ сторону, онъ промолвилъ:

— Э, какая ты, Галя, ласая. Сейчасъ тебѣ и рушники. Какъ-же это можно, когда я теперь самъ мельникъ и скоро, можетъ, стану первый богатырь (богачъ) на селѣ, а ты — бѣдная вдовина дочка?

Дѣвку шатнуло отъ того слова, будто ее ужалила змѣя. Она отскочила отъ Филиппа и схватилась рукою за сердце.

— А я думала... охъ, бѣдная-жъ моя голова!.. Такъ чего-жъ это ты, подлый человѣкъ, стучаль въ оконце?

— Эге! — отвѣтилъ мельникъ, — чего стучаль... А что-же мнѣ и не стучать, если твоя мать должна мнѣ деньги? А ты выскочила, да прямо цѣловаться. Что-жъ мнѣ... Я тоже умѣю цѣловаться не хуже людей.

И онъ опять протянулъ къ ней руку, но только что его рука коснулась дѣвичьяго стана, какъ станъ этотъ вздрогнулъ, будто дѣвку ужалила гадюка.

— Геть! — крикнула она такъ сердито, что мельникъ попятился назадъ. — Я тебѣ не бумажка рублевая, что ты меня хватаешь, будто свою. Вотъ подойди еще, я тебя такъ огрѣю, что ты послѣ того забудешь ласовать на три года.

Мельникъ растерялся.

— Вотъ какая гордычка! А что я, прости Господи, жидъ, что-ли, тебѣ дался, что ты вотъ такъ паскудно лаешься?

— А то не жидъ, что-ли? За полтину уже рубль нарастилъ, да еще тебѣ мало: ко мнѣ полѣзь за процентами. Геть! — говорю тебѣ, — постылый!

— Ну, дѣвка! — сказала мельникъ, опасливо закрывая лицо ладонью, какъ бы въ самомъ дѣлѣ не засвѣтила кулакомъ. — Я вижу, съ тобой умному человѣку и говорить нельзя. Ступай, посылай сюда мать!

Но старуха уже и безъ того вышла изъ хаты и низко кланялась мельнику. Тому это больше понравилось, чѣмъ разговоръ съ дочкой. Онъ подбоченился, и его черная тѣнь на стѣнѣ такъ задрала голову, что мельникъ и самъ уже подумалъ, какъ это у нея не свалится шапка.

— А знаешь ты, старая, зачѣмъ я это пришелъ? — говорить мельникъ старухѣ.

— Охъ, какъ мнѣ, бѣдной, не знать! Видно, ты пришелъ за моими деньгами...

— Хе! не за твоими, старая, — засмѣялся мельникъ, — а за своими собственными. И-жъ не разбойникъ какой, чтобы по ночамъ за чужими деньгами въ чужой домъ приходиться.

— Вотъ-же таки за чужими и пошелъ, — задорно сказала Галя, взявшись въ боки и наступая на мельника, — не за своими-же!

— Фу, скажѣнная *) дѣвка! — сказала тутъ мельникъ, отступивши еще шага на два. — Ей-Богу, такой скаженной дѣвки во всемъ селѣ не сыщется. Да не то что въ селѣ, а во всей губерніи. Ну, подумай ты, какое слово сказала! Да не будь вотъ тутъ одна твоя мать, что, пожалуй, и не поидеть въ свидѣтели, такъ я бы тебя въ судъ потянулъ за безчестье! Эй, одумайся ты хоть немного, дѣвка!

— А что мнѣ одуматься, когда это чистая правда?

— Какая-жъ это правда, когда старая у меня брала, да и не выплатила?

— Врешешь, врешешь, какъ рудая собака! Когда былъ еще *подсыпкой* **), да со мной женихался, хотѣлъ въ домъ идти, и не говорилъ, что назадъ потребуешь. А какъ дядько померъ, да самъ ты сталъ мельникомъ, такъ весь долгъ уже перебралъ и еще тебѣ мало?

— А мука?

— Ну, что мука?.. За муку сколько слѣдовало?

— По копѣ ***)), вотъ сколько! Дешевле никто не отдастъ, хоть куда хочешь поѣзжай, хоть себя отдай въ придачу.

— А съ насъ ты сколько уже перебралъ?

— Тю-тю, куда махнула! Языкъ у тебя тоже... не хуже Харька. Да и я-жъ тебѣ на то отвѣчу: а проценты? Ну, что взяла?

Но Галя уже ничего не отвѣтила. Съ дѣвками оно часто такъ бываетъ: говорить-говорить, лопочеть-лопочеть, какъ мельница на всѣхъ поставкахъ, да вдругъ и станетъ... Подумаешь, воды не хватило... Такъ гдѣ! Какъ разъ полились рѣкой горькія слезы и отошла въ сторону, все утирая глаза широкимъ рукавомъ бѣлой сорочки.

— Отъ такъ!—сказалъ мельникъ, чуть-чуть растерявшись, а всетаки довольный.—Чего-бъ это я кидался на людей. Не лаялась бы, такъ нечего бы и плакать.

— Молчи, молчи, молчи ты, постылая тварюка!

— Молчи-же и ты, когда такъ!

— Молчи уже, молчи, моя доню,—прибавила старая мать, тижко вздохнувши. Старуха боялась, видно, разсердить мельника. Видно, у старухи нечѣмъ было заплатить въ этотъ срокъ.

— Не стану молчать, мамо, не стану, не стану!—отвѣтила дѣвушка, точно въ мельницѣ опять пошли ворочаться всѣ ко-

*) Сумасшедшая.

**) Подсыпка — работникъ на мельницѣ, засыпающій зерно на жернова.

***) *Копѣ* въ малороссійскомъ счетѣ значитъ 60. *Копѣ* грошей — 30 копѣекъ.

деса.— Вотъ-же не стану молчать, а коли хотите вы знать, то еще и очи ему выцарапаю, чтобы не смѣлъ на меня славу напрасно наводить, да въ окна стучать, да цѣловаться!.. За-чѣмъ стучаль, говори, а то какъ хвачу за чуприну, то не погляжу, что ты мельникъ и богатырь. Небось, прежде не гордился, самъ женихался, да ласковыми словами сыпаль. А теперь ужъ носъ задраль, что и щанка на макушкѣ не удержится!

— Ой, доню, молчи уже, моя смирная сиротинка!—сокрушенно вздохнувъ, опять промолвила старуха.—А вы, папъ мельникъ, не взыщите на глупой дѣвкѣ. Молодой разумъ съ молодымъ сердцемъ—что молодое пиво на хмѣлю: и мутно, и бурлить. А устоится, такъ станетъ людямъ на усладу.

— А мнѣ что?—сказаль мельникъ.—Мнѣ отъ нея ни горечи, ни услады не нужно, потому что я вамъ не ровня. Мнѣ мои деньги подай, старая, то я на вашу хату и глядѣть не стану.

— Охъ, нѣтъ-же у насъ! Подожди еще, заработаемъ съ дочкой вдвоемъ, то и отдамъ. Охъ, горе мое, Филиннушка, и съ тобою, и съ нею. Ты-жъ самъ знаешь, я тебя, какъ сына любила, не думала, не гадала, что ты съ меня, старой, тѣ долги поверстаешь, да еще съ процентами... Хоть бы дочку, что-ли, замужь отдать, и женихи есть добрые,—такъ вотъ не идетъ-же ни за кого, хоть ты что хочешь. Съ тѣхъ поръ, какъ ты съ нею женихался, будто заворожилъ дѣвку. Лучше, говорить, меня въ сырую землю живую закопайте. Дурная и я была, что позволила вамъ до зари вотъ тутъ простаивать... Ой, лихо мнѣ!..

— А какъ-же мнѣ быть?—сказаль мельникъ.—Ты, старая, этихъ дѣлъ не понимаешь: у богатаго человѣка расходъ большой. Вотъ я жиду долженъ, такъ отдаю,—отдавайте и вы мнѣ.

— Подожди еще хоть съ мѣсяць.

Мельникъ поскребъ въ головѣ и подумаль. Маленько-таки разжалобила его старуха, да и Галина узорная сорочка недалеко бѣлѣла.

— А я, смотри, за это еще десять грошей накину,—сказаль онъ.—Лучше отдала бы.

— Что-жъ дѣлать? Видно моя доля такая, — вздохнула старуха.

— Ну, значить, такъ оно и будетъ. Я не жидъ, я-таки добрый себѣ челоюига. Другой бы, ужъ я вѣрно знаю, накинулъ бы двадцатку, а я накину десять грошиковъ и подожду еще до Филинновокъ. Да смотри, тогда уже стану жаловаться въ правленіи.

И онъ, не поклонившись, повернулся и пошелъ себѣ за околицу, даже не оглядываясь на избушку, у которой долго еще бѣлѣла узорная сорочка,—бѣлѣла на черной тѣни подъ вишеньемъ, какъ бѣлесая звѣздочка,—и нельзя было мельнику видѣть, какъ плакали черными очи, какъ тянулись къ нему бѣлыя руки, какъ вздыхала дѣвичья грудь.

— Не плачь, доню, не плачь, ясочко,—говорила старая Прися.— Не плачь, видно такая Божія воля.

— Охъ, мамо, мамо, хоть бы дала ты мнѣ очи ему выцарапать! Можетъ, мнѣ стало бы легче...

III.

Послѣ этого мысли мельника стали какъ-то еще скучнѣе.

— Вотъ, что-то все не такъ идетъ на этомъ свѣтѣ,—думалъ онъ про себя.— Какъ-то человѣку все бываетъ неприятно, а отчего—и не придумаешь... Вотъ, теперь дѣвка прогнала... Жидомъ назвала, эге-ге!.. Кабы я былъ жидъ, да имѣлъ такія деньги, да торговлю... да развѣ такъ сталъ бы я жить, какъ теперь? Нѣтъ, не такъ! Теперь что и за жизнь моя: работай на мельницѣ самъ, ночь не доспи, днемъ не доѣшь; гляди за водой, чтобъ не утекла, гляди за камнемъ, гляди за валомъ, гляди на валу за шестернями, гляди на шестерняхъ за пальцами, чтобы не повскочили, да чтобы забирали ровно... Э, гляди еще и за проклятымъ работникомъ-подсыпкой. Развѣ можно положиться на наймита? Только уйди на минуту, сейчасъ и онъ, подлый человѣкъ, куда-нибудь къ дѣвкамъ утреплется... А, собачья жизнь мельника, просто-таки собачья! Правда, съ тѣхъ поръ какъ дядько—царствіе ему небесное!—убухался съ пьяныхъ глазъ въ омутъ, стала я самъ хозяйномъ и деньжонки-таки стали заглядывать въ мои карманы... Такъ опять что въ нихъ? За рублемъ какимъ-нибудь ходишь, ругаютъ тебя и за глаза, да и въ глаза не стыдятся, а много-ли прибытку?—пустяки! Никогда крещеному человѣку не перепадеть столько, какъ жиду. Вотъ когда бы еще жидка унесла нелегкая изъ села, тогда, пожалуй, можно бы и развернуться. Ни къ кому не пошли бы, какъ ко мнѣ, и за копѣйкой, когда надо на подати, и за товаромъ. Ге! можно бы и шиночекъ, пожалуй, открыть... А на мельницѣ или бы кого посадилъ, или хоть продалъ бы. Ну ее! Какъ-то все человѣкъ еще не человѣкъ, пока работаетъ. Толи дѣло, когда отъ грошика грошикъ самъ родится. Этого только дуракъ не понимаетъ... Заведи себѣ пару свиней; глядишь—свинья звѣрь плодущій—черезъ годъ ужъ чуть не стадо! Такъ вотъ и деньги пускаешь ихъ по глупымъ лю-

дямъ, будто на пастбище, только не зѣвай, да умѣй опять согнать по времени: отъ гроша родится десять грошей, отъ карбованца—десять карбованцевъ...

Тутъ мельникъ вышелъ уже на самый гребень дороги, откуда начинался пологій спускъ къ рѣкѣ. Впереди уже слышно было,—такъ, чуть-чуть, когда подыхиваль ночной вѣтерокъ,—какъ сонная вода звенить въ лоткахъ. А сзади, оглянувшись еще разъ, мельникъ увидѣлъ спящее въ садахъ село и подъ высокими тополями маленькую вдовину хатку... Онъ остановился и подумалъ немного, почесываясь въ головѣ.

— Э, дуракъ я былъ бы!—сказалъ онъ, наконецъ, пускаясь въ дальнѣйшій путь.—Пожалуй, не выдумай дядько въ ту ночь, напившись наливочки, залѣзть въ омутъ, теперь меня бы ужъ окрутили съ Галею, а она вотъ мнѣ и не ровня. Эхъ, и сладко-же, правда, цѣлуется эта дѣвка,—у-у какъ сладко!.. Вотъ и говорю, что какъ-то все не такъ дѣлается на этомъ свѣтѣ. Если бъ къ такому личику да хорошее приданое... ну, хоть такое, какъ коденскій Макогоненко даетъ за своею Мотрей... Э, что ужъ тутъ и говорить!..

Онъ кинулъ изъ-подъ горы послѣдній взглядъ назадъ, когда на селѣ раздался вдругъ ударъ колокола. Что-то какъ будто упало съ колокольни, что виднѣлась среди села, на горочкѣ, и полетѣло, звеня и колыхаясь, надъ полями.

— Эге, это уже, видно, становится на свѣтѣ полночь,—подумалъ онъ про себя и, зѣвнувъ во всю плотку, сталъ быстро спускаться подъ гору, думая опять о своемъ стадѣ. Ему такъ и видѣлись его карбованцы, какъ они, точно живые, ходятъ по разнымъ рукамъ, въ разныхъ дѣлахъ, и все пасутся себѣ, и все плодятся. Онъ даже засмѣялся, представивши, какъ разные дурни думаютъ, что стараются для себя. А придетъ срокъ, и онъ, хозяинъ стада, опять стонить его въ свой кованный сундукъ вмѣстѣ съ прилодомъ.

И все это были мысли пріятныя. Только воспоминаніе о жидѣ опять испортило эти пріятныя мысли. Мельнику стало скучно, что жидъ захватилъ себѣ всѣ пастбища, и его бѣднымъ карбованцамъ нечѣмъ кормиться, негдѣ плодиться, точно стаду барановъ на выгонѣ, гдѣ уже побывали жидовскія козы... Тутъ ужъ, извѣстно, не раскормишься!

— Э, чтобъ его чертяка забралъ, проклятаго!—подумалъ мельникъ, и ему показалось, что вотъ это самое и есть то, отчего ему такъ скучно... Вотъ это самое только и есть плохое на свѣтѣ. Проклятые жида мѣшаютъ крещеному человѣку собирать свой доходъ.

Тутъ, въ половинѣ горы, гдѣ тихій и будто сонный шумъ

воды въ лоткахъ слышался уже безъ перерывовъ,—мельникъ вдругъ остановился, какъ вкопанный, и ударилъ себя ладонью по лбу.

— Ба, вотъ была бы штука!.. Право, хорошая штука была бы, ей-Богу! Вѣдь нынче какъ разъ судный день. Что, если бы жидовскому чорту полюбился какъ разъ нашъ шинкаръ Янкель?.. Да гдѣ! Не выйдетъ. Мало-ли тамъ, въ городѣ, жидовъ? Къ тому-же еще Янкель—жидище грузный, старый, да костистый, какъ ершь. Что въ немъ толку? Нѣтъ, не такой онъ, мельникъ, счастливый человѣкъ, чтобы Хапунъ выбралъ себя изъ тысячи какъ разъ ихняго Янкеля.

На минуту въ головѣ мельника, какъ безпокойные муравьи, закопошились другія мысли:

— Эхъ, Филиппъ, Филиппъ! Нехорошо и думать такое крещеному человѣку, что ты себя теперь думаешь. Опомнись! Вѣдь у Янкеля останутся дѣти, будетъ кому долгъ отдать... А второе-таки и грѣшно,—Янкель тебя худого не дѣлалъ. Можетъ другимъ и есть за что поругать стараго шинкаря, такъ, вѣдь, съ другихъ-то и ты самъ не прочь взять лихву...

Но на эти неприятныя мысли, что стали-было покусывать его совѣсть, какъ собачонки, мельникъ выпустилъ другія, еще посердитѣе:

— Всетаки, жидюга, такъ жидюга, не ровни же крещеному человѣку. Если я и беру лихву,—ну, и беру, этого нельзя сказать, что не беру,—такъ, вѣдь, лучше-же, я думаю, отдать процентъ своему брату, крещеному, чѣмъ некрещеному жида.

Въ эту минуту и ударило въ послѣдній разъ на колокольцѣ.

Должно быть, звонарь, Иванъ Кадило, заснулъ себя подъ церковью и дергалъ веревку спросонокъ,—такъ долго вызванивалъ полночь. За то въ послѣдній разъ, обрадовавшись концу, онъ бухнулъ такъ здорово, что мельникъ даже вздрогнулъ, когда звонъ загудѣлъ изъ-за горы, надъ его головой, и понесся черезъ рѣчку, надъ лѣсомъ, въ далекія поля, по которымъ вьется дорога къ городу...

„Вотъ теперь уже всѣ спать на свѣтѣ,—подумалъ про себя мельникъ, и что-то его ухватило за сердце.—Всѣ спать себя, кому гдѣ надо, только жида толкутся и плачутъ въ своей школѣ, да я стою вотъ тутъ, какъ неприканная душа, надъ омутомъ и думаю нехорошее...“

И показалось ему въ тотъ часъ все какъ-то странно... „Слышу,—говорить,—что это звонъ затихаетъ въ полѣ, а самому кажется, будто кто невидимка бѣжитъ по шляху и стонетъ... Вижу, что лѣсъ за рѣчкой стоитъ весь въ росѣ и свѣтится роса отъ мѣсяца, а самъ думаю: какъ-же это его

въ лѣтнюю ночь задернуло морознымъ инеемъ? А какъ вспомнилъ еще, что въ омутѣ дядько утопъ, — а я не мало-таки радовался тому случаю, — такъ и совсѣмъ оробѣлъ. Не знаю — на мельницу идти, не знаю — тутъ ужъ стоять...”

— Гаврило! Эй, Гаврило! — крикнулъ онъ тутъ подсыпкѣ-работнику. — Такъ и есть, на мельницѣ пусто, а онъ, лодырь, опять помандровалъ на село, къ дѣвкамъ.

Вышелъ Филиппъ на свѣтлое мѣсто, на средину плотины. Слышитъ: вода просасывается въ шлюзахъ, а ему кажется, что это кто-то врадется изъ омута и карабкается на колеса...

„Э, лучше пойду-таки спать“, — подумалъ онъ про себя... Только прежде еще разъ оглинулся.

Мѣсяцъ давно перебрался уже черезъ самую верхушку неба и смотрѣлся на воду... Мельнику показалось удивительно, какъ это хватаетъ въ его маленькой рѣчкѣ столько глубины — и для мѣсяца, и для синяго неба со всѣми звѣздами, и для того маленькаго темнаго облачка, которое, однако, несется легко и быстро, какъ пушинка, по направленію изъ города.

Но такъ какъ глаза его уже слипались, то удивлялся онъ не долго и, отворивъ отмычкой наружную дверь и запершись опять изнутри задвижкой, чтобы слышать, какъ вернется гулика-подсыпка, — отправился къ себѣ на постель...

IV.

— Эге-ге, встань, Филиппъ!.. Вотъ такъ штука! — вдругъ подумалъ онъ, подымаясь въ темнотѣ съ постели, точно его кто стукнулъ молоткомъ по темени. — Да я-жъ и забылъ: вѣдь это возвращается изъ города то самое облачко, которое недавно покатилося туда, да еще мы съ жидовскимъ наймитомъ дивились, что оно летитъ себѣ безъ вѣтру. Да и теперь вѣтеръ, кажись, не великъ и не съ той стороны. Погоди! Исторія, кажется, тутъ не простая...

Сильно клонило мельника ко сну. Но... вотъ онъ вышелъ босикомъ на плотину и сталъ на самой серединѣ, почесывая себѣ брюхо и спину (на мельницѣ-таки было не безъ блохъ!). Въ спину ему подувалъ съ запруженной рѣки вѣтерокъ, а спереди прямехонько на него катилось облачко. Только теперь оно было уже не такое легкое, летѣло не такъ ровно и свободно, а будто слегка колыхалось и припадало, какъ подстрѣленная птица. Когда же оно налетѣло на луну, то мельникъ уже ясно понялъ, что это за исторія, потому что на свѣтломъ мѣсяцѣ такъ и вырѣзались черныя крылья, а подъ ними еще что-то и какай-то скрюченная людская фигура, съ длинною, трясущеюся боролою...

— Э-эй! Вотъ тебѣ и штука,—подумаль мельникъ.—Несеть одного. Что-жъ теперь дѣлать? Если крикнуть: „Кинь, это мое!“—такъ вѣдь, пожалуй, бѣдный жидъ расшибется или утонетъ. Высоко!

Но тутъ онъ увидѣль, что дѣло мѣняется: чортъ со своею ношей закружился въ воздухъ и сталь опускаться все ниже. „Видно, пожадничаль, да захватилъ себѣ ношу не подь силу,—подумаль мельникъ.—Ну, теперь, пожалуй, можно бы и выручить жида,—всетаки живалъ душа, не сравнишь съ нечистымъ. Ну-ко, благословясь, крикну поздоровѣ!“

Но, вмѣсто этого, самъ не знаетъ ужъ какъ, онъ изо всѣхъ ногъ побѣжалъ съ плотины и спрятался подь густыми лво-рами, что мочили свои зеленныя вѣтви, какъ русалки, въ темной водѣ мельничнаго затора. Тутъ, подь деревьями, было темно, какъ въ бочкѣ, и мельникъ былъ увѣренъ, что никто его не увидить. А у него въ это время ужъ и зубъ не понадалъ на зубъ, а руки и ноги тряслись такъ, какъ мельничный рукавъ во время работы. Однако, брала-таки охота посмотрѣть, что будетъ дальше.

Чортъ со своею ношей то совсѣмъ припадалъ къ землѣ, то опять подымался выше лѣса, но было видно, что ему никакъ не справиться. Раза два онъ коснулся даже воды, и отъ жида пошли по водѣ круги, но тотчасъ же чертика взмахивать крыльями и взмываль со своею добычей, какъ чайка, выдернувшая изъ воды крупную рыбу. Наконецъ, закатившись двумя или тремя широкими кругами въ воздухъ, чортъ бессильно шлепнулся на самую середину плотины и растянулся, какъ не живой... Полу-замученный, обмершій жидъ упалъ тутъ же рядомъ.

А надо вамъ сказать, что нашъ мельникъ уже давно узналь, кого это приволокъ изъ города жидовскій Хапунъ. А узнавни,—обрадовался и повеселѣль: „а слава-жъ тебѣ, Господи,—сказаль онъ про себя,—таки это никто иной, только нашъ новокаменскій пинкаръ! Ну, что-то будетъ дальше, а только кажется мнѣ такъ, что въ это дѣло мнѣ мѣшаться не слѣдуетъ, потому что двѣ собаки грызутся, третьей приставать не зачѣмъ... Опять-же моя хата съ краю, я ничего не знаю... А если бѣ меня тутъ не было!.. Не обязанъ-же я жида караулить...“

И еще про себя думаль: „Ну, Филиппушка, теперь твое время настаетъ въ Новой-Каменкѣ!..“

V.

Долгое время оба—и бѣдный жидъ, и чертика—лежали на плотинѣ совсѣмъ безъ движенія. Луна уже стала краснѣть, закатываться и повисла надь лѣсомъ, какъ будто ожидала

только, что-то будетъ дальше... На селѣ крикнулъ было хриплый пѣтухъ и тивкнула раза два какаѣ-то собака, которой, вѣрно, приснился дурной сонъ. Но ни другіе пѣтухи, ни другія собаки не отозвались,—видно, до свѣту еще было порядочно далеко.

Мельникъ издрогъ и сталъ уже подумывать, что это все ему приснилось, тѣмъ болѣе, что на плотинѣ совсѣмъ потемнѣло и нельзя было разобрать, что тамъ такое чернѣетъ на серединѣ. Но когда долетѣлъ изъ села одинокій крикъ пѣтуха, въ кучкѣ что-то зашевелилось. Янкель поднялъ голову въ ерможкѣ, потомъ оглядѣлся, привсталъ и тихонько, по-журавлиному, приподнимая худыя ноги въ однихъ чулкахъ, попытался улетнуть.

— Эй, эй! придержи его, а то вѣдь уйдетъ, — чуть было не крикнулъ испугавшійся мельникъ, но увидѣлъ, что чортъ уже прихватилъ шинкаря за длинную фалду.

— Погоди,—сказалъ онъ,—еще рано... Смотри ты, какой пряткій! Я не успѣлъ еще отдохнуть, а ты ужъ собрался дальше. Тебѣ-то хорошо, а каково мнѣ тащить тебя, такого здоровеннаго! Чуть не издохъ.

— Ну,—сказалъ жидъ, стараясь выдернуть фалду,—отдыхайте себѣ на здоровье, а я до своей жорчмы и пѣшкомъ дойду.

Чортъ даже привсталъ.

— Что такое? Что, я тебѣ въ балагулы*), что ли, нанялся, возить тебя съ шабаша домой, собачій сынъ? Ты еще шутишь...

— Какѡво могутъ быть шутки,—отвѣтилъ хитрый Янкель, прикидываясь, будто онъ совсѣмъ не понимаетъ, чего отъ него нужно чорту.—Я вамъ очень благодаренъ за то, что вы меня доставили досюдова, а отсюдова я дойду самъ. Это даже вовсе недалекое разстояніе. Зачѣмъ вамъ себя беспокоить?

Чортъ ажъ подскочилъ отъ злости. Онъ какъ-то затрепыхался на одномъ мѣстѣ, какъ курица, когда ей отрѣжутъ голову, и сразу подшибъ Янкеля крыломъ, а самъ опять принялся дышать, какъ кузнечный мѣхъ.

— Вотъ такъ!—подумалъ про себя мельникъ.—Хоть оно, можетъ быть, и грѣшно хвалить чорта, а этого я, всетаки, похваляю,—этотъ, видно, своего не упустилъ.

*) *Балагула*—извѣстный въ Западномъ краѣ специально-еврейскій экипажъ, нѣчто вродѣ еврейскаго дилижанса; длинная телѣга, забранная холщевымъ верхомъ, запряженная парой лошадей, она бываетъ биткомъ набита евреями и ихъ рухлядью (*бебезами*). Балагулой же называется и возница.

Янкель, присѣвъ, сталъ очень громко кричать. Тутъ уже и чортъ не могъ ничего подѣлать: извѣстно, что пока у жида душа держится, до тѣхъ поръ ему никакимъ способомъ не зажмешь глотку, — все будетъ голосить. — „Да что толку? — подумалъ мельникъ, оглядываясь на пустую мельницу. — Подсыпка теперь гуляетъ себѣ съ дѣвками, а то и лежитъ гдѣ-нибудь пьяный подъ тыномъ“.

Въ отвѣтъ на жалобный плачь бѣднаго Янкеля только сонная лягушка квакнула на болотѣ, да бугай прокинулся въ очеретѣ и бухнулъ раза два, точно въ пустую бочку: бу-у, бу-у!.. Мѣсяцъ, какъ будто убѣдившись, что дѣло съ жидомъ покончено, опустился окончательно за лѣсъ, и на мельницу, на плотину, на рѣку пала темнота, а надъ омутомъ закурился бѣлый туманъ.

Чортъ безпечно затрепыхалъ крыльями, потомъ опять легъ, заложивъ руки за голову, и засмѣялся.

— Кричи, сколько хочешь. На мельницѣ пусто.

— А вы почему знаете?—огрызнулся еврей и продолжалъ голосить, обращаясь уже прямо къ мельнику:

— Панъ мельникъ, ой панъ мельникъ! Серебряный, золотой, брилліантовый! Пожадуйста, выйдите сюда на одну, самую коротенькую секунду и скажите только три слова, три самыхъ маленькихъ слова. Я бы вамъ за это подарилъ половину долга.

— Весь будетъ мой!—сказало что-то въ головѣ у мельника.

Жидъ пересталъ кричать, понурилъ голову, и горько-прегорько заплакалъ.

Прошло еще сколько-то времени. Мѣсяцъ совсѣмъ ушелъ уже съ неба и послѣдніе отблески угасли на самыхъ высокихъ деревьяхъ. Все на землѣ и на небѣ, казалось, заснуло самымъ крѣпкимъ сномъ, нигдѣ не слышно было ни одного звука, только еврей тихо плакалъ, приговаривая:

— Ой, моя Сура, ой, мои дѣтки, мои бѣдныя дѣтки!..

Чортъ немного отдышался и сѣлъ, все еще сгорбившись, на гати. Надъ гатью, хоть было темно, мельникъ ясно увидѣлъ пару роговъ, какъ у молодого телка, которые такъ и вырвались на бѣломъ туманѣ, что подымался изъ омута.

— Совсѣмъ какъ нашъ!—подумалъ мельникъ и почувствовалъ себя такъ, какъ будто проглотилъ что-то очень холодное.

Въ это время онъ замѣтилъ, что жидъ толкаетъ чорта локтемъ.

— Что ты толкаешься?—спросилъ тотъ.

— Истѣ! Я что вамъ хочу сказать...

— Что?

— Скажите вы мнѣ на милость, и что это у васъ за мода—хватать непременно бѣднаго жида... Почему вы не возьмете себѣ лучше хорошаго голя. Вотъ тутъ живетъ недалеко отличный мельникъ.

Чортъ глубоко вздохнулъ. Можетъ, и ему стало-таки скучно около пустой мельницы надъ омутомъ, только онъ пустился въ разговоръ съ жидомъ. Приподнявъ съ головы ермолку, изъ-подъ которой висѣли длинные пейсы,—онъ заскребъ ногтями въ головѣ такъ сильно, какъ самый злющій котъ скребетъ по доскѣ, когда отъ него уйдетъ мышь,—и потомъ сказалъ:

— Эхъ, Янкель, не знаешь ты нашего дѣла! Къ нимъ и не могу и приступить.

— Ну! И что тутъ долго приступаться, что за больново хитрость? Я самъ знаю, какъ вы меня сразу хапинули, что я не успѣлъ даже и крикнуть.

Чортъ весело засмѣялся, такъ что даже спугнулъ какую-то ночную птицу на болотѣ, и сказалъ:

— Что правда, то правда: васъ хватать легко... А знаешь ты, почему?

— Ну-у?

— Потому, что вы и сами хапаете здорово. Я тебѣ скажу, что такого грѣшнаго народа, какъ вы, жида, и нѣтъ другого на свѣтѣ.

— Ой-вай, удивительно! А какъ же это на насъ грѣха?

— А вотъ послушай...

Тутъ чортъ повернулся къ жиду и сталъ считать по пальцамъ.

— Дерете съ людей проценты—разъ!

— Разъ,—повторилъ Янкель, тоже загибая палецъ.

— Людскимъ потомъ-кровью кормитесь—два!

— Два.

— Спаиваете людей водкой—три!

— Три.

— Да еще горѣлку разбавляете водой—четыре!

— Ну, пускай себѣ четыре. А еще?

— Мало тебѣ, что-ли? Ай, Янкель, Янкель!

— Ну, я не говорю, что этого мало, а только я говорю, что вы не знаете своего собственнаго дѣла. Вы думаете, мельникъ не беретъ проценты, вы думаете, мельникъ не кормится людскимъ потомъ и кровью?..

— Ну, не брешь на мельника. Онъ человѣкъ крещенный! А крещенный человѣкъ долженъ жалѣть не только своихъ, а всѣхъ людей, хотя бы и васъ, жидовъ. Нѣтъ, Янкель, трудно къ крещеному приступить.

— Ой-вай, какòво это ошибка!—крикнулъ жидъ весело.— Ну, такъ я вамъ вотъ что буду говорить.

Онъ вскочилъ, и чортъ также приподнялся, и оба стояли другъ противъ друга. Жидъ что-то прошепталъ, указавъ черезъ спину на яворы, и, загнувъ палецъ, показалъ его чорту:

— Разъ!

— Бреешь, не можеть этого быть! — сказалъ чортъ, немного даже испугавшись, и самъ посмотрѣлъ на яворы, гдѣ притаился Филиппъ.

— Пхе, я лучше знаю! А вы погодите.

Онъ опять пошепталъ и сказалъ:

— Два! А это вотъ,—и онъ еще разъ зашепталъ чорту на ухо,—будеть три, какъ честный еврей!..

Чортъ покачалъ головой и повторилъ въ раздумьи:

— Не можеть быть.

— Давайте объ закладъ побьемся. Если моя правда, то вы черезъ годъ меня отпустите цѣлаго и еще заплатите мнѣ убытки...

— Ха! Я согласенъ. Вотъ это была бы штука, такъ штука! Тогда бы я не далъ маху...

— Ну, я вамъ говорю, вы сдѣлаете славный гешефтъ!..

Въ это время на селѣ крикнулъ тотъ же цѣтухъ, и хотя крикъ былъ такой же сонный и на него опять никто нигдѣ не откликнулся среди молчаливой ночи, но Хапунъ встрепенулся.

— Э! Ты мнѣ тутъ все сказки рассказываешь, а я и уши развѣсилъ. Лучше синица въ руки, чѣмъ журавль въ небѣ. Собирайся!

Онъ взмахнулъ крыльями, взлетѣлъ сажени на двѣ надъ плотиною и опять, какъ коршунъ, кинулся на бѣднаго Янкеля, запустивши въ спину его лапсердака свои когти и прилаживаясь къ полету...

Охъ, и жалобно-же кричалъ старый Янкель, протягивая руки туда, гдѣ за рѣкой стояла на селѣ его корчма, и называя по имени жену и дѣтокъ:

— Ой, моя Сурке, Шлѣмка, Ителе, Мовше! Ой! господинъ мельникъ, господинъ мельникъ, пожалуйста, заступитесь, скажите три слова! Я-жъ вижу васъ, вотъ вы стоите тутъ подъ яворомъ. Пожалѣйте бѣднаго жида, вѣдь и жидъ тоже имѣетъ живую душу.

Очень жалобно причиталъ бѣдный Янкель! У мельника будто кто схватилъ рукою сердце и сжалъ въ горсти. А чертика точно ждалъ чего,—все трепыхался крыльями, какъ молодой стрепеть, не умѣющій летать, и тихо-тихо размахивалъ Янкелемъ надъ плотиною...

„Вотъ подлый чертяка, — подумаль про себя мельникъ, прѣчась получше за яворомъ,—только мучаетъ бѣднаго жидя! А тамъ, гляди, и пѣтухи еще запоють...“

И только онъ подумаль это, какъ чортъ захохоталь на всю рѣку и разомъ взвился кверху... Мельникъ задраль голову, но черезъ минуту чортъ казался уже не больше вороны, потомъ воробья, потомъ мелькнуль, какъ муха, какъ комарикъ... и исчезъ.

А на мельника тутъ-то и напаль настоящій страхъ: затряслись колѣнки, застучали зубы, волосы поднялись дыбомъ, и ужъ самъ онъ не помнитъ хорошенько, что съ нимъ было дальше...

VI.

— Стукъ-стукъ!..

— Стукъ-стукъ-стукъ!.. Стукъ-стукъ!..

Что-то стучало въ дверь мельницы, такъ что гуль ходиль по всему зданію, отдавался во всѣхъ углахъ. Мельникъ подумаль, ужъ не чертяка ли вернулся,—не даромъ шептался о чемъ-то съ жидомъ,—и потому онъ зарылся съ головой въ подушку.

— Стукъ-стукъ!.. Стукъ-стукъ!.. Эй, хозяинъ, отчиняй!

— Не отчину.

— А почему такъ не отчините?

Мельникъ приподнял голову.

— Э, кажись, голосъ подсыпки Гаврилы... Гаврило, ты?

— А то кто?

— Побожись!

— Ну?

— Побожись!

— Да ну-же, ей-Богу, я! Гдѣ-жъ это видано, чтобъ я да не я былъ? Еще и божись. Вотъ чудасія...

Мельникъ, всетаки, повѣрилъ не сразу. Онъ взошелъ наверхъ и тихонько посмотрѣль изъ оконца, что было надъ дверьми. Дѣйствительно, внизу у стѣны спокойно стояль подсыпка и дѣлаль такое дѣло, что, пожалуй, никто и не слыхаль, чтобы черти когда-нибудь такое дѣлали. У мельника отлегло отъ сердца, онъ сошелъ внизъ и отперъ дверь.

Подсыпку даже отшатнуло, когда онъ увидѣль мельника въ дверяхъ.

— Э, хозяинъ, что такое съ вами?

— А что?

— Да побойся Бога, зачѣмъ это ты морду всю въ мукѣ вымазаль?—бѣлая, какъ стѣна!

— А ты, часомъ, не по-надъ рѣчкою-ли шель?

— А по-надъ рѣчкою.

— А не глядѣль-ли кверху?

— А можетъ глядѣль и кверху.

— А не видалъ-ли, часомъ, того?

— Кого?

— Кого!.. Дурень! Того, что ханнулъ шинкаря Янкели.

— А какой его бѣсъ ханнулъ?

— Какой!.. Извѣстно какой — жидовскій, Хануць! Не знаешь, развѣ, какой у нихъ сегодня день!..

Подсынка посмотрѣлъ на мельника мутнымъ взглядомъ и спросилъ:

— А вы на селѣ, часомъ, не были?

— Былъ.

— А въ шинокъ не заходили?

— Заходилъ.

— А горѣлки не выпили?

— Тѣфу! Вотъ и говори съ дурнемъ. Горѣлку я пилъ у пона, а всетаки своими глазами вотъ сейчасъ видѣлъ: чертика на плотинѣ отдыхалъ вмѣстѣ съ жидомъ.

— Гдѣ?

— Вотъ тутъ, на самой серединѣ.

— Ну, и что?

— Ну, и... — мельникъ свистнулъ и махнулъ рукой по воздуху.

Подсынка посмотрѣлъ на плотину, потомъ, задравши голову, на небо и почесалъ въ чупринѣ.

— Э, вотъ это такъ чудеса! Что-жъ теперь будетъ? Какъ-же теперь безъ жида?

— А на что тебѣ непременно жидъ, а?

— Э, не говорите, хозяйинъ: безъ жида какъ-то оно по того... безъ жида не можно и быть...

— Тю!.. Дурень, такъ дурень и есть!

— Что вы лаетесь? Я и самъ не скажу, что умный, а всетаки знаю, что просо, а что гречка; работать иду на мельницу, а водку пить — въ шинокъ. Вотъ вы и скажите мнѣ, когда вы такой умный: кто-жъ у насъ теперь будетъ шинковать?

— Кто?

— А таки кто?

— А можетъ и я?

— Вы?

Подсынка посмотрѣлъ на мельника, вылупивши глаза, потомъ покачалъ головою, шелкнулъ языкомъ и сказалъ:

— Ну, развѣ что такъ!

Тутъ только мельникъ замѣтилъ, что подсыпку плохо держать ноги, и что парубки опять подбили ему лѣвый глазъ. Харя была у этого подсыпки, сказать правду, такая паскудная, что всякому человѣку, при взглядѣ на нее, хотѣлось непременно плюнуть. А поди ты: до дѣвчатъ былъ самый проворный человѣкъ, и не разъ-таки парни дѣлали на него облаву и бивали до полусмерти... Что бивали, это, конечно, еще не большое диво, а то чудно, что было-таки за что бить!

„Вотъ, вѣдь, нѣтъ на свѣтѣ такой паскудной хари, — подумалъ, глядя на него, мельникъ, — которую бы ни одна дѣвка не полюбила. А то и двѣ, и три, и десять... Тьфу ты пропасть!..“

— Вотъ что, Гаврилушко, — сказалъ, всетаки, мельникъ ласковымъ голосомъ, — поди лягъ со мною. Когда человѣкъ видѣлъ такое, что я видѣлъ, такъ что-то бываетъ страшно.

— А мнѣ что? То и лягу.

Черезъ минуту какую-нибудь подсыпка началъ уже посвистывать носомъ. А скажу вамъ, такого свистуна носомъ, какъ тотъ подсыпка, другого и не слышалъ. Кто этого не любить, такъ ужъ съ нимъ въ одной хатѣ не ложись, — всю ночь не уснешь...

— Гаврило, — сказалъ мельникъ, — эй, Гаврило!

— А что еще? Чего бы я это и самъ не спалъ, и другому не давалъ?

— Били тебя опять?

— Ну, такъ что?

— Гдѣ?

— Все надо вамъ знать. На Кодиѣ!

— Ужъ и на Кодиѣ?... Зачѣмъ тебя туда понесло?

— Зачѣмъ... Чего бы я спрашивалъ, гы-гы-гы!..

— Мало тебѣ ново-каменскихъ дѣвокъ!

— Тьфу! Мнѣ на нихъ и смотрѣть уже на ново-каменскихъ обридло. Ни одной по мнѣ нѣтъ.

— А Галя вдовина?

— Галя... А что-жъ такое Галя?

— А ты къ ней ходилъ?

— Такъ неужели-же нѣтъ?

Мельника даже подкинуло на постели.

— Брешешь, собачій сынъ, чтобы твоей матери лихорадка!

— Вотъ-же и не брешу, я и никогда не брешу. Пускай за меня умные брешутъ.

Подсыпка зѣвнулъ и сказалъ засыпающимъ голосомъ:

— Помните, хозяинъ, какъ у меня правый глазъ на всю педѣлю запухъ, что и не было видно...

— Ну?

— Она это, собачья дочка, такъ угостила... Тыфу на нее, вотъ что!.. А то еще: Галя!

— „Развѣ что такъ“, — подумаль мельникъ. — Гаврило, а Гаврило!.. Вотъ, собачій сынъ, опять засвистѣлъ... Гаврило!

— Что еще? Загорѣлось, что-ли?

— Хочешь ты жениться?

— Сапоговъ еще не сшилъ. Вотъ сошью, тогда и подумаю.

— А я бы тебѣ справилъ чоботы на дегтю... И шапку, и поясъ.

— Развѣ что такъ. А вотъ я что вамъ скажу, такъ это будетъ еще умнѣе.

— А что?

— А то, что уже на селѣ пѣтухи кричать. Слышите, какъ заводятъ?

И правда: на селѣ, можетъ быть въ Галиной хатѣ, кричалъ-надрывался горланъ-пѣтухъ: ку-ка-ре-ку-у...

— Кук-ка-ре-ку-у... ку-у... ку-у!—отвѣчали ему на разные голоса и ближніе, и дальніе, съ другого конца села, такъ что отъ пѣтушиныхъ криковъ точно въ котлѣ кипѣло, да и въ стѣнахъ каморки побѣлѣли уже всѣ, даже самыя маленькія щели.

Мельникъ сладко зѣвнулъ:

— Ну, теперь они далеко! Поминай Янкеля какъ звали... Вотъ штука, такъ штука! Если эту штуку кому-нибудь рассказать, то, пожалуй, брехуномъ назовутъ. Да мнѣ объ этомъ, пожалуй, и говорить не стоить... Еще скажутъ, что я... Э, да что тутъ толковать! Когда бы я самъ жиды убилъ, или что-нибудь такое, а тутъ я не при чемъ. Что мнѣ было мѣшаться въ это дѣло? Моя хата съ краю, я ничего не знаю. Ышь пирогъ съ грибами, а держи языкъ за зубами; дурень кричить, а разумный молчить... Вотъ и я себѣ молчалъ!..

Такъ говорилъ самъ себѣ мельникъ Филиппъ, чтобы было легче на совѣсти, и только когда уже вовсе сталъ засыпать, то изъ какого-то уголка въ его сердцѣ выползла, какъ жаба изъ норы, такая мысль:

— Ну, Филиппъ, настало твое время!

Эта мысль прогнала у него изъ головы всѣ другія и сѣла хозяйкою.

Съ тѣмъ и заснулъ.

VII.

Вотъ раненько утромъ, роса еще блеститъ на травѣ, а мельникъ уже одѣлся и идетъ по дорогѣ къ селу. Приходитъ на село, а тамъ ужъ люди спуютъ, какъ въ муравейникѣ

муравьи: „Эй! не слыхали вы новость? Въѣсто шинкаря, привезли изъ городу одни патынки“.

Вотъ было въ то утро въ Новой-Каменкѣ и разговоровъ, и пересудовъ, да не мало таки и грѣха!

Вдова Янкеля, получивъ, вмѣсто мужа, пару патынокъ, совсѣмъ растерялась и не знала что дѣлать. Вдобавокъ еще Янкель, съ большого ума, да не надѣявшись, что его забереетъ Хапунъ, захватилъ съ собою въ городъ всю выручку и всѣ долговыя расписки съ бумажникомъ. Конечно, могъ-ли бѣдный жидъ думать, что изъ цѣлаго кагала выхватить какъ разъ его?

— Вотъ такъ-то всегда человѣкъ: не чувствуетъ, не гадаетъ, что надъ нимъ невзгода, какъ тотъ Хапунъ, летаетъ,—толковали про себя громадскіе люди, покачивая головами и расходясь отъ шинка, гдѣ молодая еврейка и ея бахори (дѣти) бились объ землю и рвали на себѣ волосы. А, между прочимъ, каждый думалъ про себя: „Вотъ, вѣрно, и моя записъ улетѣла теперь къ чорту на кулички!“

Сказать правду, такъ не очень много нашлось въ громадѣ такихъ людей, у которыхъ заговорила маленько совѣсть: „а таки не грѣхъ бы отдать жидовкѣ, если не съ процентами, то хоть чистыя деньги...“ А если ужъ говорить всю правду цѣликомъ,—то никто не отдалъ ни ломаного шѣляга...

Не отдалъ и мельникъ. Ну, да мельникъ себя въ счетъ не ставилъ.

Вотъ вдова Янкеля и просила, и молила, и въ ногахъ валялась, чтобы госнода-громадяне согласились отдать хоть по полтинѣ за рубль, хоть по двадцати грошей, чтобы имъ всѣмъ сиротамъ не подохнуть съ голоду, да какъ-нибудь до городу добраться. И не у одного таки хозяина съ добрымъ сердцемъ слезы текли по усамъ, а кое-кто толкнулъ-таки локтемъ со-сѣда:

— Побоялись бы вы Бога, сосѣдъ! Вы-жъ, кажется, что-то такое должны были жиду. Отдали бы вотъ... Ей-Богу, надо бы вамъ хоть сколько-нибудь отдать.

Но сосѣдъ отвѣчалъ:

— А что мнѣ отдавать, когда я ему своими руками всѣ деньги принесъ до послѣдняго грошика? Второй разъ стану платить, что-ли? Вотъ вы, сосѣдъ, другое дѣло...

— А почему это другое дѣло, когда какъ разъ то-же самое, какъ и у васъ? Незадолго до отъѣзда пришелъ ко мнѣ Янкель, да какъ сталъ просить: отдай, да отдай,—я и отдалъ.

Мельникъ слушалъ все это, и у него болѣло сердце... Эхъ, вародъ какой! Нисколько не боится Бога! Ну, панове-громадо,

гидно, при васъ плохо не клади,—какъ разъ утятете; да и кто вамъ палець въ ротъ сунеть, тотъ чистый дуракъ!.. Нѣтъ, ужъ отъ меня не дождетесь... Вы мнѣ этакъ въ кашу не наплюете. Лучше ужъ я самъ вамъ наплюю...

Одна только старая Прися принесла жидовкѣ два десятка яицъ, да половину новины, и отдала за сколько-то грошей, что осталась должна шинкарю.

— Бери, небого, не взыщи! Осталось тамъ за мною еще сколько-то, такъ отдамъ, какъ Богъ дастъ. Последнее и то принесла.

— Вотъ подлая баба! — обозлился мельникъ. — Вчера мнѣ не отдала, а для жидовки такъ вотъ и нашлось. Ну, и народъ! Старымъ и то нельзя стало вѣрить. Крещеному человеку не могла отдать... Погоди, старая, сочтусь и съ тобой послѣ...

Вотъ собрала Янкелиха своихъ бахорей, продала за безцѣнокъ „бебехи“ и водку, какая осталась,—а и осталось не много (Янкель хотѣлъ изъ города бочку везти), да еще люди говорили, будто Харько нацѣдилъ себѣ изъ остатковъ ведерко-другое,—и побрела пѣшкомъ изъ Новой-Каменки. Бахори за нею... Двухъ несла на рукахъ, третій тащился, ухватясь за юбку, а двое старшихъ бѣжали въ припрыжку...

И опять мірине скребли свои затылки. У кого была совесть, тотъ себѣ думалъ: „Хоть бы подводу дать за жидовскія деньги...“ Да, видите, побоялся каждый: пожалуй, люди догадаются, что, значить, онъ съ жидомъ не разсчитался. А мельникъ опять думалъ: „Ну, народъ! Вотъ такъ-же и мени будутъ рады спровадить, если я когданибудь дамъ маху“.

Такъ-то бѣдная вдова и пошлелась себѣ въ городъ, и ужъ Богъ ее знаетъ, что тамъ съ нею подѣялось. Можетъ присосалась гдѣ съ дѣтьми къ какому-нибудь дѣлу, а можетъ и пропали всѣ до одного съ голоду. Все бываетъ! А, впрочемъ, жида своего не покидаютъ. Худо-худо, а всетаки дадутъ какъ-нибудь прожить на свѣтѣ.

Стала послѣ этого громада толковать, кто-жъ теперь у нихъ, въ Новой-Каменкѣ, будетъ шинкаремъ? Потому что, видите-ли, хоть Янкеля не стало, а шинокъ все стоялъ себѣ на пригорочкѣ и на дверяхъ остались намазанные бѣлою краской кварта и жестяной крючокъ...

И даже Харько сидѣлъ себѣ на пригорочкѣ и нокуривалъ люльку, выжидая, кого-то Богъ пошлетъ ему въ хозяева.

Правда, одинъ разъ, подъ вечеръ, когда громадскіе люди стояли у пустой корчмы и разговаривали о томъ, кто теперь будетъ у нихъ шинковать и кормчарить,—подошелъ къ нимъ

батюшка и, низенько поклонясь всѣмъ (громада—великій человекъ, предъ громадою не грѣхъ поклониться хоть и батюшкѣ), началъ говорить о томъ, что вотъ хорошо бы составить приговоръ и шинокъ закрыть на вѣки вѣчные. Опъ бы, батюшка, и бумагу своею рукой написалъ и отослалъ бы ее къ преосвященному. И было бы весьма радостно, и благо-лѣбно, и міру прееблагополучно.

Старые люди, а за стариками и бабы, стали было говорить, что батюшкина чистая правда, а мельнику то слово показалося совсѣмъ неправильно и даже обидно.

„Вотъ тебѣ и батько, — подумалъ онъ съ сердцемъ, — вотъ тебѣ и пріятель! Да ибѣтъ, погоди еще, панъ-отче, что будетъ...“

— Вотъ это-таки, батюшка, ваша правда, — льстиво заговорилъ онъ, — что отъ той бумаги будетъ благополучно... А только, не знаю я, кому: громадѣ или вамъ. Сами вы, — не зыщите на моемъ словѣ! — всегда водочку изъ города привозите, то вамъ и не надо шинка. А таки и то вамъ на руку, что владыка станетъ вашу бумагу читать да похваливать.

Громадяне усмѣхнулись себѣ въ усы, а батюшка только плюнулъ отъ великой досады, нахлобучилъ соломенную шляпу и пошелъ прочь отъ шинка по улицѣ, будто не за тѣмъ и приходилъ...

Ну, что ужъ тутъ рассказывать! И думаю, вы и безъ того догадались, что мельникъ задумалъ самъ корчмарить въ той жидовской корчмѣ. А задумавши, поговорилъ хорошенько съ громадою, угостилъ-таки кого надо въ земскомъ судѣ, съ исправникомъ умненько потолковалъ, потомъ съ казначеемъ, а наконецъ со становымъ приставомъ да съ акцизнымъ надзирателемъ.

Вернувшись послѣ всего этого на село, пошелъ мельникъ къ шинку, а тамъ сидитъ Харько и покуриваетъ на приторчкѣ люльку. Мельникъ только мотнулъ ему головой, какъ Харько, — хоть и гордый человекъ, — тотчасъ вскочилъ на ровныя ноги и подбѣжалъ къ нему.

— Ну, что скажешь? — спросилъ у него мельникъ.

— А что мнѣ говорить? Подожду, не скажете ли вы мнѣ чего-нибудь.

— То-то!

Не сталъ уже теперь мельника словами гвоздить, а сгрѣбъ въ обѣ руки картузь и, выслушавши, что ему сказала Филиппъ, отвѣтилъ умненько:

— Радъ стараться для вашей хозяйской милости!

И сталъ мельникъ шинковать въ Новой-Каменкѣ лучше Янгели, и сталъ сдавать людямъ на выпасъ свои карбованцы,

а какъ придетъ срокъ—сгонять ихъ опять въ свою скриню, вмѣстѣ съ прикладомъ. И никто уже не мѣшалъ ему въ Новой-Каменкѣ.

А что люди не разъ отъ него плакали горькими слезами,— ну, и это тоже правда... Таки плакали не мало: можетъ, не меньше, чѣмъ отъ Янкеля, а, можетъ, еще и побольше,—этого ужъ я вамъ не скажу навѣрное. Кто тамъ мѣрилъ мѣрою людское горе, кто считалъ счетомъ людскія слезы?..

Никто не мѣрилъ, никто и не считалъ, а старые люди такъ говорятъ: идетъ или ходитъ, на одно выходить, что клюкой, что палкой—все спинѣ не сладко... Не знаю, какъ кто, а я думаю, что это правда...

VIII.

Вотъ, признаться вамъ, и не хотѣлось бы мнѣ про своего пріятеля такое рассказывать, а дѣлать нечего: началъ, такъ надо довести до конца,—изъ пѣсни, говорится, и слова одного не выкинешь...

Вотъ, видите, какое дѣло... Старому Янкелю только и нужна была людская копѣйка. Бывало, гдѣ хоть краемъ уха слышитъ, что у человѣка болтается въ карманѣ рубль или хоть два, такъ у него сейчасъ и засверлитъ въ сердцѣ, сейчасъ и придумываетъ такую причину, чтобы тотъ рубль, какъ карася изъ чужого пруда, выудить. Удалось,—онъ и радуется себѣ со своею Суркой.

Ну, а ужъ мельнику этого мало. Янкель самъ передъ всякимъ человѣкомъ въ три погибели гнулся, а мельникъ людей гнетъ, а самъ голову деретъ кверху, какъ индюкъ. Янкель, бывало, юркнетъ къ становому съ задняго хода и трусится у порога, а мельникъ валится на крыльцо, какъ въ свою хату. Янкелю, если подъ пьяную руку, кто и въ ухо заѣдетъ, такъ онъ сильно не обижался: повизжитъ да и перестанетъ, развѣ потомъ выторгуетъ лишній пятакъ. А мельникъ и самъ не одному христіанину такъ чуприну скубнетъ, что, пожалуй, и въ рукахъ останется, а изъ глазъ искры, какъ на кузницѣ изъ-подъ молота, посыплются... Да вотъ какое дѣло: мельнику и денежки отдай, и почетъ. Передъ иконою люди низко кланялись, а передъ моимъ пріятелемъ еще ниже.

А ему все что-то мало. Ходитъ сердитый, да невеселый; будто его щенокъ какой за сердце тербитъ. И все себѣ думаетъ:

„А не такъ что-то на свѣтѣ устроено—нѣтъ, не такъ! Что-то человѣку и съ деньгами не такъ весело, какъ бы хотѣлось“.

Вотъ разъ Харько его и спрашиваетъ:

— А что вы это, хозяинъ, невеселый все ходите, будто кто васъ въ помои окунулъ? Чего еще ваша хозяйская душа хочетъ?

— Можетъ, если бъ я женился, то стало бы мнѣ повеселѣе.

— Такъ оженитесь, на здоровье вамъ.

— То-то вотъ и оно. А какъ тутъ ожениться, когда дѣло не выходить, съ какой стороны за него ни ухватись? И ужъ скажу тебѣ правду: какъ былъ я еще не мельникъ, а только подсыпка, то любился тутъ на селѣ съ Галей вдовиной, можетъ знаешь... И если бъ дядько не утопъ, то былъ бы я уже женатый. А теперь самъ ты разсуди: вѣдь я ей не ровни.

— Какая тутъ ровня! Вамъ теперь только и жениться, что на богача Макогона дочкѣ, на Мотрѣ.

— Вотъ! Я и самъ вижу, и люди говорятъ всѣ однимъ голосомъ, что по моимъ деньгамъ Макогоновы какъ разъ придутся... Такъ опять... не по вкусу мнѣ она! Сидитъ цѣлый день, какъ конна сѣна, да сѣмячки лущить. Какъ взгляну на нее, такъ будто кто меня за носъ возьметъ, да и отворотитъ въ сторону... То-ли дѣло Гали!.. Вотъ и говорю: не такъ какъ-то на свѣтѣ устроено. Одну полюбилъ бы,—хватъ, а деньги-то у другой... Вотъ изсохну когда-нибудь, какъ бы-линка... Свѣтомъ гнушаюсь.

Солдатъ вынулъ изъ рта свою носогрѣйку, сплюнулъ въ сторону и говорить:

— Плохо! Другой человѣкъ ни за что и не придумалъ бы, какъ этому дѣлу помочь, а я присоветую, такъ не пожалѣете, что послушались. А, пожалуй, еще и отдадите новые сапоги, что остались отъ Опанааса въ залогъ, а?..

— Ну, за такое дѣло и сапоговъ не жаль, только вѣрно-ли ты придумалъ?..

И, дѣйствительно, придумалъ подлый солдатъ, — бѣсъ его не взять!—такое придумалъ, что если бъ все вышло по его слову, то теперь ужъ на мельникѣ черти на томъ свѣтѣ воду давно возили бы...

— Вотъ, — говорить, — слушайте хорошенько. Стало быть, есть васъ трое людей—одинъ мужикъ да двѣ дѣвки. И, стало быть, нельзя никакъ одному на двухъ жениться, потому что вы не турецкой вѣры.

— Вотъ, подлый, какъ все вѣрно сказать!—подумалъ мельникъ.—Что-то скажетъ дальше?

— Хорошо! Какъ вы богатый человѣкъ и Мотря богатая невѣста, такъ тутъ ужъ и малому ребенку ясно: посылайте сватовъ къ старому Макогону.

— Правда! Да только я это зналъ и безъ тебя... А какъ же съ Галей?

— А вы дослушали до конца? Или, можетъ, сами знаете, что я хотѣлъ сказать?..

— Ну-ну, ужъ и осердился!

— Вы всякаго человѣка разсердите. Не такой я человѣкъ, чтобы начать рѣчь, да и не кончить. Будетъ и о Галѣ рѣчь. Она васъ любила?

— А таки такъ!

— А вы тогда кто были, какъ она васъ любила?

— Подсыпка.

— Такъ это опять малый ребенокъ пойметъ: когда дѣвка любила подсынку, то и быть ей замужемъ за подсышкой.

Мельникъ вынулъ глаза и въ головѣ у него, точно на мельницѣ въ помолъ, все пошло кругомъ.

— Да я-же теперь не подсыпка!

— Вотъ бѣда какая. А развѣ у васъ на мельницѣ нѣтъ подсыпки?..

— Это Гаврило?.. Э-э, вотъ ты что придумалъ. Пускай-же, когда такъ, онъ тебѣ и сапоги дарить за такую придумку. А я скажу на это, что не дождетъ ни онъ, ни его дядя съ тетками, чтобъ я такое дѣло потерпѣлъ. Вотъ лучше пойду, да ноги ему переломаяю.

— А! Какой горячій человѣкъ, хоть яйца въ немъ пеки!.. Да я-жъ совсѣмъ другое хотѣлъ вамъ сказать...

— А что-жъ ты еще послѣ такой штуки можешь сказать, когда мнѣ это не нравится?

— А вы послушайте.

Харько вынулъ люльку изъ рта, посмотрѣлъ на мельника, прищуривши одинъ глазъ, и такъ прицѣлкнулъ языкомъ, что у того сразу стало веселѣе на сердцѣ...

— А вы, говорю, ее любили и бѣдную?..

— То-то что любилъ!..

— Ну, такъ и любите себѣ на здоровье, когда она будетъ за подсышкой. Вотъ теперь и моей рѣчи конецъ: вотъ вы всѣ трое и будете жить на одной мельницѣ, а четвертый дурень не въ счетъ... Ага! теперь поняли, чѣмъ я васъ угощаю, медомъ или дегтемъ? Нѣтъ! Харька били не по головѣ, а куда слѣдуетъ, оттого и умный вышелъ: знаетъ, кому достанется орѣхъ, кому скорлуна, а кому новые сапоги...

— А, можетъ, еще и не выйдетъ дѣло?

— Почему-жъ ему и не выйти?

— Мало-ли почему. Вотъ старый Макогонъ не согласится.

— Вотъ! Когда бъ я съ нимъ не говорилъ!..

— Ну?

— То-то. Ъхаль изъ городу съ водкой, а онъ—навстрѣчу. То, да сѣ, и говорю: „Вотъ вашей дочери женихъ—нашъ мельникъ“.

— А онъ что?

— „Не дождетъ, говорить, ваиа бабушка! Что, говорить, онъ стойтъ?“

— А ты что?

— А я говорю: „Вы, видно, не знаете, что нашего жида Ханунъ унесъ?“

— „А когда такъ, говорить,—то дѣло другое: какъ жида на селѣ не стало, то и мельникъ—стоящій человекъ“...

— Ну, хорошо, Макогонъ согласится. Такъ еще Галя поидеть-ли за подсынку?..

— Э, какъ дѣвку съ матерью погоняютъ изъ хаты, то рада будетъ жить и на мельницѣ.

— Такъ-то оно такъ...

IX.

Мельникъ почесался... А дѣлу этому, вотъ что я вамъ рассказываю, идетъ ужъ не день, а безъ малаго цѣлый годъ. Не успѣлъ какъ-то мельникъ и оглянуться,—куда дѣвались и Филиповки, и Великій постъ, и весна, и лѣто. И стоитъ мельникъ опить у порога шинка, а подлѣ, опершись спиной о косякъ, Харько. Глядь, а на небѣ такой самый мѣсяць, какъ годъ назадъ былъ, и такъ-же рѣчка искрится, и улица такая-же бѣлая, и такая-же черная тѣнь лежитъ съ мельникомъ рядомъ на серебряной землѣ. И что-то такое мельнику вспомнилось.

— Э, послушай, Харько!

— А что?

— Какой сегодня день?

— Понедѣльникъ.

— А тогда, помнишь, какъ разъ суббота была.

— Мало-ли ихъ было субботъ...

— Тогда, годъ назадъ, въ судный день.

— А, вотъ вы что вспомнили! Да, тогда была суббота.

— А теперь когда у нихъ судный день придется?

— Вотъ я и самъ не сважу, когда онъ придется. Жида по близости нѣтъ, такъ и не знаю.

— А небо, гляди, какое чистое, какъ разъ такое, какъ и въ тотъ день...

И мельникъ со страхомъ посмотрѣлъ на окно жидовской хаты, не увидить ли опять, какъ жиденята мотають головами, и жужжать, и молится о своемъ батькѣ,

Э, нѣтъ! То все уже прошло. Отъ Янкеля не осталось, должно быть, и косточекъ, сироты пошли по дальнему свѣту, а въ хатѣ темно, какъ въ могилѣ... И на душѣ у мельника такъ-же темно, какъ въ этой пустой жидовской хатѣ. „Вотъ, не выручилъ я жида, осиротилъ жиденятъ,—подумаль онъ про себя.—А теперь что-то такое затѣваю со вдовиной дочкой...“

— Эй, хорошо-ли оно у насъ будетъ?—спросилъ онъ Харько.

— Чѣмъ плохо? Оно правда, есть и такіе люди, что меду не ѣдятъ. Можетъ, вы изъ такихъ...

— Не изъ такихъ я, а всетаки... Ну, прощай!

— Прощайте и вы.

Мельникъ пошелъ съ пригорка, а Харько опять посвисталъ ему вслѣдъ. Посвисталъ хоть и не такъ обидно, какъ тотъ разъ, а всетаки мельника задѣло за живое.

— А ты что свищешь, вражій сынъ?—сказалъ онъ, обернувшись.

— Вотъ ужъ и посвистать нельзя стало человѣку,—обидѣлся Харько.—И у капитана въ денщикахъ жить, и то свистать, а у васъ нельзя.

„Правда,—подумаль мельникъ,—отчего бы ему и не свистать. А только затѣмъ это все такъ дѣлается, какъ въ тотъ вечеръ?..“

Онъ пошелъ съ пригорка, а Харько всетаки посвисталъ еще, хоть и тише... Пошелъ мельникъ мимо вишневыхъ садовъ, глядь—опять будто двѣ большихъ птицы порхнули въ травѣ, и опять въ тѣни бѣлѣветъ высокая смушковая шапка, да дѣвичья шитая сорочка, и кто-то чмокаетъ такъ, что въ кустахъ отдается.... Тыфу ты пропасть! Не сталъ ужъ тутъ мельникъ и усовѣщивать проклятаго парня,—боялся, что тотъ ему отвѣтитъ какъ разъ по-прошлогоднему... И подошелъ навѣръ Филяшигъ тихими шагами къ вдовиному перелазу.

Вотъ и хатка горитъ подъ мѣсяцемъ, и оконце жмурится, и высокій тополь купается себѣ въ мѣсячномъ свѣтѣ... Мельникъ постоялъ у перелаза, почесался подъ шапкой и опять занесъ ногу черезъ тынъ.

— Стукъ-стукъ!

„Охъ, и будетъ опять буча, какъ тотъ разъ, а то и похуже,—подумаль про себя мельникъ.—Проклятый Харько своими проклятыми словами такъ мнѣ все хорошо расписалъ... А теперь, какъ станешь вспоминать, оно и не того... и не выходитъ въ тѣхъ словахъ настоящаго толку. Ну, что будетъ, то и будетъ!“—и онъ брякнулъ опять.

Вотъ въ оконцѣ промельнуло бѣлое лицо и черныя очи.

— Мамо мой, мамонько,—зашептала Галя.—А это же опять

проклятуцій мельникъ подь оконцемъ стоить, да по стеклу брякаетъ.

„Эхъ, не выскочить на этотъ разъ, не обойметъ, не поцѣлуетъ хоть ошибкой, какъ тогда!..“—подумаль про себя мельникъ, и таки угадалъ: вышла дѣвка тихонько изъ хаты и стала себѣ поодаль, сложивъ руки подь бѣлою грудью.

— А чего ты опять стучишь?

Хотѣлось мельнику охватить дѣвичей станъ, да показать ей сейчасъ, зачѣмъ стучаль, и даже, правду сказать, уже пододвинулся онъ бочкомъ къ Галѣ, да вспомнилъ, что еще надо Харьковы слова высказать, и говорить:

— А что мнѣ и не стучать, когда вы мнѣ столько задолжали, что никогда и не выплатитесь? Того и хата ваша не стоить.

— А когда знаешь, что никогда не выплатимъ, то не зачѣмъ и стучать по ночамъ, безбожный человѣкъ! Старую мать у меня въ могилу гонишь.

— А какой ее бѣсъ, Галю, въ могилу гонить? Если бы ты только захотѣла, я бы твоей матери старость успокоилъ!

— Брешешь все!

— Нѣтъ, не брешу! Ой, Галю, Галю, не могу я такъ жить, чтобы съ тобой не любиться!..

— Бреши, какъ собака на вѣтеръ... А кто задумаль къ Макогону сватовъ засылать?

— Да ужъ думаль или нѣтъ, а я тебѣ ширую правду говорю, хоть прикажи побожиться: сохну безъ тебя... А какъ теперь будетъ у насъ, я тебѣ сейчасъ по порядку расскажу, а ты, если ты умная дѣвка, послушаешься меня. Да только смотри, уговоръ: слунай ты меня ухомъ, да отвѣчай языкомъ, а руками чтобы ни-ни! А то я разсержусь.

— Чудно что-то ты принимаешься, — сказала Галя, сложивши руки. — Ну, я послушаю, а только смотри, если ты опять дурницу понесешь, тогда и не проси ты своего бога...

— Э, не дурницу... Вотъ видишь ты... какъ это Харько начиналъ?..

— Харько? А что тутъ между нами Харьку еще начинать?

— Э, помолчи, а то я не скажу ничего хорошаго... Отвѣчай: ты меня любила?

— Ну, стала бы я такую скверную харю цѣловать, когда бъ не любила?..

— А я кто тогда былъ: подсыпка или нѣтъ?

— А подсыпка. Далъ бы Богъ, чтобы и никогда не былъ мельникомъ.

— Тю! не говори лишнихъ словъ, а то я собьюсь... Выхо-

дить такъ, что ты любила подсынку, такъ значить, и судьба тебѣ выйти замужъ за подсынку и жить на мельницѣ. А какъ и тебя прежде любилъ, такъ и послѣ буду любить, хоть бы сватался къ десяти Мотрямъ.

Галя даже глаза себѣ протерла,—не снится-ли ей сонъ.

— А что это ты такое несешь, человѣче? Или я вовсе дура, или у тебя въ головѣ одной кленки не хватаетъ. Какъ-же это я пойду за подсынку, когда ты теперь мельникъ? И какъ ты на мнѣ женишься, когда сватовъ пошлешь къ Мотрѣ, а?.. Что ты это несешь, человѣче, перекрестись ты лѣвою рукой.

— Вотъ еще! — сказалъ мельникъ. — Развѣ-же у меня на мельницѣ нѣтъ подсынки? А Гаврило... чѣмъ тебѣ не подсынка? Что маленько дурень, это правда, такъ намъ это, Галечко, еще лучше, я тебѣ по правдѣ скажу.

Тутъ только дѣвка разобрала, куда мельникъ клонить хитрую рѣчь. Всилеснула руками, да какъ заголосить:

— Ой, мамо, мамонько, что онъ тутъ говоритъ! Да это-жъ онъ, видно, въ турки хочетъ записаться, да двухъ женъ завести. Тащи ты, мамо, кочергу изъ хаты, а я покамѣсть своими руками съ нимъ расправлюсь...

Да на мельника! А мельникъ отъ нел. Отбѣжалъ до передела, сталъ на немъ ногой и говорить:

— А, такъ-то ты, гадюка! Такъ выбирайтесь обѣ съ матерью изъ хаты. Завтра отберу за долги. Геть!

А она ему:

— Выбирайся и ты, турка, сейчасъ изъ моего саду, пока онъ мой. А то какъ виѣплюсь вотъ сейчасъ ногтями, то и Мотря твой не узнаетъ, гдѣ у тебя что было!..

Вотъ и говори съ нею! Плюнулъ мельникъ, скорехонько соскочилъ съ тына и пошелъ изъ села сердитый. Вышелъ на гребень горы, откуда уже слышно было, какъ вода въ лоткахъ шумить, такъ еще обернулся и погрозилъ кулакомъ...

А въ это время какъ разъ: динь, динь...

Опять зазвонили на селѣ, на звонницѣ, самую полночь...

X.

Мельникъ подошелъ къ своей мельницѣ, а мельница вся въ росѣ, и мѣсяцъ свѣтитъ, и лѣсъ стоитъ и сверкаетъ, и бугай, проклятая птица, бухаетъ въ очеретахъ, не спитъ, будто поджидаетъ кого, будто кого выкликаетъ изъ омута...

Жутко стало мельнику Филиппу.

— Эй, Гаврило!—крикнулъ онъ на мельницу.

— У-у, у-у,—отозвался съ болота бугай, а на мельницѣ никто ни чи-чиркъ.

„Э, проклятый парубокъ! опять помандровалъ къ дѣвкамъ“...—подумалъ мельникъ, и не хотѣлось что-то ему идти въ пустую мельницу. Хоть и привыкъ, а всетаки вспоминалось иной разъ, что подъ мельничнымъ поломъ, промежду сваями, не одни рыбы да ужи плаваютъ въ темной водѣ...

Онъ оглянулся къ городу. Тихо, свѣтло, туманъ чуть-чуть закурился надъ рѣчкой, что уплываетъ себѣ за лѣсъ, и не видно ей въ свѣтлой мглѣ... А на небѣ ни облачка...

Назадъ посмотрѣлъ и опять удивился, откуда въ его запрудѣ столько глубины: и для мѣсяца, и для звѣздъ, и для всего синяго неба...

Глядь, а въ водѣ по-надъ звѣздами будто комарикъ летить... Приглядѣлся, — выросъ комарикъ какъ муха, потомъ сталъ какъ воробей, какъ ворона, а вотъ ужъ какъ здоровый шулякъ.

— Цуръ тобі, пекъ тобі *),—сказалъ мельникъ и, поднявъ глаза, увидѣлъ, что это не въ водѣ, а по воздуху летитъ что-то прямо къ мельницѣ.

— А бей тебя сила Господни! Это, видно, опять Ханунъ въ городъ поспѣываетъ за добычей. Видишь ты, собачья вѣра, какъ залѣнился на этотъ разъ: полночь пробило, а онъ еще только въ дорогу собрался...

Онъ стоялъ такъ, съ задранною головой, а по воздуху, уже какъ орелъ, летѣло, кружась, облако и опускалось книзу; а изъ того облака что-то жужжало такъ, какъ въ хорошемъ пчелиномъ рою, когда рой вылетитъ изъ пасѣки поверхъ саду...

— А, опять у меня на плотнигѣ отдыхать задумалъ? Видишь ты, какую себѣ моду завелъ. Погоди, поставлю на тотъ годъ „фигуру“ (крестъ), такъ, небойсь, не станешь по дорогѣ, какъ въ заѣзжій домъ, на мою плотину заѣзжать... Э, а что-жь это онъ такъ шумить, какъ змѣекъ съ трещоткой, что ребята запускаютъ въ городѣ? Надо, видно, опять за яворомъ прйтаться, да посмотрѣть.

Не успѣлъ отбѣжать къ яворамъ, поглядѣлъ кверху и чуть не крикнулъ отъ страха... Видитъ — гость уже близко надъ мельничною крышей, да еще въ рукахъ держитъ... Вотъ ни за что и не угадаете, что такое принесъ чертяка въ когтяхъ.

Жида Янкеля! Да, того самаго Янкеля, котораго годъ назадъ утащилъ, теперь приволокъ обратно. Держитъ Янкеля крѣпко за спину, а Янбель держитъ въ рукахъ большущій узелъ, завязанный въ простынь, и оба ругаются въ воздухъ, да такъ шибко, будто десять жидовъ заспорили на базарѣ изъ-за одного мужика...

*) «Цуръ тобі, пекъ тобі» — заклинаніе.

Камнемъ упаль чортъ на плотину. Если бы не мягкій узелъ, то, пожалуй, Янкелю не собрать бы и костей. Потому оба сразу вскочили на ноги и давай опять галдѣть.

— Ой-ой!.. И что это за свинство,—закричала Янкель,— не можете вы полегче на землю спуститься!.. Я думаю, у васъ въ рукахъ живой человекъ.

— Человекъ, да еще узелъ, чтобъ вамъ обоимъ провалиться сквозь землю!..

— Пхе! Чѣмъ вамъ мѣшаетъ мой узелокъ? Я его самъ держу, васъ не заставляю...

— Узелокъ! Цѣлая гора всякихъ бѣбеховъ. Насилу дотащилъ, у-ухъ! На это и уговора не было...

— Ну, а гдѣ это видно, чтобы человекъ ѣхалъ въ дорогу безъ вещей?.. Везете человека, везите и вещи, это ужъ и безъ всякаго уговора можно понимать... Развѣ можно хозяину свое добро бросить?.. Вы, я давно вижу, хотите обмануть бѣднаго Янкеля, такъ и придираетесь...

— А!.. Кто тебя, лисицу, обманетъ, тотъ и трехъ дней не проживетъ. Я ужъ не радъ, что и связался...

— Вы думаете, я очень радъ, что познакомился и-съ-вами? Ой-вай, важный пურიцъ!.. А вы лучше скажите мнѣ, какой у насъ уговоръ былъ. Ну, вы, можетъ, забыли, такъ я вамъ припомню: мы бились объ закладъ. Можетъ, вы скажете: мы не бились объ закладъ? Вотъ это будетъ хорошее дѣло, если вы отречетесь!

— Кто тебѣ говорить, что не бились? Развѣ я тебѣ сказалъ, что не бились?

— Ну, какъ-же вамъ и сказать, что не бились, когда мы бились вотъ здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ. Можетъ, вы не помните о чемъ, такъ я сейчасъ припомню. Вы говорите: жида берутъ проценты, жида спаиваютъ народъ, жида жалѣютъ своихъ, а чужихъ не жалѣютъ... Ну, можетъ, вы этого не говорили, а я, можетъ, вамъ не отвѣтилъ на это: вотъ тутъ стоитъ мельникъ за яворомъ. Если бъ онъ жалѣлъ жида, то крикнулъ бы вамъ: „Господинъ чортъ, кидайте, — у него жена, дѣти“. Но онъ не крикнетъ... Разъ!

„Вотъ какъ угадалъ, подлый!“ — подумалъ про себя мельникъ, а чортъ сказалъ:

— Ну, разъ!

— А еще я говорю, помните мое слово: какъ меня здѣсь не станеть, мельникъ откроетъ шинокъ и станеть разбавлять водку, а проценты онъ и теперь дереть какъ слѣдуетъ... Два!

— Ну, два, — подтвердилъ чортъ, — а мельникъ поскребъ въ головѣ: „Какъ это онъ все могъ угадать, проклятый?“

— А еще я говорю: намъ чужіе желаютъ, чтобъ насъ черти взяли, это правда... А какъ вы думаете, если бъ здѣсь сейчасъ были наши жидки, да увидѣли, что вы со мной хотите дѣлать,—какой бы они тутъ гевалтъ подняли, а? А объ мельникѣ черезъ годъ, кого ни спросите, свои братья скажутъ: а пусть его чортъ унесетъ... Три!

— Ну, три!... Я и не отрекаюсь.

— Вотъ это хорошій интересъ былъ бы, если бъ вы еще отрекались. Какой бы вы были послѣ этого честный еврейскій чортъ? А вы лучше скажите, какой уговоръ?

— Я все исполнилъ: оставилъ тебя на годъ живымъ—разъ. Понесъ сюда — два...

— А три? Что же будетъ три?

— Чего еще? Выиграешь закладъ, — отпущу тебя на всѣ четыре стороны.

— А убытки?.. Развѣ вы не должны вернуть мнѣ убытки?..

— Убытки? Какіе-жъ у тебя могутъ быть убытки, когда мы тебѣ дали торговать у насъ безъ всякихъ патентовъ цѣлый годъ?.. Ну, что? Такой барышъ на землѣ въ три года не возьмешь... Смотри самъ: я тебя захватилъ отсюда въ одномъ лапсердакѣ, даже безъ патынковъ, а сюда какой ты узелъ приволокъ, а? Откуда-же онъ взялся, если у тебя все были убытки?

— Ой-вай! Опять узломъ попрекаете!.. Что я себѣ тамъ торговалъ, это мое счастье... Развѣ вы считали мой барышъ? А я вамъ скажу по правдѣ, что я отъ вашей торговли взялъ чистый убытокъ, а тутъ, на землѣ, годъ потерялъ...

— Ахъ ты, ширлатанъ!—крикнуть чортъ.

— Я ширлатанъ? Нѣтъ, это вы самъ ширлатанъ шейгицъ, лайдакъ, паршивецъ!..

Тутъ они опять заспорили такъ шибко, что уже нельзя было разобрать ни слова. Оба махали руками, оба трисли ермолками и поднимались на цыпочки, какъ два пѣтуха, готовые сѣбниться. Наконецъ, чортъ спохватился первый:

— А! Еще не извѣстно, кто выигралъ! Что мельникъ тебя не пожалѣлъ, это правда, а остальное еще посмотримъ, еще надо у людей спросить, можетъ, онъ и не думалъ открыть шинокъ.

„Два открылъ!—почесался опять мельникъ.—Э, надо было хоть годикъ обождать,—остался бы Янкель въ дуракахъ, а то тутъ что-то такое неладное выходитъ“...

И онъ оглянулся на свою мельницу: нельзя-ли тихонько, по-за мельницей, махнуть на село? Но въ это время въ лѣсу, за плотиной, слышались чьи-то перовные шаги и бормо-

танье. Янкель схватилъ на плечи свой узелъ и бѣгомъ побѣжалъ къ тѣмъ же яворамъ. Мельникъ едва успѣлъ спрятаться за толстую ветлу, какъ оба — и чортъ, и Янкель — были уже тутъ, а въ это время въ концѣ плотины показался подсынка Гаврило. Свитка на Гаврилѣ драная, съ одного плеча спущена, шапка на боку, а босми ноги все одна съ другой спорять: одной хочется направо, а другая, на зло, налево поровить. Одна опять въ свою сторону потянетъ, а другая такъ бѣднаго подсынку къ себѣ кинетъ, что вотъ-вотъ голова въ одно мѣсто улетитъ, а спина съ ногами въ другое. Такъ вотъ и идетъ бѣдный парубокъ, выписывая по всей плотинѣ узоры, отъ одного края до другого, а впередъ что-то мало подвигается.

Видитъ чертяка, что подсынка совсѣмъ пьянъ, вышелъ себѣ да и сталъ посрединѣ плотины въ своемъ собственномъ видѣ. Извѣстно, съ пьяными людьми какаѣ церемоніи!

— Здравствуйте, говорить, добрый человекъ! А гдѣ это вы такъ намалевались?..

Тутъ только мельникъ въ первый разъ замѣтилъ, какой Гаврило сталъ за годъ оборванный и несчастный. А все оттого, что у хозяина зарабатываетъ, у хозяина и прощеть; денегъ отъ мельника давно уже не видалъ, а все забиралъ водкой. Подошелъ подсынка вилоть къ самому чорту, уперся сразу обѣими ногами въ гать и сказалъ:

— Тиру-у-у... Вотъ бѣсовы ноги съ поровомъ какимъ! Когда надо, не идутъ, а какъ увидѣли, что у человека передъ самымъ носомъ торчитъ что-то, тутъ онѣ и пруть себѣ впередъ. А ты это что такое, я что-то не разберу никакъ...

— Я себѣ, съ позволенія вашего, чортъ...

— Ну-у? Врешешь, я думаю. Э!.. А пожалуй, твоя правда. И рога, и хвостъ, — все какъ слѣдуетъ. А пейсы по бокамъ морды зачѣмъ?

— Да я себѣ, не въ обиду вамъ сказать, жидовскій чортъ.

— А!.. Вотъ видишь ты, какаѣ оказія!.. Такъ это не ты ли въ прошломъ годѣ нашего Янкеля уволокъ?

— Ну, ну! Я самый.

— А теперь-же кого? Меня, что-ли? То я и закричу, ой-Богу закричу... Ты еще не знаешь, какаѣ у меня глотка.

— Э, не кричи напрасно, добрый человекъ. На что ты мнѣ сдался?..

— Можетъ, мельника? Позвать тебѣ, такъ я и позову. Э, вѣтъ, постой! А кто-жъ у насъ шинковать станеть?

— А у него развѣ есть шинокъ?

— У него?.. Нѣтъ, у него два: одинъ на селѣ, а другой при дорогѣ...

— Ха-ха-ха! Не оттого ли тебѣ мельника и жалко?

— Ой! Какъ ты смѣешься здорово... Ха! Не такой я человекъ, чтобъ его пожалѣть!.. Нѣтъ, не такъ я сказалъ!.. Это онъ не такой человекъ, чтобъ я его пожалѣлъ. Онъ думаетъ, Гаврилко—дурень... Ну, это-таки правда: я себѣ не очень умный человекъ, не взыщите вы съ меня. А всетаки, когда ѣмъ, то въ чужой ротъ каши не кладу, а только въ свой. И какъ оженюсь, то опять для себя-же. Правду я говорю, или нѣтъ?

— Правда оно—правда, ну, а только я не знаю, къ чему она клонить.

— Хе, можетъ, тебѣ не надо знать, то ты и не знаешь, а какъ мнѣ надо знать, то я и знаю, зачѣмъ онъ меня женить хочетъ. Ой, знаю я хорошо, даромъ что я не очень догадливый человекъ. Вотъ и тотъ разъ, какъ вы Янкеля схапали, я объ немъ пожалѣлъ: „кто-жъ теперь,—говорю хозяину,—у насъ шинковать будетъ?“ А онъ и говоритъ: „Тю, дурень! Развѣ не найдется кому? А хоть бы и я вотъ!“ Такъ и теперь: возьмете вы себѣ мельника,—найдется у насъ кому жидовать и безъ него... Ну, а я тебѣ, добрый человекъ... тьфу, тьфу, не взыщите, ваша милость! Вотъ-же человекомъ назвалъ поганого чорта... Теперь я тебѣ вотъ что скажу: что-то мнѣ того, что-то спать хочется. Ты себѣ какъ хочешь... бери егс себѣ самъ, а я пойду лягу, вотъ что, потому что я маленьк нездоровъ. Вотъ и будетъ хорошо... Ага!..

Тутъ подсынка опять сталъ заплетать ногами и насиду отперъ двери, какъ уже повалился и захрапѣлъ.

Чортъ весело засмѣялся и, ставъ на краю плотины, моргнувъ Янкелю подъ яворы:

— А, кажется, твоя правда, Янкель. Что-то выходитъ похоже... Дай, однако, мнѣ какую одежину, на поддержаніе... Я заплачу...

Янкель сталъ смотрѣть на свѣтъ какія-то шаровары, чтобы ошибкой не дать чорту новыхъ, а въ это время за рѣкой, по дорогѣ изъ лѣсу показалась пара воловъ. Волы сонно качали головами, телѣга чуть-чуть поскрипывала колесами, а на телѣгѣ лежалъ мужикъ Опанасъ Нескорый, безъ свитки, безъ шапки и сапоговъ, и во все горло оралъ пѣсни.

Добрый былъ мужикъ Опанасъ, да только бѣдняга очень водку любилъ. Бывало, только снарядится куда выѣхать, а ужъ Харько у шинка сторожить и кличетъ:

— Не выпить-ли тебѣ чарочку, Нескорый? Куда торопиться? Онъ и вышьетъ.

Выѣдетъ послѣ того за село, черезъ плотину, а тамъ ужъ, у другого шиночка, сама мельница кличетъ:

— А не выпьешь-ли чарочку, Нескорый? Куда тебѣ поспѣшать.

Онъ и тутъ выпьетъ. Глядишь—и вернется домой, никуда не ѣздивши.

Да, добрый былъ мужикъ, но, видно, судьба ему судила пропадать промежду двумя шинками... А всетаки человекъ былъ веселый, и все, бывало, пѣсни поетъ. Весь, бывало, пропьется, и баба сердитая дома дожидается, а онъ какъ пѣсню или прибаутку сложилъ, такъ думаетъ, что горе избылъ. Такъ и теперь: лежитъ себѣ въ телѣгѣ и поетъ во все горло, что даже лягушки съ берега кидаются въ воду:

Волы мои крутороги
Идутъ по дорогѣ...
А меня не носятъ ноги, —
Ой, не носить ноги!
Пропилъ свитку и чоботья,
И шапку съ затылка...
А у мельника въ шиночкѣ
Хороша горілка...

— Эй, а какая тамъ бѣсова тварюка посередь гати стоитъ, что и воламъ не пройти? Вотъ, когда бы не лѣнь было мнѣ сойти съ воза, я бѣ тебѣ показаль, какъ посередь дороги становиться... Цобъ, цобъ, цоб-бе!..

— Пстой на одну минуту, добрый человекъ, — сказалъ чортъ сладкимъ голосомъ. — Мнѣ бы съ тобой потолковать немного...

— Немного? Ну, толкуй, а то некогда. Пожалуй въ Каменкѣ шинокъ заперли, такъ и не достучишься... А что ты скажешь, не знаю, какъ тебя назвать... Ну?

— О комъ это ты такую хорошую пѣсню пѣль?

— Спасибо, что похвалилъ. Пѣль я объ мельникѣ, что вотъ тутъ на мельницѣ живетъ, а что хороша-ли пѣсня или нѣтъ, то лучше мнѣ знать, потому что я себѣ самъ пою. Можетъ, кто отъ той пѣсни скачетъ, а кто и плачетъ, вотъ что... Цобъ, цобъ, цоб-бе! Да ты все еще стоишь?

— Стою.

— Чего-жъ ты стоишь?

— Въ пѣснѣ твоей говорится, что горілка у мельника хороша?

— Вотъ ты какой... хитрый! Человекъ и пѣсню еще до конца не допѣлъ, а онъ ужъ придрался къ слову. Гдѣ у бѣса хороша!.. Ты, видно, не слыхаль поговорки: впередъ батька не лѣзь въ пекло, а то опередишь батька и того... нехорошо будетъ. Когда такъ, то я лучше тебѣ до конца спою:

А у мельника въ шиночкѣ
Хороша горілка.

Ой, горілки двѣ бутылки,
И... воды бутылка..

Ну, что, все стоишь? Чего-жь тебѣ, когда такъ, еще надо? Вотъ я сейчасъ вылѣзу-таки съ воза, посмотрю, долго-ли ты настоишься вотъ тутъ, а?.. Что ты себѣ подумаешь, если я начну тебя угощать батогомъ?..

— Сейчасъ, сейчасъ уйду, добрый человекъ. Только скажи еще: а что ты себѣ подумалъ бы, когда бы здѣшняго мельника чортъ забралъ, какъ и Янкеля?..

— А что мнѣ думать?—ничего и не подумаю.. Таки, сказать по правдѣ, и сханааетъ когда-нибудь, непременно-таки сханааетъ... Э, да ты, вижу, все стоишь... Ну, вылѣзаю съ воза. Гляди, ужъ и ногу одну поднялъ...

— Ну, ну! Поѣзжай себѣ, когда ты такой сердитый.

— Ушелъ ты?

— Ушелъ.

— Цобъ, цобъ, цоб-бе!

Опять волю закачали рогами, заскрипѣли ярма и занозы, возъ покотился на другой конецъ гати, а Опанасъ запѣлъ свою пѣсню:

Волю мои крутороги,
Прибавляйте бѣгу!
Пропяль мельнику колеса,
Пропью и телѣгу.

Колеса стукнули, съѣзжая съ гати, и пѣсня Опанаса стала затихать на горѣ.

Не успѣла еще стихнуть, какъ послышалась другая, изъ-за рѣки. Такъ и звенѣли, такъ и заливались женскіе голоса. сначала далеко, а тамъ уже и въ лѣсу. Видно, гдѣ-нибудь дожинали дѣвчата съ молодницами, а можетъ и отаву на дальнемъ покосѣ сгребали, а теперь шли себѣ поздною дорогой и пѣли, чтобы не страшно было лѣсомъ идти.

Чертяка разомъ прыгнулъ къ Янкелю подѣ вербы.

— А ну, давай-же чего-нибудь поскорѣе!

Янкель ткнулъ ему какую-то рвань. Чортъ кинулъ ее на землю и ухватился за узелъ.

— А! что ты мнѣ даешь, какъ нищему, что стыдно будетъ показаться. Давай получше!

Чортъ выхватилъ, что ему было нужно, мигомъ свернулись у него крылья, мигкнѣ, какъ у нетопыря, мигомъ вскочилъ въ широкіе, какъ море, синіе штаны, надѣлъ все остальное, подтянулся поясомъ, а рога покрылъ смушковой шапкой. Только хвостъ высунулся поверхъ голенища и бѣгалъ по песку, какъ змѣя...

Вотъ послѣ этого чмокнулъ, топнулъ, подбоченился, посунулся на-встрѣчу молодыцамъ, — ни взять, ни дать какой-нибудь добрый мѣщанинъ или подпанокъ изъ экономовъ, — и сталъ на серединѣ плотины.

А пѣсни все ближе, да все звонче, — ужъ такъ и вѣть по-надъ землей, да подъ яснымъ мѣсяцемъ, что, кажется, весь свѣтъ разбудить середь ночи. Да вдругъ и оборвалась сразу...

Сыгнули молодицы изъ лѣсу, будто кто маковъ цвѣтъ изъ передника на землю просыпалъ, — увидѣли на плотинѣ незнакомаго щегола и сбились въ кучу у конца гати.

— А что оно такое вонъ тамъ стоитъ? — спросила одна.

— Да это мельникъ, — говоритъ другая.

— Какой мельникъ, — и не похоже!

— Можетъ, подсынка.

— Гдѣ у подсынки такая одежда?..

— А отзовись ты, когда ты что доброе, — крикнула вдова Вучилиха, что, видно, была побойчѣе другихъ.

Чортъ издали поклонился и потомъ подошелъ поближе, выкидывая ногами и фигурой выкрутасы, какъ настоящій подпанокъ, что хочетъ казаться паномъ, и сказалъ:

— А не бойтесь, ласточки вы мои! Я себѣ человекъ молодой, а зла вамъ не сдѣлаю. Идите себѣ спокойно...

Молодицы и дѣвки взошли на гать, поталкивая одна другую, и скоро окружили чорта... Э, не всегда-таки приятно, какъ окружать человека десятокъ-другой вотъ этакихъ вострухъ и начнутъ пронизывать быстрыми очами, да поталкивать одна другую локтемъ, да посмѣиваться. Чорта стало-таки немного коробить да крочить, какъ бересту на огнѣ, — ужъ и не знаетъ, какъ ступить, какъ повернуться. А онѣ все пересмѣиваютъ.

„Вотъ такъ его, такъ его, мои ласточки, — подумалъ про себя мельникъ, гляди изъ-за корявой ветлы. — Вспомните, галочки мои, какъ Филишко съ вами, бывало, пѣсни пѣлъ, да хороводы водилъ. А теперь вотъ какаа бѣда: выручайте-жъ меня, какъ муху изъ паутины“. Еще, кажется, если бъ его такъ пощипать хотъ съ минуту, — провалился бы чертика сквозь землю...

Но старая Вучилиха остановила дѣвчатъ:

— Цуръ вамъ, сороки! Совсѣмъ нарубка засмѣяли, что у него и носъ опустился книзу, руки-ноги обвисли... А скажи ты намъ, небораче, кого ты тутъ надъ омутомъ дожидаешься?

— Мельника.

— Приятель ему, видно?

„Чтобъ такимъ приятелямъ моимъ всѣмъ провалиться сквозь

землю! — хотѣлъ крикнуть Филиппъ, да голосъ не пошелъ изъ горла, а чертика отвѣчаетъ:

— Не то, чтобъ большой пріятель, а такъ себѣ: сосчитаться за старое надо.

— А давно ты его не видалъ?

— Давненько.

— Ну, такъ теперь и не узнаешь. Добрый былъ когда-то парубокъ, а теперь ужъ такъ голову задралъ, что и кочергой до носа не достанешь.

— Ну?

— То-то... Не правду я говорю, дѣвоньки?

— А правда, правда, правда! — застрекотала вся стая.

— Тю! тише немножко, — закричалъ чортъ, затыкая уши, — отъ лучше скажите, что это съ нимъ подѣялось и съ какихъ поръ?

— А съ тѣхъ поръ, какъ богачомъ сталъ.

— Да деньги сталъ раздавать въ лихву.

— Да шинокъ открылъ.

— Да мужа моего, Опанаса, съ проклятымъ Харькомъ такъ окрутилъ, что ужъ мужику и ходу никуда, кромѣ кабака, не стало.

— Да и нашихъ мужей и батьковъ спойлъ всѣхъ дочиста.

— Ой, ой, лихо намъ съ нимъ, съ проклятымъ мельникомъ! — заголосила какал-то и, вмѣсто недавней гѣсени, пошли надъ рѣкой вопли, да бабы причитанья.

Поскребъ-таки Филиппъ свой затылокъ, слушая, какъ за него заступаются молодицы. А чортъ, видно, совсѣмъ оправился. Смотритъ искоса, да потираетъ руки.

— Э, это еще что! — звонко перекричала всѣхъ вдова Вучилиха. — А слышали вы, что онъ надъ Галей надъ вдовиной задумалъ?

„Тыфу! — плюнулъ мельникъ. — Вотъ сороки проклятыя! О чемъ ихъ не спрашиваютъ, и то имъ нужно рассказать... И какъ только узнали? То дѣло было сегодня на селѣ, а онъ ужъ на покосѣ все до-чиста знаютъ... Ну и бабы, зачѣмъ только ихъ Богъ на свѣтъ Божій выпускаетъ?..“

— А что бы такое надъ вдовиной дочкой мой пріятель затѣялъ? — спросилъ чортъ, глядя по сторонамъ такъ, какъ будто это дѣло ему не очень даже и любопытно.

И пошли тутъ сороки выкладывать, и выложили одна передъ другой, все до-чиста!

Чортъ помоталъ головой.

— Ай-ай-ай! вотъ это такъ ужъ не хорошо! Этого ужъ я думаю, никто и отъ прежняго шинкари Янкеля не видалъ.

— О, да гдѣ-же такое жиду придумать?

— Вотъ еще!

— Вотъ вижу я, мои кралечки, мои зозуленьки, не очень-то вы моего пріятели любите...

— А пускай-же его всѣ черти полюбятъ, а отъ насъ не дождется...

— Ой-ой-ой! Вотъ, видно, не много вы ему добра желаете...

— Пускай его потрясетъ трясця (лихорадка)!

— Пускай лѣзетъ въ омутъ за дядькомъ!

— Э, пусть и его чертяка схапаетъ, какъ того Янкеля!..

Всѣ засмѣялись.

— А правда твоя, Олено, потому что онъ хуже жиды.

— Жидъ, по крайней мѣрѣ, не ласоваль, оставляль хоть дѣвчать въ покоѣ, зналь свою Сурку.

Чортъ даже подпрыгнуль на мѣстѣ.

— Ну, спасибо вамъ, ласточки мои, за ваше привѣтливое слово... А не пора-ли вамъ уже идти дальше?

А самъ откинулъ голову, какъ пѣтухъ, что хочетъ закричать на зорѣ погромче, и захохоталъ, не выдержалъ. Да загрохоталъ опять такъ, что даже вся нечистая сила проснулась на днѣ рѣчки и пошли надъ омутомъ круги. А дѣвки отъ того смѣха шарахнулись такъ, какъ стая воробьевъ, когда въ нихъ кинуть камнемъ: будто вѣтромъ ихъ сдуло сразу съ плотины...

Пошли у мельника по шкурѣ мурашки, и взглянулъ онъ на дорогу къ селу: „А какъ бы это,—думаетъ себѣ,—приударить и мнѣ хорошенько за дѣвками. Когда-то бѣгалъ не хуже людей“. Да вдругъ и отлегло у него отъ сердца, потому что, видя, опять идетъ къ мельничной гати человекъ, да еще не кто-нибудь, а самый его наймитъ — Харько.

„Вотъ, кусни-ка этого, — подумалъ онъ про себя, — авось, зубы обломаешь. Это мой человекъ“.

XI.

Наймитъ шелъ босикомъ, въ красной кумачной рубахѣ, съ фуражкой, безъ козырька, на затылкѣ, и несъ на палкѣ новенькіе Опанасовы сапоги, отъ которыхъ такъ и разило дегтемъ по всей плотинѣ. — „Вотъ какой скорый! — подумалъ мельникъ, — ужъ и взялъ себѣ чоботы... Ну, да ничего это. На этого человекъ я крѣпко теперь надѣюсь“.

Увидѣвъ на серединѣ плотины незнакомаго человекъ, наймитъ подумалъ, что это какой-нибудь волочуга-грабитель хочетъ отнять у него сапоги. Поэтому онъ остановился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Хауна и сказалъ:

— Вотъ что: лучше и не подходи,—не отдамъ!

— Что ты, спохватись, добрый человѣкъ! Развѣ я самъ безъ сапогъ? Погляди: еще лучше твоихъ.

— Такъ что-же ты тутъ выросъ ночью, какъ корявая верба надъ омутомъ?

— А я, видишь-ли, хочу тебѣ задать одинъ вопросъ.

— Чудно! Загадку, что-ли? Кто-же тебѣ сказалъ, что я всякую загадку лучше всѣхъ разгадаю?

— Слыхаль-таки отъ людей.

Солдатъ поставилъ сапоги на-земь и, вынувъ кисеть, сталъ набивать себѣ трубочку. Потомъ выкресалъ изъ кремня огоньку и, раскуривая подъ носомъ густое курево, сказалъ:

— Ну, теперь вываливай: какія тамъ у тебя загадки?

— Да не то чтобы загадки, а такъ... Кто здѣсь, по моему, самый лучший человѣкъ?

— Я!

— Э, почему такъ?.. Нѣтъ-ли кого получше?

— Да ты спрашиваешь: какъ по моему?.. Ну, такъ я самъ себя ни за кого не отдамъ.

— Правда твоя. А мельникъ... какой человѣкъ?

— Мельникъ?

Солдатъ выпустилъ изо рта такой клубъ дыма, какъ бѣлый конскій хвостъ на мѣсячномъ свѣтѣ, и искоса поглядѣлъ на чорта.

— А вы не изъ акцизу?

— Нѣтъ.

— Можетъ, не при полиціи-ли гдѣ служите... по какой тайности?

— Да нѣтъ-же!.. Такой умникъ, а не умѣетъ отличить простаго человѣка отъ непростаго.

— Кто это тебѣ сказалъ?.. Да я у тебя въ костяхъ и то все вижу... А что спросилъ, такъ это такъ себѣ, на всякій случай. Такъ ты говоришь: какой человѣкъ мельникъ?

— Эге!

— Такъ себѣ человѣкъ: не высокій, не низкій... изъ небольшихъ средній.

— Э, не то ты говоришь!..

— Не то? А что бы такое еще тебѣ сказать?.. Можетъ, хочешь знать, гдѣ у него бородавка?

— Ты, я вижу, любишь морочить, а мнѣ некогда. Скажи по-просту: хорошій мельникъ человѣкъ или плохой?

Солдатъ опять пустилъ изо рта цѣлый хвостъ дыму и сказалъ:

— А ты-таки скорый человѣкъ, любишь кушать, не разжевавши,

Чортъ вылунилъ глаза, а у мельника отъ радости запрыгало сердце.

„Вотъ языкъ, такъ языкъ,—подумаль онъ.—Сколько разъ я желаль, чтобы онъ у него отсохъ, а онъ вотъ и пригодился,—смотрите, какъ чертику отбрестъ!..“

— Любишь кушать не разжевавши, я тебѣ говорю!—строго повторилъ солдатъ, — такъ тебѣ и скажи: хорошій человекъ или нѣтъ? Для меня, вотъ, всякій человекъ хорошъ. Я, братъ, изъ всякой печи хлѣбъ ѣдаль. Гдѣ бы тебѣ подавиться, а я и не поперхнусь!.. Э, что ты себѣ думаешь: на дурака напаль, что-ли?

„Вотъ такъ, вотъ-таки такъ его, — сказалъ про себя мельникъ и даже подпрыгнулъ отъ радости.— Я не я буду, когда у него чортъ черезъ полчаса не станетъ глупѣе овцы! Я на крыло съ читаю, что никто слова не пойметъ... такъ оттого, что скоро. А онъ вотъ и тихо говорить, а поди-пойми, что сказалъ...“

Дѣйствительно, бѣдный чортъ заскребъ въ головѣ такъ сильно, что мало не стиннулъ шапки.

— Постой-ка, служба,—сказаль онъ.—Что-то, видится, мы съ вами ѣдемъ-ѣдемъ, да не доѣдемъ. Не въ тотъ переулочъ завернули...

— Не знаю, какъ ты, а я изъ всякаго переулочка выѣду.

— Да, вѣдь, я у васъ спрашиваю: хорошій мельникъ человекъ или нѣтъ, а вы куда меня завезли?

— А дай же я у тебя спрошу: вода хороша, или пѣтъ?

— Вода?.. А чѣмъ же плоха?

— А когда есть квась, тогда отъ воды отвернешься, — нехороша?

— Пожалуй, нехороша.

— А когда стоять на столѣ пиво, такъ тебѣ и квасу надо?

— Вотъ и это правда.

— А поднеси чарочку горѣлки, и на пиво не поглядишь?

— Такъ-то оно такъ...

— Вотъ то-то и оно-то!

Чорта ударило въ потъ и изъ-подъ свитки хвостъ у него такъ и забѣгалъ по землѣ,—даже пыль поднялась на плоти. А солдатъ уже вскинулъ палку съ сапогами на плечи, чтобъ идти далѣе, да въ это время чертика догадался, чѣмъ его взять. Отскель себѣ шага на три и говорить:

— Ну, идите, когда такъ, своею дорогой. А я тутъ обожду: не пойдетъ-ли, случаемъ, солдатъ Харитонъ Трегубенко.

Солдатъ остановился.

— А тебѣ на что его?

— Да такъ!.. Говорили, солдатъ Трегубенко—умный человекъ: можетъ ввести и вывести. Я и подумалъ, не вы ли это сами будете. А вижу, нѣтъ! Съ вами путаешься кругомъ, а на дорогу никакъ не выйдешь...

Солдатъ поставилъ сапоги на-земь.

— А ну, спроси у меня еще.

— Э, что тутъ и спрашивать!

— А ты попробуй.

— Ну, вотъ что. Скажи мнѣ: кто былъ лучше—Янкель-шинкарь или мельникъ?

— Вотъ такъ бы и говорилъ сразу, а то не люблю такихъ людей, что подлѣ самаго мосту ищутъ броду. Иному человеку лучше десять верстъ исколесить проселками, чѣмъ одну версту прямою дорогой. Вотъ и я тебѣ сейчасъ все толкомъ, по пунктамъ, какъ говорится, скажу: у Янкеля былъ шинокъ, а у мельника—два.

„Э, что-то ужъ и не такъ заговорилъ, — подумалъ съ горестью мельникъ. — Пожалуй, объ этомъ лучше бы и не заговаривать...“

А солдатъ говорить дальше:

— У Янкеля я ходилъ въ лаптяхъ, а тутъ у меня и сапоги выросли...

— А откуда они выросли?

— Хе, откуда!.. Въ нашемъ дѣлѣ все такъ, какъ въ колдѣ съ двумя ведрами: одно полнѣетъ, другое пустѣетъ,—одно идетъ кверху, другое книзу. У меня были лапти,—стали сапоги. А погляди ты на Опанаса Нескорого: былъ въ сапогахъ, теперь сталъ босой, потому что дурень. А къ умному ведро приходитъ полное, уходитъ пустое... Понялъ?

Чортъ слушалъ внимательно и сказалъ:

— Постой! Кажется, подъѣзжаемъ помаленьку, какъ разъ, куда надо.

— То-то! Я про то и сразу тебѣ говорилъ! Назови ты мнѣ Янкеля хоть врасомъ, такъ мельникъ будетъ пиво, а если бъ ты подалъ мнѣ добраго вина, то я бы и отъ пива отступился...

У чорта кончикъ хвоста такъ рѣзво забѣгалъ по плотинѣ, что даже Харько замѣтилъ. Онъ выпустилъ клубъ дыму прямо чорту въ лицо и будто печаянно прищемилъ хвостъ ногою. Чортъ подпрыгнулъ и завизжалъ, какъ здоровая собака: оба испугались, у обоихъ раскрылись глаза, и оба стояли съ полминуты, глядя другъ на друга и не говоря ни одного слова.

Наконецъ, Харько посвисталъ по своему и сказалъ:

— Эге-ге-ге-е! Вотъ штука, такъ штука...

— А вы какъ думали?—отвѣтилъ чортъ.

— Вотъ вы какая птица!

— А вотъ, какъ меня видите...

— Такъ это вы, значить, того... въ прошломъ годѣ?..

— Ага!

— А теперь... за нимъ?

— Ну, ну... Что скажете?

Харько затынулся, пыхнулъ дымомъ и отвѣтилъ:

— Бери! Не заплачу... Я человекъ бѣдный, мое дѣло—сторона. Сяду себѣ съ люлькой у шинка, буду третьяго дожидаться.

Чортъ опять захохоталъ, а солдатъ закинулъ сапоги на спину и пошелъ скорымъ шагомъ. А какъ проходилъ мимо кучи яворовъ, то мельникъ слышалъ, что онъ бормочетъ:

— Вотъ оно что! одного унесъ, за другимъ прилетѣлъ... Ну, моя хата съ краю!.. Засвѣталъ чортъ жида,—мельнику досталось приданое; теперь свѣтаетъ мельника, а приданое—миѣ. Солдатъ кому ни служить, ни о комъ не тужить. Выручка на рукахъ,—пожалуй, можно и самому за дѣло приняться. Не станетъ теперь Харька Трегубенка, а будетъ Харитонъ Ивановичъ Трегубовъ. Только ужъ я не дуракъ: ночью на плотину меня никакими коврижками не заманишь...

И сталъ подыматься на гору.

Оглянулся мельникъ кругомъ: а кто-жъ ему теперь поможетъ?—нѣтъ никого. Дорога потемнѣла, на болотѣ заквакала сонная лягушка, въ очеретахъ бухнулъ сердито бугай... А мѣсяць только краемъ ока выглядываетъ изъ-за лѣса: „а что теперь будетъ съ мельникомъ Филиппомъ?..“

Глянулъ, моргнулъ и ушелъ себѣ за лѣса...

А на плотинѣ чортъ стоитъ, за бока держится, хохочетъ. Дрожить отъ того хохота старая мельница, такъ что изъ щелей мучная пыль пылится, въ лѣсу всякая лѣсная нежить, а въ водѣ водяная—проснулись, забѣгали, показывается кто тѣнью изъ лѣсу, кто неясною марой на водѣ; заходилъ и омутъ, закурился-задымился бѣлымъ туманомъ, и пошли по немъ круги. Глянулъ мельникъ—и обмеръ: изъ-подъ воды смотритъ на него синее лицо съ тусклыми, неподвижными глазами и только длинные усы шевелятся, какъ у водяного таракана. Точь-въ-точь дядько Омелько выплываетъ изъ омута прямо къ яворамъ...

Жидъ Янкель давно уже пробрался тихонько на плотину, поднявъ одежду, которую скинулъ съ себя чортъ, и, шмыгнувъ подъ яворы, наскоро завязалъ узелъ. Не говоритъ уже

ничего объ убытках; да скажу вамъ, тутъ на всякаго челоуѣка напала бы робость. Какіе уже тутъ убытки!.. Вскинулъ узелъ на плечи и тихонько зашлепалъ себѣ по тропинкѣ за мельницей въ гору, за другими...

Пустился и мельникъ на свою мельницу,—хоть запереться, да разбудить подсынку. Только вышелъ изъ-подъ яворовъ, а чортъ—къ нему. Филиппъ отъ него, да за дверь, да въ каморку, да поскорѣе засвѣчать огни, чтобы не такъ было страшно, да упалъ на полъ и давай голосить во весь голосъ,—подумайте вотъ!—совѣмъ такъ, какъ жида въ своей школѣ...

А тотъ ужъ летаетъ-вьется надъ крышей, да въ оконце свою любопытную харю суеть, да крыломъ бьетъ въ стекло,— не знаетъ, куда пробраться, чтобы захватить себѣ лакомый кусокъ...

Вдругъ—шашть... Хлопнулось что-то объ полъ, будто здоровенная кошка упала. Это проклятый въ трубу влетѣлъ, ударился, подскочилъ... И слышитъ мельникъ—сидитъ уже на спинѣ и запускаетъ когти.

Ничего не подѣлаешь!..

Шашть опять... потемнѣло въ глазахъ, поволокъ мельника по темному, да тѣсному мѣсту; посыпалась глина, сажа поднялась тучей и вдругъ... Вотъ уже труба внизу вмѣстѣ съ мельничною крышей, которая становится все меньше и меньше, будто и мельница, и плотина, и яворы, и омутъ падаютъ куда-то въ пропасть... А въ тихой мельничной запрудѣ, что лежитъ внизу гладкая, точно на тарелкѣ, видѣется опрокинутое небо, и звѣзды мигаютъ себѣ тихонечко, вотъ какъ всегда... И еще видитъ мельникъ: въ той синей глубинѣ, перекрывая звѣзды, летитъ будто шулякъ, потомъ будто ворона, потомъ будто воробей, а вотъ ужъ какъ большая муха...

„А это-жъ онъ меня выволокъ такъ высоко, — подумалъ мельникъ.—Вотъ тебѣ, Филиппко, и доходъ, и богатство, и шинки, и роскошь. А нѣтъ-ли тамъ гдѣ крещеной души, чтобы крикнула: „Кинь, это мое!“?

Нѣтъ никого! Прямо подъ нимъ спитъ себѣ мельница, и только изъ омота огромная усатая рожа утопшаго дядьки Омелька глядитъ стеклянными глазами и тихо смѣется, и моргаетъ усомъ...

Дальше, на гору подымается жидъ, сторбившись подъ тяжелымъ бѣлымъ узломъ. Въ половинѣ горы Харько стоитъ и, покрывъ ладонью глаза, смотритъ въ небо. Э, не подумаетъ онъ выручать хозяина, потому что вся выручка отъ шинка остается на его долю.

Вотъ разсѣянная стайка дѣвчатъ обогнала уже Опанаса Нескорого, съ его волами. Дѣвчата летятъ, какъ сумасшедшія, а Нескорый хоть и глядитъ прямо въ небо, лежа на возу, и хоть душа у него добрая, но глаза его темны отъ водки, а языкъ какъ колода... Некому, некому крикнуть: „Кинь, это мое!“

А вотъ и село. Вотъ запертый шинокъ, сияющія хаты, садочки; вотъ и высокія тополя, и маленькая вдовица избушка. Сидятъ на заваленкѣ старая Прися съ дочкой и плачутъ, обнявшись... А что-жъ онѣ плачутъ? Не оттого-ли, что завтра ихъ мельникъ прогонитъ изъ родной хаты?

Сжалось у мельника сердце. Э, пусть хоть эти не помнятъ меня лихою! Собрался съ духомъ и крикнулъ:

— А не плачь, Галю, не плачь, небого! Ужъ прощаю вамъ всѣ долги съ процентами... Ой, лихо мнѣ, хуже вашего: водочетъ меня нечистый, какъ паукъ маленькую мушку...

Видно, чутко дѣвичье сердце... Гдѣ бы, кажется, услыхать на такомъ дальнемъ разстояніи, а Галия, всетаки, дрогнула и подняла кверху черныя, заплаканныя очи...

— Прощайте вы, карія оченята,—вздыхаетъ мельникъ, да вдругъ видитъ: схватилась дѣвушка руками за грудь, да какъ наберетъ воздуха, да какъ крикнетъ!

— Кинь, проклятая чертяка! Кинь, это мое!

Точно цѣномъ, съ большого размаху, рѣзнуло чорта по ушамъ: встрепенулся, распустились когти, и повесся Филинъ книзу, какъ перышко, поворачиваясь съ боку на бокъ.

Летитъ, а чертяка, какъ камень, за симъ. Только долетитъ и придержитъ мельника, а Галия охнетъ:

— Кинь, проклятый,—мое!

Онъ и отпуститъ, а мельникъ опять полетитъ, да такъ до трехъ разъ, а уже внизу и багно (болото), что между селомъ и мельницей, разстилается все шире, да шире.

Тар-рахъ! Ударился мельникъ въ мягкое багно со всего размаху, такъ что мочага вся колыхнулась будто на пружинахъ, да снова мельника сажени на двѣ кверху и подкинула. Упалъ опять, схватился на ровныя ноги, да бѣгомъ лѣтомъ, да черезъ спящаго подеынку, да чуть не вышибъ съ петлями дверей — и ну подъ гору во всѣ лопатки чесать босикомъ... Самъ бѣжитъ и только вскрикиваетъ,—все ему кажется, вотъ-вотъ чертяка на него налетитъ.

Добѣжалъ до крайней избы, да черезъ тынъ лѣтомъ, да въ двери, да сталъ середь вдовиной избы и тутъ только опомнился:

— А вотъ я и у насъ! глава Богу!

XII.

Вотъ вы подумайте себѣ, добрые люди, какую штуку устроилъ: рано поутру, еще и солнце только что думаетъ всходить, и коровъ еще не выгоняли, а онъ безъ шапки, прростоволосый, да безъ сапоговъ, босой, да весь ррсахристианннй ввалился въ избу ко вдовѣ съ молодою дочкой! Э, что тамъ еще безъ шапки: слава Богу, что хоть чего другого не потерялъ по дорогѣ, тогда бы ужъ навѣки бѣдныхъ бабъ осрамилъ!.. Да еще и говорить: „А слава-жъ Богу! Вотъ я и у васъ“.

Старуха только руками всплеснула. А Гали соскочила въ одной сорочкѣ съ лавки да поскорѣе запаску на себя, да плахту, да къ мельнику:

— Ты что это, злодѣй, дѣлаешь? Опился, что-ли, — своей хаты не нашелъ, въ нашу вотъ такой ввалился, а?

А мельникъ стоитъ противъ нея, глядитъ прнятно, хоть и выпучивши маленько глаза, и говорить: „ну, бей себѣ, сколько хочешь“.

Она его—разъ!

— Бей еще!

Она его и два.

— Вотъ такъ. Можетъ, еще дашь?

Она и три. Да тутъ видить, что ему ничѣмъ-ничего, стоитъ себѣ и глядитъ на нее прнятнымъ окомъ, всплеснула руками и заплакала.

— Ой, лихо мнѣ, бѣдной сиротинкѣ, кто за меня заступится!.. Ой, и что-жъ это за человѣкъ такой! Мало ему, что обманулъ меня, молодую, что въ турецкую вѣру хотѣлъ сманить, такъ еще и славу на меня, сироту, навелъ, на все село осрамилъ. А теперь вотъ поглядите на него, добрые люди: я его ужъ три раза ударила, а онъ хоть бы повернулся. Ой, и что-жъ мнѣ-еще съ такимъ человѣкомъ дѣлать, научите меня! Я-жъ и не знаю уже..

А мельникъ спрашиваетъ:

— Ну, будешь еще бить или нѣтъ, говори прямо? Не будешь, такъ я ужъ и на лавку сяду,—усталь.

У Гали опять-было заходили руки, да старуха догадалась первая, что тутъ дѣло что-то не очень простое, и говорить дочери:

— Погоди ты, дочка! Что ты, ничего хорошенько не спросивши, такъ прямо ладонями и плещешь по чужой щекѣ. Не видишь развѣ, парубокъ что-то съ глазду съѣхаль (помѣшался). А скажи, небораче, откуда ты такой сюда ввалился, да еще

говоришь: „Слава Богу, вотъ я и у васъ!“—когда тебѣ тутъ не надо и быть...

Мельникъ протеръ глаза и говоритъ:

— Вотъ, скажите вы мнѣ, тетушка, по совѣсти: что я сплю, или я по свѣту хожу? А со вчерашняго вечера прошла одна ночь, или цѣлый годъ, да я-жъ теперь къ вамъ со своей мельницы, или съ неба свалился?

— Тю! перекрестись ты, человѣче, лѣвою рукой! И что ты это такое несешь языкомъ, а? Видно, тебѣ приснилось.

— Не знаю, пани-матко, не знаю, самъ ужъ ничего не знаю...

Сѣлъ-было на лавку у окна, глядь—за окномъ, мимо хаты, по холодочку плетется шинкаръ Янкель съ огромнымъ узломъ на спинѣ. Мельникъ вскочилъ на ровныя ноги, показываетъ бабамъ въ окно и говоритъ:

— Это кто идетъ, а?

— Да это-же нашъ Янкель.

— А что онъ несетъ?

— Узелъ изъ городу.

— Такъ какъ же вы говорите, что мнѣ приснилось? Да вѣдь вотъ и жидъ воротился. Я его сейчасъ видѣлъ у мельницы, съ этимъ самымъ узломъ.

— А почему-же бы ему и не воротиться?

— Да вѣдь его въ томъ году чортъ уволокъ—Хапунъ.

Ну, однимъ словомъ сказать, было тутъ много дива, какъ сталъ мельникъ рассказывать все, что съ нимъ случилось. А, между тѣмъ, противъ хаты, на улицѣ, уже и народъ началъ набираться, да заглядывать въ окна, да судачить:

— Вотъ, говоритъ, это штука, такъ ужъ штука: мельникъ простоволосый, да рохристанный, безъ сапоговъ и безъ шапки черезъ поле прямо къ вдовѣ придралъ и сидитъ теперь въ хатѣ.

— Эй, скажи ты намъ, добрый человѣкъ, а къ кому ты это такой нарядный бѣгашь: къ старой Присѣ или, можетъ, къ молоденькой Галѣ?..

Ну, тутъ, я думаю, сами вы ужъ догадались, что такую славу на бѣдную дѣвушку навести напрасно нельзя. Пришлось мельнику жениться. Да и самъ Филиппъ признавался мнѣ не одинъ разъ, что Галю вдовину всегда любилъ, а послѣ той ночи, какъ побывалъ въ когтяхъ у нечистой силы, да Гали его вызволила,—такая она ему стала пріятная, что ужъ его бы никто и палкой отъ нея не могъ отогнать.

Живутъ теперь на мельницѣ и ужъ дѣтвору навели. А о шинкѣ мельникъ больше не думалъ и процентовъ не бралъ.

И когда, бывало, при немъ станеть кто толковать, чтобы спровадить жида Янкеля къ чертовой матери изъ села, онъ только рукой махнеть.

— А шинокъ,—спрививаетъ у такого человѣка,—какъ вы думаете, останется?

— А шинокъ останется,—куда-жъ его дѣвать.

— А кто-жъ въ немъ сидѣть будетъ?.. Можетъ, часомъ, вы не сидете-ли?

— А что-жъ, пожалуй, и я бы сѣлъ...

Такъ онъ, бывало, только свиснеть.

XIII.

Да, такъ вотъ какаѧ исторія случилась съ мельникомъ, — такая исторія, что и до сихъ поръ никакъ не разберешь: было это все, или этого вовсе-таки не было. Если сказать—брехня, такъ не такой мельникъ человѣкъ, чтобы брехать. Да и подсыпка Гаврило тоже еще живетъ на мельницѣ, и хотъ самъ признается, что здорово былъ пьянъ въ эту ночь, а всетаки помнить хорошо, какъ мельникъ ему самъ двери отворилъ, и еще Гаврило замѣтилъ, что у хозяина лицо бѣлѣе муки. И Янкель пришелъ на зарѣ, и Опанасъ прѣхаль домой босой и пьяный... Значитъ и присниться все это мельнику—не приснилось.

Ну, а опять-же и то взять: какъ-же оно могло быть, когда для всего этого нужно цѣлый годъ, а мельникъ на другое утро уже къ Галѣ прибѣжалъ босикомъ...

Э, лучше ужъ, я думаю, и не разбирать этого дѣла. Было оно тамъ, или не было, а только вотъ что я вамъ отъ себя уже скажу: можетъ, есть у васъ гдѣ-нибудь знакомый мельникъ, или хотъ не мельникъ, да такой человѣкъ, у котораго два шинка... Да еще, можетъ, жиновь ругаетъ, а самъ обдираетъ людей, какъ линку,—такъ прочитайте вы тому своему знакомому вотъ этотъ рассказъ. Ужъ я вамъ поручусь, дѣло пробованное, бросить онъ, можетъ, своего дѣла не бросить,—ну, а вамъ чарку водки поднесеть и хотъ на этотъ разъ водой ее не разбавить.

Ну, а есть и такіе люди (это тоже дѣло виданное), что какъ выслушаютъ эту исторію, такъ и начнутъ лаяться на тебя, какъ собаки. Такъ я такимъ скажу вотъ что: лайтеся себѣ, сколько охота, а только я вамъ посовѣтую по правдѣ,—берегитесь, какъ бы не случилось чего съ вами, какъ съ мельникомъ.

Потому что, видите-ли, ново-каменскіе люди не разъ послѣ того видѣли того самаго чорта; съ тѣхъ поръ, какъ попро-

бываль мельника, уже не хочеть вернуться къ себѣ безъ хорошей добычи... Летаетъ, какъ отставная птица, и все высматриваетъ...

Такъ вотъ, добрые люди, берегитесь вы немного, какъ бы не случилось съ вами чего недобраго...

А пока что, прощайте! Если рассказали что не такъ, какъ бы вамъ хотѣлось,—не взыщите съ меня, простого чловѣка.

1890 г.

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО СЪ ДИККЕНСОМЪ.

I.

Первая книга, которую я началъ читать по складамъ, а дочиталъ до конца уже довольно бѣгло, былъ романъ польскаго писателя Корженевскаго,—произведеіе талантливое и написанное въ хорошемъ литературномъ тонѣ. Никто послѣ этого не руководилъ выборомъ моего чтенія, и одно время оно приняло нестрѣй, случайный, можно даже сказать, авантюристскій характеръ.

Я слѣдовалъ въ этомъ за моимъ старшимъ братомъ.

Онъ былъ года на 2½ старше меня. Въ дѣтствѣ это разница значительная, а братъ былъ въ этомъ отношеніи честолюбивъ. Стремясь отгородиться всячески отъ „дѣтей“, онъ присвоилъ себѣ разныя привилегіи. Во-первыхъ, завелъ тросточку, съ которой расхаживалъ по улицамъ, размахивая ею особеннымъ образомъ. Эта привилегія была за нимъ признана. Старшіе смѣялись, но тросточки не отнимали. Было нѣсколько хуже, что онъ запасся также табакомъ и сталъ пріучаться курить тайкомъ отъ родителей, но при насъ, младшихъ. Изъ этого, положимъ, ничего не вышло: его тошнило, и табакъ онъ хранилъ больше изъ тщеславія. Но когда отецъ какъ-то узналъ объ этомъ, то сначала очень разсердился, а потомъ рѣшилъ: „Пусть малый лучше читаетъ книги“. Братъ получилъ „два злотыхъ“ (30 коп.) и подписался на мѣсяць въ библіотекѣ пана Буткевича, торговавшаго на Кіевской улицѣ бумагой, картинками, нотами, учебниками, тетрадами, а также дававшего за плату книги для чтенія. Книгъ было не очень много и болѣе всего товаръ по тому времени ходкій:

Дюма, Евгений Сю, Куперъ, Тайны разныхъ дворовъ и, кажется, уже тогда знаменитый Рокамболь...

Братъ и этому своему новому праву придавъ характеръ привилегіи. Когда я однажды попытался заглянуть въ книгу, оставленную имъ на столѣ, онъ вырвалъ ее у меня изъ рукъ и сказалъ:

— Пошелъ! Тебѣ еще рано читать романы.

Послѣ этого я лишь тайкомъ, въ его отсутствіе, бралъ книги и, весь насторожѣ, глоталъ страницу за страницей.

Это было странное, пестрое и очень пріятное чтеніе. Некогда было читать сплошь, приходилось знакомиться съ завязкой и потомъ слѣдить за нею въ разбивку. И теперь многое изъ прочитаннаго тогда представляется мнѣ, точно пейзажъ подъ плывущими туманами. Появляются, точно въ прогалинахъ, ярко свѣтящіяся островки и исчезаютъ... Д'Артаньянъ, выѣзжающій изъ маленькаго городка на смѣшной клячѣ, фигуры его друзей мушкатеровъ, убійство королевы Марго, нѣкоторыя злодѣянія іезуитовъ изъ Сю... Всѣ эти образы появлялись и исчезали, вспугнутые шагами брата, чтобы затѣмъ возникнуть уже къ другому мѣстѣ (въ слѣдующемъ томѣ), безъ связи въ дѣйствиі, безъ опредѣлившихся характеровъ. Поединки, нападенія, засады, любовныя интриги, злодѣянія и неизбежное ихъ наказаніе. Порой мнѣ приходилось разставаться съ героемъ въ самый критическій моментъ, когда его насквозь пронзали шпагой, а между тѣмъ романъ еще не былъ конченъ и, значитъ, оставалось мѣсто для самыхъ мучительныхъ предположеній. На мои робкіе вопросы — ожилъ-ли герой и что случилось съ его возлюбленной въ то время, когда онъ влачилъ жалкое существованіе со шпагой въ груди, — братъ отвѣчалъ съ суровой важностью:

— Не трогай моихъ книгъ! Тебѣ еще рано читать романы.

И пряталъ книги въ другое мѣсто.

Черезъ нѣкоторое время, однако, ему надоѣло бѣгать въ библіотеку, и онъ воспользовался еще одной привилегіей своего возраста: сталъ посылать меня мѣнять ему книги...

Я былъ этому очень радъ. Библіотека была довольно далеко отъ нашего дома, и книга была въ моемъ распоряженіи на всемъ этомъ пространствѣ. Я сталъ читать на ходу...

Эта манера придавала самому процессу чтенія характеръ своеобразный и, такъ сказать, азартный. Сначала я не умѣлъ примѣниться какъ слѣдуетъ къ уличному движенію, рисковалъ попасть подъ извозчиковъ, натыкался на прохожихъ. До сихъ поръ помню солидную фигуру какого-то поляка съ сѣдыми подстриженными усами и широкимъ лицомъ, который, когда

я ткнулся въ него, взявъ меня за воротникъ и съ насмѣшливымъ любопытствомъ разсматривалъ нѣкоторое время, а потомъ отпустилъ съ какой-то подходящей сентенціей. Но современемъ я отлично выучился лавировать среди опасностей, издали замѣчая черезъ обрѣзъ книги ноги встрѣчныхъ... Шелъ я медленно, порой останавливаясь за углами, жадно слѣдя за событіями, пока не подходилъ къ книжному магазину. Тутъ я наскоро смотрѣлъ развязку и со вздохомъ входилъ къ Вуткевичу. Конечно, пробѣловъ оставалось много. Рыцари, разбойники, защитники невинности, прекрасныя дамы—все это какимъ-то вихремъ, точно на шабангѣ, мчалось въ моей головѣ подъ грохотъ уличнаго движенія и обрывалось безсвязно, странно, загадочно, дразня, распаляя, но не удовлетворяя воображеніе. Изъ всего „Кавалера De maison rouge“ я помнилъ лишь то, какъ онъ, переодѣтый якобинцемъ, отсчитываетъ шагами плиты въ какомъ-то залѣ и въ концѣ выходитъ изъ-подъ эшафота, на которомъ казнили прекраснѣйшую изъ королевъ, съ платкомъ, обограннымъ ею кровью. Къ чему онъ стремился и какимъ образомъ попалъ подъ эшафотъ, я не зналъ очень долго.

Думаю, что это чтеніе принесло мнѣ много вреда, пролагая въ головѣ странныя и ни съ чѣмъ несообразныя извилины приключеній, затушевывая лица, характеры, приучая къ поверхностности...

II.

Однажды я принесъ брату книгу, кажется, сброшюрованную изъ журнала, въ которой, перелистывая дорогой, я не могъ привычнымъ глазомъ разыскать обычную нить приключеній. Характеристика какого-то высокаго человѣка, суроваго, непріятнаго. Купецъ. У него контора, въ которой „привыкли торговать кожами, но никогда не вели дѣлъ съ женскими сердцами“... Мимо! Что мнѣ за дѣло до этого неинтереснаго человѣка! Потомъ какой-то дядя Смоль ведетъ странные разговоры съ племянникомъ въ лавкѣ морскихъ принадлежностей. Вотъ наконецъ... старуха похищаетъ дѣвочку, дочь купца. Но и тутъ все дѣло ограничивается тѣмъ, что нищенка снимаетъ съ нея платье и замѣняетъ лохмотьями. Она приходитъ домой, ее поятъ тепленькимъ и укладываютъ въ постель. Жадное и неинтересное приключеніе, къ которому я отнесся очень пренебрежительно: такія-ли приключенія бывають на свѣтѣ. Книга внушила мнѣ рѣшительное предубѣжденіе, и я по пользовался случаями, когда братъ оставлялъ ее.

Но вотъ однажды я увидѣлъ, что братъ, читая, расхохо-

тался, какъ сумасшедшій, и потомъ часто откидывался, смѣясь, на спинку раскачиваемаго стула. Когда къ нему пришли товарищи, я завладѣлъ книгой, чтобы узнать, что же такого смѣшного могло случиться съ этимъ куномъ, торговавшимъ кожами.

Нѣкоторое время я бродилъ ощупью по книгѣ, натыкался, точно на улицѣ, на цѣлыя вереницы персонажей, на ихъ разговоры, но еще не схватывая главнаго: струи диккенсовскаго юмора. Передо мной промелькнула фигурка маленькаго Павла, его сестры Флоренсы, дяди Смоля, капитана Тудли съ желѣзнымъ крючкомъ вмѣсто руки... Нѣтъ, все еще неинтересно... Тутъ съ его любовью къ жилетамъ... Дуракъ... Стоило-ли описывать такого болвана?..

Но вотъ, перелиставъ смерть Павла (я не любилъ описаній смертей вообще), я вдругъ остановилъ свой стремительный бѣгъ по страницамъ и застылъ, точно заколдованный.

„— Завтра поутру, миссъ Флой, папа уѣзжаетъ...“

„— Вы не знаете, Сусанна, куда онъ ѣдетъ? — спросила Флоренса, опутивъ глаза въ землю.“

Читатель, вѣроятно, помнить дальше, Флоренса тоскуетъ о смерти брата. Мистеръ Домби тоскуетъ о сынѣ... Мокрая ночь. Мелкій дождь печально дребезжалъ въ заплаканныя окна. Зловѣщій вѣтеръ пронзительно дулъ и стоналъ вокругъ дома, какъ будто ночная тоска обуяла его. Флоренса сидѣла одна въ своей траурной спальнѣ и заливалась слезами. На часахъ башни пробило полночь...

Я не знаю, какъ это случилось, но только съ первыхъ строкъ этой картины,—вся она встала передо мной, какъ живая, бросая яркій свѣтъ на все, прочитанное урывками до тѣхъ поръ.

Я вдругъ живо почувствовалъ и смерть незнакомаго мальчика, и эту ночь, и эту тоску одиночества и мрака, и уединеніе въ этомъ мѣстѣ, обвѣянномъ грустью недавней смерти... И тоскливое паденіе дождевыхъ капель, и стонъ и завываніе вѣтра, и болѣзненную дрожь чахоточныхъ деревьевъ... И страшную тоску одиночества бѣдной дѣвочки и суроваго отца. И ея любовь къ этому сухому, жесткому человѣку, и его страшное равнодушіе...

Дверь въ кабинетъ отворена... не болѣе, чѣмъ на ширину голоса, но все же отворена... а всегда онъ запирался. Дочь съ замирающимъ сердцемъ подходитъ къ щели. Въ глубинѣ мерцаетъ лампа, бросающая тусклый свѣтъ на окружающіе предметы. Дѣвочка стоитъ у двери. Войти или не войти? Она тихонько отходитъ. Но лучъ свѣта, падающій тонкой нитью

на мраморный полъ, свѣтить для нея лучомъ небесной надежды. Она вернулась, почти не зная, что дѣлаетъ, ухвати- лась руками за половинки пріотворенной двери и... вошла.

Мой братъ зачѣмъ-то вернулся въ комнату, и я едва успѣлъ выйти до его прихода. Я остановился и ждалъ. Возьметъ книгу? И я не узнаю сейчасъ, что будетъ дальше. Что сдѣ- лаетъ этотъ суровый человѣкъ съ бѣдной дѣвочкой, которая идетъ вымалывать у него капли отцовской любви. Оттолкнетъ? Нѣтъ, не можетъ быть. Сердце у меня билось болѣзненно и сильно. Да, не можетъ быть. Нѣтъ на свѣтѣ такихъ жесто- кихъ людей. Наконецъ, вѣдь это-же зависитъ отъ автора, и онъ не рѣшится оттолкнуть бѣдную дѣвочку опять въ одино- чество этой жуткой и страшной ночи... Я чувствовалъ страшную потребность, чтобы она встрѣтила, наконецъ, любовь и ласку. Было бы такъ хорошо... А если?..

Братъ выбѣжалъ въ шанкѣ, и вскорѣ вся его компанія прошла по двору. Они шли куда-то, вѣроятно, надолго, Я кинулся опять въ комнату и схватилъ книгу.

„...Ея отецъ сидѣлъ за столомъ въ углубленіи кабинета и приводилъ въ порядокъ бумаги... Пронзительный вѣтеръ за- вывалъ вокругъ дома... Но ничего не слыхалъ мистеръ Домби. Онъ сидѣлъ, погруженный въ свою думу, и дума эта была тяжеле, чѣмъ легкая поступь робкой дѣвушки. Однако, лицо его обратилось на нее, суровое, мрачное лицо, которому до- горающая лампа сообщила какой-то дикій отпечатокъ. Угрю- мый взглядъ его принялъ вопросительное выраженіе.

„— Папа! Папа! Поговори со мной...“

„Онъ вздрогнулъ и быстро вскочилъ со стула.

„— Что тебѣ надо? Зачѣмъ ты пришла сюда?..“

„Флоренса видѣла: онъ знаетъ—зачѣмъ? Яркими буквами пла- менѣла его мысль на дикомъ лицѣ... Жгучею стрѣлой впи- лась она въ отверженную грудь и вырвала изъ нея протяж- ный замирающій крикъ страшнаго отчаянія.

„Да припомнить это мистеръ Домби въ грядущіе годы. Крикъ его дочери исчезъ и замеръ въ воздухѣ, но не исчез- нетъ и не замретъ въ тайникахъ его души. Да припомнить это мистеръ Домби въ грядущіе годы!..“

Я стоялъ съ книгой въ рукахъ, ошеломленный и потря- санный и этимъ замирающимъ крикомъ дѣвушки, и вспышкой гнѣва и отчаянія самого автора... Зачѣмъ-же, зачѣмъ онъ написалъ это?.. Такое ужасное и такое жестокое. Вѣдь онъ могъ написать иначе... Но нѣтъ. Я почувствовалъ, что онъ не могъ, что было именно такъ, и онъ только видитъ этотъ ужасъ и самъ такъ-же потрясенъ, какъ и я... И вотъ, къ

замирающему крику бѣдной одинокой дѣвочки, присоединяется отчаяніе, боль и гнѣвъ его собственнаго сердца...

И я повторялъ за нимъ съ ненавистью и жаждой мщенія: да, да, да! Онъ припомнить, непремѣнно, непремѣнно припомнить это въ грядущіе годы...

Эта картина сразу освѣтила для меня, точно молнія, всѣ обрывки, такъ безразлично мелькавшіе при поверхностномъ чтеніи. Я съ грустью вспомнилъ, что пропустилъ столько времени... Теперь я рѣшилъ использовать остальное: я жадно читалъ еще часа два, уже не отрываясь до прихода брата... Познакомился съ милой Полли, кормилицей, ласкавшей бѣдную Флоренсу, съ больнымъ мальчикомъ, спрашивавшимъ на берегу, о чемъ говорить море, съ егѳ ранней больной дѣтской мудростью... И даже влюбленный Тутсъ показался мнѣ уже не такимъ болваномъ... Чувствуя, что скоро вернется братъ, я нервно глоталъ страницу за страницей, знакомись ближе съ друзьями и врагами Флоренсы... И на заднемъ фонѣ все время стояла фигура мистера Домби, уже значительная потому, что обреченная ужасному наказанію. Завтра на дорогѣ я прочту о томъ, какъ онъ, наконецъ, „вспомнить въ грядущіе годы“... Вспомнить, но, конечно, будетъ поздно... Такъ и надо!..

Братъ ночью дочитывалъ романъ, и я слышалъ опять, какъ онъ то хохоталъ, то въ порывѣ гнѣва ударялъ по столу кулакомъ...

III.

На утро онъ мнѣ сказалъ:

— На вотъ, снеси. Да смотри у меня: недолго.

— Слушай,—рѣшился я спросить,—надъ чѣмъ ты такъ смѣялся вчера?...

— Ты еще глупъ и все равно,—не поймешь... Ты не знаешь, что такое юморъ... Впрочемъ, прочти вотъ тутъ... Мистеръ Тутсъ объясняется съ Флоренсой, и то и дѣло погружается въ кладезь молчанія...

И онъ опять захохоталъ заразительно и звонко.

— Ну, иди. Я знаю; ты читаешь на улицахъ, и евреи называютъ тебя уже мешигинеръ. При томъ-же тебѣ еще рано читать романы. Ну, да этотъ, если поймешь, можно. Только все-таки, смотри, не ходи долго. Черезъ полчаса быть здѣсь! Смотри, я записываю время...

Братъ былъ для меня большой авторитетъ, но все-же я зналъ твердо, что не вернусь ни черезъ полчаса, ни черезъ часъ. Я не предвидѣлъ только, что въ первый разъ въ жизни устрою нѣчто вродѣ публичнаго скандала...

Привычнымъ шагомъ, но медленно обыкновеннаго отправился я вдоль улицы, весь погруженный въ чтеніе, но тѣмъ не менѣе искусно лавируя по привычкѣ среди встрѣчныхъ. Я останавливался на углахъ, садился на скамейки, гдѣ онѣ были у воротъ, машинально подымался и опять брелъ дальше, уткнувшись въ книгу. Миѣ уже трудно было по-прежнему слѣдить только за дѣйствіемъ по одной ниточкѣ, не оглядываясь по сторонамъ и не останавливаясь на второстепенныхъ лицахъ. Все стало необыкновенно интересно, каждое лицо зажило своею жизнью, каждое движеніе, слово, жестъ врѣзались въ память. Я невольно захохоталъ, когда мудрый капитанъ Бенсби, при посѣщеніи его корабля изящной Флоренсой, спрашиваетъ у капитана Тутля: — Товарищъ, чего хотѣла бы хлебнуть эта дама? — Потомъ разыскалъ объясненіе влюбленнаго Тутса, выпаливающаго залпомъ: здравствуйте, миссъ Домби, здравствуйте. Какъ ваше здововье, миссъ Домби? Я здоровъ, слава Богу, миссъ Домби, а какъ ваше здоровье?..

Послѣ этого, какъ извѣстно, юный джентльменъ сдѣлалъ веселую гримасу, но, находя, что радоваться нечему, испустилъ глубокій вздохъ, а разсудивъ, что печалиться не слѣдовало, сдѣлалъ опять веселую гримасу и наконецъ опустился въ кладезъ молчанія, на самое дно...

Я, какъ и братъ, расхохотался надъ бѣднымъ Тутсомъ, обративъ на себя вниманіе прохожихъ. Оказалось, что проводившіе, руководству котораго я вручалъ свои безпечные шаги на довольно людныхъ улицахъ, привело меня почти къ концу пути. Впереди видѣлась Кіевская улица, гдѣ была бібліотека. А я въ увлеченіи отдѣльными сценами еще далеко не дошелъ до тѣхъ „грядущихъ годовъ“, когда мистеръ Домби долженъ вспомнить свою жестокость къ дочери...

Вѣроятно, еще и теперь недалеко отъ Кіевской улицы, въ Житомирѣ стоитъ церковь св. Пантелеймона (кажется, такъ). Въ то время между какимъ-то выступомъ этой церкви и соседнимъ домомъ было углубленіе, въ родѣ ниши. Увидя этотъ затишный уголокъ, я зашелъ туда, прислонился къ стѣнѣ и... время побѣжало надъ моей головой... Я не замѣчалъ уже ни уличнаго грохота, ни тихаго полета минутъ. Какъ зачарованный, я глоталъ сцену за сценой, безъ надежды дочитать силою до конца и не въ силахъ оторваться. Въ церкви ударили къ вечернѣ. Прохожіе порой останавливались и съ удивленіемъ смотрѣли на меня въ моемъ убѣжищѣ... Ихъ фигуры досадливыми неопредѣленными пятнами рисовались въ полѣ моего зрѣнія, напоминая объ улицѣ. Молодые евреи — народъ живой, юркій и насмѣшливый — кидали ироническія

замѣчанія и о чемъ-то пазойливо спрашивали. Одни проходили, другіе останавливались... Кучка росла.

Одинъ разъ я вздрогнулъ. Мнѣ показалось, что прошелъ братъ торопливой походкой и размахивая тросточкой... „Не можетъ быть“,—утѣшилъ я себя, но всетаки сталъ быстрѣе перелистывать страницы... Вторая женитьба мистера Домби... Гордая Эдиъ... Она любитъ Флоренсу и презираетъ мистера Домби. Вотъ, вотъ, сейчасъ начнется... „Да вспомнить мистеръ Домби...“

Но тутъ мое очарованіе было неожиданно прервано: братъ, успѣвшій сходить въ библіотеку и возвращавшійся оттуда въ недоумѣніи, не найдя меня, обратилъ вниманіе на кучку еврейской молодежи, столпившейся около моего убѣжища. Еще не зналъ предмета ихъ любопытства, онъ протолкался сквозь нихъ и... Братъ былъ вспыльчивъ и считалъ нарушенными свои привилегіи. Поэтому онъ быстро вошелъ въ мой пріютъ и схватилъ книгу. Инстинктивно я старался удержать ее, не выпуская изъ рукъ и не отрывая глазъ... Зрители шумно ликовали, оглашая улицу хохотомъ и криками...

— Дуракъ! Сейчасъ закроютъ библіотеку,—крикнулъ братъ и, выдернувъ книгу, побѣжалъ по улицѣ. Я въ смущеніи и со стыдомъ послѣдовалъ за нимъ, еще весь во власти прочитаннаго, провожаемый гурьбой еврейскихъ мальчишекъ. На послѣднихъ, торопливо переброшенныхъ страницахъ передо мной мелькнула идиллическая картина: Флоренса замужемъ. У нея мальчикъ и дѣвочка, и... какой-то сѣдой старикъ гуляетъ съ дѣтьми и смотритъ на внучку съ нѣжностью и печалью...

— Неужели... они помирились? — спросилъ я у брата, котораго встрѣтилъ на обратномъ пути изъ библіотеки довольнаго, что еще успѣлъ взять новый романъ и, значить, остался безъ чтенія въ праздничный день. Онъ былъ отходчивъ и уже только смѣялся надо мной.

— Теперь ты уже окончательно мешигинеръ... Приобрѣлъ прочную извѣстность... Ты спрашиваешь: простила-ли Флоренса? Да, да... Простила. У Диккенса всегда кончается торжествомъ добродѣтели и примиреніемъ.

Диккенсъ... Дѣтство неблагоприятно: я не смотрѣлъ фамилію авторовъ книгъ, которыя доставляли мнѣ удовольствіе, но эта фамилія, такая серебристо-звонкая и пріятная, сразу запала мнѣ въ память...

Такъ вотъ, какъ я впервые,—можно сказать на ходу,—познакомился съ Диккенсомъ...

1912 г.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧЪ МИХАЙЛОВСКІЙ.

I.

Въ февраль 1879 года я робко позвонилъ у двери, на которой была прибита карточка съ надписью „Николай Константиновичъ Михайловскій“. Въ рукахъ у меня была рукопись. Черезъ нѣсколько минутъ въ кабинетъ, куда меня привела прислуга, — вышелъ изъ сосѣдней комнаты блондинъ средняго роста, съ буйными русыми волосами и сѣрыми глазами, и у меня что-то стукнуло въ груди... „Онь!“

Я уже года четыре интересовался статьями Михайловскаго и любилъ ихъ. Еще студентомъ петровской академіи я прочелъ одну изъ нихъ и сразу былъ захваченъ: то настроеніе, романтическое, смутное, которое бродило среди молодежи и звало наше поколѣніе къ народу, — находило здѣсь глубокое реально-научное обоснованіе. И то обстоятельство, что Михайловскій перемѣшивалъ изложеніе своей теоріи съ постоянными экскурсіями публициста въ самую злободневную современность, придавало его статьямъ интересъ особенно захватывающій. Когда приходила новая книжка „Отеч. Записокъ“, я тотчасъ же жадно кидался на нее. Когда академическая читальня закрывалась, было въ обычаѣ давать желающимъ новыя книги журналовъ съ условіемъ, что на слѣдующій день, ко времени открытія читальни, книжка уже будетъ на столѣ. Я бралъ книгу, уходилъ съ нею куда-нибудь въ паркъ, въ укромную аллею надъ прудомъ и совершенно забывался за чтеніемъ Успенскаго, Щедрина, Михайловскаго. Чтобы не терять ни одной минуты, я читалъ на ходу, проходя аллеями парка или по плотинѣ, ведущей на Выселки, а иногда и по дорогѣ въ Москву. И теперь, когда я порой перечитываю

нѣкоторыя страницы сочиненій Михайловскаго, на меня по-
вѣтъ вдругъ молодыми годами; я точно слышу шорохъ де-
ревьевъ въ паркѣ и переживаю поэзію молодой формирующей
мысли.

Михайловскому часто дѣлались упреки, что его изложеніе
для научныхъ трудовъ слишкомъ разбросано, пересыпано от-
ступленіями и эпизодическими экскурсіями публициста, а для
публицистики—слишкомъ научно. Но въ условіяхъ того вре-
мени именно этотъ научно-публицистическій приѣмъ захваты-
валъ, увлекалъ, давалъ особенное удовлетвореніе. Серьезная
и живая мысль, вооруженная большой эрудиціей, спускалась
въ среду взволнованныхъ будней, трудно доступныхъ обсу-
жденію. Идея появлялась, начинала опредѣляться и вдругъ
какъ будто исчезала въ горячей свалкѣ современности. Ка-
залось, что ученый, вовлеченный въ эту свалку, совершенно
отвлёкся отъ развитія своей мысли, всецѣло отдавшись поле-
мическимъ схваткамъ и борьбѣ минуты. Но—опять новая
страничка, порой даже нѣсколько новыхъ строкъ—и вся эта
пестрая суতোлка освѣщается, какъ зыбь подъ лучомъ ре-
флектора. И каждая частная деталь получаетъ свое мѣсто и
свое значеніе. И оказывается, что случайное на первый
взглядъ—не случайно для Михайловскаго, что выхваченные
изъ жизни частные эпизоды для него только вѣхи, указываю-
щія путь его мысли среди спутанныхъ явленій современности.
Помню однажды, читая, кажется, главы „Записокъ профана“,
я такъ былъ захваченъ этимъ неуклоннымъ развитіемъ мысли,
идущей своимъ путемъ среди пестрыхъ, живыхъ, волнующихъ
впечатлѣній дня, что, присѣвъ на минутку у дороги на кучу
щебня, дочиталъ статью до конца, не замѣчая, какъ спу-
скаются сумерки. Когда я рассказывалъ товарищамъ, что вы-
читалъ у Михайловскаго, они сначала не вѣрили, что все это,
волновавшее насъ запретными для того времени стремленіями,
можно такъ опредѣленно проводить въ журналѣ подъ стро-
гимъ наблюденіемъ цензуры.

Щедринъ избрѣлъ для этого свой особенный эзоповскій
языкъ и приучилъ къ нему читателя. Приѣмъ Михайловскаго
былъ другой. Онъ очень умѣренно пользовался тѣми услов-
ными выраженіями, въ которыя рядилась тогда протестующая
русская мысль. Каждая отдѣльная фраза, каждая глава
имѣла свою простую и ясную законченность. Но въ опас-
ныхъ мѣстахъ основная мысль прерывалась. Михайловскій
заговаривалъ о новомъ предметѣ, громоздилъ одну деталь на
другую, схватывался съ новымъ противникомъ, въ новомъ
какъ - будто поединкѣ. „Опасное“ исчезало. Вниманіе,

читателя по обязанности сбивалось съ пути. Но мысль читателя-друга, настроенная сочувственно на тѣ же запросы, не переставала ловить основной мотивъ пестраго хора,—который въ концѣ концовъ проявился вновь и связывалъ всю эту пестроту. Оказывалось, что все это были не случайные сепаратные поединки, а строго выдержанный планъ кампаніи.

II.

Теперь этотъ человѣкъ стоялъ передо мною. Онъ, конечно, и не подозрѣвалъ, что для меня въ эту минуту была важна не та рукопись, которую я принесъ, и не объясненія по ей поводу. Я сознавалъ, нѣтъ, и ощущалъ всею существомъ, что человѣкъ, такъ властно двинувшій мою молодую мысль, стоитъ вотъ тутъ, въ нѣсколькихъ шагахъ, что между нами есть односторонняя связь, которую я ощущаю съ необыкновенною силой, а онъ едва ли о ней догадывался. Тамъ, въ студенческой читальнѣ, въ накуренной комнаткѣ студенческихъ номеровъ, въ укромномъ уголкѣ парка, надъ прудами, на грудѣ придорожнаго щебня,—онъ былъ мой. Я слѣдилъ за ходомъ его мысли, разгадывалъ ее, проникалъ въ ея глубину, порой возражалъ, сдавался, увлекался, убѣждаемый и побужденный.

Здѣсь передо мной стоялъ человѣкъ средняго роста, изящный, какъ будто холодновато-дѣловой и спрашивалъ:

— Что вамъ угодно?

Я довольно робко объяснилъ, что принесъ рассказъ, и, зная, что онъ участвуетъ въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“, прошу прочитать его.

Когда я подымался сюда въ четвертый этажъ, передо мной взошла на лѣстницу очень красивая дама и позвонила у той же двери. Я догадался, что это жена Николая Константиновича, что имъ, вѣроятно, время завтракать, что для него эта минута не можетъ имѣть и тысячной доли того значенія, какое имѣетъ для меня,—и очень сконфузился.

Между тѣмъ, Михайловскій просто и вѣжливо, взявъ у меня рукопись и посмотрѣвъ заглавіе, сказалъ:

— Беллетристика? Собственно говори,—это надо было отдать въ редакцію. Беллетристику читають Щедринъ и Плещеевъ.

Я сконфузился еще больше.

— Въ такомъ случаѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ. Я прочту,—торопливо прибавилъ онъ;—только не дамъ окончательнаго отвѣта. То-есть дамъ отвѣтъ, если рукопись окажется явно негодной. Если же я признаю ее возможной, тогда передамъ въ редакцію.

И откланялся, Михайловскій вѣжливо проводилъ меня до своей маленькой, тѣсной передней и, слегка облокотись плечомъ о косякъ двори, ждалъ, пока я, путаясь въ рукавахъ, надѣваль пальто.

— Простите, пожалуйста, — сказалъ я, одѣвшись, — что я доставилъ вамъ излишнее затрудненіе.

— Нѣтъ, что-жь, — сказалъ онъ все такъ-же вѣжливо. — Это мой обязанность...

И вышелъ.

III.

Квартира Михайловскаго была, кажется, въ Озерномъ. Я жилъ близко, на Пескахъ, но пошелъ въ противоположную сторону, чтобы разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ. Такой ли онъ, какимъ я ждалъ его увидѣть, или не такой?

Я ждалъ не такого, но и этотъ глубоко захватилъ мое воображеніе...

Лучшій портретъ Михайловскаго написанъ любящей кистью одного изъ его друзей, Николай Александровича Ярошенко. Таланту художника помогла, очевидно, благодарная натура, и портретъ вышелъ не только лучшимъ портретомъ Михайловскаго, но и однимъ изъ самыхъ лучшихъ произведеній покойнаго Ярошенка.

Михайловскій у него изображенъ во весь ростъ стоящимъ. Въ рукѣ онъ держитъ папиросу. Лицо спокойно, и во всей фигурѣ разлито характерное для Михайловскаго выраженіе отчетливаго, стройнаго и на первый взглядъ холоднаго изящества. Волосы и борода сѣдые, и мнѣ кажется, что, поздѣвъ, Михайловскій сталъ много красивѣе.

Въ то время, когда я его увидѣлъ впервые, онъ былъ блондинъ и особенное вниманіе привлекали его глаза. Я помню, когда-то А. С. Суворинъ одно изъ своихъ „маленькихъ писемъ“ посвятилъ описанію своей встрѣчи съ Михайловскимъ на какой-то выставкѣ. Встрѣча была случайная и мимолетная. Они даже не разговаривали. Михайловскій стоялъ и смотрѣлъ на картину, а Суворинъ почему-то счелъ нужнымъ остановиться на выраженіи его глазъ. „Что въ нихъ? Очень много или ничего?“ Письмо Суворина произвело на меня странное впечатлѣніе. Неизвѣстно, зачѣмъ написанное, оно не сообщало ничего, кромѣ факта: видѣлъ Михайловскаго; глаза у него странные. Было очевидно одно: экспансивный и нервный Суворинъ испыталъ въ ту минуту безотчетное безпокойство и не могъ отдѣлаться отъ этого впечатлѣнія, пока не выложилъ

его на бумагу. Но впечатлѣніе было безформенно и сказать по его поводу Суворину было нечего.

Помню, что и на меня въ первую минуту глаза Михайловскаго произвели тоже особенное впечатлѣніе. На вопросъ Суворина: „много въ нихъ или ничего?“—я бы отвѣтилъ безъ колебаній: въ нихъ очень много. Въ нихъ отражается вся глубина мысли, которая такъ заманчива въ его сочиненіяхъ, и угадывается еще что-то—теплѣе и привлекательнѣе одной мысли. Но это послѣднее какъ будто занавѣшено. Этотъ человѣкъ не легко допустить посторонняго въ свое святая святыхъ, даже только въ его преддверіе.

Впослѣдствіи, когда я сблизился съ Михайловскимъ такимъ, какъ онъ изображенъ на портретѣ Ярошенка, т. е. уже съ сильно посѣдѣвшими волосами,—для меня эта особенность его взгляда потерялась. Оттого-ли, что сѣрые глаза болѣе гармонировали съ сѣдиной, или оттого, что передо мной онъ приподнял завѣсу сдержанности, но только я ее больше уже не чувствовалъ.

Чтобы закончить о рукописи, съ которой я явился къ Михайловскому, скажу, что она такъ и не попала въ „Отеч. Записки“. Михайловскій, когда я пришелъ къ нему за отвѣтомъ,—встрѣтилъ меня почти такъ-же сдержанно, но въ его глазахъ мелькнуло что-то вродѣ интереса къ начинающему писателю.

— Я передалъ вашу рукопись въ редакцію. Теперь узнаете о ней уже отъ Щедрина или Плещеева. Сходить надо въ такой-то день и часъ, въ редакцію, уголь Литейнаго и Бассейной...

Отвѣтъ меня обрадовалъ: значить, онъ призналъ рукопись не бесспорно плохой... Но больше онъ не сказалъ ничего и съ той-же холодноватой вѣжливостью смотрѣлъ опять, какъ я надѣваю пальто.

Когда въ назначенный день я пришелъ въ редакцію „Отечеств. Записокъ“, то засталъ тамъ цѣлое собраніе. Въ большой комнатѣ сидѣли сотрудники... Среди нихъ я, очень смущенный, узналъ только своего знакомаго, Котелянскаго, рано умершаго талантливаго писателя... Щедринъ, стоя посрединѣ, говорилъ что-то суровымъ, лающимъ голосомъ. Лицо его тоже было сурово, но отъ того, что онъ говорилъ, сотрудники только смѣялись. Когда я смущенно топтался въ передней, за мной вошелъ Михайловскій. Онъ сразу узналъ меня и, взявъ за руку, подвелъ къ Щедрину.

— Это вотъ авторъ того разсказа...—сказалъ онъ.

— А!—Щедринъ повернулся ко мнѣ и пошелъ въ маленькую комнатку черезъ переднюю...

— Рукопись не будет напечатана, — говорилъ онъ на ходу, — Алексѣй Николаевичъ, — вотъ. Надо вернуть...

И робко попросилъ хотя бы короткаго отзыва.

— Видите... Оно бы и ничего... Да зелено... зелено очень... Алексѣй Николаевичъ...

Въ это время въ переднюю вошла старушка, маленькаго роста, одѣтая нѣсколько странно, по модѣ, вѣроятно, 40-хъ годовъ, кажется, даже въ криолинѣ... Оказалось, что это Заюнчковская, извѣстная въ то время писательница, подписывавшая свои статьи Крестовскій-псевдонимъ. Она только недавно пріѣхала изъ провинціи. Вся редакція кинулась навстрѣчу старушкѣ, и Щедринъ тоже ушелъ, кинувъ мнѣ на ходу:

— Да вотъ. Зелено еще, зелено. Алексѣй Николаевичъ, отдайте...

Плещевъ отдалъ мнѣ рукопись. Я былъ огорченъ и сконфуженъ.

„Но все-таки Михайловскій не призналъ мой рассказъ условно плохимъ“, — утѣшалъ я себя, печально плетясь по Бассейной. И мнѣ пріятно было вспомнить, какъ просто онъ взялъ меня, растерявшагося, за руку и подвелъ къ Щедрину.

IV.

Въ тотъ же годъ, или годомъ ранѣе, мнѣ пришлось побывать въ читальнѣ медико-хирургической академіи. Большая куча студентовъ стояла передъ какимъ-то объявленіемъ; его прочитывали, отходили, подходили другіе и нѣсколько разъ я услышалъ фамилію Михайловскаго.

Я заинтересовался и тоже подошелъ къ объявленію. Это было обращеніе отъ имени распорядителей предстоящаго студенческаго вечера. Помнится, студенческіе вечера возобновлялись, послѣ нѣкотораго перерыва, и обращали на себя сочувственное вниманіе общества. Теперь распорядители вечера объявляли о сходкѣ: два товарища, развозившіе почетные билеты, жаловались, что писатель Михайловскій оскорбилъ ихъ, когда они явились къ нему съ билетомъ. Наканунѣ въ газетахъ писали, что такіе билеты были поднесены двумъ виднымъ желѣзнодорожникамъ и что оба „пожертвовали“ за нихъ по 100 рублей. Когда студенты пришли къ Михайловскому, то онъ „принялъ ихъ странно“, и теперь они намѣрены отдать этотъ инцидентъ на судъ товарищей.

Сходка состоялась черезъ полчаса. Оскорбленные, стоя на столѣ, изложили свою жалобу. Она была очень неопредѣленна. Собственно ничего прямо оскорбительнаго имъ Ми-

хайловскій не сказалъ. Онъ только „держался холодно“, спросилъ, сколько онъ долженъ за билетъ и, когда они отвѣтили, что „билетъ почетный“, то онъ сказалъ:

— Но вѣдь вы принимаете деньги и за почетные билеты.— Онъ намекалъ, очевидно, на билеты Кокореву и Полякову...

— Оскорбленіе, оскорбленіе! — закричало нѣсколько молодыхъ голосовъ, но на столѣ первыхъ ораторовъ смѣнились серьезный молодой человекъ, который сказалъ, что, по его мнѣнію, слѣдуетъ обсудить не вопросъ о поведеніи писателя, котораго мы любимъ и уважаемъ, а вопросъ о томъ, что такое наши почетные билеты.

Молодежь шумѣла. Допрашивали опять депутатовъ, но тѣ по-прежнему не могли опредѣлить, въ чемъ именно состояло оскорбленіе; они только чувствовали какую-то обиду въ манерѣ обращенія Михайловскаго...

Мнѣ вспомнился этотъ эпизодъ, когда я шелъ отъ Михайловскаго. Я ясно представлялъ себѣ этихъ юношей въ его кабинетѣ и то, какъ онъ вышелъ къ нимъ замкнутый, изящный, съ этой своей сдержанностью и холодокомъ. Они, конечно, шли къ нему съ тѣмъ-же восторженнымъ чувствомъ, какъ и я, и, вѣроятно, съ тѣмъ же смутнымъ признаніемъ своего права на его личность. Здѣсь они, вѣроятно, ждали особенно теплой, значительной и симпатичной встрѣчи. Они молодежь, студенты. Они его читаютъ и любятъ. Онъ тоже долженъ любить ихъ. Между тѣмъ всюду, въ томъ числѣ у крупныхъ желѣзнодорожниковъ, ихъ принимали такъ заискивающе ласково. А здѣсь — вѣжливый холодокъ, занавѣшенный взглядъ и дѣловой вопросъ, при которомъ какъ-то безъ удовольствія, даже съ отбѣнкомъ сомнѣній припоминаются кокоревская и поляковская сторублевки.

Инцидентъ остался неразрѣшеннымъ. Михайловскому никакого порицанія не выразили, хотя и вопроса о томъ, что такое „почетный билетъ“, тоже не рѣшили. Молодежь все-таки инстинктивно поняла, что въ сдержанной суровости Михайловскаго было больше уваженія, чѣмъ въ либеральной „ласковости“ многихъ „друзей молодежи“.

Впоследствии много разъ Михайловскій не отступалъ и передъ болѣе рѣзкими конфликтами, когда ему казалось, что молодежь не права. Какъ-то, уже въ „марксистскій періодъ“, довольно значительная группа молодежи заявила желаніе участвовать „явочнымъ порядкомъ“ на одномъ литературномъ банкетѣ. Была такая полоса: молодежь какъ бы упраздняла значеніе денежныхъ знаковъ въ извѣстной области: она брала

приступомъ литературные вечера Фонда, занимала проходы, садилась чуть не на колѣни публики, ломилась въ чужія ложи на спектакляхъ съ участіемъ Шалапина. П. И. Вейнбергъ въ такихъ случаяхъ выходилъ изъ себя, распорядители терялись и деликатничали, вмѣшивалась полиція. Тоже было и теперь, пока не вышелъ Михайловскій и рѣзко, категорически не заявилъ молодымъ людямъ, что ихъ требованіе нецѣлѣбно. Нѣкоторые юноши опять обидѣлись и изъ взволнованной и самоувѣренной кучки вырвалось нѣсколько рѣзкостей. Но большинство быстро подчинилось...

Еще одинъ эпизодъ этого рода, который, вѣроятно, помнятъ многіе. Это было въ разгаръ боевого марксизма съ его молодой и самоувѣренной заносчивостью. Имена гг. Струве и Туганъ-Барановскаго произносились, какъ имена „вождей молодого поколѣнія“, смѣнившихъ „идеологовъ народничества“. Увлеченія доходили до того, что въ одной провинціальной газетѣ молодые сотрудники-марксисты договорились до отрицанія школы въ деревняхъ (такъ какъ это значитъ вооружать мелкую буржуазію въ ея борьбѣ съ пролетаріатомъ). На страницахъ журналовъ велась рѣзкая полемика и въ центрѣ ея стоялъ Михайловскій, котораго, однако, та-же молодежь встрѣчала всякій разъ, когда онъ выступалъ публично, восторженными рукоплесканіями.

Это показалось, наконецъ, несообразностью нѣкоторымъ вожакамъ марксизма изъ студенческой среды. Они рѣшили „дерзнуть“ (этотъ лозунгъ и тогда уже пользовался популярностью) и рѣзкой демонстраціей выяснить положеніе. Для этого нужно было на вечерѣ въ память пѣвца крестьянства, Некрасова, освистать „идеолога народничества“ Михайловскаго. Это предпріятіе стало извѣстно въ литературной средѣ и среди обычныхъ посѣтителей вечеровъ Литературнаго Фонда. Друзья Михайловскаго шли на вечеръ съ нѣкоторой тревогой и съ намѣреніемъ оказать противодѣйствіе враждебной демонстраціи. Въ этомъ, однако, не оказалось никакой надобности. Когда онъ появился на эстрадѣ, спокойный, съ красивой сѣдиной и серьезнымъ взглядомъ, именно такой, какимъ его изобразилъ Ярошенко, и едва успѣлъ сказать нѣсколько совѣмъ не эффектныхъ словъ о народномъ поэтѣ — внезапный порывъ охватилъ юныхъ заговорщиковъ съ такой силой, что предполагаемое „дерзновеніе“ обратилось въ небывалую овацію.

Одна моя знакомая, сидѣвшая въ томъ мѣстѣ, гдѣ, недалеко отъ кафедры, густо столпились студенческіе мундиры, рассказывала характерную сцену. Одинъ изъ организаторовъ

предполагавшейся демонстраціи, увидѣвъ ея неожиданный оборотъ, кинулся къ этой толгѣ.

— Что вы дѣлаете? Вы, марксисты, аплодируете Михайловскому? Вы забыли, что было условлено!

Но „марксисты“ только отмахивались и съ сверкающими глазами, съ лицами, на которыхъ виднѣлось неодолимое увлеченіе и восторгъ, продолжали неистово аплодировать.

— Нѣтъ, братъ, это совершенно невозможно, — отвѣтилъ одинъ изъ нихъ организатору, когда, наконецъ, вызовы кончились и Михайловскій сошелъ съ эстрады.

Дерзновенное предпріятіе было оставлено навсегда, а во время юбилея Михайловскаго „марксисты“ прислали своихъ представителей, чтобы выразить глубокое уваженіе суровому, порой гнѣвному противнику. Молодежь часто не обнаруживаетъ достаточно чуткости, и ея восторги легко добываются прозрачной, подчасъ даже грубой лестью ея настроенію и ея взглядамъ. Въ описанномъ случаѣ она отдавала дань восторга человѣку, который никогда, за всю свою жизнь ни одной нотой голоса, ни одной напечатанной строчкой не пытался нарочито привлечь или удержать ея расположеніе. У него не было соответствующихъ выраженій въ лицѣ, не было и такихъ нотъ въ недостаточно гибкомъ голосѣ. У него были только тѣ ноты, которыми превосходно выражается суровая правда жизни и пафосъ неустающей возвышенной мысли. Всѣ находятъ и долго еще будутъ находить эти ноты въ его сочиненіяхъ. Немногимъ довелось слышать ихъ въ живомъ словѣ. Но тѣ, передъ кѣмъ приподымалась завѣса его сдержанности, кто могъ взглянуть въ эту душу въ минуты, когда она раскрывалась цѣликомъ съ ея строгой мыслью и съ ея пламеннымъ пафосомъ, — для тѣхъ никогда не изгладится впечатлѣніе общенія съ этимъ необыкновеннымъ человѣкомъ.

Одинъ изъ его бывшихъ соратниковъ и товарищей, М. А. Протопоповъ, въ замѣткѣ, написанной далеко не дружеской рукой и не съ теплымъ чувствомъ, даетъ, однако, одну отлично подмѣченную черту для его портрета. „Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, — пишетъ г. Протопоповъ, — мы шли однажды по Невскому въ предобѣденное время и весело разговаривали. Вдругъ лицо Михайловскаго приняло такое ледяное выраженіе, какъ я ни у кого не наблюдалъ раньше, и я увидѣлъ, что онъ слегка приподнял шляпу въ отвѣтъ на вѣжливый поклонъ какого-то вполне приличнаго господина. — „Кто это?“ — полюбопытствовалъ я. — „Это Р.“, — неохотно отвѣтилъ Михайловскій, называя фамилію лица, имѣвшаго тогда

для „Отечественныхъ Записокъ“ очень существенное официальное значеніе“.

„Мнѣ,—прибавляетъ г. Протопоповъ,—въ эту минуту было очень пріятно за Михайловскаго и даже вообще за свою братью литераторовъ“.

И это, конечно, оттого, что г. Протопопову привелось во времена униженія русскихъ людей вообще, и русской литературы въ особенности, увидѣть русскаго человѣка и русскаго писателя неподдѣльно и цѣлостно свободнаго. Михайловскій недаромъ писалъ не только о совѣсти, но и о чести, которую считалъ обязательнымъ атрибутомъ личности. Самъ онъ былъ олицетвореніемъ личнаго достоинства, и его видимая холодность была своего рода броней, которая служила ему защитой съ разныхъ сторонъ. „Въ Михайловскомъ,—пишетъ тотъ-же г. Протопоповъ,—не было вовсе той расейской распушенности, которая выражается и въ пустякахъ, какъ неряшливая небрежность костюма и амикошонская фамильярность манеръ, и въ серьезныхъ дѣлахъ,—какъ отсутствіе регулярности въ трудѣ, умѣренности въ привычкахъ и т. д. Онъ въ высокой степени богатъ былъ самообладаніемъ, и я, за все наше болѣе чѣмъ четверть-вѣковое знакомство, не могу представить ни одного случая, когда бы это самообладаніе вполнѣ его оставило“. Да, именно такимъ является Михайловскій при первомъ знакомствѣ. Такимъ глядитъ онъ съ портрета Н. А. Ярошенка, такимъ для многихъ оставался всю жизнь. И только тѣ, передъ которыми онъ приподымалъ завѣсу, скрывавшую глубину его интимной личности, знали, сколько за этой суровой вѣдностью скрывалось теплоты и мягкости и какое въ этой суровой душѣ пылало яркое пламя...

V.

Теперь, когда давно смолкли горяче отголоски его борьбы съ марксизмомъ,—можно видѣть, насколько этотъ горячій и разносторонній умъ былъ шире и выше той арены, на которой происходили эти схватки. Въ другой разъ я, быть можетъ, попытаюсь также показать, насколько выше и шире онъ былъ и того, что въ то время конкретно называлось „народничествомъ“. Не надо забывать, что стремительная атака марксизма застигла его какъ разъ въ ту минуту, когда онъ начиналъ, вѣрнѣе, продолжалъ, борьбу à outrance съ нѣкоторыми очень распространенными теченіями въ самомъ народничествѣ. И если онъ не довелъ ее до логическаго конца, то лишь потому, что долженъ былъ повернуть фронтъ къ другому противнику.

Онъ не создавалъ себѣ кумира ни изъ деревни, ни изъ мистическихъ особенностей русскаго народнаго духа. Въ одномъ спорѣ, приведя мнѣніе противника, что, если намъ суждено услышать настоящее слово, то его скажутъ только *люди деревни* и никто другой,—онъ говоритъ: если вы хотите ждать, что скажутъ вамъ люди деревни, такъ и ждите, а я и здѣсь остаюсь „профаномъ“. „У меня на столѣ стоитъ бюстъ Бѣлинскаго, который мнѣ очень дорогъ, вотъ шкафъ съ книгами, за которыми я провелъ много ночей. Если въ мою комнату вломится „русская жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями“ и разобьетъ бюстъ Бѣлинскаго и сожжетъ мои книги,—я не покорюсь и людямъ деревни. Я буду драться, если у меня, разумѣется, не будутъ связаны руки. И если бы даже меня осѣнили духъ величайшей кротости и самоотверженія, я всетаки сказалъ бы по меньшей мѣрѣ: прости имъ, Боже Истины и Справедливости, они не знаютъ, что творять! Я всетаки, значитъ, протестовалъ бы. Я и самъ сумѣю разбить бюстъ Бѣлинскаго и сжечь свои книги, если когда-нибудь дойду до мысли, что ихъ надо бить и жечь. Но пока они мнѣ дороги, я ни для кого ими не поступлюсь. И не только не поступлюсь, а всю душу свою положу на то, чтобы дорогое для меня стало и другимъ дорого, вопреки, если случится, ихъ „бытовымъ особенностямъ“ *).

Михайловскій не часто употреблялъ имя Божіе и былъ особенно сдержанъ въ терминологіи этого рода, которая теперь въ такомъ, можно сказать, излишнемъ ходу. Но здѣсь она совершенно уместна. Въ этой тирадѣ, исполненной глубокаго чувства, которое такъ рѣдко прорывалось у этого человѣка и которое, однако, освѣщало и грѣло все, что онъ писалъ, — слышится истинное религиозное одушевленіе, а его кабинетъ съ бюстомъ Бѣлинскаго и его книгами былъ, дѣйствительно, его храмомъ. Въ этомъ храмѣ суровый человѣкъ, не признававшій никакихъ классовыхъ кумировъ, преклонялся лишь передъ живой мыслью, искавшей *правды*, т. е. познанія истины и осуществленія справедливости человѣческихъ отношеній.

1914.

*) Подъ „бытовыми особенностями“ въ данной полемикѣ разумѣлся между прочимъ укладъ деревенской жизни, община и т. д.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТЪ.

(Памяти Николая Федоровича Анненскаго).

I.

15 декабря 1891 года я явился въ засѣданіе нижегородской продовольственной комиссіи и занялъ мѣсто за корреспондентскимъ столикомъ. Одинъ изъ губернаторскихъ чиновниковъ, человѣкъ простодушный и въ общемъ довольно доброжелательный, наклонился ко мнѣ и сказалъ:

— Хорошо, что вы пришли. Сегодня будетъ интересно.

— А что именно?—спросилъ я.

— Обтяжновъ будетъ нападать на статистику.

Я улыбнулся и долженъ былъ согласиться, что зрѣлище дѣйствительно можетъ быть довольно любопытное.

Съ 1887 года Н. Ф. Анненскій стоялъ во главѣ нижегородскаго статистическаго бюро, и памятный голодъ 1891—1892 года засталъ его въ этой роли.

Многіе признаки указывали приближеніе громаднaго бѣдствія, и губернское земство было прекрасно освѣдомлено о немъ. Текущая статистика уже была организована, и опросные листки, рассылаемые въ большомъ количествѣ земскимъ корреспондентамъ, возвращались въ бюро съ печальными извѣстіями. Писали священники, волостные писаря, грамотные крестьяне. Все это былъ матеріалъ вполне достовѣрный, и онъ прекрасно отражалъ тревогу, охватившую населеніе.

Оставалось только свести его въ одну картину.

Когда выяснилось, какіе уѣзды болѣе всего пострадали отъ неурожая, земская управа снарядила въ эти уѣзды еще особую статистическую экспедицію для спеціальнаго обслѣдованія размѣровъ нужды и необходимой помощи. Работа статистиковъ пошла горячо, спѣшно, и вскорѣ статистическое бюро выпустило брошюру: „Урожай 1890 года“, въ которой была дана полная картина надвигающагося на губернію бѣдствія.

Подсчетъ пособія, которое губернскае земство въ экстренномъ собраніи считало нужнымъ просить у казны для помощи населенію, далъ огромную цифру въ 11¹/₂ милліоновъ рублей.

Правительство оказалось застигнутымъ врасплохъ. Оно пыталось образумить земцевъ и сократить неумѣренные требованія. Съ этой цѣлью въ приволжскія губерніи былъ командированъ директоръ департамента Вишняковъ. Онъ преподавалъ на мѣстахъ уроки умѣренности и снабжалъ губернаторовъ соответствующими инструкціями. Нѣкоторые земства оказались податливыми. Нижегородское, обладавшее точными и прекрасно разработанными данными, упорно стояло на первоначальной цифрѣ, и пошатнуть ее чисто бюрократическими аргументами было трудно.

Между тѣмъ, зима надвигалась. Земство настойчиво предъявляло свои „ходатайства“, указывая, что время терять нельзя.

Губернаторомъ въ Нижнемъ былъ весьма извѣстный въ свое время генералъ Н. М. Барановъ.

Это былъ человекъ блестящій, не глубокій, но энергичный, дѣятельный, рѣшительный, готовый на всякій рискъ, если это могло обратить на него вниманіе, настоящій игрокъ по натурѣ, сдѣлавшій ставкой карьеру. Онъ живо чувствовалъ, что времена наступаютъ переменчивыя, что самодержавіе дало трещины, и почва подъ „существующимъ строемъ“ колеблется. Нетерпѣливый и нервный, онъ предвидѣлъ, что въ такія времена для людей даровитыхъ и умѣющихъ рисковать предстоятъ интересные шансы, и готовился. Предчувствіе его въ общемъ было вѣрно. Онъ ошибся только въ срокъ, и уже заранѣе съ циничной наивностью велъ игру на два фронта. Въ качествѣ петербургскаго градоначальника организовалъ пресловутый „парламентъ“ изъ домовладѣльцевъ въ цѣляхъ полицейскаго сыска. Въ качествѣ архангельскаго губернатора созвалъ „совѣщаніе для оживленія сѣвернаго края“, произносилъ эффектные рѣчи, которыя подхватывались газетами, повторявшимися на разные лады имя „либеральнаго“ губернатора...

При первыхъ признакахъ голода, о которомъ заявило васьинское дворянство, Барановъ ударилъ въ набатъ. Это было смѣло и оригинально: дворянство, недавно призванное свѣше къ заботамъ о населеніи, и попечительная администрація заявляли о голодѣ ранѣе земства. Зато это былъ голодъ довольно удобный. По ходатайству ген. Баранова въ распоряженіе вѣдателя и земскихъ начальниковъ выдано пособие въ триста тысячъ рублей, которое распределено совершенно бессмысленно, безъ всякаго участія земства. Предполагалось,

что уже сдѣлано все, что нужно. Когда же губернское земство не такъ торопливо, но съ чрезвычайной основательностію, нарисовало *свою* картину голода и его дѣйствительные размѣры,—то ген. Барановъ испугался и, послѣ поѣздки Вишнякова, пустилъ въ ходъ все свое вліяніе, чтобы сдѣлать земство уступчивѣе и „сократить неумѣренные требованія“.

Соблазнъ всетаки былъ великъ, и блестящій генераль не могъ отказаться отъ организаціи своего рода „голоднаго парламента“. Вскорѣ „нижегородская продовольственная коммиссія“ подь его предсѣдательствомъ загремѣла на всю Россію. Составъ ея былъ чрезвычайно пестрый: губернаторскіе чиновники, видные чиновники другихъ вѣдомствъ, земскіе начальники, предводители дворянства и ихъ кандидаты, мѣстные „общественные дѣятели“, врачи, проѣзжіе корреспонденты, преимущественно изъ „Новаго Времени“, которымъ Барановъ умѣлъ „давать тонъ“. Земство тоже было представлено въ этой коммисіи, хотя и очень скромно. Какъ разъ настолько, чтобы создать фикцію участія губернской управы, которая такимъ образомъ являлась какъ бы частью коммисіи. Предполагалось, что часть поглощается цѣлымъ, и губернская управа является какъ бы исполнительнымъ органомъ коммисіи, въ которой она составляла едва замѣтное по количеству меньшинство. Говорили даже о томъ, что распоряженіе милліонными пособіями перейдетъ изъ рукъ земства въ руки администраціи, т. е. губернатора.

Это была огромная опасность для всего края. Земство противилось. Закипала глухая борьба, въ которой огромная доля моральнаго значенія принадлежала статистикѣ. Она была душой земской голодной кампаніи. Ник. Оед. Анненскій то и дѣло выступалъ въ коммисіи, освѣщая положеніе дѣла съ земской точки зрѣнія, и его ясная, спокойная аргументація, лишенная даже всякаго полемическаго характера, оказывала огромное вліяніе просто въ силу своего удѣльнаго вѣса и полной освѣдомленности.

При такихъ условіяхъ разыгрался памятный лукояновскій эпизодъ, пріобрѣвшій въ свое время всероссійскую извѣстность. Въ дальнемъ концѣ губерніи кучка помѣстныхъ дворянъ и земскихъ начальниковъ вдругъ объявила, что никакого голода нѣтъ, что это все выдумки крамольниковъ, и сразу глухой уѣздъ сталъ какъ бы во главѣ всей крупностнической Россіи. Князь Мешерскій тотчасъ же выступилъ на защиту „вѣрнаго престола лукояновскаго дворянства“.

Положеніе ген. Баранова становилось двусмысленнымъ. Дворянская партія въ Лукояновскомъ уѣздѣ была создана его

незаконной поддержкой на выборах и имѣла основаніе рассчитывать на сочувствіе губернатора, особенно послѣ повѣздки Вишнякова. И дѣйствительно, — вначалѣ всѣ командированные губернаторомъ чиновники привозили свѣдѣнія, что никакого голода нѣтъ, а есть повальное мотовство и пьянство (вполнѣдствіи съ тѣхъ же мѣстъ, а порой тѣ же лица привозили свѣдѣнія прямо противоположныя). Но губернская управа стояла упорно на своемъ. Анненскій противъ голословныхъ утвержденій лукояновскихъ дворянъ приводилъ точныя цифры.

Генераль Барановъ разсыпался передъ Ник. Оедоровичемъ въ комплиментахъ. Вынужденный сибѣшно отвѣчать на частые запросы изъ центра, онъ то и дѣло самъ прибѣгалъ къ цифрамъ земства, за неимѣніемъ своихъ. Но „электрическій генераль“, какъ его часто называли въ газетахъ, нетерпѣливо сносилъ эту невольную зависимость. Земскія цифры оказывались слишкомъ неудобными. Въ нихъ не было нужной гибкости, онѣ ни въ какой мѣрѣ не подчинялись ожиданіямъ правительства и собственные губернаторскіе доклады окрашивали слишкомъ пессимистично. А между тѣмъ аргументація земской управы, поддерживаемая Анненскимъ, явно завоевывала большинство въ комиссіи. Всѣ съ невольной внимательностью прислушивались къ увѣреннымъ, яснымъ рѣчамъ этого серьезнаго, живого и обаятельнаго человѣка...

И вотъ въ корреспонденціяхъ „Новаго Времени“, наряду съ похвалами талантливому нижегородскому администратору, стали появляться саркастическіе отзывы объ отвлеченныхъ пріемахъ „теоретиковъ статистики“. С. Ф. Шараровъ, побывавъ въ Нижнемъ, написалъ необыкновенно вздорную, но по обычаю хлесткую статью, въ которой прославлялъ симбирское земство именно за то, что оно обходится безъ статистики. Не то, что въ Нижнемъ, гдѣ вычисляютъ какіе-то „коэффициенты“ и получаютъ выводы, опровергаемые „людьми практики и жизни“.

Всѣ мы, нижегородцы, отлично понимали, откуда дуетъ этотъ вѣтеръ. Но въ комиссіи дѣла шли по-прежнему, доклады губернской управы проходили безъ возраженій, пока не нашелся, наконецъ, смѣлый человѣкъ, рѣшившійся произвести прямую атаку на самый центръ земскаго моральнаго вліянія.

II.

Когда я, 15 декабря 1891 года, явился въ засѣданіе производственной комиссіи, собраніе уже было открыто. Генераль Барановъ, сухой, нервный, съ голымъ черепомъ и большими выразительными глазами, сидѣлъ въ центрѣ, на пред-

сѣдательскомъ мѣстѣ, въ разстегнутой военной тужуркѣ и бѣломъ жилетѣ. По его лицу было видно, что сегодня онъ чувствуетъ себя особенно въ своей сферѣ: передъ нимъ было многолюдное собраніе, гдѣ ему предстояло говорить интересныя вещи. Ихъ подробно занесутъ въ протоколы и подхватятъ газеты. И кромѣ того онъ чувствовалъ въ своихъ рукахъ всѣ нити, въ томъ числѣ и нити предстоящаго турнира, въ которомъ потерѣть пораженіе могутъ только другіе. Кто бы ни вышелъ побѣдителемъ,—„практика“ въ лицѣ г-на Обтяжнова, или „теорія“ въ лицѣ Н. О. Анненскаго,—онъ найдетъ такія слова и такіе обороты, которые помогутъ ему лично выступить съ блескомъ и честью въ качествѣ арбитра.

Въ другомъ концѣ стола, окруженный нѣсколькими единомышленниками крѣпостническаго толка, сидѣлъ г. Обтяжновъ.

Г. Обтяжновъ, благополучно здравствующій и понынѣ, фигура въ своемъ родѣ колоритная, и имя его еще и теперь мелькаетъ порой на страницахъ газетъ. Въ одномъ изъ первыхъ романовъ П. Д. Воборыкина онъ былъ выведенъ въ роли очень либеральнаго земца. Впослѣдствіи, пройдя разные стадіи попятнаго движенія, онъ сталъ земцемъ очень ретрограднымъ, властнымъ земскимъ начальникомъ и представителемъ „дворянской эры“. Во всѣхъ этихъ роляхъ онъ умѣлъ оставаться на виду и обращать на себя, правда, не всегда лестное вниманіе. Съ рѣзкимъ, громкимъ, нѣсколько скрипучимъ голосомъ, не заботящимся о приличіи и тактѣ, смѣлый даже въ тѣхъ случаяхъ, когда не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о предметѣ, свободный отъ теоретическихъ познаній и „либеральныхъ предразсудковъ“, онъ являлся всегда представителемъ господствующихъ теченій. Въ 70-хъ годахъ насаждалъ земскія школы, въ 80-хъ ратовалъ противъ нихъ и, конечно, былъ непримиримымъ врагомъ земской статистики. Вообще, въ его лицѣ бытовая, стихійная реакція тѣхъ годовъ имѣла яркаго представителя. При всей логической слабости его аргументаціи, настроеніе его было сильно „почвеннымъ“ сочувствіемъ тѣхъ слоевъ, которымъ реформы того времени давали преобладаніе въ мѣстной жизни. Рѣзкій голосъ, извѣстная выразительность рѣчи и чрезвычайная развязность дѣлали его замѣтнымъ ораторомъ въ собраніяхъ всякаго рода. Логически разбить его было не трудно. Но практически онъ оставался побѣдителемъ. Немудрено поэтому, что лукояновское настроеніе видѣло въ немъ своего естественнаго и, казалось, надежнаго выразителя... Губернаторскія сферы тоже, повидимому, возлагали на него нѣкоторыя надежды: въ его лицѣ „практика“, „земля“, „знаніе мѣстныхъ условій“ выступали противъ

неудобныхъ „теорій“ и научнаго изслѣдованія, на которыя опиралось губернское земство.

Николай Федоровичъ Анненскій, повидимому, не зналъ ничего о предстоящемъ нападеніи. Онъ сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ, съ двумя молодыми помощниками, передъ которыми лежали таблицы и вѣдомости,—и съ обычнымъ открыто веселымъ видомъ обмѣнивался черезъ столъ поклонами. Въ повѣсткѣ значился между прочимъ вопросъ о лукояновской смѣтѣ. Статистика заготовила материалы.

— Слово принадлежитъ...

Генералъ Барановъ окинулъ взглядомъ собраніе и любезно кивнулъ въ конецъ праваго стола...

— Владимиру Дмитриевичу Обтяжнову.

Владимиръ Дмитриевичъ подымается, и въ залѣ водворяется внимательное молчаніе.

— Извѣстно, — начинаетъ г. Обтяжновъ, — что въ настоящее время происходитъ крупное разногласіе между губернской управой и мѣстными дѣятелями Лукояновскаго уѣзда. Мѣстные дѣятели, гг. дворяне, связанные непосредственно съ землей, и господа земскіе начальники, призванные Высочайшей волей охранять интересы крестьянскаго населенія, заявляютъ намъ рѣшительно, что въ ихъ уѣздѣ никакого голода нѣтъ. Губернская управа держится другого мнѣнія. Она стремится во что бы то ни стало навязать уѣзду ссуду, которую мужики, разумѣется, пропьютъ за ненадобностью, а впоследствии должны будутъ за нее расплачиваться. Кому же повѣрить губернская продовольственная коммиссія? Господа члены управы живутъ въ губернскомъ городѣ, и ихъ мнѣніе основано на работахъ „господъ статистиковъ“, на какомъ-то специальномъ обслѣдованіи, которое произведено „особой статистической экспедиціей“...

Последнюю фразу г. Обтяжновъ произноситъ съ выраженіемъ саркастическаго пренебреженія и приподнимаетъ за уголокъ „земскую брошюру“.

— Но, господа, мы-то, мѣстные дѣятели, знаемъ секретъ этихъ специальныхъ обслѣдованій. Такъ, напр., мнѣ лично извѣстно, что въ томъ участкѣ, гдѣ я имѣю честь быть земскимъ начальникомъ, тоже побывала знаменитая экспедиція. Какіе-то два молодыхъ человѣка пронеслись съ быстротою бури, останавливаясь лишь на земскихъ станціяхъ. Были они и на такой-то станціи. Здѣсь имъ подали самоваръ, и за стаканомъ чаю они поговорили о томъ, о семъ съ хозяиномъ и ямщиками. Говорили и о пресловутомъ неурожаѣ... Кое-что записали въ свои записныя книжки, dokonчили самоварчикъ,

сѣли... и — слѣдъ простылъ! (въ залѣ легкой смѣхъ). Такъ вотъ-съ, господа, что такое называется „обслѣдованіе экспедиціоннымъ способомъ“. Думаю, что не иначе происходило оно и въ другихъ уѣздахъ (въ разныхъ концахъ зала сочувственный ропотъ, какъ бы готовность подтвержденія)... И вотъ, господа,—рѣзко и громко заканчиваетъ г. Обтяжновъ,—труды этихъ никому изъ насъ невѣдомыхъ молодыхъ людей, совершающихъ на земскія деньги прогулки по уѣздамъ, мы должны предпочесть положительнымъ заявленіямъ уважаемаго лукояновскаго предводителя, всего мѣстнаго дворянства и господъ земскихъ начальниковъ, облеченныхъ особымъ довѣріемъ Монарха и стоящихъ, такъ сказать, у самыхъ корней народной жизни.

Г. Обтяжновъ презрительно кидаетъ на столъ брошюрку и откидывается на спинку своего стула, видимо, взволнованный патетическимъ окончаніемъ собственной рѣчи. Онъ сказалъ все. Онъ сказалъ даже больше того, что заключалось въ словахъ его рѣчи. Статистика была вообще пугаломъ помѣстныхъ дворянъ. Жандармскій генераль то и дѣло строчилъ доносы и вчинялъ дознанія. Молодые люди, такъ небрежно исполняющіе свои прямыя задачи, легко могли при своихъ стремительныхъ разъѣздахъ сѣять опасную смуту...

Въ залѣ значительная сенсація.

— Ну, что скажете? Ловко? — спрашиваетъ меня мой сѣдъ-чиновникъ. Онъ находитъ, что Анненскій, а съ нимъ и земская партія, „приперты къ стѣнѣ“, и многіе въ этомъ залѣ, повидимому, раздѣляютъ его мнѣніе. Одни съ видимымъ торжествомъ, другіе съ грустью...

Николай Ѳедоровичъ Анненскій, очевидно, застигнутый стремительнымъ нападеніемъ врасплохъ, переглядывается съ своими помощниками съ выраженіемъ глубокаго изумленія, которое при добромъ желаніи можно, пожалуй, принять и за выраженіе растерянности. Онъ, видимо, взволнованъ. Выразительное лицо его покрывается краской, и онъ дѣлаетъ движеніе съ намѣреніемъ возражать...

Но его предупреждаетъ предсѣдатель. Генераль Барановъ ласково, съ благожелательной улыбкой киваетъ ему головой и беретъ слово. Онъ явно имѣетъ великодушное намѣреніе, если не защититъ статистику, то смягчитъ для нея послѣдствія сокрушительной атаки и прикрыть отступленіе...

— ... Всѣ мы знаемъ, сколько пользы приноситъ статистика вообще... („Подстилаетъ соломку“, — говоритъ одобрительно мой благодушный сѣдъ)... Во главѣ же нижегородской статистики стоитъ человекъ, котораго мы всѣ уважаемъ... По-

четное имя, которымъ не безъ основанія пользуется „въ научныхъ кругахъ“ Николай Федоровичъ Анненскій... Изъ того, можетъ быть, единичнаго случая, что два молодыхъ человѣка, принадлежавшихъ къ составу отряда, отнеслись къ своей задачѣ (на губахъ генерала играетъ тонкая улыбка) нѣсколько... я бы сказалъ—легко что-ли... никакъ еще не слѣдуетъ, что и всѣ статистическія работы земскаго бюро...—И т. д., и т. д.

— Перейдемъ теперь къ слѣдующему вопросу... Что? Вамъ угодно слово?.. Пожалуйста... Слово принадлежитъ Николаю Федоровичу Анненскому.

Генераль откидывается на спинку стула. Онъ, видимо, считаетъ, что сказалъ уже все, что можно было сказать въ защиту статистики въ трудныхъ для нея обстоятельствахъ, и, кажется, думаетъ, что „уважаемому Николаю Федоровичу“ всего выгоднѣе было бы воспользоваться великодушнымъ прикрытіемъ для почетнаго отступленія... Хотя, конечно, теперь при каждомъ докладѣ Анненскаго, защищающемъ земскую смѣту, надъ собраніемъ будетъ летать юмористическое представленіе о „двухъ молодыхъ людяхъ“, но... что же дѣлать...

Но Анненскій подымается съ очками въ обѣихъ рукахъ, какъ дѣлалъ всегда, когда ему предстояло во время рѣчи приводить цитаты. На лицѣ его еще видны слѣды удивленія, но рѣчь предсѣдателя оказала ему нѣкоторую услугу; онъ успокоился, густая краска гнѣва и негодованія схлынула, и рѣчь свою онъ начинаетъ не только спокойно, но и изысканно вѣжливо.

...Онъ, конечно, очень признателенъ г-ну предсѣдателю за тѣ нѣсколько добрыхъ словъ, которыя ему угодно было сказать по адресу статистики и его лично... Но онъ думаетъ, что ему остается еще добавить кое-что по самому существу вопроса... Онъ не задержитъ долго вниманія почтеннаго собранія... Онъ долженъ сознаться, что его глубоко... изумило, чтобы не сказать болѣе, то обвиненіе, которое выдвинуто господиномъ земскимъ начальникомъ Горбатовскаго уѣзда противъ его младшихъ товарищей и сотрудиновъ...

Онъ спокойно надѣваетъ очки, при чемъ лицо его сразу становится старѣе и серьезнѣе, и беретъ въ руки обвиняемую брошюру...

— Вотъ, господа, та работа спеціальной статистической экспедиціи, о которой только что говорилъ г. Обтяжновъ. Она состоитъ изъ обложки, предисловія и текста. Если бы г-ну Обтяжнову угодно было ознакомиться... Я не говорю уже съ текстомъ работы, которую онъ осудилъ такъ рѣшительно... Нѣтъ... Но если бы онъ заглянулъ нѣсколько далѣе

обложки... Если бы онъ съ должнымъ вниманіемъ прочелъ одно только предисловіе... То вотъ тутъ, на первыхъ же страницахъ, онъ узналъ бы, что обследованіе спеціальной экспедиціи коснулось лишь тѣхъ уѣздовъ, которые на основаніи показаній земскихъ корреспондентовъ... кстати сказать, также мѣстныхъ жителей, какъ и г. Обтяжновъ, — признаны наиболѣе пострадавшими отъ неурожая. Уѣзды эти перечислены и, какъ видите, господа, *Горбатовскій уѣздъ къ нимъ не относится вовсе.*

Анненскій кладетъ брошюру и снимаетъ очки, отчего лицо его опять молодеетъ и освѣщается привычнымъ оживленіемъ.

— Такимъ образомъ, господа, статистическое бюро губернской земской управы вынуждено снять съ себя всякую отвѣтственность за двухъ молодыхъ людей, привлечшихъ на себя вниманіе г. Обтяжнова. Нимало не подозрѣвая точность свѣдѣній г-на земскаго начальника о самоварѣ и о прочемъ, я съ своей стороны смѣю увѣрить только, что онъ ошибается въ одномъ: это, очевидно, не могли быть члены статистической экспедиціи.

Въ залѣ опять раздается смѣхъ, но уже по другому адресу. Нѣсколько человекъ сразу поднимаются въ разныхъ концахъ, но ген. Барановъ спѣшитъ теперь проявить великодушіе къ другой сторонѣ. Скрывъ невольную улыбку на умномъ лицѣ, онъ какъ будто не замѣчаетъ просящихъ слова и быстро, гладко, увѣренно переходитъ къ слѣдующему стоящему на очереди вопросу.

Я взглядываю на своего сосѣда-чиновника. Онъ тоже улыбается, но вмѣстѣ съ тѣмъ опять наклоняется ко мнѣ и говорить:

— Вы думаете, это конецъ? Ну, нѣтъ. Вы не знаете Обтяжнова, — погодите: онъ встанетъ еще... У него есть козырь и посильнѣе...

VI.

Дѣйствительно, въ углу стола, занятомъ г. Обтяжновымъ и его единомышленниками, происходитъ оживленный „обмѣнъ мнѣній“. Г. Обтяжновъ, взволнованный и красный, роется въ брошюркѣ и развертываетъ широкій листъ таблицъ въ приложеніяхъ... Затѣмъ, при первой остановкѣ, онъ нервно поднимается...

— Что? Вамъ опять слово?.. Извольте!

Въ тонѣ умнаго генерала слышна нотка сомнѣнія. По первой-же схваткѣ онъ уже оцѣнилъ позиціи противниковъ. Онъ тоже знаетъ, что въ рукахъ Обтяжнова „есть еще козырь“.

но онъ уже не увѣренъ, что и на этотъ разъ козырь не будетъ бить, какъ и первый.

Г. Обтяжновъ далеку отъ этихъ сомнѣній. Къ тому-же онъ разсерженъ и намѣренъ быть безопаднымъ. Онъ начинаетъ рѣзко и грубовато. Въ голосѣ его теперь особенно слышны скрипучія ноты.

— ...Господинъ Анненскій сдѣлалъ ему упрекъ, что онъ не читалъ брошюры, на которую нападаетъ. Нѣтъ-съ, господа! Онъ ее читалъ и сейчасъ это докажетъ. Вотъ-съ... Здѣсь... на страницѣ такой-то даны свѣдѣнія о двухъ селахъ, расположенныхъ какъ-разъ въ его участкѣ. Эти села — знаменитое Павлово и Богородское... Такъ вотъ, господа, въ таблицѣ на страницѣ такой-то и для Павлова, и для Богородскаго показанъ довольно значительный сборъ хлѣбовъ... Павлово — столько-то пудовъ, Богородское — столько-то... Онъ, г. Обтяжновъ, не знаетъ, кто и какимъ способомъ собиралъ свѣдѣнія объ этихъ селахъ. Но ему, да и всѣмъ жителямъ извѣстно...

Ораторъ съ торжествомъ оглядываетъ собраніе и отчеканиваетъ:

— ...Смѣемъ увѣрить г. Анненскаго и его „молодыхъ сотрудниковъ“, что Павлово силошъ занимается замочнымъ, а Богородское — кожевеннымъ производствомъ. И ни въ томъ, ни въ другомъ *нѣтъ ни одного хлѣбопашца*.

Онъ садится. Мой сосѣдъ вздыхаетъ съ выраженіемъ удовольстворенія. Онъ человѣкъ благожелательный, ничего въ сущности не имѣетъ противъ статистики, а лично Анненскій ему нравится, какъ и многимъ въ этомъ собраніи. Но онъ все-же чиновникъ, и легкая побѣда, одержанная земскою стороною надъ „своимъ человѣкомъ“, его нѣсколько задѣваетъ. Теперь ударъ, по его мнѣнію, нанесенъ очень мѣтко... „Ни одного хлѣбопашца“, — и вдругъ урожай.

Въ залѣ движеніе сильнѣе, чѣмъ послѣ перваго выпада. „Практика“ опять торжествуетъ. Генераль искоса и выжидающе смотритъ на Анненскаго. Теперь онъ ужъ не торопится взять слово для любезной защиты. Шарада кажется и ему трудно разрѣшимой. Но онъ только ждетъ, настороженный и заинтересованный. Анненскій обмѣнивается нѣсколькими веселыми словами съ своими помощниками; молодые люди смѣются съ явнымъ пренебреженіемъ. Затѣмъ Николай Ѳедоровичъ подымается, держа наготовѣ очки и продолжая улыбаться.

— Приходится признать, — говоритъ онъ, — что на этотъ разъ указаніе г-на Обтяжнова фактически вѣрно. Правда,

оно не совсѣмъ точно. Наши свѣдѣнія нѣсколько расходятся съ показаніями господъ знатоконъ мѣстной жизни. Въ Богородскомъ нѣсколько семей всетаки занимаются хлѣбопашествомъ. Если память ему не измѣняетъ, такихъ семей... пять...

Одинъ изъ молодыхъ людей утвердительно киваетъ головой.

— Да, именно пять! Если угодно, этихъ домохозяевъ можно перечислить и по именамъ, но это не можетъ существенно измѣнить дѣла, тѣмъ болѣе, что въ Павловѣ нѣтъ даже этого количества. А сборъ хлѣбовъ всетаки показанъ въ обоихъ селахъ... Въ этомъ г. Обтяжновъ не ошибся.

Анненскій взглядываетъ изъ-за очковъ на собраніе своимъ веселымъ открытымъ взглядомъ и продолжаетъ:

— Но, господа, это кажущееся г-ну Обтяжнову противорѣчіе объясняется чрезвычайно просто. Дѣло въ томъ, что мы, статистики, учитываемъ урожай не съ землепашцевъ, а... съ земли, чья бы она ни была и кто бы ее ни пахалъ... Да едвали это и можно дѣлать иначе. Земля-же есть въ обоихъ селахъ...

Въ залѣ вдругъ проносится смѣхъ, на этотъ разъ такой дружный, что въ немъ утопаютъ различія между приверженцами и противниками г-на Обтяжнова. Шарада разрѣшена такъ просто. Смѣется и Барановъ, наклоняясь къ сосѣду. Можно угадать, что онъ говоритъ что-то остроумное насчетъ совершенно растерявашагося „практика“. Онъ, конечно, знаетъ о „kozyрѣ“ Обтяжнова и тоже возлагалъ на него кое-какія надежды. Но онъ не любитъ оставаться на сторонѣ, несущей такое смѣшное пораженіе. Анненскій продолжаетъ:

— Таблица, о которой говоритъ г. Обтяжновъ, даетъ итоги по уѣзду. Что онъ сказалъ бы, если бы въ эти итоги мы не ввели, т. е. утаили бы сборъ съ земель Павлова и Богородскаго? Или, напимѣръ, съ Большого Мурашкина, въ которомъ уже дѣйствительно нѣтъ ни одного хлѣбопашца, но земли этого села, сдаваемые въ аренду, кормятъ чуть не треть Книгининскаго уѣзда... И, наконецъ, мнѣ всетаки приходится выразить сожалѣніе, что г. Обтяжновъ не достаточно внимательно отнесся къ скромнымъ работамъ статистическаго бюро. Въ соответствующемъ мѣстѣ онъ нашелъ бы указаніе, что земли Павлова и Богородскаго сдаются въ аренду и кому именно. Тогда, конечно, я былъ бы избавленъ отъ необходимости доказывать здѣсь, что статистическое бюро, несущее службу земству и населенію, постигнутому бѣдствіемъ, не допускаетъ ни шарлатанства при собираніи свѣдѣній, ни ребяческихъ промаховъ при ихъ обработкѣ...

Послѣднія слова онъ произноситъ серьезно, съ сдержаннымъ волненіемъ, и садится.

— Ну, что? — спрашиваю я у своего сосѣда. — Вы думаете, что г. Обтяжновъ поднимется еще разъ?..

— Нѣтъ ужь, — отвѣчаетъ онъ, продолжая смѣяться. — Теперь кончено!

VII.

Оказывается, однако, что еще не кончено, предсѣдатель пытается опять перейти къ слѣдующему вопросу, но цѣлый рядъ ораторовъ, на этотъ разъ очень настойчиво, просить слово по тому же вопросу. Послѣднія слова Николая Федоровича, сказанныя съ отъѣнкомъ сдержаннаго негодованія, пробившагося черезъ легкую и веселую форму его рѣчи, вызываютъ сочувственные отклики у всѣхъ, въ комъ не заглохла земскія традиціи. Еще недавно казалось, что большинство на сторонѣ громко заговорившей „практики“. Теперь общій видъ собранія мѣняется, точно кусокъ матеріи, повернутой другой стороною.

Первымъ подымается А. М. Ермоловъ. Это старый либераль и бывший земець. Подъ вліяніемъ новыхъ вѣяній „дворянской эры“ онъ, — говорили, — вдругъ увѣровалъ въ „призваніе дворянства“, бросилъ земскую службу и вмѣстѣ съ молодежью сталъ въ ряды земскихъ начальниковъ. Этотъ поворотъ удивилъ его старыхъ товарищей и произвелъ извѣстную сенсацию въ пользу новой реформы! „Видите, — даже Ермоловъ пошелъ“ — говорили въ Нижнемъ. Человѣкъ состоятельный, независимый, со средствами, всю жизнь проведеній въ своемъ имѣніи, „на землѣ“ и на земской службѣ, онъ какъ бы отмѣчалъ, съ одной стороны, разочарованіе въ либеральныхъ началахъ эпохи реформъ, и съ другой — поворотъ къ идеямъ сословно-дворянской эры... И когда теперь этотъ человѣкъ поднялся съ своего мѣста, — всѣ насторожились. Что скажетъ Ермоловъ и чью сторону станетъ защищать: господъ лукояновскихъ дворянъ и земскихъ начальниковъ, „призванныхъ волею Монарха къ опека надъ крестьянами“, или земства со статистикой.

Красивый сѣдой старикъ говорить спокойно, но съ тѣмъ-же отъѣнкомъ сдержаннаго пафоса, который прозвучалъ въ заключеніи рѣчи Анненскаго. Онъ тоже человѣкъ земли; онъ всю жизнь провелъ въ своемъ уѣздѣ на разныхъ видахъ мѣстной службы. И онъ долженъ признаться, что самъ раздѣлялъ нѣкоторое предубѣжденіе противъ статистики. Въ томъ уѣздѣ, гдѣ онъ живетъ, было произведено обслѣдованіе статистической экспедиціей, и онъ лично видѣлъ ея участниковъ. Онъ проситъ извиненія у глубокоуважаемаго Николая Федо-

ровица, по долженъ признаться: когда двое „молодыхъ людей“ явились къ нему въ имѣніе въ Сергачскомъ уѣздѣ, онъ позволилъ себѣ... незамѣтно, среди разговора, произвести маленький смотръ тѣмъ даннымъ, какія они собрали. И онъ былъ пораженъ той изумительной точностью, подробностью и опредѣленностью свѣдѣній, какую проявили эти наѣзжіе молодые люди. Не было вопроса, даже самаго детального, о той или другой семьѣ, о томъ или другомъ домохозяинѣ, на который молодые люди не нашли бы въ своихъ карточкахъ яснаго отвѣта. Эту поразившую его, стараго практика, освѣдомленность онъ можетъ объяснить себѣ лишь двумя обстоятельствами: это, во-первыхъ, чрезвычайная добросовѣстность и преданность дѣлу работниковъ, а во-вторыхъ — глубоко и всесторонне обдуманная система, которая легла въ основу обслѣдованія. И то, и другое, т. е. подборъ работниковъ и методъ изслѣдованія зависѣли отъ руководителя статистическаго бюро, которому и губернское земство, и все населеніе обязаны въ этотъ тяжелый годъ глубокой благодарностью.

Старый земецъ кланяется въ томъ направленіи, гдѣ сидитъ Анненскій, и садится на мѣсто. За нимъ стремительно поднимается фонъ-Бринъ, предѣдатель книгининской земской управы. Это — человѣкъ сравнительно молодой, не сбросившій еще гусарской формы, которую носилъ до перехода на земскую службу, и для большинства еще не вполне выяснившійся. На него обѣ стороны тоже смотрятъ съ ожиданіемъ.

Онъ начинаетъ съ нѣкоторой горячностью: онъ считаетъ обязанностью подтвердить все, что Николай Федоровичъ Анненскій сказалъ относительно Большого Мурашкина. Если исключать изъ поуѣздныхъ итоговъ урожаи на земляхъ такихъ селъ, то вѣдь придется также исключить всѣ частновладѣльческія и дворянскія земли, такъ какъ дворяне тоже не землепашцы и тоже часто сдаютъ земли въ аренду. Онъ считаетъ своею обязанностью также присоединиться и ко всему, что А. М. Ермоловъ сказалъ о личномъ составѣ и работѣ статистиковъ... Онъ тоже имѣлъ случай наблюдать эту работу и заявляетъ, что собраніе можетъ съ полнымъ довѣріемъ отнестись къ даннымъ, на которыхъ губернская управа основываетъ свою смѣту...

Отвѣтомъ служить одобрительный шорохъ голосовъ. Встаютъ еще два-три человѣка. Имъ явно нечего прибавить по существу, и въ своихъ короткихъ заявленіяхъ они выражаютъ лишь потребность дать отзывъ на тѣ ноты, которыя Николай Федоровичъ задалъ въ концѣ своей рѣчи. И прежде, чѣмъ предѣдатель успѣваетъ, наконецъ, перейти къ слѣдующимъ

вопросамъ, въ собраніи, въ огромной части чисто бюрократическомъ, разыгрывается маленькій апофеозъ статистическому бюро и идеямъ стараго земства...

Сконфуженная „практика“ хранить полное молчаніе...

VIII.

Этотъ маленькій эпизодъ имѣлъ значительныя послѣдствія. Конечно, чисто-діалектическая побѣда въ этомъ случаѣ была не особенно трудна. На одной сторонѣ была систематическая коллективная работа, проникнутая мыслью, знаніемъ, одушевленіемъ. На другой — безпечная самонадѣянность. Результаты можно было предвидѣть: „практикъ“ былъ смятъ и отброшенъ съ урономъ, какъ поѣздъ отбрасываетъ съ дороги человѣка, ставшаго на его пути съ суевѣрными заклинаніями. Всякій другой статистикъ могъ бы, пожалуй, такъ-же легко въ этихъ условіяхъ одержать чисто-діалектическую побѣду. Но сдѣлать ее до такой степени яркой и наглядной, но, кромѣ полемическихъ мотивовъ, сумѣть двумя-тремя словами, одной ноткой въ заключеніи такъ глубоко всколыхнуть во многихъ угасавшее уже „земское“ чувство, заставить его высказаться въ такой обстановкѣ, — для этого нуженъ былъ именно Анненскій. Г-на Обтижнова не разъ и не два разбивали въ публичныхъ спорахъ. Но, разбитый, онъ все-же торжествовалъ, потому что за него были „почвенныя“ симпатіи, ничего общаго съ логикой не имѣющія. Анненскій на этотъ разъ настигъ его и въ этой области. Бѣдный „практикъ“ сидѣлъ совершенно раздавленный, оставленный единомышленниками, которые чувствовали всю полноту и безповоротность этого пораженія.

Съ этихъ поръ дѣло гг. лукояновскихъ дворянъ и земскихъ начальниковъ, а съ ними и дѣло ихъ единомышленниковъ изъ другихъ уѣздовъ, было проиграно безповоротно: земская „голодная смѣта“ проходила каждый разъ безъ возраженій. Когда Анненскій вставалъ со своими докладами, водворялось то особое вниманіе, въ которомъ чувствуется не только убѣжденіе въ ихъ справедливости, но и глубокая симпатія къ человѣку. О податливости земскихъ цифръ не могло уже быть и рѣчи. Губернская продовольственная коммиссія въ вопросѣ о размѣрахъ голода стала, наоборотъ, резонаторомъ земскихъ взглядовъ...

Этого мало.

Не помню, — въ перерывъ того же собранія или въ другой разъ, — я увидѣлъ Обтижнова рядомъ съ Анненскимъ. Начала разговора я не слышала, но когда подошелъ ближе, чтобы

сказать Анненскому нѣсколько словъ, то увидѣлъ, что оба собесѣдника какъ будто немножко сконфужены. Николай Федоровича я понималъ: онъ былъ человекъ изумительно, порой даже излишне деликатный и, можетъ быть, опасался, что, отбрасывая съ своей дороги наивнаго заклинателя, онъ не ограничился необходимымъ и причинилъ его самолюбію излишнее увѣчіе. Гораздо удивительнѣе было видѣть смущеннымъ г-на Обтяжнова, который не привыкъ смущаться.

Когда я подходилъ, Николай Федоровичъ, однимъ изъ характерныхъ своихъ жестовъ прижимая обѣ руки къ груди и потомъ отбрасывая ихъ, говорилъ:

— Поймите, Владиміръ Дмитріевичъ... Вѣдь то, въ чемъ вы обвиняли моихъ товарищей... вѣдь это было бы величайшимъ шарлатанствомъ...

Онъ какъ будто извинялся и оправдывалъ свою побѣду. Обтяжновъ проговорилъ что-то и протянулъ руку; Николай Федоровичъ пожалъ ее съ горячностью, въ которой все еще чувствовалась доля смущенія. Могло показаться, что изъ этихъ двухъ людей виновнымъ признаетъ себя именно Анненскій, и, пожалуй, могло прійти въ голову, что именно на этотъ разъ любезность Николая Федоровича доходитъ до нѣкотораго излишества...

Но — кто подумалъ бы это, — былъ бы не правъ. Противникъ отошелъ отъ него съ совершенно необычнымъ видомъ, и въ результатъ полемическій инцидентъ имѣлъ довольно неожиданныя послѣдствія...

IX.

25 февраля 1892 года мгlistою и вѣтренною зимнею ночью я ѣхалъ по арзамасской дорогѣ изъ Нижняго въ Лукояновъ. Приходилось то и дѣло сворачивать и обгонять обозы съ хлѣбомъ. Мужики шли рядомъ съ подводами, заиндевевшіе, засыпанные изморозью, погоняя лошадей. Скрипъ полозьевъ, крики погонщиковъ, топотъ лошадей, казалось, наполняли оживленіемъ жуткую тьму ночи...

Это везли земскій хлѣбъ въ Лукояновскій уѣздъ... Земство цѣлкомъ отстояло свою смѣту, и теперь, разбуженный этой живой суетой отъ дорожной полудремоты, я думалъ о томъ, что значили цифры сухихъ статистическихъ выкладокъ въ этой борьбѣ за интересы людей, голодающихъ въ деревняхъ глухого уѣзда. Статистика опредѣлила и отстояла ихъ нужду. Съ помощью ея цифръ Николай Федоровичъ горячо боролся за права земства въ распоряженіи миллионными ссудами и сильно содѣйствовалъ побѣдѣ земства. Наконецъ, когда ока-

залось нужнымъ спѣшно, до распутицы, закупить огромные запасы хлѣба и исправить такимъ образомъ медленность и нерѣшительность правительства, — то статистики-же, по порученію земской управы, превратились въ скупщиковъ хлѣба и выполнили эту непривычную задачу гораздо добросовѣстнѣе и успѣшнѣе, чѣмъ могли бы это сдѣлать профессиональные хлѣботорговцы...

Эти обозы, въ которыхъ подъ пологами лежали на саняхъ мѣшки съ хлѣбомъ, были окончательнымъ выраженіемъ этой долгой и упорной борьбы.

Правда, проигравъ дѣло въ губернскомъ центрѣ, г. лукояновцы еще нѣкоторое время пытались бороться на мѣстѣ. Они сокращали списки голодающихъ, доводили мѣсячные пайки до 5 — 6 фунтовъ, съ видимой цѣлью доказать — за счетъ голода, болѣзней, смертей — свою правоту: отъ земской ссуды у нихъ должны были остаться „излишки“... Но, такъ какъ вся губернская продовольственная комиссія въ цѣломъ приняла цифры земской смѣты, то это было уже противодѣйствіе комиссіи и ея предсѣдателю. Ген. Барановъ былъ задѣтъ и горячо выступалъ противъ недавнихъ своихъ креатуръ. И для того, чтобы рѣзче отбѣить положеніе, этотъ ироническій человекъ смѣнилъ предсѣдателя уѣздной продовольственной комиссіи (предводителя дворянства Философова) и назначилъ на его мѣсто... г. Обтяжнова.

Многіе такимъ образомъ оказались въ роляхъ, довольно для себя неожиданныхъ. Ген. Барановъ силою вещей былъ приведенъ къ борьбѣ съ людьми, которые слѣдовали „призывамъ къ умѣренности“ въ согласіи съ правительствомъ, и очутился въ союзѣ съ „лѣвыми“ элементами гонимаго земства... Его чиновники готовы были теперь видѣть голодъ и болѣзни даже тамъ, гдѣ ихъ въ сущности не было... А г. Обтяжновъ громилъ тѣхъ самыхъ „знатоковъ мѣстной жизни“, г. „представителей помѣстнаго дворянства и земскихъ начальниковъ, призванныхъ охранять интересы крестьянства“, которыхъ защищалъ въ декабрѣ противъ губ. земства и крамольной статистики...

Въ то время я былъ въ уѣздѣ, и для меня самого назначеніе г-на Обтяжнова было неожиданностію. Но Барановъ, знавшій въ свое время, какими козырями располагаетъ г. Обтяжновъ для нападенія на Анненскаго, зналъ, очевидно, и о его новомъ настроеніи. Впослѣдствіи мнѣ говорили, что передъ отъѣздомъ въ Лукояновъ г. Обтяжновъ часто заходилъ въ кабинетъ Николая Федоровича и пытался добросовѣстно изучить цифровыя данныя о Лукояновскомъ уѣздѣ,

въ томъ числѣ работу „особой статистической экспедиціи“. И въ качествѣ предсѣдателя люкьяновской продовольственной комиссіи онъ часто и, кажется, на этотъ разъ съ знаніемъ дѣла громилъ своихъ прежнихъ союзниковъ при помощи данныхъ, собранныхъ „никому невѣдомыми молодыми людьми, съ быстротою бури проносившимися по голодающимъ уѣздамъ“.

Это, конечно, было противорѣчіе со всѣмъ вторымъ періодомъ жизни бывшего „либеральнаго земца“, и теперь, когда онъ вернулся опять на привычный путь и опять воюетъ съ земствомъ, — не думаю все таки, чтобы онъ вспоминалъ безъ удовольствія о короткомъ періодѣ своей дѣятельности, когда и онъ стоялъ за интересы голоднаго народа... А также о человѣкѣ, который былъ виновникомъ этого „противорѣчія“.

1913 г.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ ЮЖАКОВЪ.

(1849—1910).

Родился С. Н. Южаковъ въ 1849 году, въ Вознесенскѣ, Херсонской губ. Отецъ его былъ военный, и первая шесть лѣтъ своей жизни мальчику пришлось провести или въ походахъ, или въ разныхъ военныхъ поселеніяхъ. Военныя поселенія, дѣтище Аракчеева,—это былъ худшій видъ крѣпостного права—„рабство юридическому лицу, т. е. худшее рабство, какое только зналъ міръ“,—какъ говорить самъ Южаковъ въ своихъ воспоминаніяхъ *). Военно-поселенцы завидовали обыкновеннымъ крѣпостнымъ. Картины жизни, окружавшей дѣтство Южакова и его любимой сестры, были полны ужасающей грубости и жестокости, которыя, однако, не проникли въ семью Южакова. Его родители были тѣми исключеніями изъ общаго правила, которыхъ, къ счастью, и въ тѣ времена было не мало. Отецъ,—въ тѣ годы человѣкъ уже пожилой, — принадлежалъ къ поколѣнію двадцатыхъ годовъ, среди котораго уже тогда были „романтики-идеалисты“, мечтавшіе о реформѣ крѣпостного права. Онъ любилъ народъ, мужика, солдата,—и эта любовь не была только теоретической: общеніе съ простыми людьми доставляло ему удовольствіе и нравственный отдыхъ. Онъ никогда никого не билъ, и вообще для того времени и той среды это былъ феноменъ, вызывавшій недоумѣніе и осужденіе. Какъ человѣкъ твердый въ своихъ убѣжденіяхъ и нравственно-авторитетный, онъ умѣлъ не подчиниться, а подчинить до извѣстной степени среду своимъ взглядамъ, которые проводились и въ воспитаніи дѣтей.

Родители старались по возможности уберечь сына и дочь

*) С. Н. Южаковъ: „Русскія Вѣдомости“ 1909 и 1910. „Изъ воспоминаній стараго писателя“.

отъ зрѣлища грубости и страданій. Живя въ Новой-Одессѣ, — военномъ поселеніи на берегу Буга, — дѣти вѣдвали часто на прогулку мимо волостного управленія. Однажды имъ пришлось увидѣть, какъ поселенца наказывали палками. Прогулки въ ту сторону пришлось прекратить. Женщины и дѣти „господь“ купались въ Бугѣ въ общей купальнѣ. Случай жестокаго обращенія „дамъ“ съ своими крѣпостными дѣвушками заставили Южаковыхъ построить собственную купальню. Зрѣлище сѣченія дочери въ семьѣ офицера побудило прекратить знакомство съ этой семьей; такимъ образомъ, дѣти росли больше впечатлѣніями собственной семьи. „Нашъ дворъ мы съ гордостью представляли себѣ какимъ-то оазисомъ среди окружающаго печестія и страданія“, — пишетъ Южаковъ въ своихъ воспоминаніяхъ, и эта противоположность навсегда выработала въ немъ особенное отвращеніе ко всякой грубости. „Едва ли, — говоритъ онъ, — въ мірѣ есть другая черта человѣческаго характера, которая принесла бы человѣчеству столько вреда и страданія, какъ грубость“. Этотъ афоризмъ для Южакова не былъ только фразой: до конца жизни онъ сохранилъ какую-то особенную нравственную тонкость, душевное изящество и деликатность, которые составляли самыя характерныя черты его нравственнаго облика. Встрѣчаясь съ проявленіями грубости въ жизни, онъ вспыхивалъ, лицо его краснѣло и принимало особенное характеристическое выраженіе: было замѣтно, что Южаковъ замыкается въ себѣ, уходитъ въ нравственный оазисъ собственной души, высоко культурной и деликатной. На грубость онъ никогда не отвѣчалъ встрѣчной грубостью, а только отстранялся, и невольный гнѣвъ скоро замѣнялся въ немъ сожалѣніемъ къ человѣку, живущему за предѣлами „оазиса“...

Около 1858—59 года отецъ Южакова былъ переведенъ въ Харьковскую губернію, и семья поселилась въ Харьковѣ, „первомъ университетскомъ городѣ и первомъ значительномъ умственномъ центрѣ на пути моей жизни“, — какъ говоритъ объ этомъ Сергѣй Николаевичъ. Времена мѣнялись, въ обществѣ чувствовались новыя вѣянія, „гремѣлъ герценовскій Колоколь“, вышло первое собраніе стихотвореній Некрасова, зарождалась обличительная литература. Военная среда того времени не была той замкнутой кастой, какой (едва-ли къ пользѣ даже военнаго дѣла) она является теперь. Въ семью генерала Южакова имѣли доступъ все передовыя вѣянія того времени. Въ памяти Сергѣя Николаевича осталась, между прочимъ, отъ этого періода колоритная фигура гене-

рала Столпакова, военного радикала, рѣзко критиковавшаго современный политическій строй, требовавшаго политической свободы, созванія учредительнаго собора, ограниченія административнаго произвола во всѣхъ его видахъ. Это военное вольнодумство вливалось въ отроческія души съ одной стороны,—съ другой идейное содержаніе вносили въ нихъ представители науки и литературы, часто являвшіеся въ гостиной генерала Южакова. Съ особенной теплотой и благодарностью вспоминалъ Сергѣй Николаевичъ о Ѳедорѣ Васильевичѣ Бемерѣ, извѣстномъ педагогѣ и писателѣ. Повидимому, родители Южакова не особенно довѣрили тогдашней официальной педагогикѣ и продолжали систему локализациі „въ оазисѣ“. Бемеръ былъ приглашенъ организовать домашнее воспитаніе въ двухъ соединившихся для этого родственныхъ семьяхъ и организовать его по новой и прекрасной системѣ. Въ это именно время Южаковъ приучился къ самостоятельной умственной работѣ. Важное мѣсто въ системѣ образованія Бемеръ отведъ изученію естественныхъ наукъ, но и въ этомъ отношеніи не вдавался въ односторонность. Умъ юноши складывался разносторонне, широко и энциклопедично. Чтеніе Бѣлинскаго произвело на него особенно сильное впечатлѣніе и (говорить онъ въ воспоминаніяхъ), вѣроятно, опредѣлило его будущую профессію.

Въ 1865 году родители рѣшили всетаки отдать сына въ гимназію, и съ этой цѣлью мать съ Бемеромъ и сыномъ отъправилась въ Одессу, которую Южаковъ впоследствии считалъ своей настоящей умственной родиной. Поступить въ гимназію Южакову не пришлось, и онъ продолжалъ доучиваться внѣ стѣнъ учебнаго заведенія, подъ руководствомъ студентовъ, членовъ существовавшей тогда своеобразной „студенческой учительской артели“. Это были вмѣстѣ учителя и товарищи, и Южаковъ окупился въ чисто университетскія знакомства и завязалъ дружескія связи въ студенческой средѣ... „Далеко потомъ разошлись пути этой группы молодежи, что встрѣтила меня на порогѣ передъ университетомъ,—писалъ Южаковъ.—Тутъ были и будущіе сановники, и ученые, и поэты, и революціонеры, и культурные дѣятели, и осужденные на безвременную кончину, и осужденные на безвѣстность. Но тогда дороги еще не разошлись, группа представляла какъ бы однородное цѣлое и стремилась въ невѣдомую даль. Могу только прибавить,—заканчиваетъ Сергѣй Николаевичъ этотъ эпизодъ своей автобіографіи,—что никого изъ нихъ я никогда не поминалъ и не помяну лихомъ“. Сильно развитое горячее чувство товарищества тоже осталось

на всю жизнь характерной и необыкновенно привлекательной чертой С. Н. Южакова.

Въ 1865 году, т.-е. 16-ти лѣтъ съ нѣсколькими мѣсяцами Южаковъ выдержалъ вступительный экзаменъ въ университетъ и былъ зачисленъ въ студенты по филологическому факультету.

„Общенье съ товарищами и товарищеской жизнью, съ внутренними университетскими вопросами дня, броженіе идей и настроеній на почвѣ гражданского самосознанія; самостоятельный трудъ и стремленіе къ самостоятельному самоопредѣленію—со всѣхъ сторонъ охватило молодую душу горячей и бурной волной“ *). Въ отзывахъ Южакова объ одесскомъ университетѣ нѣтъ мѣста страстнымъ филиппикамъ, какими громилъ, напримѣръ, Д. И. Писаревъ петербургскій университетъ своего времени. Свои воспоминанія объ alma mater Южаковъ облачаетъ дымкой особеннаго благодушія. „Я сохранилъ,—говоритъ онъ,—много благодарности за все, что получилъ отъ нея и что она мнѣ дала въ моихъ исканіяхъ „правды-истины и правды-справедливости“.

Нужно сказать, что и внѣшнія условія студенческаго быта въ Одессѣ сорокъ лѣтъ назадъ ничѣмъ не напоминали порядковъ послѣдующаго времени. Необыкновенная дешевизна жизни, хорошій педагогическій заработокъ, сравнительно мягкія отношенія къ студенчеству начальства и администраціи, еще не утратившей инстинктивнаго уваженія къ наукѣ и учащемуся юношеству,—все это давало особый мягкій тонъ тогдашнему студенческому быту. „Студентамъ не приходилось, напримѣръ, входить въ конфликты изъ-за сходовъ въ университетъ. Къ ихъ услугамъ были залы въ ресторанахъ и просто въ биргалляхъ. Для нихъ очищали такую залу, закрывали двери, и они свободно совѣщались о своихъ дѣлахъ“. Была своя столовая и своя касса, пополнявшаяся товарищескимъ самообложеніемъ; сочувственными взносами изъ общества, спектаклями. Никто изъ начальства и полиціи не провѣрялъ ни сборовъ, ни расходовъ. Всѣ студенты были всегда въ курсѣ своихъ дѣлъ и свободно ими распоряжались. Во внутреннемъ содержаніи университетскаго быта Южаковъ отмѣчаетъ, что мѣстные одесскіе лицеисты вносили буршество, склонность къ выпивкѣ, скабрзнымъ пѣснямъ и скандаламъ. Молодежь изъ другихъ городовъ прибавляла къ этому серьезныя стремленія къ самообразованію, но... къ сожалѣнію, тоже не чужда была той-же традиціонной склонности, губившей много даровитыхъ людей..

*) Мѣста въ кавычкахъ я заимствую изъ „Воспоминаній стараго писателя“.

Несмотря на сравнительную мягкость взаимныхъ отношеній съ начальствомъ, въ университетѣ преобладало оппозиціонное настроеніе, которое, конечно, не зависитъ исключительно отъ внутриакадемическихъ условий. Наука и старые устои самодержавнаго строя несутъ въ себѣ взаимно-антагонистичныя настроенія, и молодежь такъ же легко, какъ и нынѣ, поддавалась волненіямъ, отзываясь на проявленія всякаго произвола. Люди, учившіеся въ новороссійскомъ университетѣ того времени, вспоминаютъ Южакова увлекающимся юношей, участникомъ серьезной работы въ научныхъ кружкахъ и вмѣстѣ блестящимъ ораторомъ сходовъ.

Между тѣмъ, и администрація уже переставала относиться терпимо къ академической свободѣ. Касса была закрыта, потребовали передачи благотворительному обществу студенческой столовой. Началось возбужденіе, сходки. Въ театрѣ по поводу постановки реакціонной пьесы Манна („Говоруны“) произошла довольно бурная демонстрація. Публика приняла сторону студентовъ, пьеса была прекращена. Между тѣмъ, прибылъ градоначальникъ Бухаринъ, который бесѣдовалъ со студентами въ фойе и совѣтовалъ имъ бороться съ идеями пьесы не обструкціей, а печатнымъ словомъ. На возраженія о цензурѣ, благодушный администраторъ обѣщаль уладить всякія препятствія.— „Что касается цензуры,—сказаль онъ,—то я обѣщаю свою помощь. А вы соберите сходку и выберите тѣхъ, кого уполномочиваете составить объясненіе“.

Сходка немедленно собралась въ „Вѣломъ Лебедѣ“, и Южаковъ былъ выбранъ для составленія статьи въ „Одесскомъ Вѣстникѣ“, тогда еще единственной газетѣ въ Одессѣ. „Такимъ образомъ,—замѣчаетъ Южаковъ,—и могу считаться писателемъ по избранію“.

Это было въ 1868 году, и это произведеніе „писателя по избранію“ было началомъ его литературной карьеры. За этой первой статьей послѣдовали другія замѣтки 19-лѣтняго студента въ той же газетѣ. Въ слѣдующемъ 1869 году по всѣмъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ „пробѣжала какъ бы судорога студенческихъ волненій“. Въ каждомъ учебномъ заведеніи поводы были свои, мѣстные (большею частью по вопросамъ студенческаго самоуправления), но въ общемъ это было уже общестуденческое движеніе, начавшееся съ медико-хирургической академіи въ Петербургѣ и электрическимъ токомъ дошедшее до Одессы. Студенты рѣшили собрать „генеральную“ общестуденческую сходку на 2 апрѣля въ Дюковскомъ саду. Ночью они узнали, что полиція предупреждена. Южакову и товарищамъ пришлось ночью же мѣнять

диспозицію. Мѣсто схода было перенесено въ Ланжероновскій садъ. На слѣдующую ночь къ молодому студенту-писателю постучалась полиція. Онъ былъ подвергнутъ домашнему аресту, а одинъ изъ ближайшихъ его товарищей, отставной офицеръ Султанъ-Крымъ-Гирей высланъ подъ надзоръ полиціи.

Это было, такъ сказать, административно-политическое крещеніе Южакова. Вскорѣ онъ заболѣлъ, и ему пришлось оставить университетъ, уѣхать за границу. Въ 1870—71 годахъ онъ уже не былъ студентомъ, и главнымъ его занятіемъ стала литературно-научная работа. Но память объ организаторѣ студенческихъ протестовъ осталась въ тѣ времена среди молодежи, и, конечно, въ черныхъ спискахъ администраціи.

Рѣдкая біографія русскаго писателя обходится безъ одного стереотипнаго мотива, и въ печатныхъ опросныхъ бланкахъ для писательскихъ біографій слѣдовало бы къ обычнымъ рубрикамъ (гдѣ и когда родился? гдѣ получилъ образованіе и т. д.) прибавлять специальный вопросъ: гдѣ и когда былъ арестованъ? Куда, когда и откуда высланъ, судебнымъ или административнымъ порядкомъ? Жизнь Южакова не составляетъ исключенія, и едва-ли можно сомнѣваться, что начало его „неблагонадежности“ нужно отнести именно къ этому студенческому эпизоду: онъ началъ писать и попалъ подъ арестъ почти одновременно.

Между тѣмъ, умственные интересы Южакова уже опредѣлились. Съ декабря 1872 года въ журналѣ „Знаніе“ начали печататься очерки, въ которыхъ двадцати-четыре-лѣтній Южаковъ выступилъ совершенно опредѣлвшимся писателемъ, вооруженный солиднымъ запасомъ знаній, острымъ анализомъ и блестящимъ, точнымъ изложеніемъ.

Очерки эти назывались „Соціологическими этюдами“ и сразу создали Южакову широкую и почетную извѣстность въ интеллигентныхъ кругахъ. Однимъ изъ первыхъ привѣтствовалъ молодого соціолога Николай Константиновичъ Михайловскій. „Въ журналѣ „Знаніе“,—писалъ онъ,—въ № 12 прошлаго года и въ № 1 нынѣшняго напечатаны очень замѣчательные „Соціологическіе этюды“ г. Южакова. Мы давно не встрѣчали въ области общей соціологіи явленія болѣе пріятнаго. Мы, впрочемъ, говоримъ только за себя. Едва-ли этюды г. Южакова удовлетворятъ многихъ. Гг. Стронинъ, П. Л. *) и прочіе открыватели давно открытой Америки должны прійти отъ нихъ просто въ ужасъ, какъ отъ самой злостной ереси.

*) Рѣчь идетъ не о Петрѣ Лавровичѣ Лавровѣ, а о забытомъ нынѣ „русскомъ соціологѣ“ Павлѣ Дадіенфельдѣ.

Правовѣрные реалисты должны почувствовать значительное смущеніе... Довольно того, что г. Южаковъ утверждаетъ, что Дарвинъ и Спенсеръ ошибаются, а что у Фурье, не смотря на всѣ лимонадные моря и на *cougonnes boréales*, можно найти очень много поучительнаго. Г. Южаковъ стремится доказать, что процессы органической и социальный прямо противоположны... что въ социальной жизни нравственно-политическіе идеалы вытѣсняють собою дѣйствіе сильнѣйшихъ биологическихъ факторовъ. Да, это—ересь. Я думаю, однако, что никто въ литературѣ не осмѣлится ни разоблачить ее, ни пристать къ ней^{*)}.

Предсказанія Н. К. Михайловскаго оправдались только отчасти: работа Южакова была замѣчена, хотя главнымъ образомъ на нее отозвались не спеціалисты-ученые и даже не журнальная критика, а чуткіе круги молодежи и общества, почувствовавшіе въ нихъ свѣжее вѣяніе молодого и довольно самобытнаго русскаго социализма. Этимъ впередъ уже опредѣлились и будущія литературныя симпатіи молодого автора. Правда, въ одномъ изъ послѣдующихъ очерковъ Южаковъ выступилъ съ совершенно опредѣленной отрицательной критикой „субъективнаго метода въ социологіи“, сторонниками котораго являлись Н. К. Михайловскій и П. Л. Лавровъ. Разборъ доводовъ Михайловскаго и Лаврова приводитъ его къ выводу, что „наши представленія о началахъ общественности не требуютъ необходимо какого-либо особаго процесса мышленія“ и что „введеніе нравственнаго элемента въ изслѣдованіе не измѣняетъ его существеннаго характера. Соціологическое изслѣдованіе можетъ и должно держаться общенаучнаго метода и при томъ тѣмъ строже и неотступнѣе, чѣмъ сложнѣе матеріаль, надъ которымъ приходится работать пытливости соціолога“. Не смотря, однако, на это разногласіе,—нашлись существенные пункты, на которыхъ Южаковъ сходилъ съ „субъективистами“. Онъ признавалъ огромное значеніе за ихъ теоремой о роли личности въ исторіи. Социальный прогрессъ, по его мнѣнію, сводится на постоянное, живое взаимодействие социальной среды и личности. „Вся совокупность общественныхъ условій вырабатываетъ личность, единственно активный элементъ общества... дѣйствія-же всѣхъ личностей даннаго общества порождаютъ всю совокупность общественныхъ явленій слѣдующаго момента“. Черезъ посредство личностей такимъ образомъ одно общественное состояніе въ его цѣломъ производитъ другое. Съ признаніемъ этого начала

*) „Отеч. Зап.“ Апр. 1878 г.

во всей его живой сложности и во всемъ его значеніи Южаковъ становился союзникомъ того литературно-общественнаго лагеря, въ центрѣ котораго сталъ Н. К. Михайловскій. Основной нервъ, главный мотивъ всей работы Михайловскаго и заключался въ отстаиваніи творческаго значенія личности, въ которой, какъ въ фокусѣ, преломляются, черезъ который необходимо проходить и изъ котораго лучами несутся въ будущее всѣ соціальныя законы. Раздѣляя это основное положеніе Михайловскаго, Южаковъ, естественно, становился его союзникомъ въ борьбѣ со всякимъ предустановленнымъ и порабощающимъ личность научнымъ и философскимъ фатализмомъ, начиная отъ біолого-органическихъ ученій спенсеровъ въ 70-хъ годахъ и кончая крайностями экономическаго матеріализма въ девяностыхъ.

Репутація молодого (непатентованнаго, правда) ученаго была создана. Очень можетъ быть, что при другихъ условіяхъ жизни онъ мирно пошелъ бы по этому пути и вписалъ бы свое имя крупными заслугами въ исторію русской науки. Но русская жизнь слишкомъ шумно врывается въ кабинеты и студіи нашихъ архимедовъ... Въ 1879—1880 году въ Одессѣ генераль-губернаторствовалъ знаменитый военный стратегъ и инженеръ Тотлебенъ. Злая русская судьба пожелала, чтобы свою блестящую репутацію война генераль этотъ завершилъ далеко неблестящей административной дѣятельностью. Знаменитымъ генераломъ управлять пресловутый Панютинь, по внушенію котораго, хотя за нравственной отвѣтственностью самого генерала, въ Одессѣ началась памятная оргія административныхъ ссылокъ. Высылались цѣлыми партіями студенты, рабочіе, писатели, разночинцы, женщины, дѣвушки, дѣти. Въ числѣ другихъ былъ арестованъ и сосланъ административнымъ порядкомъ въ Красноярскъ и Сергѣй Николаевичъ Южаковъ. Въ то-же время подверглась ссылкѣ, только еще болѣе дальней, его любимая сестра Елизавета Николаевна. Трагическая гибель молодой женщины въ одномъ изъ улусовъ Якутской области составляетъ яркій и необыкновенно печальный эпизодъ тогдашней ссылки...

Свое путешествіе этапнымъ порядкомъ съ партіей политическихъ Южаковъ описалъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“. Подпись Южакова и его писательскій тактъ способствовали тому, что эти путевые очерки могли появиться въ печати даже въ то глухое время, когда газеты не смѣли и заикнуться о фактахъ этого порядка. Номера газеты съ этими статьями раскупались нарасхватъ, и, долго спустя, послѣдующія партіи ссылаемыхъ стараются запасть этими поме-

рами въ качествѣ своего рода путеводаителя. Имя Южакова, соціолога и публициста, такимъ образомъ предшествовало и какъ бы освѣщало путь среди сибирскихъ дебрей, по тюрьмамъ и этанамъ, куда за нимъ двигались знавшіе его и любившіе молодые читатели... Русской „личности“ суждено было проходить своеобразными и скорбными путями. И тѣ-же пути проходили съ нею ея идеологи и теоретики *)...

Въ ссылкѣ Южаковъ пробылъ до 1882 года. Въ эти и последующіе годы онъ продолжалъ литературную работу, дѣятельно сотрудничая въ „Отечественныхъ Запискахъ“, въ „Вѣстникѣ Европы“, въ „Русской Мысли“, а изъ газетъ—въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ и „Одесскомъ Листкѣ“. Къ этому времени относится, между прочимъ, чрезвычайно интересная его работа: „Мысли о земледѣльческой будущности русской черноземной полосы“. Вернувшись изъ ссылки, онъ становится ближе къ „Отечественнымъ Запискамъ“. Когда обстоятельства русской жизни были выдвинуты на передній планъ общественнаго вниманія еврейскій вопросъ, то редакціи „Отечественныхъ Записокъ“ поручила Южакову написать руководящую статью по этому предмету. Теперь эта статья имѣетъ уже только историческое значеніе и отмѣчаетъ собою постепенную эволюцію взглядовъ на еврейскій вопросъ передовой части русской литературы.

Вскорѣ Южаковъ оставляетъ провинцію и поселяется въ столицѣ. Въ родной Одессѣ онъ потерпѣлъ крупное разочарованіе. вмѣстѣ съ кружкомъ единомышленниковъ и товарищей онъ поставилъ на ноги мѣстную газету, которая сразу привлекла симпатіи широкой публики и, конечно, косые взгляды администраціи. Издатель, человекъ довольно ловкій и достаточно бессовѣстный, очутился между двухъ огней и вышелъ изъ этого положенія такъ, какъ выходили многіе изъ его собратьевъ. Онъ предоставилъ своимъ „передовымъ“ сотрудникамъ создать газетѣ репутацію и привлечь подписчиковъ симпатичными именами и живыми лозунгами. Когда это было сдѣлано, онъ повернулся спиной къ передовымъ идеямъ, а угодливымъ лицомъ—къ цензурѣ и начальству. Весь кружокъ молодыхъ сотрудниковъ вышелъ изъ созданной ими-же газеты, которая продержалась нѣсколько лѣтъ, но потомъ захирѣла и погибла.

Въ 1884 году, какъ извѣстно, „Отечественныя Записки“ были закрыты, и дружный кружокъ ихъ сотрудниковъ раз-

*) Одновременно съ Южаковымъ въ ту же Енисейскую губернію былъ посланъ Влад. Викторовичъ Дессевичъ.

сѣнь. Особенно тяжело отразилась эта литературная катастрофа на Салтыковѣ и Михайловскомъ. Великій сатирикъ пріютился въ „Вѣстникъ Европы“ со своими послѣдними произведеніями, полными глубокой печали и горечи. Вскорѣ онъ умеръ. Н. К. Михайловскій тоже тосковалъ безъ „своего журнала“, и вообще среди бывшихъ соратниковъ постоянно щемило задушевное желаніе собраться опять въ какомъ-нибудь „своемъ изданіи“, изъ котораго можно бы создать продолженіе „Отечественныхъ Записокъ“ и возстановить журнальную традицію (отъ „Современника“). Казалось, такой огонекъ засвѣтился въ 1888 году въ видѣ „Сѣв. Вѣстника“. Однимъ изъ первыхъ примкнулъ къ этому журналу С. Н. Южаковъ, участвовавшій въ редакціонныхъ совѣщаніяхъ и въ составленіи журнальнаго проспекта. Ему удалось убѣдить и Н. К. Михайловскаго примкнуть къ новому органу. Казалось одно время, что „продолженіе Отечественныхъ Записокъ“ налажено, работа закипѣла горячо и дружно. Свой читатель, о которомъ такъ тосковалъ Щедринъ, оказался на лицо: у новаго журнала сразу появилась сочувствующая публика. Вскорѣ, однако, выяснилось, что кружокъ неоднороденъ, и что официальное издательство является чуждымъ самымъ основнымъ идеямъ главнѣйшихъ сотрудниковъ. Первымъ вышелъ изъ журнала Н. К. Михайловскій. Южаковъ нѣкоторое время еще оставался, надѣясь своимъ посредничествомъ возстановить распадающееся дѣло: когда это стало явно неосуществимымъ, Южаковъ тоже ушелъ, а журналъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ и нѣсколькихъ переходовъ изъ рукъ въ руки, окончательно прекратился.

Казалось, группа „Отечественныхъ Записокъ“ окончательно разсѣяна. Въ это время одинъ изъ старыхъ товарищей Южакова, инженеръ Урсати, строитель участка восточно-сибирской дороги, пригласилъ Сергѣя Николаевича для веденія дѣлопроизводства. Приходилось ѣхать во Владивостокъ, браться за совершенно новое, административное дѣло. Съ другой стороны, улыбались новыя мѣста и новое поле наблюденій. Южаковъ согласился и оставилъ Петербургъ.

Вернулся онъ въ столицу какъ разъ въ то время, когда возстановилось „Русское Богатство“ и въ него вошелъ Михайловскій съ нѣсколькими бывшими сотоварищами. Годы разъединенія брали, однако, свое. Среди недавнихъ еще единомышленниковъ они намѣтили уже нѣкоторыя идейныя различія и довольно ощутительныя линіи расхожденія. Тѣмъ дороже было участіе въ журналѣ давняго единомышленника. Южаковъ опять съ доловой ушелъ въ журнальное дѣло ря-

домъ съ Н. Б. Михайловскимъ. Журналъ окончательно сложился, и съ этихъ поръ дѣятельность С. Н. Южакова была на виду у читателей „Русскаго Богатства“. Онъ велъ послѣдовательно „хронику внутренней жизни“, „дневникъ журналистовъ“ и „иностранный обзоръ“, прерывая ихъ порой для публицистическихъ, философскихъ или критическихъ экскурсій. Результатомъ его путешествія на Дальній Востокъ явились интересные очерки этой окраины, а также путевыя картины, изданныя впоследствии отдѣльной книгой, озаглавленной „Доброволецъ Петербургъ“. По мысли автора, это неблагозвучное и тусклое заглавіе должно было устанавливать идейную связь съ гончаровскимъ „Фрегатомъ Паллада“. *Navent sua fata libelli* (и у книгъ есть своя исторія). Говорятъ, иное имя вліяетъ роковымъ образомъ на судьбу его носителя. Книга Южакова не имѣла успѣха, хотя по содержанію она его заслуживала въ высшей степени. Между прочимъ, Южаковъ на „добровольцѣ“ посѣтилъ мѣста, когда-то описанныя Гончаровымъ, и далъ много любопытныхъ и поучительныхъ сравненій...

Въ самыя послѣдніе годы Южаковъ работалъ въ „Русскомъ Богатствѣ“ меньше, такъ какъ ему пришлось дѣлить свое время между журналомъ и редакціей Большой Энциклопедіи, въ которую онъ вложилъ свою огромную работоспособность и разностороннюю эрудицію.

Изъ болѣе крупныхъ работъ Южакова, вышедшихъ отдѣльными изданіями, читателямъ памяти, конечно, кромѣ „Соціологическихъ этюдовъ“, „Афганистанъ и сопредѣльные страны“ (рядъ статей, разрабатывавшихъ вопросы мало-извѣстной и загадочной Средней Азіи), „Англо-русская распри“ и „Вопросы просвѣщенія“, въ свое время обращавшія вниманіе мѣткой критикой нашей средней школы вообще и особенно литературы официально принятыхъ учебниковъ. Въ этихъ работахъ ярко сказались и достоинства, и недостатки Южакова, какъ ученаго и публициста. Жизнь не дала вполнѣ кристаллизироваться несомнѣннымъ задаткамъ чистаго ученаго. Онъ влагалъ въ свою работу слишкомъ много животрепещущихъ публицистическихъ интересовъ, и его соціологическія дедукціи порой отзывались недостаточно еще сложившимися, не вполнѣ обоснованными схемами. Въ публицистикѣ порой сказывалось подавляющее обиліе эрудиціи, связывавшей и перегружавшей чисто-публицистическое настроеніе. Тѣмъ не менѣе то, что онъ далъ, создало само по себѣ солидный памятникъ этой незаурядной и своеобразной личности.

Порой, отъ социологическихъ схемъ, отъ обзорной текущей жизни, отъ утомительной работы въ энциклопедіи, Южаковъ уходилъ въ критическія или даже поэтическія экскурсіи. Такова его работа „Любовь и счастье въ произведенияхъ русскихъ поэтовъ“, гдѣ онъ порой очень тонко и даже граціозно анализируетъ изгибы сердечнаго чувства. Такова-же его статья въ „Русскомъ Богатствѣ“, напечатанная вмѣсто „очереднаго обзора“ и озаглавленная, какъ „Прогулка по Волкову кладбищу“ *). Статья эта обвѣяна мягкой печалью чело-вѣка, тепло, глубоко, искренно любящаго русскую литературу, связаннаго со многими ея покойниками нѣжнѣйшими сердечными связями. „Волково кладбище,—говоритъ онъ,—не изъ аристократическихъ кладбищъ столицы, а „Литераторскіе мостки“ даже и на Волковомъ кладбищѣ занимаютъ отдаленное мѣсто, которое было бы изъ самихъ глухихъ и мало извѣстныхъ, если бы тутъ мало-по-малу не сосредоточились могилы цѣлаго ряда выдающихся писателей изъ цѣлаго ряда литературныхъ поколѣній. Волково кладбище обратилось въ кладбище литературное. Въ 1832 году здѣсь былъ похороненъ Дельвингъ, въ 1846—Полевой, но только со времени погребенія здѣсь Бѣлинскаго оно начало пріобрѣтать значеніе литературнаго Пантеона“.

„Бѣлинскій умеръ 26 мая 1848 года. Немногіе петербургскіе друзья,—приводитъ Южаковъ слова тоже теперѣ покойнаго Пыпина,—проводили его тѣло до Волкова кладбища. Къ нимъ присоединились (вспоминаетъ Панаевъ) три или четыре неизвѣстныхъ, вдругъ откуда-то явившихся. Они остались на кладбищѣ до самаго конца погребенія и слѣдили за всѣмъ съ величайшимъ любопытствомъ, хотя слѣдить было совершенно нечего. Бѣлинскаго отиѣли и опустили въ могилу, какъ всякаго другого“...

Съ этихъ поръ литературный кварталъ этого города мертвыхъ все болѣе населялся. За Бѣлинскимъ пришелъ Добролюбовъ, потомъ Писаревъ, Костомаровъ, Пальмъ, Рѣшетниковъ, Омудевскій, Надсонъ, Гаршинъ... Потомъ Г. З. Елисеевъ, Шелгуновъ... Переходи отъ могилы къ могилѣ, Южаковъ съ тихою грустью возстановляетъ образы лежащихъ подъ этими плитами покойниковъ, съ особенной любовью останавливаясь у памятниковъ Шелгунова и Елисеева. Къ могилѣ послѣдняго онъ возвращается два раза: описаніемъ ея онъ начинаетъ второй томъ „Социологическихъ этюдовъ“. „Импозантная фигура этого патріарха русской журналистики,—го-

*) „Р. Богатство“, октябрь 1894. <http://www.cin.org.pl>

ворить Южаковъ,—со строгимъ спокойствіемъ безпристрастнаго судьи и редактора смотреть на многочисленныя обрестъ лежащія могилы работниковъ русскаго слова, своихъ наставниковъ, товарищей, сотрудниковъ и учениковъ, успокоившихся навѣки въ этомъ уголкѣ отдаленнаго петербургскаго кладбища“.

Послѣ того, какъ были написаны эти строки,—у Литераторскихъ мостковъ улеглись Г. И. Успенскій и Н. К. Михайловскій, съ которыми Южакова связывали чувства дружбы и долгой товарищеской работы. И каждыя похороны болѣе или менѣе точно повторяли ритуаль похоронъ Бѣлинскаго,—последними уходили съ нихъ „неизвѣстные“, которые тревожно слѣдили за чѣмъ-то среди уже затихшаго кладбища. Быть можетъ, потому, что жизнь всѣхъ этихъ писателей была выраженіемъ вѣчнаго святого недовольства, которое неуловимо и неумолчно поситя и надъ ихъ могилами.

Перваго декабря 1910 года, здѣсь, въ головахъ у Григорія Захаровича Елисеева, выросъ новый могильный холмъ съ именемъ *Сергія Николаевича Южакова*. И еще одинъ образъ молчаливо говорить въ этомъ городѣ великихъ мертвецовъ о неувыдающей жизни безпокойнаго человѣческаго духа.

ГРИГОРІЙ БОРИСОВИЧЪ ЮЛЛОСЪ.

18 марта, среди бѣлаго дня, въ Москвѣ, на Спиридоновкѣ, убитъ Григорій Борисовичъ Юллосъ. Товарищъ и другъ Герценштейна, убитаго „каморрой народной расправы“ въ Финляндіи, онъ погибъ той-же смертью, послѣ „предостереженій“, исходившихъ изъ того-же источника...

Имя Григорія Борисовича Юллоса пользовалось широкой извѣстностью въ литературныхъ и интеллигентныхъ кругахъ. Уроженецъ Полтавской губерніи, города Кременчуга, онъ окончилъ гимназію въ Одессѣ и затѣмъ отправился для продолженія образованія въ Берлинъ. Здѣсь, по окончаніи курса въ Берлинскомъ университетѣ, онъ написалъ диссертацию по рабочему вопросу, давшую ему ученую степень и открывавшую почетную дорогу въ ученыхъ кругахъ Германіи. Однако, чисто ученая карьера не влекла къ себѣ этого живого и отзывчиваго человѣка. Онъ былъ журналистъ по натурѣ, по всему складу ума и по всѣмъ склонностямъ. Солидное научное образованіе только углубило и усилило въ немъ журналиста. Живи въ Берлинѣ, онъ сталъ посылать корреспонденціи въ „Русскія Вѣдомости“, и очень скоро читатели этой распространенной передовой газеты привыкли, получая свѣжій номеръ, прежде всего разыскивать въ немъ статьи, подписанныя скромной буквой І. Это были не корреспонденціи въ обычномъ смыслѣ слова. Изложенныя живо, ярко, часто даже художественно,— это были бесѣды умнаго, талантливаго, глубоко образованнаго человѣка обо всѣхъ явленіяхъ общественной, литературной и парламентской жизни Германіи. Послѣдній трудъ извѣстнаго ученаго, новая драма выдающагося художника, рѣчь Бебеля или Рихтера въ парламентѣ, митингъ рабочихъ, партійный съѣздъ социаль-демократовъ, рѣчь императора и корректный отвѣтъ на нее независимаго общественнаго дѣятеля, порой просто описаніе обычнаго берлинскаго дня, съ его те-

кущими „злобами“, погодой, уличнымъ движеніемъ, толками и развлеченіями,—все это подъ перомъ Юллоса жило, волновалось, сверкало и возбуждало волненія живой мысли въ его русскихъ читателяхъ. Было что-то особенное въ этомъ яркомъ и переменчивомъ калейдоскопѣ чуждой намъ жизни, что дѣлало ее подъ перомъ Юллоса и для насъ близкой, понятной, захватывающе интересной. Еврей по происхожденію и религіи, европеецъ по образованію, такъ долго жившій за границей, Юллосъ никогда не переставалъ быть гражданиномъ Россіи по чувствамъ, симпатіямъ и стремленіямъ. Живя на высотахъ умственно-политической жизни одного изъ европейскихъ центровъ, окруженный атмосферой свободной и высокой культуры,—онъ никогда не терялъ ощущенія той связи, которая и на чужбинѣ соединяетъ русскаго гражданина съ его безправнымъ отечествомъ. Схватывая на лету проявленія болѣе высокой умственной и политической жизни, облекая ихъ въ живую форму своего яркаго, гибкаго, пластически-выразительнаго слова,—онъ никогда не забывалъ, что его письмо съ берлинской маркой должно отправиться за германскій рубежъ, въ Россію, гдѣ его будутъ читать люди, живущіе въ другой атмосферѣ, среди другихъ политическихъ условій. Корреспонденты, долго живущіе за границей, порой теряютъ ощущеніе своей аудиторіи, вовлекаются въ подробности междупартийныхъ заграничныхъ споровъ, такъ что и отчеты ихъ начинаютъ отражать иной разъ чуждую намъ страстность къ заграничнымъ партийнымъ столкновеніямъ, къ мимолетнымъ вопросамъ чужой тактики данной минуты... Юллосъ никогда не переносилъ центра тяжести своихъ симпатій изъ Россіи въ Германію. Въ его статьяхъ, правда, всегда билось особенное, живое чувство, которое не позволяло имъ превратиться въ безстрастные репортерскіе отчеты. Но это чувство было чувство русскаго, коренившеся въ живомъ интересѣ къ русской жизни. И если во всѣхъ работахъ Юллоса подъ обаятельно спокойной формой всегда ощущалось живое волненіе и, пожалуй, полемика, споръ, даже борьба,—то это не была борьба европейскаго партийнаго полемиста. Нѣтъ, — въ статьяхъ Юллоса сама европейская жизнь, культура, политическая свобода всегда осланивала, порицала и стыдила русской произволь, русское темное безправіе. И это чувствовалось ясно какъ друзьями, такъ и противниками русскаго обновленія. Брюзгливая и желчная московская цензура всегда носилась на Юллоса, не имѣя, однако, возможности придрататься къ спокойно убѣдительнымъ и корректнымъ статьямъ.

Это послѣднее обстоятельство объяснялось совѣмъ не ухищ-

реніями автора, не уловками эзоповскаго стила. Нѣтъ, Толдосъ писалъ всегда ясно, просто, прозрачно и, прибавимъ, вполне цензурно. Но въ этихъ простыхъ безыскусственныхъ картинкахъ вставала подлинная европейская жизнь въ изображеніи искренняго русскаго публициста. И безъ подчеркиваній, безъ напряженной тенденціи, безъ явнаго намѣренія, — всѣ эти картины рождали невольный, жгучій вопросъ: а у насъ? Это было ясно и неуловимо, „неблагонадежно“ съ цензурной точки зрѣнія и — неискоренимо. Это вытекало изъ самого положенія вещей. Писать все это европеецъ по культурѣ и образованію, и русскій по живому гражданскому чувству. Подъ самой радостной картиной чуждой жизни слышалась своя, русская горечь, своя русская скорбь. Это создавало особую, естественно приподнятую точку зрѣнія, съ которой Толдосъ трактовалъ всѣ явленія европейской жизни. Бебелъ могъ спорить съ Рихтеромъ враждебно и страстно. Вождь свободомыслящихъ также страстно могъ опрокидываться на вождя католическаго центра. Толдосъ рисовалъ правильно и безпристрастно общую картину этой борьбы, но у него самого горѣла одна сдержанная страсть, преобладала одна перспектива: онъ бралъ эти европейскіе споры въ ихъ общемъ отношеніи къ русской жизни — безправной, темной, лишенной политической культуры. И вотъ почему выходило, что не только слова Бебелей и Либкнехтовъ, Зингеровъ и Рихтеровъ звучали призывомъ впередъ, къ отдаленнымъ горизонтамъ свободы, но даже рѣчи Виндгорста, вождя центра и германскихъ консерваторовъ, вызывали невольное сравненіе уровня ихъ политическихъ воззрѣній и культуры съ нашимъ „консерватизмомъ“, отрицающимъ самыя основы всякой культуры... Русскій читатель чувствовалъ тутъ глубокую, свою собственную, русскую правду. Задолго еще до открытія російскаго парламента онъ уже получалъ въ письмахъ Толдоса уроки парламентской практики съ ея запутанной казуистикой и, что еще важнѣе, съ ея философій политической борьбы и спокойной терпимости на почвѣ свободы.

Съ наступленіемъ новой эры „російской конституціи“, Толдосъ тотчасъ же оставилъ Европу и вернулся въ Россію, гдѣ онъ былъ избранъ въ Государственную Думу отъ Кременчуга. Въ Думѣ онъ не выдавался ни яркой полемикой, ни боевыми выступленіями. Какъ подъ своими статьями въ газетѣ онъ подписывалъ только одну скромную букву, такъ и въ Думѣ онъ не выдвигался впередъ, незамѣтно внося въ практику новаго русскаго учрежденія свой огромный парламентскій опытъ. И нѣтъ сомнѣнія, что на протяженіи сколько-нибудь продолжительнаго времени эта работа стала бы такъ-

же замѣтна и значительна, какъ и его скромныя по формѣ берлинскія корреспонденціи.

Судьба судила иначе. Первая Дума разогнана, во вторую Толлосъ, какъ и многіе депутаты перваго призыва, не попалъ по причинамъ вѣшняго свойства... Но, какъ журналистъ и редакторъ, онъ представлялъ большую силу.

13-го марта онъ былъ убитъ.

„Предостереженія“ онъ получалъ давно, еще въ ноябрѣ и декабрѣ прошлаго года, но относился къ нимъ съ спокойствіемъ человѣка, знающаго лишь свою дорогу и ту цѣль, къ которой она ведетъ... Какъ-то, за мѣсяць или полтора до рокового дня я былъ у Толлоса, и мы вмѣстѣ пошли въ редакцію „Русскихъ Вѣдомостей“. Дорогой онъ сказалъ мнѣ между прочимъ, что уже съ ноября 1906 года получаетъ „предостереженія“ и угрозы. Одну изъ нихъ почта принесла на дняхъ. Это былъ листокъ съ изображеніемъ двухъ могиль. На одномъ могильномъ камнѣ было написано имя Герценштейна, его ближайшаго друга, тогда уже убитаго, на другой—его имя. Онъ говорилъ спокойно и съ сомнѣніемъ: вѣроятно, пустая угроза.

— Но вѣдь относительно Герценштейна угрозы оказались не пустыми,—сказалъ я.

— Ну, что-жь, — отвѣтилъ онъ съ той-же спокойной задумчивостью.

— У васъ есть какое-нибудь оружіе? Вамъ слѣдовало бы всетаки остерегаться.

— Зачѣмъ?—отвѣтилъ онъ и заговорилъ о другомъ.

Мы подошли въ это время къ концу Спиридоновки и шли мимо дома Торопова. Въ этомъ домѣ съ дворомъ, выходящимъ на двѣ улицы, помѣщается штабъ-квартира союза русскаго народа, редакція газ. „Вѣче“; тамъ-же квартира князя Щербатова. Лицевой стороною каменнаго дома эта „усадебка“ выходитъ на Никитскую. На Спиридоновку глядятъ мрачныя старыя деревянныя ворота, съ калиткой на цѣпи. Ежедневно два раза безоружный журналистъ безпечно проходилъ на работу и съ работы мимо этихъ воротъ, и очень можетъ быть, что уже не разъ въ него впивались въ это время внимательные взгляды врага, выжидавшаго случая для безнаказаннаго убійства. 13 марта около двухъ часовъ дня онъ шелъ изъ редакціи. Спиридоновка была пуста... Раздались выстрѣлы. Толлосъ уналъ, а убійца убѣжалъ въ проходной дворъ.

Исторія освѣтитъ когда-нибудь и подробности убійства, и его дружины*). Пока несомнѣнно только одно: Толлосъ, всю

*) Писано въ 1907 году. Теперь надъ этимъ дѣломъ завѣса уже въ значительной степени приподнята... для исторіи, а не для современнаго суда...

жизнь боравшейся только перомъ за новую свободную просвѣщенную Россію, за ея обновленіе на началахъ свободы и самодѣтельности, убить закоренѣлою „старою“ Русью на задворкахъ старой Москвы, людьми, стоящими за возвратъ къ темному прошлому, съ его произволомъ и безправіемъ. На его смерть глядѣли въ роковую минуту только грязныя ворота враждебной крѣпости, и враги огласили его паденіе злораднымъ издѣвательствомъ и поруганіемъ *)...

Но кто въ сущности побѣдилъ въ этомъ столкновеніи? Герценштейнъ и Иоллосъ, два еврея по происхожденію, убиты одинъ вслѣдъ за другимъ. Одинъ успѣлъ заявить себя въ борьбѣ перваго русскаго парламента за землю для русскаго народа. Другой всю жизнь проводилъ идею русскаго гражданскаго и политическаго освобожденія. И имена этихъ двухъ *евреевъ* теперь связаны смертію съ борьбой русскаго народа за землю и волю.

Этого ли добивалась юдофобствующая націоналистическая „старая Русь“?.. Ни Иоллосъ, ни Герценштейнъ никогда спеціально не занимались такъ называемымъ еврейскимъ вопросомъ. Оба находили, что рѣшеніе всѣхъ вопросовъ въ обще-русскомъ освобожденіи. И, однако, можно ли придумать лучший аргументъ противъ спеціалистовъ племенной вражды, чѣмъ тотъ, который невольно диктуется этой яркой смертію двухъ евреевъ, погибшихъ на глазахъ у всего русскаго народа за дѣло обще-русскаго обновленія!..

Таковъ неуклонный, неотвратимый и роковой ходъ великаго историческаго процесса, направляющагося отъ тьмы племенной ненависти и безправія къ свѣту освобожденія и терпимости. Такая гибель отдѣльныхъ лицъ служитъ грядущему торжеству ихъ стремленій!

*) См. газету „Вѣче“ отъ 14, 15, 16 марта.

АНГЕЛЬ ИВАНОВИЧЪ БОГДАНОВИЧЪ.

(1860—1907).

Полякъ по происхожденію, католикъ по исповѣданію, А. И. Богдановичъ въ раннемъ дѣтствѣ попалъ вмѣстѣ съ семьей въ Нижегородскую губернію, гдѣ выросъ и получилъ среднее образованіе. Впечатлѣнія Приволжскаго края окружали его дѣтство, среднее образованіе онъ получилъ въ нижегородской гимназіи, и русская литература освободительной эпохи заполонила молодую воспримчивую душу. Не забывая родного языка, онъ, однако, сталъ русскимъ по главному содержанию чувства и мысли. Это не былъ переходъ отъ „завоеванныхъ“ на сторону „завоевателей“, отъ угнетенныхъ къ угнетателямъ. Къ какой Россіи примкнулъ полякъ Богдановичъ, видно изъ того, что уже въ первые свои университетскіе годы онъ попадаетъ въ русскую крѣпость, подъ русскій военный судъ, за участіе въ русскомъ освободительномъ движеніи. Въ одной изъ книжекъ журнала „Былое“ *) есть упоминаніе объ этомъ эпизодѣ изъ жизни Богдановича: обвиняли его въ принадлежности къ партіи, стремившейся къ ниспроверженію существующаго строя. На судѣ юный студентъ произнесъ короткую остроумную рѣчь, въ которой сопоставилъ тяжесть обвиненія, грозившаго, если не ошибаюсь, смертной казнью, съ уликами, которыя противъ него выставлялись: въ его квартирѣ нашли при обыскѣ „81 точку типографскаго шрифта“ и эта „восемьдесятъ одна точка“ давала поводъ для обвиненія по грозной 249 статьѣ. Военный судъ вынесъ оправдательный вердиктъ, но университетская карьера Богдановича была прервана, такъ какъ административно онъ все-же былъ высланъ

*) См. „Былое“, январь, 1907 г., стр. 119.

изъ Кіева и нѣсколько лѣтъ жилъ подъ надзоромъ полиціи въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Здѣсь, съ 1886 года, онъ началъ работать въ провинціальныхъ приволжскихъ (преимущественно казанскихъ) газетахъ. Въ эти годы онъ принималъ дѣятельное участіе въ той глухой, сдавленной борьбѣ за право и правду, которую съ такимъ трудомъ и усиліями веда тогдашняя беззаконная печать. Къ концу 80-хъ годовъ онъ, вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ А. А. Дробышевскимъ, переѣхалъ въ Казань, гдѣ принялъ ближайшее участіе въ „Волжскомъ Вѣстникѣ“. Это было время, когда работа въ провинціальной печати являлась настоящимъ подвигомъ: читателей было немного, подписчиковъ еще меньше. За самое скудное вознагражденіе, едва оплачивавшее скромное существованіе литературной богемы, Богдановичъ писалъ передовыя статьи, замѣтки, фельетоны, составлялъ номера, выкраивалъ извѣстія. Можно сказать съ увѣренностью, что вдвоемъ эти „ближайшіе сотрудники“ часто выносили на плечахъ злополучную газету. Въ одномъ были требовательны эти непритязательные работники: они не допускали ни малѣйшей неискренности и фальши. Газета могла говорить не все, но то немногое, что можно было сказать,—должно быть сказано безъ недомолвокъ и искаженій.

На этой почвѣ выходили конфликты съ издателями, и литературнымъ воинамъ приходилось сниматься съ насиженнаго мѣста и перекочевывать съ своими перьями въ другое. Черезъ короткое время боевая кличка Богдановича *Semper Idem* стала очень замѣтна въ среднемъ Поволжьи; нѣрѣдко изъ его фельетоновъ яркія блестящія стали залетать въ столичную печать, и газета, гдѣ онъ основывалъ свой временный бивакъ, сразу привлекала вниманіе, впредь до новаго конфликта изъ-за „чистоты направленія“.

Въ 1893 году Богдановичъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ сначала велъ внутреннее обозрѣніе въ „Русскомъ Богатствѣ“, а затѣмъ вошелъ въ составъ редакціи „Міра Божьяго“. Здѣсь онъ опять развернулъ свою поразительную работоспособность и отдалъ журналу всѣ свои незаурядныя силы, работая вмѣстѣ съ Александрой Аркадьевной Давыдовой. Впослѣдствіи къ нимъ примкнули и новыя силы, но можно, кажется, сказать, не боясь впасть въ преувеличеніе, что журналъ поставленъ твердо и сдѣланъ тѣмъ, чѣмъ сталъ онъ въ лучшія времена своего существованія, главнымъ образомъ усиліями этихъ двухъ человѣкъ... Оба они отдали себя дѣлу журнала всецѣло и беззаветно.

А. И. Богдановичъ, кромѣ редакторской работы, велъ еще

критико-публицистическій отдѣлъ, за скромной подписью А. Б. Читатели журнала, конечно, помнятъ эти летучіе, живые очерки, порой яркіе, порой парадоксальные, но всегда глубоко искренніе и проникнутые горячей любовью къ литературѣ.

27 марта, въ сумрачный весенній день, на Волковомъ кладбищѣ читатели-друзья покойнаго и его друзья-писатели присутствовали при не совсѣмъ обычномъ зрѣлищѣ: на русскомъ православномъ кладбищѣ у раскрытой могилы стоялъ католическій священникъ, и раздавались печальные звуки латинскаго „*requiem aeternam dona ei, Domine*“. Поляка-католика хоронили въ литераторской части православнаго кладбища, потому что этотъ полякъ былъ искренній русскій писатель, и настоящей родиной его души была русская литература. Кругомъ свѣжей могилы высились кресты и памятники ранѣе пришедшихъ туда русскихъ товарищей, встрѣчавшихъ своего собрата-поляка, еще молодого, но успѣвшаго уже много поработать на нивѣ мысли, слова, свободы и солидарности...

ЛИТЕРАТОРЪ-ОБЫВАТЕЛЬ.

(Рѣчь, читанная въ годовщину смерти А. С. Гацискаго).

I.

15-го ноября 1847 г. въ № 71 *Нижегородскихъ Губернскихъ Вѣдомостей*, въ отдѣлѣ, озаглавленномъ „о прѣхавшихъ и выбывшихъ съ 8-го по 12-е ноября“, отмѣчено прибытіе въ городъ Нижній лѣкаря Серафима Гацискаго, который, впрочемъ, по ошибкѣ наборщика или отмѣтчика названъ Гацынскимъ. Вмѣстѣ съ нимъ водворились въ городѣ: его жена и сынъ *Александръ*, девяти лѣтъ.

Серафимъ Гацискій происходилъ изъ польскаго рода Дахновичей. Одному изъ его предковъ, Григорію Дахновичу, пожаловано польскимъ королемъ Сигизмундомъ III имѣніе Гащицы (гать, гатище) за какія-то услуги при осадѣ Смоленска. Съ тѣхъ поръ Дахновичи стали прибавлять къ фамиліи кличку (przydomek) Гацискій.

Жена лѣкаря и мать нашего писателя Александра Серафимовича Гацискаго, Генриетта Свобода, была дочь французскаго эмигранта. Настоящая фамилія ея отца осталась неизвѣстной. Свободой онъ назывался потому, что приобрѣлъ за нѣсколько франковъ у чеха Свободы узаконенный паспортъ, съ которымъ и прибылъ въ Россію. Здѣсь онъ поселился въ Ревель и унесъ съ собой въ могилу тайну своей прошлой жизни. Былъ ли это аристократъ, бѣжавшій отъ преслѣдованія конвента, или, наоборотъ, ярый якобинецъ, имѣвшій основаніе молчать о своей дѣятельности передъ русскимъ правительствомъ, благопріятствовавшимъ аристократической эмиграціи,—сказать теперь невозможно. Несомнѣнно только одно, что мальчикъ Александръ Гацискій, прибывшій съ отцомъ въ

Пискарий-Новгородъ въ ноябрѣ 1847 г., наслѣдовалъ частію кровь польскаго гербовога шляхтича, частію же французскаго выходца временъ революціи, женившася, вдобавокъ, на ревелскаго пѣмкѣ. Въ шутиливой „Некрологіи старца Александра“ (написанной къ своему литературному юбилею въ 1889 г.) самъ Александръ Серафимовичъ отмѣчаетъ то обстоятельство, что юные годы его протекли подъ многообразнымъ воздѣйствіемъ нѣсколькихъ національныхъ началъ: „польскаго (отъ отца), французско-ревелскаго (отъ матери), французско-швейцарскаго (отъ гувернера-воспитателя ш-г Jacot) и чисто-россійскаго (отъ няни Аграфены Кирилловны Орѣховой)“. Чрезвычайно интересно отмѣтить эти, такъ сказать, космополитическія черты въ біографіи человѣка, которому впоследствии суждено было стать истинно-типичной, бытовой фигурой, не просто русскою, но даже специально областною, „человѣкомъ нижегородскаго Поволжья“.

Въ 1849 г. Александръ Гацискій поступилъ въ нижегородскую классическую гимназію, а по окончаніи севастьяпольской кампаніи былъ уже въ казанскомъ университетѣ. Въ *Нижегород. Губ. Видоимостяхъ* за 1865 г. (№ 23) помѣщены воспоминанія Гацискаго о С. В. Ешевскомъ, профессорѣ сначала казанскаго, а потомъ московскаго университета. Онъ читалъ исторію послѣ проф. Иванова, который велъ свои лекціи въ стилѣ Шевырева, приподнятомъ и исполненномъ искусственнаго патріотическаго пафоса. Самъ бывало плачетъ и аудиторія реветъ, — шутиливо вспоминали впоследствии бывшіе его слушатели. Намъ трудно теперь понять этотъ условно-патріотическій тонъ, съ вѣчно-готовымъ пафосомъ, со слезами, проливаемыми ежегодно въ такомъ-то мѣстѣ литографированныхъ записокъ, — но до Севастополя онъ, очевидно, былъ въ модѣ и пользовался правомъ гражданства. Послѣ этихъ бурно-пламенныхъ чтеній первая лекція молодого профессора, говорившаго просто и ясно, безъ громовъ и литавровъ, безъ воплей и слезъ, произвела на слушателей впечатлѣніе ошеломляющей неожиданности. „Мы не знали, — вспоминалъ впоследствии Гацискій, — что это такое: необыкновенно хорошо, или ужъ нигде не годится“. Дальнѣйшія чтенія опредѣлили окончательно отношеніе аудиторіи къ профессору: это было свѣжее вѣяніе новаго критическаго направленія въ исторіи, вносящее ясное и простое освѣщеніе въ область, загроможденную до тѣхъ поръ бутафорскими принадлежностями ложно-классическаго маскарада. Изъ школы Ешевскаго вышли, между прочимъ, извѣстнѣйшій историкъ Бестужевъ-Рюминъ, и Ешевскій же, несомнѣнно, способствовалъ зарожденію той исторической

струи, которая впоследствии являлась преобладающей чертой умственного склада Гациского и его товарищей.

Къ этому слѣдуетъ, разумѣется, прибавить вліяніе общерусской атмосферы того времени, полной свѣжихъ стремленій и надеждъ. Этотъ періодъ общественнаго пробужденія, совпавшій съ опредѣляющимъ періодомъ жизни самого Гациского, наложилъ на него характеристическій и ясный отпечатокъ, проникавшій до послѣднихъ дней всѣ отрасли его общественной дѣятельности. Очень важно также то обстоятельство, что эти годы застали Гациского въ стѣнахъ именно провинціального университета. Эпоха умственного подъема и пробужденія идеальныхъ стремленій сказалась нѣсколько различно на учащейся молодежи столицъ и провинціи. Въ то время какъ въ Москвѣ и Петербургѣ умственное движеніе принимало характеръ широко философскій и до извѣстной степени космополитическій, — въ провинціяхъ оно окрашивалось областными отбѣнками. На югѣ пробуждались украинофильскія симпатіи, въ Казани пылкій Щановъ разыскивалъ земскія и областныя начала въ исторіи русскаго народа...

Если прибавить, что въ Нижнемъ уже въ сороковыхъ годахъ работалъ талантливый этнографъ П. И. Мельниковъ и что отецъ Гациского въ юности принадлежалъ къ Обществу Филаретовъ, — то этимъ мы можемъ закончить далеко не полную, конечно, характеристику той умственной и нравственной атмосферы, среди которой выросъ А. С. Гацискій. Въ бумагахъ, оставшихся послѣ его смерти, есть автобіографія, назначенная для словаря г. Венгерова, и подробный дневникъ, исписанный необыкновенно мелкимъ почеркомъ и доведенный до 70-хъ годовъ. Изъ нихъ мы навѣрное узнаемъ много интереснаго о томъ умственномъ настроеніи, изъ котораго возникло основное и опредѣляющее стремленіе всей жизни А. С. Гациского и нѣкоторыхъ его сверстниковъ, отдававшихъ, какъ и онъ, свои силы на служеніе несуществовавшей еще тогда областной прессѣ.

Повидимому, уже въ то время, когда, только-что покинувшій университетскую скамью, онъ стоялъ, какъ сказочный герой, на распутьи разныхъ жизненныхъ дорогъ, — эта руководящая идея была въ немъ сознательной и впоследствии почерпала только новую крѣпость въ потраченныхъ усиліяхъ, въ испытанныхъ удачахъ и неудачахъ. Она же заставила его вернуться въ Нижній изъ столицы, куда онъ направился тотчасъ послѣ окончанія университетскаго курса.

Въ той же шутливой „Некрологіи старца Александра“, о которой я упоминалъ выше и изъ которой почерпнулъ эти

біографическія свѣдѣнія, Гацискій говоритъ, что „въ Казані, по слабости характера и подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ порочныхъ товарищей, онъ предался страсти къ увеселеніямъ въ предѣлахъ, благоразуміемъ не дозволяемыхъ“. Увы! — это также черта, въ большей степени присущая провинціальнымъ университетамъ, и надо думать, что увлеченіе это, въ тѣ времена гомерическихъ кутежей и „олимпійскаго“ похмѣлья, кончавшихся по большей части прозаическимъ запоемъ, дѣйствительно начинало принимать размѣры довольно опасные. По крайней мѣрѣ опасеніемъ печальныхъ послѣдствій самъ Гацискій объясняетъ свое переселеніе въ Петербургъ, гдѣ природное благоразуміе, врожденная порядочность и склонность къ серьезнымъ умственнымъ интересамъ встрѣтили, по видимому, болѣе благоприятную почву. Здѣсь-то, познакомившись съ В. Курочкинымъ, редакторомъ *Искры*, Александръ Серафимовичъ напечаталъ (3-го іюля 1859 года) свою первую литературную работу — беллетристическій очеркъ „Записки офицера“. Произведеніе это, написанное, правда, литературно и бойко, не блещетъ, однако, никакими художественными достоинствами. Между тѣмъ, разбирая бумаги покойнаго, и нашелъ письмо священника, писанное ко дню 30-лѣтняго юбилея Гацискаго, въ которомъ авторъ воспоминаетъ, что „Записки офицера“ ходили въ Нижнемъ въ рукописныхъ спискахъ. Надо думать поэтому, что уже въ этомъ первомъ опытѣ было нѣчто, затрогивавшее какія-то живыя тогда, хотя и замолкшія струны. И очень можетъ быть, что если бы авторъ пошелъ дальше по этой дорогѣ, то онъ выработался бы въ хорошаго рассказчика или беллетриста-этнографа. Нужно, однако, сказать, что выдающейся чертой литературной фizioноміи или вѣрнѣе, литературной судьбы Гацискаго является то обстоятельство, что ему не пришлось избрать окончательно и безповоротно ни одного литературнаго жанра. Объ этомъ мнѣ придется еще говорить впоследствии, а пока отмѣчу только, что еще два очерка („Музыкальныя воспоминанія“ и „На именинахъ“), появившіеся въ *Искрѣ* въ томъ же 1859 г., являются послѣдними попытками Гацискаго въ этомъ родѣ. Впоследствии беллетристическая жилка сказывалась развѣ въ томъ своеобразномъ стилѣ, исполненномъ описаній природы и лирическихъ отступленій, въ которомъ написаны многія статьи Гацискаго — этнографическаго и историческаго содержанія. Послѣ этого онъ окончательно избираетъ свой путь и возвращается въ 1861 г. изъ Петербурга въ Нижній, въ качествѣ чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ Одинцовѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ качествѣ редактора *Нижегородскихъ Губернскихъ Вѣдомостей*.

II.

„Оживлять *Губернскія Вѣдомости*“! Въ то время эта задача имѣла свое специфическое значеніе для людей, работавшихъ въ провинціи. Дѣло въ томъ, что губернскія вѣдомости исчерпывали собою, за незначительными исключениями, всю наличную провинціальную прессу. Изъ этого совершенно ясно, что всякому, кто, подобно А. С. Гацискому, рѣшилъ отдать свое перо на служеніе областной прессѣ,—предстояло прежде всего вѣдаться съ единственнымъ ея органомъ.

На этой почвѣ происходили частыя драмы или, скорѣе, траги-комедіи. Тутъ былъ бы прежде всего просвѣщенный администраторъ, благосклонно желающій, чтобы въ „его край“ процвѣли искусства и науки вообще и печатное слово въ частности. Тутъ были бы, во-вторыхъ, болѣе или менѣе умные и талантливые (но и нѣсколько наивные на нашъ нынѣшній взглядъ) представители губернской интеллигенціи, которые съ жаромъ и пылкими надеждами принимались за „неофициальный отдѣлъ“, предоставляемый въ ихъ распоряженіе. Въ первомъ дѣйствіи — общее благоволеніе и призывы „къ совместному труду на пользу края“. Во второмъ—появленіе перваго обновленнаго и „оживленнаго“ номера, знаменующаго начало процвѣтанія мѣстной прессы. Потомъ — первыя тучи на ясномъ небѣ. Одной сторонѣ казалось, что достаточно добраго желанія, чтобы все процвѣло во „вѣренномъ край“ и что теперь „темныя стороны“ могутъ существовать развѣ только въ сосѣднихъ губерніяхъ. Другая ждала, что ей позволено будетъ раскрывать „бѣдность и несовершенства нашей жизни“ и призывать лучшее будущее. На этой почвѣ взаимныя недоразумѣнія растутъ, какъ грибы, „оживленіе“ вскорѣ кончается среди обоюднаго охлажденія и недовольства, неофициальный отдѣлъ исчезаетъ или принимаетъ чисто канцелярскій характеръ, и губернский органъ опять издается для однихъ только шкафовъ волостныхъ правленій, гдѣ благія начинанія находятъ вѣчное успокоеніе, рядомъ съ волостными книгами договоровъ, пустыми полустофами и огрызками колбасы. Хорошо еще, если въ результатъ „оживленія“ не оказалось какой-нибудь безнадежно разбитой служебной карьеры.

То же, въ концѣ-концовъ, постигло и нижегородскій губернский органъ, хотя, правда, редакторская дѣятельность Гацискаго на первое время встрѣтила съ внѣшней стороны болѣе благопріятныя условія. Губернаторъ А. А. Одинцовъ (1861—1878 гг.), смѣнившій декабриста Муравьева, представлялъ собою типъ губернскаго администратора довольно рѣдкій и

въ наше время, пожалуй даже въ наше время особенно. Мы можемъ только вздыхать, вспоминая, что были когда-то и такіе губернаторы! Впослѣдствіи, уже оставляя губернію, онъ въ шутиливой рѣчи на прощальномъ обѣдѣ самъ охарактеризовалъ свою губернаторскую дѣятельность: „своимъ десятилѣтнимъ ущавленіемъ,—сказалъ онъ,—я доказалъ ясно (и это моя главная заслуга), что губернія могла десять лѣтъ отлично обходиться безъ губернатора“. Это, конечно, была шутка, и А. С. Гацискій, упоминая объ этомъ въ своемъ сборникѣ („Люди нижегородскаго Поволжья“), приводитъ нѣсколько случаевъ, когда присутствіе въ губерніи губернатора Одинцова сказывалось довольно ощутительно. Но все это были случаи такъ сказать элементарные, когда приходилось возстановить какое-нибудь нарушенное равновѣсіе или какіе-нибудь попоранные законные интересы. Когда равновѣсіе возстановлялось и законъ опять вступалъ въ свою силу,—губернаторъ Одинцовъ устранился, и губернатора Одинцова какъ будто не было видно. Онъ не думалъ, что во „вѣренномъ краѣ“ все должно отъ него исходить и къ нему устремляться, что самыя злаки не могутъ произрастать безъ того, чтобы администрація не подтягивала ихъ изъ земли кверху, и что право на дальнѣйшее существованіе имѣетъ лишь то, что зародилось по его особому благословенію, въ узкомъ пространствѣ, освѣщенномъ специальнымъ губернаторскимъ вниманіемъ. Одинцовъ, повидимому, вѣрилъ въ силу простого солнечнаго свѣта, и всякое обывательское начинаніе, не вступавшее въ прямое противорѣчіе съ существующими узаконеніями, пользовалось если не административной поддержкой, то тѣмъ, что часто бываетъ лучше такой поддержки, полной терпимостью. „Поддержка“, даже самая энергичная,—по необходимости узка и односторонняя, тогда какъ терпимость даетъ сразу просторъ естественнымъ силамъ по всей поверхности мѣстной жизни.

Это очень удобно для края, но не особенно выгодно для личной репутаціи администратора. Въ то время какъ другіе наполняютъ мѣстную исторію своей предприимчивостью и энергіей до такой степени, что начинаютъ казаться, будто самаго края не существуетъ и все живетъ и движется блестящей дѣятельностью одного лица,—Одинцовы проходятъ незамѣтно, какъ будто въ это время „губернія въ самомъ дѣлѣ была безъ губернатора“. Ихъ торжество — торжество закона, законныхъ интересовъ и тому подобныхъ безличныхъ началъ. И когда дѣло сдѣлано, когда никто не кричитъ караулъ, и то, что родилось само, само же пытается расти и крѣпнуть,—то мы и не вспоминаемъ объ администраторѣ, какъ будто

все такъ и шло всегда въ этомъ мѣрѣ, гдѣ есть дожди и солнце, трудолюбивые земледѣльцы и обрабатываемыя ими нивы, предприимчивые коммерсанты и промышленность... И только внимательный взглядъ различить въ окончательномъ результатѣ „отрицательной“ дѣятельности Одинцовыхъ—приросты и плюсы въ самой жизни; тогда какъ въ результатѣ иной необыкновенно „блестящей“ личной энергіи и предприимчивости такъ часто открываются изъяны и недочеты. Уйдетъ такой энергичный администраторъ, и тотчасъ же все меркнетъ. „Блестящая страница“ кончилась, и мы видимъ, что многочисленныя и разнообразныя процвѣтанія охватили узенькое, искусственно освѣщенное пространство, а за-то многое, зарождавшееся силою самой жизни, погибло и увяло; что такихъ безвременно погибшихъ начинаній безконечно болѣе, чѣмъ принявшихъ жизнь отъ личной энергіи; что, наконецъ, обыватель утратилъ за это время значительную долю и безъ того небогатыхъ запасовъ инициативы, которыми его надѣлила исторія, и по приобретенной привычкѣ даже самому факту восхожденія солнца готовъ повѣрить не иначе, какъ по соответствующемъ о томъ извѣщеніи съ пожарной каланчи или изъ полицейской будки.

Редакторская дѣятельность А. С. Гацискаго въ Нижнемъ-Новгородѣ почти цѣликомъ совпадаетъ съ періодомъ губернаторства Одинцова. Но уже одинъ изъ ближайшихъ его преемниковъ (гр. Кутайсовъ) подготовилъ Гацискому одну изъ тѣхъ неожиданностей, которыя у насъ принято называть „печальными недоразумѣніями“. Къ счастью, въ это время гр. Кутайсова смѣнилъ гр. Игнатьевъ, который нашелъ, что этотъ „опасный человѣкъ“ есть наоборотъ человѣкъ очень благонамѣренный и полезный. Въ бумагахъ покойнаго писателя сохранились указанія на эти въ высокой степени интересныя страницы его біографіи, но это не входитъ въ задачи этого очерка, и мы обратимся теперь къ изложенію опыта Гацискаго по насажденію мѣстной прессы.

III.

Въ темахъ и запросахъ недостатка, разумѣется, не было. Въ обществѣ совершался переломъ, требовавшій живого и умнаго слова, разъясняющаго новыя жизненныя отношенія. „Чѣмъ еще недавно занято было наше общество? — спрашивалъ А. С. Гацискій въ одной изъ своихъ статей (*Губ. Вид.* 1862 г., № 28). Только и разговоровъ было, что кто сколько визитовъ сдѣлать, да кто сколько полекъ безъ передышки отхватать, да о томъ, что въ вѣсѣ. Полковникъ старыхъ

временъ“ очень выгодно выказываются формы г-жи Н. Нынче же прислушайтесь къ разговорамъ: кто говорить о новыхъ судахъ, кто о волостныхъ судахъ, кто о судѣ присяжныхъ“. Но самая техника областного слова была слаба и недостаточна для удовлетворенія этимъ запросамъ. Идеи искали своихъ людей и часто не находили. „Неужели,—спрашиваетъ Гацискій въ № 50 тѣхъ же *Губернскихъ Вѣдомостей*, — въ цѣлой губерніи не найдется трехъ-четырехъ человекъ, котрые своимъ сотрудничествомъ помогли бы *Губернскимъ Вѣдомостямъ* подняться?“ Это настоящій вопль живого, интеллигентнаго человекъ, испуганнаго своимъ одиночествомъ. А между тѣмъ, неужели тогда въ самомъ дѣлѣ не было людей? Если говорить спеціально о прессѣ, то вѣдь столичная пресса именно съ этого времени превращается изъ забавы словесностью въ серьезную общественную силу. Это правда, но правда также и то, что пишущихъ людей, въ общемъ, было немного, и все, что было, схлынуло въ столичные органы. Провинціальная же пресса оставалась еще безъ дѣятелей. Обновленному губернскому органу нужно было еще разыскивать своего писателя и приучать къ себѣ читателя медленно и съ трудомъ.

А вотъ каковы были вѣшнія условія работы А. С. Гацискаго. Въ распоряженіи его (какъ редактора „неофициальной части“) состоялъ въ то время одинъ наборщикъ. Этотъ труженикъ, раздѣлявшій съ молодымъ редакторомъ задачу оживленія губернскаго органа прессы, — „долженъ былъ и набрать №, и выставить его въ станокъ, и выправить корректуру, и потомъ разобрать литеры, такъ какъ безъ этого, по скудости кассы, ея неостанетъ на слѣдующій №“. Къ тому же этотъ типографскій геркулесъ, выносившій на своихъ плечахъ прессу цѣлаго края, — оплачивался очень скудно, и у редактора не хватало духа предъявлять слишкомъ большія требованія къ своему единственному наборщику, скромному труженику, самое имя котораго осталось, къ сожалѣнію, совершенно неизвѣстнымъ.

Какъ бы то ни было, „оживленіе“, хотя и не особенно бойкое, все-таки происходило. Появлялись статьи о театрѣ, о мѣстныхъ событіяхъ, отмѣчался ходъ крестьянской реформы. И главное—затецился огонекъ, на который понемногу потянулся обыватель-корреспондентъ изъ уѣздныхъ захолустій: Сергача, Лукоянова, Городца и Балахины. Интересно и даже трогательно въ наше скептическое время перечитывать эти первые, еще робкіе опыты мѣстной публицистики. Отреченіе отъ стараго и самая надежда на близкое будущее во-

дили перомъ захолустнаго корреспондента. Не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести для примѣра корреспонденцію изъ Балахны (*Губ. Вид.* № 7, 1863 года).

„Впередъ, впередъ, нашъ длинный, но узкій городокъ! Пусть въ жизни твоей только одна мѣстность стѣсняетъ ширину твоего населенія, и то потому, что ты прибрежное дѣтище Волги!.. Твое древнее достояніе—солеварни чуть не допотопнаго устройства—обряжаются нынѣ въ новыя удобнѣйшія формы... Ихъ пробудила наука, передавшая тебѣ свое знаніе черезъ морского инженера В. П. Васильева... Ты завелъ у себя бібліотеку, и только ждешь преобразованія по управленію городскими суммами, чтобы исправить необходимыя пути сообщенія... О, много, много талантовъ въ тебѣ, дорогой нашъ городъ!..“

И т. д. Интересно, между прочимъ, что вся эта пылкая тирада—только вступленіе къ рецензій о любительскомъ спектаклѣ, къ которому авторъ и переходитъ, замѣчая, что послѣ такихъ подвиговъ на пути прогресса городъ имѣетъ право отдохнуть и повеселиться...

Очевидно, предавая тисненію эти балахнинскіе, сергачскіе и другіе восторги, редація имѣла въ виду поощреніе своихъ безкорыстныхъ корреспондентовъ, и было бы несправедливо думать, что этими изліянiami ограничивалась мѣстная публицистика того времени. Несмотря на узость рамокъ, въ ней пробивались уже и другія, болѣе серьезныя ноты, встрѣчались попытки разъясненія на новыхъ началахъ жизненныхъ отношеній. Для примѣра мы возьмемъ статью другого органа, редактировавшагося тоже Гацискимъ. Въ *Нижегородскомъ Ярмарочномъ Листкѣ* было помѣщено объявленіе о конторѣ г. Лика для найма и рекомендаціи прислуги. Въ наше время такія конторы открываются съ соотвѣтствующаго разрѣшенія полиціи и безъ дальнихъ околичностей приступаютъ къ взиманію соотвѣтствующей мзды за комиссію. Но въ тѣ наивныя времена каждое новое дѣло ставилось принципиально и не обходилось безъ нѣкотораго пафоса. Поэтому и г. Ликъ въ своемъ объявленіи прибѣгаетъ къ примѣрамъ просвѣщенныхъ странъ, говоритъ и объ общественномъ благѣ, и о прогрессѣ, и чуть не „о любви къ отечеству и народной гордости“. А. Г. (иниціалы Гацискаго), отмѣчая новое учрежденіе въ фельетонѣ о ярмаркѣ,—обращаетъ вниманіе на одну сторону, упущенную изъ виду Ликомъ, обѣщавшимъ всевозможныя гарантіи и справки о поведеніи прислуги—нанимателю. Хорошо,—писалъ по этому поводу Гацискій,—но отчего же нѣтъ рѣчи о гарантіяхъ и справкахъ для нанимавшихся? „Кто бы ни

быль нанимающийся, — гувернеръ или кучеръ, управляющій имѣніемъ или дворникъ, — онъ долженъ имѣть въ актѣ *условія* одинаковыя права съ нанимателемъ. Что такое наемъ? Если это *обоюднo-свободное* условіе одного лица съ другимъ... то оно должно существовать на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и всякій разумный договоръ двухъ заинтересованныхъ сторонъ, со всѣми разумными послѣдствіями. Если договоръ такого рода, что требуетъ непременно гарантій, гарантія необходима съ обѣихъ сторонъ. А если все это такъ, то странно, что, накладывая своего рода *main potte* на нанимающагося, г. учредитель не допускаетъ недобросовѣстности нанимателя. А вѣдь это легко можетъ случиться“.

Я полагаю, что эта простая мысль не утратила своей свѣжести еще и въ наше время, когда въ значительно выросшей россійской прессѣ вновь и неоднократно подымается все тотъ же „вопросъ о прислугѣ“. Въ то время идея „равноправности“ только что освобожденнаго меньшаго брата, провозглашенная сверху въ основныхъ положеніяхъ, — проводилась послѣдовательно и неуклонно во всѣ мелкія развѣтвленія житейскихъ отношеній. Съ тѣхъ поръ многое вокругъ насъ измѣнилось: идея освобожденія въ значительной мѣрѣ проникла въ практику жизни и обоюднo укоренилась въ нравахъ. Это огромное преимущество нашего времени, черта бытового прогресса, указывающая, что эпоха реформъ не прошла безслѣдно. Фактически мы имѣемъ теперь гораздо больше равноправности въ житейскомъ обиходѣ, чѣмъ въ тѣ времена, когда практика во всемъ объемѣ житейскихъ отношеній была еще полна крѣпостническихъ привычекъ съ обѣихъ сторонъ. Но за-то въ идеѣ — мы заключали тогда отъ рабства къ свободѣ. Теперь у насъ гораздо больше свободы въ нравахъ, но мы опять заключаемъ — къ рабству.

Само собою разумѣется, что рамки губернскаго органа очень скоро оказались тѣсны для нарождающейся провинціальной публицистики. Отсюда — постоянное стремленіе выйти изъ предѣловъ узкой программы, стремленіе, не у всѣхъ встрѣчавшее такую благосклонную терпимость, какъ у губернатора Одинцова. Ужь въ 1864 году слѣдуетъ въ этомъ смыслѣ внушительное указаніе изъ Петербурга. Въ статьѣ 17-го номера *Губернскихъ Вѣдомостей* (25-го апрѣля 1864 г.) А. С. Гацискій высказываетъ нѣсколько мыслей о благотворительности. Общія заключенія автора въ высшей степени скромны, даже скорѣе робки, чѣмъ умѣренны. Намъ теперь трудно понять, что собственно вреднаго предполагалось въ этой статьѣ, провоздвигшей мысль, что обществу и правительству еще очень

долго придется смягчать послѣдствія нищеты посредствомъ благотворительности, не касаясь основныхъ причинъ этого явленія. Фактъ, однако, тотъ, что эта статья подала поводъ къ собственноручному письму министра внутреннихъ дѣлъ П. А. Валуева (какъ кажется, принципиальнаго противника областной прессы) на имя губернатора Одинцова. Съ этихъ поръ статьи подобнаго общаго содержанія въ *Губернскихъ Вѣдомостяхъ* (по крайней мѣрѣ временно) прекращаются.

Тѣмъ, конечно, съ большимъ напряженіемъ стучатся онѣ въ другія двери и ищутъ другого помѣщенія, по возможности въ частной газетѣ.

IV.

Первою частною газетою Нижегородскаго Поволжья явился *Нижегородскій Справочный Ярмарочный Листокъ*, принадлежавшій нѣкому Мельгунову *).

Интересная черта къ исторіи областной печати. Повидимому высшая администрація того времени смотрѣла на провинціальную газету, какъ на праздную затѣю, совершенно излишнюю и пожалуй вредную, причиняющую сверхмѣрныя безпокойства цензурному вѣдомству. Поэтому добиться права на изданіе частной газеты въ провинціи и въ то время было почти невозможно.

Первыя отступленія отъ этого общаго правила были сдѣланы въ пользу торгово-промышленныхъ интересовъ. Потребность въ органѣ „объявленій, биржевыхъ и другихъ справокъ“ представлялась до такой степени осязательной и реальной, что отказать въ основаніи такого органа въ сколько-нибудь крупномъ промышленномъ городѣ было почти невозможно. Вотъ почему заглавія „N-скій биржевой листокъ“ или „N-скій листокъ справокъ и объявленій“ — являются прототипами провинціальныхъ газетъ въ первомъ періодѣ. Скоро, однако, сама жизнь указываетъ на то, что дѣйствительная потребность лежитъ совсѣмъ не здѣсь. Торгово-промышленные листки ведутъ самое жалкое существованіе, изданіе не окупаетъ даже бумаги и печати, и владѣльцы обращаются съ жалобными просьбами о расширеніи программы. Тогда передъ администраціей встаетъ другой „реальный интересъ“: издатель разорился и проситъ дать возможность вернуть затраты. Если этотъ понятный и осязательный мотивъ встрѣчаетъ признаніе, то слова „биржевой“ или „справокъ и объявленій“ начинаютъ печататься въ заголовкѣ все меньшимъ шрифтомъ, пока не

*) Издавался съ 1860 до 1873 г.

атрофируются совершенно и пока из *N-скаго биржескаго листка* справокъ и объявленій не сдѣлается просто „*N-скій листокъ*“, — газета литературная и политическая“. Если же почему-либо просьбы оставляются безъ послѣдствій, — то бѣдный органъ увидаеть и падаетъ, какъ осенній листокъ, изсохшій отъ недостатка питанія, безъ живой связи съ почвой...

Эту печальную исторію испыталъ на себѣ и Мельгуновъ, издатель *Нижегородскаго Справочнаго Ярмарочнаго Листка*. Въ теченіе трехъ лѣтъ онъ боролся съ равнодушіемъ торгово-промышленнаго класса, во имя котораго только и получилъ разрѣшеніе. Всѣ его жалобныя слезницы о расширеніи программы встрѣчались въ Петербургѣ полиѣйшимъ равнодушіемъ. Тогда-то онъ обратился къ содѣйствію А. С. Гацискаго и А. П. Смирнова, бывшихъ въ то время членами статистическаго комитета и стоявшихъ въ центрѣ мѣстной интеллигенціи. Для оживленія умирающаго органа они сообща прибѣгли къ чрезвычайно сложной и запутанной комбинаціи. Съ 1863 г. Мельгуновъ по договору передаетъ свою газету статистическому комитету, какъ учрежденію официальному, которому очевидно легче было добиться расширенія программы. Затѣмъ губернской статистической комитетъ, по новому договору, сдаетъ газету Мельгунову въ аренду. И въ довершеніе всей этой юридической путаницы фактическое редакторство все-таки переходитъ къ А. С. Гацискому и А. П. Смирнову, какъ членамъ статистическаго комитета *). Эта невинная хитрость со стороны кружка мѣстныхъ писателей, имѣвшая очевидно цѣлью — провести первую частную газету подъ официальнымъ флагомъ, вначалѣ послужила несчастному листку на пользу. Цѣлый рядъ постепенныхъ ходатайствъ со стороны комитета, поддержанныхъ благосклоннымъ сочувствіемъ губернатора Одинцова, былъ уваженъ. Газета получала новый отдѣлъ за отдѣломъ, не исключая даже „политическихъ извѣстій“, подъ условіемъ, однако, заимствованія таковыхъ изъ официальныхъ петербургскихъ изданій. Съ 20-го іюня 1870 г. Мельгуновъ, по ходатайству все того-же губернскаго комитета, получаетъ разрѣшеніе откинуть эпитетъ „ярмарочный“ и выпускать газету круглый годъ, а не въ ярмарочное только время.

Однако, уже съ конца 60-хъ годовъ отношеніе къ *Листку* измѣняется къ худшему. Въ цѣломъ рядѣ бумагъ на имя губернатора главное управленіе по дѣламъ печати отмѣчаетъ

*) А. П. Смирновъ умеръ въ концѣ 1864 года или въ началѣ 1865 г. Съ этого времени Гацискій редактировалъ газету одинъ.

постоянная погрѣшности газеты. То, въ одной статьѣ, „преувеличенно и тенденціозно“ трактуется о бѣдности учащейся семинарской молодежи; то въ другой—какъ бы оправдывается народное пьянство ссылкой на изреченіе св. Владиміра („веселіе есть Руси пити“) и т. д., и т. д. Если вспомнимъ, что въ тѣ времена болѣе или менѣе безпрепятственно печаталось въ столичныхъ изданіяхъ,—то самая ничтожность этихъ обвиненій покажетъ краснорѣчиво, что для областной печати существовали совершенно инныя мѣрки. Впрочемъ, гораздо проще дѣло объясняется нѣсколькими ироническими сентенціями, сопровождающими почти каждое изъ этихъ указаній. „Нельзя не замѣтить, что все это не входитъ въ утвержденную программу изданія“. Дѣйствительно, не смотря на значительное повидимому расширеніе, программа *Листка* все-таки оставалась еще очень узкой, и статьи руководящаго характера, обзорѣнія и фельетоны проходили только благодаря терпимости мѣстной цензуры. Теперь газетѣ показывали ясно, что впередъ она должна держаться строго въ предѣлахъ программы, а въ дальнѣйшемъ ея расширеніи отказывали категорически. Наконецъ, въ 1872 году (4-го іюля) послѣдовало совершенно точное и, къ сожалѣнію, довольно справедливое замѣчаніе, что изданіе частной газеты „обще-литературнаго и политическаго направленія“ отнюдь не входитъ въ задачи губернскаго статистическаго комитета, почему и предлагается послѣднему окончательно выяснить отношенія свои къ изданію, не возобновлять съ Мельгуновымъ контракта и обратить газету въ дѣйствительный органъ комитета, для печатанія трудовъ послѣдняго.

Само собою разумѣется, что это равнялось фактическому закрытію газеты, и уже къ слѣдующему году *Листокъ* прекратилъ свое существованіе, длившееся при указанныхъ очень тяжелыхъ условіяхъ ровно десять лѣтъ. Къ этому времени ему, очевидно, удавалось постепенно одолевать внутреннія препятствія (отсутствіе силъ и равнодушіе публики): онъ выросъ въ объемѣ и выходилъ уже круглый годъ, по 4 раза въ недѣлю...

Къ этому слѣдуетъ прибавить еще одинъ эпизодъ, въ которомъ, правда, Гацискій не игралъ непосредственной роли, какъ въ предыдущихъ случаяхъ, но въ которомъ, однако, онъ принималъ близкое участіе. Въ 1872 году, т. е. какъ разъ въ то время, когда судьба *Нижегородскаго Листка* уже выяснилась и онъ доживалъ послѣдніе дни,—въ Казани кружокъ мѣстныхъ писателей, товарищей Гацискаго, сталъ издавать *Камско-Волжскую Газету*. Редакторомъ - издателемъ

былъ Н. Я. Агафоновъ, ближайшими сотрудниками—Пономаревъ и К. Лаврскій въ Казани. А. С. Гацискій, уже въ то время пользовавшійся извѣстностью въ качествѣ провинціального писателя и издателя *Нижегородскаго Сборника*, принималъ въ газетѣ тоже очень дѣятельное участіе. Это была первая газета Поволжья съ болѣе или менѣе полной программой и располагавшая сложившимися и совершенно достаточными литературными силами. Велась она талантливо и литературно, сразу заняла очень видное положеніе, въ особенности пылкимъ, настойчивымъ, горячимъ и обстоятельнымъ выясненіемъ памятнаго самарскаго голода въ 1873 году. Въ лицѣ *Камско-Волжской Газеты* печать Поволжья дѣлала огромный шагъ, оставляя далеко позади тотъ типъ газеты, съ которой приходилось имѣть дѣло Гацискому. Времена для областной печати назрѣвали быстро, и новая казанская газета показала, что провинціальный органъ можетъ играть очень важную и много опредѣляющую роль въ критическіе моменты мѣстной жизни.

Къ сожалѣнію, непривычка къ этой роли областной прессы была еще очень сильна, и то самое, что составило силу газеты, послужило къ ея гибели. Уже въ 1874 году цензура *Камско-Волжской Газеты* была перенесена—въ Москву. Разумѣется, сообщать новости, которыя, ранѣе своего появленія, должны были предварительно съѣздить въ Москву и потомъ вернуться обратно,—это было равносильно гибели газеты. Издатель, г. Агафоновъ, отправился въ Петербургъ и тамъ горячо изложилъ все практическое неудобство для изданія этого порядка цензуры. Покойный М. Н. Лонгиновъ выслушалъ очень холодно это объясненіе и отвѣтилъ сухо, что все это—для него совсѣмъ не новость. Агафоновъ понялъ, вернулся въ Казань, и юная газета была закрыта въ 1874 году, просуществовавъ только два года...

V.

Такъ кончились попытки А. С. Гацискаго по насажденію органовъ печати въ провинціи,—попытки, которымъ онъ отдалъ десять лучшихъ лѣтъ своей жизни. Можно было подумать, что послѣ всѣхъ этихъ усилій, такихъ настойчивыхъ и все-таки напрасныхъ, — онъ стоитъ опять у своего исходнаго пункта...

Уже въ 1869 году, — въ періодъ наибольшаго внѣшняго давленія на оба редактируемые имъ органа, — въ *Губернскихъ Вѣдомостяхъ* А. С. Гацискій высказывалъ мнѣнія о задачахъ провинціальной печати, проникнутыя нѣкоторымъ уныніемъ и пессимизмомъ. Онъ распространяется здѣсь о центро-

стремительномъ вліяніи столицъ, отнимающихъ у провинціи лучшія силы, о внѣшнихъ и внутреннихъ препятствіяхъ, мѣшающихъ развитію областной печати. Изъ всего этого дѣлался выводъ, что провинціальная печать надолго еще должна ограничиваться собираніемъ бытового, этнографическаго и экономическаго матеріала. Уже изъ этого видно, что въ сущности А. С. Гацскій не былъ совсѣмъ журналистомъ. Къ этому времени его имя, почти неизвѣстное въ качествѣ публициста внѣ предѣловъ Нижегородскаго края, начинало пріобрѣтать извѣстность въ специальной области, какъ имя знатока исторической и бытовой стороны мѣстной жизни. Его „Сборникъ въ память второго статистическаго съѣзда“ и его „Нижегородскій сборникъ“, изданный къ 1875 году уже въ составѣ четырехъ большихъ томовъ, обращали на него вниманіе специалистовъ, а также всѣхъ, работавшихъ въ томъ же направленіи въ провинціи. Кабинетная складка его ума брала свое, и совершенно понятно, что, отдаваясь самъ съ любовью и видимымъ успѣхомъ изученію старины и нейтральнаго бытового матеріала, онъ былъ склоненъ увести въ минуту унынія свое любимое дѣтище—провинціальную газету—въ эту безмятежную и совершенно несродную ей область.

Однако, уже примѣръ *Камско-Волжской Газеты*, съ ея молодой, можетъ быть, неопытной, но кипучей и живой дѣятельностью, съ ея вліятельнымъ участіемъ въ вопросахъ повседневной жизни, — выводилъ А. С. Гацскаго изъ этого настроенія, и возникшая въ 1875—6 годахъ оживленная полемика по вопросу о задачахъ провинціальной печати застаётъ его опять исполненнымъ самой пылкой вѣры въ свое дѣло.

Сколько мнѣ извѣстно, вопросъ этотъ принципиально ставился въ нашей прессѣ два раза. О первомъ изъ этихъ случаевъ еще въ 60-хъ годахъ упоминаетъ А. С. Гацскій въ замѣткѣ, помѣщенной въ *Губернскихъ Вѣдомостяхъ*. Къ сожалѣнію, подробности этой полемики мнѣ неизвѣстны изъ подлинныхъ источниковъ, а это было бы любопытно тѣмъ болѣе, что на одной сторонѣ былъ Аксаковъ. Интересно, однако, что споръ ставился очень круто. Одна изъ сторонъ доказывала, что провинціи ненужны и невозможны въ ней свои газеты. Такъ какъ въ губернскихъ городахъ нѣтъ вовсе умственныхъ интересовъ, то имъ достаточно официальной части губернскихъ вѣдомостей, изъ коихъ обыватель можетъ узнать послѣднія распоряженія своего начальства.

Полемика семидесятихъ годовъ отличается отъ этого эпизода настолько же, насколько провинціальная печать этихъ годовъ отличалась отъ своихъ эмбрионовъ предыдущаго десятилѣтія.

Въ 1875 году въ журналъ *Дѣло* (кн. IX и X) появились статьи Д. Л. Мордовцева подъ заглавіемъ „Печать въ провинціи“. Это было время, когда были въ ходу широкія обобщенія, заключавшія отъ явленій біологическихъ къ общественнымъ. Въ качествѣ послышки, авторъ взялъ указаніе одной статьи Эли Реклю: „большія рыбы стремятся въ большія моря, крупныя инфузоріи—въ большіе стаканы“. Отсюда получался чуть не универсальный законъ всякой общности, по которому все выдающееся стремится къ крупнымъ центрамъ. „Вотъ,—прибавлялъ отъ себя Д. Л. Мордовцевъ,—та страшная сила, которая налагаетъ руку на провинціализмъ во всѣхъ его видахъ... въ томъ числѣ на провинціализмъ литературный... Ясно, что и печать вмѣстѣ съ человѣкомъ будетъ тяготѣть къ центрамъ, городамъ, а провинціи должны оставаться вдовствующими во всѣхъ отношеніяхъ“.

Правда, эти жестокіе по своей категоричности выводы были обставлены въ статьѣ Д. Л. Мордовцева многими ограниченіями и даже прямо противорѣчіями. Между прочимъ, статья заключала въ себѣ интересныя указанія на существованіе цѣлыхъ шести замѣтныхъ фракцій труженниковъ провинціального слова, работамъ которыхъ самъ авторъ придавалъ большое значеніе. Уже одно это указаніе довольно краснорѣчиво, особенно же въ связи съ фактомъ существованія такихъ провинціальныхъ изданій, какъ *Камеко-Волжская Газета* въ Казани, *Донъ* въ Воронежѣ, *Азовскій Вѣстникъ* въ Таганрогѣ, *Сибирь* въ Иркутскѣ, *Кіевскій Телеграфъ* въ Кіевѣ и нѣсколько другихъ, доказавшихъ свою полную жизнеспособность при условіяхъ болѣе тяжелыхъ, чѣмъ условія столичной печати.—Изъ этого видно, сколько утекло воды съ тѣхъ поръ, когда Гацскій спрашивалъ съ отчаяніемъ: „неужели не найдется у насъ 2—3 сотрудниковъ для газеты“, когда спорили о самой возможности какого-либо матеріала для губернскаго изданія...

Тѣмъ не менѣе, вопросъ опять ставился принципиально, и во многихъ мѣстахъ своей статьи Д. Л. Мордовцевъ предсказываетъ поглощеніе и смерть областному печатному слову. Правда, онъ признаетъ возможность того, что когда-нибудь процессъ централизаціи превратится въ обратный, и тогда литература хлынетъ въ провинцію,—но тутъ-же прибавляетъ, что „это едва-ли когда-нибудь случится“. Затѣмъ онъ указываетъ факты роста и успѣха провинціальныхъ изданій, — но считаетъ ихъ случайными и не имѣющими ближайшаго будущаго. Самое закрытіе *Камеко-Волжской Газеты* онъ объясняетъ не внѣшними причинами, а тѣмъ, что газета взялась

судить о вопросахъ, которые подобаесть вѣдать только печати столицъ... Затѣмъ, онъ кончаетъ ссылками на указанныя уже мною мнѣнія А. С. Гацискаго, какъ на авторитетное признаніе ограниченности задачъ и сферы дѣйствія провинціальныхъ изданій.

Полемика, возникшая по этому поводу, въ свое время составила очень замѣтный литературный эпизодъ. Статья г. Мордовцева, написанная слишкомъ наскоро и довольно сбивчиво въ отношеніи главной мысли, однако не лишенная той талантливой и раздражающей яркости, которая вообще была присуща этому писателю, задѣла—можетъ быть, неожиданно для самого автора—цѣлую серію смежныхъ вопросовъ. Впослѣдствіи споръ локализовался и принялъ форму діалога между *Отечественными Записками* (Н. К. Михайловскій) и *Недѣлей*.

Всякому, кто пожелаетъ изучить настроеніе и главныя теченія мысли въ 70-хъ годахъ, этотъ полемическій эпизодъ доставляетъ очень много интереснаго и живого еще и нынѣ матеріала. Для насъ, однако, интересна та сторона его, гдѣ онъ касается предмета настоящей статьи, т. е. судьбъ провинціального слова... Въ этомъ отношеніи любопытны уже тѣ размѣры, какіе внезапно приняла полемика. Оказалось, что такъ или иначе, гдѣ ползкомъ, гдѣ ничкомъ, прямо или обходами и хитростями, провинціальная пресса все-таки уже заняла свое мѣсто въ русской жизни, и необыкновенный шумъ, раздавшійся послѣ статьи Д. Л. Мордовцева между прочимъ въ провинціи, обнаружилъ присутствіе, въ качествѣ живого и задорнаго факта, того самаго явленія, въ самой возможности котораго еще такъ недавно сомнѣвались даже писатели. Кромѣ столичныхъ газетъ, въ полемикѣ приняли участіе провинціальные, начиная *Воронежскимъ Телеграфомъ* и кончая далекой *Сибирью*. Казань выступила какъ разъ въ это время съ *Первымъ Шагомъ*, заключавшимъ, между прочимъ, также и пылкую, хотя и нѣсколько наивную отвѣдь Д. Л. Мордовцеву, и послѣдній въ своемъ отвѣтѣ („Quos ego!“, *Дѣло*, 1876, кн. 5-я) приводитъ даже выдержки по тому же предмету изъ газеты *Правда*, издававшейся въ Галиціи. А. С. Гацискій выступилъ въ свою очередь съ брошюрой „Смерть провинціи или нѣтъ“, которая сразу заняла центральное положеніе среди голосовъ полемизировавшей провинціи и способствовала широкой извѣстности А. С. Гацискаго гораздо въ большей степени, чѣмъ вся его предыдущая кропотливая работа. Въ этой брошюрѣ съ нѣкоторой умѣренностью, но въ другихъ изданіяхъ съ значительною рѣзкостью и задоромъ

пишущая провинція заявляла уже не только о своемъ правѣ голоса, но въ иныхъ случаяхъ о правѣ голоса преимущественнаго, какъ голоса областного, какъ выраженія непосредственной жизни страны,—„земли“, вопиющей противъ канцелярской и бюрократической рутины столицъ. Провинціальный писатель, въ душѣ котораго накопилось много горечи, далеко, разумѣется, не безпричинной,—теперь изливать ее, задѣтый обмолвкой Д. Л. Мордовцева, на ни въ чемъ неповиннаго столичнаго собрата. Въ этомъ, конечно, было много наивнаго. Между прочимъ, въ своей брошюрѣ А. С. Гацискій упоминаетъ объ одномъ изъ своихъ друзей, выражавшемъ готовность принести клятву Аннибала въ вѣчной враждѣ къ столичной прессѣ. „Литераторъ-обыватель“ въ *Первомъ Шапѣ* звалъ самого Мордовцева доказать искренность своихъ симпатій къ областной прессѣ, бросивъ столицу для того, чтобы работать только въ провинціальныхъ изданіяхъ. Самъ А. С. Гацискій въ это время, да и послѣ, любилъ прибѣгать къ сравненію петербургскихъ писателей съ департаментскими чиновниками, а провинціальныхъ—съ „волжскими бурлаками“.

Какъ бы то ни было, этотъ шуточный эпизодъ былъ уже послѣднимъ, въ которомъ вопросъ о правѣ провинціальной прессы на существованіе ставился принципиально.

Д. Л. Мордовцевъ отступилъ передъ натискомъ, и въ послѣдствіи напечаталъ въ газетахъ полупокаянное обращеніе къ Гацискому, въ которомъ заявлялъ, что ошибся, что радуется своей ошибкѣ и даже (выражаясь своеобразнымъ полуархаическимъ стилемъ автора) имѣетъ „патентъ радованія“, выданный ему благодушнымъ противникомъ А. С. Гацискимъ, пионеромъ все растущаго областного слова...

VI.

Такъ закончилась эта характерная полемика, вынесшая имя Гацискаго изъ областной полуизвѣстности въ ту область, гдѣ оно стало извѣстнымъ, какъ имя „пионера областной печати“. Обращаясь собственно къ литературной характеристикѣ покойнаго въ тѣсномъ смыслѣ слова, приходится сказать съ грустью, что послѣ 35-лѣтней литературной работы онъ не оставилъ всетаки трудовъ, на которыхъ въ особенности покоилась бы его литературная извѣстность. Исторія его издательства похоронила въ безвѣстной могилѣ плоды десятилѣтнихъ ухищреній и усилій. Историческія работы А. С. Гацискаго, обнаруживавшія изумительную память и детальное знакомство съ исторіей края, носили всегда характеръ случайныхъ замѣтокъ и справокъ, слишкомъ специальныхъ, а

порой представляли просто сырой матеріаль. Таковъ его „Нижегородскій Лѣтописецъ“ — сводъ четырехъ вариантовъ рукописной лѣтописи Нижняго-Новгорода. Затѣмъ мы имѣемъ еще нѣсколько статей историческаго содержанія, напечатанныхъ въ „Нижегородскихъ сборникахъ“ („На Сундовикѣ, въ Жарахъ и на Сити-на-рѣцѣ“ и др.). Это — рассказы о поѣздкахъ Гацискаго для ученыхъ изысканій, — въ одномъ случаѣ мѣста битвы на Сити, въ другомъ — могильнаго памятника кн. Пожарскаго, въ третьемъ — для раскопокъ кургана въ одномъ изъ уѣздовъ Нижегородской губ. Всѣ эти замѣтки написаны въ томъ своеобразномъ стилѣ, образецъ котораго далъ нѣкогда покойный Погодинъ (между прочимъ, тоже ѣздившій на берега Сити съ тою-же цѣлью), и со всей непосредственностью кабинетнаго труженика, на котораго всякая мелочь полей, проселочныхъ дорогъ и сельскаго быта производитъ необыкновенно яркое и сильное впечатлѣніе. Свѣтъ солнца, облако, дорожная встрѣча и лѣтніе птицы на вѣтвѣхъ придорожной березы — все это покойный заносилъ въ свой путевой дневникъ, пересыпая эти описанія множествомъ детальнаго замѣчаній историческаго и этнографическаго характера, которыя обнаруживали необыкновенныя познанія въ бытовой области мѣстной жизни, но которыя вмѣстѣ съ тѣмъ являлись случайно, несвязанными никакой внутренней связью ни съ предметомъ статьи, ни другъ съ другомъ. Что касается до чисто историческихъ результатовъ этихъ изысканій, то они оказывались болѣе чѣмъ скудными: точное опредѣленіе мѣста татарскаго погрома осталось подъ такими-же сомнѣніями, какъ и послѣ поѣздки Погодина. Курганъ оказался „натуральнымъ“, а могильная плита Пожарскаго — простымъ булыжникомъ, на которомъ нацарапали что-то посредствомъ гвоздя.

О характерѣ „Нижегородскаго сборника“, — капитальнаго и многолѣтняго труда покойнаго Гацискаго, — приходится сказать, что самъ онъ, какъ писатель, участвовалъ въ немъ предисловіями и нѣсколькими статьями, въ родѣ упоминаемыхъ выше. Затѣмъ нужно упомянуть о „Нижегородскомъ театрѣ“, представляющемъ матеріаль для исторіи театрального дѣла въ Россіи, съ характеристиками игры забытыхъ давно артистовъ, затѣмъ „Нижегородку“ — нѣчто вродѣ путеводаителя по Нижнему, и „Люди нижегородскаго Поволжья“ — маленькій сборникъ довольно сухихъ біографій, подобранныхъ тоже довольно случайно.

Вотъ то, что остается послѣ А. С. Гацискаго. Передо мной лежатъ еще біографическій списокъ, составленный

самимъ Гацискимъ съ необыкновенной аккуратностью. И чего только нѣтъ въ этомъ списокѣ! И исторія, и этнографія, и беллетристика, и летучая отмѣтка газетнаго хроникера, и печатная докладная записка по чисто дѣловому вопросу, и даже— стихотвореніе!

Наконецъ, когда послѣ его смерти я приступилъ, по просьбѣ близкихъ лицъ, къ обзорѣнью его бумагъ, — меня охватило какое-то жуткое чувство, близкое къ ужасу при видѣ этой необъятной массы сырого матеріала, которою покойный окружилъ себя при жизни. Вырѣзки изъ газетъ, историческія брошюры, съ отмѣтками на поляхъ и подготовленные для извлеченій, тетради съ различными выписками, столбы записныхъ книжекъ и затѣмъ — тучи отдѣльныхъ листковъ, исписанныхъ торопливымъ и мелкимъ, какъ бисеръ, почеркомъ. „Я собираю и классифицирую матеріаль такъ, какъ будто мнѣ предстоитъ работать до 80 лѣтъ“, — говорилъ покойный. Но мнѣ кажется, что для этого моря литературнаго сырья не хватило бы десяти жизней, и невольное жуткое чувство проникало въ душу, при видѣ этой пучины, поглотившей даровитаго, но одинокаго труженика...

Въ этомъ истинно-трагическая судьба людей того интеллигентнаго типа, къ которому принадлежалъ Гацискій. Они брались за все, должны были растративать свои дарованія въ областяхъ, часто имъ несродныхъ, утопали въ непосильной борьбѣ съ надвигавшимся со всѣхъ сторонъ матеріаломъ, но все-таки выполняли свою особенную миссію.

Это была миссія „литератора-обывателя“ въ лучшемъ значеніи этого слова.

Типъ этотъ теперь уже сходить со сцены, и недаромъ Гацискій въ послѣдніе годы почти не участвовалъ въ текущей литературѣ. Онъ чувствовалъ инстинктивно, что его роль сыграна и его дѣло сдѣлано. Онъ видѣлъ, какъ изъ того эмбриона, который представляла собой его „нераздѣленная“ тридцатилѣтняя работа, выдѣлилось въ одну сторону систематическое, вооруженное всеми средствами науки изслѣдованіе въ видѣ почвенныхъ изслѣдованій и земской статистики, какъ съ другой на смѣну ему приходили провинціальныя публицисты новаго типа, усѣвшаго изъ многихъ зависимостей скинуть съ себя хоть одну, опутывавшую дѣятельность литератора-обывателя.

Въ той полемикѣ, о которой я говорилъ выше, провинціальныя писатели любили останавливаться на специфическихъ отличіяхъ писателей провинцій и сотрудниковъ столичныхъ изданій. Мы видѣли, что А. С. Гацискій съ добродушной

наивностью любилъ изображать себя „волжскимъ бурлакомъ“, какъ бы въ противоположность „департаментскимъ чиновникамъ“ петербургской прессы, и въ предисловіи къ одному изъ своихъ сборниковъ онъ говоритъ, что отъ радости густо смазалъ свои волосы квасомъ и надѣлъ по-праздничному сапоги бураками. Казанскій литераторъ-обыватель, въ сборникѣ „Первый Шагъ“, съ бессознательной мѣткостью коснулся еще одной черты, выгодно, по его мнѣнію, отличающей писателей-областниковъ: „Мы,—писалъ онъ,— относимся къ литературѣ безкорыстно. Вы получаете отъ нея, мы на нее тратимъ. Вы пишете, чтобы жить, мы живемъ, чтобы писать“.

Н. К. Михайловскій очень остроумно отразилъ сравненіе Гацискаго. Петербургскій писатель далеко не всегда и, пожалуй, даже довольно рѣдко служитъ въ департаментѣ. Съ другой стороны, провинціальный писатель довольно часто служитъ въ канцеляріи губернатора или въ казенной палатѣ. Такимъ образомъ, петербургскій писатель съ такимъ-же правомъ можетъ считать себя петербургскимъ крючникомъ, какъ и провинціальный—волжскимъ бурлакомъ. Дѣло, очевидно, не въ томъ, *гдѣ* пишетъ тотъ и другой, а лишь въ томъ, чьимъ интересамъ отдаетъ онъ свое перо...

Это, безъ сомнѣнія, совершенно справедливо и бьетъ въ самый центръ вопроса; но при этомъ остается, однако, въ полной силѣ различіе, указанное литераторомъ-обывателемъ. Дѣло именно въ томъ, что петербургскій литераторъ не ходитъ въ департаментъ и именно потому, что не имѣетъ въ этомъ надобности, такъ какъ его уже кормитъ литература; между тѣмъ какъ провинціальная литература еще никого тогда кормить была не въ состояніи, и мнимый „волжскій бурлакъ“, т. е. литераторъ-обыватель нашихъ провинцій, обязывался непременно служить чиновникомъ особыхъ порученій у губернатора, чтобы кормить свое хилое дѣтище.

Только врядъ-ли это сравненіе служило къ выгодѣ провинціальной прессы. Правда, это обстоятельство налагаетъ особую черту безкорыстія и нѣкотораго идеализма на отношенія провинціальнаго писателя къ его газетѣ и вообще къ его изданію. Едва-ли до конца жизни А. С. Гацискаго такъ называемый литературный гонораръ составлялъ хоть сколько-нибудь замѣтную статью его бюджета. Наоборотъ, жалованіе чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ Одинцовѣ въ значительной части навѣрное поглощалось нуждами изданія. Сколько мнѣ извѣстно, ни одно еще изъ изданій А. С. Гацискаго не окупилося и, значить, всѣ эти начинанія требовали затратъ, которые не возвращались.

Такимъ образомъ,—и въ этомъ главное отличіе литератора-обывателя,—онъ не только жить, чтобы писать, но еще и *служить* для той же цѣли. Это трогательная черта для его характеристики. Но она же указываетъ на слабость и зависимость областной печати этого періода...

Если газета живетъ на средства, получаемыя изъ канцеляріи губернатора, — она поневолю и неизбежно подпадаетъ подъ косвенное вліяніе канцеляріи. Если средствомъ для ея существованія является жалованіе городского головы, — она опять невольно будетъ, если не говорить, то молчать въ зависимости отъ партійныхъ соображеній. И только газета, которая не кормится отъ стороннихъ источниковъ, а сама даетъ средства своимъ работникамъ, является органомъ независимаго мнѣнія, той новою силою, которая, имѣя собственную точку опоры, дѣйствительно движетъ и поворачиваетъ окружающій ее міръ частныхъ, своекорыстныхъ интересовъ... Правда, и теперь провинціальная пресса еще далека отъ этого положенія... И въ этомъ немало виновато ея прошлое: „торговый листокъ“, даже погибшій вначалѣ, всетаки налагаетъ руку на ея будущее: она почти вся въ рукахъ издателя-промышленника. Но провинціальныи „писатель“, отдавшійся нераздѣльно одной литературѣ, уже родился. Онъ бродитъ порой изъ города въ городъ, подымаетъ значеніе той или другой газеты, разочаровывается и опять ищетъ. Онъ повторяетъ собою прежнюю исторію „оживленія“ губернскихъ органовъ, только роль прежнихъ администраторовъ играетъ теперь для него торгашъ и промышленникъ... Однако, это уже не относится къ нашему очерку...

VI.

И для того, что уже достигнуто, потребовалась работа, потребовалась жизнь цѣлаго поколѣнія, цѣлаго общественно-литературнаго типа...

Въ исторіи каждой національной литературы есть непременно періодъ такъ называемаго меценатства, своего рода паразитизма, когда, еще неокрѣпшая, она нуждается въ стороннемъ покровительствѣ и поддержкѣ. Провинціальная пресса, скромная и неблестящая, нашла его не при дворахъ и не во дворцахъ вельможъ. Ее, сиротливую и убогую, взялъ подъ свое покровительство самъ далеко небогатый и неважный литераторъ-обыватель. Онъ не получалъ отъ нея выгодъ и поддержки, наоборотъ — ее онъ долженъ былъ охранять, ее надо было поддерживать. Для нея-то онъ служилъ, чтобы

охранять ее на два фронта: отъ предубѣжденій сверху, отъ равнодушія и часто косной враждебности снизу.

Такимъ именно литераторомъ-обывателемъ былъ и Гацискій. Въ той-же шутливой автобіографіи, которую я уже цитировалъ ранѣе, онъ такъ рисуеъ собственный портретъ: „съ годами старецъ Александръ все болѣе пріобрѣталъ душевнаго спокойствія, почерпаемаго въ нѣкоторой маніи къ нижегородовѣдѣнію и нижегородо-дѣланію: окруживъ себя нижегородскими книгами, картинами, планами, картами, иконами, онъ чувствуетъ себя, какъ рыба въ водѣ, птица въ воздухѣ, или „кротъ въ норѣ“. Ступая по стогнамъ града и почти безошибочно опредѣляя встречающихся ему на пути угольщикова изъ Красной Рамени, грушевниковъ изъ Сіухи, штукатурова изъ Бѣлгородья, столяровъ-пуреханъ изъ Жаровъ, онъ находитъ въ этомъ немалое удовольствіе. Считаая вообще весь нижегородскій край своей научно-литературной вотчиной, закрѣпленной за нимъ нѣсколькими давностями спокойнаго и ненаружимаго владѣнія, изучая отдаленнѣйшія историческія эпохи во второй половинѣ дня,—онъ былъ бы идеально счастливъ, если бы,—такъ заканчиваетъ онъ эту свою исповѣдь,—жизнь не напоминала ему слишкомъ часто о несоответствіи идеаловъ 40-хъ годовъ, на которыхъ онъ воспитался, и 60-хъ, въ выработкѣ которыхъ участвовало и его поколѣніе, съ современною дѣйствительностью“.

Не правда ли, въ этихъ немногихъ штрихахъ—цѣлый бытовой типъ, весь окрашенный бытовой мѣстной окраской и крѣпко сросшійся со своей почвой. Легко представить себѣ, что „многія давности“, въ теченіе которыхъ можетъ сложиться въ данной средѣ такой интеллектуальный образъ, не проходить напрасно и для данной среды. Онъ окрашенъ ею, но и она невольно принимаетъ кое-что отъ него. Одинокій свѣтъ его лампы, его затѣи, его работы — все это становится знакомымъ и близкимъ. И вотъ почему онъ могъ проводить въ обывательскую среду свое любимое, но еще безсильное и нищее дѣтище—литературу.

Вотъ онъ задумываетъ работу. Онъ знаетъ, что въ такихъ-то глухихъ углахъ живетъ учитель, священникъ, старикъ-управляющій... Они тоже, въ меньшихъ размѣрахъ—литераторы-обыватели. Одинъ любитъ записывать пѣсни, другой читаетъ старые документы, валявшіеся на церковной колокольнѣ. Третій ведетъ записку погодъ, четвертый зачѣмъ-то каждый вечеръ, гусинымъ перомъ, заноситъ впечатлѣнія дня. Эти записки и эти впечатлѣнія ни къ чему не стремятся, ничего не имѣютъ въ виду. Они дѣлаются отъ полноты обывательскаго

сердца, въ которомъ не исчезло еще смутное стремленіе къ выраженію смутныхъ мыслей. Они заносятся, какъ заносиль въ прошломъ вѣкъ одинъ изъ такихъ литераторовъ-обывателей, Болотовъ, все, что останавливало на себѣ его взглядъ или вниманіе въ Богородицкомъ захолустьи. Снѣгъ покрылъ поля и дороги, снѣгъ завалилъ деревья, снѣгъ мелькаетъ въ воздухѣ, къ усадьбѣ нѣтъ ни прохода, ни проѣзда. И вотъ литераторъ-обыватель пишетъ въ своемъ дневникѣ, четко выводя на синемъ листѣ заглавіе:

„О обильно выпавшемъ снѣгѣ“.

Въ другой разъ проѣзжій ремонтеръ, человѣкъ бывалый и досужій, рассказываетъ о бѣломъ свѣтѣ, и Болотовъ, по его отвѣдѣ, прибавляетъ еще главу къ дневнику:

„О полячкѣ гордой и богатой“.

Оказывается такимъ образомъ, что обильно выпавшій снѣгъ поломалъ въ усадьбѣ деревья, и что полячка гордая и богатая живетъ въ Варшавѣ и что къ ней часто ѣздить въ гости Понятовскій. Что изъ этого? Снѣгъ въ усадьбѣ, а вдалькѣ, въ шумномъ свѣтѣ—полячка; между этими двумя фактами, изъ которыхъ рѣшительно ничего не слѣдуетъ, бьется въ тоскѣ замирающая человѣческая мысль, не находящая выхода...

И вотъ является человѣкъ, который даетъ исходъ этому броженію тоскующей мысли. Оказывается, что старыя бумаги, валявшіяся на колокольнѣ, интересны и даже подлежатъ опубликованію въ трудахъ архивной комиссіи, основанной и предѣдательствуемой Гацискимъ. Оказывается, что пѣсни принимаются съ благодарностью статистическимъ комитетомъ, въ которомъ секретарствуетъ все тотъ же Александръ Серафимовичъ. Оказывается, что и обывательская тоска, и обывательское негодованіе, и желаніе лучшаго—все можетъ найти мѣсто въ газетѣ. Оказывается, однимъ словомъ, что все это идетъ въ дѣло, что все направляется къ такой-то цѣли, что все, надъ чѣмъ смѣялись, какъ надъ чудачествомъ, куда-то годится... И вотъ въ углахъ объ этомъ говорятъ, этому удивляются, потомъ въ свою очередь начинаютъ чинить перья и на вопросъ о причинѣ необыкновенныхъ предпріятій отвѣчаютъ:

— Хочу тоже... Александру Серафимовичу кое-что... о нашей жизни...

А Александръ Серафимовичъ начинаетъ огромный трудъ, безъ работниковъ, безъ средствъ, съ одной надеждой и вѣрой въ свое дѣло. И, смотришь, растутъ десять томовъ этнографическаго сборника. Откуда-то явились молодые люди, которые именованъ А. С. Гацискаго развѣзжаютъ по усадьбамъ, по церковнымъ домамъ, по глухимъ деревушкамъ. Пишутъ сва-

щенники, пишутъ самоучки-крестьяне, царапаютъ что-то о своей нуждѣ полуграмотный кустарь. Сначала статистическій комитетъ принимается печатать все то, что набирается съ разныхъ сторонъ. Потомъ у него уже не хватаетъ средствъ, — Александръ Серафимовичъ говорить въ городской Думѣ о важности познанія своей родины. Если бы это говорилъ человекъ со стороны, какой-нибудь специалистъ-литераторъ, то обыватель пожалуй готовъ бы былъ закричать караулъ, подозрѣвая, что его вовлекаютъ въ государственное преступленіе. Но говорить Александръ Серафимовичъ, товарищъ городского головы, — и обыватель даетъ пособіе. Потомъ, когда и этого не хватаетъ. А. С. говорить о важности родиновѣдѣнія въ земствѣ. А въ земствѣ сидитъ волостной писарь, который уже кое-что посылалъ въ „вѣдомости“, сидитъ священникъ, который очень уважаетъ Александра Серафимовича, сидитъ гласный, котораго А. С. будетъ тоже выбирать куда-нибудь, — и опять получаетъ пособіе. А затѣмъ оказывается, что въ практическомъ вопросѣ Александръ Серафимовичъ засыпалъ противника данными, почерпнутыми изъ изслѣдованія. И обыватель самъ начинаетъ раскрывать книгу...

Такъ постепенно совершалась эта работа, и дремавшая мысль и засыпавшіе умственные запросы просыпались къ жизни. Является книга, является корреспондентъ, а за ошеломляющей заходустье корреспонденціей идетъ въ газету читатель... Цѣлая жизнь, работа десятковъ лѣтъ потребовалась для этихъ результатовъ, — но что-жъ изъ этого! Въ каждой области, въ каждомъ губернскомъ городѣ есть свой Гацискій, большихъ или меньшихъ размѣровъ. Въ Нижнемъ — это былъ Александръ Серафимовичъ, въ Казани — Агафоновъ, въ Перми — Смышляевъ, въ Саратовѣ, Астрахани, Твери, Воронежѣ, Симбирскѣ — всюду были свои Гацискіе, дѣлающіе такъ-же и то-же дѣло...

Намъ нужна, намъ настоятельно необходима областная печать, и теперь это ощущается неоспоримо. Жизнь необыкновенно усложняется и, каково бы ни было направленіе нашей государственной дѣятельности, никто не сомнѣвается, что для ея успѣха необходимо живое и сочувственное отношеніе всѣхъ слоевъ общества. Между тѣмъ, и вглубь, и вширь мы, не смотря на свое прославленное даже въ учебникахъ единство, въ сущности далеко не едины. Не говоря о малограмотномъ народѣ, хранящемъ допотопныя понятія о самыхъ основаніяхъ нашего гражданскаго строя, Россія такъ необъятна вширь, что всякая государственная идея, какъ бы живо она ни сознавалась въ центрахъ, рискуетъ замереть прежде, чѣмъ дойдетъ до окраинъ. Главная отъ внутрен-

нихъ губерній Европейской Россіи, чутко вздрагивающихъ при каждомъ новомъ „вѣянн“ изъ центровъ, и кончая сѣверо-востокомъ Сибири, занятымъ „несовершенно-подданными“ (по опредѣленію Свода Законовъ) чукчами, которые не испытываютъ уже ни въ какой мѣрѣ вліяніе нашей культуры и нашего государственнаго права, — наше отечество похоже на гиганта, вяло раскинушагося на огромномъ пространствѣ, съ отежшими членами, не проводящими къ окончностямъ нервныхъ токовъ отъ центра.

И это-то мы называемъ нашимъ единствомъ, и при этомъ мы боимся не инертности, а слишкомъ будто бы быстрою прогресса. Между тѣмъ, никакіе воображаемые сепаратизмы, никакія областныя учрежденія со всеѣмъ разнообразіемъ ихъ мѣстныхъ особенностей не могутъ доставить нашему единству, нашему дальнѣйшему гармоническому развитію тѣхъ поистинѣ устрашающихъ препятствій, какія ставятся этой инертностью нашего государственнаго организма, этой бездѣятельностью его областей.

И вотъ почему всякій очагъ живой мѣстной мысли, который пытается провести въ своемъ уголкѣ общую идею, общій свѣдѣніи, который направляетъ дремлющее вниманіе далекаго захолустья на тѣ же предметы, о которыхъ думаютъ и говорятъ въ центрахъ общей жизни отечества, который будитъ гражданскіе интересы и чувства, направляя ихъ на вопросы общаго блага, является прежде всего могучимъ органомъ объединенія и развитія. И вотъ почему вопросъ о будущемъ освобожденіи областного слова является для нашего огромнаго отечества настоятельнымъ и насущнымъ.

Но если это такъ, если Россія сдѣлала въ этомъ направленіи такой шагъ, послѣ котораго самые вопросы, надъ рѣшеніемъ которыхъ приходилось биться предыдущему поколѣнію, перестали быть вопросами и стали фактомъ; если теперь въ провинціи уже есть своя пресса, если въ ней то и дѣло закипаетъ уже систематическое изслѣдованіе, если на смѣну литератора-обывателя приходитъ новый типъ писателя, — независимаго работника уже отдѣленнаго литературнаго труда; если, наконецъ, мы близки къ тому времени, когда предубѣжденіе противъ провинціального печатнаго слова окончательно разрушится, — то и этимъ въ весьма значительной степени мы будемъ обязаны разностороннимъ усиліямъ „литератора-обывателя“, который заслужилъ всею своею одинокой и самоотверженной работой вѣчную и благодарную память...

1894 г.

ЭПИЗОДЪ.

(Изъ жизни В. М. Соболевскаго).

I.

Я познакомился съ В. М. Соболевскимъ въ 1886 году, въ началѣ своей литературной карьеры.

Широкое, некрасивое, умное лицо, съ коротко остриженными волосами. На губахъ легко появляется характерная полунасмѣшливая улыбка. Взглядъ добрый и умный, тоже чуть-чуть насмѣшливый. Такъ глядятъ люди, много видѣвшіе, много испытавшіе, много думавшіе надъ видѣннымъ и испытаннымъ и приходшіе къ устойчивымъ заключеніямъ... не очень радостнымъ, но полнымъ философскаго снисхожденія къ бѣдной жизни съ ея настоящимъ и съ спокойной надеждой на то, что должно быть въ будущемъ...

— Когда-нибудь, Владиміръ Галактіоновичъ, да... Но это еще очень далеко...—слышу я и теперь его спокойный голосъ... А пока надо жить и работать...

— Такъ вотъ каковъ этотъ руководитель „профессорской“ газеты,—подумалъ я.

Въ теченіе многихъ лѣтъ, послѣ почти легендарныхъ временъ основателя „Русскихъ Вѣдомостей“ Скворцова, имя В. М. Соболевскаго являлось какъ бы основной осью газеты. Остальное исторически скристаллизовалось около этой оси по симпатіямъ, взглядамъ, темпераменту и характеру. Началась эта кристаллизація давно, и ко времени моего знакомства процессъ закончился. Газета уже сложилась въ нѣчто единое и цѣльное, какъ нѣкая бытовая традиція русской общественности и литературы. И личность Соболевскаго какъ бы утонула въ этомъ. Было много единомышленниковъ людей; и были люди, быть можетъ, ярче Соболевскаго въ чисто литературномъ смыслѣ. Но все-же, когда мнѣ представлялась общая

коллективная физиономія „Русскихъ Вѣдомостей“, то всегда мнѣ казалось, что съ этихъ знакомыхъ листовъ глядитъ на меня широкое характерное лицо Соболевскаго съ улыбкой „добраго“ Мефистофели и мудрымъ взглядомъ профессора.

Оно сразу показалось мнѣ чрезвычайно привлекательнымъ, хотя... Я былъ молодъ, и мнѣ, какъ и многимъ, хотѣлось, чтобы хоть порой, хоть изрѣдка эта опредѣляющая передовую газету физиономія засвѣтилась яркимъ одушевленіемъ, чтобы съ этихъ губъ, сжатыхъ легкой усмѣшкой, сорвались слова энтузіазма, призыва и вѣры. Вѣры въ то, что уже близко и легко достижимо все, что кажется далекимъ и труднымъ.

— Такъ вотъ онъ какой, — руководитель „профессорской газеты“, — повторялъ я про себя послѣ перваго знакомства, съ странной смѣсью удовольствія и легкаго разочарованія. На этомъ лицѣ, вѣроятно, всегда та же ровная улыбка, та же спокойная рѣчь, сдержанная и неспособная къ повышеніямъ, та же змѣиная мудрость, которая помогаетъ вести либеральную газету при трудныхъ условіяхъ...

И вотъ, вскорѣ мнѣ довелось увидѣть Соболевскаго съ другимъ выраженіемъ и въ другомъ настроеніи.

II.

Это было въ февралѣ 1886 года. Я пріѣхалъ въ Москву и поселился на мѣсяцъ въ „Московской гостиницѣ“ противъ Кремля. Я начиналъ свою литературную карьеру (или, вѣрнѣе, возобновлялъ ее послѣ ссылки) и пріобрѣлъ много знакомствъ въ московскомъ литературномъ мірѣ, въ томъ числѣ — съ редакціей „Русскихъ Вѣдомостей“.

Подходила 25-я годовщина освобожденія крестьянъ, и въ литературныхъ кругахъ этотъ юбилей возбуждалъ много оживленныхъ толковъ.

Юбилей оказался „опальнымъ“. Время было глухое, разгаръ реакціи. Крестьянская реформа довольно откровенно признавалась въ извѣстныхъ кругахъ роковой ошибкой. Смерть Александра II изображалась трагическимъ, но естественнымъ результатомъ этой ошибки, и самая память „Освободителя“ становилась какъ бы неблагонадежной. Говорили о томъ, что намѣреніе одного изъ крупныхъ городовъ поставить у себя памятникъ Александру II было признано „несвоевременнымъ“, и проектъ, уже составленный Микѣшинымъ, отклоненъ. Статьи Джаншіева и другихъ сотрудниковъ „Русскихъ Вѣдомостей“ о великой реформѣ звучали, какъ вызовъ торжествующей реакціи. Ждали, что даже умѣренные статьи, которыя неизбѣжно должны были появиться 19-го февраля, навлекутъ репрессіи, и гадали,

какая степень одобренія освободительныхъ реформъ можетъ считаться терпимой. Въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ шли тѣ же разговоры. Статьи, назначенныя для юбилейнаго номера, обсуждались съ особеннымъ вниманіемъ и осторожностью всей наличной редакціей.

Въ гостиницѣ, гдѣ я остановился, каждое утро являлся газетчикъ съ кипой газетъ, которыя разносились по номерамъ. Я ложился и вставалъ поздно, и номеръ „Русскихъ Вѣдомостей“ мнѣ обыкновенно подсовывали подъ запертую еще дверь...

Утромъ 19-го февраля я съ любопытствомъ кинулся къ двери, но газеты на обычномъ мѣстѣ не оказалось.

Я позвонилъ и, когда явился корридорный, спросилъ у него, почему мнѣ сегодня не подали газету.

— Сегодня „Русскія Вѣдомости“ не вышли-сь,—сказалъ онъ и, понизивъ голосъ, прибавилъ:—Запрещены-сь... Не угодно-ли вотъ-сь. И другимъ господамъ подаемъ эту-сь...

Онъ подаль номеръ какой-то московской газеты, кажется, это были „Новости Дня“. Я взглянулъ въ нее,—о 19-мъ февраля не было ни одного слова.

Я одѣлся и поспѣшилъ въ Чернышевскій переулокъ. На лѣстницѣ, въ конторѣ, въ редакціи было движеніе, точно въ муравейникѣ. У служащихъ лица были встревожены и печальны. Сѣзжались редакторы и товарищи-пайщики. При мнѣ прѣхалъ М. А. Саблинъ, чрезвычайно взволнованный и красный. Было видно, что невыходъ номера для всѣхъ явился неожиданностью. Служащіе не могли ничего определенно отвѣтить на вопросы подписчиковъ, приходившихъ освѣдомиться о причинѣ неполученія газеты... Во всякомъ случаѣ для Москвы это было событіе, для Чернышевскаго переулка—катастрофа.

Мнѣ удалось узнать въ общихъ чертахъ, что именно случилось. Номеръ былъ приготовленъ, и въ немъ, конечно, была статья о великомъ юбилеѣ. Выпускалъ этотъ номеръ Соболевскій. Все это было едано въ наборъ, прокорректировано и частью сверстано, когда въ типографію явился чиновникъ генераль-губернатора или инспекторъ типографій и отъ имени князя Долгорукова потребовалъ, чтобы московскія газеты ничего не писали о 19-мъ февраля, о годовщинѣ крестьянской реформы. Соболевскій тотчасъ-же поѣхалъ къ генераль-губернатору.

Было уже очень поздно, и князя Долгорукова пришлось будить. На это долго не рѣшались, но штатскій господинъ, явившійся глубокою ночью, былъ такъ возбужденъ и требо-

валь такъ твердо и настойчиво, что стараго князя, наконецъ, подняли съ постели.

У почтеннаго московскаго сатрапа были маленькія слабости. Глубокій старикъ,—онъ имѣлъ претензію молодиться, красилъ волосы, фабрилъ усы; ему растягивали морщины и цѣлымъ рядомъ искусственныхъ мѣръ придавали старому князю тотъ бравый видъ, которымъ онъ щеголялъ на парадныхъ приѣмахъ.

По характеру это былъ въ сущности добродушный старикъ, и, можетъ быть, будь на его мѣстѣ другой человѣкъ, менѣе независимый и болѣе подчинявшійся инспираціямъ Каткова и его партіи, „Русскимъ Вѣдомостямъ“ не пришлось бы создать такія прочныя многолѣтнія традиціи литературнаго либерализма въ Москвѣ. Но все-же это былъ хотя и благодушный, но настоящій сатрапъ, отъ расположенія духа котораго зависѣла часто судьба человѣка, семьи, учрежденія, газеты. Ему ничего не стоило безъ злобы, чисто стихійно раздавить человѣческую жизнь, какъ ничего не стоило проявить и неожиданную милость...

Совершенно понятно, что разбудить могущественную особу съ тѣми „слабостями“, о которыхъ я говорилъ выше, заставить „его сіятельство“ выйти въ халатѣ съ ночнымъ, непараднымъ лицомъ въ приѣмную, было чрезвычайно опасно, такъ какъ создавало самое неблагоприятное „расположеніе духа“. И Соболевскій очень рисковалъ, требуя этого свиданія во что бы то ни стало.

Товарищи Соболевскаго, работавшіе съ нимъ въ то время, вспомнить, навѣрное, подробности этого знаменательнаго ночнаго разговора редактора съ генераль-губернаторомъ. Я теперь могу лишь въ общихъ чертахъ по памяти возстановить то, что слышалъ въ тотъ день и о чемъ говорила вся литературная и интеллигентная Москва.

Объясненіе было довольно бурное. Долгоруковъ, хмурый и недовольный, подтвердилъ, что распоряженіе исходитъ отъ него и должно быть исполнено. На требованіе „законныхъ основаній“ и указаніе на нравственную невозможность для печати замолчать юбилей крестьянской реформы Долгоруковъ отвѣтилъ такъ, какъ обыкновенно отвѣчаютъ сатрапы на разговоры о законѣ и нравственныхъ невозможностяхъ. Оба волновались. Редакторъ заявилъ, что не можетъ выпустить газету безъ статей о реформѣ, Долгоруковъ отвѣтилъ, что со статьями о реформѣ номеръ не будетъ выпущенъ изъ типографіи, а невыпускъ газеты онъ будетъ разсматривать, какъ антиправительственную демонстрацію, и непременно ее закроетъ...

На томъ и разстались. Соболевскій прѣхалъ въ Чернышевскій переулокъ поздною ночью, когда уже нельзя было созвать товарищей (телефоновъ тогда еще не было). Ему одному пришлось рѣшать судьбу общаго дѣла и выбирать между унижительнымъ безмолвіемъ въ день великаго юбилея или рискомъ закрытія газеты.

Онъ отдалъ распоряженіе приостановить всю работу и чрезвычайно взволнованный уѣхалъ домой.

Станки стали. Наборщики разошлись. Типографія замерла.

III.

Я былъ уже достаточно знакомъ съ редакціей и ближайшими сотрудниками „Русскихъ Вѣдомостей“, чтобы имѣть право остаться въ этой сутолокѣ и выждать, пока прѣдетъ Соболевскій. Наконецъ, его выразительная фигура появилась на лѣстницѣ. Не знаю, спалъ ли онъ эту ночь, но теперь лицо его было спокойно и показалось мнѣ чрезвычайно красивымъ. Онъ поднимался по лѣстницѣ, на верхней площадкѣ которой ждали его, толпясь, служащіе и нѣкоторые товарищи, съ такимъ видомъ, какой, должно быть, имѣетъ англійскій премьеръ, который долженъ дать отчетъ въ серьезномъ, непредвидѣнномъ конституціей и чрезвычайно отвѣтственномъ шагѣ. Вскорѣ изъ толпы выдѣлилась группа товарищей-редакторовъ, и за ними закрылась черная дверь редакторскаго кабинета. Тамъ шли какія-то объясненія, отъ которыхъ,—всѣ это чувствовали,—зависѣла судьба газеты и личная судьба ея работниковъ. Потомъ двери раскрылись, всѣ разошлись по своимъ мѣстамъ, редакторы отдѣловъ принялись за работу, и хорошо слаженная машина пошла въ ходъ спокойно и увѣренно, хотя никто не зналъ, выйдетъ ли завтра номеръ, надъ которымъ приходится работать сегодня.

Въ этотъ день только и было разговоровъ въ интеллигентной московской средѣ, что о безмолвномъ юбилеѣ и „невыходѣ“ „Русскихъ Вѣдомостей“. Ни одна московская газета не обмолвилась ни словомъ объ освобожденіи крестьянъ, какъ будто дата 19-е февраля 1861 г. никогда не существовала въ русской исторіи. О ней приказано было забыть, и пресса,—голосъ общества,—покорно исполнила оскорбительное приказаніе. Невыходъ „Русскихъ Вѣдомостей“ рѣзко и выразительно подчеркивалъ картину.

Теперь,—даже во времена губернаторскаго плѣненія русской прессы и вандальскихъ маклаковскихъ проектов,—уже трудно представить себѣ всю выразительность этой демонстраціи молчанія и то значеніе, которое приобрѣтала при

этихъ условійхъ фактъ „невыхода“ „Русскихъ Вѣдомостей“. Въ первое время говорили, что номеръ газеты былъ арестованъ за „рѣзкую статью“ по поводу юбилея, сравнивавшую время реформъ съ временами реакціи. Потомъ стала извѣстна настоящая причина, и изъ устъ въ уста переходилъ разсказъ о ночномъ разговорѣ съ Долгоруковымъ. Всѣ понимали, что послѣ этого разговора „невыходъ“ газеты становился еще опаснѣе: это была уже не общая антиправительственная демонстрація, а иѣчто при русскихъ условіяхъ гораздо худшее: демонстрація антидолгоруковская, неподчиненіе распоряженію могущественнаго сатрапа...

На слѣдующій день я съ особенной тревогой кинулся къ двери своего номера: газета была тутъ. Оказалось, кромѣ того, что всѣ петербургскія газеты вышли со статьями о реформѣ, и что это, значить, былъ сепаратный приказъ по московской сатрапіи, вызванный, вѣроятно, инспираціями трусливой и злобной тогдашней московской цензуры.

— Вы думаете, это лучше? — сказалъ мнѣ при свиданіи В. М. Соболевскій со своей характерной улыбкой. — Гораздо безопаснѣе нарушить законъ, чѣмъ такой сепаратный капризь... Опасность еще не миновала.

Оказалось, однако, что на этотъ разъ гроза прошла мимо. Московскій сатрапъ былъ „отходчивъ“ и, вѣроятно, увидѣлъ, что попасть, благодаря злобнымъ совѣтамъ, въ глупое положеніе...

Быть можетъ, многіе, даже товарищи В. М. Соболевскаго теперь уже забыли объ этомъ небольшомъ эпизодѣ, который покрыть и временемъ и, вѣроятно, другими случаями изъ многотрудной жизни газеты. Но въ моей памяти эта маленькая исторія осталась со всею яркостью перваго впечатлѣнія, освѣтившаго новымъ свѣтомъ характерную фізіономію, опредѣлявшую для меня тогда внутреннее выраженіе „профессорской газеты“. Я былъ молодъ. И я довольно долго передъ тѣмъ вращался въ средѣ людей, привыкшихъ съ извѣстной небрежностью относиться къ своей личной судьбѣ и готовыхъ съ молодой беззаботностью ставить ее на карту. Это бываетъ прекрасно, но часто это развиваетъ требовательность и нѣкоторое высокомеріе. Теперь, когда я вспоминалъ фигуру В. М. Соболевскаго, поднимающагося по лѣстницѣ подъ взглядами людей, судьбу и дѣло которыхъ онъ такъ рѣшительно подвергъ величайшему риску, — я понималъ, что бываетъ отвѣтственность тяжелѣе и рискъ серьезнѣе, чѣмъ рискъ собственной судьбой. И то, что этотъ уравновѣшенный, сдержанный человекъ съ спокойной улыбкой и насмѣшливой улыбкой все-

таки пошелъ на этотъ рискъ, не уклонился отъ тяжелой отвѣтственности, что онъ своимъ „невыходомъ“ нарушилъ общую картину позорнаго подчиненія,—вызывало во мнѣ въ то время чувство не просто уваженія, а личной нѣжности, почти влюбленности.

IV.

И вотъ Соболевскаго не стало. Въ теченіе долгихъ лѣтъ посѣщая Москву, почти всегда торопливо и проѣздомъ, я пользовался случаемъ, чтобы зайти въ Чернышевскій переулокъ, и всякій разъ, когда на-встрѣчу подымалась съ редакторскаго кресла широкая фигура Василя Михайловича съ привѣтливымъ взглядомъ и характерной улыбкой, я испытывалъ ощущеніе особенной отрадной теплоты и приливъ нѣжности. И много разъ мнѣ хотѣлось сказать, какъ я полюбилъ его въ 1886 году и какъ люблю теперь. Но... говорили мы всегда о многомъ, а объ этомъ, конечно, не говорили. Рѣчь шла о послѣднихъ политическихъ новостяхъ, о литературѣ, о томъ, что... „еще далеко до настоящей свободы“, что послѣ россійской „конституціи“ стало какъ будто еще дальше, но нужно всетаки жить и работать... Говорили о томъ, какъ многіе уходятъ... О Гаршинѣ, о Чеховѣ, объ Успенскомъ, о Михайловскомъ... Но какъ-то не приходило въ голову, что такъ скоро придется уйти и ему. Въ прошломъ году я зашелъ въ Чернышевскій переулокъ, и здѣсь старый знакомый швейцаръ сказалъ:

— А сейчасъ ушелъ Василю Михайловичъ. Будетъ жалѣть, что вы зашли безъ него.

Въ редакціи мнѣ сказали, гдѣ можно встрѣтить Василя Михайловича, но и тамъ я его не засталъ.

— Ну, ничего. Еще увидимся,—подумалъ я безпечно.

Увидѣться не пришлось, и мнѣ теперь жаль, что я какъ будто не успѣлъ сказать ему что-то нужное и важное...

1913 г.

ТРАГЕДІЯ ВЕЛИКАГО ЮМОРИСТА.

(Нѣсколько мыслей о Гоголѣ).

I.

Кто не помнитъ конца веселой Сорочинской ярмарки. Свадьба... „Отъ удара смычкомъ музыканта въ сермяжной свиткѣ съ длинными закрученными усами все обратилось къ единству и перешло въ согласіе. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется, вѣкъ не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами... Все неслоь, все танцовало“...

Но вотъ:

„Громъ, хохоть, пѣсни слышатся все тише и тише, смычокъ умираетъ, слабѣя и теряя неясные звуки въ пустотѣ воздуха. Еще слышалось гдѣ-то топанье, что-то похожее на ропотъ отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо... Не такъ-ли и радость, прекрасная и непостоянная гостя, улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье. Въ собственномъ эхѣ слышитъ онъ уже грусть и пустынно и дико внемлетъ ему. Не такъ-ли рѣзвые другі бурной и вольной юности, по одиночкѣ, одинъ за другимъ, теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного стариннаго брата ихъ... Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему“...

Это написано въ 1829 году. Значить, этотъ крикъ щемящей тоски вслѣдъ за кипучимъ и бьющимъ черезъ край весельемъ вырвался изъ груди двадцатилѣтняго юноши!

Такихъ смѣнъ настроенія въ произведеніяхъ Гоголя очень много, и онѣ указываютъ на глубокую, прирожденную черту темперамента. Именно прирожденную: это было наслѣдство, полученное великимъ русскимъ юмористомъ отъ отца.

Уже біографія Василья Афанасьевича Гоголя даетъ черты такихъ же смѣнъ меланхолии и веселья. Здоровье его съ дѣтства было ненадежно. „Висота, слава Богу, по силѣ своихъ

силъ и дарованій, успѣваетъ, — писалъ о немъ, малолѣткѣ, его учитель. — Я его понуждаю къ ученію, соображаясь всегда силамъ его тѣлеснымъ, которыя усматриваются невелики“. Въ одномъ письмѣ къ Д. П. Трощинскому самъ Василій Афанасьевичъ объясняетъ свое отсутствіе на службѣ въ почтамтѣ, гдѣ онъ числился, какими-то тягостными и продолжительными припадками. Отголоски этихъ жалобъ звучали даже въ письмахъ къ невѣстѣ: „Милая Машенька, — слабость моего здоровья наводитъ страшное воображеніе, и лютое отчаяніе терзаетъ мое сердце“ *).

Во ви́шнихъ обстоятельствахъ личной жизни какъ будто не было никакихъ причинъ для такого „лютаго отчаянія“. Наоборотъ, судьба щадила хрупкое созданіе: существованіе Василія Афанасьевича складывалось спокойно и счастливо. Полюбивъ Марью Ивановну Косыровскую, онъ сталъ ухаживать за нею поэтично и робко. Объ этой идилліи сама Марья Ивановна слѣдующимъ образомъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ:

— „Когда я, бывало, гуляю съ дѣвушками по рѣкѣ Пелу, то слышала пріятную музыку изъ-за кустовъ другого берега. Нетрудно было догадаться, что это былъ онъ. Когда я приближалась, то музыка въ разныхъ направленіяхъ сопутствовала мнѣ до самаго дома“... Безхитростное ухаживаніе увѣчалось успѣхомъ. Василій Афанасьевичъ женился, имѣлъ дѣтей и жилъ мирною жизнью украинскаго помѣщика. Вопросы высшаго порядка, повидимому, не тревожили простую душу. Онъ былъ прекрасный рассказчикъ, гостей умѣлъ смѣшить анекдотами, легко подмѣчалъ смѣшныя черты у людей, но смѣялся безобидно и благодушно. Легко сочинялъ стихи, но никогда не брался за это серьезно. Писалъ на малорусскомъ языкѣ комедіи, въ которыхъ являлся смѣшной украинскій чортъ, дьячокъ въ долгополомъ хитонѣ, неповоротливый дядько, лукавая молодлица и т. д. Это былъ наивный репертуаръ первоначальнаго украинскаго театра. „Шутка и пѣсня для пріятнаго проведенія времени, — говоритъ біографъ, — вотъ все, что могъ искать тогдашній писатель въ родномъ быту. И Гоголь-отецъ очень умѣло и искусно почерпалъ изъ него элементы для своей комедіи“. Въ мозгу отца роились, очевидно, тѣ же юмористическіе образы, съ которыхъ сынъ впоследствии началъ свою писательскую карьеру...

Такъ шла жизнь Василія Афанасьевича Гоголя тихо и безмятежно. „Амуры вѣнчали“ его семейное счастье въ той самой усадьбѣ, гдѣ подъ звуки „пріятной музыки“ зародилась

*) И. Е. Щеголевъ. <http://vcin.org.pl> Отецъ Гоголя. (Историч. Вѣстн., февр. 1902).

его любовь. Простодушные сосѣди считали его анекдотистомъ, рассказчикомъ, весельчакомъ. Ни служебное, ни писательское честолюбіе не смущали его настроенія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ припадки „страшнаго воображенія“ и „лютаго отчаянія“ смѣняли веселія шутки. Онъ былъ страшно мнительнъ, часто впадалъ въ меланхолію и умеръ на 45 году. Гоголь писалъ впоследствии, что отецъ его умеръ не отъ какой-нибудь определенной болѣзни, а только единственно „отъ страха смерти“.

Этотъ „страхъ смерти“ Николай Васильевичъ Гоголь получилъ отъ отца, какъ роковое наслѣдство. Вообще въ организациі и темпераментѣ сына Гоголь - отецъ повторился довольно точно, только въ сильно увеличенномъ и болѣе яркомъ видѣ. Такъ маленькая картинка, запертая въ ящикъ волшебнаго фонаря, свѣтится увеличенная на огромномъ экранѣ...

Уже съ дѣтства сказываются въ темпераментѣ сына тѣ-же неровности и противорѣчія: онъ бывалъ то заразительно веселъ, остроуменъ, отлично игралъ на сценѣ, то впадалъ въ ипохондрію и отчаяніе. „Я почитаюсь загадкою для всѣхъ, — писалъ онъ матери, — никто не разгадалъ меня совершенно“... „Подъ видомъ иногда для другихъ холоднымъ тайлось у меня желаніе кипучей веселости“, и часто „въ часы задумчивости разгадывалъ я науку веселой счастливой жизни“.

Маленькій талантъ Гоголя-отца былъ безсознательнъ. Онъ употреблялъ его на увеселеніе сосѣдей и на украшеніе праздниковъ вельможнаго родственника Троцинскаго. Сынъ уже съ дѣтства ощущаетъ въ душѣ присутствіе гениальности, которая должна сдѣлать его жизнь не заурядной жизнью простыхъ „существователей“. Но наряду съ этимъ его сторожить и отцовскій страхъ смерти, которая можетъ помѣшать ему выполнить свое „предназначеніе“. „Съ самыхъ дѣтъ почти непониманія, — пишетъ Гоголь своему дядѣ Косыровскому, — я пламенѣлъ неугасимою ревностью сдѣлать жизнь свою нужною для блага государства, я кипѣлъ принести хоть малѣйшую пользу. Холодный потъ проскальзывалъ на лицѣ моемъ при мысли, что, можетъ быть, мнѣ доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дѣломъ... Быть въ мѣрѣ и не означить своего существованія — это было бы ужасно“...

Впоследствии въ своихъ сочиненіяхъ Гоголь далъ поразительныя описанія этого ощущенія, и это чуть не единственная мѣста, которыя носятъ явно автобіографическій характеръ.

Читатель, конечно, помнитъ смерть Пульхеріи Ивановны въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“, но я всетаки приведу здѣсь вкратцѣ эту замѣчательную картину.

У Пульхеріи Ивановны была сѣренькая кошечка, которая

почти всегда лежала, свернувшись клубкомъ, у ея ногъ. Пульхерія Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцами по ея шейкѣ, которую балованная кошечка вытягивала какъ можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерія Ивановна слишкомъ любила ее, но просто привязалась къ ней, привыкнувъ ее всегда видѣть. Аѳанасій Ивановичъ часто подшучивалъ надъ этой привязанностью, находя, что лучше было бы завести собаку. Но Пульхерія Ивановна отвѣчала:

— Ужъ молчите, Аѳанасій Ивановичъ! Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадитъ, собака перебѣетъ все. А кошка—тихое твореніе. Она никому не сдѣлаетъ зла.

За садомъ старосвѣтскихъ помѣщиковъ находился большой запущенный лѣсъ. Въ этомъ лѣсу обитали дикіе коты, которыхъ не слѣдуетъ смѣшивать съ котами цивилизованными. Это народъ большей частью мрачный, ходятъ они тощѣ, худые и мяукаютъ грубымъ, необработаннымъ голосомъ. Вообще никакія благородныя чувства имъ не извѣстны. Эти-то дикари сманили у Пульхеріи Ивановны ея цивилизованную кошечку, какъ отрядъ разнузданныхъ солдатъ-мародеровъ сманиваетъ глушую крестьянку...

Прошло три дня, и кошка явилась опять, худая, тощая.. Пульхерія Ивановна позвала ее въ комнату, накормила, хотѣла погладить, но.. кошка выпрыгнула въ окно, и никто ее уже не могъ поймать.

Это непонятное поведеніе баловницы, отдавшей предпочтеніе голодному дикому существованію передъ обеспеченностью и сытымъ покоемъ, поражаетъ старушку. Ея воображеніе, давно привыкшее къ простотѣ и, такъ сказать, полной прозрачности окружающей жизни въ ограниченномъ кругѣ, не можетъ вмѣстить страннаго явленія, и она рѣшается, что это за нею приходила ея смерть.

Весь день она была скучна... Напрасно Аѳанасій Ивановичъ шутилъ и хотѣлъ узнать, отчего она такъ загрустила. Пульхерія Ивановна была безотвѣтна или отвѣчала совершенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аѳанасіи Ивановича. На другой день она замѣтно похудѣла и объявила Аѳанасію Ивановичу, что она скоро умретъ. Эта идея укоренилась все сильнѣе. Черезъ нѣсколько дней она слегла, не могла уже принимать никакой пищи, а затѣмъ „послѣ долгаго молчанія хотѣла что-то сказать, пошевелила губами, и дыханіе ея улетѣло“.

Нужно-ли напоминать, что совершенно такъ-же умеръ и Аѳанасій Ивановичъ. *Оригиналъ въ архивѣ* прогуляться по

саду. Когда онъ шелъ по аллеѣ,—ему вдругъ показалось, что кто-то позвалъ его: „Аѳанасій Ивановичъ!..“ Онъ оборотился, но никого совершенно не было... День былъ тихъ, и солнце сіяло. Онъ на минуту задумался, а потомъ рѣшилъ, что „это его зоветъ Пульхерія Ивановна“. „Онъ весь покорился этому своему убѣжденію, сохнулъ, каплялъ, тайлъ, какъ свѣчка, и наконецъ угасъ такъ-же, какъ она, когда уже ничего не осталось, что могло бы поддержать бѣдное ея пламя“...

Итакъ,—это уже другая смерть отъ душевнаго угнетенія. Третью мы знаемъ: Гоголь-отецъ тоже умеръ не отъ какой-нибудь „соматической болѣзни“, а только отъ страха смерти.

Наконецъ, въ томъ же разсказѣ Гоголь говоритъ уже прямо о себѣ: „Вамъ, безъ сомнѣнія, когда-нибудь случалось слышать голосъ, называющій васъ по имени, который простолюдины объясняютъ тѣмъ, что душа стосковалась за человѣкомъ и призываетъ его, послѣ котораго неминуемо слѣдуетъ смерть. Признаюсь, мнѣ всегда былъ *страшенъ* этотъ таинственный зовъ. Я помню, что въ дѣтствѣ я часто его слышалъ: иногда вдругъ позади меня кто-то явственно произносило мое имя. День обыкновенно въ это время былъ самый ясный и солнечный; ни одинъ листъ въ саду на деревѣ не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечикъ въ это время переставалъ кричать; ни души въ саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бѣшеная и бурная, со всѣмъ адомъ стихій настигла меня среди непроходимаго лѣса, я бы не такъ испугался ея, какъ этой ужасной тишины среди яснаго дня. Я обыкновенно бѣжалъ съ величайшимъ страхомъ и занимавшимся дыханіемъ, и тогда только успокаивался, когда попадался мнѣ на-встрѣчу какой-нибудь человѣкъ, видъ котораго изгонялъ эту страшную сердечную пустыню“.

Это—не простая работа объективно художественнаго воображенія. Нѣтъ, это живое, осязательное ощущеніе. И замѣчательно, что оно безпричино и безпредметно. Оно не вызывается особыми внѣшними обстоятельствами; наоборотъ: для него нужно исключительное однообразіе существованія, полное душевное и внѣшнее затишье... Ни листъ не шелохнется, ни кузнечикъ не закричитъ. А внутри сердечная пустыня. И въ этой пустынѣ, лишенной и другихъ внутреннихъ ощущеній, и впечатлѣній внѣшняго міра, подымается изъ бессознательной глубины предчувствіе какого-то рокового, бессмысленнаго, непонятнаго, *безпричиннаго*, т. е. чуждаго душевной организаціи, разстройства, которое будетъ давить на мозгъ и звать непонятными голосами міровой тайны...

Въ самыхъ раннихъ юношескихъ письмахъ Гоголь выра-

жаетъ убѣжденіе, что жизнь его будетъ коротка. „Исполнители высокія предназначенія? Или неизвѣстность зароетъ ихъ въ мрачной тучѣ своей?“ *)—спрашиваетъ Гоголь-юноша, еще не выбравшій жизненной дороги. „И дорожку минутами жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговѣчна“,—пишетъ онъ В. А. Жуковскому въ 1837 году... „Увы! здоровье мое плохо, а гордые замыслы... О, другъ, если бы мнѣ на 5 лѣтъ еще здоровье“... Это писано въ 1838 году, т. е. за 14 лѣтъ до смерти. Такихъ мѣстъ можно бы цитировать изъ переписки Гоголя очень много. И всѣ они доказываютъ, что „страхъ смерти“ сопровождаетъ гениальнаго писателя отъ юности до ранней могилы...

Въ прекрасной работѣ д-ра Баженова („Болезнь и смерть Гоголя“, „Р. Мысль“, февраль 1902 г.) діагнозъ этой болѣзни поставленъ научно: Гоголь страдалъ тѣмъ, что въ психіатрической медицинѣ называютъ теперь „депрессивнымъ неврозомъ“. Безпричинное душевное угнетеніе врачи объясняютъ физиологически тѣмъ, что сосуды, питающіе корковое вещество мозга, сжимаются, и часть мозга, именно та, отъ которой зависитъ настроеніе, становится обезкровленной. Причина такъ сказать чисто механическая. Гоголь по наслѣдству получилъ этотъ аппаратъ нѣсколько испорченнымъ. Отсюда склонность къ меланхоліи, отсюда частая подавленность и печаль... Докторъ Баженовъ, еще не знавшій біографіи Гоголя-отца, искалъ наслѣдственности со стороны матери. Мы теперь знаемъ, что это ошибка: это была точная копія болѣзни отца, отъ которой онъ умеръ.

Таково научное, почти механическое объясненіе. Механизмъ подавляетъ душевное настроеніе. Да. Но мы знаемъ, что и душевное настроеніе въ свою очередь можетъ побѣждать механизмъ. Представимъ себѣ человѣка, находящагося въ состояніи депрессивнаго невроза, т. е. въ безпричинно подавленномъ настроеніи, которому почталіонъ приноситъ письмо съ какимъ-нибудь радостнымъ извѣстіемъ. Это—привѣтъ отъ любимой дѣвушки, или отъ друга, или извѣстіе о побѣдѣ единомышленниковъ по общественному дѣлу, или новое доказательство дорогой этому человѣку отвлеченной идеи. И вотъ угнетеніе исчезаетъ, глаза загораются огнемъ, въ лицѣ—радостное оживленіе. Въ этомъ случаѣ чисто психическій душевный мотивъ очевидно побѣдилъ механическую причину угнетенія...

У Гоголя былъ именно такой почталіонъ, который постоянно

*) Письмо Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. I—89.

доставлялъ ему подобныя извѣстия и помогаль бороться съ роковымъ наслѣдіемъ. Этимъ постояннымъ источникомъ радости было творчество.

II.

У насъ есть одно замѣчательное въ этомъ отношеніи признаніе самого Гоголя.

„Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ моихъ сочиненіяхъ,—пишетъ онъ въ „Авторской исповѣди“,— заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать самого себя, я... выдумываль цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставляль ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому выйдетъ отъ этого какаѧ польза. Молодость, во время которой не приходять на умъ никакіе вопросы, подталкивала. Вотъ происхожденіе тѣхъ первыхъ моихъ произведеній, которые однихъ заставляли смѣяться какъ-то беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли человѣку умному приходять въ голову такіа глупости“.

Итакъ, мы видимъ, что Гоголь безсознательно прибѣгаетъ къ своему таланту для борьбы съ угнетеніемъ и болѣзنیю. Сначала воображеніе дѣйствуетъ стихійно и безотчетно въ направленіи непосредственно юмористическомъ. Въ августѣ 1831 года Пушкинъ писалъ Воейкову:

„Сейчасъ прочелъ „Вечера близъ Диканьки“. Она изумила меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами, какаѧ поэзія, какаѧ чувствительность! Мнѣ сказывали, что когда издатель *) вошелъ въ типографію, гдѣ печатались „Вечера“, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая ротъ рукою. Факторъ объяснилъ ихъ веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смѣху, набирая его книгу. Мольеръ и Фильдинъ, вѣроятно, были бы рады разсмѣшить своихъ наборщиковъ. Поздравляю публику съ истинно веселою книгою“.

Скоро, однако, тотъ-же Пушкинъ, обладавшій, дѣйствительно, орлинымъ критическимъ взглядомъ, замѣтилъ всю сложность гоголевскаго смѣха. „Гоголь — великій меланхоликъ“,—опредѣлиль онъ темпераментъ своего младшаго товарища, а Бѣлинскій первый примѣнилъ къ нему въ литературѣ терминъ

*) „Издатель“ въ то время называли автора издаваемой книги.

„смѣхъ сквозь слезы“. Гоголь довольно долго еще не понималъ всего значенія своего смѣха. Видя, что онъ нравится, заражаетъ, доставляетъ усмѣхъ, онъ давалъ волю стихійной способности. Даже о самомъ глубокомъ изъ своихъ произведеній онъ вначалѣ писалъ Пушкину: „Началъ „Мертвыхъ душъ“. Сюжетъ... кажется, будетъ сильно смѣшонъ“. И его, повидимому, удивило, что на Пушкина смѣшной сюжетъ подействовалъ иначе.

„Когда я началъ читать Пушкину первыя главы „Мертвыхъ душъ“,—пишетъ Гоголь въ „Авторской исповѣди“,—то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи..., началъ понемногу становиться все сумрачнѣе... Когда чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: „Боже, какъ грустна наша Россія!“

Вообще, Пушкинъ первый заставилъ Гоголя, по его собственному признанію, „взглянуть на дѣло серьезно“, указавъ глубокое значеніе его смѣха. И послѣ этого ученикъ даже преувеличилъ значеніе сознательнаго элемента въ своемъ творчествѣ: о стихійныхъ произведеніяхъ своей юности онъ сталъ отзываться съ пренебреженіемъ. „Я не издамъ ихъ („Вечеровъ на хуторѣ“),—писалъ онъ Погодину въ 1838 году.—Я даже позабылъ, что я—творецъ этихъ вечеровъ. Да обречутся они неизвѣстности, пока что-нибудь великое, художническое не изыдетъ отъ меня“. И не только о „Вечерахъ“, но и о такихъ произведеніяхъ, какъ „Сора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“, онъ отзывался впослѣдствіи, какъ о произведеніяхъ незрѣлыхъ, правящихся только широкому кругу; но истинные цѣнители (самъ авторъ, Пушкинъ, Жуковскій) не могутъ не видѣть ихъ недостатковъ.

Это странное пренебреженіе къ своимъ молодымъ произведеніямъ становится, пожалуй, понятнымъ: Гоголь не могъ какъ будто забыть личнаго узко-служебнаго, такъ сказать санитарнаго значенія своихъ молодыхъ вдохновеній. Почему онъ долженъ уважать посыльнаго, котораго самъ отправляетъ за „веселыми извѣстіями“, какъ мы посылаемъ за порошкомъ хины въ аптеку?.. Онъ чувствуетъ только, что когда приходитъ смѣхъ, бодрый, веселый и свѣтлый,—ему становится легче, темныя тучи, нависающія неизвѣстно откуда надъ его душевнымъ горизонтомъ,—разсѣиваются. Онъ его любитъ, пускаетъ часто въ ходъ и такимъ образомъ инстинктивно развиваетъ стихійную способность. Но любить не значить еще уважать...

Но вотъ Пушкинъ указываетъ Гоголю, что его веселый посыльный человекъ не совсѣмъ-то простой. Съ его приходомъ

мѣняется настроеніе не одного автора. Всѣ, кого авторъ зна-
комить съ нимъ, не только смѣются, а порой восторгаются,
и плачутъ, и негодуютъ, и умиляются, и затѣмъ принима-
ются обсуждать важные вопросы жизни. Около него вспыхи-
ваютъ новыя чувства, новыя мысли... Онъ приводитъ къ сво-
ему хозяину самыхъ выдающихся людей того времени. Ему
на-встрѣчу закипаетъ молодой критическій талантъ Бѣлин-
скаго. Пушкинъ испытываетъ приступы глубокой печали со-
знательнаго гражданина безправной и рабской страны...

Беззаботный смѣхъ, освобождающій отъ меланхоліи, превра-
щается изъ простаго посыльнаго въ благодѣтельнаго чародѣя.
Онъ становится нужнымъ, близкимъ, полезнымъ, интереснымъ
для всѣхъ... Вся Россія, вперяетъ въ него полныя ожиданія очи“...

Мы видѣли, что уже въ юности Гоголь съ непонятною въ
заурядномъ человѣкѣ страстностью мечталъ „означить чѣмъ-
нибудь свое существованіе“. Сначала онъ не связывалъ этого
стремленія съ литературой и мечталъ только о какой-то осо-
бенно-осмысленной „службѣ государству“... „Неправосудіе,
величайшее въ свѣтѣ несчастіе, больше всего разрывало его
сердце“. Теперь работа воображенія, доставляющая радость
сама по себѣ, становится средствомъ приносить пользу, „озна-
чить свое существованіе“. Онъ напередъ на проявленія неправо-
судія, „собранныя въ одно мѣсто“, пронизетъ ихъ пламенемъ
своего гнѣва, покроетъ всенародно раскатами общаго смѣха...

Это — исполненіе мечты, это — элементы великой душевной
гармоніи. Это — неустающій потокъ той самой психической
силы, которая своимъ живымъ напоромъ побуждаетъ враж-
дебныя механико-физиологическія вліянія. Прежде юноша
Гоголь для забавы и развлеченія пускалъ въ свою душу ру-
чейки весело журчавшаго смѣха, и они каждый разъ прого-
няли темную душевную накипь. Теперь это могучее теченіе,
выносящее его на вершину общественнаго признанія и славы,
дающее надежду на исполненіе „великаго предназначенія“.
Самое предчувствіе этого наполняетъ его восторгомъ:

„У ногъ моихъ, — пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ, — шу-
мить прошедшее. Надо мною сквозь туманъ свѣтлѣетъ не-
разгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей (храни-
тель, ангель), мой гений! О, не скрывайся отъ меня... не от-
ходи отъ меня весь этотъ такъ заманчиво начинающійся для
меня годъ... Я совершу! Я совершу! Жизнь кипитъ во мнѣ.
Труды мои будутъ вдохновлены. Надъ ними будетъ вѣять
недоступное землѣ Божество!“ *).

*) Сочиненія (подъ ред. Тихонравова, I. 114—185).

Это писано въ 1834 году, когда, по мнѣнію д-ра Бажепова, роковая болѣзнь уже опредѣлилась. Опредѣлились, значить, двѣ противоположныя силы, вступающія въ борьбу въ „хрункомъ составѣ писателя“: *радость творчества противъ неблагоприятныхъ органическихъ вліяній.*

III.

24 іюля 1829 г., черезъ полгода съ небольшимъ послѣ пріѣзда въ Петербургъ изъ Полтавской губерніи, Гоголь писалъ своей матери:

„Маменька, не знаю, какія чувства будутъ волновать васъ при чтеніи этого письма, но знаю только то, что вы будете неспокойны... Перо дрожить въ рукѣ моей... непонятная сила нудитъ и вмѣстѣ отталкиваетъ высказать всю глубину истерзанной души“.

За этимъ слѣдуетъ цѣлая страница туманныхъ изліяній, послѣ которыхъ Гоголь сообщаетъ матери, что онъ влюбленъ.

„Я видѣлъ ее... нѣтъ, не назову ее... она слишкомъ высока для меня, не только для меня... Это божество, но облеченное слегка въ человѣческія страсти. Лицо, котораго поразительное блистаніе печатлѣтся въ сердцѣ; глаза, быстро пронзающіе душу, но ихъ сіянія жгучаго, проходящаго насквозь всего, не вынесетъ ни одинъ изъ человѣковъ... Нѣтъ, это не любовь была... Въ порывѣ бѣшенства и ужаснѣйшей тоски, я жаждалъ, кипѣлъ учиться однимъ только взглядомъ... Съ ужасомъ осмотрѣлся и разглядѣлъ я свое ужаснѣйшее состояніе... Я увидѣлъ, что мнѣ нужно бѣжать отъ самого себя, если я хотѣлъ сохранить жизнь, водворить хоть тѣнь покоя въ мою истерзанную душу“.

Впрочемъ, вслѣдъ за этими риторическими изліяніями юный Гоголь высказываетъ мнѣніе, что необыкновенная женщина послана ему Провидѣніемъ не напрасно: онъ не долженъ пресмыкаться по канцеляріямъ; настоящій его путь—путь новыхъ наблюденій, новыхъ знаній и опыта. Какъ указаніе свыше, Провидѣніе и поставило передъ нимъ эту женщину, а „божество, Имъ созданное, часть Его самого“. Ему необходимо было бѣжать. Куда-же? За-границу. По этой причинѣ, получивъ деньги для внесенія въ опекунскій совѣтъ и узнавъ, что возможна отсрочка, онъ денегъ не вынесъ, а купилъ парходный билетъ и очутился въ Любекѣ.

Письмо это впоследствии вводило въ заблужденіе біографовъ... У Петрарки была Лаура, у Данте — Беатриче, у Гете — Фредерика Бріонъ и г-жа фонъ-Штейнъ, у Гейне, Пушкина, Лермонтова — цѣлый рядъ поэтическихъ женскихъ

образовъ, вдохновлявшихъ воображеніа и заставлявшихъ сильнѣе биться сердца... Въ таинственномъ божествѣ, „облеченномъ слегка въ человѣческія страсти“, взгляда котораго „не вынесетъ ни одинъ изъ человѣковъ“, біографы Гоголя хотѣли видѣть Александру Осиновну Смирнову...

Но Марья Ивановна Гоголь была проникательнѣе біографовъ. Она была женщина умная, знала сына и сама любила когда-то своего Василья Афанасьевича. Она помнила, какъ онъ игралъ ей за рѣчкой вѣжныя мелодіи и писалъ любовныя письма. Наныщенный, неискренній и холодный стиль въ письмѣ сына не могъ обмануть ее: это, очевидно, не любовь къ живой женщинѣ, а что-то другое. Что-же именно? Просто попытка объясненія того обстоятельства, что оренбургскія деньги самовольно употреблены на поѣздку за-границу. Зачѣмъ? Марья Ивановна знала, что за-границу ѣздить лѣчиться. Петербургъ—городъ соблазнительный. Итакъ, ея сынъ поѣхалъ лѣчиться отъ... дурной болѣзни.

Какъ это часто случается съ умными и практическими людьми, Марья Ивановна превосходно угадала очень многое. Но выводъ сдѣлала грубо ошибочный: отвѣтное письмо матери поразило сына, какъ громомъ. „Въ первый разъ въ жизни,—писалъ онъ 24 сент. 1829 года,—и дай Богъ, чтобы въ послѣдній, я получилъ такое страшное письмо“. Упреки мать за ея предположенія, онъ прибавляетъ: „Вотъ вамъ мое признаніе: одни только гордые помыслы юности, проистекшіе изъ пламеннаго желанія быть полезнымъ, завлекли меня слишкомъ далеко“... Въ своемъ слишкомъ простомъ объясненіи Марья Ивановна, дѣйствительно, ошиблась: за-границу увлекала Гоголя не любовь и не болѣзнь, а писательскій инстинктъ.

Въ 1829 году Гоголь былъ двадцатилѣтнимъ юношей. Черезъ 3 года въ письмѣ къ небольшому товарищу А. С. Данилевскому Гоголь прямо признается, что чувства сильной любви онъ не испытывалъ, и радуется этому: сильное чувство „превратило бы въ прахъ“ его слабый организмъ. А еще лѣтъ десять позже, почти уже передъ смертью, больной, огорченный, усталый, онъ попытался, повидимому, сдѣлать предложеніе А. М. Вильгорской, съ которой велъ знакомство и дружескую переписку безъ всякихъ намековъ на какое-нибудь болѣе вѣжное чувство. На предложеніе послѣдовалъ отказъ, не вызвавшій, повидимому, особаго огорченія.

И это все: ни Лауры, ни Беатриче, ни Натальи Гончаровой. Ни семьи, ни профессіи, ни даже службы въ тѣ времена, когда все на Руси служило, не исключая писателей: Державинъ былъ губернаторомъ, И. И. Дмитриевъ—министромъ,

Карамзинъ и Жуковскій—царедворцы. Даже Пушкинъ съ горечью и нетерпимостью, но напрасно стремился скинуть придворный мундиръ и сошелъ въ могилу камеръ-юнкеромъ. Николай I не хотѣлъ понять, что можно быть только Пушкинымъ и ничѣмъ болѣе. Гоголь всетаки остался только Гоголемъ. „Могу сказать,—писалъ онъ въ 1836 году В. А. Жуковскому,—что никогда не жертвовалъ свѣту своимъ талантомъ. Никакое развлеченіе, никакая страсть не могла овладѣть моею душою и отвлечь меня отъ моей обязанности“... „Не писать для меня значило бы не жить“,—говорилъ онъ позже въ „Авторской исповѣди“.

Гоголь былъ только писателемъ и не зналъ ничего другого въ жизни. Вся трагедія его короткаго, блестящаго и многострадальнаго существованія была цѣликомъ и исключительно трагедіей творчества: въ немъ были его радости, его страданія, съ нимъ связана ранняя гибель...

Тяжелая запутанная и удручающая трагедія... Перечитать четыре тома его переписки, тщательно собранной В. И. Шенрокомъ,—переписки темной, часто неискренней, какъ приведенное выше письмо къ матери,—значить, пережить отраженно настоящую душевную пытку. Задавшись нѣсколько лѣтъ назадъ этой трудной задачей, я помогать себѣ особымъ приемомъ: прочитавъ рядъ писемъ за извѣстный періодъ, я обращался затѣмъ и къ Гоголю-художнику и прочитывалъ то, что онъ написалъ въ это-же время. Точно свѣтлый лучъ пронизывалъ мутную мглу, точно струя свѣжаго воздуха врывается въ больничную палату, и можно было идти дальше темными закулисными путями этой страдальческой души: они получали объясненіе, освѣщеніе и оправданіе.

Каждое произведеніе Гоголя является не только художественнымъ перломъ, но и побѣдой, вырванной у роковой болѣзни, побѣдой человѣческаго духа надъ болѣзненнымъ предопредѣленіемъ. И эта борьба, и эти побѣды шли на аренѣ, совершенно расчищенной отъ всѣхъ жизненныхъ условій, которыя могли бы усложнить ее. Можно сказать опредѣленно, что это былъ настоящий поединокъ гения съ роковымъ недугомъ, гдѣ каждая побѣда гения отмѣчалась новымъ торжествомъ русской литературы.

IV.

Первымъ замѣчательнымъ произведеніемъ, въ которомъ Гоголь поставилъ себѣ (подъ вліяніемъ Пушкина) опредѣленную общественную задачу, былъ „Ревизоръ“. Въ „Ревизорѣ“,—вишеть онъ въ „Авторской исповѣди“,—я рѣшился собрать

все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, всё несправедливости, какія дѣлають въ тѣхъ мѣстахъ и тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за однимъ разомъ посмѣяться надъ всѣмъ“.

О первомъ представленіи „Ревизора“ мы имѣемъ противорѣчивыя свидѣтельства современниковъ. Одни говорятъ о колоссальномъ успѣхѣ: театръ дрожалъ отъ хохота. Другіе считаютъ успѣхъ далеко неполнымъ и сомнительнымъ. По свидѣтельству П. В. Анненкова, высоко-чиновная и аристократическая публика перваго представленія недоумѣвала. „Какъ будто находя уснокоеніе въ томъ, что дается фарсъ, большинство зрителей остановилось на этомъ предположеніи. Раза два или три раздавался общій смѣхъ. Но уже къ четвертому акту смѣхъ становился робкимъ, пропадалъ. Аплодисментовъ почти не было. Напряженное вниманіе къ концу четвертаго акта переродилось почти во всеобщее негодованіе... Общій голосъ, слышавшійся по всѣмъ сторонамъ избранной публики, былъ: это невозможно, клевета, фарсъ“... Въ огромномъ большинствѣ печатныхъ отзывовъ автора упрекали за то, что въ его комедіи одни отрицательные типы: нѣтъ добродѣтельнаго человѣка, на которомъ могло бы „успокоиться нравственное чувство“. Крѣпостническій строй требовалъ отъ автора своего оправданія, а въ комедіи чувствовалось одно глубокое художественное отрицаніе.

Во время перваго представленія „Женитьбы Фигаро“ происходило то же. „Французы, какъ дѣти,—сказалъ одинъ изъ зрителей, гляди на бѣснующійся противъ автора театр: — брыкаются, когда ихъ умываютъ“. И, однако, это не помѣшало комедіи Бомарше стать безсмертной истинно національной сатирой, до сихъ поръ не утратившей своего значенія. Такое же вѣяніе безсмертія можно было угадать и въ этомъ все стихающемъ смѣхѣ, и въ напряженномъ вниманіи, и въ недовольствѣ „избранной публики“, которую „умывалъ Гоголь“.

Были люди, которые сразу поняли великое значеніе „Ревизора“ и отдали автору свои симпатіи именно за безошадность его сатиры. Бѣлинскій, тогда мало извѣстный критикъ не особенно распространенной „Молвы“, написалъ восторженный отзывъ, въ которомъ съ чрезвычайной глубиной оцѣнилъ значеніе комедіи. „Удивительно,—говорилъ онъ,—какъ это никто не замѣчаетъ того благороднаго лица, котораго требуютъ и не находятъ въ пьесѣ. Онъ въ ней есть. Это смѣхъ, очищающій душу“. И меньшинство, котораго Бѣлинскій былъ выразителемъ, съ сознательнымъ восторгомъ привѣтствовало гениальнаго сатирика. Вокругъ комедіи кипѣли страстные

споры, она давалась при переисполненномъ театрѣ, актеры выработывали все ясніе безсмертныя гоголевскія фигуры, ихъ изреченія становились стереотипными, какъ нѣкоторые стихи Грибоедова, и созданныя Гоголемъ образы вросли въ понятія... Комедія явно становилась сокровищемъ русской литературы и русской сцены.

А въ это время самъ авторъ чувствовалъ себя угнетеннымъ и подавленнымъ... неудачей „Ревизора“... Правда, онъ замѣтилъ статью Вѣлинскаго и въ своемъ „Театральномъ разбѣздѣ“, защищаясь противъ нападокъ, онъ проводитъ въ въ числѣ другихъ и мысль Вѣлинскаго о благородномъ смѣхѣ. Но въ глубинѣ его души были недовольство и тоска. Въ письмѣ къ Пушкину Гоголь винить въ своемъ настроеніи „соотечественниковъ“: „Я усталъ душою и тѣломъ. Клянусь, никто не знаетъ и не видитъ моихъ страданій“. И въ другомъ: „Бѣду за-границу, тамъ размыкать тоску, которую напосылаютъ мнѣ ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель правовъ долженъ быть подалеже отъ своей родины“. Но въ матеріалахъ Шенрока приведено письмо къ „одному литератору“, написанное по поводу перваго представленія, и въ немъ Гоголь такъ изображаетъ свое нравственное состояніе: „Съ самаго начала... я уже видѣлъ въ театрѣ скучный. О восторгѣ и пріемѣ публики я не заботился. Одного только судьи изъ всѣхъ бывшихъ въ театрѣ я боялся, и этотъ судья былъ я самъ. Внутри себя я слышалъ угрозы и ропотъ противъ своей же пьесы, которые заглушали всѣ другіе“...

Итакъ, „единственный судья“ осудилъ пьесу, вокругъ которой закипѣла борьба старой и новой Руси. Въ спорѣ друзей и враговъ своего гениальнаго произведенія Гоголь, послѣ нѣкоторыхъ колебаній, склонился... на сторону враговъ *).

Вскорѣ послѣ перваго представленія „Ревизора“ Гоголь убѣждаетъ за-границу. Зачѣмъ? Мы видѣли уже въ его письмахъ, что самъ онъ объясняетъ это отношеніемъ соотечественниковъ, и въ послѣдствіи много разъ онъ повторяетъ этотъ мотивъ: „комическому писателю не мѣсто на родинѣ“.

Въ дѣйствительности, однако, причина была другая. Онъ увозилъ съ собою начало „Мертвыхъ душъ“ и для работы надъ этимъ величайшимъ произведеніемъ своей жизни вперёдъ уже сосредоточивалъ всѣ свои жизненныя силы. Сознаніе „недуга“ заставляетъ его быть экономнымъ. Живое, чрезвы-

*) Эту истинно роковую странность отмѣтилъ еще Вѣлинскій въ статьѣ о „Переплестѣ съ друзьями“.

чайно воспримчивое воображеніе полно образовъ. Въ ихъ разработкѣ и воплощеніи—задача жизни и средство спасенія. На это направляются всѣ усилія гениальнаго человѣка. Онъ, повидимому, совершенно сознательно отстраняетъ притокъ разнородныхъ впечатлѣній, которыя, расширяя душу для большей полноты жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ могли бы ослабить ея сосредоточенную силу. Онъ радъ, что не испыталъ любви: она взяла бы у него слишкомъ много настроенія, нужнаго для главнаго дѣла. Живая, яркая и разнородная реакція общества на его сатиру ему тоже не по силамъ. За-границей онъ съуживаетъ кругъ новыхъ впечатлѣній, отдаваясь исключительно обработкѣ художественнаго матеріала, вынесеннаго изъ отечества. Д. Н. Куликовскій въ своей работѣ о Гоголѣ отмѣчаетъ, что мимо него за-границей проходили захватывающія событія и великое движеніе мысли, совершенно его не задѣвая. Въ то время, какъ Пушкинъ смотрѣлъ на современный міръ широко и жадно раскрытыми глазами, ловя каждое новое явленіе и усваивалъ каждую новую мысль,—Гоголь въ своей обширной перепискѣ почти не оставилъ слѣдовъ подобной любознательности. Острая отъ природы, но мало тронутая культурой, мысль его работала въ узкомъ кругѣ.

„Боже! какіе есть сюжеты!“—то и дѣло пишетъ Гоголь своимъ друзьямъ и неизмѣнно прибавляетъ: „хватить-ли силы!“... „Столько еще жизни, чтобы закончить „Мертвыя души“. Больше не прошу у Бога ни часу!“ „Ничего не пишу тебѣ о римскихъ происшествіяхъ, о которыхъ ты меня спрашиваешь,—говоритъ онъ въ одномъ изъ писемъ къ Данилевскому (авг. 1841).—Я уже ничего не вижу передъ собою, и во взорѣ моемъ нѣтъ животрепещущей внимательности новичка. Все, что мнѣ нужно было, я забралъ и заключилъ въ себѣ, въ глубину души моей“... „Нѣтъ, клянусь, грѣхъ, сильный грѣхъ, тяжкій грѣхъ отвлекать меня“*). Не ясно-ли состояніе души, устремившей всѣ свои способности къ одной цѣли и не желающей кидать по сторонамъ ни одного лишняго, безцѣльнаго взгляда. Зачѣмъ хватать на лету новыя явленія и новыя мысли, когда все это кажется лежащимъ внѣ точно намѣченнаго круга его жизни? Ослабить напряженность воображенія, радостно и страстно созерцающаго опредѣляющіеся образы далекой родины—значить сдѣлать вычетъ въ строго-разсчитанной экономіи силъ, отъ которой зависитъ выполненіе главной задачи жизни и даже продолженіе самой жизни.

*) Письма к. П., 151 и 100 (последнее къ Погодину).

Во все это время, когда Гоголь, окончательно разставшись съ безотчетнымъ творчествомъ, отдается идеѣ „Мертвыхъ душъ“, судьба его страннымъ образомъ вызываетъ въ памяти судьбу Хомя Брута, вѣришь—исторію его всеночныхъ бдѣній въ заколдованной часовнѣ. Блѣдный философъ очертилъ около себя кругъ и весь заполнилъ его сіяніемъ свѣчей. Въ этомъ кругу все свое вниманіе и все напряженіе воли онъ направляетъ на чтеніе священной книги. Эти слова одни способны прогнать страшныя порожденія враждебнаго міра...

Такая же тѣсная часовня для Гоголя—его заграничная жизнь. Самъ онъ въ письмѣ къ Уварову говорилъ, что въ ней онъ „обрекъ себя на уединеніе“, обративъ все способности на созданіе „Мертвыхъ душъ“. Около него тоже тѣсный кругъ, освѣщенное мѣсто во тьмѣ обширнаго міра. Здѣсь точно въ свѣтломъ лучѣ роятся передъ нимъ яркіе образы, летающіе въ воображеніи на крыльяхъ оздоровляющаго и защищающаго смѣха. Это истинныя созданія дня и свѣта... А по сторонамъ роились, сгущались и тянулись къ нему кошмарныя порожденія тьмы и страха. И въ глубинѣ, скорѣе угадываемое, чѣмъ видимое зрѣнію, неопредѣленное и страшное гнѣздилося чудовище—страхъ смерти, готовое взглянуть, какъ Вій, на одинокаго подвижника своимъ мертвящимъ взглядомъ. Чтобы защититься отъ этого враждебнаго міра, Хомя Брутъ читаетъ священную книгу надъ гробомъ зачарованной красавицы... А Гоголь все пишетъ о Россіи, тоже зачарованной рабствомъ.

И пока работало воображеніе, пока онъ могъ творить, — онъ жилъ. А могъ онъ творить, пока ложная мысль не связала крылья его геніальнаго, оздоровляющаго и цѣлебнаго смѣха...

V.

Все время, пока писались за-границей „Мертвыя души“, здоровье Гоголя подвергалось колебаніямъ. Уже раньше, въ Москвѣ, въ 1833 году Гоголь часто впадалъ въ мрачное настроеніе. Онъ былъ мнительнъ, нерѣдко считалъ себя неизлѣчимо больнымъ, хотя по наружности казался свѣжимъ и бодрымъ. Изъ-за-границы онъ часто шлетъ жалобы на свое состояніе. „На мозгъ мой точно надвинулся колпакъ, который мѣшаетъ мнѣ думать и туманитъ мои мысли“ *)... „Голова часто покрыта тяжелымъ облакомъ, который (sic) и долженъ безпрестанно стараться разсѣивать“ **). „Здоровье мое плохо.

*) 1837 годъ. Письмо Прокоповичу.

**) Ему же, 1838 годъ. Г. Важенъ отмѣчаетъ здѣсь опредѣсленный симптомъ, называемый въ медицинѣ невралгическою каской.

Занятіе самое легкое отяжеляваетъ мою голову. Италія, прекрасная моя ненаглядная Италія продлила мою жизнь, но искоренить совершенно болѣзнь, деспотически вторгнушая въ составъ мой, она не въ силахъ... Что, если я не окончу труда моего?“ (Князю Виземскому. 1838). „Недугъ, который, казалось, было облегчился, теперь усилился вновь... Но я веду свою работу, и она будетъ окончена“ (Погодину, тогда-же). Въ 1840 году, въ Вѣнѣ Гоголь подвергся очень бурному нервному припадку, послѣдовавшему за періодомъ возбужденія. „Я почувствовалъ, — писалъ онъ въ послѣдствіи, — то подступившее къ сердцу волненіе, которое всякій образъ, пролетавшій въ мысляхъ, обращало въ исполина, всякое незначительное пріятное чувство превращало въ такую страшную радость, какую не въ силахъ вынести природа человѣка, и всякое случайное чувство претворяло въ печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потомъ слѣдовали обмороки и столбнякъ...“^{*}).

Любопытно, что это теченіе душевной болѣзни Гоголя было совершенно независимо отъ его тѣлеснаго здоровья или чисто физическихъ недуговъ. Въ нѣкоторыхъ позднѣйшихъ письмахъ Гоголь очень опредѣленно описываетъ свои болѣзненные состоянія, при которыхъ, однако, чувствуетъ и голову, и мысли совершенно свѣжими и поэтому не испытываетъ никакого душевнаго угнетенія... Можно ли вообще установить неуклонное возрастаніе душевной болѣзни въ теченіе того времени, когда создавался первый томъ „Мертвыхъ душъ“, то есть въ десятилѣтіе 1833 — 1842 года?

Было бы чрезвычайно интересно прослѣдить подробно съ этой точки зрѣнія всю переписку Гоголя, это помогло бы установить связь основной болѣзни Гоголя съ успѣхомъ или неудачами его работы. Но уже и то, что мы знаемъ, позволяетъ, кажется, отвергнуть неуклонную послѣдовательность въ ростѣ болѣзни: въ перепискѣ Гоголя за всѣ эти годы жалобы на состояніе здоровья то и дѣло смѣняются нотами удовлетворенія и торжества. „Мертвыя души“ текутъ живо, — пишетъ онъ Жуковскому въ 1836 году изъ Парижа: — свѣжѣе и бодрѣе чѣмъ въ Веве, — и мнѣ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи. Передо мною все наше: наши помѣщики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, — словомъ, вся наша православная Русь. Мнѣ даже смѣшно, когда подумаю, что я пишу „Мертвыхъ душъ“ въ Парижѣ... Огромно, велико мое твореніе и не скоро конецъ его... Еще возстанутъ на меня новыя сословія и много разныхъ господъ... Но что-же

^{*}) Письма Гоголя. Ред. В. И. Шейрова. I. 52 стр.

миѣ дѣлать? Уже судьба моя враждовать съ моими соотечественниками. Терпѣніе! Кто-то незримый нищетъ передо мною погущественнымъ жезломъ...”

Въ воспоминаніяхъ Н. В. Берга сохранился разсказъ самаго Гоголя о томъ, какъ въ билліардной одного жалкаго трактира между Дженцано и Альбано ему удалось при странномъ шумѣ и среди удушливой атмосферы написать за одинъ присѣсть цѣлую главу „Мертвыхъ душъ“. В. И. Шенрокъ относитъ этотъ фактъ къ 1838 году. Въ томъ же 1838 году Гоголь въ письмѣ къ Погодину опять дѣлаетъ указанія на успѣхъ своей работы. „Вообще,—говоритъ В. И. Шенрокъ,—настроеніе Гоголя въ это время (т. е. къ концу десятилѣтія) было самое счастливое. Хандра, временами посѣщавшая его въ Парижѣ и Женевѣ, была забыта надолго и порой свое настроеніе онъ характеризуетъ словами: „Въ душѣ моей небо и рай“. „У меня теперь въ Римѣ мало знакомыхъ, встрѣче почти никого (Рѣбинины во Флоренціи), но никогда я не былъ такъ веселъ, такъ доволенъ жизнью“.. „...Я не скажу, что я здоровъ,—сообщаетъ Гоголь въ письмѣ къ Жуковскому уже въ 1841 году.—Нѣтъ, здоровье, можетъ быть, еще хуже. Но я болѣе, нежели здоровъ. Я слышу часто чудныя минуты, чудной жизнью живу, внутренней, огромной, заключенной со мнѣю самою, и никакого блага и здоровья не взялъ бы“.

Не ясно-ли, что послѣдніе четыре года (1838, 39, 40 и 41-й) не только нельзя считать періодомъ особеннаго усиленія „депрессивнаго невроза“, но, наоборотъ, это необычно долгій періодъ сравнительной душевной бодрости и подъема, лишь отчасти нарушаемаго болѣзнію. А если вспомнить въдобавокъ, что, по словамъ самаго д-ра Баженова, уже въ началѣ тридцатыхъ годовъ душевная болѣзнь Гоголя вырвала у него цѣлый годъ жизни, то мы должны будемъ признать, что какая-то сила ворвалась въ развитіе болѣзни, ослабляя ея успѣхи и совершенно нарушая ея „цикличность“.

Какая это сила — совершенно ясно. Именно, въ эти годы Гоголь заканчивалъ первый томъ самаго важнаго изъ своихъ созданій—„Мертвыя души“—теченіе котораго уже совершенно опредѣлилось...

Художественная идея, уже нашедшая свой образъ, обладаетъ чѣмъ-то вродѣ собственной органической жизни, движется дальше по собственнымъ законамъ. Созерцаніе этого стройнаго движенія — процессъ почти стихійный, служащій для творца источникомъ высокаго удовлетворенія. Не забудемъ, что, по точному показанію Гоголя, первые его юмористическіе образы даже рождались въ минуты душевнаго угне-

теи. Теперь, когда окрѣпшее воображеніе теи несется въ сильной струѣ живой художественной идеи, его творчество является могучей оздоровляющей силой... Таинственный недугъ, все значеніе котораго въ вызываемомъ имъ душевномъ угнетеніи, отступаетъ передъ потокомъ необикновеннаго подѣема, плавно стремящимся къ намѣченной цѣли...

Въ это время въ Гоголь назрѣвали уже идеи „Черениски“. Въ письмахъ къ великосвѣтскимъ друзьямъ, къ „благодатнымъ“ Аннамъ Михайловнымъ или „благоуханнѣйшимъ“ Александрямъ Осиповнамъ звучали уже странныя мысли; слогъ писемъ—дѣланый, искусственный, то напряженно учительный, то неприятно смиренный и слащавый... А чудное художественное произведеніе подвигается глава за главой въ собственномъ цѣльномъ стилѣ, точно свѣтлое зданіе надъ болотистой и мглистой равниной. И нигдѣ въ этомъ созданіи не замѣтно ни малѣйшей трещины. Геніальный смѣхъ совершалъ надъ туманами свой неустойчивый полетъ. И ни разу его крыло не сдѣлало невѣрнаго или слабого взмаха...

VI.

И вотъ: побѣда одержана: въ ноябрѣ 1841 года первая часть „Мертвыхъ душъ“ была закончена. Гоголь почувствовалъ себя переполненнымъ какой-то возвышенной радостью и придалъ ей формы, согласныя съ укоренившимися въ немъ мистическими идеями. „Шлю тебѣ братскій поцѣлуй, — пишетъ онъ Данилевскому, — и молю Бога, да снидетъ на тебя хотя часть той свѣжести, которою обемлется нынѣ душа моя, *восторжествовавшая надъ болѣзнями хвораго тѣла*“ *).

Онъ одержалъ великую побѣду духа надъ слѣпою силой непонятнаго недуга, онъ создалъ великое твореніе и вѣяніе спасительнаго геиія признакомъ особенной, лично на него направленной, благодати Провидѣнія. Онъ допускаетъ даже, что теперь эта благодать непосредственно изливается отъ него на другихъ. „Я думаю о тебѣ, — пишетъ онъ больному Лыкову мѣсяца за два до окончанія „Мертвыхъ душъ“, — и мысли мои были свѣтлы“... „Несокрушимая увѣренность на счетъ тебя засѣла въ мою душу... Ничего не въ силахъ я тебѣ болѣе сказать, какъ только: „вѣрь словамъ моимъ“. Есть чудное и непостижимое... Отнынѣ взоръ твой долженъ быть свѣтло и бодро устремленъ горѣ: *для сего была наша встрѣча*“ **)... „Теперь самое главное—крѣпитесь!—совѣтуетъ

*) Письма. II. 111.

***) Письма. II. 118 (курсивъ мой).

онъ художнику Иванову:—идите бодро! Не падайте духомъ, иначе будетъ значить, что вы не помните и не любите меня; а *помнящій меня несетъ силу и крѣпость въ душу*“ *). По адресу друга своего Данилевскаго онъ часто выражается еще рѣшительнѣе: „Но слушай: теперь ты долженъ слушать моего слова, ибо вдвойнѣ властно надъ тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова“... „Властью высшаго облечено отнынѣ мое слово“ **)... „Если же что въ жизни смутитъ тебя, наведетъ безпокойство, сумракъ на мысли, вспомни обо мнѣ, и при одномъ уже твоёмъ напoми-наніи *отдѣлится сила въ твою душу. Иначе не сильна дружба и вѣра, обитающая въ душу твоею!*“ ***). И даже В. А. Жуковскаго онъ обнадеживаетъ: ...„Ждите меня! Много расскажу вамъ прекраснаго. Если вы смущены чѣмъ-нибудь и что-нибудь земное и преходящее васъ безпокоитъ, *то будете отнынь тверды и свѣтлы впроемъ въ ядрущее...*“ °).

Экзальтація Гоголя можетъ быть понята и безъ предположеній о религіозной маніи: религіозное настроеніе было ему присуще съ дѣтства, и теперь онъ только облакаетъ въ привычныя формы переполняющее его благодатное ощущеніе „побѣды духа“ надъ угнетеніемъ и страхомъ смерти. Гордый, радостный, увѣренный въ своей силѣ онъ ѣдетъ въ Петербургъ съ рукописью „Мертвыхъ душъ“. Въ ней, повидимому, нужно было еще кое-что закончить, а затѣмъ печатать ее Гоголь думалъ въ Москвѣ. „Да, другъ мой, я глубоко счастливъ!—писалъ онъ изъ Петербурга С. Т. Аксакову:—...созданіе чудное творится и совершается въ душѣ моей, и благодарными слезами не разъ теперь полны глаза мои... Здѣсь явно видна святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человѣка... О, если бы еще три года съ такими свѣжими минутами...“ Теперь ему нужно спокойствіе „и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположеніе души. Меня теперь нужно беречь и лелѣять. Я придумалъ вотъ что: пусть за мною пріѣдутъ Михаилъ Семеновичъ (Щепкинъ) и Константинъ Сергѣевичъ (Аксаковъ)... Они привезутъ съ собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле держится; но въ этой вазѣ заключено сокровище“ °°).

*) Письма. 131.

***) Ib. 111.

***) Ib. 168. Письмо писано въ маѣ, когда „Мертвыя души“ вышли уже изъ печати.

°) Стр. 169.

°°) Ib. II. 98, 99.

Къ сожалѣнiю, московская цензура не поцеремонилась съ „хрупкою вазой“, и на родинѣ большого писателя, такъ боязливо оберегавшаго свою душу отъ заграничныхъ впечатлѣнiй, — ждали болѣе сильныя впечатлѣнiя русской жизни. Письма этого времени изъ Москвы — это изстоящiй стоишь генiя, спустившагося съ высотъ творчества на родную землю и терзаемаго властнымъ невѣжествомъ и самодурствомъ.

„Какъ только Голохвастовъ (исполнявшiй обязанности и президента моск. ценз. комитета) услышалъ названiе „Мертвыя души“, — писалъ Гоголь П. А. Плещееву въ январѣ 1842 года, — то закричалъ голосомъ древняго римлянина: „Нѣтъ, этого я никогда не позволю. Душа бываетъ бессмертна. Мертвой души не можетъ быть. Авторъ вооружается противъ безсмертiя.“ Въ силу, наконецъ, могъ взять въ толкъ умный президентъ, что дѣло идетъ о ревизскихъ душахъ. Какъ только взялъ онъ въ толкъ и взяли въ толкъ, вмѣстѣ съ нимъ, и другiе цензора, что „мертвыя“ значить ревизскiя души, произошла еще большая кутерьма. „Нѣтъ! — закричалъ предсѣдатель, а съ нимъ и половина цензоровъ: — этого и подавно нельзя позволить... Это, значить, противъ крѣпостного права“. На замѣчанiе цензора Снегирева, что въ книгѣ „о крѣпостномъ правѣ нѣтъ и намековъ, что даже нѣтъ обыкновенныхъ оплеухъ, которыя раздаются во многихъ повѣстяхъ крѣпостнымъ людямъ“, — послѣдовали новыя возраженiя: „Предпрiятiе Чичикова, — стали кричать всѣ, — есть уже уголовное преступленiе“. — „Да, впрочемъ, и авторъ не оправдываетъ его“, — замѣчаетъ опять Снегиревъ. — „Да, не оправдываетъ, а вотъ онъ выставилъ его теперь, и пойдутъ другiе брать примѣръ и покупать мертвыя души“... — „Что ни говорите, — сказала молодой цензоръ Крыловъ, побывавшiй недавно за границей, — цѣна два съ полтиной, которую Чичиковъ даетъ за душу, возмущаетъ душу. Человѣческое чувство вопiетъ противъ этого; хотя, конечно, эта цѣна дается только за одно имя, написанное на бумагѣ, но все-же это — душа, душа человѣческая; она жила, существовала. Этого ни во Францiи, ни въ Англiи, и нигдѣ нельзя позволить. Да послѣ этого ни одинъ иностранецъ къ намъ не прiѣдетъ!...“ „Въ одномъ мѣстѣ цензуру остановило то обстоятельство, что „одинъ помещикъ разорился, убирая себѣ домъ въ Москвѣ въ модномъ вкусѣ“. — „Да вѣдь и Государь строитъ въ Москвѣ дворецъ“, — сказалъ по этому поводу цензоръ Каченовскiй. — „Тутъ... прибавляетъ Гоголь, — завязался у цензоровъ разговоръ единственный въ мiрѣ и... дѣло кончилось тѣмъ, что рукопись

оказалась запрещенной, хотя комитетъ прочелъ только два-три мѣста“ *).

„Невѣроятная глупость“ цензурнаго синклита такъ поразила Гоголя, что онъ предположилъ какую-то особенную, направленную лично противъ него, интригу. „Цензора не все-же глупы до такой степени“,—замѣчаетъ онъ совершенно справедливо, забывая только, что цензура въ цѣломъ очень часто бываетъ глупѣ своего средняго состава. И это потому, что ея дѣйствія опредѣляются не аргументами самыхъ умныхъ изъ подчиненныхъ (какъ, напр., въ данномъ случаѣ Снегирева), а страхомъ передъ самыми глупыми изъ власть имущихъ...

Совершенно понятно, какое дѣйствіе должно было произвести это бессмысленное запрещеніе на хрупкую душу писателя.— „Принимаюсь за перо писать тебѣ,—говоритъ онъ въ письмѣ къ В. О. Одоевскому (января 1842 г.),—и не въ силахъ... Я очень боленъ и въ силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена. Продѣлка и причина запрещенія—все смѣхъ и комедія... Но у меня вырываютъ мое послѣднее имущество“ **)... „Я былъ такъ здоровъ, когда ѣхалъ въ Россію, а здѣсь отъ всѣхъ этихъ непріятностей сталъ опять боленъ такими страшными припадками, какихъ еще не бывало“... ***). „Принадки, которые было совершенно оставили меня внѣ Россіи, теперь возвратились“ °). Въ письмѣ къ М. П. Балабиной, въ перепискѣ съ которой Гоголь часто прибѣгалъ къ шутивнымъ формамъ, онъ говоритъ (1842 г.): „Много глупостей, мнѣ самому непонятныхъ, чудится въ моей ошеловленной головѣ. Но что ужасно—въ этой головѣ нѣтъ ни одной мысли, и, если вамъ нуженъ болванъ для того, чтобы надѣвать на него вашу шляпку, я весь теперь къ вашимъ услугамъ. Вы можете надѣть на меня и шляпку, и все, что хотите, и можете съ меня сметать пыль, мести у меня щеткой подъ носомъ, и я не чихну, даже не фыркну, не пошевелюсь“... °°)

Изъ письма къ министру нар. просвѣщенія Уварову видно, что эти цензурныя истязанія длились цѣлые мѣсяцы: „Милостивый Государь, Сергѣй Семеновичъ,—говоритъ великій писатель властному министру:—Все мое имущество и состояніе заключено въ трудѣ моемъ. Для него я пожертвовалъ всѣмъ, обрекъ себя на строгую бѣдность, на глубокое уеди-

*) Письмо къ П. А. Пастыну, 7 января 1842 г. См. „Письма П. В. Гоголя“, II, 136, 7.

**) Письма. II. 135.

***) Н. Балабиной. Стр. 147.

°) Языкову, 160.

°°) Ib. 140.

неніе, терпѣль, переносилъ, *пересиливалъ*, сколько могъ, свои *болѣзненные недуги*, въ надеждѣ, что, когда совершу его, отечество не лишитъ меня куска хлѣба и просвѣщенные соотечественники преклонятся ко мнѣ съ участіемъ, оцѣнить посыланный даръ, который стремится всякій русскій принести своей отчизнѣ. Я думалъ, что получу скорое ободреніе отъ правительства, доселѣ благородно ободрявшаго все благородные порывы, и что-же?..

„Вотъ уже 5 мѣсяцевъ меня томятъ мистификаціи цензуры, то манищей позволеніемъ, то грозящей запрещеніемъ, и, наконецъ, я уже самъ не могу понять, въ чемъ дѣло“... „Подумайте: я не предпринимаю дерзости просить вспоможенія и милости, я прошу правосудія... У меня отнимаютъ мой единственный, мой послѣдній кусокъ хлѣба“... *)

Всесильный министръ, снисходившій съ своей высоты до прямой вражды къ писателю Пушкину, ничего не отвѣтилъ на письмо Гоголя. Но черезъ Плетнева авторъ былъ извѣщенъ, что его рукопись передана цензору Никитенкѣ.

Наконецъ, 9 марта 1842 года на „Мертвыхъ душахъ“ поставлена разрѣшительная помѣта. Въ цензурномъ плѣненіи оставался еще нѣкоторое время одинъ капитанъ Копѣйкинъ, которому Гоголь вынужденъ былъ придать черты „дурного характера“ и стронгивости, чтобы было видно, что, отправивъ его изъ столицы съ фельдъегеремъ, „высшее начальство попустило хорошо“.

21 марта 1842 года одно изъ величайшихъ твореній русской литературы появилось въ свѣтъ, и въ умственный обиходъ читателя вошли навсегда безсмертныя фигуры Маниловыхъ, Собакевичей, Коробочекъ, Ноздревыхъ и Чичиковыхъ, чтобы уже никогда не разставаться съ воображеніемъ всякаго грамотнаго русскаго человека...

А авторъ, въ процесѣ великаго созданія почти исцѣлившійся отъ душевнаго угнетенія („принадки было совершенно оставили меня“), увозилъ опять за-границу свой „хрупкій составъ“, вновь тяжело израненный россійской цензурой, чтобы приняться за новую работу, съ которой такъ тѣсно была связана его личная судьба. Эта работа была вторая часть „Мертвыхъ душъ“...

VII.

Здѣсь критическій моментъ разсматриваемой нами трагедіи, ея поворотный пунктъ... Гоголь, какъ былинный герой, стоитъ на распутьѣ передъ двумя различными дорогами.

*) П. II. 152.

Первую часть своего великаго труда онъ выполнилъ превосходно. Его книга вся точно отлита изъ однороднаго металла, и къ концу перваго тома (за исключеніемъ нѣкоторыхъ страницъ) онъ дѣлаетъ тѣмъ же твердымъ шагомъ великаго и увѣреннаго художника. Сцена съ Ноздревымъ на балу у губернатора, злобщій проѣздъ по спящимъ улицамъ города дребезжащаго тарантаса помѣщицы Коробочки, смятеніе чиновничьяго міра, разговоръ двухъ дамъ, поведеніе Собакевича при разспросахъ прокурора о продажѣ мертвыхъ душъ, смерть этого губернскаго сановника и встрѣча уѣзжающаго Чичикова съ похоронной процессіей — все это проникнуто истинно гоголевской силой воображенія, а юморъ его одновременно звучитъ и смѣхомъ, и небывалой высотой какого-то особеннаго скорбнаго раздумья.

Итакъ, до самаго порога дальнѣйшей своей работы Гоголь принесъ все ту же силу таланта, и душевное состояніе его, временно, правда, ослабленное терзаньями московской цензуры, было лучше, чѣмъ при самомъ началѣ работы... Появленіе книги вновь подняло его настроеніе, и нѣкоторыя самоувѣренно благодатныя письма, приведенныя нами выше (напр., къ Жуковскому), помѣчены уже маемъ 1842 года...

Наконецъ, и въ тѣхъ обрывкахъ, которые остались намъ отъ втораго тома „Мертвыхъ душъ“, встрѣчаются опять превосходно набросанныя фигуры: Петръ Петровичъ Пѣтухъ, генералъ Бетрищевъ, отчасти предшественникъ Обломова Тентетниковъ, отчасти также помѣщикъ Кашкаревъ съ его бюрократической сельской экономіей... Не надо забывать, что это только эскизы и что въ окончательной редакціи герои перваго тома тоже сильно отличались отъ первоначальныхъ набросковъ... Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, заѣхавшій „для познанія всякаго рода вещей“ въ новыя мѣста и къ новымъ людямъ и очутившійся въ роли устроителя чужаго счастья, — сверкаетъ все той же обворожительной разносторонностью и находчивостью. Наконецъ, новый пейзажъ, среди котораго знакомый намъ тарантасъ, „въ какихъ ѣздятъ холостяки“, съ кучеромъ Селифаномъ и лакеемъ Петрушкой на козлахъ, появляется опять въ предѣлахъ нашего зрѣнія, — набросанъ смѣлыми, широкими и совершенно новыми чертами...

Философія перваго тома въ главныхъ своихъ чертахъ является тоже здоровой философіей смѣха, признающаго свое право и съ горечью отмѣчающаго предразсудки общества. Кто не помнитъ замѣчательной параллели между сатирикомъ и „лирическимъ писателемъ“, который прославляетъ національныя добродѣтели и лѣститъ національному самолюбію:

„Счастливы писатель, который мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дѣйствительностью, приближается къ характерамъ, являющимъ высочайшее достоинство человѣка, который не измѣнилъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратьямъ... Вдвойнѣ завиденъ прекрасный удѣлъ его... далеко и громко разносится его слава. Онъ окурилъ унителнымъ куревомъ людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человѣка... Нѣтъ равнаго ему въ силѣ—онъ Богъ! Но не таковъ удѣлъ, другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ глазами и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь... Ему не собрать народныхъ рукоплесканій: ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ на-встрѣчу шестнадцатилѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головой и геройскимъ увлеченіемъ... ему не избѣжать наконецъ современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ дѣланныя созданія... отниметь у него сердце и душу и божественное пламя таланта. Ибо не признаетъ современный судъ, что *высокій восторженный смѣхъ достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ*“...

Трудно иенѣ выставить „права высокаго восторженнаго смѣха“ по сравненію съ „унителнымъ куревомъ“ лирической лести. Есть и еще нѣсколько мѣстъ, въ которыхъ Гоголь высказываетъ тѣ же мысли. Между прочимъ онъ зло смѣется надъ чисто-маниловскимъ спросомъ на „добродѣтельнаго человѣка“ и сознательно дразнить читателя образомъ своего „героя“:

„Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателямъ... Самая полнота и среднія лѣта Чичикова много повредятъ ему: полноты ни въ какомъ случаѣ не простятъ герою, и весьма многія дамы, отворотившись, скажутъ: „фи, какой гадкій!“ Увы! Все это извѣстно автору, и при всемъ томъ онъ не можетъ взять въ герои добродѣтельнаго человѣка“... „И можно даже сказать, почему: потому что пора, наконецъ, дать отдыхъ добродѣтельному человѣку, потому что праздно вращается на устахъ слово *добродѣтельный человѣкъ*, потому что обратили въ лошадь добродѣтельнаго человѣка, и нѣтъ писателя, который бы не ѣздилъ на немъ, понукая кнутомъ и вѣвмъ, чѣмъ ни пофало; потому что изморили добродѣтельнаго человѣка до того, что теперь нѣтъ

въ немъ и тѣни добродѣтельнаго человека, а остались только кости да кожа... Итъ, пора, наконецъ, приречь и подлеца. Итакъ, приржаемъ подлеца!⁴.

Но уже въ первомъ томѣ, рядомъ съ этими взглядами, подсказанными сознаниемъ своего стихійнаго гения, — порой даже въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ ними, стоятъ другіе, прямо противоположные взгляды. Такъ, тотчасъ же за словами о правахъ „великаго восторженнаго смѣха“ слѣдуютъ такія строки:

„И долго еще опредѣлено мнѣ чудною властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадную несущуюся жизнь сквозь видимый міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы. И далеко еще то время, когда *инимъ* ключомъ грозная вѣста вдохновенія подымется изъ облеченной въ священный ужасъ и блистающія главы и почувуютъ въ священномъ трепетѣ величавый громъ *друннхъ рнчей*... Въ дорогу! Въ дорогу!⁴“

А вслѣдъ за сарказмомъ по адресу „добродѣтельнаго героя“ какое-то роковое побужденіе диктуетъ Гоголю слѣдующія чисто „лирическія“ обѣщанія:

...„Но, можетъ быть, въ сей же самой повѣсти почувуются нѣмнѣ, доселѣ еще не бранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, *пройдеитъ мужъ, одаренный божескими доблестями*, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всею дивною красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся передъ ними все добродѣтельные люди иныхъ племенъ, какъ мертвая книга передъ живымъ словомъ!⁴“

Итакъ, на одной и той же страницѣ Гоголь даетъ всенародное обѣщаніе послужить тому, надъ чѣмъ тутъ же такъ зло смѣется. На порогъ новой работы, новой борьбы и, быть можетъ, новой побѣды, въ душѣ великаго писателя уже готовъ роковой разладъ между самыми коренными свойствами его таланта и заблудившейся въ умственномъ одиночествѣ мыслью.

VIII.

Есть одно произведеніе Гоголя, далеко не лучшее въ художественномъ отношеніи, но чрезвычайно характерное для выясненія нѣкоторыхъ его взглядовъ на задачи искусства. Оно даетъ также ключъ къ уясненію его трагедіи, какъ писателя.

Это „Портретъ“. Написанъ онъ еще въ 30-хъ годахъ, много разъ значительно перерабатывался и появился въ окон-

чательномъ видѣ въ началѣ 40-хъ годовъ, т.-е. въ то самое время, когда Гоголь закончилъ первую часть „Мертвыхъ душъ“ и готовился ко второй. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь какъ бы художественную исповѣдь Гоголи на порогѣ новой работы. Это—уви!—тѣ же взгляды, которые мелькали въ настроеніи Гоголи уже во время перваго представленія „Ревизора“, опредѣлялись съ годами и выразились окончательно въ „Портретѣ“ и „Перепискѣ съ друзьями“.

Талантливый молодой художникъ получаетъ заказъ: написать портретъ ростовщика, котораго все населеніе Коломны считаетъ колдуномъ, чѣмъ-то даже вродѣ антихриста. Художникъ соглашается, но по мѣрѣ работы чувствуетъ непонятную тяжесть, которая мѣшаетъ ему воспроизводить интересную натуру. Портретъ пугаетъ его самого поразительной правдивостью изображенія. Въ концѣ концовъ онъ бросаетъ свою работу, успѣвъ вполнѣ закончить одни глаза; зато эти глаза глядятъ съ полотна, тревожатъ и не даютъ покоя. Ростовщикъ съ непонятною страстностью умоляетъ художника закончить его изображеніе. Отъ этого зависитъ его жизнь. Въ портретѣ онъ будетъ жить мистической жизнью. Теперь ему предстоитъ жить только на половину. Художникъ рѣшительно отказывается, портретъ остается незаконченнымъ, и колдунъ умираетъ. Но его предсказаніе исполняется: портретъ переходитъ изъ рукъ въ руки, принося несчастія и гибель, порождая вокругъ себя дурныя стремленія.

Сознавая, что своей гибельно-правдивой картиной онъ совершилъ тяжкій грѣхъ, художникъ удаляется въ далекую пустыню и дѣлается монахомъ. Узнавъ, что въ мірѣ онъ былъ живописцемъ, настоятель предлагаетъ ему написать запрестольный образъ Богоматери. Художникъ отказывается: *слишкомъ реальнымъ и правдивымъ изображеніемъ* за онъ осквернилъ свой талантъ и теперь неспособенъ къ высокому идеальному творчеству, которое одно является цѣлью искусства. Ему нужно предварительно очиститься отъ этого великаго грѣха. Только послѣ трудныхъ духовныхъ подвиговъ онъ приступаетъ къ работѣ и создаетъ чудное святое произведеніе, послѣ чего и самъ являетъ всѣ признаки святости... Сыну, тоже художнику, который размыкалъ его незадолго передъ смертію, этотъ святой старецъ преподаетъ высшую мораль искусства. Для него нѣтъ ничего низкаго. „Изыскай, изучай все, что ни увидишь, покори все своей кисти. Но во всемъ умѣй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданія“. Задача искусства въ примиреніи... „Для успокоенія и *успокоенія* *всѣхъ*

нисходитъ въ міръ высокое созданіе искусства. Оно не можетъ *поселить роюта* въ душу, но звучащей молитвой стремится вѣчно къ Богу... Но есть минуты... темныя минуты...”

Инокъ рассказываетъ сыну о великомъ преступленіи своей кисти, когда онъ „насилъно хотѣлъ покорить себя и бездушно, заглушивъ все, *быть вѣрнымъ природѣ*. Это не было созданіе искусства и потому чувства, которыя объемяютъ всѣхъ, при взглядѣ на него, суть уже *мятежныя чувства* художника, ибо художникъ и въ тревогѣ дышитъ покоемъ“... Инокъ заключаетъ свой разсказъ просьбой: если сыну случится увидѣть этотъ роковой портретъ, при созданіи котораго онъ старался быть вѣрнымъ природѣ безъ мысли о примиреніи,—онъ *долженъ его уничтожить*.

Въ этомъ вариантѣ, который, нужно сказать, сильно испортилъ первоначальную редакцію „Портрета“ въ художественномъ отношеніи, мы видимъ настроеніе Гоголя въ самый критическій періодъ его жизни. Въ „Ревизорѣ“ и въ „Мертвыхъ душахъ“ онъ изобразилъ тогдашнюю Русь, и она взглянула на всѣхъ тѣмъ же страшнымъ взглядомъ, едва прикрытымъ покровомъ смѣха, какимъ портретъ даже сквозь занавѣсъ глядѣлъ на бѣднаго Черткова. И эта страшная правда не несла примиренія. Наоборотъ, она будила въ современникахъ „смятеніе и мятежъ“... Онъ, какъ его художникъ-иннокъ, считаетъ это тяжкимъ грѣхомъ. Ему тоже предстоитъ сначала искупить этотъ грѣхъ покаяніемъ, а затѣмъ „высокимъ произведеніемъ искусства“ примирить смятенныя души своихъ соотечественниковъ со всѣмъ, что онъ осмѣялъ ранѣе...

Если же это не удастся, то... / онъ, по завѣту святого инока, уничтожить собственное произведеніе.

Такимъ образомъ, ко времени работы надъ вторымъ томомъ Гоголь окончательно осудилъ свои „несовершенныя“ и грѣшныя произведенія, которыя могутъ быть оправданы лишь тогда, когда онъ сумѣетъ вновь возвеличить Россію въ цѣломъ. Первая часть „Мертвыхъ душъ“ должна служить лишь преддверіемъ величественнаго Пантеона російскихъ добродѣтелей.

Къ этому глубокому разладу между органическими склонностями сатирическаго гения и глубоко-ошибочнымъ взглядомъ на задачи искусства присоединился другой, тоже роковой мотивъ. „Мысль о службѣ,—писалъ Гоголь въ „Исповѣди“,—никогда меня не покидала“. Одно время онъ мечталъ, что для него создадутъ какую-то особую, небывалую должность „примирителя“. Но, во 1-хъ, такой должности по штатамъ не полагалось, а во 2-хъ, Гоголь пока еще ничѣмъ не доказалъ,

что онъ можетъ занять эту должность съ успѣхомъ. Гоголь окончательно покидаетъ мысль о „службѣ“ въ обычномъ значеніи этого слова и приходитъ къ заключенію, что его великій даръ самъ по себѣ есть тоже вольная служба. И онъ сталъ смотрѣть на себя, какъ на состоящаго уже фактически на этой службѣ.

Кому? Конечно, государству. Идея „общества“ и народа, какъ самостоятельныхъ элементовъ націи, тогда еще не опредѣлилась. Въ началѣ столѣтія Павелъ Петровичъ считалъ, что самое слово „общество“ выражаетъ понятіе крамольное, занесенное съ запада, и что его можно уничтожить простымъ изгнаніемъ изъ лексикона. Въ дореформенной Россіи были чиновники, военные, были помѣщики, которые разсматривались, какъ 40 тысячъ деревенскихъ полицеймейстеровъ; былъ, наконецъ, простой народъ, безгласный, безличный и порабощенный. Начиная снизу, гдѣ помѣщикъ являлся патриархальнымъ владыкой съ неограниченнымъ фактически правомъ надъ судьбой крестьянъ, и доверху—Россія представляла огромное помѣстье, съ верховнымъ патриархомъ-государемъ на вершинѣ. Служить этому государству значило, въ сущности, состоять „на царской службѣ“. Гоголь и считалъ поэтому, что со своимъ художественнымъ гениемъ онъ долженъ стать чѣмъ-то вродѣ „писателя Его Императорскаго Величества“.

Служба предполагаетъ, конечно, жалованіе по праву. И, дѣйствительно, въ 1837 году Гоголь, работавшій въ Римѣ надъ „Мертвыми душами“, пишетъ Жуковскому: „Если бы мнѣ такой пансіонъ, какой дается воспитанникамъ Академіи художествъ, живущимъ въ Италіи, или хоть такой, какой дается дьячкамъ, находящимся при нашей церкви... Найдите случай указать какъ-нибудь Государю на мои повѣсти: „Старосвѣтскіе помѣщики“ и „Тарасъ Бульба“... Всѣ недостатки, какими онѣ изобилуютъ, вовсе непримѣтны для всѣхъ, кромѣ васъ, меня и Пушкина... Если бы ихъ прочелъ Государь. Онъ-же такъ расположенъ ко всему, гдѣ есть теплыя чувства“...

Уже въ самомъ выборѣ повѣстей, которыя Гоголь предлагаетъ вниманію государя,—замѣтна, кромѣ нѣкотораго пренебреженія къ нему, какъ къ цѣнителю, также и система: Царь уже зналъ „Ревизора“ и даже очень вѣрно оцѣнилъ его силу (извѣстна его историческая фраза, сказанная послѣ перваго представленія: „досталось всѣмъ, а больше всѣхъ мнѣ“). И, однако, служебныя права свои Гоголь видитъ не въ „Ревизорѣ“ и даже не въ „Мертвыхъ душахъ“, надъ которыми работалъ, а въ теплыхъ, то есть „примиряющихъ чув-

ствах". Это условіе писательской службы, какъ мы видѣли, совпадало со взглядами самого Гоголя, которые, быть можетъ, и выработались отчасти надъ вліяніемъ представленія о службѣ „государству“ въ лицѣ такого Государя, какимъ былъ Николай I.

„Шекспиры и Мольеры,—говорить его инокъ-художникъ,—процвѣтали подѣ великодушнымъ покровительствомъ, между тѣмъ какъ Дантъ не могъ найти угла въ своей республиканской родинѣ; истинные гении возникаютъ во время блеска и могущества государей и государствъ, а не во время безобразныхъ политическихъ явленій и терроризмовъ республиканскихъ“... „Государямъ нужно отличать поэтовъ, ибо одинъ только *миръ и благодатную тишину* низводитъ они въ душу, а не волненіе и ропотъ“. Поэтому „ученые, поэты и всѣ производители искусствъ суть перлы и брилліанты въ императорской коронѣ. Ими красуется и получаетъ еще болѣе блескъ эпоха великаго государя“.

Въ ноябрѣ того-же года Гоголь радостно сообщаетъ, что его обращеніе услышано, и 5 тыс. рублей, пожалованные великодушнымъ государемъ, дадутъ ему возможность рабстать 1½ года. Черезъ нѣкоторое время по выходѣ перваго тома, когда (вслѣдствіе запозданія выхода книги) Гоголь опять чувствовалъ нужду въ деньгахъ, и среди знакомыхъ возникла мысль о новомъ обращеніи къ Государю,—умный Катенинъ не совѣтовалъ Гоголю обращаться къ этому источнику. „Тутъ каждая копѣйка обратится въ алтынъ“,—говорилъ онъ предостерегающе, разумѣя, конечно, тѣ идейныя обязательства, которые заключаются въ самомъ фактѣ обращенія. Наоборотъ, самый близкій Гоголю человекъ великосвѣтскаго круга, А. О. Смирнова, горячо рекомендуетъ ему это средство, откровенно подчеркивая его характеръ. „На эту помощь,—говорить В. И. Шенрокъ,—Смирнова смотрѣла, какъ на предоставленіе Гоголю возможности окончить „Мертвыя души“ (въ новомъ направленіи)“. „Мнѣ какъ-то дѣлается за васъ страшно,—писала она:—смотрите, не скройте вашего таланта, т. е. того, *настоящаго*, вамъ Богомъ даннаго не даромъ. Не оставьте намъ только первые плоды незрѣлые, или выходки сатирическія огорченнаго (!) ума“... Въ другой разъ она писала еще рѣзче: „Ваши грѣхи уже тѣмъ наказаны, что васъ непорочно ругаютъ и что вы сами чувствуете, *сколько мерзостей вы перомъ написали*“.

Замѣчательно, что такого-же взгляда держался даже... Жуковскій, прекраснодушный поэтъ, плававшій въ то время въ атмосферѣ великосвѣтскаго благоволенія. Онъ только защи-

щалъ передъ высшими кругами „добрыя намѣренія“ Гоголя *).

Итакъ, очевидно, авторъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ въ глазахъ вліятельныхъ и высокопоставленныхъ лицъ былъ все еще только творцомъ незрѣлыхъ плодовъ огорченнаго ума, написавшимъ до тѣхъ поръ почти только „мерзости“, требующія искупленія. Едва-ли можно сомнѣваться, что эти отзывы придворныхъ круговъ были отголосками мнѣній Государя. Николай I былъ человекъ цѣльный. Онъ готовъ былъ признать, что гениальные писатели дѣйствительно полагаются по штату въ благоустроенномъ государствѣ, какъ одна изъ изящныхъ принадлежностей короны. Въ виду этого онъ приковалъ Пушкина къ придворному этикету и дѣлалъ подарки Гоголю. Но писатели—народъ недисциплинированный. Когда умеръ Карамзинъ, царь осыпалъ щедротами его семью. Жуковскій попросилъ того же для семьи убитаго на дуэли Пушкина. Николай отвѣтилъ, что тутъ есть разница: „Карамзинъ умеръ какъ ангелъ“, а Пушкинъ и жилъ, и умеръ строителемъ. Гоголь тоже не совсемъ годился въ брилліантъ. Онъ все только общаетъ прославить Россійскую державу, а пока съ его произведеній глядятъ страшно правдивые и мрачные глаза рабской и темной страны... И потому, когда Гоголь умеръ, а Тургеневъ позволилъ себѣ въ печатномъ изкрогѣ назвать его великимъ писателемъ, то онъ былъ арестованъ, а затѣмъ высланъ съ фельдшеремъ въ свое имѣніе.

Но это было впоследствии, а пока гениальный сатирикъ,—впрочемъ, по собственному вызову и согласно своему теоретическому пониманію искусства,—принималъ своеобразную командировку въ страну примиряющаго идеализма, съ цѣлью принести оттуда новыя украшенія россійской коронѣ и россійскому „государству“...

А Пушкинъ, который, „чуть не плакалъ отъ горя и злости“ на представленіи „Ревизора“, и въ этомъ горѣ и въ этой злости видѣлъ великое значеніе гоголевскаго смѣха,—былъ уже въ могилѣ. Его погубила та же великосвѣтская среда, которая теперь убѣждала Гоголя отречься отъ своего смѣха, т. е. отъ своего гения и отъ своей жизни.

IX.

Въ „Исповѣди“ Гоголь говоритъ прямо, что въ продолженіи „Мертвыхъ душъ“ онъ имѣлъ въ виду развитіе въ образахъ тѣ идеи, которыя изложены въ перепискѣ съ друзьями: „И

*) В. И. Шеврокъ, „Матеріалы къ біографіи Гоголя“. Т. IV, стр. 189 и примѣчаніе.

имѣлъ неосторожность заговорить въ ней кое о чемъ изъ того, что должно было мнѣ доказать въ лицѣ введенныхъ героевъ повѣствовательнаго сочиненія“ *). Поэтому намъ остается хоть немного остановиться на идеяхъ этой книги, которую теперь пытаются вновь реабилитировать и которая, въ дѣйствительности, сыграла такую печальную роль въ гибели гоголевскаго таланта...

Борьба съ индивидуальными пороками и уваженіе къ самымъ основамъ рабскаго строя—такова, несомнѣнно, общая „гражданская“ идея этой книги. Поле борьбы—каждая отдѣльная человѣческая душа. Что же касается до основъ самаго строя, то здѣсь все должно остаться неприкосновеннымъ. Начальникъ и подчиненный, рабъ и помѣщикъ должны стать добрыми христіанами,—въ этомъ и только въ этомъ рѣшеніе вопроса. Рабская зависимость хорошаго мужика отъ превосходнаго помѣщика не есть зло и не унижаетъ человѣческаго достоинства въ томъ и другомъ.

И правда, даже въ той уединенной часовнѣ, въ какую Гоголь превратилъ свою жизнь за-границей и куда имѣли доступъ не только явивше друзья его „личности“, но злѣйшіе враги его таланта,—онъ не могъ не слышать отголосковъ того, что уже назрѣвало въ русской жизни. Атмосфера дореформенной Руси была уже полна смутной тревогой, какъ это бываетъ передъ грозой, когда на томительно ясномъ горизонтѣ не видно еще никакихъ признаковъ близкой бури, но въ воздухѣ уже разлито безпокойство и напряженіе. Въ „Исповѣди“ онъ нашель для этого напряженія очень яркія слова:

„Всѣ болѣе или менѣе согласились называть нынѣшнее время переходнымъ, — говоритъ онъ, — всѣ чувствуютъ, что мѣръ въ дорогѣ, а не у пристани, даже не на ночлегѣ, не на временной станціи или отдыхѣ... Вездѣ обнаруживается болѣе или менѣе мысль о внутреннемъ строеніи: все ждетъ какого-то болѣе стройнѣйшаго порядка. Мысль о строеніи, какъ себя, такъ и другихъ, дѣлается общею... Всякъ чувствуетъ, что онъ не находится въ томъ именно состояніи своемъ, въ какомъ долженъ быть, хотя знаетъ, въ чемъ именно должно состоять это желанное состояніе“.

Гоголь, конечно, не можетъ не видѣть, что и въ общественной, а не только въ частной жизни есть много несовершенствъ, что въ ней господствуетъ тотъ „вихрь возникшихъ заутраченныхъ, которая застѣнили всѣхъ другъ отъ друга и отняли почти у cadaго просторъ дѣлать добро“. Видитъ онъ также

*) Сочиненія, V. 267.

„повсемѣстное помраченіе и всеобщее уклоненіе всѣхъ отъ духа земли своей“, „видитъ безчестныхъ взяточниковъ и плутовъ, продавцовъ правосудія и грабителей, которые, какъ вороны, налетѣли со всѣхъ сторонъ клевать еще живое наше тѣло“... Онъ признаетъ даже больше: „во многихъ мѣстахъ незаконный порядокъ обратился почти въ законный“, а это уже несомнѣнный признакъ разложенія самаго государства, дѣлающій понятнымъ возрастаніе общаго недовольства. Но ему кажется, что все это трагедія не общества, задержаннаго въ своемъ развитіи и начинающаго сознавать безнравственность существующихъ формъ жизни, а только драма отдѣльныхъ душъ, лично уклонившихся отъ добродѣтели.

Отсюда та глубокая трещина въ настроеніи великаго художника, которая обнаружилась послѣ перваго представленія „Ревизора“. Гоголя испугало то, что многіе видятъ въ его комедіи попытки осмѣять не только пороки, но и лицъ и даже (о ужасъ!) самыя должности. „Ревизоръ“,—писалъ Гоголь впослѣдствіи В. А. Жуковскому,—былъ первое мое произведеніе, замышленное съ цѣлью произвести доброе вліяніе на общество, *что впрочемъ не удалось*: въ комедіи стали видѣть желаніе осмѣять *узаконенный порядокъ вещей и правительственныя формы*, тогда какъ у меня намѣреніе было осмѣять только *самоуправное отступленіе нѣкоторыхъ лицъ* отъ форменнаго и узаконеннаго порядка“. „Я былъ сердитъ и на зрителей, меня не понявшихъ, и на себя самого, бывшаго виной того, что меня не поняли“.

Такая сатира совершенно не входила въ его сознательные планы. Въ дѣйствительности въ Россіи все превосходно и въ письмѣ къ занимающему видное мѣсто (губернатору, мужу А. О. Смирновой-Россетъ) Гоголь предостерегаетъ его отъ стремленія къ какимъ бы то ни было переменамъ. По его мнѣнію, „чѣмъ болѣе вематриваешься въ организмъ управленія губерніей, тѣмъ болѣе изумляешься мудрости учредителей. Слышно, *что самъ Богъ строилъ незримо руками Государей*. Все полно, достаточно, все устроено именно такъ, чтобы споспѣшествовать въ добрыхъ дѣйствіяхъ, подавая другъ другу руку, и останавливать *только на пути къ злоупотребленіямъ*... Всякое нововведеніе тутъ ненужная вставка“ *).

На протяженіи всей переписки Гоголь развиваетъ эту мысль о совершенствѣ, неприкосновенности и святости тогдашняго строя (который самъ „Богъ строилъ руками Государей“). Дворянство есть „сословіе въ истинно-русскомъ ядрѣ прекрас-

*) Соч. V. 126.

ное“... „Дворянство есть какъ бы сосудъ, въ которомъ заключено нравственное благородство“. Ему предстоитъ воспитать крестьянское сословіе такимъ образомъ, чтобы оно стало образцомъ этого сословія для всей Европы, потому что теперь не въ шутку задумались многіе въ Европѣ надъ древнимъ патриархальнымъ бытомъ, котораго стихіи исчезли повсюду, кромѣ Россіи, и начинаютъ ясно говорить о *преимуществахъ крестьянскаго быта*, испытавши безсиліе всѣхъ установлений и учреждений нынѣшнихъ для ихъ улучшенія“ (177). Учрежденіе должности прокурорской тоже приводитъ Гоголя въ умиленіе, а глава о „сельскомъ судѣ и расправѣ“ заключается въ себѣ совѣтъ судить всякаго двойнымъ судомъ. Одинъ судъ долженъ быть человѣческой, другой же судъ сдѣлайте Божескій (!) „и на немъ осудите и праваго, и виноватаго“... Именно такъ, какъ весьма здраво поступила комендантша въ повѣсти Пушкина „Калитавская дочка“, которая, пославши поручика разсудить городского солдата съ бабою, подравнившихся въ банѣ за деревянную шайку, снабдила его такою инструкціею: „Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи“ (154).

Во многихъ письмахъ Гоголь прямо проиизируетъ надъ „страхами и ужасами Россіи“, стоявшей уже у порога катастрофы. „Слышу только о какихъ-то неизлѣчимыхъ болѣзняхъ, — пишеть онъ „губернаторшѣ“ (А. О. Смирновой), — и не знаю, кто чѣмъ боленъ“... „Всѣ мысли твои направлены къ тому, чтобы избѣжать чего-то угрожающаго въ будущемъ, — поучаетъ онъ „близорукаго пріятеля“, мечтающаго о какихъ-то финансовыхъ реформахъ. — Ты гордъ, ты самоувѣренъ... Ты думаешь, что все знаешь... Моли Бога, чтобы случилась тебѣ какая-нибудь крупнѣйшая непріятность (на службѣ)“!.. Она „будетъ твой истинный избавитель и братъ“... *).

Такимъ образомъ необыкновенно яркая фраза Гоголя о томъ, что „міръ въ дорогѣ“, является, въ сущности, недоразумѣніемъ. Міръ не въ дорогѣ, міръ долженъ остаться на мѣстѣ. Въ дорогѣ только отдѣльныя піэтически вздыхающія души, которыя должны, однако, заботиться о томъ, чтобы въ своемъ движеніи не нарушить какъ-нибудь предустановленнаго совершенства существующаго строя. Онъ убѣжденъ даже, что самая тревога, которая больше и живѣе чувствуется именно въ рабской Россіи, указываетъ не на большіе грѣхи русскаго строя, а лишь на большее совершенство русской души. Вздохи своихъ знакомыхъ великосвѣтскихъ піэтистовъ онъ прини-

*) Соч. V. 160.

масть за признаки и средства общественного оздоровления. Общее спасение не въ отрицаніи, не въ критикѣ, не въ его гениальномъ смѣхѣ, не въ реформахъ. Общее спасение въ службѣ существующему строю: „всякъ долженъ спасать *себя* въ самомъ сердцѣ государства. На кораблѣ своей должности службы долженъ всякъ изъ насъ выноситься изъ омута, глядя на Кормщика Небеснаго. Кто даже и не въ службѣ, долженъ теперь вступить на службу“ (156).

Въ этой глубокой увѣренности Гоголь принимается даже пророчествовать и въ письмѣ къ графинѣ С-ой онъ предсказываетъ, что еще пройдетъ десятокъ лѣтъ, и вы увидите, что Европа пріѣдетъ къ намъ не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продаютъ больше на европейскихъ рынкахъ *).

X.

Гоголь былъ удивленъ дѣйствіемъ, какое произвела на всѣхъ читателей неожиданная исповѣдь... Уже изъ этого болѣзненного удивленія видно, до какой ужасающей степени дошло его отчужденіе отъ истиннаго движенія умовъ и душъ въ средѣ тогдашняго читающаго и мыслящаго русскаго общества.

Теперь, по истеченіи шести десятковъ лѣтъ, мы уже не можемъ ошибаться въ вопросѣ, что составляло главную причину замѣченнаго и Гоголемъ настроенія и откуда происходило ощущение, что „міръ въ дорогѣ“. Для насъ ясно также, куда пролегла эта дорога: первымъ ея этапомъ должно было стать *освобожденіе крестьянъ* отъ рабства, а русскаго общества — отъ крѣпостническихъ формъ жизни; что именно въ этой сторонѣ лежала *идеальная* линія тогдашняго движенія — это теперь уже не вопросъ взглядовъ или партій; это *объективная историческая истина*, которую не смѣютъ уже оспаривать даже наши Собакевичи и Машиловы.

Съ большей или меньшей ясностью это чувствовали современники Гоголя, и въ эту именно сторону обращались всѣ взгляды, у однихъ со страхомъ, у другихъ съ надеждой. Государство объявило институтъ рабства однимъ изъ своихъ устоевъ... Очевидно, идеальная линія пролегла также черезъ отрицаніе современнаго государственнаго строя...

Идеалы, вообще говоря, достижимы лишь въ безконечности, то-есть реально не достижимы. Но идеальное постоянно просачивается въ нашу жизнь, откладываясь въ обществен-

*) Соч. V. 156.

ныхъ формахъ. Его „предчувствіе“ вѣсть на небосклонѣ каждаго поколѣнія, какъ облачный столбъ передъ Израилемъ въ пустынѣ. Только легендарный столбъ былъ поставленъ извнѣ. Въ дѣйствительности онъ слагается изъ неопредѣленныхъ общихъ желаній и предчувствій, изъ новыхъ, только рождающихся мыслей лучшихъ умовъ, изъ задушевныхъ стремленій лучшихъ сердець. И все эти атомы общественнаго творчества невидимо слагаются въ идеальный образъ, вѣющій какъ знамя на умственномъ горизонтѣ поколѣній...

Для поколѣнія сороковыхъ годовъ прошлаго вѣка эти идеальныя формы были не вполне еще опредѣленны и ясны. Русское общество не имѣло никакихъ формъ для ихъ проявленія. Литература была задавлена гнетомъ цензуры и по разнымъ причинамъ облекала свои стремленія въ туманныя метафизическія формулы. Положительное опредѣленіе освободительныхъ идей было невозможно. Съ тѣмъ большею силой онѣ искали отрицательнаго выраженія... Какъ іудеи въ ассирійскомъ плѣну, — молодая русская интеллигенція заботилась объ одномъ: ни словомъ, ни намекомъ не присоединяться къ преклоненію передъ идолами чужой, торжествующей вѣры. *Отрицаніе* становилось началомъ почти религіознымъ...

Оно стало господствующимъ настроеніемъ всего живого и мыслящаго въ Россіи. Извѣстенъ, между прочимъ, такой фактъ изъ біографіи В. Г. Бѣлинскаго. Запутавшись въ Гегелевской философіи, онъ принялъ формулу о „разумности дѣйствительнаго“. Подъ „дѣйствительнымъ“ по этой терминологіи разумѣлось все, что вѣками стихійныхъ процессовъ выросло изъ почвы, слагаясь коллективнымъ разумомъ народовъ и критики. Передъ силой этой „дѣйствительности“, все умствованія отдѣльныхъ людей и протесты отдѣльныхъ совѣстей являются дѣтски легкомысленными и преступными... Съ этой точки зрѣнія республика Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, съ ея избираемымъ президентомъ — есть „призракъ“. Только монархія, возникшая въ тѣмъ стихійно-историческихъ процессахъ, — есть реальная личность. „Образъ государя есть личность государства“, и подданный не можетъ служить отечеству иначе, какъ служа государю. Само же государство „не имѣетъ причины въ нуждѣ и пользѣ людей: оно есть само цѣль, въ самомъ себѣ находящая причину“ *).

Какъ видите, это очень близко къ идеямъ „Переписки“, но Бѣлинскій жилъ среди постояннаго кипѣнія мысли и споровъ

* Сочиненія Бѣлинскаго: „Народъ и царь“ („Оч. Бородинскаго сраженія О. И. Глинка“) и „Бородинская годовщина“.

въ просынавшемся и живомъ обществѣ. Впослѣдствіи онъ не могъ безъ глубокаго страданія вспомнить объ этихъ своихъ статьяхъ, и съ тѣмъ большею страстностью обрушился на „Переписку“.

Биографы Бѣлинскаго отмѣчаютъ слѣдующій характерный эпизодъ. Около того времени, когда появились эти статьи о преклоненіи передъ дѣйствительностью, ему хотѣли какъ-то представить въ одномъ обществѣ молодого инженернаго офицера. „Это авторъ статьи о Бородинской годовщинѣ?“—спросить офицеръ и, получивъ утвердительный отвѣтъ, сухо отказался отъ знакомства. Бѣлинскій, слышавшій этотъ разговоръ, самъ быстро подошелъ къ молодому человѣку и горячо пожалъ ему руку: „Вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю“,—сказалъ онъ съ обычной своей прямою. Теперь въ молодомъ инженерѣ онъ почувствовалъ единомышленника по своей новой религіи, и эта религія было страстное „отрицаніе дѣйствительности“.

Въ 1846 году Ив. С. Аксаковъ, объѣзжавшій Россію, писалъ роднымъ о настроеніи тогдашняго общества: „Имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. „Мы обязаны Бѣлинскому счастіемъ“—говорили мнѣ вездѣ молодые, честные люди въ провинціи“. И затѣмъ Аксаковъ прибавляетъ: „Если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастьямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, *который пойдетъ бы на борьбу*,—ищите таковыхъ между послѣдователями Бѣлинскаго“...

И навѣрное впослѣдствіи на столѣ у каждаго такого молодого человѣка наряду съ портретомъ автора „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ можно было найти письмо Бѣлинскаго къ автору „Переписки“. Гоголь сильно ошибался въ оцѣнкѣ современности, когда думалъ, что „молодой восторгъ“ его современниковъ устремился только на-встрѣчу „лирическому поэту“, окуривающему читателя упоительнымъ куревомъ лести. Нѣтъ, всему молодому, восторженно героическому въ тогдашней Россіи былъ дорогъ отрицатель-критикъ и гениальный поэтъ-сатирикъ. Молодой Россіи нуженъ былъ именно смѣхъ Гоголя, безощадный до конца. Отъ упоительнаго курева даже гоголевской идеализаціи современнаго строя она отвернулась съ негодованіемъ.

XI.

Теперь намъ остается прослѣдить до конца печальный послѣдній актъ трагедіи, связанной со вторымъ томомъ великаго произведенія...

Передъ нами опять дорога, опять знакомый тарантасъ съ Петрушкой и Селифаномъ на козлахъ. И въ тарантасѣ все та же благополучная фигура Павла Ивановича Чичикова, отправляющагося „для познанія всякаго рода мѣстъ“ въ новыя страны.

И кругомъ опять все та же бѣдность и бѣдность и несовершенства нашей жизни.

Павель Ивановичъ пережилъ въ уѣздномъ городѣ нѣкоторыя тревоги и кромѣ того онъ имѣеть основаніе чувствовать себя нѣсколько обиженнымъ авторомъ, который сообщилъ въ концѣ перваго тома его біографію.

И въ самомъ дѣлѣ даже сторонній читатель чувствуетъ, что въ этой біографіи Гоголь не вполне справедливъ къ своему герою: послѣ нея такъ хорошо знакомое лицо Павла Ивановича какъ будто слегка измѣнилось, или вѣрнѣе: точно кто-то, къ большому вреду Павла Ивановича, подмѣнилъ его послужной списокъ. Изъ человѣка умѣренной полноты и пріятной наружности онъ превращенъ въ какого-то мрачнаго злодѣя: съ самой юности онъ проявляетъ совершенно исключительную черствость души, по отношенію къ учителю и благодѣтелю. А затѣмъ пускается въ самыя рискованныя, чисто уже уголовныя предпріятія... Мы знали только, что Павель Ивановичъ гдѣ-то и какъ-то „пострадалъ за правду“. Теперь мы узнаемъ, что это было въ таможенномъ вѣдомствѣ. Въ этомъ вѣдомствѣ, какъ и всюду въ тѣ времена, царили извѣстные порядки, которые впрочемъ никто не считалъ предосудительными. Но вдругъ, благодаря „несчастной случайности“, былъ назначенъ на мѣсто начальника „человѣкъ военный, строгій, врагъ взяточниковъ и всего, что зовется неправдой“. Къ тому же этотъ строгій начальникъ былъ совершенно безтолковъ и не зналъ порядковъ гражданскаго управленія. „На другой же день онъ пугнуль исѣхъ до одного, увидѣлъ на каждомъ шагу недостающія суммы, замѣтилъ въ ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры (настроенные взяточниками) и пошла переборка“... „Чиновники отставлены, дома красивой гражданской архитектуры поступили въ казну“, однимъ словомъ „все распушено въ прахъ!“

И прежде всѣхъ пострадалъ Чичиковъ. Пострадалъ глупо, случайно: „Лицо его вдругъ, не смотря на пріятность, не понравилось начальнику... Иногда, — замѣчаетъ авторъ, — просто бываетъ это безъ причины“. И вотъ, Павель Ивановичъ вылетѣлъ со службы. И безъ сомнѣнія, всякій средній чиновникъ обычной тогда добродѣтели, т. е. какъ и Павель

Ивановичъ не очень тонкій, но и не то, чтобы очень толстый, съ величайшимъ сочувствіемъ выслушать бы исторію о томъ, какъ человѣкъ пострадалъ за правду, тѣмъ болѣе, что затѣмъ весь походъ закончился безтолково и безплодно. Такъ какъ военный человѣкъ былъ естественно совершенный невѣзка въ дѣлѣ гражданскомъ, то черезъ нѣкоторое время очутился „въ рукахъ еще большихъ мошенниковъ, которыхъ онъ въдобавокъ не почиталъ таковыми и даже хвастался не въ шутку тонкимъ умѣніемъ различать способности. Чиновники вдругъ постигли духъ его и характеръ и все, что ни было подъ его начальствомъ, сдѣлалось страшными гонителями неправды“... И все, конечно, быстро затнулось прежнимъ налетомъ, какъ затягивается крыловское болото, въ которое шлепнулся съ неба владыка чурбанъ... Если бы сюда прибавить еще преслѣдованіе этой добродѣтельной шайкой тѣхъ немногихъ людей, которые дѣйствительно пытались бороться за законъ и правду, то передъ нами была бы схема, пригодная пожалуй и для нынѣшнихъ дней...

Но автору было почему-то недостаточно этой умѣренно-плутовской исторіи для характеристики своего края, и онъ привлекаетъ еще исторію съ какимъ-то наслѣдствомъ; для нея требуются уже не только подлоги, но и чрезвычайно рискованныя переодѣванія, и тому подобныя предпріятія какъ будто уже не вполне свойственныя солидному Павлу Ивановичу. И въдобавокъ, совершивъ все это, аккуратный Павелъ Ивановичъ напивается пьянъ, ссорится въ пьяномъ видѣ со своимъ сообщникомъ, называетъ его поповичемъ, тѣмъ и вызываетъ со стороны этого сообщника доносъ.

Итакъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ—не только злодѣй, но и пьяница. И это тотъ самый Чичиковъ, вполне благопристойный и приличный, который „никогда не позволялъ въ рѣчи непристойнаго слова и оскорблялся всегда, когда въ рѣчахъ другихъ видѣлъ отсутствіе должнаго уваженія къ чину или званію“. Читателю было такъ приятно „узнать, что онъ всеіце два дня перемѣнялъ на себѣ бѣлье, а лѣтомъ, во время жаровъ, даже и всякій день“. И каждый разъ, „когда Петрушка (со своимъ запахомъ) приходилъ раздѣвать его, — клалъ себѣ въ носъ гвоздичку“... И этотъ Павелъ Ивановичъ пьяный пускается въ опасную ссору!.. Нѣтъ, положительно это какой-то другой Павелъ Ивановичъ, а не тотъ пріятный господинъ, не то чтобы худой, но и не очень полный во всѣхъ смыслахъ, съ которымъ читатель успѣлъ уже сжиться съ перваго момента его появленія.

— Наконецъ, почему-же непременно подлець?“ „Зачѣмъ

быть так строго къ другимъ?—можетъ онъ спросить у автора его-же собственными словами (изъ перваго тома):—Вѣдь теперь у насъ подлецовъ не бываетъ: есть люд. благонамѣренные и пріятные“, которые просто стремятся къ приобрѣтенію. „Зачѣмъ онъ (въ самомъ дѣлѣ) добывалъ копѣйку? Затѣмъ, чтобы въ довольствѣ прожить остатокъ дней, непрожитое оставить женѣ, дѣтямъ, которыхъ намѣревался приобрѣсти для блага, для службы отечеству“ *)... Вотъ для чего онъ ухищрялся, вотъ для чего уподобилъ свою судьбу судну среди волнъ, вотъ для чего странствовалъ, скупая „жертвыя души“. А это цѣли вполне благонамѣренные. Спросите кого угодно изъ среднихъ не то чтобъ очень тонкихъ, но и не очень толстыхъ современниковъ Павла Ивановича: развѣ это злодѣйство? Вѣдь онъ хотѣлъ только взять изъ ломбарда за мертвыя души, совершенно такъ, какъ бы онѣ были живыя. Изъ ломбарда, т. е. изъ казны, то есть въ сущности ни у кого...

Для знакомаго намъ Павла Ивановича именно эта серединность во всѣхъ смыслахъ,—эта пріятная округлость формъ и манеръ, это отсутствіе угловъ не только въ фигурахъ, но и въ глубинахъ совѣсти,—являлась самой характерной чертой всего облика. Чичикову біографія какъ будто болѣе шла бы хищная худоба, безпокойныя манеры, настороженная алчность, безпокойно-хищные взгляды... И тогда онъ, пожалуй, казался бы менѣе страшенъ: Пушкинъ навѣрное потому и говорилъ: „Боже, какъ грустна наша Россія“, что въ этой дореформенной Россіи Чичиковы были не злодѣи, а просто люди, близкіе къ среднему бытовому типу. Этотъ средній калибръ Павла Ивановича Чичикова есть, быть можетъ, самая страшная черта того „Портрета“ тогдашней Россіи, которая такъ непріятно смотрѣла со страницъ перваго тома „Мертвыхъ душъ“.

Мнѣ кажется, что отъ всей біографіи вѣтъ нѣкоторой искусственностью и преднамѣренностью: Гоголь какъ будто принижаетъ Чичикова, чтобы подготовить контрастъ своихъ добродѣтельныхъ геросовъ, съ которыми онъ сведетъ Павла Ивановича. Чичиковъ ѣдетъ теперь отъ Петра Петровича Пѣтуха къ помѣщику Кашкарову. И при этомъ случайный спутникъ, Платоновъ предлагаетъ познакомить его со своимъ зятемъ... Это человекъ истинно замѣчательный, и Платоновъ говорить о немъ, какъ о „первомъ хозяинѣ, какой когда-либо бывалъ на Руси“: „Онъ въ десять лѣтъ съ небольшимъ, купивши разстроенное имѣніе, едва дававшее двадцать тысячъ, возвелъ его до того, что теперь получаетъ двѣсти тысячъ“.

*) Сочин. IV, 448.

— „А, почтенный человекъ! — (говорить Павелъ Ивановичъ):— Вотъ такого человека жизнь стоитъ того, чтобы быть переданной въ изученіе людямъ... А какъ по фамиліи?

— „Скудронжогло.

— „А имя и отчество?

— „Константиѣ Ѳедоровичъ.

— „Константиѣ Ѳедоровичъ Скудронжогло. Очень пріятно познакомиться. Поучительно узнать такого человека...“

Гоголь не описываетъ выраженіе лица Чичикова въ эту минуту, но читатель, знакомый съ Павломъ Ивановичемъ, видитъ его и безъ описанія. Глазки „будущаго родоначальника“ сверкаютъ радостнымъ оживленіемъ, въ его лицѣ благоволеніе. Въ Константиѣ Ѳедоровичѣ Скудронжогло онъ чувствуетъ нѣчто родственное. Это тоже „приобрѣтатель“, только на широкую ногу и вполнѣ добродѣтельный. А теперь, во второмъ томѣ, нельзя уже смѣяться надъ добродѣтельнымъ человекомъ. Надо уважать добродѣтельнаго человека. Даже болѣе: надо передъ добродѣтельнымъ человекомъ преклоняться. Добродѣтельный человекъ — опора общества. Онъ не увлекается химерами юности, не мечтаетъ о реформахъ крѣпостного строя и смѣется надъ умниками, которые заводятъ для мужиковъ богоугодныя заведенія (391), и надъ Донъ-Кихотами, которые открываютъ для нихъ школы, мѣшающія мужицкимъ дѣтямъ заниматься прямымъ дѣломъ (стр. 392)... Онъ стоитъ „на прочномъ основаніи“. И основаніе это... приобрѣтеніе.

Скудронжогло — настоящий идеологъ приобрѣтенія. Почувявъ въ Чичиковѣ родственную натуру, онъ съ радостью даетъ ему десять тысячъ, безъ процентовъ, безъ поручительства, просто подъ одну расписку. „Такъ былъ онъ готовъ помогать всякому на пути къ приобрѣтенію!“ *) — поучительно заключаетъ Гоголь „Переписки“. Въ стилѣ его, теперь обезцвѣченномъ и искусственнымъ, находятся для добродѣтельнаго человека возвышенные обороты. То „сумрачное облако осѣняетъ его чело“, когда онъ видитъ плохое хозяйство (406), то, наоборотъ, изображая картину хозяйства хорошаго, онъ „сіяетъ, какъ царь въ день торжественнаго вѣнчанія своего...“ (397). И Павелъ Ивановичъ Чичиковъ заслушивается его, какъ пѣніи райской птички.

— Сладки ваши рѣчи, досточтимый мною Константиѣ Ѳедоровичъ, — говоритъ онъ. — Могу сказать, что не встрѣчалъ во всей Россіи человека, подобнаго вамъ по уму!

*) IV. 550. Эта замѣчательная фраза повторяется въ обѣихъ сохранившихся редакціяхъ.

„Скудронжогло улыбнулся.—Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ,—сказалъ онъ:—ужь если хотите знать умнаго человѣка, такъ у насъ дѣйствительно, есть одинъ, о которомъ точно можно сказать: умный человѣкъ, котораго и и подметки не стою...

— Кто это?—съ изумленіемъ спросилъ Чичиковъ.

— Это нашъ откупщикъ, Муразовъ...

— Слышалъ. Говорятъ, человѣкъ превосходящій мѣру всякаго вѣроятія. Десять милліоновъ, говорятъ, нажилъ!

— Какое десяти! перевалило за сорокъ! *Скоро половина Россіи будетъ въ его рукахъ.*

— Что вы говорите!—вскрикнулъ Чичиковъ, оторопѣвъ.

— Всенепремѣнно... У кого милліоны, у того радіусъ великъ: что ни захватить, такъ вдвое и втрое противъ себя... Съ нимъ некому тягаться. Какую цѣну чему назначить, такая и останется: некому перебить.

...— Скажите, — (произноситъ Чичиковъ, мысль котораго „каменѣла“ отъ страха и благоговѣнія):—вѣдь это, разумеется, вначалѣ приобрѣтено не безъ грѣха?..

— Самымъ безукоризненнымъ путемъ и самыми безукоризненными средствами... Милліонщику не зачѣмъ прибѣгать къ кривымъ путямъ. Прямой таки дорогой такъ и ступай и бери все, что ни есть передъ тобою...“

Въ этомъ разговорѣ въ сущности выступаетъ единственное различіе между Чичиковымъ перваго тома и идеальными героями второго. Это прежде всего размѣры приобрѣтенія и вторыхъ его источникъ: у Павла Ивановича онъ не безгрѣшенъ вообще, а Гоголь еще усиливаетъ это различіе, безъ особенной надобности превращая его изъ „приобрѣтателя“ въ злодѣя.

Скудронжогло *честно* пользуется сознанной тогда уже многими неправдой крѣпостнаго строя, а Муразовъ *честно* наживается на откупахъ, освобожденіе отъ которыхъ Россія черезъ нѣсколько лѣтъ привѣтствовала, какъ вторую эмансипацію.

Но мы помнимъ, что Гоголь въ первомъ томѣ защищалъ Павла Ивановича отъ названія подлеца. Онъ прямо говорилъ, что справедливѣе всего назвать его „*хозяинъ-приобрѣтатель*“. Въ то время „приобрѣтеніе“ являлось для него *виной всему*: изъ-за него-то произошли дѣла, которымъ свѣтъ даетъ названіе не очень *чистыхъ*, хотя, какъ извѣстно, они часто истекаютъ изъ благонамѣреннѣйшихъ побужденій, напримѣръ, семейныхъ. „Такой (въ самомъ дѣлѣ) чувствительный предметъ!..“ Изъ-за него-то „будущій родоначальникъ, какъ осто-

рожный котъ, покосил только однимъ глазомъ, — не идетъ-ли откуда хозяинъ, — хватается поспѣшно все, что къ нему поближе“.

Вообще въ первомъ томѣ надъ этимъ добродѣтельнымъ пожитіемъ виталъ гениальный смѣхъ. Вспомнимъ замѣчательную сцену въ палатѣ, куда Чичиковъ и Собакевичъ являютелъ съ кучими крѣпостями на мертвыя души. „Крѣпости произвели, кажется, хорошее дѣйствіе на председателя, особливо, когда онъ увидѣлъ, что всѣхъ покупокъ было почти на сто тысячъ рублей. *Нѣсколько минутъ онъ смотрѣлъ въ глаза Чичикову съ выраженіемъ почти полного удовольствія* и, наконецъ, сказалъ: „Такъ вотъ какъ! Этакимъ-то образомъ, Павелъ Ивановичъ! Такъ вотъ вы приобрѣли!“

— Приобрѣлъ, — сказалъ Чичиковъ скромно.

— Благое дѣло! Право, благое дѣло!

— Да, я вижу, что болѣе благого дѣла не могъ бы предпринять. Какъ бы то ни было, цѣль человѣка все еще не опредѣлена, если онъ не сталъ, наконецъ, твердою стопюю на прочное основаніе, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности“.

Да, вотъ что дѣлаетъ грѣшный смѣхъ! Люди совершенно солидные говорятъ о предметѣ благонамѣренномъ: о приобретеніи. Авторъ точно воспроизводитъ разговоръ, лишь пропустивъ его сквозь какую-то незамѣтную призму... И надъ „приобрѣтеніемъ“ витаетъ невидимо какое-то особенное осужденіе. Это судъ не уголовный: это судъ смѣха... Онъ совершается во имя какого-то идеальнаго представленія объ истинномъ достоинствѣ человѣка, при сопоставленіи съ которымъ одно только, хотя бы и скривленное казенной печатью, *приобрѣтеніе* само по себѣ является смѣшнымъ и жалкимъ.

Во второмъ томѣ этотъ смѣхъ порой опять готовъ къ услугамъ автора. Когда Павелъ Ивановичъ предлагаетъ увѣковѣчить „жизнеописаніемъ“ добродѣтельнаго приобретателя-помѣщика, читателю такъ и кажется, что смѣхъ уже порхаетъ надъ расцвѣтшей фізіономіей Чичикова и готовъ перепорхнуть съ нея на фигуру Константина Ѳедоровича Скудронжого... „Такъ вотъ какъ! Этакимъ-то образомъ, Константинъ Ѳедоровичъ! Такъ вы и приобрѣли! Рабскимъ трудомъ?“ — „Приобрѣлъ“...

Но бѣдному смѣху нѣтъ воли во второмъ томѣ: бѣдный смѣхъ лежитъ со связанными крыльями. Порой, быть можетъ, онъ пытается напомнить о „такъ называемыхъ патріотахъ“, которые сидятъ себѣ по угламъ и занимаются совершенно посторонними дѣлами, накопляютъ себѣ капиталы, устраивая

судьбу свою на счетъ другихъ“ (IV, стр. 276). Или о томъ, что „милліонщикъ имѣеть ту выгоду, что можетъ видѣть кругомъ себя подлость совершенно безкорыстную, чистую подлость, не основанную ни на какихъ расчетахъ: многіе очень хорошо знаютъ, что ничего не получаютъ отъ него... но непремѣнно хотъ заемѣются, хотъ снимутъ шляпу, хотъ попросятъ на тотъ обѣдъ, куда узнаютъ, что приглашенъ милліонщикъ“. Или, наконецъ, о томъ, что отъ собственныхъ добродѣтельныхъ героевъ не осталось уже ни костей, ни кожи, а торчитъ изъ нихъ одно „пріобрѣтеніе“ (хотъ бы и „законными средствами“). И тогда гениальный сатирикъ, обладавшій всетаки замѣчательнымъ критическимъ чутьемъ, сжигалъ въ тоскѣ свои рукописи съ портретами добродѣтельныхъ Чичиковыхъ. А пока въ раздвоенной душѣ художника происходила эта борьба художественнаго генія и заблудившейся мысли, роковой недугъ росъ на просторѣ, не сдерживаемый по-прежнему цѣлительнымъ потокомъ свободнаго, несвязаннаго ложными идеями, сатирическаго творчества...

Что Гоголь сжигалъ также и превосходныя страницы, которыми дарилъ его далеко еще не угасшій талантъ, это подтверждается многими несомнѣнными свидѣтельствами. И между прочимъ тѣмъ, что нѣкоторыя главы онъ читалъ въ обществѣ. А все, что онъ рѣшался читать въ обществѣ, всегда было окончательно продумано и сдѣлано образцово.

„До сихъ поръ не могу еще придти въ себя, — писалъ, напримѣръ, С. Т. Аксаковъ сыну Ивану Сергѣевичу въ 1849 году: — Гоголь прочелъ намъ съ Константиномъ вторую главу („Мертвыхъ душъ“)... вторая глава несравненно выше первой“ *). Смирновой Гоголь еще раньше читалъ отрывки изъ второго тома, въ которыхъ, по ея словамъ, „юморъ былъ возведенъ до высшей степени художественности“. Нѣкоторые эпизоды были потомъ восстановлены въ передачѣ лицъ, слышавшихъ чтеніе Гоголя. Особенно подробно излагались сцены у генерала Ветрищева, романъ Тентетникова и участіе Чичикова въ этомъ романѣ. С. Т. Аксаковъ восхищается патетическими сценами, отъ которыхъ, и по словамъ Смирновой, захватывало дыханіе...

Но и эти главы не избѣгли общей участи. Гоголь ежечь ихъ въ разное время. И это понятно: и юмористическія, и патетическія сцены *были нейтральны*, ничего не вносили въ развитіе заданной идеи.

*) Матеріалы. IV. 177.

Идея же состояла въ томъ, чтобы въ крутистинической Россіи найти рычагъ, который могъ бы вывести ее изъ тогдашняго ея положенія. А такъ какъ все зло предполагалось не въ порядкѣ, а только въ *душахъ*, то, очевидно, нуженъ такой рычагъ, который, не трогая формъ жизни, могъ бы чудеснымъ образомъ сдвинуть съ мѣста всѣ русскія души, передвинуть въ нихъ моральный центръ тяжести отъ зла къ добру.

Изобразить въ идеальной картинѣ этотъ переворотъ и показать въ образахъ его возможность, такова именно была задача второго и третьяго тома „Мертвыхъ душъ“. Гоголь мечталъ, что онъ, художникъ, дастъ въ идеѣ тотъ опытъ, по которому затѣмъ пойдетъ вся Россія. Добродѣтельные герои въ родѣ Скудронжогло должны служить матеріаломъ, указывающимъ, что въ русскомъ народѣ есть силы, готовыя для великаго движенія...

Въ интересной работѣ Алексѣя Ник. Веселовскаго указывается на основаніи вполне убѣдительныхъ матеріаловъ, что всѣ герои перваго тома, по мысли Гоголя, должны были исправиться. Чичиковъ, исчезающій во второмъ томѣ, послѣ новой катастрофы, долженъ былъ явиться въ III томѣ уже преобразеннымъ. Энергія Чичикова, избытку которой удивляется Муразовъ, направляется на служеніе ближнимъ. Только въ такомъ случаѣ будетъ понятно (и, прибавимъ, оправдано съ точки зрѣнія примиряющаго искусства), что „недаромъ такой человекъ избранъ героемъ“. Рядомъ съ Чичиковымъ предстояло снова явиться и Плюшкину, подъ своимъ ли именемъ, или передавъ свое страшное прошлое другому лицу, которое должно изгладить былое зло благодѣяніями. По крайней мѣрѣ на это есть любопытнѣйшее указаніе въ словахъ самого Гоголя (въ письмѣ къ Языкову): „о, если бы ты могъ сказать ему то, что долженъ сказать мой Плюшкинъ, *если доберусь до третьяго тома М. Душъ*“ *).

Если бы вдобавокъ, какъ это тоже слѣдуетъ предполагать, исправились и Собакевичъ, и Маниловъ, и всѣ чиновники, и вообще всѣ персонажи перваго тома, то, мечталъ Гоголь, чудесное преображеніе нарисованнаго имъ страшнаго „Портрета“ тогдашней Россіи было бы достигнуто, и смертный грѣхъ его смѣха заглаженъ.

Какая-же сила произвести это чудо, откуда придетъ тотъ

*) Вѣстникъ Европы. Февр. 1891 г.

толчокъ, который повернетъ весь этотъ миръ Плюшкиныхъ и Коробочекъ, Маниловыхъ, Собакевичей, Чичиковыхъ и Ноздревыхъ около его оси.

Гоголь „Переписки съ друзьями“ видитъ эту силу не „въ евронейскихъ выдумкахъ“ и не „въ реформахъ“, но исключительно—въ поученіи!

Къ этой мысли Гоголь возвращается на страницахъ „Переписки“ съ особенной настойчивостью. „Конечно,—говоритъ онъ въ письмѣ къ П. А. Толстому, — сказать человѣку: не крадите, не роскошничайте, не берите взятокъ, молитесь и давайте милостыню,—теперь ничто... Всякій скажетъ: да вѣдь это ужъ извѣстно“. Но Гоголю кажется, что это нужно и можно сказать какимъ-то особеннымъ образомъ. Для этого слѣдуетъ „приподнять передъ грѣшникомъ завѣсу“, показать ему всѣ послѣдствія его грѣховъ. Тогда онъ несомнѣнно исправится. „Нѣтъ, человѣкъ не безчувственъ, человѣкъ подвигнется, если только покажешь ему дѣло, какъ оно есть. Теперь онъ подвигнется еще болѣе, чѣмъ когда-либо, потому что природа его размягчена“... „Онъ, какъ спасителя, облобызаешь того, который заставитъ его обратить взглядъ на самого себя“ *)...

Кто-же скажетъ это нужное слово и именно такъ, какъ его нужно сказать? Гоголь мучительно ищетъ людей для этой спасительной проповѣди. Церковные проповѣдники, помѣщики?.. Да, отвѣчаетъ Гоголь: „Это относится къ церковнымъ проповѣдникамъ. То же долженъ дѣлать и помѣщикъ“. — „Мужика не бей,—совѣтуетъ онъ одному изъ своихъ друзей-помѣщиковъ:—сѣздить его въ рожу еще не большое искусство: это слумѣеть сдѣлать и становой, и засѣдатель, и даже староста... Но умѣй *пронять его хорошиенько словомъ*, ты же на мѣткія слова мастеръ“ (132).

Увы! Гоголь-юмористъ въ первомъ томѣ уже осмѣялъ эти собственные проекты. Ихъ онъ вложилъ тогда въ уста Плюшкина:

— Приказные—такіе безсовѣстные,—говоритъ Плюшкинъ Чичикову, собираясь совершить не вполне одобрительную сдѣлку. — Прежде бывало полгиной мѣди отдѣлаешься, да мѣшкомъ муки, а теперь пошли цѣлую подводу крупъ, да и красную бумажку прибавь,—такое сребролюбіе! Я ужъ и не знаю, какъ нѣкто другой не обратитъ на это вниманья. *Ну, сказалъ бы ему какъ-нибудь душеуспокоительное слово! Вѣдь словомъ хоть кого проймешь.* Кто что ни говори, а *противъ душеуспокоительнаго слова не устоишь...*

*) „Нужно проѣздиться по Россіи“. Соч. т. IV. 3.

— „Ну, ты-то устоишь“,—подумалъ тогда умный Павелъ Ивановичъ.

Но иного выхода Гоголь „Переписки“ всетаки не видитъ и потому обращаетъ свои взоры къ начальству. Оно первое должно прибѣгнуть къ спасительному средству: „Очень знаю, — пишетъ онъ „занимающему важное мѣсто“, — что теперь трудно начальствовать въ Россіи: завелось такія лихоимства, которыхъ *истребить нѣтъ никакихъ силъ человеческихъ*. Знаю и то, что образовался другой незаконный ходъ дѣйствиі мимо законовъ государетва и обратился почти въ законный, такъ что законы остаются только для вида“... Но „дѣло приметъ совсѣмъ другой оборотъ, если покажешь человѣку (въ данномъ случаѣ плуту-чиновнику), тѣмъ онъ виноватъ передъ самимъ собою. Тутъ потрясешь такъ его всего, что въ немъ явится вдругъ отвага быть другимъ, и тогда только вы почувствуете, какъ благородна наша русская порода даже и въ плугѣ“...

Въ поученіи, которое Гоголь диктуетъ знакомому генераль-губернатору, есть совѣтъ: „священнику пригрозить архіереемъ“... Дворянамъ слѣдуетъ указать на великое дѣло, которое они могутъ сдѣлать, „воспитавши сословье крестьянъ“. Вообще, если къ поученію приступить съ чистой душой, какая была, напр., у Карамзина, — „тогда все тебя выслушаетъ, начиная отъ царя до послѣдняго нищаго въ государствѣ“... (V. 63).

XIII.

Мы уже видѣли, что 2-й томъ „Мертвыхъ душъ“ долженъ былъ въ „сочиненіи повѣствовательномъ“ развить тѣ идеи, которыя Гоголь излагалъ въ „Перепискѣ“. И дѣйствительно мы находимъ во второмъ томѣ всю эту программу въ лицахъ. „Занимающій важное мѣсто“, сіятельный князь генераль-губернаторъ приходитъ въ ужасъ, когда передъ нимъ раскрылась картина страшныхъ злоупотребленій, какимъ-то невѣдомымъ образомъ сосредоточившихся около пріятной фигуры Павла Ивановича Чичикова (наброски второго тома дошли до насъ лишь въ отрывкахъ). Чичиковъ окончательно уличенъ и валится въ ногахъ у представителя грозной власти.

— Ваше сіятельство, — говоритъ онъ голосомъ отчаянія. — И дѣйствительно ягаль, я не имѣлъ ни дѣтей, ни семейства; но вотъ Богъ свидѣтель, я всегда хотѣлъ имѣть жену, исполнить долгъ человѣка и гражданина, чтобы дѣйствительно потомъ заслужить уваженіе гражданъ и начальства... Но — что

за бѣдственные обстоятельство!.. Вся жизнь, точно судно среди морскихъ волнъ...

„Слезы вдругъ хлынули изъ глазъ его, и онъ повалился въ ноги князю такъ, какъ былъ въ сюртукѣ наваринскаго пламени съ дымомъ, въ бархатномъ жилетѣ и въ чудесно сшитыхъ штанахъ“... И при этомъ бѣдный пріобрѣтатель почувствовалъ ударъ княжескаго сапога „въ щеку, въ прекрасно выбритый подбородокъ и зубы“.

Злополучное судно пріобрѣтательской судьбы опять на мели: Павелъ Ивановичъ запертъ въ „промозглomъ сыромъ чуланѣ съ запахомъ сапоговъ и онучъ гарнизонныхъ солдатъ... Не дали даже ему взять шкатулку, гдѣ были деньги. Бумаги, брѣвности на мертвыя души — все было въ рукахъ чиновниковъ“... Однимъ словомъ, Павелъ Ивановичъ погибаетъ, и надъ его грѣшной душой, какъ въ старинныхъ драмахъ, идетъ споръ темныхъ и свѣтлыхъ силъ.

Первымъ является въ темницу добродѣтельный откупщикъ Муразовъ. Повидимому, у него есть какой-то планъ спасенія Россіи при помощи откупныхъ денегъ, которыя дадутъ возможность командировать по всей странѣ благотворительныхъ проповѣдниковъ съ особыми порученіями. Въ Чичиковѣ онъ замѣтилъ необычайную энергію и намѣренъ направить ее на выполненіе своихъ благихъ намѣреній. Павлу Ивановичу вначалѣ эта программа новой жизни очень улыбается. Онъ считаетъ, что, въ столь тѣсныхъ обстоятельствахъ, ему не остается ничего, кромѣ добродѣтели, тѣмъ болѣе, что она связана съ полученіемъ обратно шкатулки и нисколько не мѣшаетъ мечтамъ объ „осуществленіи предназначенія“: о „бабенкѣ и будущихъ чичонкахъ“ (такъ ласкательно называлъ Павелъ Ивановичъ свою будущую семью). И вотъ, Павелъ Ивановичъ даетъ Муразову торжественное обѣщаніе исправиться.

Но не успѣла закрыться дверь за добродѣтельнымъ откупщикомъ, какъ на сцену является темная сила въ лицѣ чиновника Самосвитова.

Этотъ Самосвитовъ — типъ совершенно новый въ чиновничьей коллекціи Гоголя. „Добрый малый, отличный товарищъ, кутила и продувная бестія, въ военное время онъ надѣлалъ бы чудесъ... Но за неимѣніемъ военнаго поприща подвизался на штатскомъ и на мѣсто подвиговъ — пакостилъ и гадилъ. Съ товарищами былъ хорошъ, никого не продавалъ никому и, давши, слово держалъ. Но высшее надъ собой начальство считалъ чѣмъ-то вродѣ неприятельской батареей, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всякимъ слабымъ мѣ-

етомъ, проломомъ и унущеніемъ“. Дѣло Чичикова заинтересовало этого своеобразнаго чиновнаго анархиста именно возможностью одурачить начальство, и онъ предлагаетъ Павлу Ивановичу сдѣлку: „Всѣ будемъ работать за васъ, всѣ—ваши слуги. Тридцать пять тысячъ на всѣхъ—и ничего больше“...

Павель Ивановичъ былъ реалистъ. Онъ не могъ не чувствовать, что Самосвитовъ человѣкъ живой и его предложеніе совершенно „реально“. Тогда какъ Муразовскія добродѣтельные фантазіи—плохая и нежизненная выдумка. Поэтому онъ тотчасъ склоняется вновь на сторону порока. И вотъ „не прошло часу послѣ этого разговора (съ Самосвитовымъ), какъ къ Чичикову принесена была драгоценная его шкатулка: бумаги, деньги, все было въ совершенномъ порядкѣ“. Было очевидно, что на слово Самосвитова можно положиться и что „правосудіе“ непременно останется въ дуракахъ...

Между тѣмъ Муразовъ отправляется къ негодующему князю и развиваетъ передъ нимъ свою систему борьбы съ окружающимъ зломъ. Это именно система „Переписки“: онъ защищаетъ передъ генераль-губернаторомъ и чиновниковъ, и Чичикова, убѣждая, что „всѣ они люди“, что они не такъ уже виновны, и что дѣлу (въ которомъ оказались замѣшанными всѣ „отъ губернатора до титулярнаго совѣтника!“) совершенно не зачѣмъ давать законный ходъ. Будетъ гораздо лучше, если генераль-губернаторъ соберетъ всѣхъ чиновниковъ, исповѣдается передъ ними и... скажетъ имъ поученіе!..

Грозный представитель власти, напавшій на слѣдъ страшнаго Komplott'a чиновныхъ воровъ, какъ-то очень быстро соглашается съ Муразовымъ. Чичикова просто отпускаютъ на всѣ четыре стороны, съ его шкатулкой, съ его купчими и съ его благонамѣренными мечтами, а на слѣдующій день въ генераль-губернаторскомъ домѣ происходитъ торжественная сцена.

„Въ большомъ залѣ собралось все чиновное сословіе города, начиная отъ губернатора до титулярнаго совѣтника: правители канцелярій и дѣль, совѣтники, ассесоры, Киселовъ, Красноносовъ, Самосвитовъ, не бравшіе, бравшіе, кривившіе душой, подукривившіе и вовсе не кривившіе, — все обѣдало съ любопытствомъ, не совѣмъ спокойнымъ, выхода князя. Князь вышелъ ни мрачный, ни ленивый: спокойной твердостью былъ вооруженъ его шагъ и взоръ. Все чиновное собраніе поклонилось, многіе въ поясъ. Отвѣтивъ легкимъ поклономъ, онъ началъ...“

Мы, разумѣется, не станемъ здѣсь приводить всю эту рѣчь, въ которой на страницахъ втораго тома „Мертвыхъ душъ“ звучать (порой буквально) слова и идеи „Переписки“. Книзь

кается самъ („онъ, можетъ быть, виноватъ больше всѣхъ“, „онъ припаялъ ихъ слишкомъ сурово вначалѣ“ и т. д.), а затѣмъ, опять по рецепту „Переписки“, сильными чертами рисуетъ передъ чиновниками положеніе Россіи, охваченной разложеніемъ и неправдой. „Дѣло въ томъ, что гибнетъ уже земля наша не отъ нашествія двадцати иноплеменныхъ языковъ, а отъ насъ самихъ, что уже, мимо законнаго управленія, образовалось другое, гораздо сильнѣйшее всякаго законнаго... Все оцѣнено и цѣны даже приведены во всеобщую извѣстность. *И никакой правитель, хотя бы онъ былъ мудреѣ всѣхъ законодателей и правителей, не въ силахъ поправить зла, какъ ни ограничивай онъ въ дѣйствіяхъ чиновниковъ приставленіемъ въ надзиратели другихъ чиновниковъ...* Я обращаюсь къ тѣмъ изъ васъ, кто имѣетъ понятіе какою-нибудь о томъ, что такое благородство мыслей... Я приглашаю васъ ближе рассмотреть свой долгъ, который на всякомъ мѣстѣ предстоить человѣку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долгъ и обязанность земной своей должности, потому что это уже намъ всѣмъ темно предоставляется и мы едва...“

На этой полуфразѣ прерываются „Мертвыя души“. И это очень характерно. Гоголь отлично чувствовалъ всякую фальшь, всякую надуманность. Критическое чутье подсказало ему вѣроятно, что все это мертвыя слова, лишеныя силы и значенія. Можетъ быть смѣхъ Гоголи-сатирика напомнилъ Гоголю моралисту саркастическое замѣчаніе Павла Ивановича Плюшкинѣ („ну, ты-то устоишь“). Можетъ быть онъ вспомнилъ грознаго начальника изъ перваго тома и подумалъ, что и тутъ „всѣ чиновники могутъ превратиться въ страшныхъ гонителей неправды“, съ тѣми же послѣдствіями, можетъ быть онъ увидѣлъ, что самъ онъ преклонился передъ милліонами Муразова и потому возлагаетъ на него великія надежды... Какъ бы то ни было, но поученіе оборвалось на полуфразѣ.

Оставалось еще одно послѣднее средство. Есть большія основанія думать, что, попытавшись въ своемъ воображеніи превратить въ проповѣдниковъ богатыхъ откупщиковъ и властныхъ генераль-губернаторовъ,—Гоголь обратилъ свои послѣднія надежды къ царю.

Въ письмѣ „о лиризмѣ русскихъ поэтовъ“, первую (неизвѣстную намъ) редакцію котораго почему-то очень строго осудилъ Жуковский, Гоголь высказываетъ свои взгляды на это именно значеніе монарха. „Все полюбивши въ своемъ государствѣ, до единаго человѣка всякаго сословія и званія, и обративши все, что ни есть въ немъ какъ бы въ собствен-

ное тѣло свое, возболѣвъ духомъ о всѣхъ, *скорби, рыдая, молясь день и ночь* (sic) о страждущемъ народѣ своемъ, государь *приобрѣтетъ тотъ всемогущій голосъ любви*, который одинъ только можетъ внести примиреніе во все сословія государства“.

Но... „чѣмъ выше достоинство взятаго лица,—нишетъ Гоголь въ „Исповѣди“,—тѣмъ ошутительнѣе, тѣмъ *осязательнѣе* нужно выставить его передъ читателемъ. Для этого нужны тѣ безчисленныя мелочи и подробности, которыя говорятъ, что данное лицо дѣйствительно жило“... И вотъ Гоголь требуетъ у Смирновой самыхъ мелочныхъ подробностей изъ жизни государя и его семьи, настойчиво прибавляя каждый разъ, что это ему „очень нужно“. Онъ устанавливаетъ, при помощи той-же Смирновой, какой-то особый полумистическій надзоръ за Николаемъ Павловичемъ. „Государя я поручаю вамъ“—отдаетъ онъ ей рѣшительный приказъ послѣ какого-то несчастія въ царской семьѣ. И Смирнова отъ времени до времени пишетъ точные доклады объ исполненіи этого, какъ бы служебнаго, порученія. Невольно приходитъ на мысль, что дѣло идетъ о какихъ-нибудь „благодатныхъ“ вліяніяхъ на Николая Павловича (припомнимъ письма Данилевскому: „отдѣлится сила въ душу твою“), при помощи которыхъ онъ „приобрѣтетъ (въ будущемъ времени, — значить, еще не приобрѣлъ) всемогущій голосъ любви“, нужный, вѣроятно, для какого-то потрясающаго, центрального, съ высоты трона исходящаго, способнаго загремѣть на всю Россію, „поученія“...

Впрочемъ, это, конечно, только предположеніе, для котораго, однако, есть нѣкоторыя основанія. Во всякомъ случаѣ понятно, что никакія „религіозныя упражненія“, никакія вліянія черезъ піэтистокъ-фрейлинъ не въ силахъ были довлѣять на Николая Павловича и обратить его въ желаемаго натурщика хотя бы и для гениальнаго писателя. Со стороны Гоголя было слишкомъ самонадѣянно предписывать царю, въ своихъ собственныхъ морально художественныхъ цѣляхъ: „*скорбѣть, рыдать* и молиться день и ночь“, чтобы затѣмъ потрясти свой народъ поученіемъ во вкусѣ „Переписки“.

Для этого фигура Николая Павловича была во всякомъ случаѣ слишкомъ „реальна“.

XIV.

„Мертвыя души“ остались незаконченными. Гоголь не оправдалъ возлагаемыхъ на него надеждъ, онъ „не совершилъ“. Первая часть поэмы, которая, по мысли своего творца должна была составлять только крыльцо величественнаго зда-

ня, осталась одна. Во второй части все, что Гоголь хотѣлъ выставить, какъ идеальное, было мертво. Жили и свѣтились порой со всей силой генія лишь типы чисто отрицательные. Но Гоголь подавлялъ свой юморъ, какъ преступленіе противъ искусства, и призналъ себя бессильнымъ закончить дѣло своей жизни. И его „хрункій составъ“ не выдержалъ этого крушенія.

Какое трагическое недоразумѣніе! Въ сущности первый томъ былъ уже тѣмъ величественнымъ въ художественномъ смыслѣ зданіемъ, о которомъ Гоголь мечталъ и которое обѣщаль Россіи, „вперившей въ него полныя ожиданія очи“. И если бы онъ понималъ *мыслью* истинное свое назначеніе, онъ бы видѣлъ, что для „завершенія зданія“ остается сдѣлать не такъ ужъ много, во всякомъ случаѣ не больше, чѣмъ уже сдѣлано: быть можетъ поднять фронтонъ и покрыть крышу.

Въ самомъ дѣлѣ, каково могло быть „логическое“ продолженіе „Мертвыхъ душъ“? Было бы разумѣется верхомъ самонадѣянности навязывать великому художнику свои планы для воплощенія его идеи. Это пытались сдѣлать въ шестидесятихъ годахъ нѣкоторые авторы, имена которыхъ теперь совершенно забыты, какъ и ихъ попытки. Но самая идея произведенія, достаточно намѣтившаяся уже въ первой части, хотя, быть можетъ, помимо сознанія автора, есть общее достояніе, и не будетъ дерзостью попытка угадать ея логическую линію далѣе того, что сдѣлано самимъ авторомъ.

Въ сущности синтезъ дореформенной и рабской Россіи — былъ уже данъ. И если бы Гоголь захотѣлъ остаться вѣрнымъ до конца своему геніальному смѣху, если бы онъ не истратилъ силы на отысканіе выхода безъ потрясенія основъ тогдашней жизни, если бы онъ призналъ, что правда не освобождаетъ зло, а наоборотъ убиваетъ его... Если бы онъ не испугался выводовъ изъ своей сатиры и не побоялся осудить не только лица, и не только должности, но и самый порядокъ, сверху донизу пораженный безсиліемъ и маразмомъ, — то ему оставалось только изобразить свободной кистью сатирика торжество чичиковскаго идеала:

Мирная помѣщичья усадьба на новыхъ мѣстахъ, купленная на деньги изъ ломбарда. Миловидная хозяйка, не то чтобы худая, но и не очень полная, маленькіе Чичиковы, съ веселыми, остро и пытливо бѣгающими отцовскими глазками, рабы, трудящіеся надъ созиданіемъ благополучія новаго помѣщика, и самъ Навель Ивановичъ, который смотритъ ясными очами „въ глаза всякому почтенному отцу семейства“, потому что онъ „пріобрѣлъ“ и значитъ не даромъ бременить землю. Таковы общія очертанія конца „Мертвыхъ душъ“.

логически продолжающія линію гоголевской сатиры, какъ ее понимали и друзья, и враги гоголевскаго таланта. Великое зданіе было бы завершено послѣдовательно и встало бы пророческимъ символомъ страны, зачарованной въ безоглядномъ самодовольствѣ рабства.

И надъ этой идилліей на ея пока безоблачномъ горизонтѣ чувствовалось бы, можетъ быть, приближеніе грозовой тучи, которой суждено было потрясти гоголевскую Россію въ самыхъ ея основаніяхъ.

Но онъ испугался „страшной правды“... Подъ влияніемъ ложныхъ идей, развившихся въ отдаленіи отъ жизни, онъ измѣнилъ собственному гению и ослабилъ полетъ творческаго воображенія, направляя его на ложный и органически чуждый ему путь. Съ этимъ вмѣстѣ онъ подавилъ въ себѣ всегдашній источникъ бодрости, помогавшій ему бороться съ страшнымъ недугомъ... И „Вій“ взглянулъ на него своимъ мертвящимъ взглядомъ.

Въ мучительныхъ поискахъ дороги, которая одновременно была бы выходомъ для него лично и для его несчастной страны, гениальный писатель метался еще 9 лѣтъ, то опускаясь въ низы русской жизни („Образъ величаваго русскаго человѣка въ простомъ народѣ“), то возносясь къ ея вершинамъ. Умеръ онъ въ 1852 г. (черезъ 10 лѣтъ по окончаніи перваго тома), не отъ опредѣленной болѣзни, а отъ глубокаго и все возростающаго душевнаго угнетенія. „Онъ палъ подъ бременемъ взятой на себя невыполнимой задачи“ — писалъ объ этомъ Сергій Тимофеевичъ Аксаковъ. Умеръ онъ совершенно такъ-же, какъ умеръ его отецъ, Пульхерія Ивановна и Аванасій Ивановичъ,— „таялъ, какъ свѣчка, сохнулъ и наконецъ угасть, какъ она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать ея жизнь“.

А черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого мучительнаго заключенія трагедіи великаго русскаго сатирика—грянула историческая катастрофа, доказавшая правильность его художественнаго діагноза и роковое заблужденіе его мысли...

Теперь надъ тревогой и смятеніемъ нашего современнаго дня встаетъ съ новою ясностью величавый и скорбный образъ поэта. „Знаю, что память моя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, — пророчески говорилъ онъ въ одномъ изъ писемъ къ Жуковскому — и потомки тѣхъ же моихъ современниковъ быть можетъ со слезами умиленія произнесутъ примиреніе моей тѣни“.

О „примиреніи“ давно уже нѣтъ рѣчи... Горечь, вызванная идеями „Переписки“, очень живая въ первые годы, — давно

стихла, а скорбный образъ поэта, въ самой душѣ котораго происходила гибельная борьба старой и новой Россіи,—стоитъ во всемъ своемъ трагическомъ обаяніи. Даже ошибки его мысли, преждевременно погубившія великій талантъ,—становятся только лишней чертой, дополняющей его мучительныя исканія. Трудно представить себѣ болѣе возвышенное пониманіе значенія и роли литературы, чѣмъ то, которое сказано такъ полно — и въ великихъ образахъ, отвоеванныхъ у роковой болѣзни, и даже въ роковыхъ ошибкахъ его „Переписки“ *).

*) Писано въ 1912 году, въ годовщину смерти Гоголя.

Оглавление

II тома.

	стр.
Чудная. <i>Очеркъ изъ 80-хъ годовъ.</i>	3
Марусина заимка. <i>Очерки изъ жизни въ далекой сторонѣ</i>	18
Ненастоящій городъ. <i>Былыя наблюденія и замѣтки</i>	78
Огоньки.	98
Въ дурномъ обществѣ. <i>Изъ дѣтскихъ воспоминаній моего пріятеля</i>	99
„Лѣсъ шумитъ“. <i>Польская легенда.</i>	154
Ночью. <i>Очеркъ.</i>	174
Парадоксъ. <i>Очеркъ.</i>	202
Судный день. (<i>„Гомъ-Кипуръ“</i>). <i>Малорусская сказка</i>	219
Мое первое знакомство съ Диккенсомъ.	275

Николай Константиновичъ Михайловскій	283
Третій элементъ. <i>Памяти Николая Федоровича Анненкова.</i>	294
Сергій Николаевичъ Южаковъ	311
Григорій Борисовичъ Юлосъ.	324
Ангелъ Ивановичъ Богдановичъ	329
Литераторъ-обыватель. <i>Речь, читанная въ годовщину смерти</i> <i>А. С. Гацискаго.</i>	332
Эпизодъ. <i>Изъ жизни В. М. Соболевскаго</i>	358
Трагедія великаго юмориста. <i>Нѣсколько мыслей о Гоголь.</i>	365



INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

F

24.108/2